

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

A standard linear barcode consisting of vertical black lines of varying widths on a white background.

3 1761 00265203 0

Veselovskii Aleksandr Nikolaevich

381

Sobranie sochinenij
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

9719

(77)

ALEKSANDRA NIKOLAEVICHA
ВЕСЕЛОВСКАГО.

Издание Отделения Русского языка и словесности
Императорской Академии Наукъ.

Томъ первый.



104045

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 линія, № 12.

1913.



Собрание сочинений Александра Николаевича Веселовского.
Серия I, томъ 1-ый.



ПОЭТИКА.

(1870—1899).

PN
517
V44
t.1

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1913.

ПОЭТИКА.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

(1870—1899).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1913.

Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наукъ.
Февраль 1913 г.

Непремѣнныи Секретарь, Академикъ *C. Ольденбургъ*.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТР.
Предисловіе ко всему изданію.....	VII
Предисловіе къ I-му тому первой серіи	IX
1870.	
О методѣ и задачахъ исторіи литературы, какъ науки.....	1
1887.	
Замѣтка. Новый журналъ сравнительной литературы.....	18
1894.	
Изъ введенія въ историческую поэтику	30
1895.	
Изъ исторіи эпитета	58
1897.	
Эпическая повторенія, какъ хронологический моментъ.....	86
1898.	
Психологический параллелизмъ и его формы въ отраженіяхъ поэтическаго стиля.....	130

1899.

СТР.

Три главы изъ исторической поэтики	226
Приложениі:	
Къ статьѣ: «Изъ исторіи эпитета»	485
» » «Этическія повторенія»	504
• » » «Психологический параллелизмъ»	514
» » «Три главы изъ исторической поэтики»	535

Предисловіе ко всему изданію.

Цѣль настоящаго изданія — собрать во єдино ученое наслѣдіе А. Н. Веселовскаго. Едва-ли нужно доказывать, что такое предпріятіе одна изъ самыхъ настоятельныхъ потребностей русской науки, тѣмъ болѣе что многія изъ работъ Александра Николаевича давно уже стали библіографической рѣдкостью или разсѣяны въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ, не всѣмъ доступныхъ.

Ещѣ въ ноябрѣ 1906 г. сынъ покойнаго, А. А. Веселовскій, передалъ Отдѣленію Русскаго языка и словесности право на изданіе полнаго собранія сочиненій своего родителя. Тогда же изъ ближайшихъ учениковъ Александра Николаевича, гг. академиковъ и нѣкоторыхъ другихъ лицъ образовалась комиссія по изданію трудовъ великаго ученаго. Эта комиссія выдѣлила изъ своего состава редакціонный комитетъ, которому и было поручено ближайшее завѣдываніе изданіемъ. Въ комитетъ вошли: Е. В. Аничковъ, Ф. Д. Батюшковъ, Ф. А. Браунъ, Ю. Н. Верховскій, А. А. Веселовскій, Алексѣй Н. Веселовскій, Н. П. Кондаковъ, П. О. Морозовъ, Д. К. Петровъ, К. Ф. Тіандеръ, А. А. Шахматовъ и В. Ф. Шишмаревъ.

Редакціонный комитетъ въ теченіе первой половины 1907 г. собирался нѣсколько разъ и выработалъ планъ

изданія, который былъ одобренъ и принятъ комиссией. Сущность его сводится къ слѣдующему:

1) Сочиненія покойнаго академика распредѣляются на *восемь* серій, распадающихся, въ свою очередь, на большее или меньшее количество томовъ.

Серія первая (два тома). Поэтика.

Серія вторая (пять томовъ). Италія и Возрожденіе.

Серія третья (четыре тома). Романъ и повѣсть.

Серія четвертая (четыре тома). Разысканія въ области русскихъ духовныхъ стиховъ.

Серія пятая (пять томовъ). Легенда, фольклоръ и миѳология.

Серія шестая (три тома). Былины.

Серія седьмая (два тома). Новая русская литература.

Серія восьмая (одинъ томъ). Opuscula minora.

2) Въ каждой серіи и въ каждомъ томѣ порядокъ соблюдается хронологической.

3) Авторскія добавленія печатаются въ видѣ приложенийъ.

4) Статьи и работы на иностраннѣхъ языкахъ печатаются въ подлинникѣ.



A. Brinobius

Предисловіе къ I-му тому первой серіи.

Въ настоящемъ томѣ собраны статьи Александра Николаевича Веселовскаго теоретического характера: по методикѣ научнаго изученія литературы и поэтикѣ, представлявшейся ему лишь въ исторической перспективѣ.

Постоянство, съ которымъ Александръ Николаевичъ работалъ въ этомъ направленіи, особенно рельефно выступаетъ при сопоставленіи первой статьи этого тома, — вступительной лекціи, при самомъ началѣ профессорской дѣятельности, — и послѣдней („Три главы изъ исторической поэтики“), напечатанной почти черезъ тридцать лѣтъ, съ широкимъ примѣненіемъ сравнительнаго метода, рекомендуемаго авторомъ уже въ его вступительной лекціи.

Продолжать печатанье поэтики А. Н. Веселовскому при жизни уже не привелось. Оставшаяся послѣ него рукопись, — работы по истории сюжетовъ, — составить содержаніе второго тома этого изданія, который выйдетъ подъ редакціей В. Ф. Шишмарева. Но еще при жизни, печатая въ видѣ отдѣльныхъ статей, преимущественно въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, свои работы по исторической поэтике, Александръ Николаевичъ неоднократно къ нимъ возвращался, дѣлая помѣтки и дополненія, которыя сохранились въ рукописномъ видѣ. Они использованы въ настоящемъ изданіи, въ которомъ сведены троякаго рода помѣтки: а) на поляхъ отдѣльныхъ оттисковъ его статей, б) въ переплетенныхъ сбор-

никахъ статей, съ проклееной между ними бумагой, на которой авторъ и вписывалъ замѣтки и дополненія; наконецъ, в) въ особыхъ тетрадяхъ, пришитыхъ къ чистымъ оттискамъ.

Нѣкоторыя примѣчанія и дополненія отнесены къ опредѣленнымъ мѣстамъ въ статьяхъ и, соответственно указаніямъ, внесены какъ подстрочныя примѣчанія къ тексту. Другія,—по преимуществу выписки изъ разныхъ источниковъ—книгъ, журналовъ, сборниковъ,—помѣчены глухо: „къ стр. такой-то и слѣд.“. Иногда въ разныхъ мѣстахъ тетрадей и листовъ имѣются ссылки къ однимъ и тѣмъ же страницамъ статей; заносились эти примѣчанія безъ послѣдовательности, по мѣрѣ того, какъ подвергалась при чтеніи та или иная подходящая цитата. Всѣ эти примѣчанія отнесены во второй отдѣлъ настоящаго изданія и даются въ качествѣ приложенийъ, при чемъ наивозможно сведены или сгруппированы вмѣстѣ различныя примѣчанія, съ указаніемъ, къ какому мѣсту этой книги они могутъ быть отнесены.

Въ работахъ по изготавленію къ печати настоящаго тома дѣятельное участіе принимала А. А. Веселовская, избранная членомъ—сотрудникомъ редакціоннаго комитета. Анна Александровна дала себѣ трудъ провѣрить и исправить многочисленныя цитаты изъ разныхъ иностранныхъ источниковъ въ рукописныхъ помѣткахъ,—цитаты, приводимыя авторомъ иногда въ сокращенной редакціи, или по памяти, поэтому не всегда точно. Русскія цитаты свѣрялъ А. А. Шиловъ, которымъ составленъ и указатель именъ и предметовъ къ статьямъ и приложению въ этомъ томѣ.

Ф. Батюшковъ.

10-го Января 1913 года.

1870.

О методѣ и задачахъ исторіи литературы, какъ науки.

(Вступительная лекція въ курсѣ исторіи всеобщей литературы, читанная въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ университѣтѣ 5-го октября 1870 года).

[Журналъ Мин. Нар. Просв. 1870 г., Ноябрь, CLII, стр. 1—14].

Мм. гг.! Огъ всякаго, вступающаго въ цервый разъ на ка- 1
ѳедру, вы ожидаете и въ правѣ требовать, чтобы онъ изложилъ
предъ вами свою программу. Если предметъ, представителемъ
котораго онъ является, новый, не встрѣчавшійся до тѣхъ поръ
въ расписаніяхъ русскихъ университетскихъ курсовъ, то это ваше
требованіе еще болѣе основательно. Я нахожусь и въ томъ, и въ
другомъ положеніи; но вмѣсто программы приношу вамъ, одна-
коожъ, пѣчто въ родѣ обѣщанія, нѣсколько общихъ тезисовъ,
выработанныхъ наукою, нѣсколько своихъ личныхъ убѣжденій,
которымъ, можетъ быть, предстоитъ еще достигнуть научной
цѣнности. Болѣшаго теперь я не хочу обѣщать, ибо не желаю,
чтобы обѣщаніе превысило исполненіе. Впрочемъ, самое свойство
моего предмета, лишь недавно ставшаго предметомъ особой дис-
циплины, и положеніе его въ средѣ русскаго университетскаго
курса, еще не успѣвшее выясниться, одинаково побуждаютъ
меня къ осторожности. Какая потребность русской университет-
ской наукѣ въ каѳедрѣ всеобщей литературы? Какое мѣсто зай-
метъ она среди другихъ каѳедръ? Будетъ ли она служить тому,

чтò принято называть общимъ образованiемъ, или ей предоставлено будетъ преслѣдовать болѣе специальныя научныя цѣли? Все это вопросы, которые разрѣшить практика, и полная программа этого преподаванiя явится лишь въ концѣ его, согласно съ указанiями опыта.

Въ Германiи, какъ извѣстно, каѳедра всеобщей литературы существуетъ, какъ каѳедра романской и германской филологiи. Характеристика этой каѳедры дана въ самомъ названiи «филологiи». Профессоръ читаетъ какой-нибудь старо-французскiй, 2 старо-нѣмецкiй или провансальскiй текстъ (вы замѣтите, что дѣло идетъ преимущественно о старыхъ текстахъ); напередъ предлагаются краткiя грамматическiя правила, диктуются парадигмы спряженiй и склоненiй, особенности метрики, если текстъ стихотворный; затѣмъ слѣдуетъ самое чтенiе автора, сопровождаемое филологическими и литературными комментарiями. Такимъ образомъ читаются: «Эdda», «Беовульфъ», «Нибелунги» и «Пѣсня о Роландѣ». Намъ такая специализацiя не доступна, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ; во всякомъ случаѣ она не нашла бы себѣ достаточно послѣдователей, хотя несомнѣнная польза, которую изслѣдователь русской старины могъ бы извлечь изъ болѣе близкаго знакомства съ памятниками англо-саксонской и скандинавской литературы, легко можетъ устранить сомнѣнiя относительно утилитарности, или же непосредственной приложимости подобнаго рода занятiй.

Иногда нѣмецкая программа расширяется въ сторону собственно литературного комментарiя: по поводу «Нибелунговъ», напримѣръ, ни одинъ профессоръ не преминеть поговорить о распрѣ, до сихъ поръ раздѣляющей нѣмецкихъ ученыхъ по вопросу о рукописяхъ, въ которыхъ сохранился этотъ древнiй памятникъ нѣмецкой поэзiи. Но онъ пойдетъ еще далѣе: онъ будетъ говорить о его отношенiяхъ къ предшествовавшимъ народнымъ и литературнымъ пересказамъ той же саги, о его отголоскахъ въ позднѣйшей пѣснѣ и въ названiяхъ мѣстностей, о его мѣстѣ, вообще, въ кругу сказанiй о нѣмецкихъ герояхъ, и т. п. Такимъ

образомъ, задача, поставленная въ началѣ на тѣсно филологическую почву, можетъ разростись до болѣе широкой темы — о нѣмецкомъ народномъ эпосѣ вообще. Точно также разборъ французскихъ «*chansons de geste*» легко подаетъ поводъ къ цѣлому ряду такихъ изслѣдований, какъ, напримѣръ, «*Histoire poétique de Charlemagne*» Гастона Париса и «*Guillaume d'Orange*» Жонкблота (*Jonckbloet*); или же чтеніе памятниковъ древне-верхне-нѣмецкой письменности приведетъ къ небольшому ряду обобщеній и подниметъ, напримѣръ, вопросъ, недавно возбужденный Шереромъ, объ относительно большей или меньшей давности нѣмецкой литературы.

Такимъ образомъ, выходя изъ узкой специальности, ограниченной разборомъ и толкованіемъ древняго текста, мы переходимъ къ болѣе плодотворному анализу. Но здѣсь еще разъ поднимается вопросъ о примѣнимости такого курса. Объ общеблагодарствовательной пользѣ подобнаго рода изысканій, разумѣется, не можетъ быть и рѣчи; но и вопросъ о научной ихъ приложимости,— я разумѣю приложимость относительно русской науки,— по крайней мѣрѣ, наводить на сомнѣнія. Темныя судьбы | древне-з верхне-нѣмецкой письменности не могутъ возбудить въ насъ особынаго интереса; мы не прочь принять къ свѣдѣнію результаты изслѣдованія по этой части, но едва-ли вздумаемъ предпринять самое изысканіе. Съ другой стороны, несомнѣнно, что вопросъ о нѣмецкихъ сагахъ и французскихъ «*chansons de geste*» можетъ освѣтить намъ многія особенности русскаго пѣсеннааго творчества; что русская литература XVIII вѣка непонятна безъ хорошаго знакомства съ современнымъ движениемъ мысли въ Англіи и во Франціи; но все это— задачи, предоставленныя историку русской литературы или еще ожидающія его вниманія; историкъ же общей литературы можетъ приготовить ему материалы, но самъ приступить къ рѣшенію вопроса въ данномъ приложеніи не решится, изъ опасенія, чтобы орудіе анализа не разрослось въ его рукахъ до комической несоразмѣрности съ значеніемъ явленія, которое онъ возьмется освѣтить.

Совершенно иной характеръ получила исторія всеобщей литературы на кафедрахъ во Франціи и въ послѣднее время въ Италії. Я назвалъ бы его общеборозовательнымъ, если бы это название не потребовало объясненія въ свою очередь. Примѣры такихъ курсовъ представляютъ лекціи въ Collège de France, книги Филарета Шалля, «Michel Cervantes» Эмиля Шалля, сочиненія Мезьеря о Шекспирѣ и Петrarкѣ, наконецъ, «Исторія англійской литературы» Тэна. Предметомъ изслѣдованія избирается обыкновенно какая нибудь знаменательная въ культурномъ отношеніи эпоха: напримѣръ, итальянское возрожденіе XVI вѣка, англійская драма и т. п.; но всего чаще какой-нибудь великій человѣкъ долженъ отвѣтить за единство взгляда, за цѣльность обобщенія: Петrarка, Сервантесъ, Данте и его время, Шекспиръ и его современники. Времени, современникамъ не всегда отводится плачевная роль привѣсокъ, кирпичей для пьедестала великаго человѣка; можно сказать наоборотъ, что въ послѣдніе годы эта обстановка главнаго лица замѣтно выдвинулась впередъ и не только оттѣняетъ великаго человѣка, но и объясняетъ его, и въ значительной мѣрѣ сама имъ объясняется. При всемъ томъ, великій человѣкъ остается въ центрѣ всего, видимо для глаза связью, хотя бы на это мѣсто поставило его не содержаніе его дѣятельности, собравшей въ себѣ всѣ лучи современаго развитія, а часто риторический разсчетъ современного изслѣдователя на то внѣшнее впечатлѣніе единства, какое производить на насъ извѣстное имя, извѣстное событие, и которое мы склонны принять за единство внутреннее.

Другія риторическія уловки приоровлены къ тому, чтобы усилить это искусственное впечатлѣніе: къ великому человѣку сходятся, въ | немъ резюмируются всѣ пути развитія, отъ него расходятся всѣ вліянія, подобно тому какъ въ саду, распланированномъ во вкусѣ XVIII столѣтія, всѣ аллеи сведены въ еромъ или радиусами къ дворцу или какому-нибудь псевдоклассическому памятнику, при чемъ всегда оказывается, что памятникъ все же не отовсюду видѣнъ, либо неудачно освѣщенъ, или не таковъ,

чтобы стоять ему на центральной площадкѣ хорошо распланированного сада, съ перспективами во всѣ стороны. Понятно, почему теорія героевъ, этихъ вождей и дѣлателей человѣчества, какъ изображаютъ ихъ Карлейль и Эмерсонъ, хороша и поэтична лишь въ своей неприкосновенности, доведенная до конца. Съ этой точки зрѣнія они, дѣйствительно, могутъ представиться избранниками неба, изрѣдка сходящими на землю: одинокіе дѣятели, они стоять на высотѣ; имъ нѣтъ нужды въ окруженіи и перспективѣ. Но современная наука позволила себѣ заглянуть въ тѣ массы, которыя до тѣхъ порь стояли позади ихъ, лишенныя голоса; она замѣтила въ нихъ жизнь, движеніе, непримѣтное простому глазу, какъ все, совершающееся въ слишкомъ обширныхъ размѣрахъ пространства и времени; тайныхъ пружинъ историческаго процесса слѣдовало искать здѣсь, и вмѣстѣ съ понижениемъ материальнаго уровня историческихъ изысканій центръ тяжести былъ перенесенъ въ народную жизнь. Великія личности явились теперь отблесками того или другаго движенія, приготовленнаго въ массѣ, болѣе или менѣе яркими, смотря по степени сознательности съ какою они отнеслись къ нему, или по степени энергіи, съ какою помогли ему выразиться. Говорить о нихъ, какъ о выразителяхъ *всего* времени, и вмѣстѣ съ тѣмъ обставлять ихъ культурнымъ матеріаломъ, свидѣтельствующимъ о движеніяхъ массы, значитъ — смѣшивать старое построеніе съ новымъ, не замѣчая всей несообразности этой смѣси. Или великіе люди ведутъ за собою время, — въ такомъ случаѣ всѣ подробности, ка-сающіяся ихъ среды и современного имъ быта, на которыя такъ щедры эссеисты, являются въ этой связи привѣскомъ, лишеннымъ серіознаго значенія; или во всемъ этомъ есть смыслъ, — въ такомъ случаѣ историческая работа совершается снизу, великіе люди принимаютъ ее изъ пеленокъ, переживаются сознательно; но тогда говорить о героеѣ, какъ о выразителе *всего* времени, значитъ — придавать ему сверхъестественные размѣры Гарантюа, забывая все разнообразіе исторической мысли, воплотить которую не подъ силу одному человѣку. Какъ бы то ни было, смѣ-

шеніе ли старой точки зрења съ новою, или просто возвращеніе къ старому, только въ этой подмалевкѣ народными и бытовыми красками грунта, на которомъ должна тѣмъ | ярче обрисовываться грандиозная Фигура героя, есть извѣстная доля лжи, которую я думалъ объяснить исканіемъ риторического эффекта.

При всѣхъ недостаткахъ подобного изложенія исторіи литературы, характеризующаго французскую школу, оно представляетъ и громадныя преимущества.

Именно это изложение предоставляетъ всего болѣе мѣста тому, чѣмъ мы можемъ назвать матеріаломъ общаго образованія: широкимъ историческимъ взглядамъ, характеристикѣ культуры, философскимъ обобщеніямъ исторического развитія. Только въ научной состоятельности этихъ обобщеній мы склонны иной разъ усомниться.

Подъ словомъ «обобщеніе» мы привыкли разумѣть понятія весьма различныя и далеко другъ отъ друга расходящіяся. На практикѣ въ этомъ нѣтъ большого грѣха, но въ наукѣ интересно бываетъ отдѣлить принятное отъ дозволенного. Вы изучаете, напримѣрь, какую-нибудь эпоху; если вы желаете выработать свой собственный самостоятельный взглядъ на нее, вамъ необходимо познакомиться не только съ ея крупными явленіями, но и съ тою житейскою мелочью, которая обусловила ихъ; вы постараетесь прослѣдить между ними связь причинъ и слѣдствій; для удобства работы вы станете подходить къ предмету по частямъ, съ одной какой-нибудь стороны: всякий разъ вы прийдете къ какому-нибудь выводу или къ ряду частныхъ выводовъ.

Вы повторили эту операцию нѣсколько разъ въ приложеніи къ разнымъ группамъ фактovъ; у васъ получилось уже нѣсколько рядовъ выводовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ явилась возможность ихъ взаимной проверки, возможность работать надъ ними, какъ вы доселъ работали надъ голыми фактами, возводя къ болѣе широкимъ принципамъ то, что въ нихъ встрѣтилось общаго, родственнаго, другими словами, достигая на почвѣ логики, но при постоянной фактической проверкѣ, второго ряда обобщеній.

Такимъ образомъ, восходя далѣе и далѣе, вы прійдете къ послѣднему, самому полному обобщенію, которое въ сущности и выражить вашъ конечный взглядъ на изучаемую область. Если вы вздумаете изобразить ее, этотъ взглядъ сообщить ей естественную окраску и цѣльность организма. Это обобщеніе можно назвать *научнымъ*, разумѣется, въ той мѣрѣ, въ какой соблюдена постепенность работы и постоянная проверка фактами, и насколько въ вашемъ обобщеніи не опущенъ ни одинъ членъ сравненія. Работа болѣе или менѣе продолжительная, смотря по обширности предмета. Гиббоу стоила его книга двадцати лѣтъ труда; Боклю она стоила всей жизни. | 6

Можно и облегчить себѣ эту задачу. Ваше вниманіе, напримѣръ, обратила на себя исторія французской мысли въ XVI вѣкѣ. Вы изучили ея главныхъ представителей — Рабле, Монтеня, Ронсара и Маро. Вы разсуждаете такимъ образомъ: если эти люди выдались впередъ, если ихъ сочиненія болѣе другихъ продолжаютъ привлекать вниманіе, то очевидно потому, что въ нихъ болѣе таланта, и какъ болѣе талантливые, они сильнѣе успѣли воспринять и отразить современныя имъ движения исторической мысли. И вотъ, Рабле и Маро являются представителями старой Франціи, того «esprit gaulois», которому еще разъ суждено было сказатьсь въ полномъ цвѣтѣ при дворахъ Франциска I и Маргариты Наваррской. Ронсаръ является нѣсколько позже; онъ уже составляетъ переходъ къ позднѣйшему литературному монархизму. Монтень — это типъ вѣчнаго скептика, благодушно уединившагося на островъ, когда впереди и сзади играетъ буря, и т. п. На этихъ трехъ идеякахъ можно, если хотите, построить канву эпохи возрожденія во Франціи; къ нимъ пристроились бы по категоріямъ всѣ промежуточныя явленія; другія, не подходящія, отнесутся къ явленіямъ переходнымъ; картина можетъ выйтти полная.

Исторію англійской литературы и жизни точно также пробовали объяснить изъ смѣны англо-саксонского и норманнского элементовъ, ихъ борьбы и примиренія, и факты, казалось, укла-

дывались въ эти обобщенія. Но эти обобщенія *не полны*, потому что добыты безъ соблюденія тѣхъ условій постепенности, о которыхъ говорено выше. Они могутъ и не противорѣчить условіямъ научнымъ, но совпаденіе тѣхъ и другихъ будетъ случайное. Къ этому разряду обобщеній относятся болѣшая часть тѣхъ книжекъ, въ заглавіи которыхъ стоитъ: такой-то и его время. Французская литература ими богата.

Еще хуже бываетъ, когда обобщеніе получено даже не изъ такого односторонняго, неполнаго изученія явленій, а принято на вѣру изъ какого-нибудь другого источника, будеть ли это предвзятая мысль, убѣжденіе публициста, и т. п. Я, напримѣръ, полагаю, что сенсуально-реалистической взглядъ на дѣйствительность есть характеристическая особенность древнерусскаго міросозерцанія. Я принимаюсь подыскивать факты, подтверждающіе мое мнѣніе: одни изъ нихъ отвѣчаютъ на это охотно, другие поддаются при легкой патяжкѣ. Факты собраны, подведены подъ одинъ взглядъ, и вышла книга. Книга хорошая, взглядъ въ значительной степени вѣрный; но ни тотъ, ни другой не научны; потому что не доказательны. Не доказано главное положеніе, 7 можетъ-быть также, его и вовсе нельзя доказать. Могутъ замѣтить, что міросозерцаніе, выставленное какъ характерно русское, вовсе не характерно для Россіи; что было время, когда оно преобладало и на Западѣ; что если оно характеризуетъ что-нибудь, то не расу, не народъ, не данную цивилизацию, а известный культурный періодъ, повторяющійся, при стеченіи одинаковыхъ условій, у разныхъ народовъ. Стало быть, или обобщеніе не полно, то-есть, недовольно взято материала для сравненія; или оно принято на вѣру, не добыто изъ фактovъ, а факты къ нему приоровлены: въ такомъ случаѣ оно *не научно*.

Само собою разумѣется, я постараюсь по возможности избѣгать не научныхъ и неполныхъ обобщеній. Нѣсколько гипотетическихъ истинъ, которыя я предложу вамъ въ началѣ этого методологического курса, могутъ показаться уклоненіемъ отъ этого правила, не достаточно оправданныя фактами. Но онѣ и предла-

гаются болѣе какъ личный взглядъ на генезисъ науки и поэзіи, и должны подвергнуться потомъ проверкѣ фактами; онъ казалась мнѣ необходимыми, какъ точка отправленія, условность или состоятельность которой должна обнаружиться при обратномъ восхожденіи отъ результатовъ къ посылкамъ. Что касается до фактическаго изложенія, которое займетъ насъ въ послѣдующихъ курсахъ, то здѣсь программѣ придется колебаться между полнымъ обобщеніемъ, которое мы готовы назвать идеаломъ исторической науки, и тѣмъ узко-специальнymъ изслѣдованіемъ, примеры которой мы видѣли на немецкихъ каѳедрахъ. Но научное обобщеніе, приложенное къ широкимъ литературнымъ эпохамъ, которыхъ всего болѣе могли бы привлечь ваше вниманіе, возможно лишь въ концѣ долгой ученой дѣятельности, какъ результатъ массы частныхъ обобщеній, добытыхъ изъ анализа цѣлаго ряда частныхъ фактовъ. Вы поймете, что подобнаго труда я серіозно обѣщать не могу. Съ другой стороны, ограниченное болѣе узкою, фактическою сферой, обобщеніе легко можетъ перейти къ той специализаціи, избѣгать которой заставляютъ меня исключительныя потребности русской каѳедры. Тутъ, стало быть, необходимъ выборъ, золотая середина.

Я не выставляю ее своимъ идеаломъ; я только высказалъ отрицательную сторону своей программы. Ея положительная сторона, та, которая всего болѣе интересуетъ меня, состоить въ методѣ, которому я желалъ бы научить васъ, и вмѣстѣ съ вами, самъ ему научиться. Я разумѣю методъ сравнительный. Въ послѣдствіи я думаю разсказать вамъ, какъ въ дѣлѣ историко-литературныхъ изслѣдованій онъ смѣнилъ методы эстетической, философской, и если угодно, исторической. | Здѣсь мнѣ хотѣлось бы указать лишь на тотъ фактъ, что это методъ вовсе не новый, не предлагающій какого-либо особаго принципа изслѣдованія: онъ есть только развитіе исторического, тотъ же исторический методъ, только утвержденный, повторенный въ параллельныхъ рядахъ, въ видахъ достижения возможно полнаго обобщенія. Я говорю въ настоящемъ случаѣ о его приложеніи къ фактамъ

исторической и общественной жизни. Изучая ряды фактовъ, мы замѣчаемъ ихъ послѣдовательность, отношеніе между ними послѣдующаго и предыдущаго; если это отношеніе повторяется, мы начинаемъ подозрѣвать въ немъ извѣстную законность; если оно повторяется часто, мы перестаемъ говорить о предыдущемъ и послѣдующемъ, замѣня ихъ выраженіемъ причины и слѣдствія. Мы даже склонны пойти далѣе и охотно переносимъ это тѣсное понятіе причинности на ближайшіе изъ смежныхъ фактовъ: они или вызвали причину, или являются отголоскомъ слѣдствія. Беремъ на повѣрку параллельный рядъ сходныхъ фактовъ: здесь отношеніе данного предыдущаго и данного послѣдующаго можетъ не повториться, или если представится, то смежные съ ними члены будутъ различны, и наоборотъ, окажется сходство на болѣе отдаленныхъ степеняхъ рядовъ. Сообразно съ этимъ, мы ограничиваемъ или расширяемъ наше понятіе о причинности; каждый новый параллельный рядъ можетъ принести съ собою новое измѣненіе понятія; чѣмъ болѣе такихъ провѣрочныхъ повторений, тѣмъ болѣе вѣроятія, что полученное обобщеніе подойдетъ къ точности закона.

Извѣстно, какой поворотъ въ изученіи и въ цѣнности добываемыхъ результатовъ произвело въ области лингвистики приложеніе сравнительного метода. Въ послѣднее время онъ былъ перенесенъ и въ области миѳологии, народной поэзіи, такъ-называемыхъ странствующихъ сказаній, а съ другой стороны примѣненъ къ изученію географіи и юридическихъ обычаевъ. Крайности приложенія, обличающія увлеченія всякою новою системою, не должны разубѣждать насъ въ состоятельности самого метода: успѣхи лингвистики на этомъ пути подаютъ надежду, что и въ области историческихъ и литературныхъ явлений мы дождемся если не одинаково, то приблизительно точныхъ результатовъ. Отчасти эти результаты уже получены или ожидаются въ близкомъ времени. Напримѣръ, на почвѣ литературы, сравнительно-историческій методъ во многомъ измѣнилъ ходячія определенія поэзіи, порасширилъ нѣмецкую эстетику. Нѣмецкая эстетика

вскормлена была на классикахъ; она вѣрила, и отчасти продолжаетъ вѣрить въ личность Гомера. Гомеровскій эпосъ есть для нея идеалъ эпопеи; отсюда гипотеза личнаго творчества. Вмѣстѣ съ Винкельманомъ она молилась на красоты греческой пластики и на пластичность древней поэзіи; отсюда является гипотеза красоты, какъ необходимаго содержанія искусства. Прозрачность греческаго литературнаго развитія, выразившаяся въ послѣдовательности эпоса, лирики и драмы, была принята за норму и даже получила философское освѣщеніе, по которому драма, напримѣръ, не только являлась необходимымъ заключеніемъ литературной жизни народа, но и взаимнымъ проникновеніемъ объективности эпоса съ субъективностью лирики, и т. п.

Когда Вольфъ позволилъ себѣ усомниться въ личности Гомера, онъ выходилъ изъ критики Гомеровскаго текста,—другими словами, матеріалъ его сравненій оставался по прежнему специально греческій, и онъ работалъ надъ фактами одного ряда. Но явился Гердеръ съ своими «Пѣсенными отголосками народовъ»; Англичане, а за ними Нѣмцы открыли Индію; романтическая школа распространила свои симпатіи оть Индіи ко всему востоку и также далеко въ глубь запада, къ Кальдерону и къ поэзіи нѣмецкой средневѣковой старины. Такимъ образомъ, явилась возможность изучать сходныя явленія въ нѣсколькоихъ параллельныхъ рядахъ фактовъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, характеръ прежнихъ обобщеній не только долженъ былъ сдѣлаться полнѣе, но и во многихъ случаяхъ радикально пzmѣниться. Рядомъ съ личною эпопеей Гомера стало нѣсколько безличныхъ эпопеи; теорія личнаго творчества была подорвана: нѣмецкая эстетика до сихъ поръ не знаетъ, какъ ей быть, напримѣръ, съ «Калевалой», съ французскими «chansons de geste». Рядомъ съ искусственною лирикой раскрылось богатство народной пѣсни, съ которой плохо дадила теорія красоты, какъ исключительной задачи искусства. Оказалось наконецъ, что драма существовала за долго до эпоса и притомъ съ совершенно эпическимъ содержаніемъ: примѣръ этого представляютъ средневѣковыя мистеріи и народныя игры, сопро-

вождавшія годовыя празднества и отличавшіяся совершенно драматическимъ характеромъ. Но то же самое можно сказать и о лирикѣ; ведійскіе гимны и тѣ короткія пѣсни, кантилены, изъ которыхъ сложились великія народныя эпопеи, отличаются лирическимъ строемъ. Нѣмецкая эстетика игнорируетъ мистерію, а народной пѣснѣ отвела лишь мелкое служебное мѣсто въ отдѣлѣ лирики. Но это игнорированіе ни къ чemu не ведеть; эстетикѣ все же придется перестроиться, придется строже отдѣлить 10 вопросъ о формѣ отъ вопросовъ о міросозерцанії. То, что | мы могли бы назвать эпическимъ, лирическимъ, драматическимъ міросозерцаніемъ, должно было въ самомъ дѣлѣ выступать въ извѣстной послѣдовательности, опредѣляемой все болѣшимъ и болѣшимъ развитіемъ личности, хотя я смѣю думать, что эта послѣдовательность не совершенно угадана нѣмецкою эстетикой. Что касается до формъ эпоса, лирики и драмы, отъ которыхъ пошло название извѣстныхъ поэтическихъ родовъ и эпохъ поэзіи, то онѣ даны задолго до проявленія въ исторіи тѣхъ особенностей міросозерцанія, на которые мы перенесли опредѣленіе эпического, лирическаго и т. п. Эти формы — естественное выраженіе мысли; чтобы проявиться, имъ нечего было дожидаться исторіи. Форма драмы встрѣчается уже въ Ведахъ и въ разговорахъ боговъ Старой Эдды. Между этими формами и измѣняющимся содержаниемъ міросозерцанія устанавливаются отношенія какъ-бы естественного подбора, опредѣляемыя условіями быта и случайностями исторіи. Такъ, патріархально-аристократическіе пиры и посидѣлки въ палатахъ Алкиноя или въ замкѣ средневѣковаго рыцаря должны были вызывать память о подвигахъ, разсказы аэдовъ и труверовъ. Ведійскіе гимны и дельфійская лирика развиваются въ непосредственной связи съ жертвоприношеніемъ и славословіемъ боговъ, съ развитіемъ жреческаго сословія; греческая драма обусловлена уличною жизнью Аѳинъ, общественною дѣятельностью народныхъ собраній и торжественнымъ обиходомъ празднествъ Діониса. Разумѣется, этого подбора могло и не быть; данное міросозерцаніе могло осложниться не тою формою, ко-

торая теперь дает ему название. Какъ Аристотель ставить Гомера во главѣ греческихъ трагиковъ, такъ и мы до сихъ порь говоримъ о драматизмѣ такого-то положенія въ романѣ и зѣваемъ отъ эпической растянутости иной драмы.

Во всемъ этомъ не одно разрушеніе обветшалаго взгляда, но и задатки новаго построенія. Если не ошибаюсь, сравнительное изученіе поэзіи должно во многомъ измѣнить ходячія понятія о творчествѣ. Вы это повѣрите сами. Положимъ, вы не имѣете понятія о прелестяхъ средневѣковой романтики, о тайнахъ Круглого Стола, объ исканіи Святаго Граля и о хитростяхъ Мерлина. Вы въ первый разъ встрѣтились со всѣмъ этимъ міромъ въ «Королевскихъ идилліяхъ» Теннисона. Онъ привлекъ васъ своею фантастичностью, своюю поэзіей; вы полюбили его героеvъ; ихъ надежды и страданія, ихъ любовь и ненависть, все это вы отнесли на счетъ поэта, умѣвшаго воплотить передъ вами эту, можетъ быть, никогда не существовавшую на землѣ | дѣйствительность. 11 Вы судите по недавнему опыту, по тому или другому роману, который заявляетъ себя личнымъ измышленіемъ своего автора. Всльдъ за тѣмъ вамъ случилось раскрыть старыя поэмы Гартмана фонъ-деръ-Ауе, Готтфрида Страсбургскаго и Вольфрама фонъ-Эшенбахъ: вы встрѣтили въ нихъ то же содержаніе, знакомыя лица и приключенія — Эрека и страдальческій образъ Эниты, Вивіану, опутавшую Мерлина, любовь Ланцелота и Джиневры. Только мотивы дѣйствія здѣсь иные, чувства и характеры архаистичнѣе, подъ стать далекому вѣку. Вы заключаете, что здѣсь произошло заимствованіе новымъ авторомъ у старыхъ, и найдете поэтический прогрессъ въ томъ, что въ прежніе образы внесено болѣе человѣчныхъ мотивовъ, болѣе понятной намъ психологіи, болѣе современной рефлексіи. Вы, разумѣется, отнесете на счетъ XIX вѣка ту любовь къ фламандской сторонѣ жизни, которая останавливается на ея иногда совершенно неинтересныхъ мелочахъ, и на счетъ XVIII столѣтія то искусственное отношеніе къ природѣ, которое любить всякое дѣйствіе вставлять въ рамки пейзажа и въ его стилѣ, темномъ или игривомъ, выражать свое

собственное сочувствіе человѣческому дѣлу. Средневѣковый поэтъ могъ разсказывать о подвигахъ Эрека, но ему въ голову не пришло бы говорить о томъ, какъ онъ вѣхалъ на дворъ замка Иньоля, какъ его конь топталъ при этомъ колючія звѣзды волчца, выглядывавшія изъ разсѣлинъ камней, какъ онъ самъ оглянулся и увидѣлъ вокругъ себя однѣ развалины: «Здѣсь стояла покосившись арка, оперенная папоротникомъ, тамъ обвалилась большая часть башни, словно отпавшій отъ утеса камень, на который высыпалася веселая семья цвѣтовъ. Обломокъ лѣстницы вился высоко къ верху: она открыта солнцу, и на ней слѣды шаговъ, теперь давно замолкшихъ. Чудовищные стволы плюща охватили вѣтвистыми объятіями сѣрыя стѣны и всасываются въ пазы между камней; внизу они похожи на свившихся въузель змѣй, вверху раскинулись тѣнистою рощей»¹⁾. |

Эти реальные подробности обличаютъ новое время: это — зеленые побѣги плюща, охватившіе сѣрые своды древняго сканія; но самое сказаніе вы признали и продолжаете говорить о заимствованіи. Такимъ образомъ вы вѣрно рѣшили одну сторону вопроса, которую вамъ предстоитъ только обобщить.

Но вы еще не можете остановиться на этой стадіи сравненія: восходя далѣе отъ средневѣковой нѣмецкой романтики, вы найдете тѣ же разсказы во французскихъ романахъ Круглаго Стола,

1)

Then rode Geraint into the castle court,
His charger trampling many a prickly star
Of sprouted thistle on the broken stones.
He look'd and saw that all was ruinous.
Here stood a shatter'd archway plumed with fern;
And here had fall'n a great part of a tower,
Whole, like a crag that tumbles from the cliff,
And like a crag was gay with wilding flowers:
And high above a piece of turret stair,
Worn by the feet that now were silent, wound
Bare to the sun, and monstrous ivy-stems
Claspt the gray walls with hairy-fibred arms,
And suck'd the joining of the stones, and look'd
A knot, beneath, of snakes, aloft, a grove.

Tennyson, Idylls of the King: Enid.

въ народныхъ сказаніяхъ Кельтовъ; еще далѣе — въ повѣство-
вательной литературѣ Индѣйцевъ и Монголовъ, въ сказкахъ во-
стока и запада. Вы ставите себѣ вопросъ о границахъ и усло-
віяхъ творчества.

Лотце называетъ геніальными поэтическимъ инстинктомъ склонность великихъ поэтовъ обрабатывать сюжеты, уже под-
вергшіеся однажды поэтической переработкѣ. Таковъ, какъ
извѣстно, пріемъ Шекспира: его драмы построены большею-
частію на італіанскихъ новеллахъ, а историческія пьесы — на
хроникѣ Голиншеда. Лотце присоединяетъ къ нему еще Гёте.
Примѣровъ, подобныхъ приведенному, можно подобрать мно-
жество¹⁾; только они могутъ показаться слишкомъ специальными,
подобранными и потому недоказательными. Доказательство при-
носить ежедневный опытъ: нѣть повѣсти или романа, которыхъ
положенія не напомнили бы намъ подобныя же, встрѣченныя
нами при другомъ случаѣ, можетъ-быть, нѣсколько переиначен-
ныя и съ другими именами. Интриги, находящіяся въ обращеніи
у романистовъ, сводятся къ небольшому числу, которое легко
свести къ еще меньшему числу болѣе общихъ типовъ: сцены
любви и ненависти, борьбы и преслѣдованія встрѣчаются намъ
однообразно въ романѣ и новеллѣ, въ легендѣ и сказкѣ, или
лучше сказать, однообразно провожаютъ насъ отъ мифической
сказки къ новеллѣ и легендѣ и доводятъ до современного романа.
Легенда о Фаустѣ обошла подъ разными именами старую и но-
вую Европу; Прометея Эсхила можно угадать въ Лео Шпильга-
гена, въ Pramathas индѣйскаго эпоса, въ миѳѣ о снесеніи небес-
наго огня на землю. Отвѣтъ на поставленный вопросъ можетъ
быть предложенъ опять же въ формѣ гипотетического вопроса: из
не ограничено ли поэтическое творчество извѣстными опредѣлен-
ными формулами, устойчивыми мотивами, которые одно поколѣніе
приняло отъ предыдущаго, а это отъ третьяго, которыхъ перво-

1) См. Nutt, Studies on the legend of the Holy Grail (London, 1888), стр. 235
слѣд. (Исторія идеала Граля; 248 слѣд.: Вольфрамъ и Вагнеръ).

образы мы неизбежно встрѣтимъ въ эпической старинѣ и далѣе, на степени миоа, въ конкретныхъ опредѣленіяхъ первобытнаго слова? Каждая новая поэтическая эпоха не работаетъ ли надъ изстари завѣщанными образами, обязательно вращаясь въ ихъ границахъ, позволяя себѣ лишь новыя комбинаціи старыхъ, и только наполняя ихъ тѣмъ новымъ пониманіемъ жизни, которое собственно и составляетъ ея прогрессъ передъ прошлымъ? По крайней мѣрѣ, исторія языка предлагаетъ намъ аналогическое явленіе. Новаго языка мы не создаемъ, мы получаемъ его отъ рожденія совсѣмъ готовымъ, не подлежащимъ отмѣнѣ; фактическія измѣненія, приводимыя исторіей, не скрываютъ первоначальной формы слова или скрываютъ постепенно, незамѣтно для двухъ слѣдующихъ другъ за другомъ поколѣній. Новыя комбинаціи совершаются внутри положенныхъ границъ, изъ обвѣт- рившагося материала: я укажу въ примѣрѣ на образование романскаго глагола. Но каждая культурная эпоха обогащаетъ внутреннее содержаніе слова новыми успѣхами знанія, новыми понятіями человѣчности. Стоитъ прослѣдить исторію любого отвлеченного слова, чтобы убѣдиться въ этомъ: отъ слова *духъ*, въ его конкретномъ смыслѣ, до его современного употребленія такъ же далеко, какъ отъ индѣйскаго Прамата до Прометея Эсхила.

Это внутреннее обогащеніе содержанія, этотъ прогрессъ общественной мысли въ границахъ слова или устойчивой поэтической формулы долженъ привлечь вниманіе психолога, философа, эстетика: онъ относится къ исторіи мысли. Но рядомъ съ этимъ фактъ: это рядъ неизмѣнныхъ формулъ, далеко простирающихся въ области исторій, отъ современной поэзіи къ древней, къ эпосу и миоу. Это материалъ столь же устойчивый, какъ и материалъ слова, и анализъ его принесетъ не менѣе прочные результаты. Иные изъ нихъ уже выработываются современною наукою; другіе выражены были ранѣе, хотя еще гипотетически. «Можно бы составить чрезвычайно интересный трудъ о

происхождени народной поэзии и о переходѣ схожихъ сказаний изъ вѣка въ вѣкъ и изъ одной страны въ другую», — говорилъ Вальтеръ-Скоттъ въ одномъ примѣчаніи къ «Lady of the Lake»: «тогда обнаружилось бы, что то, что въ одномъ періодѣ было миѳомъ, перешло въ романъ слѣдующаго столѣтія и позднѣе въ дѣтскую сказку. | Такое изслѣдованіе значительно умалило бы 14 наши представлениа о богатствѣ человѣческой изобрѣтательности».

Мнѣ хотѣлось бы кончить опредѣленіемъ въ нѣсколькихъ словахъ понятія исторіи литературы. Исторія литературы въ широкомъ смыслѣ этого слова — это исторія общественной мысли, на сколько она выразилась въ движеніи философскомъ, религіозномъ и поэтическомъ и закрѣплена словомъ. Если, какъ мнѣ кажется, въ исторіи литературы слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на поэзію, то сравнительный методъ откроетъ ей въ этой болѣе тѣсной сферѣ совершенно новую задачу — прослѣдить, какимъ образомъ новое содержаніе жизни, этотъ элементъ свободы, приливающій съ каждымъ новымъ поколѣніемъ, проникаетъ старые образы, эти формы необходимости, въ которыхъ неизбѣжно отливалось всякое предыдущее развитіе. Но это ея идеальная задача, и я берусь только указать вамъ, что можно сдѣлать на этомъ пути при настоящихъ условіяхъ знанія.

104045



1887.

Замѣтка.

Новый журналъ сравнительной исторіи литературы.

— Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte, herausgegeben von Dr. Max Koch. 1-en Bandes 1-es Heft (1886).

[Вѣстникъ Европы, 1887, Январь, стр. 431—39].

431 Появленіе новаго историко-литературнаго органа отвѣчаетъ дѣйствительной потребности, не разъ формулированной, хотя не въ надлежащей полнотѣ, и осуществлявшейся односторонне. Задача сравнительного изученія литературы отвѣчала, по идеѣ, каѳедрѣ исторіи всеобщей литературы, введенной въ русскіе университеты уставомъ 1863 года и нынѣ замѣненной каѳедрою литературы западныхъ. Сходныя задачи преслѣдовалъ Гоше въ своемъ «Archiv für Litteraturgeschichte», остановившемся на первомъ годѣ, и, съ болѣе специальнымъ оттѣнкомъ, «Orient und Occident», Бенфея. Въ послѣднемъ былъ бы совершенно у мѣста переводъ одной народной книги, составленной въ XVIII-мъ в. итальянскимъ іезуитомъ-миссіонеромъ, Веніаминомъ Бески: удачное сопоставленіе сказокъ въ стилѣ *Lalembürg* или нашихъ — о Лутонюшкѣ и т. п., но, въ сущности, сырой матеріаль, съ указаніями нѣкоторыхъ параллелей (см. стр. 48 слѣд. «Die Abenteuer des Guru Paramärtan» von Hermann Oesterley). Наоборотъ, такія работы, какъ статьи Boukel'я («Beiträge zur Litteratur des Volksliedes», стр. 73 слѣд.) и Marcus Landau («Das Heiratsver-

sprechen», стр. 13 слѣд.) мы ожидали бы встрѣтить на страницахъ любого изъ журналовъ, посвященныхъ изслѣдованию народной поэзіи (Folklore): первая представляетъ собраніе разноязычныхъ варіантовъ къ одной известной народной пѣсни, не пыталась ихъ разработать; вторая преслѣдуєтъ исторію одного поэтическаго сюжета отъ Келлимаховой Кадипы, сохранившейся въ пересказахъ Аристенета и Овидія (см. мою статью: «Беллетристика у древнихъ грековъ», «Вѣстн. Евроپы» 1876, декабрь, стр. 678—9) до причудливой, въ своей мистической поэзіи, легенды Gautier de Coincy: о юношѣ, обрученникѣ Богородицы.

Можно не соглашаться съ нѣкоторыми изъ сближеній, предлагаемыхъ Landaу, и съ основанными на нихъ генеалогическими выводами, но, съ одной стороны, такая работа никогда не бываетъ «безъ остатка», съ другой — пора выйти изъ периода начинаний, когда простой подборъ параллелей вмѣнялся въ заслугу. Журналы по «Folklore'у» уже начинаютъ кое гдѣ выходить на новый путь,— единственные, въ | своей ограниченной области, 432 къ которымъ можно примѣнить название журналовъ по сравнительной исторіи литературы.

Что это название и самый методъ подобаетъ распространить на всю область, обнимаемую понятіемъ литературы въ широкомъ смыслѣ этого слова,— на это не разъ указывали, обѣ этомъ подробно говорили многіе. Съ точки зрѣнія, нами усвоенной, программа издателя (Max Koch, «Zur Einführung», стр. 1 слѣд.) не представляетъ ничего нового, но, появляясь въ заголовкѣ новаго журнала, который отвѣтить на ея обѣщанія, она заслуживаетъ вниманія.

Приложеніе сравнительного метода къ узученію европейскихъ литературъ требуетъ ихъ взаимной зависимостью и общими условіями генезиса,— говоритъ Max Koch (стр. 2—3). Ни одна изъ европейскихъ литературъ, слѣдовавшихъ за римской, не развилась изъ исключительно народныхъ основъ. Римско-византійское христианство внесло въ поэзію новыхъ народовъ болѣе или менѣе плодотворные мотивы восточной литературы и культуры; Вир-

гилій очутился христіанськимъ поэтомъ; нѣмецкіе иноки разсказы-
вали заимствованными у него гекзаметрами языческія германскія
саги; Троянскія Дѣянія и Александрія были популярны въ тек-
ченіе среднихъ вѣковъ; французскіе, нѣмецкіе, испанскіе и слав-
янскіе поэты пересказывали въ новой поэтической формѣ сю-
жеты, когда-то выраженные въ Гомеровскихъ гекзаметрахъ или
въ прозѣ Курція. Античные элементы, усвоенные уже средне-
вѣковымъ развитіемъ, усиливаются въ пору Возрожденія. Средніе
вѣка создали международную латинскую литературу; Возрожденіе
указало общіе всѣмъ идеалы въ произведеніяхъ римскихъ и,
позднѣе, греческихъ писателей, вызвало литературу къ значенію
политической силы, наложило на нее одну печать, легко узнавае-
мую, на какомъ бы языкѣ та литература ни выражалась. Оцѣ-
нить эту новую цѣльность, созданную Возрожденіемъ, а въ ней
услѣдить частныя связи зависимости и международныхъ вліяній,
можно только съ точки зрењія сравнительной исторіи литературы.
Петракизмъ развивается на почвѣ англійской поэзіи; драма Ло-
песъ де Вега и Шекспира слагается въ сознательной противопо-
ложности къ трагедіямъ Сенеки, считавшимся образцами, слѣдуя
которымъ, Jodelle, задолго до Корнеля, задумалъ упорядочить
французскую драму, какъ его товарищи по плеядѣ претворяли
на античный ладъ всю французскую литературу. Гансъ Саксъ и
Шекспиръ заимствуютъ сюжеты своихъ произведеній изъ новелль
«Декамерона», въ которыхъ Боккаччіо пересказалъ стародавніе
сюжеты, иногда восточные сказки. Вопросъ объ его источникахъ
открываетъ намъ болѣе широкіе кругозоры и вмѣстѣ новую
область, подлежащую вѣденію сравнительной исторіи литературы
433 (стр. 6—7). Большая часть средневѣковыхъ повѣстей и | «шван-
ковъ» проникли къ западно-европейскимъ народамъ съ востока
въ пору крестовыхъ походовъ и позже. Сравнительное изученіе
этихъ разсказовъ, встрѣчающихся въ сходной формѣ у разныхъ
племенъ и въ разныя времена, привело новѣйшихъ изслѣдова-
телей къ убѣжденію, что ихъ сохраненіе невозможно объяснить
путемъ устной передачи, а необходимо допустить и литературное

перенесеніе. Отсюда задача: слѣдить за такимъ процесомъ отъ народа къ народу, отъ одной книги до другой, не отрицая и силы устной традиціи, почерпавшой изъ книгъ и часто возвращавшой имъ же содержаніе, переинченное на путяхъ пересказа. При этомъ недостаточно констатировать существованіе такой-то повѣсти на востокѣ и у насъ, ограничиваясь общимъ предположеніемъ о времени и направленій перехода — въ пору ли переселенія народовъ, или въ эпоху крестовыхъ походовъ. Наука хочетъ знать, откуда именно заимствована такая-то повѣсть, кто перенесъ ее къ намъ, какъ она измѣнялась въ новой почвѣ, каковы были ея метаморфозы, начиная отъ буддистской легенды и индѣйской мистики до настоящаго времени, когда она измѣнилась до неузнаваемости, до идеализациіи въ произведеніи поэта или до площадной прибаутки. Гёдеке, Oesterley — задались когда-то задачей прослѣдить одинъ изъ путей, по которымъ совершался изъ Азіи въ Европу переходъ и превращеніе сказочныхъ сюжетовъ; они открыли его въ патристикѣ и литературѣ церковно-дидактической. Извѣстна по этому вопросу недавно явившаяся работа американского профессора Crane'a, на которую Кохъ не указываетъ, какъ вообще ограничивается — въ историческомъ очеркѣ возникновенія идеи сравнительной исторіи литературы — перечнемъ нѣсколькихъ нѣмецкихъ имёнъ, часто забывая другіе народные вклады. Такъ, я не встрѣтилъ имени Дёнлопа, но упомянута несостоявшаяся затѣя Гёдеке — составить «Словарь художественныхъ сюжетовъ».

Такова область, въ которой вращается сравнительная исторія литературы. Ея задачи (стр. 10 и слѣд.): слѣдить за развитиемъ идей и формъ, за постоянными превращеніями однихъ и тѣхъ же или сходныхъ сюжетовъ въ литературахъ старого и нового времени, за вліяніемъ однѣхъ на другія. Сближеніе мотивовъ, распространенныхъ въ разныхъ литературахъ, представляется благодарной задачей, рѣшеніе которой обѣщаетъ доставить полезныѣ матеріалы для зданія новой науки сравнительной исторіи литературы (Каррьеръ). Обращая кропотливое вниманіе

на всѣ, даже мелкія явленія, она не должна упускать изъ виду и идею общаго развитія; рядомъ съ филологическимъ критеріемъ необходимо допустить и эстетический, ибо «между филологіей и эстетикой не слѣдуетъ быть разногласія, развѣ только одна изъ 434 нихъ или обѣ идутъ ложной дорогой». Усвоивая себѣ этотъ отзывъ Шерера, программа повторяетъ и слова А. В. Шлегеля о взаимной обусловленности въ искусствѣ формы и содержанія. Въ этомъ смыслѣ новый журналъ обѣщаетъ обращать вниманіе и на исторію философскихъ учений и образовательныхъ искусствъ. Насколько полезно знакомство съ этой областью для освѣщенія литературныхъ явленій, доказала недавно работа Delio: о нѣкоторыхъ старо-итальянскихъ картинахъ, какъ источникѣ Гёте-скаго Fausta.

Въ самомъ концѣ программы говорится о сравнительномъ изученіи народной поэзіи, Folklore'a, для котораго въ другихъ странахъ существуютъ особыя общества и специальные журналы, тогда какъ участіе Германиі въ этомъ дѣлѣ ослабѣло съ прекращеніемъ Mannhardt'овой «Zeitschrift für deutsche Mythologie». Органъ Koch'a открываетъ у себя доступъ этимъ занятіямъ, но какъ-то мимоходомъ, не въ органической связи съ своими общими цѣлями. Нѣть спору, что наука Folklore'a можетъ быть обособлена; у нея есть свои специальные задачи и много пока неосиленного и неупорядоченного материала. Народная поэзія, главный предметъ изслѣдованія фольклористовъ, является, вмѣстѣ съ тѣмъ, и первой фазой всякаго поэтическаго и литературнаго развитія, подлежащаго разсмотрѣнію сравнительной исторіи литературы. Отдѣлить одну область отъ другой и практически не всегда возможно, въ виду нѣкоторыхъ вопросовъ, поднимающихся въ области поэтики и разрѣшенныхъ только на почвѣ народной поэзіи. «Сравнительную поэтику» программа обошла въ перечѣ своихъ задачъ; этотъ пропускъ выполняется въ известной мѣрѣ статьей Мейера: «О припѣвѣ» (Ueber den Refrain, стр. 34 слѣд.). Такъ какъ она, вмѣстѣ съ тѣмъ, одна изъ немногихъ, отвѣчающихъ цѣлямъ журнала по сравнительной исторіи литературы,

то я и думаю на ней остановиться, тѣмъ болѣе, что моимъ ожиданіямъ она не отвѣчаеть.

Припѣвъ, *refrain*, встрѣчается въ народной поэзіи разныхъ народовъ, то перемежая пѣсню, то возвращаясь въ концѣ каждой строфы, если пѣсня строфическая. Иногда это короткій стихъ, отрывокъ стиха, знаменательно возвращающій къ главному положенію, къ центральному настроенію развивающейся впередъ пѣсни. Таковъ *refrain* въ французской пѣсенкѣ изъ Берри, напечатанной и, быть можетъ, нѣсколько прикрашенной Жоржъ Сандомъ (*«Maîtres Sonneurs»*):

Trois fendeurs y avait
Au printemps sur l'herbette,
— J'entends le rossignole!
Trois fendeurs y avait
Parlant à la fillette. |

435

Каждый изъ нихъ дѣлаеть въ одной изъ слѣдующихъ 3-хъ строфъ предложеніе дѣвушкѣ; она отвѣчаеть каждому изъ нихъ порознь (три строфы), и дѣйствіе каждой строфы какъ-бы прерывается весенней пѣсней, несущейся изъ лѣса, пѣсней любви: *J'entends le rossignole!* Съ этимъ психическимъ моментомъ припѣва я сопоставилъ особый родъ повтореній, я сказалъ бы — напоминаній, свойственныхъ старо-французскому эпосу. Въ пѣснѣ о Роландѣ описывается пораженіе французовъ при Ронсевѣ; Роландъ трубитъ, призываю на помощь Карла; Карль слышитъ это, говорить о томъ Ганелону, который отрицаетъ опасность. Слѣдующая строфа опять начинается съ того же: Роландъ трубить; дѣйствіе подвинулось немного далѣе, но въ началѣ третьей строфы опять слышны призывные звуки рога. Я попытался объяснить эту особенность въ связи съ повтореніемъ лирическаго припѣва, *refrain*. Нѣкоторыя сцены, образы до такой степени возбуждаютъ поэтическое вниманіе, такъ захватываются духъ, что отъ нихъ не оторвать глаза и памяти, какъ бы ни было впечатлѣніе болѣзненно, томительно, и, можетъ быть, потому именно, что оно томительно, что оно щемитъ душу, имъ не насытиться

за-разъ. Веселые моменты жизни переживаются быстрѣе. Встрѣтивъ образъ изнеможеннаго Роланда, трубящаго, надрываясь, на вѣсть своимъ, современный поэтъ схватилъ бы его, быть можетъ, цѣликомъ, исчерпалъ бы въ одинъ присѣсть присущее ему, либо связанное съ нимъ поэтическое содержаніе. Народная поэзія и поэзія, стоящая подъ ея вліяніемъ, ближе воспроизводить дѣйствительный процессъ психического акта. Въ каждомъ комплексѣ воспоминаній, преимущественно патетическихъ, есть одно, почему бы то ни было становящееся поверхъ другихъ, какъ бы ихъ покрывающее, дающее тонъ всему. Воспоминанія тянутся вереницей, возбуждая различныя ассоціаціи, разбѣгаясь за ними въ сторону, и снова возвращаются къ основной потѣ и образу: обезсиленный Роландъ еще трубить!

Я не объясняю этихъ психическихъ мотивовъ древнѣйшимъ образцомъ той формы припѣва, который я пытался охарактеризовать. Происхожденіе не объясняется, по моему мнѣнію, изъ хорического исполненія древней пѣсни; психическое мотивированіе явилось позднѣе.

Есть еще одинъ родъ припѣва, необъяснимаго изъ содержанія пѣсни и, повидимому, не стоящаго съ нимъ въ связи — ибо связь была забыта: припѣвъ могъ сохраниться изъ древней стадіи развитія пѣсни, какъ нечто данное, чего не выкинешь, а пѣсня подновлялась — въ разрѣзъ съ припѣвомъ. Сходное явленіе замѣчается въ итальянскихъ *stornelli*, дву- или трехстишіяхъ, съ запѣвомъ впереди, въ которомъ упоминается название какого-нибудь цветка: *fior di limeno*, или даже безсмысленное: *fior di carta*. Между упоминаніемъ цветка и содержаніемъ слѣдующихъ стиховъ чаще всего нѣть никакого соотношенія; оно забыто. Каково оно было — подсказываетъ малорусская пѣсня, въ которой цветокъ поставленъ въ близкое, символическое отношеніе къ слѣдующему болѣе человѣческому содержанію. Рута — символъ дѣвственности, дѣвственной самозаключенности, далѣе: одиночества, разлуки, удаленія отъ любви. И вотъ малорусская невѣста поетъ на заручинахъ:

Зеленая рутонька, желтой цвіть,
Не піду я за нелюба, піду въ світь.

Такъ еще и въ слѣдующемъ итальянскомъ stornello:

Fiore di canna!
Chi vo' la canna vada a la caneto,
Chi vo' la neve vada a la montagna,
Chi vo' la figlia accarezzi la mamma.

Параллель малорусской пѣсни поможетъ раскрыть внутреннюю связь между содержаніемъ итальянской и воззваніемъ «къ тростинѣ» въ началѣ; первоначальное отношеніе могло быть слѣдующее: «Одна тростина въ тростниковой чашѣ, одна дѣвушка у матери; кто хочетъ достать тростину, пусть отправится въ чашу, кто снѣга — въ горы, а кто дочку — пусть приласкается къ мамѣ».

Непонятные намъ припѣвы объясняются не иначе, не отдѣляясь, по существу, отъ поставленныхъ въ началѣ.

Рядомъ съ тѣми и другими есть еще третій родъ refrain, который Мейеръ зоветъ «безсмысленными». Это несложныя, часто звукоподражательныя выраженія веселья, разгула или какогонибудь другого аффекта, прорывающагося въ пѣснѣ, въ родѣ франц.: La hi tra la la la, или Oh! lon la, lanle; нѣм. Juchhei; старо-франц. гоi въ пѣснѣ о Роландѣ и т. п. Мейеръ придаетъ этимъ «безсмысленнымъ» refrain особое значеніе, и мы увидимъ почему. Онъ даетъ намъ въ бѣгломъ очеркѣ не только исторію припѣва, но вмѣстѣ съ тѣмъ, на его основаніи, исторію развитія стиха и строфы. Для этого ему необходимо возвратити къ такой порѣ человѣческаго развитія, когда человѣкъ еще не обладалъ членораздѣльными звуками; не было языка, не было и поэзіи, скажете вы; была поэзія междометій, къ ней-то и привязывается начало refrain. Пораженный чѣмъ-нибудь первобытный человѣкъ издавалъ восклицаніе; сильный аффектъ вызывалъ ихъ повтореніе или участіе; «когда, подъ вліяніемъ сильнаго возбужденія, вы издаете нѣсколько разъ одинъ и тотъ же звукъ, то подъ конецъ, по чисто-физическімъ причинамъ, этотъ звукъ измѣнится,

получить другой тембръ» (стр. 38). Нѣсколько слѣдующихъ другъ за другомъ звуковъ — междометій — это ячейки будущихъ 437 стиховъ; завершающій ихъ, | измѣненный звукъ — начало refrain. Наступитъ пора, когда человѣкъ выработаетъ способность членораздѣльной рѣчи, создастъ языкъ, и тогда тѣ первыя междометія одѣнутся плотью языка, станутъ стихами, а послѣднее еще останется нѣкоторое время тѣмъ, чѣмъ было, т.-е. звукомъ аффекта, съ которымъ Мейеръ, не обинуясь сближаетъ такъ-называемый «безсмысленный» refrain современной народной пѣсни, какое-нибудь Juchhei; болѣе того: этотъ refrain, по его мнѣнію, единственный у насъ остатокъ «до-исторической поэзіи» (стр. 44). Сближая такимъ образомъ, авторъ, любящій переносить на поэзію категоріи, установленные для языка, открывающій поэзіи изолирующей и аффигирующей періоды и т. д. (стр. 46), забываетъ приложить къ ней правило лингвистики: что чѣмъ буквальне слово одного языка отвѣчаетъ слову другого, родственнаго, тѣмъ менѣе вѣроятія, что они тождественны, ибо въ долгомъ разобщеніи народовъ одно и то же слово должно было различно дифференцироваться по опредѣленнымъ звуковымъ законамъ. До-историческое (и, прибавимъ, до-поэтическое) междометіе и нѣмецкое Juchhei напоминаютъ другъ друга, но тождественны быть не могутъ.

Представленіе автора о древнемъ развитіи поэзіи колеблется: отсюда — шаткость и нѣкоторая фантастичность его построенія. Говоря о междометіяхъ, которыми выражалъ свои чувства первобытный человѣкъ, онъ рассматриваетъ по Brehm'у (*«Illustriertes Thierleben»*, I, 27, 31, 72, 62) о нѣкоторыхъ породахъ обезьянъ, встрѣчающихся особыми криками восходъ и заходъ солнца; у иныхъ есть даже запѣвало, безъ котораго, говорять, не обходится пѣніе дикихъ народовъ (*Naturvölker*). Запѣвало предполагаетъ хорическое пѣніе; обезьяны и *Naturvölker* — естественные параллели къ до-историческому періоду, создавшему поэзію междометій; между тѣмъ авторъ (стр. 37) не допускаетъ въ этой поэзіи господства хорического принципа: поэзія могла быть и

одноличная; любовь, одинъ изъ главныхъ ея источниковъ, не допускаетъ хора,— пѣть одинъ и для одной, какъ и теперь еще баварскій крестьянинъ, подъ окнами своей милой (*beim Fenstern*). Это въ до-историческую-то пору? Правда, сближеніе скрашивается ссылкой на Дарвина и на звуки, испускаемые животными, въ пору тоски. Какое же представлѣніе составилъ себѣ авторъ о любви или, лучше, объ устройствѣ половыхъ отношеній въ до-историческую пору?

Я остановился на работѣ Мейера, какъ на одной изъ руководящихъ статей новаго журнала, чтобы ея разборомъ охарактеризовать его задачи и ихъ — исполненіе. Нѣсколько общихъ замѣчаній можетъ еще вызвать развѣтъ статья Ландау, указанная выше, преслѣдующая исторію одного повѣстовательного сюжета въ теченіе вѣковъ. «Польза | такого рода частныхъ циклическихъ 438 обозрѣній, если они хорошо направлены, очевидна», писалъ я по другому поводу. Сопоставленіе различныхъ пересказовъ одной и той же повѣстовательной тѣмы, различныхъ по времени и мѣсту, даетъ указаніе на ея вицѣшнее развитіе и нерѣдко позволяетъ возвратить къ ея древнѣйшей формѣ. Но бываетъ и такъ, что форма сравнительно мало измѣнялась, а видоизмѣнялось по идеямъ времени, господствующимъ въ обществѣ, и личномъ міросозерцаніи, нравственное или учительное содержаніе той или другой повѣсти. Это — вопросъ внутренняго развитія; идея промысла, предопредѣленія, въ старой еврейской повѣсти, стоящей во главѣ легендарнаго цикла о «Пустынникѣ и Ангелѣ» (сл. G. Paris, «*L'ange et l'hermite*, *étude sur une légende religieuse*, въ его сборникѣ: «*La poésie du moyen âge*», *leçons et lectures*, стр. 151 слѣд.), эта идея, очевидно, не та, какую вложилъ Вольтеръ въ известный эпизодъ своего «*Zadig'a*». Здѣсь художественная критика можетъ вступить въ права историко-сравнительной, ибо одно изъ лучшихъ средствъ выдѣлить личную струю въ творчествѣ того или другого художника, поэта, — это знакомство съ материаломъ, надъ которымъ онъ трудился, съ другими обработками сюжета, который онъ сдѣлалъ своимъ. Только эти точки

зрѣнія и могутъ объяснить и извинить появление эпизодовъ объ источникахъ не только Шекспира, но, напримѣръ, Шиллера и Гёте.

Къ этому я присоединилъ бы еще одну задачу, входящую въ районъ сравнительной исторіи литературы, задачу не легкую, но полезную въ методологическомъ отношеніи. Въ извѣстные періоды литературного развитія замѣчается предрасположеніе писателей, и, очевидно, публики, не только къ извѣстнымъ поэтическимъ родамъ (лирика или драма, пастораль или реальный романъ, и т. п.), но и къ извѣстнымъ сюжетамъ. Эти сюжеты либо творятся на-ново, иногда изъ обломковъ старыхъ, или они уже были, и были забыты, и снова выдвигаются въ литературу, отвѣчая на общественный спросъ. Эпоха Возрожденія вызвала жажду къ жизни, не знающей традиціонныхъ стѣсненій, духъ пытливости и исканія, не знающаго границъ, до счетовъ съ небомъ включительно. Создалась изъ старыхъ материаловъ легенда о «Фаустѣ», и его типъ идеализуется въ драмѣ Марлб. Многихъ онъ манилъ, другихъ запугивалъ; въ робкихъ умахъ идея реформаціи должна была явиться раньше извѣстнаго церковнаго поворота. Ломка стараго опасна; беззавѣтное стремленіе къ запретному источнику знанія грозить бѣдой; Фаустъ наказанъ; лучше вернуться на «спасеній» путь, подъ сѣнь дѣдовскихъ и церковныхъ преданій. И вотъ, тотъ же XVI-й вѣкъ обнаружилъ особую лю-

489 бовь въ вѣтхозавѣтной легендѣ о «блудномъ сыне», робкомъ | Фаустѣ, возвращающемся въ объятія всепрощающаго отца. Эту легенду пересказываютъ и передѣзываютъ въ Германіи, Италии, Англіи, въ драмѣ и романѣ; укажу лишь на повѣсть Гримма.

Итакъ, популярность извѣстныхъ сюжетовъ въ извѣстную пору имѣеть свой общественный *raison d'être*. Для сближенія, подобного приведенному, необходимы условія: хронологическая опредѣленность памятника, популярность котораго засвидѣтельствована, и хорошее знакомство съ идеями современного общественного развитія. Повтореніе такихъ сближеній, при указанныхъ условіяхъ, можетъ привести къ нѣкоторымъ наблюденіямъ,

общимъ выводамъ, которые могутъ присоединиться въ тѣхъ случаихъ, когда указанныя условія не соблюдены. Чаще всего бываетъ, особенно въ народной поэзіи, что сюжетъ хронологически не опредѣленъ; къ какому времени отнести его, къ какой средѣ пріурочить, какимъ идеальнымъ требованіямъ онъ отвѣчалъ? Это искомое приходится угадывать, и оно будетъ тѣмъ менѣе гадательно, чѣмъ болѣе опытовъ мы произведемъ на пути сближеній, когда оба момента сравненія находятся на-лицо. Это предполагаетъ хорошее знакомство не столько съ политической, сколько съ народной, общественной исторіей. Правда, мы вертимся здѣсь въ заколдованнымъ кругѣ, ибо свѣденія по этой исторіи приходится почерпать не изъ историческихъ документовъ, а изъ литературныхъ фактовъ, которые мы еще ищемъ объяснить.

Въ концѣ первого, разобраннаго нами, выпуска, помѣщено нѣсколько незначительныхъ рецензій, изъ которыхъ двѣ посвящены переводамъ на нѣмецкій языкъ сициліанскихъ пѣсенъ Giovanni Meli и одного средне-верхне-нѣмецкаго стихотворенія. Появленіе этихъ разборовъ на страницахъ журнала, посвященнаго вопросамъ сравнительной исторіи литературы, объясняется тѣмъ, что издатель присоединилъ къ понятію о ней еще и понятіе о «всемирной литературѣ на нѣмецкомъ языкѣ», — желаніе, когда-то выраженное Гёте (стр. 8). Безспорно, нѣмцы — отличные переводчики, и потому понятно ихъ стремленіе обогатить свою литературу переводами всего лучшаго, чтѣ въ области поэзіи создали другія народности.

1893.

Изъ введенія въ историческую поэтику¹⁾.

(Вопросы и отвѣты).

[Журн. Мин. Народн. Просв., ч. ССХСП, 1893, Май, стр. 1—22].

1) Исторія литературы напоминаетъ географическую полосу, которую международное право освятило какъ res nullius, куда заходить охотиться историкъ культуры и эстетикъ, эрудитъ и изслѣдователь общественныхъ идей. Каждый выносить изъ нея то, что можетъ, по способностямъ и воззрѣніямъ, съ той-же этикеткой на товарѣ или добычѣ, далеко не одинаковой по содержанию. Относительно нормы не говорились, иначе не возвращались бы такъ настоятельно къ вопросу: что такое исторія литературы?²⁾ Одно изъ наиболѣе симпатичныхъ на нее воззрѣній

1) Лекція, читанная 6-го февраля 1893 года въ пользу общества вс поможенія окончившимъ курсъ на С.-Петербургскихъ высшихъ женскихъ курсахъ.

2) Сл. Ten Brink, Ueber die Aufgabe der Litteraturgeschichte, Strassburg, 1890; Wetz, Ueber Litteraturgeschichte, Worms, 1891; Elster, Die Aufgaben der Litteraturgeschichte, Leipzig 1894; Betz, Essai de bibliographie des questions de Litterature compar  (Rev. de philol. fran  et de litt rature, X, 4; XI, 1, 2); Elster, Principien der Litteraturwissenschaft, I-er B., Halle, Niemeyer; Texte, L'histoire compar e des litteratures, въ Revue de philologie fran aise & de litt rature, X, 4. Bir , Enqu te sur l' volution litt raire, 1891, Charpentier. Rod, De la litterature compar e, Gen ve, 1886. Ernst Grosse...? Bruneti re, La doctrine  volutive et l'histoire de la litt rature, Revue des deux Mondes, 1898, 15 F vrier, стр. 874 слѣд.; H. C. Muller, L' tat scientifique de la litt rature compar e (Revue internationale de l'enseignement, 1898, № 35?). Elster, Weltlitteratur und Litteraturvergleichung, въ Archiv f. d. Studium Neueren Sprachen, CVII B. (N. S. VII B.) Heft 1—2 (1901) стр. 3 слѣд.

можеть быть сведено къ такому приблизительно определению: исторія общественной мысли въ образно-поэтическомъ переживаніи и выражаютъ его формахъ. Исторія мысли болѣе широкое понятіе, литература ея частичное проявленіе; ея обособленіе предполагаетъ ясное пониманіе того, что такое поэзія, что такое эволюція поэтическаго сознанія и его Формъ, иначе мы не стали бы говорить объ исторіи. Но такое определеніе требуетъ и анализа, который отвѣтилъ бы поставленнымъ цѣлямъ.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мои лекціи въ университѣтѣ и на высшихъ женскихъ курсахъ, посвященные эпосу и лирикѣ, драмѣ, и роману въ связи съ развитіемъ поэтическаго стиля, имѣли въ виду собрать материалъ для методики исторіи литературы, для индуктивной поэтики, которая устранила бы ея умозрительныя построенія, для выясненія сущности поэзіи — изъ ея исторіи. Мои слушательницы узнаютъ въ обобщеніяхъ, которыя я предложу, много старого, хотя | менѣе рѣшительно формулированного, болѣе сомнѣній, чѣмъ утвержденій, еще болѣе исканій, потому что спросять не бѣда, бѣда въ положеніяхъ, подъ которыми слаба основа фактъвъ.

Съ тѣхъ поръ явилась поэтика Шерера, безформенный отрывокъ чего-то, затѣяннаго широко и талантливо и въ тѣхъ же цѣляхъ; направленіе нѣкоторыхъ, между прочимъ, немецкихъ работъ по частнымъ вопросамъ поэтики указываетъ на живой интересъ къ тому же дѣлу. На него, очевидно, явился спросъ, а съ нимъ вмѣсть и попытка систематизаціи въ книгѣ Брюнетьера, классика по вкусамъ, неофита эволюціонизма, завзятаго, какъ всякий новообращенный, у котораго гдѣ-то въ уголкѣ сознанія въ тишинѣ царять старые боги,— книга, напоминающая тѣхъ дантовскихъ грѣшниковъ, которые шествуютъ впередъ съ лицомъ, обращеннымъ назадъ.

Такова литература предмета: исканій больше, чѣмъ аксиомъ; развѣ договорились мы, напримѣръ, хотя бы относительно пониманія поэзіи? Кого удовлетворить туманная формула, недавно предложенная Брюнетьеромъ: поэзія — это метафизика, прояв-

ляемая въ образахъ и такимъ путемъ внятная сердцу (*une métaphysique manifestée par des images et rendue sensible au coeur?*)

Оставимъ этотъ общій вопросъ открытымъ для будущаго; его рѣшеніе зависить отъ цѣлаго ряда систематическихъ работъ и рѣшеній по частнымъ задачамъ, входящимъ въ ту-же область. На нѣкоторыя изъ нихъ я желалъ бы обратить вниманіе.

Въ французскихъ журналахъ по народной поэзіи и старинѣ есть привлекательная рубрика: *Les Pourquois?* Почему? Съ такими вопросами пристають къ вамъ дѣти, ихъ ставилъ себѣ человѣкъ на простѣйшихъ стадіяхъ развитія, ставилъ и давалъ на нихъ внѣшній, иногда фантастической отвѣтъ, успокаивавшій его своей опредѣленностью: почему черенъ воронъ? отчего багровѣеть солнце передъ закатомъ и куда оно уходитъ на ночь? или почему у медведя короткій хвостъ? Такого рода отвѣты лежать въ основѣ древнихъ миѳовъ, историческое развитіе привело ихъ въ систему, въ родословную связь, и получилась миѳология. Переживаніе такихъ отвѣтовъ въ современномъ суевѣріи показываетъ, что они были когда-то предметомъ вѣры и воображаемаго знанія.

Въ истории литературы есть цѣлый рядъ такихъ *Les pourquois*, которые когда-то ставили, на которые отвѣчали, и отвѣты еще существуютъ въ переживаніи, какъ основа нѣкоторыхъ историко-литературныхъ взглядовъ. Было-бы полезно ихъ пересмотрѣть, чтобы не очутиться въ положеніи простолюдина,увѣренного, что солнце вертится и играетъ на Ивановъ день. Полезно выставить и новые «les pourquois», потому что не извѣданного много, и оно часто идетъ за решенное, понятное само собою, какъ будто всѣ мы условились хотя бы относительно, напримѣръ, того, что такое романтизмъ и классицизмъ, натурализмъ и реализмъ, что такое возрожденіе и т. п.

Такими вопросами я хотѣлъ бы заняться. Примѣры я возьму не изъ современности, хотя все къ ней сводится. Старина отложилась для насъ въ перспективу, гдѣ многія подробности затушеваны, преобладаютъ прямые линіи, и мы склонны принять

ихъ за выводы, за простѣйшія очертанія эволюціи. И отчасти мы правы: историческая память минует мелочные факты, удерживая лишь вѣскіе, чреватые дальнѣйшимъ развитіемъ. Но историческая память можетъ и ошибаться; въ такихъ случаяхъ новое, подлежащее наблюденію, является мѣриломъ старому, пережитому вѣкѣ нашего опыта. Прочные результаты изслѣдованія въ области общественныхъ, стало быть, и историко-литературныхъ явленій, получаются такимъ именно путемъ. Современность слишкомъ спутана, слишкомъ настъ волнуетъ, чтобы мы могли разобраться въ ней цѣльно и спокойно, отыскивая ея законы; къ старинѣ мы хладнокровнѣ и невольно ищемъ въ ней уроковъ, которымъ не слѣдуетъ, обобщеній, къ которымъ манитъ ея видимая законченность, хотя сами мы живемъ въ ней наполовину. Это и даетъ намъ право голоса и провѣрки. Еще недалеко то время, когда вопросы о развитії религіознаго сознанія и языка решались на основаніи однихъ лишь древнихъ документовъ. Мы увлеклись Ведами и санскритомъ и создали зданіе сравнительной миѳологии и лингвистики, относительно стройныя системы, въ которыхъ все было на мѣстѣ и многое условно; не будь этихъ системъ, не явилась бы критика, повѣрка прошлаго настоящимъ. Мы конструировали религіозное міросозерцаніе первобытнаго человѣка, не спросившись близкаго къ намъ опыта, объектомъ котораго служить наше простонародіе, служимъ мы сами; строили фонетическіе законы для языковъ, звуки которыхъ никогда до настъ не доносились, а рядомъ съ нами бойко живутъ и развиваются диалекты, развиваются по тѣмъ же законамъ физиологии и психологіи, какъ и у нашихъ прародителей арійцевъ. Прогрессъ въ области миѳологической и лингвистической наукъ зависитъ отъ повѣрки системъ, построенныхъ на фактахъ исторического прошлаго, наблюденіями надъ жизнью современныхъ съеврѣй и говоровъ. То же въ истории литературы: наши воззрѣнія на ея эволюцію создались | на исторической перспективѣ, въ которую каждое поколѣніе вноситъ поправки своего опыта и накапливающихъся сравненій. Мы отказались отъ личнаго, въ на-

шемъ смыслъ слова, автора гомеровскихъ поэмъ, потому что наблюденія надъ жизнью народной поэзіи, которую виѣшнимъ образомъ приравнивали къ условіямъ ея древнѣйшаго проявленія, раскрыли невѣдомые дотолѣ процессы массового безличнаго творчества. Затѣмъ мы отказались и отъ крайностей этихъ воззрѣній, навѣянныхъ романтизмомъ, отъ несбыточнаго народа-поэта, потому что въ народной поэзіи личный моментъ объявился въ болѣшой мѣрѣ, чѣмъ вѣрили и прежде; гомеровская критика поступилась съ своей стороны, и личный авторъ или авторы гомеровскихъ поэмъ снова выступаютъ передъ нами, хотя и не въ той постановкѣ, какъ прежде.

Я заговорилъ о романтизмѣ, и мнѣ хочется показать на немъ, какъ часто старыя формулы исправляются и освѣщаются новыми, и наоборотъ. Определеній романтизма множество, начинаясь Гёте, для которого классическое было равносильно здоровому, романтическое — болѣзненному; романтики находили определенія романтизма въ безграничномъ субъективизмѣ, въ «реализації прекраснаго изображеніемъ характера» (*la realisation de la beauté par l'expression du caractère*); для Брюнетьера романтизмъ, индивидуализмъ и лиризмъ существенно одно и то же: начнешь съ одного, кончишь другимъ и т. д. Но одну общую черту можно подчеркнуть какъ въ явленіи, такъ и въ определеніяхъ сѣверно-европейскаго романтизма: стремленіе личности сбросить съ себя оковы гнетущихъ общественныхъ и литературныхъ условій и формъ, порывъ къ другимъ, болѣе свободнымъ, и желаніе обосновать ихъ на преданіи. Отсюда идеализація народной старины, или того, что казалось народностью: увлеченіе средними вѣками, съ включеніемъ католичества, раззвѣченаго фантастически, и рыцарства: *mœurs chevaleresques* (*M-me de Staël*); любовь къ народной поэзіи, въ которой оказывается такъ много не своего, къ природѣ, въ которой личность могла развиваться эгоистично, довѣря себѣ въ паѳосѣ и наивномъ самообожаніи, въ забвеніи общественныхъ интересовъ, иногда въ реакціи съ ними. Эти общія теченія не бросаютъ ли свѣтъ на нѣкоторыя

стороны италіанского гуманизма? Основы латинской культуры и міросозерцанія долго покоились въ Италии подъ наноснымъ грунтомъ средневѣковыхъ церковныхъ идей и учрежденій, вымогаясь наружу, пока не сказались открыто, сознательно, отвѣчая та-
кому же требованію обновленія на почвѣ народныхъ основъ, на
этотъ разъ не фиктивныхъ и не фантастическихъ? Гуманизмъ — 5
это романтизмъ самой чистой латинской расы; оттуда опредѣлен-
ность и прозрачность его формулъ, въ сравненіи съ туманностью
романтическихъ; но тамъ и здѣсь сходныя образованія въ области
индивидуализма и та-же ретроспективность въ литературѣ и міро-
воззрѣнії.

Вотъ какого рода параллели я буду имѣть въ виду при слѣ-
дующемъ изложenіи.

Начнемъ съ эпоса. На извѣстной стадіи народнаго развитія поэтическая продукція выражается пѣснями полулирическаго, полуповѣствовательнаго характера, либо чисто эпическими¹⁾. Онѣ вызваны яркими событиями дня, боевыми подвигами племени, клана, воспѣваются героеvъ, носителей его славы, группируются вокругъ нѣсколькихъ именъ. Въ иныхъ случаяхъ творчество пошло и далѣе, и сохранились эпопеи, за которыми чувствуются групповые народныя пѣсни, поэмы, обличающія цѣльность личнаго замысла и композиції, и вмѣстѣ съ тѣмъ не личныя по стилю, не носящія имени автора, либо носящія его фиктивно. Мы имѣемъ въ виду гомеровскія поэмы и французскія chansons de geste древней поры, представителемъ которыхъ является chanson de Roland; тѣ и другія съ содержаніемъ историческихъ преданій. Что вызвало эту особую поэтическую эволюцію и почему иная народности обошлись однѣми былевыми пѣснями? Прежде всего личный починъ, при отсутствіи заявленія о немъ, указываетъ на такую стадію развитія, когда личный поэтическій актъ уже воз-

1) Образецъ такихъ лиро-эпическихъ кантиленъ мѣстно - исторического содержанія представляютъ Картвелльскія пѣсни (Сборн. матер. для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа, XIX, 2-ой отд.).

моженъ, но еще не ощущается, какъ таковой, по скольку личный, еще не объектировался въ сознаніи, какъ индивидуальный процессъ, отдѣляющій поэта отъ толпы. Даръ пѣсенъ не отъ него, а извѣтъ: къ нему пріобщаются, отвѣдавъ чудеснаго напитка, или это наважденіе нимфъ-музъ: съ точки зреянія греческаго *pumpholeptos*—поэтъ и бѣсноватый, схваченный нимфами, одно и то же.— Это періодъ великихъ анонимныхъ начинаній въ области поэзіи и образовательныхъ искусствъ. Народныя эпопеи анонимны, какъ средневѣковые соборы.

Къ этому присоединяется и другой народно-психологический моментъ. Въ основѣ французскихъ *chansons de geste* лежать старыя былевыя пѣсни о Карлѣ Великомъ и его сверстникахъ, за-слонившія и поглотившія болѣе древнія пѣсенныя преданія меровингской поры. Онѣ жили, можетъ быть, группировались, какъ наши былины, забывались и обобщались: это обычный механическій процессъ народной идеализаціи. Черезъ два столѣтія *chansons de geste* обновятъ эти | сюжеты; тѣ же имена и сходные подвиги, но настроение новое: мы въ разгарѣ феодальной эпохи, полной звука мечей и героически-народнаго, жизнерадостнаго самосознанія, поддержанаго чувствомъ единой политической силы; *douce France* раздается повсюду. Личный поэтъ выбралъ бы для выраженія этого национального самосознанія вымышленные типы, либо современныхъ историческихъ дѣятелей съ поправками подъ стиль типа. Для полу-личного пѣвца старой эпопеи, какъ мы характеризовали его выше, это было бы психически немыслимо, да его бы и не поняли, и онъ безсознательно берется за матеріаль старыхъ преданій и пѣсенныхъ типовъ, которые поколѣнія пѣвцовъ и слушателей постепенно приближали къ своему пониманію, къ уровню времени. Императоръ Карлъ сдѣлается народнымъ властителемъ Франціи тѣмъ же путемъ, какимъ Илья Муромецъ богатыремъ - крестьяниномъ; сарацины, саксы стали врагами Франціи вообще, поэту оставалось только овладѣть этой совершившейся безъ него, но и въ немъ самомъ, идеализаціей — и явился французскій исторический эпосъ; историческій не въ томъ

смыслѣ, что въ немъ выведены дѣйствительныя историческія лица, а въ томъ, что въ формахъ прошлаго онъ выразилъ народное настроеніе настоящаго.

Такимъ образомъ условія появленія большихъ народныхъ эпохъ были бы слѣдующія: личный поэтическій актъ безъ сознанія личнаго творчества, поднятіе народно-политического самосознанія, требовавшаго выраженія въ поэзіи; непрерывность предыдущаго пѣсенного преданія, съ типами, способными измѣняться содержательно, согласно съ требованіями общественного роста. Тамъ, гдѣ, почему бы то ни было, эти условія не совпали, продукція народной эпохи кажется немыслимой. Представимъ себѣ, что личность развилась прежде, чѣмъ созрѣли национальное самосознаніе и чувство исторической родины и народной гордости. Въ такомъ случаѣ оцѣнка настоящаго будетъ, смотря по личностямъ, различная, различно и ихъ отношеніе къ воспоминаніямъ прошлаго, не будетъ той общей почвы энтузіазмовъ и идеальностей, на которой чутье поэта сходилось съ симпатіями массы. Исторія нѣмецкой литературы указываетъ на подобное явленіе. У германцевъ и романизованныхъ франковъ одинаково существовала эпика историческихъ воспоминаній; тамъ и здѣсь Карлъ Великій оставилъ отзвуки въ легендахъ и пѣснѣ, но въ то время, какъ Франція слагалась государственно, и опредѣлялись ея национальныя цѣли и литература на народномъ языке,—политика Оттоновъ еще разъ повернула Германію къ нѣнациональнымъ цѣлямъ всемірной имперіи, и первые всходы нѣмецкой литературы были забыты въ 7 новомъ подъемѣ оттоновскаго «латинскаго» возрожденія. Имперіей съ ея отвлеченными идеалами мира и культуры могли увлекаться застольные поэты Карла Великаго, какъ позднѣе увлекались теоретики: народу они ничего не подсказали. Имперія была для него такой же абстракціей, какъ вначалѣ церковь, но послѣдняя овладѣла народнымъ сознаніемъ, встрѣчными формами его вѣрованій, тогда какъ первая всегда оставалась формулой. Имперія, а не германскій народъ, предпринимала итальянскіе походы, и они не отложились въ эпической памяти; борьба съ венграми, ка-

залось, была народнымъ фактомъ, но она выразилась лишь въ исторической пѣснѣ, не поднимая чувства на высоту эпической идеализаціи, потому что чувство политической самоопредѣленной національности не развито, въ сравненіи съ сосредоточенной энергией французского королевства нѣмецкая имперія — отягченный сномъ великанъ (*Schultheiss*); у миннезингеровъ есть патріотические мотивы, слышится лирическій кликъ: *Deutschland über Alles!* но личное сознаніе не отражается въ настроеніи эпоса. Его носители — шильманы, бродячіе клерики, *vagî*, въ родѣ Лампрахта, Конрада и др.; ихъ темы заимствованы отовсюду: и французскіе романы, и восточные легенды, проникнутыя фантастической поэзіей апокрифа, и старыя преданія франкскія, лангобардскія, готскія. Ихъ географія шире политической Германиі: Италія и Бари, Константинополь и Палестина съ Іерусалимомъ; это не географія крестовыхъ походовъ, фактически объединившихъ востокъ и западъ, а теоретической кругозоръ Имперіи, въ которомъ исчезали отдельныя національности, исчезала на дѣлѣ нѣмецкая. Въ такой яркой поэмѣ, какъ Нibelунги, историческая воспоминанія о бургундахъ и гуннахъ, обновившіяся съ появлениемъ новыхъ гунновъ-мадьяръ, и міоологическая сказка о Сигфридѣ не приводятъ къ тому боевому сознанію, которое отвѣтило бы «милої Франції» въ пѣснѣ о Роландѣ. Нѣмецкій эпосъ — романтическій, не народно-исторический.

У насъ не было ни того, ни другого, хотя эпическая пѣсни существовали и даже успѣли группироваться вокругъ личности князя Владимира. *Почему?* На это отвѣтить предыдущее сравненіе. Не было, стало быть, сознанія народно-политической цѣльности, которую сознаніе религіозной цѣльности не восполняло. Слово о Полку Игоревѣ не народно-эпическая поэма, а превосходный лирическій плачъ о судьбахъ православной Руси. Когда миновала татарская эпоха и политическое объединеніе явилось въ поддержкой національному самосознанію, время эпоса было прощено, потому что личное сознаніе вступило въ свои права, если и не въ области поэтическаго творчества, какъ было на Западѣ.

Сложеніе народныхъ эпopeй съ сюжетами изъ народной истории и какъ выраженіе національного самосознанія освѣщаетъ и другой вопросъ: *почему* животная эпopeя объявилась именно въ феодальной Франціи, ибо нѣмецкій Reinhart лишь обработка французскаго оригинала. Въ основѣ этой эпopeи лежать распространенные повсюду животныя сказки съ типическими лицами—звѣрями; латинскіе апологи и басни и чудеса Физіолога, проникая въ средне-вѣковую монастырскую келью, познакомили съверныхъ людей съ неслыханными звѣрями и царемъ-львомъ; они же дали, быть можетъ, и первый поводъ — пересказать и обработать туземныя и захожія сказки, до тѣхъ поръ не прикосновенныя къ литературѣ. Эти животныя сказки циклизуются, какъ былевыя пѣсни, вокругъ своихъ героевъ; одна доказываетъ, имѣть въ виду другую; не получается цѣльной поэмы въ родѣ старыхъ карловингскихъ, но нѣчто связанное единствомъ содержанія и освѣщенія. Такъ называемый *romans du Renart* — героический эпосъ на пізанку, съ тѣми же типами, но схваченными съ отрицательной стороны, съ феодальнымъ сюзереномъ, царемъ львомъ, съ дикимъ и глупымъ феодаломъ волкомъ и веселымъ и злостнымъ проходимцемъ Ренаромъ, буржуа и легистомъ, разлагающими цѣльность героического міросозерцанія. Именно такую цѣльность, уже нашедшую піссенное выраженіе, и предполагаетъ животный эпосъ: сказки—его матеріалъ, литературная басня была ему по-водомъ, героическая поэма дала схему; лишь позже явятся цѣли сатиры.

И вотъ, между прочимъ, *почему* у насъ не могло быть животной эпopeи, хотя животными сказками мы не бѣднѣе, если не богаче другихъ народовъ, и новѣйшіе европейскіе изслѣдователи этого вопроса обращаются къ намъ за матеріаломъ и освѣщеніемъ. Животной эпopeѣ надо было прислониться къ героической, а она не успѣла сложиться. Сатирическія сказки съ звѣрями, какъ дѣйствующими лицами, въ родѣ сказки о Ершѣ Ершовичѣ, уже стоять внѣ полосы развитія эпоса.

Я сказалъ, что литературная басня могла быть однимъ изъ

первыхъ поводовъ записать и народную животную сказку. Это положеніе можно обобщить, чтобы отвѣтить на цѣлый рядъ вопросовъ, вызываемыхъ развитіемъ ново-европейскихъ литературъ.

Трудно представить себѣ теоретически, какъ и при какихъ условіяхъ совершился тотъ процессъ, который можно обозначить 9 проявленіемъ въ сознаніи поэтическаго акта, какъ личнаго. Древнія литературы здѣсь ничего не освѣщаютъ, мы не знаемъ, при какихъ условіяхъ онъ зарождались, какіе посторонніе элементы участвовали въ ихъ созданіи, и мы сами слишкомъ мало знакомы съ процессами народной психики, чтобы въ данномъ случаѣ дѣлать заключенія къ прошлому отъ явлений современной народной пѣсни. Древнѣйшія пѣсни обрядового и эпического характера принадлежали общему культу и преданію, изъ нихъ не выкидывали ни слова; мы можемъ представить себѣ, что умственная и образовательная эволюція оставила ихъ позади, что ихъ повторяютъ, полунонумая, исказя и претворяя, но и то и другое безсознательно, не вмѣняя того въ личный починъ или заслугу, не ощущая зарождающагося я. А въ этомъ весь вопросъ.

На почвѣ европейской культуры съ характерною для нея двойственностью образовательныхъ началъ онъ рѣшается легче и осозательнѣе. Когда сѣверный викингъ видѣлъ въ какой-нибудь ирландской церкви вычурное романское изображеніе креста, символические атрибуты, раскрывавшіе за собою фонъ легендъ, онъ становился лицомъ къ лицу съ незнакомымъ ему преданіемъ, которое не обязывало вѣрой, какъ его собственное, и невольно увлекался къ свободному упражненію фантазіи. Онъ толковалъ и объяснялъ, онъ по своему творилъ. Такъ русскій духовный стихъ представляетъ себѣ Егорія Храбраго живьемъ, по локти руки въ золотѣ, какъ на иконѣ.

Европейская поэзія развилаась такимъ именно путемъ: поэтическое чутье возбудилось къ сознанію личнаго творчества не внутренней эволюціей народно-поэтическихъ основъ, а посторонними ему литературными образцами.

Въ XII вѣкѣ Вильгельмъ Мальмберійскій рассказалъ поэтически-мрачную легенду, случайно вспомнившуюся Гейне: какой-то знатный молодой римлянинъ позвалъ къ себѣ на свадьбу друзей и знакомыхъ; послѣ пира, когда всѣ были навеселы, вышли на лугъ, чтобы поплясать и поиграть въ мячъ. Молодой былъ мастеромъ этого дѣла; снаряжаясь къ игрѣ, онъ снялъ обручальный перстень и надѣль его на палецъ бронзовой античной статуи, которая тамъ стояла. То была статуя Венеры. Когда по окончаніи игры, онъ подошелъ, чтобы взять свой перстень, палецъ статуи, на который онъ былъ надѣть, оказался пригнутымъ къ ладони. Послѣ напрасныхъ усилий освободить кольцо, молодой человѣкъ удалился, не сказавъ ни слова никому, чтобы его не осмѣяли и не похитили кольца въ его отсутствіи. Ночью | онъ вернулся въ 10 сопровождениіи слугъ; каково же было его изумленіе, когда палецъ статуи оказался выпрямленнымъ и безъ кольца. Съ тѣхъ поръ между молодымъ и его женой всегда являлось какое-то призрачное существо, невидимое, но ощущаемое: «ты обручишся со мной, слышался голосъ, я богиня Венера, твой перстень у меня, и я никогда не отдамъ его». Долгое время длились эти муки; пришлось прибѣгнуть къ заклинаніямъ священника Палумбо, чтобы удалить дьявольское наважденіе¹⁾.

Западная церковь также откращивалась отъ чаръ классической поэзіи, манившихъ средневѣковаго человѣка, но заговоры не помогли, и союзъ совершился. Западная литературы вышли изъ этого сочетанія; такъ называемый лже-классицизмъ не что иное, какъ одностороннее развитіе одного изъ присущихъ ему элементовъ, противурѣчивыхъ, но объединенныхъ на первыхъ порахъ потребностью грамотности.

Народъ пѣлъ свои древнія пѣсни, обрядовыя съ остатками язычества, любовныя (*winiliod*), женскія (*puellarum cantica*), которыхъ наивно переносилъ и въ храмы. Онъ или унаследовалъ

1) Сл. лѣгенду о юношѣ съ острова Книда, влюбленномъ въ Афродиту Праксителя, Cherbuliez, L'art et la nature, p. 11.

ихъ, либо творилъ безсознательно по типу прежнихъ, не соединяя съ ними идеи творчества, личной цѣнности, а церковь обезщѣни-
вала ихъ въ его глазахъ, говоря объ ихъ языческомъ содержанії и грѣховномъ соблазнѣ. И та же церковь обучала грамотности по латинскимъ книгамъ, заглядывала, въ цѣляхъ риторического упражненія, въ нѣмногихъ классическихъ поэтовъ, дозволенныхыхъ къ чтенію, пріучала любоваться ихъ красотами, обходить соблазны аллегорическимъ толкованіемъ; любопытство было возбуждено, читались втихомолку и поэты, не патентованные школьнымъ оби-
ходомъ, и на чужихъ образцахъ воспитывались къ сознанію того, что было еще не выяснено на путяхъ народно-психического раз-
витія. Стали творить, подражая; для этого надо было научиться языку, овладѣть поэтическимъ словаремъ, проникнуться стилемъ, если не духомъ писателя — это ли не личный подвигъ? Въ ду-
ховной школѣ развились понятіе *dictare* въ значеніи упражненія, сочиненія вообще, лишь впослѣдствіи съузившагося къ значенію поэтическаго вымысла: *dichten*. Отъ понятія труда, къ которому способны были немногіе, переходили къ понятію творчества, сначала и естественно на языкѣ образцовъ, въ робкомъ подражаніи ихъ манерѣ, съ постепеннымъ вторженіемъ личныхъ и современ-
ныхъ мотивовъ. Когда народная рѣчь окрѣпла и оказалась годной для поэтическаго выраженія, не безъ воздѣйствія латинской
11 школы, когда | развитіе личнаго сознанія искало этого выраженія, импульсъ былъ уже данъ. Рыцарская лирика съ ея личными поэтами и тенденціями явилась лишь новымъ выраженіемъ скре-
щиванія своего, народнаго, съ пришлымъ и культурнымъ, что ускорило народно-поэтическую эволюцію, поставивъ ей серьезныя задачи.

Такъ было на Западѣ, съ его латинской школой, незамѣтно разсѣвавшей лучи классической культуры, съ священнымъ писа-
ніемъ, которое упорно берегли отъ вторженія народной рѣчи. Христіанская мысль, можетъ быть, оттого не выигрывала, на-
родъ обходился катехизацией духовника, проповѣдью, легендой и толковой библіей, но въ то время, какъ онъ коснѣлъ въ двоевѣріи,

вокругъ латинской библіи создалась и поддерживалась латинская школа, съ слабыми, а затѣмъ яркими откровеніями древней поэзіи. Когда въ XIII—XIV вѣкахъ появились переводы священнаго писанія на народныхъ языкахъ, латинская школа уже сдѣала свое дѣло.

Почему славянскій востокъ не произвелъ въ средніе вѣка своей изящной литературы, своей личной поэзіи, не создалъ литературной традиції¹⁾? Многое можно объяснить болѣе позднимъ выступленіемъ славянства на почву культурной исторіи, географическимъ положеніемъ, обязывавшимъ къ борьбѣ съ иноплеменнымъ востокомъ и т. п. Остановимся лишь на школѣ, на двойственности образовательныхъ элементовъ, которые и здѣсь, какъ на Западѣ, опредѣлили характеръ новаго развитія — въ отличіе отъ (видимой, по крайней мѣрѣ) цѣльности древняго. И здѣсь, съ одной стороны, народная, языческая, обрядовая или бытевая поэзія, богатству которой мы до сихъ поръ дивуемся въ ея сербскихъ и русскихъ образцахъ, оригинальная по колориту и метру, которой не забыть въ общемъ аккордѣ европейскихъ пѣсень; съ другой — церковь, за которой стояло образовательное греческое преданіе, поэтическое и философское. Имъ она поступилась на славянской почвѣ; цѣлямъ и успѣху проповѣди отвѣтилъ принципъ народныхъ церквей, народныхъ и по языку поученій и по церковно-славянскому переводу Св. Писанія, болѣе внятному вѣрѣющимъ, чѣмъ латинская библія. Это былъ шагъ впередъ въ смыслѣ усвоенія и преуспѣянія христіанскаго ученія, хотя двое-вѣріе народно-славянской поэзіи ничѣмъ не отличается отъ сходныхъ явленій на Западѣ и, пожалуй, еще откровеннѣе. Славянская библія опредѣлила, въ известной мѣрѣ, и характеръ школьнаго дѣла: не было того импульса, который заставилъ западнаго человѣка учиться по Донату языку, который былъ языкомъ библіи и мессы, но и языкомъ Виргилия; не было образцовъ, чужаго 12

1) Иначе Срезневскій, Мысли, 115—116: отсутствіе стихотворства у славянъ объясняется исключительнымъ спросомъ на литературу византійскую, где художественного стихотворства не было.

примѣра, который заманилъ бы къ подражанію, къ попыткѣ поднять и свой собственный народно-поэтическій кладъ. Если западную литературу можно представить себѣ, какъ результатъ скрещиванія народнаго съ классическимъ латинскимъ, то на славянскомъ Востокѣ такое скрещивание произошло въ болѣе узкомъ смыслѣ, опредѣленномъ цѣлями грамотности и церковнаго просвѣщенія. Вотъ почему не было и поэзіи.

Какъ бы пошло европейское литературное развитіе, представленное эволюціи своихъ собственныхъ народныхъ основъ — вопросъ, повидимому, безплодный, но вызывающій нѣкоторыя теоретическія соображенія, которымъ дѣйствительные факты идутъ навстрѣчу. Очевидно, органическая эволюція совершилась бы медленнѣе, не минуя очередныхъ стадій, какъ часто бываетъ подъ вліяніемъ чуждой культуры, заставляющей, иногда не во время, дозрѣвать не зрѣлое, не къ выгодѣ внутренняго прогресса. Въ основѣ греческой драмы лежать обрядовыя хоровыя пѣсни, вродѣ нашихъ весеннихъ хороводовъ; ихъ простѣйшее религіозное содержаніе обобщилось и раскрылось для болѣе широкихъ, человѣческихъ идей въ культе Діониса; художественная драма примкнула къ этой метаморфозѣ народнаго аграрнаго игрища. Обратимся на Западъ. И здѣсь существовали народные хороводы, простѣйшія основы драматическихъ дѣйствій, но дальнѣйшаго развитія на этой почвѣ мы не видимъ; если были зародыши соответствующаго, обобщающаго культа, то они заглохли, не принеся плода. Явилась церковь и создала изъ обихода мессы родъ духовной сцены — мистерію; но она лишена была народной основы, которая питала бы ее и претворяла, развиваясь вмѣстѣ съ догматомъ и выходя изъ него: церковная основа явилась со стороны, нерушимая, не подлежащая развитію. Площадная сцена, куда переселился впослѣдствіи этотъ религіозный театръ, могла внести въ него нѣсколько бытовыхъ сценъ и комическихъ типовъ, не психологіскій анализъ и не понятіе внутренняго конфликта; и здѣсь школа дала лишекъ прогресса, пріучивъ къ иносказанію, къ аллегоризаціи Виргиля, къ обобщеніямъ, которыми она ору-

дывала, какъ живыми лицами: къ фигурамъ Пороковъ и Добродѣтелей, Филології¹⁾ и Человѣка, Every man. Сліяніе этихъ обобщеній съ эпически-неподвижными лицами мистеріи указывало на возможность дальнѣйшаго развитія, на задатки драматической жизни. А между тѣмъ уже въ средневѣковомъ, даже женскому монастырѣ читали комедіи Теренція, помнили Сенеку; съ ними снова входитъ въ оборотъ преданіе древней драмы. Въ XIV вѣкѣ | 13 является и первое гласное ему подражаніе. Съ XVI вѣка драма вновь вспомнилась, какъ признанный литературный жанръ, завоевавший общія симпатіи: за Шекспиромъ стоитъ англійская драма Сенековскаго типа.

Откуда это поднятіе, популярность драмы? Если литература отражаетъ спросы жизни, то между ними и извѣстными поэтическими формами позволено предположить нѣкоторое соотвѣтствіе, еслиъ даже тѣ и другія не развились совмѣстно; усваивается лишь то, къ чему есть посылка въ сознаніи, во внутреннихъ требованіяхъ духа.

Драма, стало быть, внутренній конфліктъ личности, не только самоопредѣлившейся, но и разлагающей себя анализомъ. Конфліктъ этотъ можетъ выражаться во внѣшнихъ формахъ, объективирующихъ психическую силы и вѣрованія въ живыхъ лицахъ миѳологии, въ божествахъ, опредѣляющихъ долю, враждебную самоопредѣленію личности; но онъ можетъ представляться и совершающимся внутри человѣка, когда ослабнетъ или видоизменится вѣра во внѣшнія предержащія силы. Такова суть греческой драмы отъ Эсхила до Еврипида.

Проверимъ эти положенія на судьбахъ европейской драмы въ періодъ ея художественнаго возникновенія.

Развитіе личности: въ Италии, увлеченной въ народныя стези гуманизма, она выразилась раньше и ярче, чѣмъ гдѣ либо, сказалась и въ особяхъ, и въ новыхъ формахъ политического быта, въ подъемѣ литературы и искусства, а между тѣмъ именно

1) Теологія? Ф. Б.

итальянская драма ограничилась внешнимъ подражаніемъ классическимъ образцамъ и не произвела ничего самостоятельнаго, свидѣтельствующаго о высотѣ личнаго подъема.

Почему это? Мы обращаемся за справками къ Греціи, къ условіямъ афинской политіи, соединяемъ развитіе личности съ требованіями свободного общественнаго строя и переносимъ эти выводы на блестящій періодъ Елизаветинской драмы, гдѣ оба условія, казалось, соединились къ одной цѣли. Но мы не въ состояніи помирить этотъ выводъ съ параллельнымъ поднятіемъ испанской драмы, въ душной политической атмосферѣ, подъ религіознымъ гнетомъ, связывавшимъ свободу личности, вогнавшимъ ее въ узкую стезю энтузиазмовъ и паденій. Ясно, что не качества общественной среды вызвали драму, а внезапный подъемъ народнаго самосознанія, воспитанного недавними побѣдами къ увѣренности въ грядущихъ, широкіе историческіе и географическіе горизонты, поставившіе національному развитію новыя общечеловѣческія цѣли, новыя задачи для энергіи личности. Затѣмъ греческой, англійской и испанской драмой стоять: побѣда эллинизма надъ персидскимъ востокомъ, торжество народно-протестанскаго сознанія, наполняющее такою жизнерадостностью английское общество эпохи Елизаветы, и грёза всемирной испанской монархіи, въ которой не заходить солнце. Въ средѣ, гдѣ личность уходила безъ остатка въ безразличіе массы, ликованія побѣды выразились бы народной эпической пѣсней, въ которой общее настроеніе, общая оцѣнка пережитаго скажется прославленіемъ типического героя; въ личности обособившейся яркій историческій моментъ, самая громоздкость обступившихъ ее событий вызоветъ потребность анализа, счетовъ съ собою и съ руководящими началами жизни, въ виду требованія дѣйствія, обострить этотъ внутренній конфликтъ, который явится и условіемъ и продуктомъ индивидуализаціи. Драматическая форма, какъ виѣшнее дѣйство, какъ сцена, уже существовала; теперь она объявится драмой, отвѣчая спросу времени; условіями ея художественнаго обособленія, ея популярности представляются мнѣ:

развитіе личности и громкія события народно-исторического характера, открывающія народу новые пути и далекія перспективы.

Если Италия не произвела драмы, то потому, что такихъ именно событий она не пережила. Явление гуманизма, которымъ она подарила Европу, не событие, не переворотъ или внезапное откровеніе, а медленное движение впередъ забытыхъ народныхъ началь. Оно воспитало въ интеллигентной части общества сознаніе культурного единства, не пришедшее къ народно-политическому разцвѣту. Италия, какъ цѣлое, была абстрактомъ; существовала масса мелкихъ республикъ и тираній, съ мѣстными интересами и борьбою, съ трагическими дворцовыми анекдотами, человѣчными и вмѣстъ съ тѣмъ мелкопомѣстными; имъ не доставало широкаго народнаго фона. Идеализація безотносительно-человѣческаго стала возможной лишь въ нашу буржуазную пору, не въ пору зарожденія художественной европейской драмы. Но можно спросить себя: возможно ли ея развитіе вообще въ условіяхъ мелкой народности, стоящей въ широкихъ общечеловѣческихъ задачъ, ограниченной интересами колокольни? Это не исключаетъ, разумѣется, книжную, кабинетную драму.

Говоря объ ея зарожденіи, я отличилъ драму, какъ спектакльское дѣйствіе, отъ драмы, какъ извѣстное міросозерцаніе, какъ требованіе дѣйствія и конфликта. Это положеніе ставить насть лицемъ къ лицу съ рядомъ другихъ вопросовъ, непорѣшенныхъ и, можетъ быть, непорѣшимыхъ.

Исторія греческаго литературнаго развитія даетъ намъ, приблизительно, картину послѣдовательнаго выдѣленія литературныхъ родовъ, которую мы невольно склонны обобщить, усматривая въ каждомъ родѣ, являющемся на сцену исторіи, отраженіе извѣстныхъ общественныхъ и художественныхъ требованій, искавшихъ и находившихъ себѣ соотвѣтствующее выраженіе въ эпосѣ, лирикѣ, драмѣ и романѣ. Литературы новой Европы даютъ видимо такую же послѣдовательность, но органическую или нѣть, вотъ вопросъ. Мы уже знаемъ, что наши литературы сложились подъ воздействиемъ пришлыхъ, классическихъ, что, напримѣръ,

ново - европейская драма вышла изъ не народныхъ основъ и доразвилась подъ вліяніемъ древней. Прочныхъ выводовъ здѣсь быть не можетъ, тѣмъ болѣе, что изученіе народной поэзіи открываетъ намъ новыя точки зренія, колеблющія возможные выводы. Оказывается, что въ поэзіи обряда, древнѣйшемъ показателѣ поэтическаго развитія вообще, соединены, въ наивномъ синкретизмѣ, всѣ роды поэзіи, на сколько они опредѣляются внѣшними признаками формы: и драма въ дѣйствії, и діалогъ хоровода, и эпический сказъ, и лирическая пѣсня; болѣе того: все это въ соединеніи съ музыкой, которая долгое время будетъ сопровождать продукцію той или другой поэтической формы, послѣдовательно выдѣляющейся изъ безразличія обрядовой поэзіи: будутъ пѣть и эпость, лирику, и въ драмѣ будетъ присутствовать музыкальный элементъ; обособленіе музыки отъ лирическаго текста и одностороннее развитіе послѣдняго совершилось въ Греціи въ по-Александровскую пору. По какому принципу совершилось это выдѣленіе, мы решать не станемъ; вопросы генезиса, всегда темные, лучше предоставить поэтике будущаго, поставленной на рационально-исторической почвѣ. Обратимся къ новой Европѣ, съ двойственностью ея образовательныхъ и поэтическихъ элементовъ: здѣсь эпость и лирика даны издавна, съ среднихъ вѣковъ; развилась и драма, испытавшая съ XIV вѣка и вліяніе драмы классической; съ XIV вѣка водворяется и художественная новелла, прототипъ нашего романа. Съ тѣхъ порь мы владѣемъ всѣми главными формами поэзіи, а исторический опытъ продолжаетъ убѣждать насъ, что между ними есть какое-то чередованіе, какъ бы естественный подборъ въ уровень съ содержаніемъ сознанія. Это, быть можетъ, ложное впечатлѣніе, но оно само собою напрашивается. *Почему* драма является преобладающей поэтической формой въ XVI—XVII вѣкахъ? *Почему* новелла-романъ надвигается начиная съ конца XIV вѣка, чтобы стать господствующимъ литературнымъ выраженіемъ нашего времени? Послѣдній вопросъ не разъ ставили въ ожиданіи от 16 вѣта, который и мы | не въ состояніи дать. Ограничусь параллелью,

которая, быть можетъ, объяснить намъ не происхожденіе романа, а качества общественной среды, способной его воздѣлывать. Въ Греціи драма стоитъ еще въ полосѣ национально исторического развитія, романъ принадлежитъ той порѣ, когда завоеванія Александра Великаго его нарушили, когда самостоятельная Греція исчезла во всемирной монархіи, смѣшавшей востокъ и западъ, преданія политической свободы поблекли вмѣстѣ съ идеаломъ гражданина, и личность, почувствовавъ себя одинокой въ широкихъ сферахъ космополитизма, ушла въ самое себя, интересуясь вопросами внутренней жизни за отсутствиемъ общественныхъ, строя утопіи за отсутствиемъ преданія. Таковы главныя темы греческаго романа: въ нихъ нѣтъ ничего традиціоннаго, все интимно буржуазное; это драма, перенесенная къ очагу, со сцены — въ условія домашняго обихода; она остается, тѣмъ не менѣе, драмой, дѣйствіемъ: таково на самомъ дѣлѣ название греческаго романа. Древніе греки жили общественной жизнью, на агорѣ, болѣе чѣмъ дома, и тогда какъ дома жилось просто, храмы были чудомъ искусства, театръ народнымъ учрежденіемъ. Средневѣковые флорентійцы любили роскошь общественныхъ празднествъ и съ торжествомъ носили по улицамъ мадонну Чимабуэ, потому что видѣли въ ней идеаль красоты, а дома царили родовые нравы, воспѣтыя Данте: мужчины умывались рѣдко и за столомъ не знали вилки. Мы замѣнили художественную пестроту старинной одежды — черпымъ сюртукомъ, великолѣпіе нашихъ публичныхъ зданій отличается ремесленнымъ колоритомъ, за то искусство и поэзія въ миниатюрѣ спустились до домашняго употребленія, и драму мы переживаемъ въ формахъ романа для чтенія въ обстановкѣ домашняго комфорта.

Это, быть можетъ, не отвѣтъ на вопросъ, поставленный выше: о соотвѣтствіи между данной литературной формой и спросомъ общественныхъ идеаловъ. Соотвѣтствіе это, вѣроятно, существуетъ, хотя мы и не въ состояніи опредѣлить законности соотношеній. Несомнѣнно одно подтверждается наблюденіемъ, что известныя литературныя формы падаютъ,

когда возникаютъ другія, чтобы иногда снова уступить мѣсто прежнимъ.

Падаютъ и возникаютъ не однѣ формы, но и поэтическіе сюжеты и типы. Германскія пѣсни о Карлѣ Великомъ возстали еще разъ въ формахъ феодальной эпопеи; въ періоды народныхъ бѣствий или возбужденій, демократическихъ или мистическихъ, видѣли одни и тѣ же страхи, и надежды одѣвались въ тѣ же или 17 сходные образы: ждали | послѣдняго часа, или послѣдней битвы; когда явится избавитель, кто бы онъ ни былъ, византійскій ли императоръ или Дантовскій Вельтро, Фридрихъ Барбаросса или Наполеонъ III. Въ 1686 году лѣто сулило богатую жатву и довольство, а жители Граубюндена еще помнили живо ужасы 30-ти лѣтней войны и религіозная политика Людовика XIV настраивала ихъ къ серьезному опасеніямъ: что то будетъ? И вотъ два путникаѣхали однажды по дорогѣ въ Куртъ, видѣть, въ кустѣ лежить ребенокъ, закутанный въ пеленки. Они сжалились надъ нимъ, велили слугѣ взять его съ собой, но какъ ни силился онъ, одинъ и вдвоемъ, поднять его не смогли. «Не трогай меня, послышался голосъ дитяти, меня вамъ не поднять (вспомнимъ не-подъемную сумочку въ нашей былинѣ), а я вотъ что скажу вамъ: быть въ этомъ году великому урожаю и благорастворенію, но не многіе доживутъ до него». — 1832 годъ переносить насть къ юльской революціи, «юной Германи» и временамъ Bundestag'a; свирѣпствує холера и въ народѣ тѣ же тревожныя ожиданія; въ Гартвальдѣ подъ Карльсруэ охотникъ встрѣтилъ вечеромъ послѣ захода солнца три бѣлые женскія фигуры. «Кому будетъѣсть хлѣбъ, который уродится въ этомъ году? сказала одна изъ нихъ; кому пить вино, котораго будетъ вдоволь? спросила другая; кому будеть хоронить всѣхъ тѣхъ покойниковъ, которыхъ унесетъ смерть?» кончила третья. — Въ 1848 году то же настроение и сходная легенда въ Ангальтѣ: въ теченіе нѣсколькихъ почей сторожъ въ Klein-Köthen'ѣ видѣлъ на полѣ, где вообще никакихъ строеній не было, домъ съ тремя освѣщенными окнами; встревоженный видѣніемъ, онъ сообщилъ о немъ священнику, и они вмѣстѣ

пошли посмотреть въ чём дѣло. Въ домѣ за столомъ сидѣлъ маленький человѣкъ и писалъ; онъ кивнулъ въ окно священнику, и когда тотъ вошелъ, молча подвелъ его поочередно къ каждому изъ трехъ оконъ. Выглянула священница въ одно: роскошное поле, густая пшеница стоитъ въ ростъ человѣка, отягченная колосьями; изъ другого иной видъ: поле битвы, усеянное трупами и море крови; въ третьемъ открылась прежняя нива, на половину скатая, но на всей полосѣ всего одинъ человѣкъ¹⁾.

Я полагаю, никакія теоретическія соображенія не мѣшаютъ намъ перенести эту повторяемость народной легенды къ явленіямъ сознательно художественной литературы. Сознательность не исключаетъ законности, какъ статистической кривыя — сознанія самоопредѣленія. Намѣчу лишь нѣсколько фактовъ. Старая типническая легенда о познаніи добра и зла отразилась въ средневѣковыхъ разказахъ, и мы | встрѣчаемъ ея поэтическій апоѳеозъ 18 въ XVI—XVII вѣкахъ: въ Фаустѣ Марло и *El magico prodigioso* Кальдерона. Въ нихъ выразилось настроеніе эпохи, передъ которой открылись невиданные умственные кругозоры, и она хочетъ овладѣть ими въ юношески самоувѣренномъ сознаніи своихъ силъ. Фаустъ — это типъ мыслящаго человѣка поры гуманизма, вступившій въ борьбу со старымъ міросозерцаніемъ, удѣлявшимъ личности лишь скромную роль исполнителя, идущаго назначенней чередой. Такіе люди были, они или достигали или гибли, не уступая; ихъ побѣды не въ достижениіи, а въ цѣляхъ борьбы, во внутренней потребности освобожденія (*Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen*). Другое пошли было навстрѣчу новымъ вѣяніямъ, увлеклись до паденія, до чувства своего беспилія и несбыточности надеждъ, и возвращались вспять къ прежней вѣрѣ, къ ея простодушно буржуазному покою. И вотъ почему обновляется въ литературѣ именно XVI вѣка, отражая нерѣдко факты личной жизни, евангельская легенда о блудномъ сынѣ,

1) Сл. сходныя легенды смоленскія и екатеринославскія въ Этнографич. Обозрѣніи, VI, 212; XIII—XIV, 250; XV, 189; XVI, критика, 193 (изъ Ков. Губ. Вѣд.); XVII, 188.

искашемъ чего-то лучшаго и снова вернувшемся подъ отеческій кровь. Всѣ искали чего-то: лучшаго общественаго устройства, болѣе свободныхъ условій для преуспѣянія личности, новыхъ идеаловъ. Изстари (уже Діону Христостому) знакома потѣшная сказка о какой-то небывалой странѣ, где всѣ счастливы, никому ни въ чемъ нѣтъ недостатка, рѣки текутъ молокомъ, берега ки-
сельные, и жареная дичь сама летить въ ротъ. Эта реалистиче-
ская грѣза служить теперь выраженію идеальныхъ потребностей
духа: возникаютъ соціальныя утопіи, начиная съ телемской оби-
тели Рабле и утопіи Томаса Мора до Cyrano de Bergerac, Ро-
бинзонадъ XVIII вѣка и благонамѣренныхъ сновидѣній, что будеть
за столько то тысячу лѣтъ впередъ. Настають эпохи обществен-
ной усталости, и обновляются сюжеты пасторали, когда человѣка
тянетъ къ непосредственной природѣ, къ о прощенію — хотя бы
въ стилѣ барышни-крестьянки, къ народной пѣснѣ и народной
старинѣ: это эпохи повѣстей изъ крестьянскаго быта и археоло-
гическихъ вкусовъ.

Это очередное обновленіе сюжетовъ, повидимому, не всегда
является отвѣтомъ на органическія требованія общественно-
поэтическаго развитія. Талантливый поэтъ можетъ напасть на
тотъ или другой мотивъ случайно, увлечь къ подражанію, создать
школу, которая будетъ идти въ его колеѣ, не отвѣчая тѣмъ тре-
бованіямъ, иногда имъ наперекоръ. Такъ пережилъ свое время
феодальный эпосъ, Петраркизмъ; такъ были отсталые классики
и романтики. Но если взглянуть на эти явленія издали, въ исто-
рической перспективѣ, всѣ | мелкіе штрихи, мода и школа и лич-
ные теченія стущаются въ широкомъ чередованіи общественно-
поэтическихъ спросовъ и предложеній.

Сюжеты обновляются, но подъ условiemъ тѣхъ видоизмѣненій,
которые отличаютъ, напримѣръ, Донъ Жуана А. Толстого отъ
его многочисленныхъ предшественниковъ, аскетическую легенду
о гордомъ царѣ отъ ея передѣлки у Гаршина; тему объ отцахъ
и дѣтяхъ въ ея различныхъ выраженіяхъ до Тургеневскаго ро-
мана.

Возьмемъ примѣръ изъ далекаго прошлаго: Апулей подслушалъ какую-то милезійскую сказку и пересказалъ намъ ее въ прелестной повѣсти объ Амурѣ и Психеѣ, гдѣ реальное опоэтизировано и одухотворено на столько, что въ раннюю христіанскую пору Психея стала символомъ души, разобщавшейся съ своимъ божественнымъ началомъ и тревожно ищущей соединенія съ нимъ. Что это была за милезійская сказка, — мы не знаемъ, но сюжетъ ея распространенъ у разныхъ народовъ съ подробностями, указывающими, въ какихъ простѣйшихъ бытовыхъ отношеніяхъ она сложилась. Есть еще и существовали эксогамическія расы, возводившія свое происхожденіе къ какому нибудь природному объекту: растенію или животному; этого родоначальника каждое такое племя почитало, какъ святыню, какъ свой totem, и существовалъ запретъ браковъ между лицами, почитателями одного и того же totem'a, носившими одинъ и тотъ же выражавшій его символическій признакъ. Такіе браки обставлялись препятствіями, стѣснительными условіями, отраженіе которыхъ мы видимъ въ условії, которое Амуръ ставитъ Психеѣ; ихъ нарушеніе вело къ перепитіямъ.

Таково содержаніе эксогамической сказки; у Апулея не узнатъ ея бытовой подкладки. — Или припомнимъ мотивы: объ увозѣ жены, о похищеніи невѣсты, о спознаніи или встрѣчѣ, нерѣдко враждебной или преступной, между близкими родственниками, отцемъ и сыномъ, братомъ и сестрой. Они встрѣчаются въ средневѣковомъ романѣ, какъ интересныя формулы, какъ данныя для поэтическаго развитія, тогда какъ въ основѣ онѣ отражали реальные факты: брака умыканіемъ, либо эпохи грандіозныхъ народныхъ смѣшений и переселеній, разлучавшихъ родичей на далекія пространства; оттуда элементъ спознаній въ греческомъ романѣ въ широкихъ перспективахъ Александровой монархіи и знакомыя всѣмъ легенды о боѣ отца съ сыномъ.

Междуди этими реальными формулами и ихъ позднѣйшими поэтическими воспроизведеніями, между милезійской сказкой и повѣстью Апулея прошли вѣка развитія, обогатившіе содержаніе

20 общественныхъ | и личныхъ идеаловъ; оттуда такая разница въ освѣщеніи. Именно эволюція этихъ идеаловъ не обусловливаеть-ли повтореніе спросовъ на тотъ или другой литературный сюжетъ, обновленіе старыхъ?...

Мы ощущаемъ эту эволюцію, какъ нѣчто органическое, цѣльное, довлѣющее цѣлямъ человѣческаго развитія, хотя не надо забывать, что она переработала цѣлый рядъ вліяній и международныхъ смѣшенній, которыми такъ богата, напримѣръ, наша европейская культура. Въ нашихъ понятіяхъ нравственности и семьи, красоты и долга, чести и героизма есть масса моментовъ, привозошедшихъ со стороны: въ нашемъ взглѣдѣ на любовь надъ туземными бытовыми условіями наслойлся христіанскій спиритуализмъ, въ него проникли классическая вѣянія и получилось то своеобразное сочетаніе понятій, нормирующихъ не одну только жизнь чувства, но и цѣлыхъ областей нравственности, которое мы въ состояніи прослѣдить отъ рыцарской лирики и романа до Амадисовъ и салона XVII вѣка. Наши представленія о красотѣ человѣка и природы такія-же свободныя и, можетъ быть, ихъ развитію расовая и культурная скрещиванія способствовали не менѣе, чѣмъ развитію литературы. Когда типъ непосредственного народного героя съ его реальной силой и лукавой синоровкой, не знающей счетовъ съ совѣстью, какъ у Улисса, встрѣтился впервые съ типомъ христіанского самоотреченно-страдательного героя, это была такая же противоположность, какъ Дантовскій «духъ любви» и наивное представленіе некультурныхъ народовъ, источникъ любви—въ печени. А между тѣмъ оба пониманія сжились, прониклись взаимно, а развитіе общественного сознанія поставило и новыя цѣли самоотреченому подвигу въ служеніи идеѣ, народу, обществу.

Но оставимъ періодъ начинаній и смѣшенній. Вообразимъ себѣ, что эволюція общественныхъ и личныхъ идеаловъ совершается ровно, что въ ней есть моменты перехода отъ старого къ новому, когда это новое требуетъ выраженія въ формахъ научной рефлексіи или поэтическаго обобщенія,— что насть и инте-

ресуетъ. Въ памяти народа отложились образы, сюжеты и типы, когда-то живые, вызванные дѣятельностью извѣстнаго лица, какимъ-нибудь событиемъ, анекдотомъ, возбудившимъ интересъ, овладѣвшимъ чувствомъ и фантазией. Эти сюжеты и типы обобщились, представлениe о лицахъ и фактахъ могло заглохнуть, остались общія схемы и очертанія. Онѣ гдѣ-то въ глухой темной области нашего сознанія, какъ многое испытанное и пережитое, видимо забытое и вдругъ поражающее насть, какъ непонятное откровеніе, какъ новизна и вмѣстѣ старина, въ которой мы не даемъ | себѣ отчета, потому что часто не въ состояніи опредѣлить 21 сущности того психического акта, который негаданно обновилъ въ насть старыя воспоминанія. То же самое въ жизни литературы, народной и художественно-сознательной: старые образы, отголоски образовъ, вдругъ возникаютъ, когда на нихъ явится народно-поэтическій спросъ, требованіе времени. Такъ повторяются народныя легенды, такъ объясняется въ литературѣ обновленіе нѣкоторыхъ сюжетовъ, тогда какъ другіе видимо забыты.

Чѣмъ объяснить и этотъ спросъ, и это забвеніе? Можетъ быть, не забвеніе только, а и вымираніе. Отвѣтомъ могли бы послужить аналогическія явленія въ исторіи нашего поэтическаго стиля, еслибы эта исторія была написана. Въ нашемъ поэтическомъ языке, и не только въ оборотахъ, но и въ образахъ, совершается постепенный рядъ вымиралій, тогда какъ многое воскресаетъ для нового употребленія; увлеченіе народной и средне-вѣковой поэзіей со временемъ Гердера и романтиковъ свидѣтельствуетъ о такомъ перѣбоѣ вкусовъ. Не говорю о болѣе или менѣе близкой къ намъ современности, которую мы уже начинаемъ ощущать, какъ архаическую, но мы не сочтемъ поэтическимъ гомеровское сравненіе героя съ осломъ, враговъ, нападающихъ на него съ досадливыми мухами, тогда какъ иные образы и сравненія до сихъ поръ остаются въ оборотѣ, избитые, но внятные, видимо связывающіе насть, какъ обрывки музыкальныхъ фразъ, усвоенныхъ памятью, какъ знакомая риома, и вмѣстѣ съ тѣмъ вызывающіе вѣчно новыя подсказыванія и работу мысли съ нашей стороны. Какой-то

нѣмецкій эрудитъ посвятилъ особую монографію одной поэтической формулы, прославивъ ее отъ народной пѣсни до новыхъ проявлений въ изящной литературѣ: *Wenn ich ein Vöglein wär!* Такихъ формулъ много.

Подсказываніе — это то, что англійская, если не ошибаюсь, эстетика окрестила названіемъ суггестивности. Вымираютъ или забываются, до очереди, тѣ формулы, образы, сюжеты, которые въ данное время ничего намъ не подсказываютъ, не отвѣчаютъ на наше требованіе образной идеализациі; удерживаются въ памяти и обновляются тѣ, которыхъ суггестивность полно и разнообразнѣе и держится долѣе; соответство нашихъ наростающихъ требованій съ полнотою суггестивности создаетъ привычку, уверенность въ томъ, что то, а не другое, служить дѣйствительнымъ выраженіемъ нашихъ вкусовъ, нашихъ поэтическихъ вожделѣній, и мы называемъ эти сюжеты и образы поэтическими. Метафизикъ отвѣтить на это историко-сравнительное опредѣленіе отвлеченными понятіемъ прекраснаго и даже постарается обобщить его, сравнивъ съ впечатлѣніемъ, которое мы выносимъ изъ другихъ искусствъ. И онъ убѣдить нась, если и для нихъ онъ поставить тѣ же вопросы устойчивости и суггестивности, которые опредѣляютъ и нормы изящнаго, и ихъ внутреннее обогащеніе на пути къ той *science des rythmes supérieurs*, которые отличаютъ наши вкусы отъ вкусовъ дикарей (*Jean Lahor*). Пока эта работа не сдѣлана, правы будутъ тѣ, которые постараются извлечь понятіе специально поэтическаго не только изъ процессовъ его воспріятія и воспроизведенія, но и изъ изученія тѣхъ особыхъ средствъ, которыми располагаетъ поэзія и которая, накопляясь въ исторіи, обязываютъ нась, указывая нормы личному символизму и импрессіонизму. Процессовъ воспріятія и воспроизведенія, сказали мы, потому что то и другое существенно одно и тоже, разница въ интенсивности, производящей впечатлѣніе творчества. Всѣ мы болѣе или менѣе открыты суггестивности образовъ и впечатлѣній; поэтъ болѣе чутокъ къ ихъ мелкимъ оттенкамъ и сочетаніямъ, апперцептируетъ ихъ полно; такъ онъ до-

полняеть, раскрываетъ насть самихъ, обновляя старые сюжеты нашимъ пониманіемъ, обогащая новой интенсивностью знакомые слова и образы, увлекая насть на время въ такое же единеніе съ собою, въ какомъ жить безличный поэтъ безсознательно-поэтической эпохи. Но мы слишкомъ многое пережили врознь, наши требованія суггестивности выросли и стали личнѣе, разнообразнѣе; моменты объединенія наступаютъ лишь съ эпохами успокоенного, отложившагося въ общемъ сознаніи жизненаго синтеза. Если большиe поэты становятся рѣже, мы тѣмъ самыми отвѣтили на одинъ изъ вопросовъ, который ставили себѣ не разъ: *почему?*

1895.

Изъ исторії эпитета¹⁾.

[;Курналъ Мин. Народн. Просвѣщенія, 1895, Декабрь, ч. СССII, стр. 179—199].

Если я скажу, что исторія эпитета есть исторія поэтическаго стиля въ сокращенномъ изданіи, то это не будетъ преувеличеніемъ. И не только стиля, но и поэтическаго сознанія отъ его физиологическихъ и антропологическихъ началъ и ихъ выражений въ словѣ—до ихъ закреѣщенія въ ряды формулъ, наполняющихъ содержаніемъ, очередныхъ общественныхъ міросозерцаній. За инымъ эпитетомъ, къ которому мы относимся безучастно, такъ мы къ нему привыкли, лежитъ далекая историко-психологическая перспектива, накопленіе метафоръ, сравненій и отвлеченій, цѣлая исторія вкуса и стиля въ его эволюціи отъ идеи полезнаго и желаемаго до выдѣленія понятія прекраснаго. Если бы эта исторія была написана, она освѣтила бы намъ развитіе эпитета; пока хронологія эпитета можетъ послужить матеріаломъ будущаго, болѣе широкаго обобщенія. Польза такой хронологіи стоитъ въ прямой зависимости отъ богатства и разнообразія данныхъ, находящихся въ рукахъ собирателя; я не могу похвалиться ни тѣмъ, ни другимъ и потому даю лишь наброски, ставлю вопросы и прошу дополненій²⁾.

1) Читано въ засѣданіи Неофилологического общества, состоящаго при С.-Петербургскому университѣтѣ, 14-го апрѣля 1895 г.

2) Указанія на источники и пособія, которыми я пользовался, найдутъ себѣ мѣсто въ книгѣ, изъ которой извлечена предлагаемая замѣтка.

Эпитетъ свойственъ и поэзіи, и прозаической рѣчи; въ первой онъ обычнѣе и рельефнѣе, отвѣчая поднятому тону рѣчи. Гельги возвышается надъ другими витязями, какъ *благородный ясень* надъ терновникомъ, — какъ *росою увлажненный телецъ* надъ стадомъ, впереди которого онъ бѣжитъ (*Helgakv. Hundingsbana*, II, 36); Сигурдъ | сравнивается съ *благороднымъ* или *зеленымъ* пореемъ, *блестящимъ* (драгоценнымъ) камнемъ, *высоконогимъ* оленемъ, *краснымъ* золотомъ (*Gudrunarkv. I*, 18; II, 2). Вотъ общій типъ эпитета.

Эпитетъ — одностороннее опредѣленіе слова, либо подно-вляющее его нарицательное значеніе, либо усиливающее, подчер-кивающее какое-нибудь характерное, выдающееся качество предмета. Первый родъ эпитетовъ можно бы назвать *тавтоло-тическими*: *красна дѣвица*, напримѣръ, въ сущности тождесловіе, ибо и прилагательное, и существительное выражаютъ одну и ту-же идею свѣта, блеска, при чемъ въ ихъ сопоставленіи могло и не выражаться сознаніе ихъ древняго содержательного тожде-ства. См. еще: *солнце красное*, *жутко злато* (сербск.), *блызъ сѣть*, *грязи топучія* и друг.

Второй отдѣль составляютъ эпитеты *пояснительные*: въ основѣ какой-нибудь одинъ признакъ, либо 1) считающійся суще-ственнымъ въ предметѣ, либо 2) характеризующій его по отно-шению къ практической цѣли и идеальному совершенству. По со-держанію эти эпитеты распадаются на цѣлый рядъ групповыхъ отличій; въ нихъ много переживаний, отразились тѣ или другія народно-психическія воззрѣнія, элементы мѣстной исторіи, разныя степени сознательности и отвлеченія и богатство аналогій, растущее со временемъ.

Говоря о существенномъ признакѣ предмета, какъ характер-номъ для содержанія пояснительного эпитета, мы должны имѣть въ виду относительность этой существенности.

Возьмемъ примѣры изъ народной поэзіи. Бѣлизна лебеди, напримѣръ, можетъ быть названа ея существеннымъ признакомъ, какъ и *ѹгѹсъ Ӧðѡр* (*Od. IV*, 458), что намъ казалось-бы излиш-

нимъ; но старо-франц. *escut bucler* (Ch. d. Rolant v. 526) характеризует щитъ не со стороны его крѣости или формы, а по выпуклому, обыкновенно украшенному возвышенню въ срединѣ; «руйно вино» сербской пѣсни отзыается случайностью подбора (Гом. αἴθεψ, рѣже μέλας, ἐρυθρὸς; ит. *vino nero*), ея «честити цар», «бѣли двори», «вода ладна», «ситна мрежа»; «ступистая лошадушка», «тихомѣрныя бесѣдушки» (Барсовъ, Причит.), «столы бѣлодубовые», «ножки рѣзвыя», «ѣствушка сахарная» и т. п. нашихъ былинъ указываютъ на желаемый идеалъ: коли царь, то честитый, столъ бѣлодубовый, стало быть, хорошій, крѣпкій.

Отсюда пристрастіе къ эпитету «золотой»: у Асвиновъ колесница, и ось, и сидѣніе, и колеса, и вожжи — золотыя, у Варуны золотой панцырь, у Индры громовыя стрѣлы и жилище изъ 181 золота; Слово о Полку Игоревѣ говорить о «златомъ столѣ», златомъ сѣдлѣ и т. д.; въ малорусскихъ народныхъ пѣсняхъ являются золотые столы, ножи, челнокъ, весло, соха, серпъ и т. д.; въ литовскихъ: кольцо, шпоры, подковы, стремя, сѣдло, ключи¹⁾. У древнихъ германцевъ золото принадлежность боговъ, серебро героевъ; желѣзо является лишь въ позднѣйшихъ произведеніяхъ англо-саксонской и сѣверной поэзіи.

Мѣриломъ подобнаго рода опредѣленій служить нерѣдко бытовое или этнографическое преданіе, сохранившееся въ переживаніяхъ. Лучшимъ матеріаломъ для копейныхъ древокъ считался ясень, оттуда ясневое копье гомеровскихъ и старо-французскихъ поэмъ: δόρι, ἔγχος μειλιγον, lance fraisnine, espiez fresnin; рядомъ съ ними, хотя и въ менѣе частомъ употребленіи, ἔγχεα δξιόευτα (буковыя; или острыя? рѣдко у Гомера), baston pommerin, espiel de cornier, lance sapine. Въ нашемъ эпосѣ копье мурзамецкое (сл. сѣдельышко черкасское) указываетъ на историческія отношенія, какъ и старо-французское arabi при конѣ: то и другое было типомъ хорошаго копья (сербск. вито копје), доброго коня

1) Указаніями на эпитеты литовской и латышской народной поэзіи я обязанъ любезности Э. А. Вольтера. Другія сообщенія изъ области эпитета сдѣланы были мнѣмъ Л. Н. Майковымъ, В. К. Ериштедтомъ и Гр. Де Ла Бартомъ.

(сербск. добар. коњ). Можетъ быть, такими же отношеніями объясняются «зеленые» щиты старо-французского эпоса; напеч зелено вино не идеть въ сравненіе: вино и виноградъ смѣшивались, эпитеть послѣдняго перенесенъ быть на первое, тѣмъ легче, чѣмъ менѣе знакомы были съ лозой; зелено вино вызвало далѣе образъ «сиянаго» кувшина. Иное дѣло зеленыя пути (*groenir brautir, grêne straeta*) съверной и англо-саксонской поэзіи: дорѣтъ нѣть, путь идетъ зеленымъ полемъ; въ болгарской поэзіи эти пути, друмы — бѣлые; въ старо-французскомъ эпосѣ ихъ эпитеть *anti = antique: старыя римскія дороги*. Эпитеть бросаетъ свѣтъ на три культурныя перспективы.

Цвѣтъ волосъ — этническій признакъ; какъ греческие, такъ и средневѣковые витязи волосаты, въ гомеровскихъ поэмахъ ахеянне зовутся «кудреглавыми» (*χάρηκομόωντες*), женщины *γῆ-κοραι* и *καλλιπλόκαιοι*, прекраснокудрыми; волосы свѣтлорусые: это любимый цвѣтъ у грековъ и римлянъ; всѣ гомеровскіе герои бѣлокуры, кромѣ Гектора. Рѣже черные волосы съ синимъ отливомъ, *κυάνεαι*, у Гомера это цвѣтъ стали, шкуры дракона, кораблей, эпитеть волосъ (*Κυανοχαίτης* = Посейдонъ); грозовой тучи; у Платона *κυανοῦν* отвѣчаетъ темносинему, у Гезихія *κυα-νόν* — цвѣтъ неба. Это синкетическое представление чернаго, 182 отливающаго въ синій пѣтъ, лежить въ эпитете киргизской эпики: черный стальной мечъ, старофр. *acier brun*, и въ основе съвернаго *blár* = нѣм. *blau*: *blámaðr* = эюопъ; въ древне-русскихъ текстахъ бѣсы изображаются эюопами — *синьцами*; *синь*, какъ эпитете камня въ болгарскихъ пѣсняхъ и галицкой колядкѣ, относится сюда же, какъ, можетъ быть, и *marbre bloi* въ *Chanson de Rolant*.

И въ сербскомъ (руса глава), и въ русскомъ эпосѣ излюбленный цвѣтъ волосъ русый; въ средневѣковой поэзіи запада — золотистый: *crin d'or; si cheveul resembloient d'or fin ou de leton; plus furent luisans d'une coupe dorée; leur cheveux reluisoient comme penne de paon; plus jaunes que penne de paon.* Эта предileкція западныхъ эстетиковъ настолько же этническаго, насколько

историко-культурного свойства, наследие, отчасти, римского вкуса; въ другихъ случаяхъ предпочтение известныхъ цветовъ, стало быть, и эпитетовъ, можетъ возбудить вопросъ: имѣемъ ли мы дѣло съ безучастнымъ переживаніемъ древнѣйшихъ физиологическихъ впечатлѣній, или съ этническимъ признакомъ. Извѣстно, что красный и желтый цветъ раньше другихъ распознаются ребенкомъ, и физиологи указываютъ тому причину; красный, желтый, оранжевый цвета — излюбленные цвета дикихъ, оставшихся на степени дѣтски-наивнаго міросозерцанія; мы не удивимся, послѣ этого, если и гомеровскія поэмы обнаруживаютъ любовь къ красному, но когда Гранть Алленъ говоритъ о такомъ же предрасположеніи у англійскихъ поэтовъ вообще, вопросъ о народныхъ особенностяхъ эстетическихъ впечатлѣній возникаетъ самъ собою. Нашъ «дородный добрый молодецъ» и «парень красавецъ» (*fetū frumos = formosus*) румынской народной поэзіи принадлежать двумъ различнымъ обобщеніямъ.

Две группы пояснительныхъ эпитетовъ заслуживаютъ особаго вниманія: *эпитетъ-метафора* и *シンкремтический*, сливающіеся для насъ въ одно цѣлое, тогда какъ между ними лежитъ полоса развитія: отъ безразличія впечатлѣній къ ихъ сознательной раздѣльности.

Эпитетъ-метафора (въ широкомъ Аристотельскомъ значеніи этого слова = тропъ) предполагаетъ параллелизмъ впечатлѣній, ихъ сравненіе и логический выводъ уравненія. *Черная тоска*, напримѣръ, указываетъ на а) противоположеніе тьмы и свѣта (дня и ночи) — и веселаго и грустнаго настроенія духа; б) на установление между ними параллели: свѣта и веселья и т. д.; с) на обобщеніе эпитета свѣтовой категоріи въ психологическое значение: черный, какъ признакъ печали.— Или — *мертвая тишина*, предполагающая рядъ приравненій и обобщеній: а) мертвѣцъ молчитъ; б) молчаніе — признакъ смерти; с) перенесеніе реального признака (молчаніе) на отвлеченіе: тишина.

Развитием эпитета-метафоры объясняются тѣ случаи, когда, напримѣръ: а) дѣйствіе, совершающееся при извѣстномъ объектѣ, въ предѣлахъ одного представлѣнія, либо его сопровождающее, переносится на него, какъ дѣйствіе, ему свойственное, при большемъ или меньшемъ развитіи олицетворенія. Глухое окно, *blinde Fenster* — это окно, въ которое не видятъ, изъ котораго не слышно; сл. франц. *lanterne sourde*; лѣсь глухой (Пушкинъ); *vada caesa* (*Aen.* I, 536). Ленау говорить о звучащемъ, звучномъ утре (*der klingende Morgen*), у Пушкина встрѣчаемъ и «голодную волну» и «зиму сѣдую», и «грѣхъ алчный». Сюда относится и «золотая Церера» и «блѣдный страхъ» (*χλωρὸν δεός*, П., 7, 479); *βέλεα στονόευτα* (П., 8, 159); *αι δ' ἀποβαλοῦσαι θαλερὸν ύμιμάτων* (*ύπνου*, Eur. *Bacch.* 691); *pallida mors*, Hor. *Od.* 1, 4, 13; *pal-lentes . . . morti*, *Virg. Aen.* VI, 275) у Гомера и Эсхила, и «блѣдная зависть», франц. *colère bleue*, и *caecus Amor*, и «розовый стыдъ» Шекспира; сл. сербскія: *тијана механа* = корчма; оружье *плашиво* = страшное; лит. молодые дни; «Мертвые болѣзни», «царство бѣлой смерти» (Бальмонтъ, Мертвые корабли, Починъ на 1896 г., стр. 371). — Либо б) эпитетъ, характеризующій предметъ, прилагается и къ его частямъ: такъ синій, *caeruleus* переносится отъ моря къ каплямъ пота АРЕтузы (*Ov. Met.* V, 633: *caeruleae cadunt toto de corpore guttae*); у нерейдъ, обитательницъ моря, волосы зеленые (звѣть моря или морской травы?), а у Ленау (зеленая) тропа олицетворена: ей нечего повѣдать о былой любви, и она печально замкнула свои зеленые уста:

Der Pfad, der nichts der Liebe mehr zu künden,
Schloss trauernd seine grüne Lippen zu.

См. у Некрасова: зеленый шумъ, *silenzio verde* (*Carducci*), у Гейне, *Neuer Frühling*, 15: *Da grüsst der Mond herunter — Mit lichtem Liebesweh.*

Другіе эпитеты, повидимому сходные съ предыдущими, объясняются физиологическимъ синкретизмомъ и ассоціаціей нашихъ чувственныхъ восприятій, въ которой, при нашей привычкѣ

къ аналитическому мышленію, мы обыкновенно не даемъ себѣ отчета, тогда какъ нашъ глазъ поддерживается слухомъ, осязаніемъ и т. п., и наоборотъ, и мы постоянно воспринимаемъ впечатлѣнія слитнаго характера, природа котораго раскрывается намъ случайно, или при научномъ наблюденіи. Такъ впечатлѣнія свѣта могутъ быть искусственно вызваны впечатлѣніями звука, слѣпой выражаетъ ощущеніе солнечныхъ лучей, говоря, что онъ его слышитъ; мы говоримъ о *Klangfarbe, auditions colorées*. Эпитеты, которые я называю *сингретическими*, отвѣчаютъ этой слитности чувственныхъ воспріятій, которыя первобытный человѣкъ выражалъ нерѣдко одними и тѣми-же лингвистическими | показателями; цѣлый рядъ индоевропейскихъ корней отвѣчаетъ понятію напряженного *движенія, прониканія* (стрѣлы) и одинаково — понятіямъ *звучка и светла*, горѣнія (сл. нѣм. *singen* и *sengen*), обобщаясь далѣе до выраженія отвлеченныхъ отношеній: греч. *δέισις*, лат. *acer*, церк.-сл. остръ служать для обозначенія и звуковыхъ и свѣтовыхъ впечатлѣній; нѣм. *hell* прилагается и къ звуку и къ тону краски (сл. старо-фран. *le vis cler; clers fut li jors Munjoie escrient et haltement e cler.* Ch. de Rol. v. 1159, 1002, 1974). Мы говоримъ о ясномъ, то-есть, свѣтломъ солнцѣ и о ясномъ, то-есть, стремительномъ, быстрымъ соколѣ, не отдавая себѣ отчета въ первичномъ значеніи эпитета во второмъ его употребленіи; французское *voix sombre, heller Ton*, глухая ночь, острое слово, *tacito . . . murmure* (Ov., Metam., VI, 208) настъ не смущаютъ, иначе дѣйствуютъ сочетанія *voix blanche, froid noir*, вихорь черный (Пушкин.), *bleu sourd* (Goncourt, Journal), пестрая тревога (Пушкин.), — и мы раздумываемся надъ своеобразностью такихъ сопоставленій въ тѣхъ случаяхъ, когда поэтъ разовьетъ ихъ съ необычною картиностью, какъ Гюго: *Un bruit farouche, obscur, fait avec des ténèbres*, либо Данте: Inf. V, 28: *io venni in luogo d'ogni luce muto:* я пришелъ въ мѣсто, *нѣмомѣстое* свѣтомъ, то-есть, лишенное свѣта. Сл. еще у Данте *молчаніе солнца* (*dove'l sol tace.* Inf., I, 60) *per amica silentia lunaæ* (Aeo. II 255).

Если я позволилъ себѣ отнести къ выраженіямъ не метафоры, а синкетиизма и слѣдующіе примѣры, въ которыхъ впечатлѣнія свѣта и звука сливаются съ представленіями иного, не чувствен-наго порядка, то потому лишь, что и это сліяніе произошло уже на почвѣ языка, выразившаго его однимъ комплексомъ звуковъ. Въ Ригведѣ смѣется молнія, смѣется сквозь тучи Dyaus; въ Иліадѣ «подъ пышнымъ сіяніемъ мѣди—окресть, смѣялась земля» ($\gamma\acute{\epsilon}\lambda\alpha\sigma\sigma\epsilon\ \delta\epsilon\ \pi\acute{\alpha}\sigma\alpha\ \pi\acute{e}\rho\ i\ \chi\vartheta\omega\nu\ \chi\acute{\alpha}\lambda\chi\omega\bar{\eta}\ \dot{\nu}\pi\acute{o}\ \sigma\tau\acute{e}\rho\pi\acute{\eta}\zeta$); Biese, Die Philosophie der Metaphorischen, 86: Da lächelt in dem Rig-veda (№ 4, 6) die aufleuchtende Sonne wie Freude zum Glücke; Schönen Antlizes ist sie zum «Wohlwollen erwacht; und die Morgenröthe spielt schönes mit schönen Strahlen (№ 308, 10); у Вальтера фонъ-деръ-Фогельвейде смѣются цвѣты, какъ и у Данте (Par. XXX, 65, 70); «прекрасное свѣтило, побуждающее къ любви (планета Венеры), заставляетъ улыбаться востокъ» (Purg. I, 19—20). Если греч. $\gamma\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\omega$ — смѣяться связано съ корнемъ gal: быть свѣтлымъ, блестѣть, мы поймемъ синкетицкія осно-вны эпитета. Или Данте говорить о Виргиліѣ, что онъ отъ долгаго молчанія казался—хриплымъ или слабымъ (chi per lungo silenzio parea fioco). Стихъ этотъ вызывалъ много толкованій: fioco по итальянски значитъ, собственно, слабый, разслабленный; молчаніе—признакъ слабости, упадка силъ; такъ понялъ это языки: гот. slavan— $\sigma\acute{i}\omega\pi\acute{a}\nu$, сѣв. sljógr, старосакс. sleu: слабый, безсильный; сл. | груз. корень կdm, оттуда կdома, կdома=уми- 185 рать, но կdома = молчать (сообщеніе проф. Марра).

Въ основѣ такого рода двойственности нѣть метафоры, пред-полагающей извѣстную степень сознательности, а безразличіе или смѣшанность опредѣленій, свойственная нашимъ чувствен-нымъ воспріятіямъ и, вѣроятно, болѣе сильная въ пору ихъ закрѣпленія формулами языка.

Исторія эпитета, къ которой и перехожу, укажетъ, какъ и подъ какими вліяніями совершилась эволюція его содержанія.

Въ связи съ его назначениемъ: отмѣтить въ предметѣ черту, казавшуюся для него *характерной*, существенной, показательной, стоитъ, по видимому, его *постоянство* при извѣстныхъ словахъ. Греческій, славянскій и средневѣковой европейскій эпосъ представляютъ обильные примѣры. У Гомера море темное (*ἰοειδῆς, ιοδνεφῆς, σινοψ*) или сѣрое (*πολιός*), снѣгъ холодный (*Ψυχρή*), немочь злая (*χακὴ, στυγερὴ, ἀργαλέη*), вино темное, красное, небо звѣздное, мѣдное. Сл. *сербск.* вита јела (то-есть, стройная), вито, бојно копье, соко сиви (русск. ясный, сивый), бритка сабље (русск. острая), грозне сузе (русск. горючія, лит. горкія), биодан, сухо, жуто, жено злато (русск. красное; старонѣм. *rothez gold*), синѣе, слано море (русск. сине море; старофр. *salée*), живи огањ, равно поље, прна земља (русск. мать сыра земля, лит. черная), вјерна љубо, огријано-жарко, сјајно сунце, перени щит; брз, добар коњ; красан (поље, чедо, двор, приятеля), уста медака, (русск. сахарныя), змија љута (русск. id.), тихій Дунав (лит.: глубокій), гусле јаворове (русск. яровчатыя); болг.: бойно копье, бѣрзъ, вранъ коњ, вита елха, добаръ юнакъ, ситни звѣзды (русск. частыя), дробенъ бисерь и др.; *русск.* поле чистое, вѣтры буйные, буйная головушка, пески сыпучие, лѣса дремучie, лѣсь стоячій, камешки катучіе, сабля острая, калена стрѣла, тугой лукъ, крутыя бедра, касата ластушка, сизый орелъ, сѣрый волкъ, ясный соколь, ретиво сердце, палаты бѣлокаменные, окошечко косящатое, высокъ теремъ (сл. лит.: высокая клѣть, *aukstas svirnelis*); въ *малорусскихъ* думахъ: вѣтры буйны, степи широки, туманы (голубь, кинь, орелъ, зозуля) сизы, волкъ сѣрый, байраки зелены,ничка (хмары, лѣсь, лугъ) темная, свитъ вольный и т. д. Въ сѣверномъ эпосѣ и сахахъ: земля, пути (*stigar, brautar*) зеленые, лѣсь темный, волны холодныя, море синее, темносинее (но и зеленое, сѣрое, красное). Цвѣтовые эпитеты обнаруживаются въ старо-германской поэзіи склонность пристраиваться постоянно, тогда какъ другіе свободнѣе.

Какъ объяснить это постоянство въ связи съ хронологіей стиля? Обыкновенно его вмѣняютъ глубокой древности, видя въ

въ немъ принадлежность эпики, эпического міросозерцанія вообще. Едва-ли это такъ. Объ эпитетѣ можно сказать тоже, что о воображеніи постоянства обряда, церемоніи, этикета, которое Спенсеръ считаетъ особенностью первобытнаго общества, такъ называемаго обрядового правительства: постоянство, разлагающееся со временемъ и уступающее разнообразію. Но «обрядовая правительства» — уже продуктъ эволюціи, за ихъ постоянствомъ лежать тысячелѣтія выработки и отбора. Такъ и съ эпитетомъ: по существу онъ такъ-же одностороненъ, какъ и слово, явившееся показателемъ предмета, обобщивъ одно какое нибудь вызванное имъ впечатлѣніе, какъ существенное, но не исключающее другія подобныя опредѣленія. При дѣвѣ — блестящей возможенъ быль, напримѣръ, не одинъ, а нѣсколько эпитетовъ, разнообразно дополняющихъ основное значеніе слова; выходъ изъ этого разнообразія къ постоянству принадлежитъ уже позднѣйшему подбору на почвѣ усиливавшейся поэтической традиціи, пѣсеннаго шаблона, школы: иные эпитеты понравились по той же причинѣ, по которой пошла въ ходъ и перепѣвы та или другая пѣсня, а съ нею и ея образы и словарь, по которой, напримѣръ, инд. Агни выдвинулось изъ другихъ обозначеній огня къ обозначенію божества (Сл. φαέθων, въ началѣ эпитетъ Геліоса, перешло въ обозначеніе отдельного лица, сына Геліоса). Что въ подобномъ подборѣ, отвѣчающемъ подбору народно-поэтическихъ символовъ, участвовало и историческое преданіе, примѣры тому мы видѣли («копье мурзамецкое») и т. д. Очень можетъ быть, что въ пору древнѣйшаго пѣсеннаго развитія, которую мы отличаемъ называемъ лирико-эпического или синкретического, это постоянство еще не установилось, лишь позднѣе оно стало признакомъ того типически-условнаго — и сословнаго міросозерцанія и стиля (отразившагося и въ условныхъ типахъ красоты, героизма и т. д.), который мы считаемъ, нѣсколько односторонне, характернымъ для эпоса и народной поэзіи.

И здѣсь представляются отличія: народная или историческая — это можетъ разъяснить только частичное изслѣдованіе, распро-

страненное и на эпической или эпико-лирической пѣсни народовъ, стоящихъ на низшей степени культуры. Мнѣ сдается, что у нихъ мы не найдемъ того обилія повторяющихся эпитетовъ, какимъ 187 отличается, напримѣръ, русскій и сербскій эпосъ; что послѣднее явленіе, какъ и повтореніе стиховъ и цѣлыхъ группъ стиховъ, и богатство общихъ мѣстъ не что иное, какъ мнемонической пріемъ эпики, уже не творящейся, а повторяющейся, или воспѣвающей и новое, но въ старыхъ формахъ. Такъ поютъ киргизкіе пѣвцы: ихъ творчество — въ комбинаціи готовыхъ пѣсенныхъ формулъ; такъ пѣли скоморохи и шипильманы, о чёмъ мнѣ придется говорить въ моихъ «Южно-русскихъ былинахъ».

Это можетъ возбудить вопросы хронологіи. Если, напримѣръ, въ гомеровскихъ поэмахъ эпитеты обнаруживаются большее постоянство, чѣмъ во французскихъ *chansons de geste*, то не потому ли, что за первыми стояли пѣсни архаического, формально-отстоявшагося стиля, тогда какъ авторы послѣднихъ встрѣтились съ болѣе свѣжимъ пѣсеннымъ преданіемъ лирико-эпического характера, еще не распѣтымъ до преобладанія шаблона.

Я далекъ отъ мысли построить хронологію эпического изложенія на эпитетѣ, но полагаю, что взглядъ на его постоянство, какъ на признакъ переживанія, не вмѣнится мнѣ въ ересь.

Понималъ ли и понимаетъ ли народный пѣвецъ этотъ незыблемый эпитетъ, какъ нѣчто яркое, всякий разъ освѣщающее образъ, или повторялъ его, какъ старину, и дѣянье? Быть можетъ, мы не вправѣ отдѣлять въ этомъ вопросѣ народную поэзію отъ всѣмъ знакомаго явленія на почвѣ поэзіи личной. Отъ провансальской лирики до довольно банальныхъ цветовыхъ эпитетовъ Гюго извѣстныя опредѣленія повторяются при извѣстныхъ словахъ, если только не перечитъ тому общее положеніе или колоритъ картины. Это дѣло школы, безсознательно орудующей памяти; примѣры у всѣхъ на лицо: къ инымъ зеленымъ лугамъ и синимъ небесамъ не относился сознательно и самъ поэтъ, не относимся и мы; эпитетъ потерялъ свою конкретность и только обременяетъ слово.

Все дальнѣйшее развитіе эпитета будетъ состоять въ разложеніи этой типичности индивидуализмомъ.

Въ исторіи этого развитія отмѣтимъ нѣсколько моментовъ.

Къ однимъ изъ нихъ принадлежитъ *забвеніе* реальнаго смысла эпитета съ его слѣдствіями: безразличнымъ употребленіемъ одного эпитета вмѣсто другого, когда, напримѣръ, французскій труверъ не стѣсняется кличками *arabi*, *ragon*, *gascon* для одного и того же коня, | либо безсознательнымъ употребленіемъ въ тѣхъ 188 случаяхъ и положеніяхъ, которые его не только не вызываютъ, но и отрицаютъ. Мы могли бы назвать это явленіе *окамененіемъ*; въ русскомъ, греческомъ и старо-французскомъ эпосахъ оно вырастаетъ за предѣлы собственно эпитета, когда оцѣнка явленій извѣстнаго порядка переносится на явленія другого, враждебнаго или противоположнаго, когда, напримѣръ, царя Калина обзываютъ собакою не только враги, но и его собственный посолъ въ рѣчи, которую онъ держитъ къ князю Владимиру, какъ Елена зоветъ себя *խոնից* (П., III, 180, Od. IV, 145), когда въ пѣснѣ о Роландѣ кликъ Карлова войска: *Monjoie* усвоенъ и сарацинами и т. п. Во французскомъ эпосѣ этому отвѣчаетъ *окамененіе* исторического типа. У Карла Великаго цѣлая легенда, обнимающая его юность и старость, когда онъ сталъ *le viel roi asoté*, но одинъ типъ его особенно приглянулся, типъ зрѣлаго мужа, съ просѣдью, *à la barbe fleurie*; не исключая другое, этотъ эпитетъ при немъ устойчивѣе, не всегда въ уровнѣ съ положеніемъ.

Приведемъ нѣсколько соответствующихъ примѣровъ изъ области эпитета. Ходячее опредѣленіе руки — *бллая*; сербская пѣсня употребляетъ его, говоря и о рукѣ арапа. Въ старо-англійскихъ балладахъ выраженіе *моя* (или его) *впрная любовь* (*my-his-own true love*) безразлично возвращается, идетъ ли дѣло о вѣрной или невѣрной любви. *Liebe lange Nacht* — ходячій эпитетъ; въ нѣмецкой пѣснѣ онъ вложенъ въ уста молодой

женѣ, желающей, чтобы ночь прошла скорѣе, потому что ей противенъ старый мужъ:

Ei, ist es Tag, oder will es schier her tagen,
Oder will die liebe lange Nacht
Nimmermehr kein End nicht haben?

Сл. въ сербскихъ пѣсняхъ: од зла миље твоје; *крива мила мајка*; *немила драга* и др.; проклятая темница (*тавница клемта*) въ устахъ палача, вызывающаго узника на казнь; въ русской народной пѣснѣ:

Ты не жги свѣчу сальную,
Свѣчу сальную, воску яраю;

Если въ II. XXII, 154—155, троянскія жены и дочери *могутъ блестящія odemжды* (εἴματα σιγαλόεντα), то здѣсь, можетъ быть, и нѣть противорѣчія, если σιγαλόεντα = разноцвѣтныя, расшивныя (сл. II., X, 258: κυνέην-Ταιρειήν, XVIII, 319: ἐλαφηβόλος объ охотникѣ на льва), хотя подобное же *contradictio in adjecto*, безъ возможности иного объясненія, встрѣчается, напримѣръ, и въ болгарской пѣснѣ, гдѣ *острая* сабля должна быть *наострена* 189 (Да наостра моia остра саблья¹⁾); но когда | Эрифилѣ предаетъ своего милаго мужа (Od. XI, 327), а въ II. XV, 377 (= Od. IX, 527) Несторъ (въ Од. Полифемъ) среди бѣла дня воздымаетъ руки къ звѣздному небу (ἀστερέυτα²⁾), то, очевидно, эпитетъ застыль до безсознательности и употребляется по привычкѣ, какъ «быстрый» при корабляхъ, «быстрононгій» при Ахиллѣ, когда одни стоять у берега, другой плачетъ у матери: эпитетъ считается не съ времененнымъ положеніемъ, а съ существеннымъ признакомъ,

1) Сл. въ сербск. п.: да погуби мила сына свога (Халанскій, Южнослав. сказ. о Крал. Маркѣ, I, 143, 152).

2) Сл. Eur., Phoen., 28: ἵπποβουκόλος; Med., 682, ναιστολέω (о дорогѣ по сушѣ). У Гомера: τοῦ τρισχίλιοι ἵπποι ἔλος κάτα βουκολέοντο; или: Ἀρνῶν πρωτόγόνων ρέειν κλειτήν ἑκατομβῆν. C'est ainsi qu'en sanscrit une écurie à chevaux s'appelle aṣṭva gos̄hta, quoique gos̄hta soit un composé contenant le mot go = vache, Сл. Bréal, Essai de sémantique, стр. 133.

свойствомъ лица или предмета, какъ бы подчеркивая противорѣчіе; мы сказали бы: быстрые, — а стоять. — Дальнѣйшимъ развитіемъ такого употребленія объясняется, что въ болгарскихъ: сивъ соколь, бѣль голжбъ, синъо седло, вранъ конъ, руйно вино эпитеты не ощущаются болѣе, какъ цветовые, и прилагательное и существительное сплылись въ значеніе нарицательного, вызывающаго новое опредѣленіе, иногда подновляющее прежнее, порой въ противорѣчіи съ нимъ: сл. руйно вино червено, чрна врана коня, но *сивъ бѣль соколь, сиви бѣли голжби, синъо седло алено.*

Въ иныхъ случаяхъ можно колебаться, идетъ ли дѣло объ окамененіи или обѣ обобщеніи эпитета, о чмъ рѣчь далѣе. «Малый», «маленький» можетъ не вызывать точной идеи величины, а являться съ значеніемъ ласкательного, чего-то своего, дорогого; въ такомъ случаѣ въ слѣдующей английской балладѣ нѣть противорѣчій: смуглая дѣвушка вынимаетъ *маленький ножикъ*, бѣль онъ желѣзный, длинный и острый,—и закалывается имъ Эллинору. За то смѣшеніемъ, напоминающимъ нѣчто новое, манеру декадентовъ, отзыается у Pedo Albinovanus «руки, бѣлѣе пурпурнаго снѣга» (*bracchia purpurea candidiora nive*). Розовый снѣгъ — это уже искусственная контаминація образовъ, раздѣльно знакомыхъ и народной рѣчи (кровь съ молокомъ), и Парсивалю, раздумывавшему о красотѣ своей милой при видѣ павшихъ на снѣгъ капель крови, какъ и киргизскій пѣвецъ говоритъ о лицѣ дѣвушки, что оно краснѣе обагренного кровью снѣга. Сл. *бѣль червено триендафилъ* болгарскихъ пѣсень.

Другое явленіе, которое мы отмѣтимъ въ исторіи эпитета, это его *развитіе, онутреннѣе и онѣшнѣе*. Первое касается *обобщенія* реального опредѣленія, что даетъ возможность объединить имъ цѣлый рядъ предметовъ. Я имѣю ввиду не процессъ, обычный въ исторіи языка, которымъ, напримѣръ, старо-французск. *chétif* (= *captivus*) перешелъ къ своему современному значенію, греч. πολύχορδος = многострунный обобщился, какъ полнозвучный, и прилагается къ флейтѣ и иѣнію соловья. Мои примѣры касаются

190 поэтическаго | и народно-поэтическаго словоупотребленія. Бѣлый день, лебедь бѣлая — реальны, но понятіе свѣта, какъ чего-то желаннаго, обобщилось: въ сербской народной поэзіи всѣ предметы, достойные хвалы, чести, уваженія, любви — бѣлые; сл. въ русскихъ и малорусскихъ пѣсняхъ: бѣлый царь, білый моло-децъ, бѣль сынъ, біла дівка, білое дитя, бѣлая моя сосѣдушка, болг. бели сватове, бѣли карагрошове (то-есть, черные гроши) — подъ вліяніемъ-ли бѣлыхъ «пари» или въ обобщенномъ значеніи, въ которомъ участвуетъ и литовское *bałtas*, являющеся въ свою очередь въ состояніи окамененія въ пѣснѣ, где большие мосты наложены изъ «бѣлыхъ братцевъ»; сл. латыш. бѣлая (милая) матушка, доченька, сестрицы, деверья бѣлые братцы — и бѣлые, то-есть, счастливые дни. Бѣлый, здѣсь, очевидно, обобщенъ: реальное, физиологическое впечатлѣніе свѣта и цвѣта служить выражениемъ вызываемаго имъ психического ощущенія и въ этомъ смыслѣ переносится на предметы, неподлежащіе чувственной оцѣнкѣ. На такой метафорѣ основана отчасти *символика цвета*; я разумѣю символику народную. Въ сѣверной литературѣ, напримѣръ, зеленый цвѣтъ былъ цвѣтомъ надежды и радости (*groenleikr: splendor*) въ противоположность сѣрому, означавшему злобу; черный вызывалъ такія же отрицательныя впечатлѣнія, рыжій былъ знакомъ коварства. Характеръ обобщенія зависѣлъ отъ эстетическихъ и другихъ причинъ, иногда неуловимыхъ: почему, напримѣръ, у чувашей *черный* часто означаетъ: хороший, честный? — Золотая маслина, лавръ, *χρυσεαι παῖδες εὐβούλου Θέμιτος*, золотая Ника, музы, Переиды у Пиндара, золотые паликary ново-греческой пѣсни, очевидно, относятся не къ цвѣту или материальному качеству предметовъ, а выражаютъ вообще идею цѣнности, какъ и *goldne Mädchen, goldne Thäler* нѣмецкихъ пѣсень; можетъ быть, такъ слѣдуетъ понять и иные изъ эпитетовъ Ригведы, тамъ, где дѣло идетъ не о подѣлкахъ изъ золота, а о золотыхъ рукахъ и бородѣ (сл. въ малорусск. пѣсняхъ золотые волосы, грива), о золотыхъ путяхъ, о «золотыхъ, звучныхъ пѣсняхъ», посыпающихъ Агни.

Къ числу распространенныхъ принадлежить обобщеніе зеленоаго¹⁾ цвѣта въ смыслѣ свѣжаго, юнаго, сильнаго, яснаго: *viridis*. *senectus* (Verg.), *sonus* *viridior vegetiorque* (Gell.); средневерхненѣмец. *mîn herze daz wirt grüene, mîn grüeniu freude ist val* (Parz. 330, 20, Lachm.); *grünes Fleissch, grüene Fische*: сырое мясо, непосоленные рыбы; *Grin* ist des Lebens *goldner* Baum (Goethe); у Пушкина наоборотъ: *мертвая зелень*. Если въ сербской поэзіи зеленый | является эпитетомъ коня, сокола, меча, 191 рѣки, озера, то, очевидно, не подъ вліяніемъ этимологіи (зелень и желть, золото), а по указанному обобщенію понятія, что не исключаетъ въ иныхъ случаяхъ (коѣ зеленко сербск., сивзелень болгарск.) отг҃енокъ цвѣтового порядка, какъ въ отмѣченномъ нами выше употребленіи *χυάνεος*, *blár*. Наоборотъ: Гёте говоритъ о сѣрыхъ слезахъ:

Vermagert bleich sind meine Wangen
Und meine Herzenstränen grau
(Divan, Nachklang) ²⁾

Этихъ сѣрыхъ слезъ и золотыхъ полянъ не изобразить въ живописи: эпитеты суггестивны въ смыслѣ тона, яркости ощущенія, не материальной качественности предмета. Греческие боги не всегда такъ писались, какъ описывались; розоперстая Эосъ принадлежитъ поэзіи, не живописи, какъ Шекспировскій образъ занимающагося утра, шествующаго въ рыжебуромъ плащѣ по восточнымъ покрытымъ росою холмамъ (Haml. I, 1).

Внѣшнее развитіе эпитета, напримѣръ, въ старо-французскомъ и греческомъ эпосѣ, очевидно, не принадлежитъ доисторической, лирико-эпической чередѣ, а стоитъ по сю сторону «постоянства»: постоянные эпитеты сгладились, не вызываютъ болѣе

1) Сл. такое-же обобщеніе у латинскихъ поэтовъ временъ упадка: *roseus* въ значеніи *brillant, doré, beau*; напр. у Валерія Флакка Argon., C. V., v. 366. *Mole nova et roseae perfudit luci javentae*. Сл. Joret, *La rose dans l'antiquité et le moyen âge*, p. 80 и прим.

2) Сл. у него же — *das graue Weib* (= die Sorge).

образнаго впечатлѣнія и не удовлетворяютъ его требованіямъ; въ ихъ границахъ творятся новые, эпитеты *накапляются*, опредѣленія разнообразятся *описаніями*, заимствованными изъ материала саги или легенды. Говоря о накопленіи эпитетовъ, я разумѣю не тѣ случаи, когда при одномъ словѣ стоитъ нѣсколько опредѣленій, дополняющихъ другъ друга (сл. русскій удалый добрый молодецъ, перелетная сѣрыя малая уточка, болгарск. мила стара майка и т. д.), а накопленіе эпитетовъ однозначущихъ или близкихъ по значенію, когда напримѣръ въ греческомъ эпосѣ о мужѣ говорится: ἡγεμόνες τε μεγάλες τε; о Пенелопѣ: ἀστος, ἀπαστος ἐδητύος (Od. IV, 788), ἀστος ἀπιστος; сл. русск.: сыръ — питанень (*сыръ да бѣлоѣтъ*). Сюда относятся *парные* эпитеты старо-французскаго и нѣмецкаго эпосовъ: baus et jolis, baus et envoisié, corageux et hardi, dolent et mas, fins et loiaus, sos et fous; bataille merveilleuse et pesant (или grant); bel et cher, isnel et legiers; doucement et soeif, curant et aati (о конѣ); mѣri und mahtig, bald endi strang, thimm endi thiustri; stark und viel kүene, kүen unde guot, kүene unde balt, edel unde kүene; малор. чудный пречудный, болгарск. ситни дребни пирци, силенъ буенъ вѣтъ. — Если я отнесъ эти эпитеты — *дублеты* къ развитію и разложенію постояннаго эпитета, | то потому лишь, что на почвѣ писаннаго эпоса, нѣмецкаго и французскаго, они нерѣдко являются въ качествѣ cheville, вызванной требованіемъ стиха. Но, быть можетъ, подобные дублеты — древніе, простѣйшее выраженіе плеоназма: накопленіе должно было поднять тонъ, подчеркнуть настроеніе; сл. гом. хитроумный, стародревній нашихъ причитаній; Ай- же ты вѣдь старыя старикъ (Вольга и Микула); чернымъ черно (был.) то же, что bataille merveilleuse (вм. merveilleusement) et pesant. Такъ многорукіе истуканы индусовъ и многоочитый Аргусь выражали понятіе силы, могущества, бдительности¹⁾.

1) (плеоназмъ) Въ серб. п. (Халанскій, I. с., I, 90—1): у Мусы три сердца, уѣхини—десять (II, 231, 242; сл. 248, 258, 260); Гераклу Виргилъ лаетъ три души, Аен. VIII, 563.—*Трехилазый арапъ* въ сербск. п. у Халанскаго, I. с., 266 с. 269.

Отмѣтимъ, внѣ эпитета, подобныя-ли парные формулы эпоса: *ψάμαθός τε κόνις τε, οὐ δέμας οὐδὲ φυήν; ἔπος φάτο φώνησεν τε, ἔπος τέφατ' ἐν τὸνομάζεν* (при чёмъ могли еще ощущаться и оттенки значенія. Сл. въ приложениі л. 9 об. и Gerber, die Sprache als Kunst, I, p. 324: *βῆ δίμεν, βὰν διέναι*) Ib. I, 445: *ὑβριν ὑδρίζεις diorum vitam vivere, ahd. wiçsan were;* 451: *ἐκόντες οὐκ ἀκούτες; γνωτὰ, καὶ οὐκ ἄγνωτα; φητὰ κούκ ἀρρητα* сл. ib. 453, был. биться - ратиться, (старофр. *ost ostesir, μαχὴν μάχεσθαι*; ст. франц. *chieux que tu fais palir et taindre* (Adam de la Hall). У Jeanroy, Trois dits d'amour du XIII siècle, Romania, 85, стр. 50, стихъ 29, сл. Mätzner, Altfranz. Lieder, p. 164), провѣщаться-проязычиться; (о рѣкѣ Смородинѣ) Широкимъ ты не широкая, Глубокимъ ты не глубокая; Широкимъ широкая, А глубокимъ глубокая; пиръ-бесѣда; за бѣду стало, за великое горе показалось; млрс. думы: плаче-рыдае, грае-выгравае, тяжко-важко; старо-сакс. *hugi endi herta, ēgan endi erbi* и др. На сколько это явленіе связано съ явленіемъ синтаксического параллелизма, отмѣченного въ изложениі старо-германскаго, французскаго, славянскаго и финскаго эпосовъ — этого вопроса я здѣсь не коснусь.

Позднему времени отвѣчаютъ *сложные эпитеты*, сокращенные изъ опредѣленій (болгарск. кравицы бѣлобозки, коньовци лѣвогривки и др.) и сравненій, какъ у Гомера (воловокая, розоперстая), въ Ригведѣ («сильный — какъ — быкъ» и др.), нѣмецк. blitzschnell (сл. у Гейне, Nordsee, 1-us Cyclus, Alloddämmerung: ein Wiegenlied heimliches Singen; Die Nacht am Strande; вѣтеръ разсказываетъ Riesenmärchen, todenschlaglaunig; Runensprüche... dunkeltrotzig), — и *описательные определенія* французскаго эпоса, напримѣръ для *храбраю* витязя: *en lui a chevalier molisme bon, vaillant chevalier, miudre de li fu adonc trové; où tant de noblesse a; le plus biaus bacelers qui soit en paientime n'en la crestienté* и т. д. Богъ вседержитель, Господь всемогущій и т. д. — эти выраженія развились въ цѣлую фразеологію: эпитетъ забыть за описаніемъ, впущеннымъ данными евангелія и церковными представлениями о Божествѣ, но личный элементъ сдер-

живается не ими одними, а и предѣлами древняго эпитета. Сл. слѣдующія старо-французскія опредѣленія при Богѣ и Христѣ: Damnes Deus (Dominus Deus), le magne rei de Trinitat; nostre pere, biaus dous Dieu, bias sire Diex; Deu le grant, le bel, Dex saint vertu nomm , la grant vertu souvraine, sainte vraie paterne; qui maint l  sus, qui maint en Bellient, au firmament, en Orient, qui haut siet et loing voit; Deu le roi, le roi aukor; vrai pere posteis; donneres de joie, li vrai guerredonnere, le roi du firma-
ment, del tron, qui au ciel, el mont fait vertu, qui fait par toutes terres miracles et vertu, croistre jardins et blez et reverdir le fus; qui del limon fist Eve, Adam en ot form , qui fist ciel et rous e,
193 qui fist nuit et | jour; biau peres reiemant; le bon qui non mentid; qui le mont doit sauver, qui maint âme a sauv , qui sauva Daniel; le roi jasticier, droiturier, qui les pechi s pardone; à cui m'âme s'atent, cui j'ai m'âme vo e, o  nous sammes cr ant; cel signor que l'on doit aorer; qui pardonne p chies, qui de le mort nous vaut tous racater; c'on pourtrait en painture; qui de vierge fu-
nes; qui est sans fin и т. д.

Такъ разнообразятся эпитеты и опредѣленія при Франціи (douce France, le bon pa s proisi , la garnie, la lo e, la jollie, la bele и др.), императорѣ (frans, Ioieuz), Карлѣ Великомъ: le fiz Pepin, le roi, li frans, li nobiles, nostre avo , nostre emper res d'Ais; qui dolce (tote) France tient, à l'adur  coraige, au cuer franc, droiturier, le ber, le fier, a le cuer fier, à la fiere vertu; le guerrier, qui tant fait a proisier, qui tant fu redot s; le viel chenu, le flouris; à la barbe canue, florie, grifaigne, mesl e, à la chi re membr e и т. д.

Накопленіе эпитетовъ и ихъ развитіе опредѣленіями я объясняю себѣ наступленіемъ личной череды эпического творчества. Иные изъ эпитетовъ Карла принадлежать къ древнимъ и постояннымъ при витязѣ, героѣ (li ber, li frans и др.); emper re, le viel, à la barbe canue характеризуютъ точнѣе; описанія развиваются это впечатлѣніе, обращаясь нерѣдко въ общія мѣста, дополняющія недочеты стиха. Въ срединѣ развитія, между постояннымъ, такъ

сказать, видовымъ эпитетомъ и наплывомъ описаній, стоить вы-
дѣленіе личнаго, характеризующаго историческую особу, во-
шедшую въ оборотъ народнопоэтической памяти: Карль à la
barbe fleurie не совсѣмъ то, что «ласковый» Владимиръ князь, въ
послѣднемъ есть элементъ желаемости, идеальныхъ требованій
отъ царя, какъ въ сербскомъ—честитый; въ первомъ—остатокъ
портрета. Такимъ-же образомъ отлагались въ преданіи, при разно-
образныхъ условіяхъ подбора, образы гомеровскихъ героевъ,
Илья оказался навсегда старымъ, какъ и Вайнемайненъ, Ильма-
риненъ молодымъ, какъ нашъ Добрыня и т. п.

Представимъ себѣ, что одна изъ описательныхъ формулъ, на
которая разложился эпитетъ, показалась характерной, пригляну-
лась и вошла въ частое употребленіе — и мы объяснимъ себѣ
нѣкоторая явленія гомерической рѣчи и сѣвернаго поэтическаго
языка. У Гомера корабли сравниваются съ морскими конями,
 $\alpha\lambda\delta\varsigma \pi\pi\omega$ (П. IV, 708 слѣд.), вѣялка или лопата для вѣянія
хлѣба зовется истребительницей ости, $\alpha\vartheta\eta\varphi\eta\lambda\omega\gamma\zeta$ (Od. XI, 128 =
XXIII, 275); греческія опредѣленія для царя: пастьрь народовъ,
богорожденный, кормчій и т. д.; у Эсхила корабли: колесницы
мореходовъ, | плавающія по морю съ полотняными крыльями; 194
улитка — носительница дома; полипъ — безкостный (Гезіодъ);
плащъ: защита — отъ холоднаго вѣтра (Пиндарь). — Сюда от-
носится простѣйшая группа такъ называемыхъ сѣверныхъ *ken-*
ningar; разница та, что сѣверная поэзія послѣдовательно раз-
работала то, что въ греческой осталось частнымъ явленіемъ, и
разработала, какъ средство реторики: опредѣленіе или аппозиція
выдѣлена какъ самостоятельный показатель лица, или предмета,
къ которому она относилась, а лицо и предметъ умалчиваются. О
бурѣ, напримѣръ, говорили, какъ о «ломающей вѣтви»; это опре-
дѣленіе («вѣтви — ломающая», сл. у Лукреція: *silvifraga flabra*) и
становится вместо «бури»; или король, конунгъ щедръ, щедрость
выражалась тѣмъ, что онъ раздавалъ, ломая ихъ, запястья, слу-
жившія на сѣверѣ выражениемъ денежной цѣнности; коли онъ
того не дѣлалъ, онъ оказывался не щедрымъ, не ломающимъ

запястья. Такъ явился рядъ выражений — эпитетовъ, возведенныхъ къ значенію нарицательныхъ: baugabroti — ломающій запястья (сл. англосакс. beaggeafa: раздающій ихъ), baugskyndir, baugskati — и baughati: ненавидящій запястья, то-есть, золото; во всѣхъ случаяхъ въ значеніи короля. Такимъ же образомъ создались эпитеты — образы: кубокъ вѣтровъ = небо, путь чаекъ = море, путь ланей = горы и т. д.; сл. выраженія для щита: въ англос. поэзіи: gûdbord, headoling oferhold, hilderand, sidraud, bânhelm (Bode, Die kenninger in der angelsächsischen Dichtung, 1886, стр. 54 слѣд.). Ихъ обилие и чрезмѣрное сочетаніе затрудняетъ чтеніе скальдовъ, это сторона искусственности; въ основѣ эпитетъ — образъ принадлежитъ естественному развитію народно-эпического стиля; сравненіе съ параллелями греческими и описательнымъ пріемомъ французского эпоса подтверждаетъ общія отношенія народно-поэтической эволюціи къ инициативѣ личнаго поэта или поэтической школы.

Одностороннее опредѣленіе эпитета не всегда выражалось въ формѣ прилагательного или соответствующаго существительного; вместо того, чтобы сказать: это совершилъ такой-то сильный воитель можно было выразиться: сила, мощь воителя; мощь = мышцы, тѣло; то и другое обобщалось въ опредѣленіи самого героя. Сл. употребленіе греческ. эпоса: βίη, ἶς, μένος, σθένος, старо-француз. corps, cors, char: βίη Ἡρακλῆος или Ἡρακλεῖη (II. 5, 638; Hes. Theog. 333): сила Геракла или Гераклова = сильный Геракль; κρατερὴ ἶς Ὀδυσσῆος (II. 23, 720), ἵερὴ ἶς Τηλεμάχοιο (Od. 16, 476 слѣд.); mais ne cuideie à vo gent cors parler = съ вами; Il meïsmes ses cors est maintenant montez; 195 cors Deu; cor saint Espir, le cors Rollant (Ch. de Rol. v. | 613); De Mahomet les vertuz e le cors (ib., v. 3233); La char du bon roys ont forment regretée, то-есть короля; Aliscans: qui par son cors a XV rois matiz. Сл. sín lîp (Сигфрида) der ist so küene (Нибелунги) и въ томъ-же значеніи малорусскія: «Головонѣка-же

моя бідная», «голова моя казацкая! Бувала ты у земляхъ у турецкихъ, у вірахъ бусурманьскихъ», и т. д. (Иларіонъ, Слово о ветхомъ и новомъ завѣтѣ: вѣстани, о честной главо). Сл. сербск. моja драга, мое име драго; ново-греческ. εἰς τοῦ λόγου σοι=тотъ и т. д. Это не отвлеченіе, а pars pro toto; эпитетъ, заступившій мѣсто нарицательного, какъ въ старо-сѣверномъ кеннингѣ: раздѣлитель запястій. Сербск. выраженія: сила и сватови, кита и сватови вмѣсто сильни, кићени сватове, чуда и јунаке вмѣсто чудни јунаке свидѣтельствуютъ уже о другомъ психическомъ актѣ; сила, чудо указываютъ на обобщеніе и на другую череду развитія¹⁾.

Перенесите этотъ приемъ на другую почву, и вы придете къ римскимъ отвлеченіямъ: Virtus, Victoria, и цѣлой вереницѣ иносказательныхъ образовъ, унаследованныхъ средневѣковымъ и болѣе позднимъ европейскимъ аллегоризмомъ. Еще нѣсколько шаговъ далѣе, и мы еще въ XVII вѣкѣ, но уже на стезяхъ новой поэтики, которая подскажетъ намъ нѣчто подобное гомеровскому *βίη*, но съ другимъ личнымъ оттенкомъ и другимъ пониманіемъ. «Сила Геркулеса» — это просто мышцы, крѣость мышцъ; Maynard во 2-й одѣ къ Ришелье говоритъ не о beauté des jaunes moissons, a o la jaune beauté des moissons. Что его поразило прежде всего, это не реальный видъ золотой жатвы, а именно красота, она все застилаеть, на нее-то и перенесенъ реальный эпитетъ: желтый, золотой. Это какъ-бы переживаніе древняго поэтическаго или реторического приема на почвѣ личнаго аффекта Сл. кићу, силу сербск. пѣсни и такие же образы у Золя и Додѣ: *la gaieté blonde* (Zola, Le r  ve); *l'  ternit   voyageuse de la mer* (Daudet, Contes du lundi: La moisson au bord de la mer), *le calme opulent qui vient de l'ordre de choses* (ib. La partie de billard) и др.; *la jeunesse du jour erre en lueurs diffuses, en haleines attendrissantes* (Bourget, Daniel Valgrave), Сл. Plaut, Curc., 2, 3: *o mea opportunitas, Curculio exoplate, salve. Shaksp. Troilus and Cr., V, 1: Will said, Adversity (= Терентъ); id., Coriol., II, 1:*

1) (къ парности) «Народ и христ ђанлук» (ib. I, 141).

My gracious *silense* hail! (Коріоланъ къ женѣ); id. What you will 1, 5: Farewelle, fair *cruelty!*

Сила Геркулеса — это пластический эпитетъ въ формѣ существительного; *Virtus* — разсудочное отвлеченіе, одѣтое въ образъ; красота и веселье и вѣчность — обобщенія основнаго впечатлѣнія объекта, какъ бы устраниющія его формы, чтобы подчеркнуть общій тонъ ощущенія.

Синкретические и метафорические эпитеты новѣйшей поэзіи даютъ поводъ говорить о такомъ же переживаніи, которымъ можно измѣрить историческое развитіе мысли въ сходныхъ формахъ словеснаго творчества. Когда въ былое время создавались 196 эпитеты: ясень соколь и | ясень мѣсяцъ, ихъ тождество исходило не изъ сознательного поэтическаго *исканія* соотвѣтствія между чувственными впечатлѣніями, между человѣкомъ и природой, а изъ физиологической неразборчивости нашей, тѣмъ болѣе первобытной психики. Съ тѣхъ поръ мы научились наслаждаться раздѣльно и раздѣльно понимать окружающія нась явленія, не смѣшиваемъ, такъ намъ кажется, явленій звука и свѣта, но идея цѣлаго, цѣль таинственныхъ соотвѣтствій, окружающихъ и опредѣляющихъ наше «я», полонить и опутываетъ нась болѣе прежняго, и мы вторимъ за Бодлеромъ: *Les parfums, les couleurs et les sons se r茅pondent.* Языкъ поэзіи и наша групповая впечатлительность оправдываютъ въ извѣстной мѣрѣ это положеніе. Гюго видится *la dentelle du son que le fifre d茅coupe*, у Золя читаемъ о *musique bondissante de cristal, o fontaines ruisselantes de muettes clart茅s* (*Le R茅ve*); у Эйхендорфа о *пурпурной влагѣ вечера* (*rothe Kuhle*). Сл. Бальмонтъ, Мертвые корабли (Починъ на 1896 г. стр. 375): хлопья снѣга падаютъ *беззвучно*, «любимцы нѣмой тишины»; оттуда представлѣніе *сна*, но, вѣдь, хлопья *пушисты*, и этотъ эпитетъ переносится на понятіе сна: «Мы пушистые, чистые сны». Гейне говоритъ въ «Флорентийскихъ ночныхъ» о способности воспринимать музыкальныя впечатлѣнія образно, такъ сказать глазомъ: играетъ Паганини, и каждый ударъ его смычки вызываетъ въ воображеніи рядъ осозательныхъ, фантастическихъ

картинь и положеній, музыка разсказываетъ и изображаетъ въ звучащихъ гіероглифахъ, in tönender Bilderschrift: «то были звуки, которые то сливались въ поцѣлуй, то, капризно повздоривъ, разбѣгались, то снова обнимались, смѣясь, и опять слившись, умирали въ опьяненіи союза». Нѣчто подобное испыталъ Гете, когда молодой Мендельсонъ сыгралъ ему увертюру Баха: ему казалось, онъ видѣть торжественную процессію сановниковъ, въ парадныхъ одеждахъ, спускающуюся по гигантской лѣстницѣ. Той-же способностью къ смежнымъ, безсознательно переплетающимъ впечатлѣніемъ объясняются иные эпитеты у гр. А. Толстаго: «Звуки скрипки такъ дивно звучали, разливалась въ безмолвіи ночи. Въ нихъ *разсказъ* убѣдительно — *живый* развивалъ невозможную *повѣсть*, И змѣиная цвѣта отливы — соблазняли и мучили совѣсть (т. I, стр. 250—251)». «Если я перенесусь въ настроение, какое даютъ стихотворенія Гете, я точно воспринимаю впечатлѣніе золотисто-желтаго цвѣта, отливающаго въ червонный», говоритъ Отто Людвигъ, и Agreat подтверждаетъ подобную-же слитность впечатлѣнія у живописцевъ, музыкантовъ въ душѣ; для которыхъ Моцартъ — синій, Бетховенъ — красный; Nourrit выразился объ одномъ итальянскомъ пѣвцѣ, что у него въ распоряженіи всего два цвѣта: бѣлый и черный и т. п.

На почвѣ такого рода психологическихъ скрещиваній выросли синcretические эпитеты новѣйшей поэзіи; ея необычные эпитеты — 197 метафоры предполагаютъ такую-же безсознательную игру логики, какъ знакомыя намъ обиходныя формулы: черная тоска, мертвая тишина, только болѣе сложную, потому что усложнились и исторический опытъ и спросъ анализа. Голубая даль переносится отъ понятія пространства во время и получается «сонъ о жизни въ голубой дали», vom *ferneblauen Leben* у Готфрида Келлера; такъ явились у Гейне цвѣты, шепчущіе другъ другу *душистые сказки*: въ основѣ простѣйший параллелизмъ (цвѣтокъ — человѣкъ) и анимизмъ — цвѣтокъ живеть, какъ человѣкъ; у цвѣтовъ своя рѣчь — ароматъ; когда они стоять, склонивъ другъ къ другу головки, они точно шепчутъ другъ другу сказки, и эти

сказки — душестыя. У г. Фофанова звѣзды нашептываютъ цвѣтамъ «сказки чудныя», которые разсказываютъ ихъ вѣтрамъ; тѣ распѣли ихъ надъ землей, надъ волной, надъ утесами. «И земля подъ весенними ласками, наряжаяся тканью зеленою», переполнила «звѣздными сказками» безумно-влюблennую душу поэта, который въ дни многотрудные, въ темныя ночи ненастныя, отдаётъ звѣздамъ (въ ненастныя ночи!?) ихъ задумчиво прекрасныя сказки. — Образъ тотъ-же, но доразвитый до потери реализма.

Вернемся еще разъ къ синкетическимъ эпитетамъ. Выдѣлить среди нихъ тѣ, которые восходятъ къ физиологическому синкетизму чувственныхъ впечатлѣній, отъ другихъ, которые говорять скорѣе за *сознательное смѣщеніе* красокъ, дѣло нелегкое: надо имѣть въ своемъ распоряженіи массу самыхъ разнообразныхъ и разновременныхъ примѣровъ, чтобы разобраться въ ихъ хронологіи. Къ какой изъ двухъ категорій отнести напримѣръ — «обширную тишину», *vastum silentium* Тацита (съ инымъ оттенкомъ въ Ann. 3, 4: *dies per silentium vastus*), темный (тѣнистый) холодъ, *frigus opacum* Виргиля (Сл. франц. *froid poig* и сербск. дебел хлад)? Вѣрно одно, что чѣмъ подробнѣе и раздѣльнѣе становится наше знаніе природы и жизни, тѣмъ шире игра психическихъ соотвѣтствій и разнообразная суггестивность эпитета; что если въ творчествѣ миѳа человѣкъ проектировалъ себя въ природу, оживляя ее собою, то съ наростищимъ обосленіемъ личности она стала искать элементовъ самоанализа въ природѣ, очищенной отъ антропоморфизма, перенося ее внутрь себя, и это исканіе отразилось въ новой вереницѣ эпитетовъ. Въ томъ и другомъ отношеніи поэты — символисты идутъ въ колѣбъ, давно проторенной поэзіей; все дѣло въ мѣрѣ и признаніи; если порой символистовъ не понять, въ этомъ отчасти ихъ вина. «Мысли 198 пурпурныя, мысли лазурныя» одного изъ современныхъ русскихъ представителей символизма поражаютъ насть, хотя въ основѣ лежитъ тотъ-же психический актъ, который позволяетъ намъ говорить о ясныхъ мысляхъ, *dѣstere Gedanken* Гейне, хотя насть не смѣщаются и его *blaue Gedanken* (*Neuer Frühling* 18). Разница

въ специальномъ характерѣ перенесенія впечатлѣній пурпуръ и лазури, яркихъ и горячихъ, либо мягкихъ и спокойныхъ на настроенія мысли. Такого рода личныя настроенія могутъ выразиться въ эпитетѣ, выводѣ изъ цѣлаго рода уравненій, взаимная зависимость которыхъ не всегда ясна, а ощущается, какъ нѣчто искомое, неуловимое, настраивающее на извѣстный ладъ: *la chanson grise* символистовъ, *où l'Indécis au Précis se joint*. Сдѣлать такого рода личные эпитеты общеупотребительными можетъ энергія сильного галанта (личная школа) и тактъ художника. Примѣромъ можетъ послужить характеристика Бориса и Пьера въ «Войнѣ и Мирѣ»: разговариваетъ Наташа съ матерью «И очень миль, очень, очень миль! говорить Наташа о Борисѣ; только не совсѣмъ въ моемъ вкусѣ,— онъ *узкий* такой, какъ часы столовые... Вы не понимаете?... *узкий*, знаете, *спрытый*, *свѣтлый*... — Что ты врешь? сказала графиня. — Наташа продолжала: Неужели вы не понимаете? Николенька бы понялъ... Безухій — тотъ *синий, темно-синий съ краснымъ, и онъ четвероугольный* (т. II, ч. 3, гл. 13)¹⁾. Голубыя мысли, мечты Гейне не поражаютъ, а нравятся потому, что обставлены цѣльмъ рядомъ образовъ, наводящихъ на нихъ соотвѣтствующую окраску: *blaue Augen, ein Meer von blauen Gedanken*. Такъ и у Гонкуровъ (*Journal*): *ainsi que les nuages, ainsi que ce lointain se renvoient lentement au ciel l'horizon de la jeunesse, les espoirs, tout le bleu de l'âme*. Вырванные изъ голубой атмосферы эти эпитеты рѣжутъ ухо²⁾.

Но помимо личной школы, есть еще школа исторіи: она отбираетъ для насъ матеріялы нашего поэтическаго языка, запасъ формулъ и красокъ; она наложила свою печать на эпитеты ро-

1) (къ даннымъ изъ Толстого) См. Biese, *Die Philosophie des Metaphorischen* (1893) стр. 85: er lässt (Zola) den Claudius in l'Oeuvre zu seiner Frau sagen: «Welch eine merkwürdige Haut du hast, sie trinkt förmlich das Licht.... So bist du heute, man möchte es nicht für möglich halten, vollkommen grau; und letzthin warst du rosafarben, aber ein Rosa, die nicht echt scheint».

2) Сл. V. Hugo: *Pas de trait où l'idée au vol pur Ne puisse se poser, tout humide d'azur.* (Сл. голубую тоску у Maeterlink'a, *Serres chaudes*).

мантической поэзії, съ ея предileкціей къ «голубому», какъ заставила насть вѣрить въ «contes bleus» и «blaues Wunder», blaue Räthsels (Сл. Heine, Lyr. Intermezzo, 33: Deine Klaren veilchen-augen — schweben vor mir Tag und Nacht, und mich quält es; Was bedeuten Diese süßen blauen Räthsels? А какое богатство новыхъ представлений и соответствующихъ имъ образовъ привнесло намъ христіанское міросозерцаніе, этого вопроса касались съ разныхъ точекъ зреінія, но со стороны стиля онъ остается открытымъ.

Въ нашемъ культурно-историческомъ и этнографическомъ языке пошло въ ходъ слово переживаніе (survivals) и даже «пережитокъ»; въ сущности переживанія нѣть, потому что все отвѣчаетъ какой нибудь потребности жизни, какому нибудь переходному отгѣнку | мысли, ничто не живеть насильно. Современное суевѣріе относится къ языческому миоу или обряду, какъ поэтическія формулы прошлаго и настоящаго: это кадры, въ которыхъ привыкла работать мысль и безъ которыхъ она обойтись не можетъ.

Эти кадры ветшаютъ; ихъ живучесть зависитъ отъ нашей способности подсказать имъ новое содержаніе и отъ ихъ — вмѣстимости. Когда-то греческіе храмы и средне-вѣковые соборы блестѣли яркими красками и цветовой эффектъ входилъ въ составъ впечатлѣнія, которое они производили; для насть они поглиняли, за то мы вжились въ красоту ихъ линій, они стали для насть суггестивны иной стороною, и намъ приходится насильно вживаться въ впечатлѣніе росписной греческой статуи. Удается-ли такое вживаніе — вотъ вопросъ, надъ которымъ стоитъ задуматься не однімъ лишь историкамъ литературы. Мы твердимъ о банальности, о формализмѣ средне-вѣковой поэзіи любви, но это наша оценка: что до насть дошло формулой, ничего не говорящей воображенію, было когда-то свѣжо и вызывало ряды страстныхъ ассоціаций.

Эпитеты холодаютъ, какъ давно похолодѣли гиперболы. Есть поэты цѣломудренной формы и пластической фантазіи, которые

и не ищутъ обновленія въ этой области; другіе находятъ новыя краски и — тоны. Здѣсь предѣлъ возможнаго указанъ исторіей: искать обновленія впечатлительности въ эмоциональной части человѣческаго слова, выдѣлившагося въ особую область музыки, не значитъ-ли идти противъ теченія?

1897.

Эпическая повторенія, какъ хронологический моментъ.

[Журн. Мин. Нар. Просв. 1897 г., № 4, ч. СССХ, отд. 2, стр. 271—305].

271 О типическихъ повтореніяхъ французского эпоса много было написано и высказано для объясненія ихъ нѣсколько гипотезъ. Я касался этого вопроса въ моей статьѣ: Новыя изслѣдованія о французскомъ эпосѣ¹⁾; съ тѣхъ поръ литература возросла, она указана проф. Крещини въ его прекрасномъ введеній къ итальянскому переводу Пѣсни о Роландѣ, сдѣланному Москетти²⁾. Эпическимъ повтореніямъ посвящены были недавно³⁾ два чтенія въ неофилологическомъ обществѣ, состоящемъ при С.-Петербургскомъ университѣтѣ, г. Тіандера⁴⁾ и гр. Де Ла Барта; подойдя

1) Журналъ Министерства Народного Просвещенія. Ч. СССХVIII, отд. 2, стр. 245 слѣд.

2) Сл. Dietrich въ Roman. Forschungen I, 1—50; Groeber въ Zs. f. rom. Philologie VI, 492—500; Pakscher, Zur Kritik u. Geschichte d. franz. Rolandliedes, стр. 100 слѣд. и Zs. f. rom. Philol. XIII, 563—7; Nordfelt, Les couplets similaires dans la vielle épopée fran aise, Stockholm 1893 (сл. Romania XXII, 632; G. Paris; сл. ib. XXIII 619: о мнѣніи Линднера); G. Paris, Extraits de la Chans. de Roland p. XXIX, 75 № 26 и 122. Къ этой библиографіи присоединю: I principali episodi della canzone d'Orlando, trad. da Andrea Moschetti, con un proemio di Vincenzo Crescini, стр. LV слѣд.; Heinzel въ разборѣ Ten-Brink'a (Anzeiger, XV 166); сл. еще Gautier y Petit de Julleville, Hist. de la langue et de la litt rature fran aise t. I стр. 118 слѣд.

3) 24-го марта и 20-го ноября 1895-го года.

4) Сл. К. Тіандеръ, Замѣтки по сравнительному изученію народно-эпического стиля: О повтореніяхъ въ народномъ эпосѣ. Живая Старина, ч. VI, вып. 2-й, стр. 202 слѣд.

къ анализу одного и того же явленія съ разныхъ сторонъ, они выдвинули тотъ или другой моментъ его развитія; я старался обобщить и вмѣстѣ обосновать этотъ вопросъ въ предлагаемомъ далѣе отрывкѣ изъ моихъ чтеній по исторической поэтике.

| 272

I.

Въ слѣдующемъ обзорѣ я касаюсь лишь стороною такихъ народно-пѣсенныхъ пріемовъ, какъ дословные захваты изъ конца одного стиха въ начало слѣдующаго, какъ сходныя начала нѣсколькихъ стиховъ подъ-рядъ и повтореніе одного стиха въ теченіи пѣсни, родъ внутренняго *refrain*. Я имѣю въ виду повторенія другого рода.

Я различаю *повтореніе — формулу*, извѣстное греческому эпосу, встрѣчающемся и во французскомъ, но особенно развитое въ славянскомъ и русскомъ: постоянныя Формулы для извѣстныхъ положеній, неотдѣлимые отъ нихъ, приставшія къ нимъ, какъ присталь къ слову характеризующій его эпитетъ; съ повтореніемъ извѣстнаго положенія въ теченіи разказа возвращаются и соотвѣтствующія формулы: герой снаряжается, выѣзжаетъ, бѣется, держитъ рѣчъ такъ сказать по одному иконописному подлиннику; посолъ дословно повторяетъ данное ему порученіе; въ пѣснѣ о Роландѣ CCLXXXII бароны сговариваются между собою просить Карла, чтобы онъ простилъ Ганелона; въ строфѣ CCLXXXIII-ой они обращаются къ императору почти въ тѣхъ же выраженіяхъ.

Иное дѣло повторенія специальнно-французского типа: *не сходныя положенія*, а *одно и то же* задерживается передъ пами въ теченіе 2-хъ, 3-хъ, 5-и и болѣе строфъ, и эта длительность подчеркивается повтореніями одного или нѣсколькихъ стиховъ.

Позволю себѣ привести здѣсь сказанное мною по этому поводу въ моей упомянутой выше замѣткѣ¹⁾. Повторенія встрѣ-

1) 1. с. стр. 247.

чаются обыкновенно въ нѣсколькоихъ послѣдовательно строфахъ. «Общее построеніе такое: строфа открывается какимъ-нибудь положеніемъ, сценой, которая и развивается въ дальнѣйшихъ стихахъ. Начало слѣдующей строфы снова возвращается настъ къ положенію, иногда (съ небольшими видоизмѣненіями) къ запѣву первой, и снова то же положеніе развивается почти такъ же, но вымыъ является одинъ какой-нибудь штрихъ, одна подробность, незамѣтно подвигающая дѣйствіе. То же можетъ повториться и въ третьей строфѣ».

Я привель въ доказательство строфы CXXXV—VII пѣсни о Роландѣ; я разберу ихъ теперь въ связи съ строфами LXXXIV—VI¹⁾. |

Сарацины окружили аррьергардъ Карла; Оливье говорить товарищу Роланду, что враговъ много; пусть затрубить въ свой рогъ, Карль услышитъ и явится на помощь. Но Роландъ отиѣкивается, и это положеніе развито трижды такимъ образомъ:

LXXXIV ... «Товарищъ Роландъ, затруби въ свой рогъ! Услышть его Карль и вернется войско. Отвѣчаетъ Роландъ: Безумно поступиль бы я, уронилъ бы въ милой Франціи мое славное имя. Стану я наносить Дюрандалемъ столь могучіе удары, что лезвее обагрится до головки меча. Въ недобрый часъ подошли къ ущельямъ поганые язычники; ручаюсь тебѣ, всѣ они обречены на смерть» (Campaign Rollanz, kar sunez vostre corn! Si l'orrat Carles, si returnerat l'ost. Respunt Rollanz: Jo fereie que fols, En dulce France en perdrei mun los. Sempres ferrai de Durendal granz colps, Sanglant en ert li branx entresqu' al or. Felun paen mar i vindrent as porz; Jo vos plevis, tuz sunt jugez à mort).

LXXXV. «Товарищъ Роландъ, затруби въ олифантъ, услышть его Карль, велитъ войску вернуться... Отвѣчаетъ Роландъ: Да не попустить того Господь, чтобы мои родичи черезъ меня посрамились и была принижена милая Франція, еслибъ изъ-за

1) Далѣе пѣснь о Роландѣ цитуется по Оксфордскому списку въ изданіи Theodor Müller, *La Chanson de Roland*.

язычниковъ я стала трубить въ мой рогъ! На противъ, я стану сильно рубить Дюрандаlemъ... Всѣ вы увидите его окровавленное лезвее. Въ недобрый часъ собрались сюда поганые язычники; ручаюсь тебѣ, всѣ они осуждены на смерть» (Cumpains Rollanz, l'olifan car sunez! Si l'orrat Carles, ferat l'ost returner... Respong Rollanz: Ne placet damne Deu Que mi parent pur mei seient blasmet, Ne France dulce ja cheet en viltet! ¹). Einz i ferrai de Durendal asez,... Tut en verrez le bran ensanglentez. Felun paien mar i sunt asemblez; Jo vos plevis, tuz sunt à mort livrez).

LXXXVI «Товарищъ Роландъ, затруби въ свой олифантъ! Услышитъ его Карлъ, онъ проходитъ теперь ущельями. Ручаясь вамъ, французы вернутся.— Да не попустить того Господь, чтобы кто-нибудь изъ живущихъ сказалъ, что я затрубилъ изъ-за язычниковъ; не будетъ изъ-за того попрека моимъ родичамъ. Когда я буду въ жаркой битвѣ, я нанесу тысячу и семьсотъ ударовъ, увидите вы обагренное кровью лезвее Дюрандаля» (Cumpainz Rollanz, sunez vostre olifan! Si l'orrat Carles ki est as porz passant; Je vos plevis, ja re|turnerunt Franc. — Ne place Deu, ço li res- 274 punt Rollanz, Que ço seit dit de nul hume vivant, Ne pur paien que ja seie cornant! ²). Ja n'en avrunt reproece mi parent. Quant jo serai en la bataille grant, E jo ferrai e mil colps e. VII. cenz, De Durendal verrez l'acer sanglent)...

Лишь впослѣствіи, послѣ жестокой сѣчи, когда и опасность и смерть на виду и самъ Роландъ истекаетъ кровью, онъ рѣшается затрубить, но уже поздно.

CXXXV. «Роландъ приставилъ ко рту олифантъ, хорошо его захватилъ, сильно въ него затрубилъ. Высоки горы, далеко разносится звукъ, на тридцать большихъ лѣё слышали, какъ онъ раздался... Слышитъ его Карлъ и дружина ((Rollanz ad mis l'olifan à sa buche, Empeint le ben, par grant vertut le sunet.

1) Въ переводѣ я воспользовался далѣе стихомъ, недостающимъ въ Оксфордскомъ спискѣ: Se por paiens je sonasse mon corn (сл. текстъ G. Paris въ его Extraits).

2) Ja por paiens que jo seie cornant (G. Paris ib.).

Halt sunt li pui e la voiz est mult lunge, Granz. XXX. liwes l'oïrent il respundre. Karles l'oït e ses cumpaignes tutes). Говорить императоръ: То бывают наши люди! А Ганелонъ ему въ отвѣтъ: Еслибъ такое сказалъ кто иной, за великую ложь то показалось бы.

CXXXVI «Графъ Роландъ трубитъ въ свой олифантъ съ трудомъ и усилиемъ и великою болью (Li quens Rollanz par peine e par ahans, Par grant dulor sunet sun olifant), алая кровь струится у него изо рта, лопаются жилы на вискахъ (Par mi la buche en salt fors li cler sancs, De sun cervel le temple en est rumpant). Далеко слышень звукъ его рога, слышать его Карль, проходя ущельями (Del corn qu'il tient l'oïe en est mult grant; Karles l'entent, ki est as porz passant), слышать его герцогъ Немонъ, слышать французы. Говорить императоръ: Слышу я рогъ Роланда. Отвѣчаетъ Ганелонъ: Нѣть никакой битвы!» — и онъ обличаетъ престарѣлаго императора въ дѣтской легковѣрности: будто онъ не знаетъ, какъ заносчивъ Роландъ? Это онъ тѣшится передъ перами. Впередъ, до Франціи еще далеко!

CXXXVII «У графа Роланда ротъ въ крови, лопнули жилы на вискахъ, онъ трубитъ въ олифантъ съ болью и трудомъ. Слышишь его Карль, слышать французы (Li quens Rollanz a la buche sanglente, De sun cervel rumput en est li temples, L'olifant sunet à dolor e à peine. Karles l'oït e ses Franceis l'entendent). Говорить императоръ: Силенъ звукъ этого рога! Отвѣчаетъ герцогъ Немонъ: Бароны, работаетъ тамъ добрый вассаль¹⁾, по моему тамъ идеть битва. Онъ бросаетъ подозрѣніе на Ганелона; надо 275 подать помощь своимъ. |

Эти своеобразныя повторенія, съ захватами стиховъ изъ строфы въ строфу, вызвали различныя толкованія. Одни находили въ нихъ следы простѣйшихъ эпическихъ пѣсень, сведенныхъ впослѣдствіи въ цѣлую поэму, причемъ однозначущія строфы очутились

1) Оксфордскій текстъ: Baron i fait là peine; переведено согласно съ VS. и текстомъ G. Paris'a.

иногда рядомъ; другіе говорили о варіантахъ одной какои-нибудь пѣсни, которые плодились въ исполненіи бродячихъ жонглёровъ, и они заносили ихъ порой въ свои книжки, выбирая изъ нихъ, при пѣніи, тотъ или другой варіантъ, какой полюбится; послѣ чего явились переписчики и всѣ эти разночтенія списали подъ рядъ. Третье объясненіе опять-же исходитъ изъ идеи записи: сходныя строфы — дѣло интерполяції, пріемъ позднѣйшихъ перескащиковъ, составителей большихъ эпопей, основанныхъ на пѣсенномъ преданіи. Если вторая гипотеза объясняла, болѣе или менѣе вѣроятно, механическою работой переписчиковъ существованіе въ однородныхъ строфахъ нѣкоторыхъ (иногда кажущихся) противорѣчій, то идеи сознательного свода и интерполяції ихъ исключали. — Въ настоящее время преобладаетъ, кажется, воззрѣніе, что повторенія французского эпоса слѣдуетъ объяснить, какъ особенность французской народно-поэтической, наивной стилистики. Но это не объясненіе, а новая постановка вопроса. Старая точка зреінія (Wolf-Lachmann) на большія поэмы, какъ на сводъ народныхъ пѣсень, не выдержала критики; теоріи варіантовъ и интерполяції покоятся на гипотезѣ записи, текста, не считаясь съ тѣмъ фактомъ, что и въ народной не-писанной поэзіи встречаются образцы такихъ-же повтореній и захватовъ. Примѣры тому представляютъ фарейскія пѣсни — и малорусская дума, которую мнѣ уже случилось привлечь къ сравненію:

Верхъ Бескида Калинова
Стойть мі там корчма нова,
А в той корчмѣ турчин шіе,
Пред ним лівка поклон біе:
«Турчин, турчин, турчинойку,
Не губь мене молодойку»,

мой отецъ уже несетъ за меня выкупъ. Но отецъ не является, и дѣвушка плачетъ. Слѣдующая строфа повторяетъ ту-же картину: Бескидъ и турчинъ и мольба дѣвушки; на этотъ разъ будто-бы ея мать несетъ выкупъ. Въ третьей то-же повтореніе — и является съ выкупомъ «милый». — Аналогиченъ пріемъ русскихъ пѣсень, за-

держивающихъ повтореніемъ одинъ какой-нибудь моментъ дѣйствія:

276

Удалии ў званы кылыхалы,
Садитесь, быяре, усѣ на кони, |
Паѣдимъ быяре, ў новый горыдъ.
А ў новымъ горыди кынами дорють:
То таму, то сяму ды па конику,
Нашиму Ваничка што налуччага.

Это положеніе повторяется еще дважды, съ тою разницею, что въ новомъ городѣ дарятъ уже не конями, а хустками и наконецъ дѣвками; лучшая достается жениху¹⁾.

Я пытался психологически выяснить себѣ подобного рода повторенія по поводу эпизода пѣсни о Роландѣ: о томъ, какъ онъ трубитъ²⁾. «Нѣкоторыя сцены, образы до такой степени возбуждаютъ поэтическое вниманіе, такъ захватываются духъ, что отъ нихъ не оторвать глазъ и памяти, какъ бы ни было впечатлѣніе болѣзненно, томительно, и, можетъ быть, потому именно, что оно томительно, что оно щемитъ душу, имъ не насытиться. Веселые моменты жизни перекидаются быстрѣ. Встрѣтивъ образъ изнеможенного Роланда, трубящаго, надрываясь, на вѣсть своимъ, современный поэтъ схватилъ бы его, быть можетъ, цѣликомъ, исчерпалъ бы въ одинъ присѣть присущее ему, либо связанное съ нимъ поэтическое содержаніе. Народная поэзія и поэзія, стоящая еще подъ ея вліяніемъ, ближе воспроизводятъ дѣйствительный процессъ психологического акта. Въ каждомъ комплексѣ воспоминаній, преимущественно патетическихъ, есть одно, почему бы то ни было становящееся поверхъ другихъ, какъ бы ихъ покрывающее, дающее тонъ всему. Воспоминанія тянутся вереницею, возбуждая различныя ассоціаціи, разбѣгаясь за ними въ сто-

1) Сл. Добровольскій, Смоленскій сборникъ II № 89; см. іб. №№ 223, 231, 270, 296, 303, 404. Сл. Великор. нар. пѣсни, изд. Соболевскимъ, т. II, № 649, стр. 552—3 (внутренній повторяющейся припѣвъ). Сл. Янчухъ, Малор. свадьба, № 31 (стр. 17), № 59, 81; Потебня, Объясн. малор. и сродн. народн. пѣсень, II колядки и щедровки, стр. 575 слѣд.

2) Сл. I. с. стр. 249—50.

рону, и снова возвращаются къ основной нотѣ и образу: обезсиленный Роландъ трубитъ».

Для поэта, каковымъ мнѣ представляется слагатель пѣсни о Роландѣ, и именно въ разобранномъ нами эпизодѣ, я готовъ удержать мое психологическое объясненіе, предполагающее и художественный тактъ, и сознательное отношеніе къ средствамъ стиля. Но эти средства выработаны, очевидно, ранѣе и могли быть лишь примѣнены къ новой цѣли. Передъ нами фактъ болѣе древняго распорядка, и притомъ синтаксического: *соподчиненіе* впечатлѣній, слѣдующихъ другъ за другомъ въ порядкѣ времени, еще не нашло себѣ соответствующей формулы и выражается *координаціей*, свойственною народно-поэтическому стилю. Мы сказали бы напримѣръ: *пока* Роландъ трубитъ (умираетъ, рубить и т. д.), совершаются то-то и то-то; старый пѣвецъ нѣсколько разъ повторяетъ: Роландъ трубитъ, и со всякимъ воспоминаніемъ соединяется новая подробность, современная цѣлому, единичному дѣйствію. Такъ у старыхъ мастеровъ нѣтъ пространственной перспективы, близкое и далекое лежитъ въ одномъ планѣ; такъ и на средневѣковой сценѣ соединены бывали мѣстности, далеко отстоящія другъ отъ друга, хотя бы Римъ и Иерусалимъ. Зрители подсказывали перспективу, какъ подсказывали ее слушатели пѣсни.

Грёберъ (и за нимъ Пакшеръ) называютъ это явленіе диттологіей и также объясняютъ его, какъ синтаксическое; это исключаетъ эстетическія цѣли. Другое дѣло — эстетическое впечатлѣніе, которое эти своеобразныя повторенія производятъ порой на *насъ*: впечатлѣніе *длительности* основного акта при смѣнѣ развивающихъ его эпизодовъ. Былины достигаютъ этого другимъ путемъ; вместо того, чтобы сказать: богатыри взяли копей, осѣдали ихъ, сѣли и т. д., поется:

Брали они молодыхъ коней,
Брали сѣделышка черкасскія,
И спѣлали они молодыхъ коней;
Брали они кисточки шелковыя

И бросали они кисточки шелковые,
Брали въ руки тросточки дубовые,
Садились они на добрыхъ коней (Рыбн. III № 3, стр. 9).

Могутъ замѣтить (и возраженія такого рода явились), что какъ въ приведенномъ выше рядѣ строфъ, такъ и въ нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ, дѣло идетъ не объ одномъ моментѣ, развитомъ повтореніями, а о нѣсколькихъ: пѣвецъ дѣйствительно хотѣлъ сказать, что Роландъ трижды принимается трубить, что онъ затрубилъ трижды, какъ въ другомъ мѣстѣ три раза пытается раздробить свой мечь о камень. Съ этимъ толкованіемъ согласятся лишь тѣ, которые и въ аналогическихъ приемахъ русского эпоса (повтореніе удара, спроса и т. п.) способны усмотрѣть выраженіе дѣйствительно повторенныхъ актовъ, а не реторическое усиленіе одного и того же, плеоназмъ, подчеркивающій впечатлѣніе, какъ напримѣръ въ эпитетахъ: хитроумный, стародревній ¹⁾), какъ напримѣръ, въ сербскихъ пѣсняхъ у витязя три сердца или даже десять сердецъ, то-есть сердце богатырское. Это только особый видъ той координаціи, о которой шла рѣчь выше.

Замѣтимъ, что рядомъ съ повтореніями, допускающими, по-
278 видимому, реалистическое толкованіе, французскій эпосъ знаетъ и другое, гдѣ дѣйствіе, очевидно, единичное (покаяніе и смерть Роланда), троится, разчленяясь на разные моменты. И тѣ и другія повторенія подлежать одной и той же оцѣнкѣ.

Естественно является вопросъ: если повторенія французского типа — фактъ координаціи, свойственной народному синтаксису, то чѣмъ объяснить, что лишь во французскомъ эпосѣ онъ развился до значенія стилистического приема, тогда какъ поэзія другихъ народовъ представляетъ лишь отдельные примѣры?

Я попытаюсь объяснить начала этого явленія изъ предполагаемаго мною способа исполненія древнихъ эпическихъ пѣсень.

1) Сл. Изъ исторіи эпитета, *Журналъ Министерства Народного Просвещенія* 1895 г., декабрь, отд. 2, стр. 192.

II.

Древнѣйшее исполненіе пѣсни, соединенной съ музыкой и дѣйствомъ, было хорическое, оставившее свой далекій следъ и въ нѣкоторыхъ явленіяхъ поэтики современной¹⁾). То были пѣсни обрядовыя, аграрныя, бытовыя и героическая. Древне-греческій дионірамбъ, до его видоизмѣненія въ V—IV вѣкахъ, пѣлся хоромъ: пѣвецъ, ἔξαρχων, повѣствовалъ о страданіяхъ, либо подвигахъ бога или героя, хоръ подхватывалъ, отвѣчая (*ἔφύμιον*). Хоромъ пѣлись, по всей вѣроятности, и похоронныя, и героическая пѣсни у готовъ и франковъ, какъ, по свидѣтельству начала XII вѣка (у автора *Vitae Sancti Willelmi*), пѣсни о Вильгельмѣ: Для кантилены о св. Фаронѣ, была-ли это боевая пѣсня о побѣдѣ Клотарія, или нѣчто вродѣ духовнаго стиха²⁾, засвидѣтельствовано такое же исполненіе: *ex qua victoria carmen publicum juxta rusticitatem per omnium paene volitabat ora ita canentium, jeminaeque choros inde plaudendo componebant:*

De Chlotario est canere rege Francorum,
Qui ivit pugnare in gentem Saxonum,
Quam praviter provenisset missis Saxonum,
Si non fuisset inclitus Faro de gente Burgundionum.

Et in fine hujus carminis:

Quando veniunt missi Saxonum in terram Francorum,
Faro ubi erat princeps (de gente Burgundionum?).
Instinctu Dei transeunt per urbem Meldorum,
Ne interficiantur a Rege Francorum.

1) Я резюмирую далѣе части моихъ докладовъ въ Неофилологическомъ обществѣ 19-го февраля, 11-го марта и 25-го ноября 1896 года: о синкретизмѣ и дифференціаціи поэтическихъ родовъ.

2) Сл. Новыя изслѣдованія, I. с. стр. 250—3. (Кантилена о св. Фаронѣ). Сл. Koerting, *Das Farolied*, въ ZS f. frapz. Spr. & Litt., t. XVI, p. 235—64 и отчетъ въ Romania № III, p. 466: фрагментъ принадлежитъ не къ *Chanson de geste*, это — une poésie lyrique, une sorte d'hymne populaire qu'il est disposé à faire remonter au VII siècle.

279 Можно представить себѣ, что пѣсня пѣлась однимъ лицомъ, женщины не только рукоплескали въ хороводѣ, но и подпѣвали. Первое изъ приведенныхъ четверостишій принадлежитъ ли запѣву, или хоровому, повторявшемуся refrain? Такого рода refrain пять разъ прерываетъ описание битвы въ отрывкахъ старофранцузской поэмы о Gormond et Isembeard.

И теперь еще раздаются въ хоровомъ исполненіи старыя эпическая пѣсни и игровые ~~балладного~~ содержанія. Ихъ характерная черта — *припѣвъ*, *refrain*, и *подхватываніе* стиха изъ одной строфи въ другую. Таковъ типъ старо-французскихъ *gondels*: солистъ (*Vorsinger*, запѣвало) начиналъ запѣвомъ, который подхватывалъ хоръ; далѣе пѣсня исполнялась солистомъ, за каждымъ стихомъ хоръ вступалъ съ тѣмъ же запѣвомъ, получавшимъ теперь значеніе *припѣва*, тогда какъ солистъ вѣль пѣсню отъ строфи къ строфи, *повторяя* въ началѣ каждой послѣдующей послѣдній стихъ предыдущей. Въ хоровой импровизаціи бретонцевъ повторенія простираются и на нѣсколько стиховъ. — Датскія *viser* указываютъ на такое-же распределеніе припѣва и подхваченныхъ стиховъ¹⁾.

Иногда вместо одного хора выступало два, отвѣчавшихъ другъ другу при естественномъ усиленіи діалогического момента. Такъ въ малорусскихъ веснянкахъ, въ весеннемъ-же немецкомъ преніи Лѣта и Зимы; свадебныя пѣсни Саффо, отразившіяся въ превосходномъ гименѣ Катулла, имѣли въ виду хоры дѣвушекъ и юношей; хоры мужчинъ и женщинъ являются и въ обрядѣ французской и эстонской свадьбы²⁾; подобную двойственность предположили и для началъ древне-аттической комедіи.

При томъ и другомъ исполненіи могло случиться, въ теченіи времени, что лирико-эпическая схема пѣсни отрывалась отъ хора

1) *Jeanroy*, Les origines de la poésie lyrique en France стр. 309, 406 и слѣд., 414, 419 слѣд.; *Tiersot*, Histoire de la chanson populaire en France, стр. 353; *Steenstrup*, Vore Folkeviser fra Middelalderen, стр. 23 слѣд.; 69 слѣд.; 75 слѣд.; 192 слѣд.

2) *Tiersot* I. с. стр. 205 слѣд.; сл. Новые книги по народной словесности въ Журналь Министерства Народного Просвещенія, ч. CCXLIV, отд. 2, стр. 180.

и пѣлась самостоительно. Тому способствовали и забвение обрядового начала, въ связи съ которымъ развились хорическая поэзія, и интересъ къ объективному содержанію пѣсни. Заплачки и причитанія входили въ обрядовую тризну, лирическія сътования чредовались съ воспоминаніями объ усопшемъ, о его дѣлахъ и доблестяхъ; то и другое сопровождалось иногда и дѣйствомъ, пляской, какъ напримѣръ у армянъ. Когда дѣло шло о видномъ членѣ рода, витязѣ, | властителѣ, | эпическая воспоминанія переживали 280 моментъ лирической заплачки, потому что эффектъ слабѣлъ со временемъ, новое поколѣніе ощущало его менѣе страстно, а личная память о подвигахъ продолжала держаться и крѣпнуть. Историческая пѣсни выдѣлялись изъ тризы, гомеровскій θρῆνος уже поется вѣтъ обряда, французскія complaintes обозначаютъ вообще пѣсни съ трагическимъ исходомъ дѣйствія.

Выдѣляются изъ обрядовой поэзіи и другія, если ихъ содержаніе представляло интересъ и вѣтъ хорического дѣйства. Въ народной поэзіи весенняго и юньского цикловъ много наивнаго эротизма, въ которомъ чувствуются отголоски давно пережитыхъ общественныхъ порядковъ. Они выражены типически: либо дѣвушка просить мать выдать ее замужъ, либо жена глумится надъ старымъ мужемъ, бѣжитъ отъ него, ей хочется поплясать повеселиться и т. д. Въ Минской губерніи дѣвушки образуютъ хороводъ, одна изъ нихъ становится посрединѣ; хоръ поетъ:

Я на старца наскакаусь, наплечусь, нарумянюся!
Охъ старецъ, лихъ-лихоннецъ!
Ой, лихъ, невеликъ, а лихъ дома сидѣть,
Богу молицца, Спасу кланицца,
А мнѣ молодешенькѣ не хочецца.
Хотѣлось молодешенькѣ еще погулять,
Честно, хорошо, хорошохонько.

Тутъ дѣвушка, находящаяся въ срединѣ, спрашиваетъ: «А далеко старецъ?» Хоръ отвѣчаетъ, указывая деревню. Тогда опять поется: «Я на старца» и т. д.; въ послѣдній разъ отвѣчаютъ, что старецъ «а вотъ уже на той вулицы». Тогда является дѣвушка, наряженная старикомъ. Хороводъ замолкаетъ, дѣвушка,

съ увлечениемъ плясавшая въ срединѣ, останавливается какъ вкопанная. Старецъ вступаетъ въ кругъ и ведеть строгія рѣчи къ женѣ. Дѣло кончается тѣмъ, что старецъ съ палкой бросается за ней, но ему подставляютъ ногу, и онъ падаетъ¹⁾.

Слѣдующая провансальская плясовая пѣсня понятна лишь на почвѣ такого-же хорического исполненія; что она принадлежала къ Kalendas mayas, пѣснямъ, сопровождавшимъ весеннія празднества, это мы знаемъ изъ провансальной новеллы Flamenca²⁾. Въ основѣ — весенній хороводъ, съ такимъ-же содержаніемъ, 281 какъ и въ русскомъ, | но діалогъ, видимо, сократился, перешель въ цѣльную пѣсню, хору принадлежитъ лишь припѣвъ; дѣйствующія лица — король и «апрѣльская» королева³⁾. Приведу въ подлинникѣ первую строфу:

A l'intrade del tens clar — eya
Pir ioie recomençar — eya
E pir ialous irritar — eya
Vol la regina mostrar
K'ele est si amourouse.

Припѣвъ повторяющійся за каждой строфой:

A la vi', a la vie, ialous!
Lassaz nos, lassaz nos
Ballar entre nos, entre nos.

«Наступило ясное время года — ай люли; для начала веселья, — ай люли, чтобы подразнить ревнивца — ай люли, королева хочетъ показать, что она исполнена любви. (Припѣвъ): Прочь, прочь, ревнивецъ, оставь меня, оставь, дай поплясать намъ другъ съ другомъ, другъ съ другомъ.

1) См. Грузинскій, Изъ этнографическихъ наблюдений въ Рѣчицкомъ уѣздѣ Минской губерніи, Этнограф. Обозрѣніе XI, стр. 144—5.

2) Jeanroy, 1. с. стр. 88—9; сл. припѣвы на тотъ-же сюжетъ, стр. 179, 395; Raynaud, Motets I, 151.

3) La regine avrillouse. Romer читаетъ aurillouse въ значеніи: munter, веселая. Это неизмѣняетъ дѣла.

«Она приказала всюду оповѣстить, до самаго моря, чтобы не осталось ни дѣвушки, ни молодца, которые не пришли бы поплясать въ веселомъ танцѣ. (Припѣвъ).

«Пришелъ туда съ другой стороны король, чтобы помѣшать пляскѣ, ибо онъ боится, что у него хотятъ похитить апрѣльскую королеву. (Припѣвъ).

«А ей это не по сердцу, нечего ей дѣлать со старикомъ, охота до ловкаго парня, который съумѣлъ бы, какъ слѣдуетъ, утѣшить прекрасную даму. (Припѣвъ).

«Кто бы увидѣлъ ее тогда въ пляскѣ, какъ она тамъ веселилась, могъ бы по правдѣ сказать, что нѣтъ на свѣтѣ равной апрѣльской королевы. (Припѣвъ)». |

282

Такія выдѣлившіяся изъ хорового состава пѣсни носятъ слѣды своего происхожденія не только въ припѣвѣ, но и въ повтореніи стиховъ. Таково, напримѣръ, построеніе датской баллады о Мимерингѣ: она начинается двустишиемъ, какъ бы запѣвомъ, за нимъ refrain, повторяющійся за каждой изъ слѣду-

1) Къ весеннимъ игровымъ пѣснямъ сходнаго содержанія сл. Чубинскій, Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-русскій край, юго-западный отд., т. III, стр. 69 слѣд., № 13 (Жона та мужъ), стр. 141—142, № 46. Сл. весеннюю игру № 4: Чоловікъ та жінка: грачи сидять въ кружкѣ, выбираютъ двухъ — быть мужемъ и женой; жена бѣгаеть кругомъ грачей, а мужъ за ней съ «ломакою». Хоръ поетъ за того и за другого. За мужа: «Гей, мати, до дому!... Діти плачутъ, істи хочуть, Никому дати». Она отвѣчаетъ: «Тамъ на полиці Три паляниці, Нехай ідять». Мужъ говоритъ, что дѣти хотятъ спать, она отвѣчаетъ: «Тамъ на діжечці Е три подушечки, Нехай сплять!»... Въ заключеніи мужъ угоняетъ жену домой. Сл. хоровую пѣсню изъ Лесбоса: (Речитативъ) Сосѣдушка, твоему мужу пить хочется. (Пѣніе) Онъ хочетъ пить, а мнѣ все равно пляска въ ходу. Есть вода въ горшкѣ, пусть напьется. (Речитативъ) Сосѣдушка, твой мужъ Ѣсть хочетъ. (Пѣніе) Онъ хочетъ Ѣсть, а мнѣ все равно: есть что пойти въ шкатупу, пусть пойти. (Речитативъ) Сосѣдушка, твой мужъ умеръ. (Пѣніе) Умеръ, а мнѣ все равно, пляска въ ходу. Пусть женщины поплачутъ, пѣвчіе попоютъ, попы его погребутъ, черви пойдятъ. Geogakis et Pineau, Le Folk-lore de Lesbos, стр. 161—162. Сл. Tiersot I. c. стр. 59—60. Сл. Великорусск. народн. пѣсни, изд. Соболевскимъ, гл. 2, стр. 362 слѣд., №№ 430—38; сл. № 505 слѣд., 589, 615. Сл. Великоруссы въ своихъ пѣсняхъ, обрядахъ и т. д. Матеръялы, собранн. П. В. Шейномъ, т. I, вып. 1 (СПБ. 1898) №№ 453, 454, 455, 456, 457, 639, сл. №№ 945—9.

ющихъ четырестицнхъ строфъ; первая строфа повторяетъ $1 \frac{1}{2}$ стиха начальнаго двустишия и присоединяетъ два новыхъ стиха; слѣдующая подхватываетъ послѣдніе $1 \frac{1}{2}$ стиха предыдущей, и снова ведеть пѣсню далѣе такимъ же порядкомъ:

1. Mimering vor den mindste mandt.
Som foedd vor paa Karl kongens landt.

Припѣвъ: Min skoeniste iomffruer.

2. Then mindste mandt,
Som foedd vor paa Karl kongens landt.
Foerr hand bleff til verden baarn,
Da vore hans kleder till ham skarnn.

(Припѣвъ).

3. Till verden baren
Da vore и т. д. ¹⁾.

Хору принадлежала партія refrain'a, пѣсня съ ея повтореніями пѣвцу — или пѣвцамъ? Стенstrupъ предполагаетъ послѣднее для датскихъ viser, Вигфуссонъ ²⁾ для английскихъ балладъ: хоръ при двухъ чередовавшихъ пѣвцахъ; лишь въ послѣдствіи, когда баллада утратила свой лирическій характеръ, пѣвецъ явился одинъ. Я присоединю къ этому и другое соображеніе: при системѣ одного хора съ двумя пѣвцами, или двухъ хоровъ, отвѣчавшихъ другъ другу, солисты невольно выдѣлялись; отнимите у нихъ хоръ, пѣсня останется съ ея захватами и повтореніями изъ строфы въ строфи, исчезнетъ элементъ припѣва.

На этой стадіи развитія и, вмѣстѣ, разложенія хорического на ²⁸³ начала явились пѣніе амебейное, антифоническое, вдвое или болѣе, взапуски, засвидѣтельствованное и въ древности, и въ среднихъ вѣкахъ и до сихъ порь широко распространенное въ народномъ обиходѣ. Укажу на феценнины (versibus alternis opprobria

1) Сл. Grundtvig, DgF. I № 14 (я обязанъ этимъ указаніемъ В. Ф. Шишмареву); Steenstrup, I. c., стр. 85 слѣд.

2) Vigfusson, Corpus poet. bor. II, стр. 389.

rustica), на лодочниковъ Горація, проводившихъ ночь въ пѣніи *cetatum*¹⁾; на застольныя аттическія сколі; въ средніе вѣка на діалогической принципъ пастурелей. Можетъ быть, слѣдуетъ допустить вліяніе школьныхъ диспутовъ въ искусственныхъ тен-ционахъ и *débats, contrasti*, въ преніяхъ о вѣщай мудрости въ ми-еологическихъ пѣсняхъ стихотворной Эдды, въ «евангелистской пѣсни» и ея родичахъ, и въ пѣснѣ о «превращеніяхъ»²⁾), въ во-просахъ и отвѣтахъ, нерѣдко съ характеромъ загадокъ, которыми обмѣниваются въ иныхъ мѣстностяхъ Германіи начальники двухъ народныхъ труппъ, исполняющихъ рождественскую мистерію³⁾); но во всемъ этомъ, какъ и въ увлеченіи средневѣковыхъ латинскихъ поэтовъ Виргиліевской буколикой, отразилась, вѣроятно, и народ-ная струя, привычка къ пѣсенному антифонизму⁴⁾.

Въ настоящемъ случаѣ я обойдусь немногими примѣрами.

Начну съ пѣмецкаго народнаго обычая, извѣстнаго уже въ XVI вѣкѣ: обѣ Ивановѣ днѣ, или и въ другую пору лѣта, дѣ-вушки водили по вечерамъ хороводы съ пѣснями (*in ein Ring herumb singen*), туда являлись и парни и пѣли взапуски *o вѣнкѣ*; кто споетъ лучше, тому вѣнокъ и достанется. Въ одномъ лету-чемъ листкѣ, напечатанномъ въ Страсбургѣ въ 1570 году, со-хранилась пѣсня съ мотивомъ такого пренія. Изъ далекихъ странъ прибылъ пѣвецъ, много вѣстей принесъ: тамъ уже лѣто настало, показались алые и бѣлые цвѣты, дѣвушки вьютъ изъ нихъ вѣ-

1) Горацій въ «Путешествіи въ Брундизій» (Sat. I, 5) разсказываетъ, что въ виллѣ Кокцея близъ Кавдія онъ слышалъ мѣстной шуткой: забавнымъ пре-ніемъ двухъ балагуровъ скомороховъ, в. 52. *Sarmenti scurrae pugnam Messique Cicerris.*

2) О нихъ сл. Розысканія VI, стр. 67 слѣд. Съ тѣхъ поръ библіографія во-проса разрослась и потребовала бы особой замѣтки.

3) Сл. Schröder, Rätselfragen, Wett- und Wunschlieder, въ Zs. des Vereins für Volkskunde III, стр. 67 слѣд. Сл. ib. VII, стр. 382 слѣд.: Bolte, Kranzwerbung (сл. 384—5: A. Hartmann, Volksschauspiele, 1880, р. 120: Dürrenberger Braut-begehrten), teilt aus Salzburg ein bei den Hochzeiten der Bergknappen übliches Frage und Antwortspiel des Brautführer mit.

4) (Къ антифонизму) Сл. Raynaud, Recueil de Motets fran ais, II, стр. 224 (изъ *Myst re de l'Incarnation: des chansons estrivent*). Сл. ib. p. 367 (пѣвцы-му-зыканты ходятъ и исполняютъ вмѣстѣ), 380 (вдвоемъ).

нокъ, чтобы выступить съ нимъ въ пляскѣ и было бы о чёмъ пѣть молодцамъ, пока вѣнокъ не достанется одному изъ нихъ. Весело подходитъ молодецъ къ хороводу, всѣмъ поклонъ кладеть, богатому и бѣдному, большому и малому, вызываетъ другого пѣвца, пусть разрѣшитъ его загадки и заслужить вѣнокъ. Загадки такія: Что выше Бога? Сильнѣе наスマѣшки? Бѣлѣе снѣга? Зеленѣе клевера? — Другой отвѣчаетъ: Выше Бога вѣпчикъ (на иконахъ), стыдъ сильнѣе наスマѣшки, бѣлый день бѣлѣе снѣга, мартовская зелень зеленѣе клевера. Не достанется вѣнокъ тому, кто заганулъ, заключаетъ пѣвецъ и въ свою очередь предлагаетъ 284 красавицѣ дѣвушкѣ | вопросъ; коли отвѣтить, вѣнокъ останется за нею и дольше. У вѣнка нѣть ни начала, ни конца, говорить онъ, цвѣтковъ парное число; какой цвѣтокъ посрединѣ? Никто не отвѣчаетъ, разрѣшаетъ загадку самъ молодецъ: цвѣтокъ посрединѣ — сама красавица; и онъ еще разъ просить дѣвушку: пусть возьметъ вѣнокъ своею бѣлоснѣжной ручкой и возложитъ его на его бѣлокурые волосы. Вѣнокъ достается побѣдителю, и игра кончается его привѣтомъ и благодаренiemъ. — Въ пѣснѣ по рукописи XV вѣка сама дѣвушка задаетъ загадку прохожему молодцу: У моего отца на крышѣ семь птичекъ сидятъ; чѣмъ онѣ кормятся? Коли скажешь, вѣнокъ твой — Одна живеть твоей юностью, другая твоей добродѣтелью, третья твоимъ милымъ взглядомъ, четвертая твоимъ добромъ, пятая твоимъ мужествомъ, шестая твою красой, седьмая твоимъ чистымъ сердцемъ. Подари меня твоимъ розовымъ вѣнкомъ, дорогая! — Даѣтъ такая загадка: Скажи, что то за камень, надъ которымъ не звонилъ ни одинъ колоколь, который ни одинъ не обляялъ, вѣтеръ не обвѣялъ, дождь не омочилъ? — Тотъ камень лежить въ глубинѣ ада, зовутъ его Dillestein, на немъ покоится земля, и онъ расторгнется отъ призывааго гласа, отъ котораго воскреснутъ усошие.

Мотивъ вѣнка и препоѣ загадками знакомы русской народной поэзіи: укажу на витѣ весеннихъ и ивановскихъ вѣнковъ, на соединенный съ нимъ обычай гаданья и загадки русальныхъ, волочебныхъ и колядныхъ пѣсенъ. Въ одной русальной русалка за-

даєть дѣвушкѣ три загадки; коли та угадаєть, она отпустить ее, коли нѣть, возьметъ съ собою:

Ой що росте безъ коріння,
А що біжить безъ повода,
А що цвіте да безъ цвіту?
Камень росте безъ коріння,
Вода біжить безъ повода,
Папороть росте безъ цвіту.
Панночка загадочекъ не взгадала,
Русалочка панночку зашекотала ^{1).}

Въ колядкѣ такія же загадки предлагаютъ дѣвушки ея мілый: коли угадаєть, его будеть, коли нѣть — «людская» будеть: что горитъ безъ жаріння? Отвѣты дѣвушки: камень, папороть, огонь ^{2).} |

285

Вѣнокъ нѣмецкаго обряда и его пѣніе взапуски еще ближе отвѣчаютъ армянскому обычаю наканунѣ праздника Вардаваръ (6-го августа: Преображеніе Христово), замѣнившаго древнее празднованіе Афродиты. Въ селѣ Чайкендѣ, Елисаветпольскаго уѣзда, дѣвушки и парни собираются въ навечеріе Вардавара цвѣты и дѣлаютъ одинъ общій букетъ. Вечеромъ на церковномъ дворѣ или за селомъ и тѣ и другіе усаживаются отдельно, кружками, послѣ чего между ними начинается диспутъ въ пѣсняхъ; иные, не пѣсенныя, переговоры строго воспрещены. Обмѣниваются импровизированными четверостишіями, которые поются рецитативомъ; за каждымъ изъ нихъ *refrain* — двустишіе вродѣ: «Душа — роза моя, душа, душа!» Самое название Вардаваръ означаетъ: «сіяніе розы»; это, вѣроятно, наслѣдіе Афродиты, впрочемъ, уже переиначенное новымъ толкованіемъ: будто бы Христосъ до Своего Преображенія, былъ подобенъ розѣ въ бутонѣ, а во время Преображенія на Фаворѣ изъ Его тѣла разлилось и загорѣлось розовое сіяніе, которое было и у Адама въ раю и ко-

1) Чуб. I. с., стр. 190, № 7. Очевидно, разрѣшеніе загадокъ не принадлежитъ дѣвушкѣ, а объясненіе пѣвца.

2) Чуб. I. с., стр. 314—315, № 44; Головацкій, IV, 71, 75; 40; Потебня, Объясненія малыхъ и среднихъ народныхъ пѣсень, II, 595.

торымъ Христосъ показалъ славу и величие Творца. Прене продолжается до разсвѣта и прекращается лишь когда одна сторона окажется уже не въ состояніи продолжать его. Побѣдители получаютъ букетъ¹⁾.

Въ другихъ случаяхъ обрядовый характеръ народнаго антифонического пѣнія выраженъ менѣе ярко, но являются и новыя даннія: зарожденіе цѣльной пѣсни изъ чередующихся вопросовъ и отвѣтовъ. Такъ, напримѣръ, въ южной Германіи: одно импровизированное четверостишие (*Schnaderhüpfel*) вызываетъ другаго пѣвца, онъ отвѣчаетъ, повторяя отчасти схему предыдущаго, подхватывая послѣдній стихъ; образуется такимъ образомъ, въ чередованіи пѣвцовъ, серія четверостишій, которая поется впослѣдствіи и какъ нѣчто цѣлое. *Schnaderhüpfel* — живая форма народнаго творчества: въ баварскихъ и австрійскихъ Альпахъ онъ раздается подъ окнами милой, на церковныхъ праздникахъ и свадьбахъ, особенно при пляскѣ. Выступая со своею дамой, парень кидаетъ музыкантамъ какую-нибудь монету и напѣваетъ мелодію, которую и подхватываетъ оркестръ; за первою слѣдуютъ другія, одинъ за другимъ танцоры поютъ *Schnaderhüpfel*, все на ту же мелодію, обыкновенно обращенные къ ихъ дамамъ, которыя имъ и отвѣчаютъ. Это напоминаетъ любовныя пѣсенки, которыми обмѣнивались въ Исландіи мужчины и женщины во время пляски | и противъ которыхъ еще въ XII вѣкѣ возставалъ епископъ Іон Огмундарсон (1106 — 21): пѣли попарно, схватившись руками и раскачиваясь взадъ и впередъ, опираясь на правую ногу, но не сходя съ места²⁾.

Сардинскія *battorinas* — четверостишія, нерѣдко съ пріпѣвомъ, повторяющимъ одинъ или два начальныхъ стиха, импрови-

1) Калашевъ, Вардаваръ, въ Сборв. матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа, XVIII, отд. 2, стр. 1—4 и слѣд.

2) См. Новыя книги по народной словесности, въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія, ч. CCXIV, отд. 2, стр. 193—5; Hauffen, Das deutsche Volkslied in Oesterreich — Ungarn въ Zs. d. Vereins für Volkskunde IV, стр. 11 слѣд.; Vigfusson, Corp. poet., II, стр. 385, 388.

зированныя или усвоенная въ живой смысль пѣвцомъ; порой онъ слагаются въ цѣлую канкану (canthone) ¹⁾. Сардинскіе muttos также пѣлись амебейно во время житва или при молотьбѣ: когда лошади ступали по снопамъ вокругъ жерди, утвержденной въ срединѣ тока, погонщикъ, что стоялъ у жерди, запѣвалъ muttu, ему отвѣчали другіе, занятые другими работами. Muttu начинается запѣвомъ въ два, три и болѣе стиховъ, часто не стоящимъ въ связи съ содержаніемъ слѣдующаго muttu, подхватывающаго первый стихъ запѣва и далѣе развивающагося самостотельно, вторя риомамъ запѣва, но въ обратномъ порядкѣ (ab=ba). Серіи такихъ muttos, недавно записанныя, свидѣтельствуютъ, что амебейность и здѣсь выражалась повтореніями, но онъ принялъ крайне искусственную форму, указывающую на внѣшнее переживаніе когда-то органическаго пѣсенного приема. Рядъ muttos открывается запѣвомъ (isterria), напримѣръ, четверостишіемъ, которое мы выразимъ: 1, 2, 3, 4; слѣдующія четверостишія построены такимъ образомъ: первое начинается съ первого стиха запѣва и присоединяетъ три новыхъ стиха: abc; второе открывается вторымъ стихомъ запѣва и продолжается стихами предыдущей строфы, лишь въ иномъ порядкѣ; третье беретъ третій стихъ запѣва и снова переставляетъ стихи второй строфы и т. д. Графически это можно выразить такъ: 1, 2, 3, 4; 1 abc; 2 cba; 3 cab; 4 abc. Все это отзыается чѣмъ-то механическимъ, хотя каждый перебой стиховъ открываетъ въ новомъ музыкальномъ впечатлѣніи и новые стороны для психологического анализа. Серіи прелестныхъ малайскихъ четверостишій (pantun), связанныхъ другъ съ другомъ повтореніемъ, лишь въ иномъ порядкѣ, двухъ стиховъ, производятъ впечатлѣніе большей поэтической цѣльности.

Въ Сициліи, во время полевыхъ работъ, кто-нибудь сложить и | запоеть stornello: двустишіе, либо трехстишіе, при чемъ первый 287

1) Сл. Valla, Canti popolari Sardi, въ Archiv per lo studio d. trad. popolari, v. XV, fasc. II (1896), стр. 235 слѣд. (къ амебейности?) Česky lid. III, 1: Иранкъ, Перекликанія пастуховъ въ формѣ двустишій, четырехстишій.

стихъ играетъ роль запѣва, не связаннаго содержательно съ слѣдующими; иногда это — полустихъ съ названіемъ цвѣтка. На stornello отвѣчаетъ другой пѣвецъ, воспринимая порой его риому и вводя новую, которая въ свою очередь можетъ быть подхвачена въ слѣдующемъ отвѣтѣ. Такія поэтическія состязанія распространены по всей Италии, гдѣ живетъ stornello въ его разныхъ видахъ и обозначеніяхъ. Д'Анкона выводить его метрическую форму изъ разложенія четверостишія, съ риомующимъ вторымъ и четвертымъ стихами: древней, предположительно, формѣ сициліанскаго strambottu, strammottu. Уже Дицъ отождествлялъ это название съ старофранцузскимъ estrabot (estribot) у Benoit de Saint-More: пѣсенка сатирическаго содержанія; у Guillaume de Machaut и въ современномъ валлонскомъ говорѣ estrabot означаетъ: насмѣшку, издѣвку, raillerie¹⁾; Пасквалино опредѣляетъ сициліанское strammottu: ridicula cantuula, a strammi, ut insinuatur deflexio a vera significatione in malam partem accepta²⁾). Этимъ указаніемъ опредѣлена и ходячая этимологія strambotto: отъ лат. класс. strambus — косой, вульгарно-латинскаго strambus: хромой; оттуда strambotto, strammottu, estribot. Поводы къ такому обозначенію объяснялись различно. G. Paris, основываясь, вѣроятно, на провансальскомъ rims estrams = не риомующіе стихи и исп. estrambote = неправильная строфа, слѣдующая за правильно построеною, предполагается, что первоначальный estribot могъ быть сложенъ по испанскому типу; такого рода построеніе встрѣчается въ старофранцузскихъ пѣсняхъ; неправильная строфа и производить впечатлѣніе чего-то неконченного, неполнаго, хромого. Но старофранцузскихъ estribots мы не знаемъ, а предполагаемый древнѣйший strambotto — четверостишіе также симметриченъ, какъ и современный сициліанскій: изъ восьми стиховъ всѣ четные рио-

1) См. G. Paris, отчетъ о Nigra, Canti popolari del Piemonte, въ Journal des Savants 1889, стр. 532 и слѣд. Авторъ оставляетъ подъ сомнѣніемъ вопросъ: отвѣчаетъ ли estrabot провансальному estribot, исп. estribote.

2) I. c., стр. 635, прим. 3.

муются, нечетные связаны тождествомъ послѣдней гласной, стоящей виѣ ударенія.

Иное объясненіе далъ Нигра: strambotto обозначало, по его мнѣнію, единичную строфу, стоящую по себѣ, въ отличіе отъ серіи строфъ, связанныхъ взаимно¹⁾.

Если представить себѣ, что strambotto — estribot, любовнаго (какъ въ Италіи) или сатирическаго содержанія, шѣлись антифонно, 288 какъ stornelli, то каждый изъ нихъ получалъ цѣльный смыслъ лишь въ чередованіи, когда одна строфа отвѣчала другой, дополненія ее; выхваченная изъ череда она была несвязною, хромала: strambotto?

Не въ такомъ ли же переносномъ смыслѣ слѣдуетъ объяснить название аттическихъ застольныхъ пѣсенокъ, *σκόλια*, то-есть, кривыя²⁾? Онѣ пѣлись на пирахъ и свадьбахъ; запѣвалъ возлежавшій на первомъ мѣстѣ за первымъ столомъ и передавалъ миртовую вѣтку тому, кто занималь то же мѣсто за вторымъ столомъ. Затѣмъ вѣтка переходила ко второму гостю первого стола, который передавалъ ее по порядку второму гостю второго и т. д. Принимавшій вѣтку перенималъ и пѣсню, доканчивая ее или продолжая; это называлось: *τὸ δέχεσθαι τὰ σκόλια*. Ихъ название «кривыя» объясняется, между прочимъ, этой передачей пѣсни отъ стола къ столу, по кривой линіи; но, можетъ быть, и здѣсь «кривой» слѣдуетъ истолковать, какъ недоконченный, не полный, ожидающій восполненія. Содержаніе пѣсенокъ гномическое, шутливое, съ элементами басни и личной сатиры, но и эпическихъ и патріотическихъ воспоминаній: обѣ Адметѣ, Теламонѣ и Аяксѣ, Гармодіи и Аристогитонѣ. Подхватываніемъ пѣсни объясняется парность нѣкоторыхъ сколій; въ слѣдующемъ примѣрѣ двѣ пары сколій, распределенные между четырьмя пѣвцами, развиваются одно и то же содержаніе: прославляются герои Аѳинской сво-

1) Сл. Domenico Barella, *Lo strambotto piemontese*. Alessandria, Jacquemod 1896: по его мнѣнію древнѣйшая форма южнаго strambotto sarebbe il tetrastico popolare subalpino. Сл. Giorn. stor. d. lett. Ital., fasc. 91, стр. 166.

2) О сколіяхъ сл. Reitzenstein, *Epigramm und Scolian*, стр. 3—44.

боды, Гармодій и Аристогитонъ. Первая схолія начинается за-
пѣвомъ: въ миртовой вѣткѣ понесу мечъ, какъ Гармодій и Ари-
стогитонъ:

ἐν μύρτου κλαδὶ τὸ ξίφος φορήσω
ὅπερ Ἀρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων.

Прославляется ихъ подвигъ, ибо они убили тиранна и сдѣлали
Аѳинь свободными: ὅτι τὸν τύραννον ἐκτανέτην ἰσονόμους τ' Αθήνας
ἐποιησάτην. Отвѣтная, вторая, схолія говоритъ объ ихъ пре-
бываніи среди героевъ древности на островахъ блаженныхъ.
Третья схолія начинается съ запѣва первой; слѣдуютъ похвалы
Гармодію и Аристогитону, ибо, во время жертвоприношенія Аѳинѣ
они убили тиранна Гиппарха (ὅτι Ἀθηναῖς ἐν θυσίαις ἄνδρα τύραν-
νον Ἰππαρχον ἐκαινέτην). Четвертая, отвѣтная, схолія говоритъ
о бессмертной славѣ героевъ и кончается заключительнымъ сти-
хомъ первой: ὅτι τὸν τύραννον ἐκτανέτην и т. д.

Это подхватываніе начала и конца строфъ объясняется
амебейнымъ исполненіемъ. Въ цѣльномъ (литературномъ) сколіи
Габрія эти повторенія уже окаменѣли, явились средствомъ стиля:
289 «Большое багатство — мнѣ копье и мечъ и прекрасный щитъ, за-
щита тѣла. Имъ я пашу и жну, имъ давлю сладкое вино изъ
винограда, въ силу сего меня зовутъ господиномъ челяди. У меня,
не осмѣливающагося имѣть копье и мечъ и прекрасный щитъ,
защиту тѣла, всѣ, преклоняясь, цѣлуютъ колѣна, зовутъ госпо-
диномъ, великимъ царемъ».

ἔστι μαι πλοῦτος μέγας δόρυ καὶ ξίφος,
καὶ τὸ καλὸν λαϊσήιον, πρόβλημα χρωτος·
τούτῳ γάρ ἀρῷ, τούτῳ θερίζω,
τούτῳ πατέω τὸν ἀδὲν οἰνον ἀπ' ἀμπέλῳ,
τούτῳ δεσπότας μνοίας κέκλημαι.
τοὶ δὲ μὴ τολμῶντ' ἔχειν δόρυ καὶ ξίφος
καὶ τὸ καλὸν λαϊσήιον, πρόβλημα χρωτος,
πάντες γόνυ πεπτηώτες ἐμὲν κυνέοντι, δεσπόταν
καὶ μέγαν βασιλῆα φωνέοντες.

Припѣвъ, *stef*, то правильно перемежающійся, то разбитый
на части (*klofa-stef*, *rek-stef*) въ старо-сѣверныхъ драпахъ, явля-

ется такимъ же искусственнымъ стилистическимъ пріемомъ; объяснить ли его изъ хорического исполненія, какъ во французскихъ rondets и датскихъ viser, или изъ амебейной смѣны? Въ Норвегіи stef'омъ зовутся теперь строфы, которыя поются взапуски, въ чередованіи вопросовъ и отвѣтовъ¹⁾.

III.

Содержаніе такого рода амебейныхъ пѣсень лирическое, но для извѣстной поры развитія мы вправѣ предположить его лирико-эпическимъ, или эпическимъ. Къ сожалѣнію, наши свѣдѣнія о старыхъ пѣвцахъ, хотя бы средневѣковыхъ, касаются ихъ быта, инструментовъ и сюжетовъ и правовыхъ отношеній, и весьма мало способа исполненія ими пѣсень. Отъ соборныхъ постановленій противъ мимовъ и гистріоновъ и ихъ бѣсовскихъ игрь такихъ свѣдѣній нельзя и ожидать; когда позднѣе онѣ становятся обстоятельнѣе, уже наступило царство большихъ поэмъ, которыя заслонили память о лежавшихъ за ними эпическихъ пѣсняхъ — кантиленахъ и ихъ исполнителяхъ. Пѣвцы уже руководились книжками.

Предположимъ, однако, что тѣ кантилены-былины, которыя дали впослѣдствіи матеріалъ для chansons de geste и опредѣлили особенности ихъ стиля, пѣлись антифонически; въ нихъ будутъ повторенія, но припѣвъ исчезъ вмѣстѣ съ хоромъ, отзываюясь развѣ въ загадочномъ Aoi, которымъ кончаются нѣкоторыя строфы 290 поэмы о Роландѣ²⁾). Одинъ пѣвецъ пѣлъ о томъ, какъ Роландъ затрубилъ въ призывный рогъ: «Роландъ приставилъ ко рту олифантъ, хорошо его захватилъ, сильно затрубилъ. Высоки горы, далеко разносится звукъ, на тридцать большихъ лѣ є слышно,

1) См. Möbius, Vom Stef, Germania N. R. XVIII, стр. 129 слѣд.; Vigfusson, Собр. poet. I, 451 слѣд.

2) 173 строфы изъ 198 по Оксфордскому списку.

какъ онъ разнесся. *Слышишъ его Карлъ и его товарищи*. Другой пѣвецъ вступалъ въ то же положеніе: „*Графъ Роландъ трубитъ въ свой олифантъ* съ трудомъ и усилиемъ и великой болью; алая кровь струится у него изо рта, лопаются жилы на вискахъ. *Далеко слышенъ звукъ его рога; Карлъ слышишъ его...*“ Затѣмъ первый изъ пѣвцовъ вель разказъ далѣе, и второй вступалъ въ его содержаніе, варьируя его въ новой *laisse*, присоединяя подробности, не предусмотрѣнныя въ предыдущей и производящія на насъ порой *впечатлѣніе* противорѣчій. Иныя изъ нихъ устраиваютъся при связномъ чтеніи: когда напримѣръ, въ строфѣ 2-й Марсилій жалуется, что у него *нѣть* войска, а въ 44-й говорить, что у него четыреста тысячъ всадниковъ, то въ первомъ случаѣ онъ держитъ рѣчь своимъ, во второмъ хвастается передъ посломъ, Ганелономъ. Фактическія противорѣчія дѣйствительно существуютъ въ *chansons de geste*, но не во всѣхъ подобныхъ случаяхъ позволено говорить обѣ интерполяціяхъ и неумѣльыхъ вариантахъ, введенныхъ въ текстъ въ ту пору, когда онъ подвергся записи и литературной обработкѣ. Пѣвцы стояли въ живомъ преданіи, одинъ доказывалъ то, что обошелъ другой, противорѣчія принадлежать иной разъ нашему впечатлѣнію, котораго слушатели не получали: преданіе объединяло для нихъ эти противорѣчія, и они подсказывали себѣ многое изъ запаса воспоминаній. Пѣсни о какомъ-нибудь событии изъ цикла хотя бы Косовской битвы—эпизодъ, естественно вставлявшійся для нихъ въ связь другихъ событий, тогда какъ мы потребуемъ комментарія.

Обратимся съ указанныхъ точекъ зреѣнія къ разбору нѣкоторыхъ повтореній въ пѣснѣ о Роландѣ.

Послѣдній стихъ IX строфы (о Карлѣ: *Baisset sun chef, si comencet à penser*) повторяется, по содержанію, въ началѣ слѣдующей (X: *Li empereres en tint sun chef enclin*; см. такое же повтореніе въ заключеніи CL и началѣ CLI строфы; LXXIX и LXXX).

Въ концѣ XI-й поется, что Карлъ усѣлся подъ сосновою, велить позвать на совѣтъ своихъ бароновъ.

Desuz un pin en est li reis alez,
Ses baruns mandet pur sun cunseill finer.

Обращение къ собравшимся баронамъ въ началѣ XIII-й laisse 291 отвѣчало бы логически развитію дѣйствія: XII-я строфа останавливаетъ его перечисленіемъ лицъ, явившихся на призывъ, подхватывая, съ варіантами, приведенные выше стихи:

Li empereres s'en vait desuz un pin,
Ses baruns mandet pur sun cunseill fenir.

(Сл. начала строфъ V и VI).

Слѣдующія строфы LIX—LXIII характеризуютъ не столько повторенія, сколько тѣ противорѣчія, которыя повели къ теоріи интерполяцій.

Въ началѣ поэмы Карль совѣтуетъ съ баронами: кого бы ему послать посломъ къ Марсилію; порученіе опасное; Роландъ указываетъ императору на своего отчима Ганелона, какъ на самаго подходящаго человѣка. Ганелонъ въ гнѣвѣ на пасынка: это его продѣлка, говорить онъ Карлу, во всю жизнь не стану дружить ни съ нимъ, ни съ его товарищемъ Оливье, ни съ двѣнадцатью пэрами, которые такъ его любятъ. Говорю это открыто, при всѣхъ. Отвѣчаль императоръ: очень ужъ ты злобенъ! ты отправишься, потому что это я приказываю (XXI). Онъ подаетъ ему свою рукавицу (знакъ передачи власти, довѣренности), но Ганелонъ роняетъ ее, и всѣ смущены этимъ знаменіемъ (XXVI); затѣмъ Ганелону вручаютъ жезль и грамоту (XXVII). — Я привель эту сцену въ объясненіе слѣдующихъ laisses.

Карль возвращается побѣдоносно изъ Испаніи, войско идетъ впередь и (LIX) поднимается вопросъ, кому быть начальникомъ аррьергада. Ганелонъ указываетъ на своего пасынка Роланда. «Какъ услышать это императоръ, гнѣвно на него посмотрѣль и говорить: Ты истый дьяволъ, у тебя въ сердцѣ смертельная ярость!» (LX) Когда услышалъ Роландъ, что рѣшено остаться ему, говорить, какъ истый рыцарь, благодаритъ отчима, что онъ указалъ именно на него; онъ не посрамить себя. — Я въ этомъ

увѣренъ, то правда, отвѣчаеть Ганелонъ. — Въ слѣдующей laisse LXI отповѣдь Роланда другая: какъ услышалъ Роландъ, что ему быть въ аррьергардѣ, и нѣкто обратился къ своему отчиму: трусь и негодай! (Ahi! culvert, malvais hom de put aire), ты по-
лагалъ, что я уроню рукавицу, такъ ты уронилъ жезль передъ
292 лицомъ Карла! ¹⁾ (LXII) Онъ просить императора вручили ему
рукавицу и жезль; Карлъ теребить бороду, плачетъ (LXIII), а
Немонъ говорить ему: Слышалъ ты? Расходился Роландъ (iras-
cut), ему присудили быть въ аррьергардѣ, и тѣперь никто его не
отговорить.

Въ двухъ отвѣтахъ Роланда видѣли противорѣчіе, въ одномъ
изъ нихъ интерполяцію, но преданіе и слушатели соединяли одинъ
съ другимъ. Роландъ доволенъ, что на него возложено трудное
сторожевое дѣло, благодарить и Ганелона, и вмѣсть съ тѣмъ онъ
убѣждентъ, что замыселъ отчима былъ другой, злостный, и онъ
обращается къ нему съ гнѣвною рѣчью. Выражено это въ
формѣ координаціи, напоминающей эпитетъ русской былины
при Калинѣ: царь — и собака ²⁾, либо «милую» Францію въ
устахъ Сарацина (Chanson de Roland II); художникъ слагатель
явится позже и сплотить въ одно цѣлое разбросанные пси-
хическіе моменты. Правы ли тѣ (Dietrich), которые видятъ въ
первомъ отвѣтѣ Роланда иронію, что дало бы возможность поми-
рить видимую благодарность съ слѣдующей затѣмъ вспышкой
гнѣва? Не подсказываемъ ли мы древней поэмѣ болѣе, чѣмъ
слѣдуетъ?

Роландъ умираетъ, 1) пытается раздробить свой мечъ Du-
rendal, дабы онъ не попался въ руки невѣрныхъ; 2) приносить
покаяніе во грѣхахъ. Каждый изъ этихъ моментовъ развитъ въ
трехъ послѣдовательныхъ laisses.

1) Въ строфѣ XXVI Ганелонъ роняетъ не посольскій жезль а перчатку. Видѣть въ этомъ противорѣчіи слѣдѣть другой вѣрсии иѣть основанія: въ представлениі пѣвица или слагателя фактъ «знаменія» (зловѣщее паденіе) заслонилъ вещественные символы вассальной вѣрности: рукавицы или жезла.

2) Изъ исторіи эпитета, I. с., стр. 188.

CLXXIII. Чувствуєтъ Роландъ, что смерть близко подступила¹⁾; передъ нимъ темный (brune) камень; десять разъ ударяетъ онъ по немъ въ тоскѣ и гибѣ; скрипитъ сталь, не ломается и не зазубрилась (Cruist li acers, ne freint ne ne s'esgrumet). — Слѣдуетъ обращеніе къ мечу, которымъ витязь побѣдилъ въ столькихъ сраженіяхъ.

CLXXIV. Роландъ ударяетъ по твердому камню (sardonie); скрипитъ сталь, не ломается и не зазубрилась (Cruist il acers, ne briset ne s'esgraignet). Слѣдуютъ жалобы, эпически развитыя воспоминаніями: самъ Господь сослалъ Durendal Карлу, онъ опоясалъ имъ Роланда; имъ онъ завоевалъ Аижу, Бретань и т. д.

CLXXV. Роландъ ударилъ по спрому (bise) камню, откололь больше, чѣмъ я съумѣю вамъ разсказать. *Meiz скрипитъ, не сломался и не разбился* (L'esp e cruist, ne fruisset ne ne brise). — Новое обращеніе къ Durendal, въ его головкѣ заключены святыя мощи; многія страны покорилъ имъ Роландъ.

Три раза ударяетъ Роландъ по камню, то темному, то твердому, то сѣрому; если разумѣются три камня, то противорѣчія нѣть; такъ могъ понять редакторъ Оксфордскаго списка поэмы, гдѣ Карль, явившійся на поле битвы, узнаетъ удары Роланда на трехъ камняхъ (CCVIII). Но другіе списки этого стиха не знаютъ; хроника Псевдо-Турнира говорить о трехъ ударахъ (trino ictu), и мы можемъ поставить вопросъ: не разумѣется ли здѣсь одинъ и тотъ-же камень, съ разными обезличенными эпитетами, которыми пѣвцы орудовали свободно, какъ общими мѣстами, не имѣющими ярко-реального значенія и не вызывавшими у нихъ противорѣчія²⁾. Замѣтимъ кстати, что одинъ изъ эпитетовъ brune и bise могъ быть подсказанъ и ассоциативъ. Противорѣчіе и слѣды сознательной передѣлки видѣли (Pakscher) въ томъ, что въ строфѣ CLXXIII Роландъ поминаетъ былые под-

1) Перевожу согласно съ текстомъ G. Paris I. c.: que la mort fort l'arg e; въ оксфордскомъ спискѣ: la v ue a perdue.

2) Изъ истории эпитета I. c., стр. 187 слѣд.

виги, совершенные имъ съ помощью Durendal'я, чтò совершиенно въ духѣ героя и геронческой пѣсни, тогда какъ въ CLXXV говорится о моцахъ, заключенныхъ въ мечѣ — и эта черта обличаетъ, будто-бы, руку духовнаго лица, стало быть, рукописный вариантъ. Но вѣдь герои *chansons de geste* были и боевыми и благочестивыми людьми, одно не исключало другого въ пониманіи пѣвцовъ. Durendal зовется святымъ мечемъ, *saintisme*, по имъ завоеваны и многія страны; да и въ строфи CLXXIV говорится, что самъ Господь сослалъ его Карлу. Все это въ духѣ времени, одинъ изъ пѣвцовъ предпочелъ начать съ волнистенныхъ воспоминаний, другой присоединилъ священные, и то и другое объединилось, съ новыми подробностями, въ третьей строфи.

Строфа CLXXVI начинается съ того-же образа, что и первая изъ трехъ, посвященныхъ Durendal'ю (CLXXIII, *Ço sont Rollanz lavéue a perdue*): чувствуетъ Роландъ, что смерть его захватила (*Ço sent Rollanz que la mort le trespresent*), и это повторяется и въ слѣдующей laisse CLXXVII: чувствуетъ Роландъ, что ему не долго жить (*Ço sent Rollanz de sun tens n'i ad plus*). Во всѣхъ трехъ строфахъ (CLXXVI—VIII), описывающихъ кончину Роланда, красной нитью проходятъ одни и тѣ-же образы: Роландъ лежитъ подъ сосновой, обратился лицемъ къ Испаніи, приносить покаяніе въ грѣхахъ, протягиваетъ къ небу свою рукавицу (символь вассальной вѣрности и преданности Богу). Во второй строфи есть движеніе впередь: ангелы спускаются къ умирающему, а послѣдняя прибавляетъ, что это былъ Гавріиль архангель, который и принимаетъ рукавицу изъ рукъ умирающаго.

Карль, явившійся слишкомъ поздно на выручку, причитаетъ падь Роландомъ CCXI: Другъ Роландъ, я вернусь во Францію, и когда буду въ Лаонѣ, въ моемъ покой, придутъ иноземцы изъ многихъ царствъ, спросить, гдѣ графъ-предводитель? (*Cum jo serai à Loün en ma chambre, De plusurs regnes vendrunt li hume estrange, Demanderunt ù est li quens cataignes?*). — CCXII: Другъ Роландъ, красный молодецъ, когда я буду въ Аix, въ

часовиѣ, придутъ люди спросить вѣстей (*Cum jo serai à Eis en ma chapele, Vendrunt li hume, demanderunt noveles*).—Аихъ былъ резиденцией Карла Великаго, Лаонъ резиденцией послѣднихъ Каролинговъ со времени Карла Простодушнаго; чередованіе того и другого названія показываетъ только, что въ пѣсенному преданію, изъ котораго вышла поэма о Роландѣ, оба города обобщились къ значенію — столицы; и тамъ и здѣсь Карль могъ ожидать одного и того-же вопроса.

Подсказываніемъ изъ общаго эпического запаса объясняются различныя заявленія Ганелона передъ его судьями въ двухъ слѣдующихъ *laisses*, CCLXXVIII—IX. Смерть Роланда — мое дѣло, говорить онъ въ CCLXXVIII, ибо Роландъ обидѣлъ его казной (*me forfist en or et en aveir*); я искалъ его смерти и гибели, но предательства тутъ не было (*Mais traïsun nule n'en i otrei*). Отвѣчаютъ французы: обѣ этомъ мы и станемъ держать теперь совѣтъ (*Or en tendrum cunseill*). Въ *laisse* CCLXXIX Ганелонъ по прежнему на судѣ: Роландъ возненавидѣлъ меня (*me coillit en haïr*), объясняетъ онъ, обрекъ на смерть и горе (то-есть, на посольство къ Марсилію); я открыто заявили свою вражду къ нему, Оливье и всѣмъ его товарищамъ; я отомстилъ, но предательства тутъ нѣтъ (*mais n'i a traïsun*). Отвѣчаютъ французы: пойдемъ на совѣтъ (*Respudent Francs: A conseill en irums*).—Оба объясненія соединимы, могли соединяться и въ преданіи.

Я не утверждаю, чтобы всѣ повторительныя *laisses* указанного типа восходили къ древней пѣсенной амебейности, отразившейся позднѣе въ *chansons de geste*. Иныя изъ нихъ могутъ быть объяснены интерполяціями слагателей поэмъ, вставками переписчиковъ, пѣсennыми варіантами жонглеровъ, попавшими въ запись; строфы XLII—III пѣсни о Роландѣ, каждая по 13 стиховъ, почти дословно повторяютъ другъ друга, лишь на разные ассонансы, и обѣ представляютъ развитіе вопроса, поднятаго въ XLI-й.— Гипотеза, которую я предлагаю, опирается на сравненіе тѣхъ лирическихъ строфами, которыя, зарождаясь эксиромтомъ, въ чередованіи двухъ или пѣсколькихъ пѣвцовъ,

могли спѣваться и подъ-рядъ, вѣкъ момента ихъ амебейнаго про-исхожденія. Я лишь перепону этотъ приемъ на эпической пѣсни; когда антифонизмъ уступилъ мѣсто единоличному исполненію, можетъ быть, и ранѣе, когда цѣвцу приходилось пѣть одному, онъ повторялъ при случаѣ характерныя парные *laisses*, зародившіяся въ парномъ-же исполненіи, могъ присочинять и новыя подъ-стать, — и это былъ путь, по которому амебейное повтореніе изъ естественнаго стало искусственнымъ, общимъ мѣстомъ, тогда какъ талантливый слагатель могъ воспользоваться имъ въ цѣляхъ психологического анализа или эпической ретардаціи.

Явленія припѣва (*respos*, то-есть, отвѣтъ въ провансальскихъ плясовыхъ пѣсняхъ), анафоры, климакса, палиологіи, захватовъ изъ строфы въ строфу и повтореній — все это объясняется изъ принципа древнаго хоризма и амебейности, и все это является уже на почвѣ народной лирики, средствомъ подчеркнуть настроение. Таково впечатлѣніе *refrain* въ сѣверныхъ балладахъ и французскихъ пѣсняхъ; именно частое отсутствіе содержательной связи между пѣснею и *refrain*, иногда заимствованного изъ другой пѣсни, указываетъ на его обобщившееся значение. И здѣсь не лишнимъ будетъ напомнить, что *наше* эстетическое впечатлѣніе бываетъ обманчиво, и мы часто настраиваемся невпопадъ. Былина о Соловѣ Будимировичѣ у Кирши вовсе не вызываетъ своимъ содержаніемъ чудеснаго запѣва, въ которомъ чувствуется столько широты и приволья:

Высота-ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота окіанъ море;
Широко раздолѣ по всей земли,
Глубоки омыты Днѣпровскіе.

Въ основѣ — это развитая формула параллелизма, столь обычнаго въ народной поэзіи: Соловей щахъ въ Кіевъ, Днѣп-ромъ; оттуда: глубоки омыты Днѣпровскіе, параллель: глубота океанъ-море. Въ варіантѣ у Рыбникова I, 54 = Гильф. № 53 формула запѣва осталась, непонятая, вмѣсто Днѣпра — помор-ская страна, Бѣлоозеро; и всему дань комической оборотъ. — Эго

бросаеть свѣтъ на появленіе въ пѣсняхъ по крайней мѣрѣ пѣкоторыхъ припѣвовъ, виѣ связи съ ихъ содержаніемъ: въ началѣ дѣло могло идти о такой же формулѣ параллелизма. Въ малорусской поэзіи еще прозраченъ символъ воды, которую замутили 296 гуси, гдѣ купались голуби; на такое-же содержаніе указываетъ refrain французской пѣсни XVII-го вѣка: *J'ai vu un cerf du bois sailly — Et boire à la fontaine*¹⁾. Впослѣдствіи значеніе формулы было забыто, а пристрастіе или привычка къ ней осталась и восполнялась случайно, по созвучію съ настроениемъ.

Въ пору личной, художественной лирики все это очутится стилистическимъ приемомъ, отвѣчающимъ музыкальному Leitmotiv. Примѣры излишни; припомню хотя-бы Гейневское: *Ja, du bist elend und ich grolle nicht* (*Buch der Lieder*), или у Фета I, № XXXVII: И тебѣ не грустно? И тебѣ не томно? . . . И тебѣ не томно? И тебѣ не больно? — То-же и въ прозѣ, въ разсказахъ Додѣ, у D'Annunzio и др. Я хотѣль лишь указать, какъ формы, зародившіяся въ связи съ простѣйшими выраженіями психики (первоначальный refrain, какъ восклицаніе, звукоподражаніе, синтаксическая координація) и механизмомъ пѣсенного исполненія (хоризмъ, амебейность), послѣдовательно переходили къ значенію художественныхъ.

IV.

Древнєе амебейное исполненіе или и сложеніе эпическихъ пѣсень предположено мною по аналогіи съ лирическими; фактическихъ основаній для этой гипотезы немногого, и они разбросаны на далекомъ пространствѣ. Оттого я и не привожу ихъ въ порядкѣ хронологіи, а группирую содержательно, въ примѣненіи къ моему построенію; новый матеріаль и указанія специалистовъ могутъ его измѣнить, или и отмѣнить.

1) Jeanroy, I. c., стр. 162, прим. 3.

Эпическая пьесня поется вдвоемъ. Скrs. kicilava — рапсодъ, актеръ; kauçilavya — профессія рапсода, актера; по kicilava означаетъ также: Kuça и Lava, братьевъ близнецовъ, сыновей Ситы и Рамы, учениковъ Вальмики. Разсказывается въ началѣ Рамаяны, что когда Вальмики ее кончилъ, сталъ раздумывать, кто будетъ ее пѣть по свѣту; тутъ подошли къ нему, въ одѣждѣ отшельниковъ, двое прекрасныхъ, благородныхъ юношей, Kuça и Lava, и обняли его колѣни; имъ онъ и передалъ свою поэму, дабы они пѣли ее вмѣстѣ.

Пьесни на одинъ сюжетъ слагаются и поются другъ за другомъ несколькими пѣвцами. Кабардинскіе гегуако, бродячіе пѣвцы, еще недавно являлись на народныхъ собраніяхъ, праздникахъ и тризнахъ, прославляя современныхъ героевъ, воспѣвая и древнихъ. Умираль-ли человѣкъ, уважаемый за мудрость и храбрость, народъ собирался | на его могилѣ, приглашалъ нѣсколькихъ гегуако и просилъ ихъ сложить пѣсню про умершаго на память потомству. Въ такихъ случаяхъ одинъ изъ гегуако брался воспѣть одну сторону дѣятельности покойнаго, другой другую и т. д. Послѣ этого гегуако на нѣкоторое время удалялись отъ свѣта въ безлюдныя, уединенные мѣста и, ведя тамъ самую тихую жизнь, слагали свои пѣсни. По истеченіи нѣкотораго времени они объявляли объ окончаніи своей работы, и тогда народъ стекался со всѣхъ сторонъ на опредѣленное мѣсто, куда являлись и гегуако. Одинъ изъ нихъ всходилъ на возвышеніе среди толпы и пропѣвалъ сначала только голосовой мотивъ пѣсни, ударяя при этомъ харсомъ; настроивъ свой голосъ подъ харсъ, онъ пропѣвалъ свою пѣсню, за нимъ другой, и такъ до послѣдняго¹⁾.

Эпическія пьесни исполняются (и слагаются) антифонически. *Уποδέχεσθαι μέλος* означаетъ: принять отъ пѣвца пѣсню съ цѣлью продолжать ее, подхвативъ (Aesch. Suppl. 1023). См.

1) Матеріалы для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа, вып. I, отд. 2: Урусбіевъ, сказанія о нартскихъ богатыряхъ у татаръ-горцевъ Пятигорскаго округа Терской области стр. IV—VI; Разысканія № VII, стр. 218—19.

выше: τὸ δέ γε εσθαι τὰ σκόλια. Въ этомъ смыслѣ можно понять и II. IX 189 слѣд.: играя на Формингѣ, Ахилль

ἄειδε δ' ἄρχ κλέαν ἀνδρῶν.
Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐνάντιος ἦστο σιωπῆ
δέγμενος Λίακιδην ὅποτε λῆξειεν ἀειδῶν,

т. е. ожидая, пока онъ доноетъ, чтобы подхватить пѣсню о славныхъ мужахъ.

Интересно въ нашемъ смыслѣ, несмотря на свою отрывочность, показаніе Alberico da Rosciate въ его комментаріи па Божественную комедію¹⁾: объясняя слово Comedia, онъ говоритъ о комедахъ, то есть жонглерахъ: они до сихъ поръ водятся у насъ, особенно въ области Ломбардіи, поютъ въ ритмахъ про дѣянія великихъ властителей, при чемъ одинъ поетъ (ставить вопросъ?), другой отвѣчаетъ (Isti adhuc sunt in usu nostro, et apparent maxime in partibus Lombardiae aliqui cantatores, qui magnorum dominorum in rithmis cantant gesta, unus proponendo, aliis respondendo). «Дѣянія великихъ людей», повидимому, исключаютъ лирическое содержаніе пѣсни; можетъ быть, дѣло идетъ о тенцонахъ на современные политическія события, — или же имѣются ввиду тѣ франко-итальянскіе cantatores, которые пѣли на площадяхъ о сюжетахъ французского эпоса, чередуясь? Они пѣли | обѣ одномъ и томъ же мотивѣ, фактическая сторона пѣсни 298 была общая, по подробности и стилистической мелочи, развивающія одно и то же положеніе, моглѣ быть разныя; одинъ пѣвецъ восполнялъ другого, отправляясь отъ его положенія или стиха и доказывая по своему. Мы возвращаемся къ гипотезѣ, высказанной выше по вопросу о французскихъ couplets similaires.

Амебейное исполненіе, на этотъ разъ, унаследованныхъ эпическихъ пѣсень сохранилось въ пѣніи финскихъ рунъ, по въ чертахъ архаического переживанія. Пѣвцовъ двое; запѣвало и вто-

1) Fiammazzo, Il commento dantesco di Alberico da Rosciate (Bergamo 1895). Сл. отчетъ D'Ancona'ы въ Rassegna bibliografica III, № 11—12, стр. 285.

рящій ему, тогъ, кто крутитъ и вьеть струну пѣсни, спѣтой первымъ; *säistäja* отъ *säistää*: вить веревку или шнуръ, какъ и у грековъ существовало аналогическое выражение: *σχοινευης ἀοιδη*: длинная, строфическая пѣсня.— Оба пѣвца сидятъ рядомъ или другъ противъ друга; касаясь колѣнами, схватившись руками и слегка покачиваясь, они поютъ; запѣвало пропѣвается первый стихъ и нѣсколько болѣе половины втораго; тутъ присоединяется къ нему вторяцій и затѣмъ повторяется, уже одинъ, первый стихъ.— Такъ поютъ и самоѣдскіе шаманы: первый бьетъ въ барабанъ и поетъ нѣсколько стиховъ, большою частью импровизованныхъ, на мрачную, унылую мелодію; второй подхватывается, и они поютъ вмѣстѣ, послѣ чего второй повторяетъ уже одинъ спѣтое первымъ¹⁾). Финскія руны поются въ запуски для испытания, у кого память сильнѣе; первый изъ пѣвцовъ, у кого запасъ изсякъ, выпускаетъ руки товарища; никто не былъ въ состояніи схватиться за руки съ Вейнемейненомъ, говорится въ Калевалѣ.

Въ такой амебейности пѣсня могла не только пѣться, но и слагаться при особыхъ обстоятельствахъ, возможныхъ въ героическомъ быту. Происходятъ битвы, идутъ пограничныя стычки, враждуютъ и мирятся, чувство народнаго самосознанія вырастаетъ рядомъ съ культомъ героя, взглазя, чей бы онъ ни былъ, свой или чужой. Одно и то же событие вызываетъ въ разныхъ лагеряхъ разную оценку, нерѣдко пораженіе представляется побѣдой. Русскій военный уполномоченный въ Черногоріи, полковникъ Боголюбовъ, въ ночь своей поѣздки въ Цетинье, слышалъ одного гусяря въ передовомъ черногорскомъ шанцѣ въ Тербишѣ, воспѣвшаго события изъ осады Никшича черногорцами. И въ то же время изъ турецкаго шанца было слышно, какъ 299 почти тѣ же события воспѣвались гусяромъ въ Никшичѣ. Одинъ понималъ другого, и по временамъ они отвѣчали другъ

1) *Comparetti*, Der Kalevala, стр. 65—66; *Rillson*, Folk Songs comprised in the Finnsch Kalewala, въ Folk-Lore v. VI, № 4, стр. 320—321; *Steenstrup*, I. c., стр. 72 слѣд.

другу въ своихъ пѣсняхъ¹⁾). Изъ такой «войны гуслировъ» могла выработатья и распространиться одна пѣсня, съ вариантами и повтореніями, въ которой противоположности освѣщенія были не опущены или сглажены.

Пѣтъ и сказываютъ (*singen und sagen, dire et chanter*). Можетъ быть, мы вправѣ привлечь къ вопросу и пѣкоторыя пѣсни стихотворной Эдды. Я имѣю въ виду не тѣ пѣсни, гдѣ принципъ діалога опредѣленъ содержаніемъ: приемъ въ мудрости, напоминающимъ антифонизмъ народной пѣсни съ такимъ же иногда матерьяломъ загадокъ, а пѣсы эпической, гдѣ повѣстовательная канва изложена въ діалогѣ дѣйствующихъ лицъ. Не распредѣлялись-ли эти партіи между отдѣльными пѣвцами? Въ норвежскихъ *stef*, амебейшъ характеръ которыхъ отмѣченъ быть выше, встрѣчаются порой мотивы старыхъ эпическихъ пѣсень, напримѣръ, саги о Сигурдѣ.

Къ другому смежному вопросу даетъ поводъ слѣдующая особенность изложения пѣкоторыхъ пѣсень стихотворной Эдды, напримѣръ *Skírnísþor*, *Grímnismal*, *Völundarkviða* и др.: они состоять изъ коротенькихъ партій въ прозѣ, вводящихъ въ стихотворный діалогъ или перемежающихъ его. Въ началѣ *Skírnísþor* разсказывается прозой, какъ однажды Фрей возсѣлъ на престолъ Одша и, обозрѣвая весь міръ, увидѣлъ въ области йотуповъ красавицу Герду и заболѣлъ по ней душой. Его отецъ Ніордъ посыпаетъ къ нему его служителя Скирии, спросить, что съ нимъ. Слѣдуетъ далѣе, ужъ въ стихотворной формѣ: разговоръ Скади (матери Фрея) съ Скирии, бесѣда съ нимъ Фрея; мы узнаемъ, что Скирии собирается и бѣдетъ въ Йотунгеймѣ. Нѣсколько строкъ прозой сообщаютъ памъ, какъ онъ доѣхалъ до двора Гими (отца Герды), до тына, у которого привязаны были два злыхъ пса, вступилъ въ разговоръ съ пастухомъ. Этотъ разговоръ и слѣдующая бесѣда Скирии съ Гердой изложены въ стихахъ и т. д.

1) *Московскія Вѣдомости* 1877 г., Авг. 13, № 201.

Мюлленгофъ выразилъ мнѣніе¹⁾, что пѣсни Эдды, которыя послѣдовательно провели стихотворную форму, лишь переложили въ строфы болѣе древнія прозаической партіи; Schröder²⁾ видѣтъ въ смѣшаніи стиха и прозы признакъ древнѣйшаго, праисторического стиля, далеко предшествовавшаго появленію эпоса; 300 Koegel³⁾ считаетъ его прагерманскимъ и даже арійскимъ: наблюденія Ольденберга надъ нѣкоторыми гимнами Ригведы⁴⁾, которые считали фрагментарными, доказали, что они дополнялись разсказомъ въ прозѣ; Koegel обобщаетъ это явленіе въ связи съ культомъ: въ поэтическую форму облекались лишь діалогъ и пѣкоторые выдающіеся эпизоды дѣйства, остальное дополнялось жрецъ въ прозаическомъ изложеніи.

Это чередованіе, напоминающее такое же чередованіе экзарха и хора въ древне-греческомъ дионізіумѣ, могло оставаться и позднѣе формой эпического изложенія, вѣнчавшіи обрядомъ и культомъ. Въ этомъ смыслѣ понимаетъ Шрѣдеръ значеніе средневѣковой нѣмецкой формулы для эпического сказа: *singen und sagen*. Иначе Koegel⁵⁾: древне-франкскія пѣсни, говорить онъ, были строфическія, восполнявшіяся разсказомъ въ прозѣ; готскіе пѣвцы ввели эпическую пѣснь связную, безъ строфъ; ихъ-то изложеніе и характеризуется понятіемъ *singen, siggwan*, не *canere*, а *recitare*, сказывать на распѣвѣ. Но что-же дѣлать съ *sagen*? Тавтологія-ли это съ *singen*, или отзвукъ старого чередованія стиховъ и прозы, сохранившейся лишь въ формулѣ?

Такъ или иначе, это чередованіе, засвидѣтельствованное напримѣръ для древне-римской сатуры, является довольно распространеною формой эпического изложенія, хотя каждая изъ

1) Zs. f. deutsch. Alterth. XXIII стр. 151 слѣд.

2) Schröder, Ueber das Spell, ib. XXXVII, стр. 241 слѣд.

3) Koegel, Gesch. d. deutschen Litteratur bis zum Ausgange des Mittelalters 1-er B., 1-er Theil, стр. 97 слѣд.

4) Oldenberg, Das altindische Akhyâna, Zs. d. deutsch. morgenländ. Gesellschaft XXVII, стр. 54; Akhyâna-Hymnen im Rigveda, ib. XXXIX, стр. 52 слѣд.

5) I. c. стр. 130, 143.

относящихся сюда группъ фактovъ подлежить особому анализу и объясненію, ибо формально сходныя явленія коренятся иногда въ источникахъ совершенно разнородныхъ. Древне-бретонскіе пѣвцы предполагали своимъ *lais* разсказъ, объяснявшій ихъ содержаніе¹⁾; на французской народной свадьбѣ такое же объясненіе предшествуетъ каждому куплету²⁾. Съ другой стороны такъ называемыя русскія побывальщины, гдѣ стихотворныя части перемежаются пересказомъ въ прозѣ, представляютъ разложеніе или забвѣніе первыхъ, причемъ запамятованное излагается пѣвцомъ отъ себя, иногда съ обрывками стиха и въ конструкціи, въ которой еще отзываются и размѣръ и формулы бывшаго склада. Не предположить ли подобный же процессъ и для нѣкоторыхъ пѣсенъ стихотворной Эдды, что удалило бы, по отношенію къ нимъ, гипотезу прагерманской древности? — Сходное, повидимому, явленіе представляеть ирландскій эпосъ, одинъ изъ древнѣйшихъ европейскихъ — по записи: разсказъ идетъ въ прозѣ, перемѣшанный съ эпизодами въ стихахъ; это либо діалогъ, 301 либо отдельное стихотвореніе, рѣчь дѣйствующаго лица, введенная въ разсказъ формулой: «тогда сказалъ», или «тогда за-пѣлъ» такой-то. Въ стихахъ изложены главнымъ образомъ лирическіе и драматическіе элементы легенды, говоригъ Виндишъ, передъ нами какъ бы начало ея поэтической обработки³⁾. Если я вѣрно понялъ слова автора, то стихотворныя царти не пересказать соотвѣтствовавшихъ прозаическихъ, а тѣ и другіе возникли совмѣстно и разница формы обусловливалаась содержаніемъ. Кара-киргизскій *Akyn* (пѣвецъ) выражаетъ ее двумя мелодіями: одна въ скоромъ темпѣ для разсказа, другая — медленный, торжественный речитативъ для діалога⁴⁾.

1) *G. Paris, La littérature française au moyen âge*, 2 éd., стр. 91.

2) *Romania*, № 44, стр. 584—585.

3) *Revue Celtique* t. V, стр. 70 слѣд. Сл. о томъ же стилистическомъ явленіи ib. стр. 364; IX, стр. 14, 448; XII, стр. 318, 319; XIII, стр. 32.

4) *Radloff, Proben V, Vorwort*, стр. XV—VI.

Въ другихъ ирландскихъ текстахъ этотъ распорядокъ производить иное впечатлѣніе: поэтическія партіи просто пересказываютъ предшествующія прозаическія. Ирландская пословица: сказъ безъ пѣсни, объясняется изъ такого чередованія, какъ обычаго; Whitley Stokes'у оно напомнило подобный же распорядокъ въ полинезійскихъ сказкахъ и въ памятникахъ буддійской литературы; пенджабскія легенды, записанныя Темплемъ¹⁾, представляютъ такую же смѣну прозы и стиховъ, при чемъ для пѣкоторыхъ легендъ (например, приключенія раджи Расалу) существуютъ двѣ версіи: одна смѣшанная, другая стихотворная; прозаическая часть изложена общимъ литературнымъ языкомъ (урду), стихотворная болѣею частью на мѣстныхъ діалектахъ, съ архаическими формами. Если, говоря объ аналогическомъ явлениі въ Эддѣ, Мюлленгофъ склонялся на сторону первой, какъ болѣе древней, то Темплъ заключаетъ паоборотъ, что прозаическія партіи вышли изъ стихотворныхъ. Онъ, впрочемъ, считаетъ возможнымъ и другое рѣшеніе, котораго я коснулся, говоря о нашихъ побывальщинахъ: пѣвецъ (часто руководящійся записью) не все помнилъ однажды и прибѣгалъ къ разсказу въ прозѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда память стиха измѣняла. Стихотворныя партіи вводятся иногда формулой: онъ такъ сказалъ; сообщаютъ какое-нибудь нравственное изреченіе, либо назначены вызвать смѣхъ; часто ихъ содержаніе ничѣмъ не отличается отъ изложенного въ прозѣ, но порою они идутъ съ неї въ разрѣзъ, тѣмъ не менѣе повторяясь изъ поколѣнія въ поколѣніе²⁾.

302 Это подготовило насъ къ оценкѣ своеобразной формы *Aucassins et Nicolette*, поэтической старо-французской сказки начала XIII вѣка. Мѣсто ея дѣйствія — южная Франція и Африка (Карлагенъ) и еще какое-то тридесятное государство Torelore, гдѣ ко-

1) *Temple, Legends of the Panjâb*, v. I. Preface, VII; сл. отчетъ Barth'a въ Mélusine II, стр. 364—365.

2) Въ татарской сказкѣ «Молла-Касумъ» прозаический разсказъ по манерѣ, усвоенной пѣвцами-сказателями, чередуется съ короткими пѣснями (Сборникъ для опис. мѣстност. и племенъ Кавказа, XIX, отд. 2-ой).

роль держится обряда кувады, царица ходить на войну, гдѣ сражаются свѣжимъ сыромъ, печеными яблоками и грибами. Имя главнаго дѣйствующаго лица Aucassins напоминает арабское al-Kâsim; предположить ли для повѣсти византійскія литературные вліянія — это я оставляю подъ сомнѣніемъ¹⁾.

Начинается она стихотворнымъ обращенiemъ:

1) Кто хочетъ послушать хорошей пѣсни, какъ любилъ ее старый плѣнникъ? пѣсни о двухъ прекрасныхъ дѣтяхъ, Николеттѣ и Окассенѣ, какія великия напасти онъ вынесъ, какіе храбрые подвиги совершилъ для своей милой съ бѣлосѣжнымъ лицомъ. Сладкая эта писнь, хорошъ разсказъ . . .

Qui vauroit bons vers oïr
Del deport du viel caitif,
De deux biaux enfans petis,
Nicolete et Aucassins,
Des grans paines qu'il soufri
Et des proueces qu'il fist
Por s'amie o li cler vis?
Dox est li cans biax li dis...

Послѣдний стихъ указываетъ на распорядокъ изложенія: чредуется разсказъ въ прозѣ подъ заглавиемъ: *Or dient et content et fablent* или: *or dient et content* (Теперь сказываютъ-разсказываютъ) — съ стихотворнымъ отдѣломъ, надписанымъ: «*Or se cante* (Теперь поютъ»); оттуда и название повѣсти: *cantefable* (въ концѣ: *No cantefable prent fin, n'en sai plus dire*).

Въ первомъ прозаическомъ отдѣлѣ 2) разсказывается о томъ, какъ валенскій графъ Bougars воевалъ съ Garin, графомъ Бокера. Garin старъ и слабъ; у него сынъ красавецъ Aucassins;

1) Слѣдующѣе цитаты сдѣланы по *Aucassins und Nicolette*, neu nach der Handschrift von Germann.... Suchier, 2 Aufl. Сл. G. Paris, Romania № 114, p. 288 (по поводу 4-аго издания Suchier, Aucassin & Nicolette (Paderborn, Schöning, 1893): въ ркп. стоитъ не *caitif*, а *antif*; Schultz предлагаетъ читать *d'un viel natif*; онъ сравниваетъ *vious antiz*, название Роландова коня у Филиппа Monsquet, — но G. Paris предпочитаетъ *veillantif*=*vigilantivum* (см., Arch. f. das Stud. d. neueren Sprachen CII 224. Сл. Изъ истории эпитета).

всѣмъ хорошъ, развѣ то не ладно, что онъ поддался всепобѣждающей любви, почему и не хотѣлъ ни стать рыцаремъ, ни взяться за оружіе. Отецъ и мать убѣждаютъ его выйти на защиту своей земли, на помощь своимъ. Къ чему говорить объ 303 этомъ? отвѣчаетъ онъ отцу: | когда я стану рыцаремъ на конѣ и выйду на бой или въ битву, гдѣ буду поражать рыцарей, а они меня, пусть Господь не внемлетъ моей молитвѣ, если вы не отдадите за мене Николетту, мою милую, которую я такъ люблю.— Не дѣло это, говорить отецъ, оставь Николетту, это полонянка, приведенная изъ чужой земли, купилъ ее виконтъ этого города отъ сарацинъ, воспріялъ ее и крестилъ и удочерилъ и вскорѣ дастъ ей мужа, который будетъ честно доставать ей хлѣбъ. Тутъ тебѣ дѣлать нечего; коли хочешь жениться, я дамъ тебѣ вѣжены дочь короля или графа. Увы, отецъ мой! отвѣчаетъ Aucassins, всѣхъ почестей на землѣ мало для Николетты: таково ея благородство и привѣтливость и доброта и всякия хорошия качества!

Примыкающій къ этому эпизоду стихотворный отрывокъ 3) резюмируетъ главное содержаніе предыдущаго: Aucassins былъ изъ Бокера, изъ прекраснаго замка; отъ красавицы Николетты никто не можетъ отвлечь его, а отецъ не пускаеть, мать грозится: Чего ты хочешь, дурень! Николетта, красавая, веселая, была похищена въ Кареагенѣ, куплена отъ саксонца. Коли хочешь жениться, возьми жену изъ высокаго рода.— Но Aucassins не можетъ отвязаться отъ Николетты, ея красота освѣщаетъ его сердце; онъ такъ и отвѣчаетъ матери. — Саксонецъ (Saisne) стоить вмѣсто сарацина: это обычное смѣщеніе во французскомъ эпосѣ; въ концѣ разсказа Николетта дѣйствительно оказывается дочерью кареагенскаго короля.

Дѣйствие подвигается въ прозаическомъ эпизодѣ № 4: Garin боится за сына, говоритъ о томъ пріемному отцу Николетты и грозитъ сжечь ее. Отецъ отвѣчаетъ въ выраженияхъ № 2: я купилъ ее на свои деньги, воспринялъ и крестилъ и удочерилъ и хотѣлъ было дать ей мужа, который честно бы зарабатывалъ ей хлѣбъ. Тѣмъ не менѣе онъ запираетъ ее во дворцѣ, въ комнатѣ,

дверь которой запечаталъ. Слѣдующій стихотворный отдѣлъ 5) начинается съ того же напоминанія: Николетта посажена въ тюрьму, въ комнатѣ со сводами; онъ сѣтуетъ. № 6 открывается тѣмъ же: Николетта была въ тюрьмѣ, въ комнатѣ, какъ вы слышали — уразумѣли. Aucassins приходитъ къ пріемному отцу Николетты, спрашиваетъ: что онъ съ нею сдѣлалъ? Тотъ отвѣчаетъ какъ въ №№ 2 и 4: она полонянка, я привезъ ее изъ чужой земли; купилъ на свои деньги у сарацинъ, воспринялъ и т. д.; Aucassins никогда ее не увидѣть — и юноша удаляется, печальный, отъ вицграфа. «Aucassins вернулся, печальный и убитый» — такъ начинается № 7, стихотворный; слѣдуютъ сѣтованія влюбленнаго (Nicolete, biax ester,— biax venir et biax alers,— biax deduis et dous parler и т. д.), повторяющіяся, съ измѣненіями, 304 въ № 11.— № 8: новое нападеніе графа Bougar'a и новыя просьбы отца Aucassins'у — принять участіе въ битвѣ. Сынъ отвѣчаетъ какъ въ № 2 (когда я стану рыцаремъ на конѣ и выйду на бой или битву и т. д.) и соглашается лишь на условіи: если Господь вернетъ меня живымъ и здоровымъ, дайте мнѣ настолько повидать Николетту, мою милую, чтобы мнѣ сказать ей два-три слова и разъ поцѣловать. Огецъ соглашается: № 9 (стихотворный) ведеть разсказъ далѣе: Aucassins вооружается, въ отдѣлъ 10 (въ прозѣ) на это указано вкратцѣ; Aucassins одержалъ побѣду и напоминаетъ отцу объ его обѣщаніи въ выраженияхъ № 8.

И далѣе характеръ чередованія разны: стихотворныя партіи служатъ лирическимъ изліяніемъ (№ 13), выходящимъ изъ дѣйствія, либо его продолжаютъ (№ 15, 17); проза подхватываѣтъ стихи, напримѣръ въ №№ 19 (конецъ) и 20 (начало: Николетта устраиваетъ себѣ павильонъ изъ цветовъ, травы и вѣтвей), либо наоборотъ, напримѣръ въ описаніи сказочной битвы: № 30 (въ прозѣ): король сѣлъ на коня, Aucassins на своего; поѣхали они, пока не прибыли къ мѣсту, где находилась королева, и увидѣли битву — борьбу печеными яблоками, яйцами и свѣжимъ сыромъ. Aucassins принялъ смотрѣть на тѣхъ людей и дался диву.—

№ 31 (стихи): Aucassins остановился, оперся на луку седла и
стал смотреть на общий бой: они привнесли много свежихъ сы-
ровъ, печеныхъ лесныхъ яблоковъ и большихъ полевыхъ гри-
бовъ. Кто изъ нихъ всего больше замутит броды, того и про-
возглашаютъ победителемъ. Храбрый, мужественный Aucassins
стал глядѣть на нихъ и разсмѣялся.

За вычетомъ тѣхъ обычныхъ эпическихъ повторений, кото-
рыя въ разныхъ мѣстахъ рассказа отвѣчаютъ повторенію того же
дѣйствія, остаются повторенія другого рода, съ захватами изъ
отдѣла въ отдѣль, напоминающими пріемы couplets similaires,
съ тою разницей, что дѣло идетъ о чередованіи стиховъ и прозы.
Интересенъ вопросъ: одни-ли и тѣ же лица сказывали и пѣли,
или пѣло одно лицо, сказывало другое; надписаніе: or dient et
content et fablent едва-ли говорить за многихъ разсказчиковъ,
тогда какъ or se cante можетъ быть понято и въ единственномъ
и во множественномъ числѣ. Приведенные выше примѣры чере-
дованія прозы и стиховъ ничего не разъясняютъ въ этомъ отно-
шении, какъ и встрѣчающееся въ старо-французской литературѣ
выраженіе: dire et canter = singen und sagen.

Интересно было бы провѣрить фактъ, отмѣченный Barrois,
что въ одной рукописи Энепды X вѣка рѣчи дѣйствующихъ лицъ
305 сопровождаются музыкальной нотацией. Предполагали, быть мо-
жетъ, что эти части пѣлись, разказать въ третьемъ лицѣ читался,
но и сказывался? ¹⁾.

Для хронологіи эпическихъ повторений мы намѣтили не-
сколько моментовъ: древнее исполненіе хоромъ, съ чередованіемъ
хора и запѣвалы или запѣваль; чередование двухъ хоровъ; анти-
фонизмъ при двухъ или несколькиихъ пѣвцахъ; личное исполненіе.
Повторенія французского типа развились на стадіи антифонизма,
на ней именно и застала ихъ запись и обработка древнихъ chan-

1) La chevalerie Ogier de Danemarche éd. Barrois, I, Préface, стр. LI (изъ ру-
кописи собрания Libri).

sons de geste; въ Chansons de Roland лиризмъ еще сильно подчеркнуть. Въ эпоху личного исполненія такія повторенія становились лишними, и въ эпической пѣснѣ, отвѣчающей этой порѣ развитія, преобладаютъ повторенія спорадическая, какъ напримѣръ въ греческомъ и славянскомъ эпосахъ; вмѣсто амебейности или парности — loci comunes.

Этотъ хронологическій расчетъ, разумѣется, приблизительный, не считающійся съ возможностью историческихъ вліяній, напримѣръ, записенія пѣсенъ, находящихся на болѣе прогрессивной стадіи развитія, въ среду, застывшую въ древнихъ формахъ пѣсенного исполненія.

Древность рукописи или версіи, показанія языка и метрики, историческая и бытовыя подробности текста — вотъ пріемы, служащіе критикѣ средневѣковыхъ эпическихъ и вообще поэтическихъ текстовъ. Не лишнимъ критеріемъ являются, по моему мнѣнію, и наблюденія въ исторіи стиля, тѣмъ болѣе, что здѣсь границы изученія могутъ быть раздвинуты и развитіе поэзіи записанной или литературной провѣрено поэзіей народной, развившейся въ другихъ, въ болѣе свободныхъ условіяхъ. Я полагаю, что не только исторія эпитета¹⁾, но и исторія повтореній, поставленная возможно широко, послужитъ хронологіи поэтическаго творчества тамъ, где другіе критеріи оказались бы недостаточными либо дали сомнительные результаты.

1) Сл. Изъ исторіи эпитета I. с.

1898.

Психологический параллелизмъ и его формы въ отраженіяхъ поэтическаго стиля¹⁾.

[Журналъ Мин. Нар. Просв. 1898 г., № 3, ч. CCXVI, от. 2, стр. 1—80] ²⁾.

I.

Человѣкъ усваиваетъ образы виѣшняго міра въ формахъ своего самосознанія; тѣмъ болѣе человѣкъ первобытный, не выработавшій еще привычки отвлеченнаго, небразнаго мышенія, хотя и послѣднее не обходится безъ извѣстной сопровождающей

1) Изъ чтеній по исторической поэтицѣ. Сл. *Журналъ Министерства Народного Просвещенія* 1894, № 5, отд. 2. (Изъ введенія въ историческую поэтику); 1895, № 11, отд. 2. (Изъ истории эпитета); 1897, № 4, отд. 2 (Эпическая повторенія, какъ хронологический моментъ).

2) Въ отдѣльн.-оттискѣ посвященіе: Аннѣ Михайловнѣ и Владиміру Осиповичу Шишмаревымъ, съ эпиграфомъ:

Слала зоря до місяця:
Ой, місяцю, товаришу,
Не заходь же ты раній мене,
Изїйдемо оба разомъ,
Освітимо небо и землю:...
Слала Марья до Иванка:
Ой Иванку, мій сужений,
Не сидай же ты на посаду,
На посаду раній мене,
Обсядемо обое разомъ,
Звеселимо отця и неньку.

и съ датой: Короваево, 29 Іюля 1897.

его образности. Мы невольно переносимъ на природу наше самоощущеніе жизни, выражющееся въ движениі, въ проявленіи силы, направляемой волей; въ тѣхъ явленіяхъ или объектахъ, въ которыхъ замѣчалось движение, подозрѣвались когда-то признаки энергіи, воли, жизни. Это міросозерцаніе мы называемъ анимистическимъ; въ приложеніи къ поэтическому стилю, и не къ нему одному, вѣрнѣе будетъ говорить о *параллелизмѣ*. Дѣло идетъ не объ *отождествленіи* человѣческой жизни съ природою и не о *сравненіи*, предполагающемъ сознаніе раздѣльности сравниваемыхъ предметовъ, а о *сопоставленіи* по признаку дѣйствія, движения: дерево хилится, девушка кланяется,— такъ въ малорусской пѣснѣ. Представленіе движения, дѣйствія лежитъ въ основе одностороннихъ опредѣленій нашего слова: одни и тѣ же корни отвѣчаютъ идеѣ напряженного движения, прониканія стрѣлы, звука и свѣта; понятія борьбы, терзанія, уничтоженія выражались въ такихъ словахъ, какъ *mors*, *mare*, *μάρναμαι*, *ném.* *mahlen*.

| Итакъ параллелизмъ покоятся на сопоставленіи субъекта и 2 объекта по категоріи движенія, дѣйствія, какъ признака волевой жизнедѣятельности. Объектами, естественно, являлись животныя; онѣ всего болѣе напоминали человѣка: здѣсь далекія психологическая основы животнаго аполога; но и растенія указывали на такое же сходство: и они рождались и отцвѣтали, зеленѣли и клонились отъ силы вѣтра. Солнце, казалось, также двигалось, восходило, садилось; вѣтеръ гналъ тучи, молнія мчалась, огонь охватывалъ, пожиралъ сущя и т. п. Неорганическій недвижущійся міръ невольно втягивался въ эту вереницу параллелизмовъ: онъ также жилъ.

Дальнѣйшій шагъ въ развитіи состоялъ изъ ряда перенесеній, пристроившихся къ основному признаку—движенію. Солнце движется и глядитъ на землю: у индусовъ солнце, луна—*илаз*; Soph. Ant. 860: *ἱερὸν ὅμιλα*; земля поростаетъ травою, лѣсомъ—*волосомъ*: у Гомера говорится о *χόμη* деревьевъ (сл. Bacch. 676: *πρὸς ἐλάτης... φόβην*, Eur. Hipp. 210: *ἐν κομῆτῃ λειμῶνι*); когда

гонимый вѣтромъ Агни (огонь) ширится по лѣсу, онъ скашиваетъ волосы земли; земля — невѣста Одина, пѣль скальдъ Hallfreðr (Hákonardrapa, до 968 г.), лѣсь — ея волосы, она — молодая, широколицая, лѣсомъ обросшая дочь Онара; «Vom Haare der Bäume troff Feuer auf mich» (Schubart, Der ewige Jude)¹⁾. — У дерева *кожа* — кора (инд.), у горы *хребетъ* (инд.; сл. греч. τράχηλος ὄρους; сл. еще харा, πεῦς, ράχης, κέρας — о горѣ), какъ и у моря (υῶτα θαλάσσης, αὔγην πόντου); *дерево пьетъ ногою* — *корнемъ* (инд.), его *спины* — *руки, лапы* (сл. Plin. brachia arborum; франц. branche, ит. branca; наоборотъ, въ Atlm. 63,2: палецъ на ногѣ = пожная вѣтка) и т. д.

Въ основѣ такихъ опредѣленій, отразившихъ наивное, синкретическое представлѣніе природы, закрѣпощенныхъ языками и вѣрованіемъ, лежитъ перенесеніе признака, свойственнаго одному члену параллели, въ другой. Это — *метафоры языка*; нашъ словарь ими изобилуетъ, но мы орудуемъ многими изъ нихъ уже безсознательно, не ощущая ихъ когда-то свѣжей образности; когда «солнце садится», мы не представляемъ себѣ раздѣльно самого акта, несомнѣнно живого въ фантазіи древняго человѣка: намъ нужно подновить его, чтобы ощутить рельефно. Языкъ поэзіи достигаетъ этого опредѣленіями, либо частичною характеристикой общаго акта, тамъ и здѣсь въ примѣненіи къ человѣку и его психикѣ. «Солнце движется, катится вдоль горы» — не вызываетъ у насъ образа; иначе въ сербской пѣснѣ у Караджича (I 742):

3

| Што се сунце по край горе *krade*?

(См. Daudet, L'évangéliste ch. VI: un parc immense grimpait la côte).

Слѣдующія картишки природы принадлежать къ обычнымъ, когда-то образнымъ, но производящимъ на насъ впечатлѣніе

1) (Трава — волосы) Сборн. Мат. для оп. мѣстностей и племенъ Кавказа, XVIII (татарскія дѣтскія пѣсни — «вызываю солнца», записанныя г. Йоскито-вымъ въ Елисаветпольской губ., стр. 73): «Солнце выходи.... пѣшивую дочь (зиму) оставь дома, Волосатую (весну) дочь запряги (наряди), выходи!»

абстрактныхъ формулъ: пейзажъ стелется въ равнинахъ, порой внезапно поднимаясь въ кручу; радуга перекинулась черезъ поляну; молния мчится, горный хребетъ тянется вдали; деревушка разлеглась въ долинѣ; холмы стремятся къ небу. Статься, мчаться, стремиться — все это образно, въ смыслѣ примѣненія сознательнаго акта къ неодушевленному предмету, и все это стало для насть — переживаніемъ, которое поэтическій языкъ оживить, подчеркнувъ элементъ человѣчности, освѣтивъ его въ основной параллели:

*Begaglich streckte dort das Land sich
In Eb'nen aus, weit, endlos weit.*

*Hier stieg es plötzlich und entschlossen
Empor, stets kühner himmeln*

(Lenau, *Wanderung im Gebirge*).

*Sprang über's ganze Haideland
Der junge Regenbogen*

(id. *Die Hadeschenke*).

*Doch es dunkelt tiefer immer
Ein Gewitter in die Schlucht,
Nur zuweilen über's Thal weg
Setzt ein Blitz in wilder Flucht*

(id. Iohannes Ziska).

*Fernhin schlich das hrage Gebirg, wie ein wandelnd Gerippe,
Streckt das Dörflein vergnügt über die Wiesen sich aus*

(Hölderlin).

*Der Himmel glänzt in reinstem Frühlingslichte,
Ihm schwillet der Hügel sehnsuchtvoll entgegen.*

(Möricke, *Zu viel*).

Равнина разостлалась уютно, молодая радуга перескочила черезъ поляну, тощий хребетъ крадется, словно ходячій скелетъ, а холмъ поднимается, растетъ, точно полный желанья, павстрѣчу весеннему небу. Параллель оживилась, наполнившись содержаниемъ человѣческихъ симпатій; у Гомера камень Сизифа — безжалостный (Od. II, 598).

Накопленіе перенесеній въ составѣ параллелей зависитъ отъ | 4) комплекса и характера сходныхъ признаковъ, подбиравшихся къ основному признаку движения, жизни; 2) отъ соотвѣтствія этихъ признаковъ съ нашимъ пониманіемъ жизни, проявляющей волю въ дѣйствіи; 3) отъ смежности съ другими объектами, вызывавшими такую же игру параллелизма; 4) отъ цѣнности и жизненной полноты явленія или объекта по отношенію къ человѣку. Сопоставленіе, напримѣръ, солнце = глазъ (инд. греч.) предполагаетъ солнце живымъ, дѣятельнымъ существомъ; на этой почвѣ возможно перенесеніе, основанное на вѣшнемъ сходствѣ солнца и глаза: оба свѣтятъ, видятъ. Форма глаза могла дать поводъ и къ другимъ сопоставленіямъ: греки говорили объ ὄφθαλμος ἀμπέλου, фонарь; у малайцевъ солнце = глазъ дня, источникъ = глазъ воды; у индусовъ слѣпой колодезь = колодезь, закрытый растительностью; французы говорятъ объ oeil d'eau; итальянцы объ отверстіяхъ въ сырѣ: occhio del formaggio.

Послѣднія сопоставленія не давали повода къ дальнѣйшимъ, частичнымъ перенесеніямъ, тогда какъ сопоставленіе «солнце — глазъ» смѣжно съ другими¹⁾: солнце и смотритъ, и свѣтить, и грѣеть, палитъ и скрывается (ночью, зимой, за тучами); рядомъ съ нимъ луна, вызвавшая такую же игру перенесеній и, далѣе, смежное развитіе двухъ параллелей при возможности обояднаго вліянія одной серии на другую. Или другой примѣръ: человѣкъ жаждетъ крови врача, жаждетъ ея хищный звѣрь, далѣе: копье, сабля: δοῦρα λιλαιόμενα χρός ἄστι (сл. II. XI, 574; XV, 542, сл. ib. VIII, 111 и IV, 126); bítat teim vapn né velir (Hávam. 146, 6); m'esp e meurt de faim et ma lance de soi; Pri pojasu sablja ožednjela, Poželjela krv od junaka. Эта жажда крови могла представиться роковой: таковъ разсказъ о мечѣ Ангантира, приносившемъ смерть всякой разъ, когда вынуть его изъ ноженъ; въ нашей повѣсти о Вавилонскомъ царствѣ мечъ Навуходоносора заложенъ въ городскую стѣну, заклять; когда царь

1) (Солнце — глазъ). Сл. греч. (солнце) πάνοπτης, παντόπτης.

Василій извлекъ его, опъ всѣхъ порубилъ и самому царю голову снялъ.

Далѣе подобнаго развитія идеѣ меча, жаждущаго крови, не-
куда было пойдти. Иную вереницу сопоставленій вызывало, на-
примѣръ, представлѣніе огня: у индійскаго Агни языкъ, челюсти,
ими онъ косить траву, но его значеніе болѣе сложное, чреватое
жизненными отношеніями, подсказывавшими новыя параллели:
огонь не только уничтожаетъ, но и живить, онъ податель тепла,
очиститель, приносится съ неба, его поддерживаютъ въ домаш-
немъ очагѣ и т. п. Оттого съ одной стороны сопоставленія оста-
новились на одной какой нибудь чертѣ, въ другихъ случаяхъ онъ
могли накопиться если не до цѣльного | образа, то до болѣе или 5
менѣе сложнаго комплекса, отвѣчавшаго первымъ спросамъ по-
знаванія. Мы зовемъ его *миоомъ*; такие комплексы давали формы
для выраженія религіозной мысли.

Если, какъ мы сказали выше, цѣнность и полнота выра-
жаемой объектомъ жизненности способствуетъ такому именно
развитію, то нѣть возможности предположить, чтобы оно изсякло
и остановилось: видимый міръ постепенно раскрывается для на-
шего сознанія въ сферахъ, казавшихся когда то нежизненными,
не вызывавшими сопоставленій, но теперь являющимися пол-
ными значенія, человѣчески суггестивными. Онъ также могутъ
вызвать сложеніе того комплекса жизнеподобныхъ признаковъ,
который мы назвали миоомъ; укажу лишь на описание паровоза
у Зола и Гаршина. Разумѣется, это сложеніе безсознательно
отольется въ формахъ уже упрочившейся миоической образности;
это будетъ *новообразованіе*, которое можетъ послужить не только
поэтическимъ цѣлямъ, но и цѣлямъ религіознымъ. Такъ въ но-
выхъ религіяхъ получили жизненный смыслъ символы и легенды,
въ теченіе вѣковъ вращавшіеся въ народѣ, не вызывая сопо-
ставленій, пока не объявился соответствующій объектъ, къ ко-
торому они примѣнились.

Указанныя точки зрѣнія заставляютъ осторожнѣе относиться
къ обычному приему анализа, усматривающаго въ поэтическихъ

образахъ продуктъ разложенія первичныхъ анимистическихъ со-
поставленій, отложившихъ въ метафорахъ языка и рамкахъ
миоа. Въ общемъ это вѣрно, но необходимо имѣть ввиду и воз-
можность новообразованій по присущему человѣку стремлению
наполнить собою природу по мѣрѣ того, какъ она раскрывается
передъ нимъ, вызывая все новые аналогіи съ его внутреннимъ
міромъ.

Возвращаюсь къ исторіи параллелизма — сопоставленія.

Когда между объектомъ, вызвавшимъ его игру, и живымъ
субъектомъ аналогія сказывалась особенно рельефно, или уста-
навливалось ихъ нѣсколько, обусловливая цѣлый рядъ перенесеній,
параллелизмъ склонялся къ идеѣ уравненія, если не
 тождества. Птица движется, мчится по небу, стремглавъ спу-
скаясь къ землѣ; молнія мчится, падаетъ, движется, живетъ: это
параллелизмъ. Въ повѣрьяхъ о похищеніи небеснаго огня (у
индусовъ, въ Австраліи, Новой Зеландіи, у сѣверо-американскихъ
дикарей и др.) онъ уже направляется къ отождествленію: птица
приноситъ на землю огонь-молнію, молнія == птица.

Такого рода уравненія лежать въ основѣ древнихъ вѣро-
ваній | о происхожденіи людскаго рода. Человѣкъ считалъ себя
очень юнымъ на землѣ, потому что былъ безпомощенъ. Откуда
взялся онъ? Этотъ вопросъ ставился вполнѣ естественно, и
ответы на него получались на почвѣ тѣхъ сопоставленій, основ-
нымъ мотивомъ которыхъ было перенесеніе на виѣшній міръ
принципа жизненности. Міръ животныхъ окружалъ человѣка,
загадочный и страшный; манила трепещущая тайна лѣса, сѣдые
камни точно выростали изъ земли. Все это, казалось, старо, давно
жило и правилось, довѣря самому себѣ, тогда какъ человѣкъ
только что начиналъ устраиваться, распознавая и борясь; за нимъ
лежали болѣе древнія, сложившіяся культуры, но онъ самъ по-
шелъ отъ нихъ, потому что вездѣ онъ видѣлъ или подозрѣвалъ
вѣяніе той же жизни. И онъ представлялъ себѣ, что его праотцы
выросли изъ камней (греческій міоа), пошли отъ звѣрей (по-
вѣрья, распространенные въ средней Азіи, среди сѣверо-амери-

канскихъ племень, въ Австралії)¹⁾, зародились отъ деревьевъ и растеній. Генеалогическая сказки, образно выразившія идею тождества.

Выраженіе и вырожденіе этой идеи интересно прослѣдить: она провожаетъ насъ изъ глуби вѣковъ до современного народно-поэтическаго повѣрья, отложившагося и въ переживаніяхъ нашего поэтическаго стиля. Остановлюсь на людяхъ — деревьяхъ — растеніяхъ.

Племена Сіу, Дамаровъ, Лени-Ленановъ, Юркасовъ, Базутовъ считаютъ своимъ праотцемъ дерево; Амазулу рассказываютъ, что первый человѣкъ вышелъ изъ тростника; сходныя преданія можно встрѣтить у иранцевъ, въ Эддѣ, у Гезіода; праотецъ Фригійцевъ явился изъ миндалеваго дерева; два дерева были родоначальниками пяти мальчиковъ, изъ которыхъ одинъ, Букъ-ханъ, сталъ первымъ уйгурскимъ царемъ. Частичнымъ выражениемъ этого представленія является обоснованный языккомъ (сѣмя-зародышъ), знакомый по миѳамъ и сказкамъ мотивъ объ оплодотворяющей силѣ растенія, цвѣтка, плода (хлѣбнаго зерна, яблока, ягоды, гороха, орѣха, розы и т. д.), замѣняющихъ человѣческое сѣмя²⁾.

1) Сл. Этногр. Обозрѣніе, XXXVIII и XXXIX: Харузинъ, «Медвѣжья присяга» и тотемическая основы культа медвѣдя у остяковъ и ногуловъ. Сл. XXXIX, стр. 16 слѣд. О тотемизмѣ. Сл. Frazer, Totemism; Jevons, A introduction to the history of religion, и отчетъ Marillier въ Revue de l'hist. d. religions, XXXVI, 208—53, 321—69, XXXVII, 204 слѣд. Schultz, Der Fetischismus.

2) Сл. Sidney Hartland, The legend of Perseus, I, 147 слѣд. (The supernatural birth in practical superstition). (Зарожденіе отъ плода) сл. Gastin, La pomme et la fécondité, Rev. d. trad. pop., XIV, Fevr. 1894, стр. 6 слѣд. (Связь человѣка съ животнымъ и растительнымъ міромъ). Сл. Kohler, Der Ursprung der Melusine-sage, Lpz. 1895) стр. 32 слѣд.: происхожденіе животныхъ и растеній отъ людей и 37 слѣд. явленіе тотемизма; происхожденіе человѣка отъ животнаго 38 слѣд., отъ растенія 42; превращенія, 42 слѣд.; смѣщенія человѣка съ животнымъ, 45 слѣд.; 47 — комбинаціи человѣческой и животной формъ, — (Люди — деревья). Сл. Golther, Handb. german. Mythologie, 156. Сл. Wünsche, die Pflanzenfabel in der mittelalterlichen deutschen Literatur, въ Zs. für Vrgl. Literaturgeschichte, N. F., XI, 5—6 (сл.).

Наоборотъ: растеніе происходитъ отъ существа живого, особенно отъ человѣка. Отсюда цѣлый рядъ отождествленій: люди носятъ имена, заимствованныя отъ деревьевъ, цветовъ (см. напр. собственные имена у сербовъ); они превращаются въ деревья, продолжая въ новыхъ формахъ прежнюю жизнь, сѣтуя, вспоминая: Дафна становится лавромъ (Ovid. Metamorph. V, 97), сестры Фаэтонта, обращенные въ деревья, проливаютъ слезы — янтарь (ib. VII, 396), Клитія, покинутая Sol'емъ, томится въ 7 образѣ цветка (ib. XXI, 99); припомнимъ | миѳы о Кипарисѣ, Нарцисѣ, Гіацинте; когда вырываютъ кусты съ могилы Полидора, изъ нихъ каплетъ кровь (Virg. Aen. III, 22 слѣд.) и т. п. На пути такихъ отождествленій могло явиться представление о тѣсной связи того или другого дерева, растенія съ жизнью человѣка; въ египетской легенды герой помѣщаетъ свое сердце въ цветахъ акации; когда, по наущенію его жены, дерево срублено, онъ умираетъ; въ народныхъ сказкахъ увяданіе деревьевъ, цветовъ служитъ свидѣтельствомъ, что герой или герояня умерли, либо имъ грозить опасность ¹⁾). Послѣдовательнымъ развитіемъ идеи превращенія является другой сюжетъ, широко распространенный въ народныхъ повѣрьяхъ, въ персидскомъ сказаніи, въ пѣсняхъ шведскихъ, англійскихъ, бретонскихъ, шотландскихъ, ирландскихъ, греческихъ, сербскихъ, малорусскихъ: яворъ съ тополемъ выросли на могилѣ мужа и жены, разлученныхъ злюю свекровью, на могилѣ мужа — зеленый яворъ, на могилѣ жены — тополь, и

Стали-жъ ихъ могили та красуватися,
Ставъ явръ до тополі та прихилятися.

Либо вмѣсто мужа и жены двое влюбленныхъ: такъ въ кавказской (пухадарской) пѣснѣ молодой казикумыкъ, вернувшись изъ отлучки, застаетъ свою милую умершей, велить показать ее себѣ: «трупъ отнялъ у него душу, ея глаза вышили его глаза и сердце

1) О превращеніяхъ подобного рода (въ растеніе, животное и т. д.) см. Sidney Hartland, I. c., I, стр. 182 слѣд. (Death and birth as transformation).

проглотило его сердце»; «умершихъ оть взаимной любви и скончавшихся оть общей радости» похоронили въ одной и той же могилѣ и въ одномъ саванѣ. «Извину гри этой могилы выросли два дерева, одно сахарное, а другое гранатное: когда дулъ съверный вѣтеръ, то они обнимались другъ съ другомъ, когда дулъ южный, оба расходились». Такъ умираетъ, въ послѣднемъ объятіи задувивъ Изольду, раненый Тристанъ; изъ ихъ могиль выростаетъ роза и виноградная лоза, сплетающіяся другъ съ другомъ (*Eilhard von Oberge*), либо зеленая вѣтка терновника вышла изъ гробницы Тристана и перекинулась черезъ часовню па гробницу Изольды (французскій романъ въ прозѣ); позже стали говорить, что эти растенія посажены были королемъ Маркомъ. Отличіе этихъ пересказовъ интересно: въ началѣ, и ближе къ древнему представлению о тождествѣ человѣческой и природной жизни, деревья — цвѣты выростали изъ труповъ; это — тѣ же люди, живущіе прежними аффектами; когда сознаніе тождества ослабѣло, образъ остался, но деревья — цвѣты, уже сажаются на могилахъ влюбленныхъ, и мы сами подсказываемъ, обновляя его, древнее представліе, что и деревья продолжаютъ, по симпатіи, чувствовать и любить, какъ покоющіеся подъ ними. Такъ въ лу- 8 жицкой пѣснѣ влюбленные завѣщаютъ: «Похороните нась обоихъ тамъ подъ липой, посадите двѣ виноградныхъ лозы. Лозы выросли, принесли много ягодъ; опѣ любили другъ друга, сплелись вмѣстѣ». Въ литовскихъ причитаніяхъ идея тождества сохранилась свѣжѣе, не безъ колебаній: «Дочка моя, невѣста велей; какими листьями ты зазеленѣши, какими цвѣтами зацвѣтиши? Увы, на твоей могилѣ я посадила землянику!» Или: «О, еслибы ты выростъ, посаженъ быль деревомъ!» Напомнимъ обычай, указанный въ вавилонскомъ Талмудѣ: садить при рожденіи сына кедровое, при рожденіи дочери — сосновое дерево.

Легенда объ Абелярѣ и Элоизѣ уже обходится безъ этой символики: когда опустили тѣло Элоизы къ тѣлу Абеляра, ранѣе ея умершаго, его остовъ принялъ ее въ свои объятія, чтобы соединиться съ нею навсегда. Образъ сплетающихся деревьевъ —

цвѣтовъ исчезъ. Ему и другимъ подобнымъ предстоялостереться или поблѣднѣть съ ослабленіемъ идеи параллелизма, тождества, съ развитиемъ человѣческаго самосознанія, съ обособленіемъ человѣка изъ той космической связи, въ которой самъ онъ исчезъ, какъ часть необъятнаго, неизвѣданнаго цѣлаго. Чѣмъ больше онъ познавалъ себя, тѣмъ болѣе выяснялась грань между нимъ и окружающей природой, и идея тождества уступала мѣсто идеи особности. Древній синcretизмъ удалялся передъ разчленяющими подвигами знанія: уравненіе молнія — птица, человѣкъ — дерево смѣнились *сравненіями*: молнія, какъ птица, человѣкъ, что дерево и т. п.; *mors*, *mare* и т. п., какъ дробящіе, уничтожающіе и т. п., выражали сходное дѣйствіе, какъ *anima* — *âneus* и т. п., но по мѣрѣ того, какъ въ пониманіе объектовъ входили новые признаки, не лежавшіе въ ихъ первичномъ звуковомъ опредѣленіи, слова дифференцировались и обобщались, направляясь постепенно къ той стадіи развитія, когда они становились чѣмъ то вродѣ алгебраическихъ знаковъ, образный элементъ которыхъ давно заслонился для насъ новымъ содержаниемъ, которое мы имъ подсказываемъ.

Дальнѣйшее развитіе образности совершилось на другихъ путяхъ.

Обособленіе личности, сознаніе ея духовной сущности (въ связи съ культомъ предковъ) должно было повести къ тому, что и жизненные сплы природы обособились въ фантазіи, какъ нѣчто отдѣльное, жизнеподобное, личное; это онѣ дѣйствуютъ, желаютъ, вліяютъ въ водахъ, лѣсахъ и явленіяхъ неба; при каждомъ деревѣ явилась своя гамадріада, ея жизнь съ нимъ связана, она ощущаетъ боль, | когда дерево рубятъ, она съ нимъ и умираетъ. Такъ у Грековъ; Бастіанъ встрѣтилъ то-же представленіе у племени *Oschibwäs*; оно существуетъ въ Индіи, Аннамѣ и т. д.

Въ центрѣ каждого комплекса параллелей, давшихъ содержаніе древнему миѳу, стала особая сила, божество: на него и переносится попутіе жизни, къ нему притянулись черты миѳа, одни характеризуютъ его дѣятельность, другія становятся его

символами. Выйдя изъ непосредственного тождества съ природой, человѣкъ считается съ божествомъ, развивая его содержаніе въ уровень со своимъ нравственнымъ и эстетическимъ ростомъ: *религія* овладѣваетъ имъ, задерживая это развитіе въ устойчивыхъ условіяхъ культа. Но и задерживающіе моменты культа и антропоморфическое пониманіе божества недостаточно емки, либо слишкомъ опредѣленны, чтобы отвѣтить на прогрессъ мысли и запросы нарastaющаго самонаблюденія, жаждущагоозвучій въ тайнахъ макрокозма, и не однихъ только научныхъ откровеній, но и симпатій. Иозвучіяявляются, потому что въ природѣ всегда найдутся отвѣты на наши требованія суггестивности. Эти требованія присущі нашему сознанію, оно живетъ въ сфере сближеній и параллелей, образно усваивая себѣ явленія окружающаго міра, влияв въ нихъ свое содержаніе и слова ихъ воспринимая очеловѣченными. Языкъ поэзіи продолжаетъ психологический процессъ, начавшійся на доисторическихъ путяхъ: онъ уже пользуется образами языка и миѳа, ихъ метафорами и символами, но создаетъ по ихъ подобію и новые. Связь миѳа, языка и поэзіи нестолько въ единствѣ преданія, сколько въ единствѣ психологического приема, въ *arte renovata forma dicendi* (Quint., IX, 1, 14): переходъ лат. *exstinguere* отъ понятія ломанія (острія) къ понятію тушенія—и сравненіе тембра голоса съ кристалломъ, который надломленъ (Huysmans), древнее сопоставленіе: солнце = глазъ и женихъ = соколь народной пѣсни—все это появилось въ разныхъ стадіяхъ того же параллелизма.

Я займусь обозрѣніемъ нѣкоторыхъ изъ его поэтическихъ формулъ.

II.

Начну съ простѣйшей, народно-поэтической, съ 1) *параллелизма двучленного*. Его общій типъ таковъ: картинка природы, рядомъ съ нею таковая же изъ человѣческой жизни; онъ вторять другъ другу при различіи объективнаго содержанія, между ними

проходятъ созвучія, выясняючія то, что въ нихъ есть общаго.
10 Это рѣзко отдеѣляетъ психологическую параллель оть повтореній, объясняемыхъ механизмомъ пѣсенного исполненія (*хорический* или *амебейнаго*) и тѣхъ тавтологическихъ формулъ, гдѣ стихъ повторяетъ въ другихъ словахъ содержаніе предыдущаго или предыдущихъ: *ритмическій* параллелизмъ, знакомый еврейской и китайской поэзіи, равно какъ и народной пѣснѣ финновъ, американскихъ индійцевъ и др. Напримѣръ:

Солнце не знало, гдѣ его покой,
Мѣсяцъ не зналъ, гдѣ его сила,
S l fat ne vissi hvar hon sali átti,
M ni fat ne vissi hvat hon megins átti (Vol. 5).

Или схема четыре-строчной строфы, обычной въ поэзіи скальдовъ:

(Такой-то) король выдвинулъ свой стягъ,
Обагрилъ свой мечъ (въ такомъ-то мѣстѣ),
Онъ обратилъ въ бѣгство враговъ,
Они (такие-то) побѣжали передъ нимъ.

Либо Вейнемайненъ «оставилъ по себѣ канtele, оставилъ въ Суоми прекрасный инструментъ на вѣчную радость народу, (оставилъ) хорошую пѣсню дѣтямъ Суоми (Калевала, рупа 50)».

Такого рода тавтологія дѣлала образъ какъ будто яснѣе; распредѣляясь по равномѣрнымъ ритмическимъ строкамъ, она дѣйствовала музыкально. Къ исключительно музыкальному ритмическому впечатлѣнію спустились, на извѣстной степени разложенія, и формулы психологического параллелизма, образцы котораго я привожу:

1 а Хілилася вишня
Відъ верху до корени,
б Поклонися Маруся
Черезъ стіль до батенька.

2 а Не хілися, явіроньку, ще ти зелененькій,
б Не журися, казаченьку, ще ти молоденъкій

- 3 (Та вилетіла галка з зеленаго гайка,
Сіла-пала галка на зеленіі сосні,
Вітеръ повівае, сосенку хитае...).
a Не хилися, сосно, бо ѹ такъ мені тошно,
b Не хилися, гілко, бо ѹ такъ мені гірко,
Не хилися низъко, нема роду близъко.

- 4 a Яблынка кудрява, куда нахинулась?
Не сымя яблынка нахинулась,
Нахинули яблынку буйныя вѣтры,
Буйныя вѣтры, дробный дождикъ.
b Мыладая Дуничка куды ўздумыла? |
Ни змудрѣй, матушка, сама вѣдаишь:
Прышила мыладу ны горѣлычки,
Русая косица — ина такъ пышла.

11

- 5 a Зяленый лясочекъ
Къ землѣ приклониўся,
b А что-жъ ты, парнишка,
Холость, не жениўся?

- 6 a Ой білая паутина по тину повилася,
b Марусечка з Ивашечкомъ понялася, понялася.

Либо:

Зеленая ялиночка на яръ подалася,
Молодая дівчинонька въ казака вдалася;

Или:

Ой, тонкая хмелиночка
На тинъ повилася,
Молодая дівчинонька
Въ козака вдалася.

- 7 a Шаўковая нитычка къ стѣнѣ лнеть,
b Дуничка къ матушкѣ чаломъ бѣсть.

- 8 a Стелется и вьетца
На лугамъ трава шолковая,
b Цалуить, милуить
Михайла свою жонушку. (Сл. Не свивайся, не свивайся
трава съ повелікой, Не свыкайся, не свыкайся, молодецъ,
съ дѣвицей. Хорошо было свыкаться, тошно разставаться.
Сл. Нечерскій, Въ лѣсахъ ч. II, стр. 33).

- 9 a Звіўся, звіўся хмель зъ аўсомъ,
b Зышоўся, зъѣхаўся зять са тетёмъ,
a Пуваліў, пуваліў хмель аўса,

- b Спадманіў, спадманіў зять тсся.
А за гумномъ асина,
Ай теща зятя прасила и т. д.
-
- 10 a Ой яворе зелененький, не шуми-жъ на мене,
b А ты милый, чернобривый, не сварись на мене.
-
- 11 a Отломилась вѣточка
Отъ садовой отъ яблонки,
Откатилось яблочко;
b Отъѣзжаетъ сынъ отъ матери,
На чужу дальню сторону.
-
- 12 a Катилося яблычка съ замостья, |
b Просилася Катичка съ застолья.
-
- 13 a Липушка зелёныя ўсю почку шумѣла...
Всю ноченьку шумѣла, съ листикымъ говорила:
Листочекъ зелёный, будеть намъ разлука;
b (Марьюшка всю ночь не спала, съ маткой говорила: будеть
намъ разлука).
- 14 a Кленова листына,
Куды тебе витеръ несе:
Чи ў гору, чи ў долину,
Чи назадъ ў кленину?
b Молода диўчина,
Куды тебес батька отдае:
Чи ў турки, чи ў татары,
Чи ў турецкую землю,
Чи ў великую семью?
-
- 15 a Что висока, висока,
Клёнъ дерива ать вады,
Хуть же ина висока,
Дакъ листочикъ отпадеть,
По морюшку паплыветъ.
b Што далёка, далёка,
Родна маминъка ать мине;
Хуть жа ина далёка,
Ранёшинька устанить,
Тяжалёшинька уздыхнить,
Сильнёшинька заплачить,
Мине младу успумянить.
-
- 16 a Зеленая березонька, чemu бѣла, не зелена?
b Красна дзѣвочка, чemu смутна, не весела?

- 17 a Тонкое деревцо свирѣльчатое,
Нѣть его тончѣе изо всей рощи,
b Умная дѣвушка Еленушка,
Нѣть ея умнѣе изо всей родни.

- 18 a Елиnochка зиму и лѣто зелена,
b Наша Маланка пешто дзенъ весела.

- 19 a Рябина, рябинушка,
Рябина моя,
Чему ты, рябинушка
Рано отцвѣла?
b Дѣ́йчина, дѣ́йчинушка, |
Дѣ́йчина моя,
Чему ты, дѣ́йчинушка,
Засмуцилася?

13

- 20 a Конопля, конопля зеленая моя,
Что-же ты, конопля, не весело стоишь?
Ахъ, какъ мнѣ, коноплѣ, веселой жить...
b Дѣвка ты, дѣвушка красная,
Что же, дѣвушка, не весело сидишь?
— Мой батюшка хочетъ замужъ отдать.

- 21 a Ой горошѣ, горошѣ,
Сіяно тебѣ хорошѣ,
При долу, при долинонці,
И при ясному солнцу.
b Ой, Марушко, ты Марушко,
Сватаемъ тебе хорошѣ,
При роді, при родинонці,
И при риднесенъкай иеньці.
(варъянтъ: a Горошикъ мой сочный,
Люблю тябе сѣить
При пути дарочки,
При бѣлый бярёзки.
b Митичка маладай,
Ты любишь жанитца
При роду, при племю,
При роднѣй матушки).

- 22 a Ой у поли крыныця безодна,
Тече зъ ней и водыця холодна,
b Якъ захочу, то напьюся,
Кого люблю, обїмуся.

23 а Тихие вѣтрики понавѣяли,
б Любая гостики понаѣхали,
Абламили сѣни
Новые,
Вышили чару
Винную.

24 а Ай па морю, па синему, волна бьеть,
б Ай па полю, па чистыму, арда йдеть.

25 а Не видать мѣсяца изъ за облака,
б Не знать князя изъ-за бояровъ.

14

26 а Гуси лебеди видѣли въ морѣ утушку, не поймали, только |
подмѣтили, крыльшки подрѣзали.— б Князи— бояре-сваты
видѣли Катичку, не взяли; подмѣтили, косу подрѣзали.

27 а Соколь залетаетъ въ садъ, не здѣсь-ли его голубка? «Ина
здѣсь была, гнѣздо вила», пташки пособили ей его свить;
б Ивашечка прѣѣзжаетъ въ теремъ; гдѣ его Катичка? Дѣ-
вушки пособляютъ ей свить вѣнокъ.

28 а Уэмитався рой надѣ гумномъ,
б А нявѣстушка къ намъ гримъ на дворъ
(Отецъ ограбаетъ рой, встрѣчаетъ невѣсту).

29 а Выхвалялася берёза,
У бярезничку стоючи,
Сваимъ листикамъ шурокамъ,
Сваимъ каренънимъ глубокамъ.
Якъ зачу́ — пачу́ зелинъ дубъ:
«Не выхваллайси, бярёза!
Ни сама листика шурочѣла,
Ни сама карення глубачѣла:
Шурочѣ листика дробинъ дождъ,
Глубачѣ карення Гасподь Богъ».
б Дарычка хвалится русою косою, «бѣлинъкимъ личиннимъ»,
а Матвѣйка говоритъ, что косу растила матушка, «бѣлила
личиння сястрица».

30 а Ой зелень кудрявый вишній садъ!
Кали его марозы іспастигнуть,
Палавина вѣтъя атбудить,
Больше громысту прибудить,
Ну, ня громысту, хворысту.

b Красна, хароша Марьушка!
Кали же сватоўя спастыгнуть,
Палавина красы атбудить,
Больше заботы прибудить.

31 a Кукувала кукуша ў садочку,
Прилажіўши галоўку къ листочку;
Птицы спрашивають, отчего она кукуетъ; то орель раззорилъ ея гнѣздо, самое ее взялъ;

b Дуня плачетъ въ свѣтличкѣ, приложивъ голову къ сестричкѣ; дѣвушки спрашиваютъ; отвѣтъ: она свила вѣнокъ, Ваничка его разорваль, самое къ себѣ взялъ.

32 a Травка чернобылка прилегаетъ къ горѣ, пытаетъ ее о лютой зимѣ;

b Дунічка прилегла къ сестрѣ, пытаетъ о чужихъ людяхъ. | 15

33 a Лиса просить соболя вывести ее изъ бора, въ Дунічка Ваничку—вывести ее отъ батьки.

(Сербскія).

34 a Tavna noći, tavna ti si!
b Nevjestice, bleda ti si.

35 a Tavna noći, puna ti si mraka,
b Srce moje još punije jada.

36 a Naslonja se smilje na bosilje,
b Svaka draga na svojega draga.

37 a Lepa ti je sjajna mesečina,
b Još je lepša Jela udovica.

38 a Nač je v lozi borak, kî se ne zeleni,
b Nač je majki sinak, kî se ne veseli?
a Nač je v lozi drivo, kô lišća ne rodi,
b Nač je majki dcéra, ka k tanci ne hodi?

(Польскія).

39 a A stoji lipka,
Pod nią topola,
b Ożenі się mój chłopalu (либо: moja mala).

40 a Wirosła rutka z jałowca,
b Nie chodź, dziewczyno, za wdowca,

- a Gorzała lipka i jawór,
b Gdzieś się, Jasiu, zabawiał?

- 41 a Zielony trawnicek
Kręta rzeka struże,
b Biedna ja sierota,
Cale życie sluże.

- 42 a Przykryło się niebo oblakami,
b Przykryła się Marysia rąbkami,
a Okrył się jawór zielonym listkiem,
b Młoda Marycia bielonym czepeukiem.

16

(Чешскія).

- 43 a Koulelo se, koulelo
Červeno jabličko,
b Komu ty se dostaneš,
Má zlatá holčičko?

- 44 a Červena růžecko, co se nerozvíješ?
b Co k nám, můj Jeníčku,
Co k nám, už nechodiš?

- 45 a Sil jsem proso na souvrati,
Nebudu ho žiti,
b Miloval jsem jedno děvče,
Nebudu ho miti.

(Моравскія).

- 46 a Travičko zelená,
Proč sa nezelenáš?
b Sohajíčku švarný,
Proč sa na mně hněvaš?

- 47 a Teče voda skokem
Kole našich oken,
Nemóžu ju zastavit;
b Rozhněvala sem si švarneho synečka,
Nemóžu ho udobřit.

- 48 a Zpivał ptaček na karlatec,
b Žalovała cera matec.

- 49 a Aj zakukala zezulenka
V lese na javoře,
b Nařikala sobe moja najmilejší,
Chodici po dvoře.

(Литовскія).

- 50 a Придеть теплое лѣто, прилетять лѣсныя кукушки, сядутъ на елкѣ и стануть куковать, b а я матушка, стану имъ помогать; кукушка станетъ куковать по деревьямъ, я, сирота, буду плакать по угламъ.

- 51 a Много въ деревнѣ клетей, а въ клетяхъ дѣвушекъ; какая изъ нихъ красивѣ, ту я за себя возьму; b много яблоней въ саду, а на яблоняхъ яблокъ; какое изъ нихъ порумянѣ,— я себѣ сорву.

(Латышскія).

17

- 52 a Много ягодъ и орѣховъ въ лѣсу, да некому ихъ братъ; b много дѣвушекъ въ деревнѣ, да некому ихъ взять.

- 53 a Рости макъ за кустомъ репейника, чтобы на тебя не дули сѣверные вѣтры; b рости, сестрица, за братцемъ, чтобъ тебя не видѣли суровые чужіе люди.

- 54 a Гдѣ берутъ пчелы медъ? Съ тонкой крапивы, что у изгороди; b гдѣ берутъ братцы жентъ? Суровы дѣвушки у сосѣдей.

- 55 a Сердито течеть потокъ, сердито течеть Двина; b сердятся братья, что я такъ долго пошу (дѣвичій) вѣнокъ.

(Итальянскія).

- 56 a Fiore di canna!
Chi vo' la canna, vada a lo caneto,
Chi vo' la neve, vada a la montagna,
b Chi vo' la figlia, accarezzi la mamma.

- 57 a Ches montagnis scûris, scûris
E a lis bassis dutt nulâat.
b Il miò puem a mi fas mûže,
Cui sa mai éce ch'a l' è stâat?

(Французская).

- 58 a Quand on veut cueillir les roses,
Il faut attendre le printemps,
b Quand on veut aimer les filles,
Il faut qu'elles aient seize ans.
-

(Испанскія).

- 59 a A la mar, por ser honda,
Se van los rios,
Y detras de tus ojos,
Se van los mios.

60 a Que alta que va la luna
Y el lucero en su compaňia!
b Que triste se queda un hombre,
Cuando una mujer lo engaña.
-

18

(Нѣмецкія).

- 61 a Dass im Tannwald finster ist,
Das macht das Holz,
b Dass mein Schatz finster schaut,
Das macht der Stolz.

62 a Wie kloaner die Ros'n,
Wie grösster der Dorn,
b Wie kloaner das Dirndl,
Wie grösster der Zorn.

63 a Aufn Tauern thuets schauern,
Dass blau niedergeht,
b 's Diandle thuet trauern,
Weil der Bua von ihm geht.

64 a Die Kirschen sind zeitig,
Und die Weichsel sind braun,
b Hat au jeder a Diendl,
Muss m'r a um oans schaun.

65 a Schwimma zwa Antla in Wassa,
Schwimma zwa Antla in Söi,
b Mo Schotz hant mi valoussa,
Tout mia ma Herzela sua wöi.
-

- 66 a Die Brünnlein die da fliessen,
Die soll man trinken,
b Und wer ein steten Buhlen hat,
Der soll ihm winken.

- 67 a Hätt mir ein Espeszweiglein (вap. Selbensträuchlein,
Waldbeerstrauch; Distelbaum),
Gebogen zu den Erden,
b Den liebsten Buhlen den ich hab',
Der ist mir leider allzu ferre.

- 68 a Wie schön ist doch die Lilie,
Die auf dem Wasser schwimmt,
b Wie schön ist doch die Jungfrau,
Die ihre Ehre behält.

(Грузинскія).

- 69 a Рѣчка бѣжитъ, волнуется, въ рѣчкѣ плывутъ два яблочка; въ вотъ и мой милый возвращается, вижу, какъ онъ шапкой машетъ.
70 a У нашего дома цвѣтеть огородъ, въ огородѣ тамъ трава ростеть. | 19
Нужно траву скосить молодцу, въ нуженъ молодецъ красной дѣвицѣ.

(Турецкія).

- 71 a Два челнока ёдуть рядомъ, то замедляя путь, то скользя дальше;
въ кому милая невѣрна, у того сердце истекаетъ кровью.
72 a Катится ручей, волна за волной, вода утолила мою жажду; въ твоя
матерь, носившая тебя въ утробѣ, будеть мнѣ тещей.

(Арабская).

- 73 a Снѣгъ таетъ на горахъ Испагани; въ какъ ты ни хороша, не будь
горделива. Аманъ! Аманъ! Аманъ!

(Китайскія).

- 74 a Молодое, стройное персиковое дерево много плодовъ принесеть;
b) молодая жена идетъ въ свою будущую родину, все хорошо
устроить въ дому и покояхъ.

- 75 а Вылетѣла ласточка съ ласточкой, неровенъ взмахъ ихъ крылья;
б Милая возвращается домой, долго шелъ я за нею слѣдомъ; глядь,
ее не видать, и мои слезы льются, что дождь.
-

(Новозеландская).

- 76 а На небѣ поднимаются облака и высоко въются надъ моремъ;
б а я сижу и плачу о моемъ дитяти, что носила подъ сердцемъ.
-

(Изъ Суматры).

- 77 а Къ чему зажигать свѣтъ, когда нѣть свѣтильни? б Къ чему
любовные взгляды, когда нѣть серьезныхъ намѣреній.
-

(Пракритъ).

- 78 а Листья тростника облетѣли, остались одни стволы; б и наша
юность прошла, прошла любовь, вырвана съ корнемъ.
-

- 79 а Потокъ увлекаетъ цвѣтокъ кадамбы, путая и раздирая волною
его пестики, тогда какъ сидѣвшая на ней пчела, погружаясь и
снова выныряя, все еще льнетъ къ нему; б будешь ли ты, милый,
такъ же лѣнуть ко мнѣ?
-

(Татарскія).

- 20 80 а Пошелъ я на поле пшеницы,
Застрѣлилъ желтаго воробышка,
б День и ночь я прошу у Бога
Тебя, мою душеньку.
-

- 81 а На берегу рѣки вѣтвистый тисъ,
Сорви вѣтку и въ воду брось;
б Молодые годы назадъ не вернутся;
По куда молодъ, пой пѣсни.
-

- 82 а Побѣжалъ я въ цвѣточный (фруктовый) садъ,
Покрасиѣло, поспѣло одно яблочко;
б Тебя со мной, меня съ тобой,
Не соединить ли насть Богъ?
-

- 83 а Желтый жаворонокъ садится на болото, чтобы пить прохладную
воду; б красивый молодецъ ходить по ночамъ, чтобы цѣловать
красивыхъ дѣвушекъ.
-

(Башкирская).

- 84 а Передъ моею дверью широкая степь,
Отъ бѣлого зайца и слѣда нѣть;
б Со мной смѣялись и играли мои друзья,
А теперь ни одного нѣть.

(Чувашская).

- 85 а У начала семи овраговъ
Ягодъ много, да мѣста мало,
б Въ домѣ отца и матери
Добра много, да дней мало (то-есть, жить не долго).

- 86 а Вышла я за окопницу накосить сѣна,
Между двѣнадцатью копнами
Выrostила я ровную коровку;
б Въ домѣ отца и матери
Выrostила я свой тонкій станъ.

- 87 а Маленькая рѣчка, золотая вода,
Не мости моста, а заставь прыгнуть лошадь;
б Вотъ красивый молодецъ,
Не говори съ нимъ, а только мигни глазомъ.

| Общая схема психологической параллели намъ извѣстна: со- 21 поставлены два мотива, одинъ подсказываетъ другой, они выясняютъ другъ друга, причемъ перевѣсь на сторонѣ того, который наполненъ человѣческимъ содержаніемъ. Точно сплетающіяся вариаціи одной и той же музыкальной темы, взаимно суггестивныя. Стбить пріучиться къ этой суггестивности — а на это пройдутъ вѣка — и одна тема будетъ стоять за другую.

Примѣры взяты мною отовсюду, можетъ быть, недостаточно широко и равномерно, но, полагаю, и въ моемъ подборѣ они даутъ понятіе общности приема, то удержавшагося въ простейшей формѣ, то развившагося, еще на почвѣ народной пѣсни, до нѣкоторой искусственности и психологической виртуозности. Нѣкоторые изъ приведенныхъ мною стихотворныхъ формулъ ходятъ, какъ самостоятельный пѣсни (например: нѣмецкія,

итальянскія, испанскія и др.), русскія поются и отдельно, чаще онъ встрѣчаются въ началѣ пѣсни, какъ ея вступленіе, запѣвъ или мотивъ. Въ основѣ — парность представлений, связанныхъ, по частямъ, по категоріямъ дѣйствія, предметовъ и качествъ. Въ нашемъ № 1, напримѣръ: вишня хилится, склоняется = дѣвушка кланяется: связь дѣйствія; въ слѣдующемъ № 2-мъ представлены все три категоріи, при условіи вполнѣ естественнаго сближенія: молодо = зелено, склоняться = повѣсить голову, опуститься, печалиться. Такимъ образомъ получается параллель: хилиться = журиться, яворъ = козакъ, зеленый = молодой. Но склоняться, хилиться можетъ быть понято и въ нашемъ значеніи: склонности, привязанности; такъ въ слѣдующихъ запѣвахъ:

Похилився дубъ на дуба, гільемъ на долину,
Ліпше тебе, любцю, люблю, якъ мати дитину.

Похилився дубъ на дуба, гільемъ на долинку,
Ой прийдется з села пйти черезъ чорнобрівку.

Тамъ и здесь формула: дубъ склоняется къ дубу, какъ на рень къ дѣвушкѣ; свыкается, свивается съ нею, какъ трава съ повеликой (№ 8), какъ паутина; хмель и т. д. повились по тыну. Параллелизмъ поконится здесь на сходствѣ дѣйствія, при которомъ подлежащія могли меняться; это необходимо имѣть въ виду, чтобы изъ всякаго символическаго сопоставленія пѣсни не заключать непремѣнно къ той тождественности, которую мы отмѣтили въ древней исторіи развитія параллелизма и которая будто бы пережила въ народно-поэтической, уже непонятной формулѣ.
22 Дерево = человѣкъ принадлежалъ старому | вѣрованію, дѣвушка = паутина возможна лишь въ складѣ пѣсни.— Разберемъ нѣкоторыя изъ относящихся сюда формулъ.

Любить = связаться, привязаться; рядомъ съ этимъ другія сопоставленія: утолить любовь = утолить жажду, напиться (№ 72), напоить коня, замутить воду. Или: любить = сѣять, садить (см. лат. satus = сынъ; saeculum = родъ, собственно посѣвъ; сл.

литов. sèklà), но и топтать¹⁾). Съ точки зрењія послѣдняго, реальнаго пониманія, по сходству дѣйствія, дѣвшукъ отвѣчаетъ въ параллельной формулѣ образъ сада — винограда, вишнѣя, льна, зелья, руты, васильковъ: ихъ топчетъ женихъ, пойзжане, либо конь, олень, стадо и т. д. Но женихъ представлялся въ другой параллельной формулѣ соколомъ, бросающимся на лебедь бѣлую; между двумя формулами произошло смѣшеніе: образъ сада остался, но не конь его топчетъ, а соколь перелетаетъ черезъ ограду и ломаетъ вѣтви (какъ въ малор. пѣсняхъ райскія птички обтрушиваютъ золотую росу съ дерева, въ сербской соколь обломалъ тополь); далѣе исчезъ и садъ, вмѣсто него является дубъ и даже гора.— Въ западной народной поэзіи также извѣстенъ образъ виноградника, который кто-то попортилъ, обобразилъ, сада, который потопталъ олень (*In meinem Garten geht ein Hirsch, tritt nieder alle Blüthe*); либо срываютъ, рубятъ, ломаютъ деревцо, вѣтку:

Da brach der Reiter einen grünen Zweigs
Und machte das Mädchen zu seinem Weib,

поется въ нѣмецкой пѣснѣ; въ польскихъ и литовскихъ: срубить деревцо — взять дѣвшуку; «не вызрѣвшей рябинушки нельзя заломать, не выросшей дѣвшукѣ пельзя замужъ взять». — Цвѣткомъ часто является роза:

Müeste ich noch leben, daz ich die rôsen
Mit der minneelichen solde lesen,
Sô wold ich mich sô mit ir erkôsen,
Daz wiz iemer friunde müesten wesen.

(Walter v. d. Vogelweide).

Peut — on étr' si près du rosier
Sans pouvoir en cueillir la rose?
Cueillez, mon cher amant, cueillez,
Car c'est pour vous que la rose est éclosé.

1) (Къ параллелизму: топтать). Сл. въ такомъ значеніи сл. мутить. Милојевић, Пѣс. и об. Нар. Срб. I, стр. 95, 119—20; Карапић, Жив. и об. срб., 26; его-же Срб. нар. п. I, стр. 126, № 199, 200; Милићевић; Jeanroy, Orig., стр. 162; сл. Потебня, Объясн. Малор. и средн. пѣсень, II, сл. XX сл.

См. латышскую формулу: Бѣлыя красивыя розы цвѣли въ садикѣ моего брата; проѣзжали чужане, не смѣли сорвать ни одной; если-бъ сорвали, заплатили-бы пеню.

Щиплите роженьку, стелите дороженьку,
Отъ сельца до сельца, куда йихать отъ винца, |

23 поется въ малорусской свадебной пѣснѣ; въ Каллимахѣ и Хризорроѣ чередуются въ такомъ смыслѣ роза и виноградная лоза (в. 2081 слѣд., 2457 слѣд.) и т. п. Въ сущности цвѣтокъ безразличенъ, важенъ актъ срыванія; если въ западной народной поэзіи преобладаетъ въ этомъ сопоставленіи роза, то потому, что, какъ рѣдкій, холеный цвѣтокъ, она вошла въ моду, какъ символъ красавицы.

Катятся слезы—катится жемчугъ; параллелизмъ дѣйствія и предметовъ: не даромъ жемчугъ у насть зовется «скатнымъ», въ русскихъ пѣсняхъ онъ и tolкуется, какъ слезы. Но мы не скажемъ, что дѣвушка = яблоко, на основаніи № 11 и слѣдующаго двустишия:

Катись яблучко, куда катитца,
И отдай, таточка, куда хочетъца,

ибо параллелизмъ ограниченъ здѣсь дѣйствіемъ катиться = удаляться. (Сл. варьянть: Руби, руби, молодецъ, куда дерево клонится, Отдай, отдай, батюшка, куда замужъ хочется) ¹⁾.

Образъ дерева въ народной поэзіи даетъ поводъ къ такимъ-же соображеніямъ. Мы видѣли, что оно хилится, но оно и скрипить: то вдова плачетъ: это параллелизмъ дѣйствія и, можетъ быть, предметный; сл. въ великорусскихъ заплачкахъ сравненіе горюющей вдовы съ горькой осиной, деревиночкой и т. д.; образъ, принявший впослѣдствіи другія, болѣе прозаической формулы: вдова — сидитъ подъ деревомъ. Или: дерево зеленѣеть, распускается = молодецъ — дѣвушка распускаются для любви, веселья (сл.

1) Сл. еще: «Катилося яблучко зъ гори до лісу,— Часъ вамъ, дівочки зъ гуляни до дому», гдѣ яблоко едва-ли символъ заходящаго солнца (Сл. Потебня, Объясненія малор. и сродныхъ пѣсень, стр. 58—60).

№№ 16, 18), помышляютъ о бракѣ. Сл. еще слѣдующія формулы: дерево «нахинулось» (какъ бы въ раздумыи), дѣвушка «ўздумыла» (№ 4); либо дерево развернулось, развернулись и мысли:

Не стій, вербіно, роскидайся,
Не сиди, Марусю, розмишляйся.

Очевидно, типичность этой формулы вызвала такія параллели, какъ листъ = разумъ, листоньки = мислоньки; нѣть нужды восходить къ древнему тождеству листа = слова, разума, мысли.

Дерево сохнетъ = человѣкъ хирѣтъ; «листъ опадае = милый покидае», «листочекъ ся стелитъ — милый ся женитъ», что предполагаетъ вторую (опущенную) половину формулы: милый покидае. Нѣчто подобное слѣдуетъ, быть можетъ, подсказать и въ такомъ примѣрѣ:

Висока верба, висока верба,
Широкий листъ пускае,
Велика любов, тяжка разлука,
Серденько знывае. |

Верба раскидывается широкимъ листомъ, моя любовь цвѣтеть; 24 (съ вербы листья унесены вѣтромъ), разлука тяжка.

Предшествующій анализъ, надѣюсь, доказалъ, что параллелизмъ народной пѣсни поконится главнымъ образомъ на категоріи дѣйствія, что всѣ остальные предметные созвучія держатся лишь въ составѣ формулъ и впѣ ея часто теряютъ значеніе. Устойчивость всей параллели достигается лишь въ тѣхъ случаяхъ, 1) когда къ основному сходству, по категоріи дѣйствія, подбираются болѣе или менѣе яркія сходныя черты, его поддерживающія, или ему не перечашція; 2) когда параллель приглянулась, вошла въ обиходъ обычая или культа, опредѣлилась и окрѣпла надолго. Тогда параллель становится *символомъ*, самостоительно являясь и въ другихъ сочетаніяхъ, какъ показатель нарицательнаго¹⁾. Въ пору господства брака черезъ увозъ, женихъ представ-

1) (Символика) Сл. Венезѣ, Das Traummotiv in der mittel.-hochd. Dichtung bis 1250 u. in alten deutchen Volksliedern. Halle s., Niemeyer, 1897.

лялся въ чертахъ насильника, похитителя, добывающаго невѣсту мечомъ, осадой города, либо охотникомъ, хищной птицей; въ латышской народной поэзіи женихъ и невѣста являются въ парныхъ образахъ: топора и сосны, соболя и выдры, козы и листа, волка и овцы, вѣтра и розы, охотника и куницы, либо бѣлки, ястреба и куропатки и т. д. Къ этому разряду представленій относятся и наши пѣсенныея: молодецъ — козель, девушка капуста, петрушка; женихъ стрѣлецъ, невѣста куница, соболь; сваты: купцы, ловцы, невѣста товаръ, бѣлая рыбица, либо женихъ — соколь, невѣста голубка, лебедь, утица, перепелочка; сербск. женихъ — ловецъ, невѣста — хитар лов и т. д. Такимъ-то образомъ отложились, путемъ подбора и подъ вліяніемъ бытовыхъ отношеній, которыя трудно ускѣдить, параллели,— символы нашихъ свадебныхъ пѣсенъ: солнце — отецъ, мѣсяцъ — мать, или: мѣсяцъ — хозяинъ, солнце — хозяйка, звѣзды — ихъ дѣти; либо мѣсяцъ — женихъ, звѣзда — невѣста; рута, какъ символъ дѣственности; въ западной народной поэзіи — роза, не снятая со стебля, и т. п.; символы то прочные, то колеблющіеся, постепенно проходящіе отъ реального значенія, лежавшаго въ ихъ основѣ, къ болѣе общему — формулы. Въ русскихъ свадебныхъ пѣсняхъ калина — девушка, но основное значеніе касалось признаковъ дѣственности; опредѣляющимъ моментомъ былъ красный цвѣтъ ея ягодъ.

Калина бережки покрасила,
Александринка всю родню повеселила,
Родня пляшеть, матушка плачетъ.

—
Да калинка наша Машинька,
Падъ калиной гуляла, |
Пожками калину топтала,
Падоломъ ноженьки вытирала,
Тымъ ина Ивана спадабала.

25

Красный цвѣтъ калины вызывалъ образъ каленія: калина горить:

Ни жарка гарить калина, (вар. лучина)
Ни жалка плачеть Дарычка.

Калина — олицетворенный символъ дѣвственности:

Харошее дерева калина,
Па дарогѣ ишла, громѣла,
Па балоту ишла, шумѣла,
Кѣ и двару пришла, заиграла;
«Атвари, Марьичка, вароты!»
«Не кали, калина, не кали»,

отвѣчаетъ дѣвушка: я копаю черноземъ, посѣю макъ; червонный
цвѣтъ — это Ваничка, зеленая маковка — она сама.

Разгарелася калинка,
Пиридъ зарю стоячи;
Тушій вѣтрикъ, не утуши,
Па полю искры разнаси.
Расплакалася Ликсандринка,
Пиридъ матушкой сѣдючи;
Унимала матулька, не ўняла,
Болій жалости задала.

Горѣнью калины отвѣчаютъ во второмъ членѣ параллели слёзы
дѣвушки: горючихъ слёзъ не утишить, какъ вѣтеръ не унимаетъ
пожаръ. Заря (звѣзда) = мать внесена въ пѣсню изъ другого
ряда символическихъ сопоставленій; оттуда странный образъ:
калина стоитъ передъ звѣздою. Тоже перенесеніе въ варіантѣ
пѣсни, гдѣ, кажется, зарей (звѣздой) является отецъ, мѣсяцъ —
мать.

Разгарѣлася калина,
Пиридъ зарю стоячи,
Пиридъ ясененькимъ мѣсицымъ;
Тушій вѣтричекъ, не утуши
Больши искры разнаси...
Мнѣ жть тябе, калина, ни утишить,
Утишить, на утишить дробень дождь.
Якъ расплакалася Дарычка,
Пиридъ батькою стоячи,
Пиридъ роднью маткую.
Мнѣ тябе, дочушка, ни ўнять,
Больши жалости пиддати:
Унимить, на ўнимить Матвѣйка, |
Сиканеть сирдечко пушкью,
Вытреть слезыньки хвусткою.

Въ третьемъ варіантѣ пѣсня наростиаетъ неорганически, непосредственно за послѣднимъ стихомъ:

Якъ сѣў (Ваничка) на каня, якъ жаўнеръ,
Узяў Марыочку за каўмеры:
«Сяди, мыя Марыичка, ны дрыжи,
Пасабю табѣ усѣ брыжи;
Ня ў тыя руки пупала,
Штобъ ты стоючи дримала;
Ня тыя мужики дураки,
Што міняютъ кони бізъ цаны,
А бьють жонычкі бізъ вины,
Бизъ вяликія причины,
Не наскіпаўши лучини».

Въ слѣдующей пѣснѣ калина уже обозначаетъ дѣвушку.

Непраўдивая калина
Да казала:
Твисти не буду (bis),
Зялёного листвика
Не пущу (bis),
Бѣлыга твяточка не люблю.
Якъ пришла висна, дакъ затвила,
Зялёный листвикъ пустила
И бѣленъкій твятокъ злюбила.
Непраўдивая Катичка
Да казала:
Замужъ ни пайду,
Маладого Романа не люблю.
Якъ пришла пыра, дакъ пашла,
Маладого Романа злюбила,
И ў слядокъ въ яго ступила.

Въ варіантахъ этой пѣсни вмѣсто калины является зозуля: не хотѣла она полетѣть въ боръ, полюбить соловья, а полюбила.

Далѣе: калина == дѣвушка, дѣвушку берутъ, калину ломаетъ женихъ, что въ духѣ разобранной выше символики топтанья или ломанья. Такъ въ одномъ варіантѣ: калина хвалится, что никто ее не сломаетъ безъ вѣтру, безъ бури, безъ дробнаго дождя; сломали ее дѣвки; хвалилась Дуничка, что никто не возьметъ ее безъ пива, безъ мёду, безъ горькой горѣлки; взялъ ее Ваничка.

Итакъ: калина — девственность, девушка; она пылаеть, и цвѣтеть, и шумить, ее ломаютъ, она хвастается. Изъ массы чедующихся | перенесеній и приспособленій обобщается иѣчто 27 среднее, расплывающееся въ своихъ контурахъ, но болѣе или менѣе устойчивое; калина — девушка.

III.

Разборъ предыдущей пѣсни привелъ насъ къ вопросу о развитіи народно-пѣсенного параллелизма; развитіе, переходящемъ, во многихъ случаяхъ, въ искаженіе. Калина-девушка: далѣе слѣдуетъ въ двухъ членахъ параллели: вѣтеръ, буря, дождь = пиво, мѣдъ, горѣлка. Удержано численное соотвѣтствіе, безъ попытки привести обѣ серіи въ соотвѣтствіе содержательное. Мы направляемся къ 2) параллелизму формальному. Разсмотримъ его precedенты.

Однимъ изъ нихъ является — *умолчаніе* въ одномъ изъ членовъ параллели черты, логически вытекающей изъ его содержанія въ соотвѣтствіи съ какой нибудь чертой второго члена. Я говорю объ умолчаніи,— не объ искаженіи: умолчанное подсказывалось на первыхъ порахъ само собою, пока не забывалось. Отчего ты рѣчка не всколыхнешься, не возмутишься? поется въ одной русской пѣснѣ: нѣть ни вѣтра, ни дробнаго дождика? Отчего, сестрица-подруженька, ты не усмѣхнешься? Нечего мнѣ радоваться, отвѣчаетъ она, нѣть у меня тятиньки родимаго. (См. латышскую пѣсню: Что съ тобою, рѣчка, отчего не бѣжишь? что съ тобою, девица, отчего не поешь? Не бѣжитъ рѣчка, засорена, не поетъ девица, сиротинушка). Пѣсня переходитъ затѣмъ къ общему мѣсту, встрѣчающемуся и въ другихъ комбинаціяхъ, и отдельно, къ мотиву, что отецъ просится у Христа отпустить его поглядѣть на дочь. Другая пѣсня начинается такимъ заглавіемъ: Течеть рѣчка, не всколыхнется; далѣе: у невѣсты гостей много, но некому ее благословить, нѣть у нея ни отца, ни ма-

тери. Подразумѣвается выпавшая параллель: рѣчка не вскользнется, невѣста сидѣть молча, не весело.

Многое подобное придется подсказать въ приведенныхъ выше примѣрахъ: высоко ходить луна, звѣзды ей спутницы; какъ печально человѣку, когда женщина его обманываетъ (№ 60), то-есть не сопутствуетъ ему. Либо въ турецкихъ четверостишіяхъ №№ 71, 72: два членока ёдуть рядомъ; у кого милая не вѣрна (не ёдетъ съ нимъ рядомъ), у того сердце истекаетъ кровью; катится ручей, вода уголила мою жажду,— а твоя мать будетъ мнѣ тещей, то-есть ты утолишь мою жажду любви. См. 28 еще татарское четверостишие № 81: | Сорви вѣтку и брось въ воду, молодые годы назадъ не вернутся, то-есть они ушли безвозвратно, какъ брошенная въ воду вѣтка и т. д.

Иной результатъ являлся, когда въ одномъ изъ членовъ параллели, происходило *формально-логическое развитіе выраженного въ немъ образа или понятія*, тогда какъ другой отставалъ. Молодъ: зелень, крѣпокъ; молодое и весело, и мы еще слѣдимъ за уравненіемъ; зелено-весело; но веселье выражается и пляской — и вотъ рядомъ съ формулой: въ лѣсу дерево не зеленѣетъ, у матери сынъ не весель — другое: въ лѣсу дерево безъ листвьевъ, у матери дочь безъ пляски. Мы уже теряемъ руководную нить. Или: хилиться (склоняться: о деревѣ къ дереву): любить; вмѣсто любить: вѣнчаться; либо изъ хилиться — согнуться, и даже *на двое*:

«Зогнулася на двое лещинонъка,
Полюбылася да зъ козакомъ дѣвчинонька».

Или другая параллель: гроза, явленія грома и молний вызывали представлѣніе борьбы, гулъ грозы — гулъ битвы, молотьбы, гдѣ «снопы стелютъ головами», или пира, на которомъ гости перепились и полегли; отгуда — битва = пиръ и, далѣе, варенье пива. Это такое же одностороннее развитіе одного изъ членовъ параллели, какъ въ греческомъ *χαλλιζlέφαρον φῶς*: солнце-глазъ, у него явились и рѣсицы.

Внутреннему логическому развитию отвечает внешнее, обнимающее порой оба члена параллели, съ формальнымъ, несодержательнымъ соотвѣтствиемъ частей. Такъ въ нашемъ № 9: хмельзять свился, сошелся съ овсомъ-тестемъ:

Ай за гумномъ асина,
Ай теща зятя прасила.

Послѣдняя параллель не выдержанна, какъ будто вызвана ассонансомъ, желаніемъ сохранить кадансъ, совпаденіе удареній, не образовъ, какъ въ характерномъ примѣрѣ, приведенномъ выше: вѣтеръ, буря, дробный дождикъ = пиво, мѣдь, горѣлка, или въ нашемъ № 21: горохъ посѣянъ при долинѣ, при ясномъ солнцѣ = Марушку сватаютъ при родѣ (= долина), при матери. Либо въ пинской свадебной пѣснѣ: ищутъ голубки (утки), а она въ очереть ушла; ищутъ дѣвушки, а она въ кѣль пошла (уже въ домѣ жениха),

Ключами забражджела,
А сукнями зашастѣла.

Въ первой части параллели этимъ стихамъ отвѣчаютъ слѣдующіе:

Черетына похилилася,
Утоўка сторонылася.

| Содержательный параллелизмъ переходитъ въ ритмический, преобладаетъ музыкальный моментъ, при ослабленіи внутреннихъ соотношеній между деталями параллелей. Получается не чередование внутренне-связанныхъ образовъ, а рядъ ритмическихъ строкъ безъ содержательного соотвѣтствія. Вода волнуется, чтобы на берегъ выйтіи, дѣвушка наряжается, чтобы жениху угодить, лѣсь растетъ, чтобы высокимъ быть, подруга растетъ, чтобы большой быть, волосы чешетъ, чтобы пригожей быть (чувашская).

Иногда параллелизмъ держится лишь на согласіи или созвучіи словъ въ двухъ частяхъ параллели:

*Красычка хараша,
Калинка ў лозы
Краши того,
Ваничка жанитца ёдить.*

А чія жъ это пашаниченка,
Што доліл й гони,
А што долгія гони?
А чія-жъ эта дѣучиночка,
Што чернил брови?

А ю мѣсица два рога,
У Матвѣйки два брата.

Дѣвшка — яблоня въ саду, за дѣвшкой ухаживають двое,
и милый печалится, но пѣсня (моравская) увлекласьозвучіемъ и
говорить о двухъ яблоняхъ (Mam já jednu zahrádečku, dvě
jablká v ní).

Ай тямно, тямно у лузи,
Тямпій у свата на дворѣ,
Быяре вароты обняли.

А ў маҳу, ў маҳу журавини буйни,
Ай буйни, буйни, да буйнѣшеньки.
Ай, у Данькови да — й робяты дурни,
Ай дурни, дурни, дай дурнѣшеньки.

На обѣихъ рукахъ у меня по запястью,
Не будетъ-ли тяжело моимъ рукамъ.
Если я не пойду за милой,
Не будетъ-ли тяжело душъ?

(Чувашская).

Я купилъ разныхъ цвѣтовъ,
Чтобы посадить ихъ въ саду;
Но не купить счастья за деньги,
Если Богъ дастъ его.

(Татарская).

Въ слѣдующемъ чувашскомъ четверостишіи намѣчено и со-
отвѣтствіе содержанія между двумя членами параллели, но держ-
ится она на риомѣ: риомуютъ по чувашски, «не нужно слѣдить»
и «не должно перечить»:

За чернымъ лѣсомъ выпалъ сиѣгъ,
Тамъ черная куница проложила слѣдъ;
Не нужно слѣдить по слѣду черную куницу,
Не должно перечитывать имена отца и матери.

Татарскія и тентярскія четверостишнія — параллели также бывають построены на соотвѣтствіи риомы во 2-мъ и 4-мъ стихѣ. Именно этотъ элементъ риомы или созвучія слѣдуетъ имѣть въ виду при изученіи народно-пѣсенной символики: часто онъ ее прикрываеть, и толкованіе вступаетъ на ложный путь, не принявъ его въ расчетъ. Намъ знакома параллель: горить калина — дѣвушка плачетъ (*горючими*) слезами; дальнѣйшая параллель: *куриться — журиться* едва ли не поддержаны риомой, какъ *хмара — пара* въ слѣдующей пѣснѣ пинчуковъ:

За боромъ черна *хмара*,
За столомъ людѣй *пара*,
Обос молодые,
Лѣкъ квѣты ружовые.

Хмѣль вьется по тыну: дѣвушка льнетъ къ парню; по выюющійся хмѣль, можетъ быть, и парень: онъ лѣзетъ на тычину, дерево; въ русскихъ пѣсняхъ дѣвушка поетъ въ хороводѣ:

Хмѣль ты мой, хмелюшко, веселая головушка,
Перевейся, хмелюшко, на мою сторонушку.

Когда хмѣль просится ночевать, гдѣ женушки молодыя, повадился къ дѣвушкамъ ходить — то это развитіе того же образа: виться — лѣнуть; но когда, въ малорусскихъ пѣсняхъ, поется:

Хмѣль вьеться — козакъ *бѣнѣся*,

риома уже заслонила образъ.

Изъ русскихъ пѣсень укажемъ еще на риомы къ *коси*: образъ дѣвушки — *красы* вызывалъ понятіе *косы*; коса сравнивается съ коноплею: вѣтеръ ее разсыпалъ, не дасть ей постоять, женщихъ расплелъ косу певѣстѣ, не дасть ей погулять. Либо коса — черный шелкъ. Риома: *роса* явилась | въ чередованій зи

другихъ образовъ; «повій вітре, дорогою, за нашою молодою; розмай і косу, якъ літнюю росу»; или «дівоцька краса, як літняя роса». Произошло смѣшеніе параллелей—риомъ, обнявшее *красу*, *косу* и *росу*, либо *росу*—и *косу*, какъ въ слѣдующей пѣснѣ:

Плавала вутица по росѣ,
Плакала Машинька по косѣ.

Въ свадебномъ обрядѣ приглянулась другая риома: красота—высота: «Гдѣ-же мы будемъ ихъ сводить», спрашиваетъ жениховъ дружка у невѣстина, «подъ дѣвичьей красотой (то-есть въ избѣ), или небесной высотой» (то-есть на улицѣ), иначе? И красота—лента въ косѣ невѣсты, коса (?): въ русской пѣснѣ она хочетъ бросить ее въ Волгу, къ бѣлымъ лебедушкамъ:

Отойду я, лягу, послушаю:
Не кицетъ ли лебедь бѣлая,
Не плачетъ ли дѣвъя красата
О моей буйной головѣ?

Миоологи могли усматривать въ красѣ—косѣ—росѣ нечто миѳическое, архаично-тождественное; я уже отвѣтилъ на это сомнѣніемъ: неужели и дѣвушка представлялась, напримѣръ, паутиной? Въ послѣднемъ случаѣ передъ нами образъ, держащийся лишь въ связи параллели, въ первомъ все дѣло въ созвучіи. Риома, звукъ воспреобладалъ надъ содержаніемъ, окрашиваетъ параллель, звукъ вызываетъ отзвукъ, съ нимъ настроеніе и слово, которое родить новый стихъ. Часто не поэты, а слово повинно въ стихѣ:

Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache,
Die fr dich dichtet und denkt, glaubst du schn Dichter zu sein?

«Вместо того, чтобы сказать: идея вызываетъ идею, я скажаль бы, что слово вызываетъ слово», говоритъ Ришэ; «еслибы поэты были откровенны, они признались бы, что риома не только не мѣшаетъ ихъ творчеству, но, напротивъ, вызывала ихъ стихотворенія, являясь скорѣе опорой, чѣмъ помѣхой. Еслибы мнѣ

дозволено было такъ выразиться, я сказалъ бы, что умъ работает каламбурами, а память — искусство творить каламбуры, которые и приводятъ, въ заключеніи, къ искомой идеѣ».

Только риома Nodier: amandier вызвала у Миоссѣ одно изъ самыхъ граціозныхъ его стихотвореній. Это параллель къ красѣ — косѣ — росѣ. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant (V. Hugo, Contemplations).

| Параллель сложилась: содержательная, музыкальная: отло- 32 жились изъ массы сопоставленій и перенесеній и такія, которыя получили болѣе или менѣе прочный характеръ символовъ: женихъ, сватъ = соколь; невѣста, дѣвица = калина, роза и т. д. Къ нимъ пріучаются, они пріобрѣтаютъ характеръ нарицательныхъ — и переносятся въ такія сочетанія, гдѣ ихъ не ожидаешь по связи образовъ. Въ нѣмецкихъ пѣсняхъ обычень образъ дерева и подъ нимъ источника: то и другое символъ дѣвушки; явился соколь, ломающій вѣтки сада, то-есть похищающій невѣсту; въ сербской пѣснѣ Мица даетъ розу сивому соколу: «Оно ни био сивы сокол, него младостина»; въ русской соколы (сваты) разсыпали крупенъ жемчугъ (слезы), распухли черный шолкъ (косу); такъ толкуется сонъ невѣсты; либо крупенъ «жемчугъ» разсыпалъ «сизый орелъ». Калина — дѣвушка стоитъ, плачетъ передъ звѣздой — матерью; или женихъ = мѣсяцъ, невѣста = звѣзда: выйдемъ оба разомъ, освѣтимъ небо и землю, то-есть сядемъ заразъ на посадъ (малор. пѣсня)¹⁾. Формула полюбилаась: засвѣтимъ всѣ разомъ, говорить мѣсяцъ = женихъ звѣздамъ = поѣзданамъ въ одной пинской пѣснѣ: это женихъ зоветъ свою родню — воевать съ тестемъ; въ латышской пѣснѣ мѣсяцъ съ звѣздами спѣшить на войну — на помощь молодымъ парнямъ. — Мы уже знаемъ, что косить, жать — символы любви; они понятны при женихѣ, косцѣ и т. д., какъ въ нѣмецкихъ плясовыхъ

1) (Солнце — женихъ, мужъ; невѣста, жена — зоря) Сл. Brunnhafer, Ueb. d. Geist. d. Indischen Lyrik. Ipz. 1882, стр. 10: Rigveda I, 115: gleichwie ein Bräutigam seiner Braut nachfolget, so Sürge seiner Gattin Morgenröthe.

пѣсняхъ (Habermähen), не въ малорусской, гдѣ они перенесены на дѣвшку:

Было ж не іти жито жати,
Було ж іти конопель брати.
Було ж не іти, дівча, заміж,
Було ж мене молодца ждати.

Языкъ народной поэзіи наполнился іероглифами, понятными не столько образно, сколько музикально, не столько представляющими, сколько настраивающими; ихъ надо помнить, чтобы разобраться въ смыслѣ. Кстати параллель изъ области христіанской символики: надо знать, что пѣтухъ — символъ Христа, левъ — дьявола, чтобы понять изображенія на портали Альдорфской церкви во Пфорцгеймѣ: пѣтухъ въ борьбѣ со львомъ, затѣмъ онъ же стоять на лвѣ, связаннымъ цѣпями.

За смышеніями явились созвучія, довѣщающія сами себѣ, какъ созвучія: коса — роса — краса; текстъ нѣкоторыхъ изъ нашихъ инородческихъ пѣсень лишенъ всякаго смысла, слухъ ласкаетъ риома.

Это — декадентство до декадентства; разложеніе поэтическаго языка началось давно. Но что такое разложеніе? Вѣдь и въ языкѣ разложение звуковъ и флексій приводить нерѣдко къ побѣдѣ мысли надъ связывавшимъ ее фонетическимъ знакомъ.

IV.

Припомнимъ основной типъ параллели: картина природы, съ цветкомъ, деревомъ и т. д., протягивающая свои аналогіи къ картинѣ человѣческой жизни. Та и другая половина параллели развертывается по частямъ, во взаимномъ созвучіи, анализъ порой разростается, переходя въ цѣлую пѣсню; но обѣ этомъ далѣе. Порой параллельная формула стоитъ нѣсколько уединенно въ началѣ или запѣвѣ пѣсни, лишь слабо связанныя съ дальнѣйшимъ развитиемъ, либо не связанныя вовсе.

Это переводить насъ къ вопросу о пѣсенныхъ запѣвахъ по отношенію къ параллелизму. Въ татарскихъ пѣсняхъ они нерѣдко состоять изъ безсмысленного подбора словъ, какъ часто въ народныхъ французскихъ refrains; ни тѣ, ни другіе не крѣпки извѣстной пѣснѣ, а поются и при другихъ, даже въ такихъ случаяхъ, когда запѣвъ или припѣвъ не лишены资料ного значенія, обзывающаго, казалось бы, къ пѣкоторому соотвѣтствію съ тѣмъ, о чёмъ поется; татарская «сложная» пѣсня состоять изъ протяжной и плясовой (такмакъ); послѣднія поются и отдельно, но въ составѣ сложныхъ онѣ играютъ роль припѣва, и эти припѣвы менятся при одной и той же пѣснѣ. И наоборотъ: литовскія и латышскія пѣсни несходнаго содержанія нерѣдко начинаются съ одного и того же запѣва, напримѣръ: Ёду верхомъ, Ёду верхомъ и т. п.

Послѣднее явленіе объяснили споровкой пѣвцовъ: имъ нужно было расходиться, распѣтися, чтобы имѣть время припомнить текстъ; въ такомъ случаѣ все дѣло было въ напѣвѣ, слова безразличны, либо являлись капризнымъ развитіемъ восклицанія, звукоподражаніемъ свирѣли, или какому нибудь другому инструменту, какъ часто во французскомъ refrain. Это открыло бы нашимъ запѣвамъ и припѣвамъ довольно почтенную историческую перспективу, въ ту сѣдую древность, когда въ синкретическомъ развитіи пляски — музыки — сказа ритмической элементъ еще преобладалъ надъ музыкальнымъ, а слова пѣсни намѣчались слабо, междометіями, отдельными фразами, медленно направляясь къ поэзіи. Точки зреїнія, установленные въ предыдущей главѣ, побуждаютъ меня видѣть въ безсмысленности и бродячести refrains, запѣвовъ явленіе позднее, отвѣчающее той же стадіи развитія, которое вызвало явленіе музыкального параллелизма, 34 игру въ риому и созвучія, обобщило символы и разметало ихъ въ призрачныхъ, настраивающихъ сочетаніяхъ по всему пѣсенному раздолю. Въ началѣ запѣвъ могъ быть крѣпокъ пѣснѣ, и я не прочь предположить въ иныхъ случаяхъ, что въ немъ отразилась забытая формула параллелизма. Я привелъ тому два при-

мѣра¹⁾, къ которому подберется, быть можетъ, и нѣсколько другихъ: былинный запѣвъ: Глубоко, глубоко окіанъ море Глубоки омыты Днѣпровскіе—построенъ на представлениі глубины и именно Днѣпра, по которому поднимается Соловей Будимировичъ въ открывающейся затѣмъ былинѣ; refrain одной французской пѣсни объясняется изъ знакомаго народной поэзіи параллелизма: любить — замутить — загрязнить. Когда такая формула обобщалась, ея реальный смыслъ блѣднѣлъ, но она уже успѣла стать выразительницей извѣстнаго настроенія въ составѣ той пѣсли, которую она открывала или къ которой вела. Въ запѣвахъ нашихъ пѣсенъ: Ходила калина, ходила малина, или: Калинушка, малинушка, розолевый цвѣтъ! какъ и въ припѣвѣ: Калина, малина! исчезли всякие слѣды реального символизма.

Этимъ объясняется перенесеніе такихъ обобщенныхъ формулъ въ другія пѣсни сходнаго тембра и новая роль, въ которой начинаетъ выступать запѣвъ: онъ не поддерживаетъ память пѣвца, не вызываетъ пѣсни, а приготавляетъ къ ея впечатлѣнію, приготавляетъ и слушателей, и пѣвца своею метрическою схемой. Такъ въ сѣверныхъ балладахъ: въ шведской пѣснѣ обѣ увозѣ Соломоновой жены refrain такой: Хочется мнѣ побѣхать въ лѣсы! ²⁾). Между содержаніемъ пѣсни и припѣвомъ нѣть, видимо, ничего общаго, но припѣвъ настраиваетъ къ чему то далекому, на далекіе пути, по которымъ совершится умыканье.

Самостоятельно параллельныя формулы существуютъ, какъ я сказалъ, въ видѣ отдѣльныхъ пѣсенокъ, чаще всего четверостишій, которыя представились мнѣ ³⁾ антифоническимъ сочетаніемъ пары двустишій, либо развитіемъ одного, ибо его формами исчерпывалась психологическая парность образовъ. По новымъ

1) Эпическая повторенія, какъ хронологическій моментъ, *Журналъ Министерства Народного Просвещенія СССР*, отд. II, стр. 295, 1897, № 4.

2) Шведская баллада обѣ увозѣ Соломоновой жены, стр. 4 прим. 1 отдѣльного оттиска.

3) Новыя книги по народной словесности, *Журналъ Министерства Народного Просвещенія*, 1886, мартъ, стр. 193. Сл. четверостишія: хорватскія *grodskoenice* у Kreuss'a, Sitte u. Brauchn. d. *Südslaven*, 1885, p. 458.

наблюдениямъ именно къ | двустишю восходятъ народныя ла- 35
тышскіе quatrains; тема извѣстнаго (малор., бѣлор., великор.,
польск.) четверостишія:

Зеленая руточка, жовтый цвѣтъ,
Не піду я за ілюбома, піду въ світъ,

и т. п. дана въ первыхъ двухъ-стихахъ. Варіантами этой формулы я занимался по другому поводу¹⁾; варіантами и примѣненіями: рута была символомъ дѣственности, отчужденія, разлуки и т. д.; ее топчутъ; пѣсня о ней являлась естественно въ обиходѣ свадьбы, переносясь въ разные ея моменты, то отвлекаясь отъ обряда, то смѣняя традиціонный образъ руты — въ розу (Червонная рожухна, жоутый цвѣтъ). При этомъ образъ цвѣтка стирался: Зеленая сосенка, желтый цвѣтъ — и, даже: Далекая дороженька, жовтый цвїтъ, — и первая часть параллели теряла постепенно свое соотвѣтствіе со второй, принимая значеніе запѣва неустойчиваго, переходнаго, что и дало мнѣ поводъ освѣтить его аналогіей явленіе цвѣточныхъ запѣвовъ въ народныхъ итальянскихъ stornelli.

Это двустишіе или трехстишіе, либо парѣ стиховъ предшествуетъ полустихъ съ названіемъ цвѣтка, при чёмъ первый стихъ или полустихъ не приготовляется, повидимому, къ содержанию слѣдующихъ. Я полагаю вѣроятнѣмъ, что связь была, но забылась²⁾. Она ощущается напримѣръ въ нашемъ № 56: а) цвѣть тростины! Кто хочетъ тростины, пусть идетъ въ тростникъ, б) кому приглянулась дѣвушка, пусть подладится къ маменькѣ.

1) См. мой академический отчетъ о сборнике Чубинской, стр. 38 слѣд.

2) *Maspero* въ отчетѣ о книгѣ Joret (*Journal des Savants* 1897 Août, стр. 481, 482) вспоминаетъ объ итальянскихъ stornelli по поводу одного египетскаго текста, къ сожалѣнію, испорченного, каждый куплетъ которого открывается названіемъ растенія, аллитерирующими съ слѣдующимъ глаголомъ. Даётся это не безъ натяжекъ, и созвучіе исчезаетъ въ переводѣ. Образчикъ послѣдняго у *Macspero*: O armoises (чернобыльникъ, полынь) de mon frère, devant qui on se sent plus grand! Moi, la soeur, la première (de toutes), je suis comme un jardin où l'on fait pousser des fleurs et des plantes parfumées de toutes espèces, où j'ai creusé un canal pour y plonger ta main, au frais de l'aquilon; une place délicieuse où promener ta main sur ma main, le sein ému d'un doux souvenir. — Символика сада и утоленной жажды намъ извѣстны.

Или:

Fior della canna!
La canna è lunga e tenerella,
La donna ti lusinga e poi t'inganna.

(Тростинка гибка, ей нельзя довѣриться; дѣвушка тоже, она
36 обманетъ); |

Fiore di grane!
Che dde lu grane se ne viè lu fiore,
Che bbelle ggiuvenitt'e ffa l'amore.

(шеница даетъ цвѣть, дѣвушка цвѣтеть любовью). Либо образъ тростника вызываетъ знакомую намъ параллель: склоняться: любиться:

Fiore di canna!
Moviti a compassion, viemmi a piglia,
Ora che gli è contenta la tua mamma,

тогда какъ въ слѣдующемъ stornello запѣвъ о тростникѣ очутился общимъ мѣстомъ, воскликаніемъ:

Fiore di canna!
La madre del mio amore è una gran donna,
Mi sa mill' anni di chiamalla mamma.

Съ каждымъ новымъ цвѣткомъ могли явиться новыя отношенія, новыя подсказыванія; когда содержательный параллелизмъ пересталъ быть внятнымъ, одинъ цвѣтокъ могъ явиться вмѣсто другого, безъ различія; лишь за немногими остался символическій смыслъ, напоминающій калину, руту нашихъ пѣсенъ. Такъ въ южной Италии въ ходу сравненіе любимой дѣвушки съ рутой, но тотъ же цвѣтокъ означаетъ, какъ и у насъ, удаленіе, отчужденіе, разладъ:

E l'amor mio m' ha mando la ruta,
E mi ha mandato a dir che mi rifiuta.

Дать отвѣдать чесноку — наглумиться надъ кѣмъ; корка (*zagra*) апельсина (горька, какъ) — ревность. Но въ общемъ цвѣтокъ запѣва утратилъ свою суггестивность, центръ тяжести лежитъ на общемъ понятіи *цветка*, вмѣсто него — букетъ, листокъ,

вѣтка, стебель, дерево (*fiore d'arcipresso, mazzo di viole, foglia, fronde d'ulivo*, и т. д.); цветы копятся въ одномъ и томъ же запѣвѣ (*ramerin et salvia*), прозаические, ничего не подсказывающіе (напримѣръ *fagiolo bianco, fagiogli sciutti* = бѣлый, сухой бобъ и др.), фантастические, причемъ выступаетъ отвлеченнное понятіе *fiore*, какъ лучшаго, совершеннаго, «цвѣтъ чего нибудь», напримѣръ, юности. Оттуда такія формулы, какъ *fior di farina, di miele, di penna, d'argento, di gessò, di piombo, di tarantola* (цвѣтъ муки, меда, травы, серебра, гипса, свинца, тарантулы), даже *fior di guai* (цвѣтъ печали) и *fior di gnente* (цвѣтъ ничего)!

Развигіе кончилось игрой въ привычную формулу, хотя лишенную смысла, порой съ отгѣнкомъ пародіи; игрой въ созвучія и риому, чему примѣры мы видѣли выше:

Fior d' erba *bella*! |
Più cresce il fiume e più legno va e galla,
Più vi rimiro e più vi fate *bella*.

37

Fiore di *mora*!
Tiettelo a mente; anima cara,
Chi fortuna non ha, meglio è che *mora*.

Иначе цвѣточный запѣвъ обратился во внутренній refrain, съ измѣненіями, идущими на встрѣчу риомъ; такъ въ прелестномъ тосканскомъ *rispetto*:

E lo mio amor me l'ha donato un nastro
Tutto turchino e ramezzato d'oro;
Che l'ha legato in mezzo d'un bracino,
E quello mi sostiene ch'io non moro,
Me l'ha legato in mezzo d'un deto,
Fronde d'olivo e ramo d'abete,
Me l'ha legato in mezzo del petto,
Fronde d'olivo e ramo di cipresso,
Me l'ha legato in mezzo del cuore,
Fronde d'olivo e rama di viole.

Припѣвы французскихъ rondes, кажущіеся чуждыми содержанію пѣсни, вѣроятно, того же происхожденія:

Petit grain de froment!
Toi, qui vas, légèr' bergère,
Petit grain de froment!
Toi qui vas légèrement,
Toi qui vas, légèr' bergère,
Toi qui vas légèrement.

Или:

La belle fougère,
La fougère grainera.

La violett' se double, se double
La violett' se doublera.

Въ румынскай народной поэзии цветочная параллель осталась запечатленной, какъ въ Италии, съ такимъ же формальнымъ характеромъ. Она только настраиваетъ, не протягивается въ пѣсню; господствуетъ образъ не цветка, а зеленої вѣтки: *Frună verde alunică*, *Frună verde salbă mole*, *Frunăluță de dudeй* и т. д.

Происхожденіе италіанскихъ *fiori* искали на востокѣ, въ селамъ = привѣтствіи красавицъ — цветку; другіе устранили востокъ, указывая | на общепоэтическій приемъ, отождествленіе дѣвушки, милой, съ розой, лиліей и т. п. Но такое отождествленіе явилось не вдругъ, соколь, калина и т. п. прошли нѣсколько стадій развитія, прежде чѣмъ стать символами жениха, дѣвушки, и этихъ стадій позволено искать въ отраженіяхъ народно-поэтическаго стиля; къ этому ведетъ и аналогія русскихъ четверостишій о рутѣ. Востокъ исключается и народнымъ характеромъ нѣкоторыхъ игръ, въ которыхъ подобные *fiori* могли слагаться. Южно-французскія серенады, *flouretas*, которыя парни даютъ дѣвушкамъ, кончаются куплетами, импровизованными на тотъ или другой цветокъ. Извѣстно, что италіанскіе *stornelli* пѣлись амебейно, въ смѣнѣ вопросовъ и отвѣтовъ; въ рукописи XVI-го вѣка сохранился такой *fiore*:

Voi siete un fiore? Che fiore?
Un fior di mammoletta (фіалка),
Qualche mercede il mio amore aspetta.

Въ Маркахъ игра въ «*fiore*» сопровождается пляской; передаютъ другъ другу цветокъ:

Questo è un fiore.
Chi me l' manda? Amore.
Amore ve lo manda
E vi si raccomanda.

у Fortiguerrri (Ricciardetto XIII) игра описана такимъ образомъ:

86.

Ma quel che ciacque più fu quel del fiore;
Perchè una d'esse a un pescatore dicea:
Tu se' un bel fiore. Ed egli pien d'amore:
Che fior son io, fanciulla? rispondea...
Ed ella co' begli occhi tutti ardore
Guardandolo diceva e insieme ridea:
Tu sei, se non isbaglio, un fior di pero,
Dici d'amarmi, ma non dici il vero.

87.

E quegli rispondeva similmente:
Voi siete un fior dl rosa e di viola,
E siete in beltà sola veramente.

Позже эта игра спустилась къ уровню салона, jeu de societé; такъ въ Римъ и въ Тосканѣ: руководитель зовется «il Bel Mazzo», онъ раздаетъ играющимъ по цвѣтку; когда всѣ разсѣлись, онъ говорить, напримѣръ:

Mentre qui solitorio il passo muovo, |
Cerco del gelsomino e non lo trovo:

39

тогда тотъ, у кого въ рукахъ жасминъ, отзыается:

Quel-vago fior son io?

Si, caro bene, addio, отвѣчаетъ руководитель, и они мѣняются мѣстами.

При этомъ значеніе цвѣтка не играетъ никакой роли, какъ и въ лорренскихъ dayemens, представляющихъ интересную параллель къ вырожденію итальянскаго пѣсеннаго запѣва. Дѣло идеть о пѣсенномъ преніи, прежде обычномъ во французскихъ деревняхъ мозельскаго департамента. Во время зимнихъ посидѣлокъ,

особенно по субботамъ, дѣвушка или парень стучались въ окно избы, гдѣ собралось для работы и бесѣды нѣсколько женщинъ, и предлагали: *voleue veu dayer?* Изнутри отвѣчали; слѣдовалъ обмѣнъ вопросовъ и отвѣтовъ въ стихахъ съ риомой: двустиція, чаще всего сатирическаго содержанія, съ цвѣтнымъ запѣвомъ по формулѣ: *Je vous vends:*

Je vous vends la blanche laitue!

Eh, faut-il que l'on s'esvertue
De bien aimer un bon ami!

*Je vous vends la feuille de persil sauvage
Qui est dans votre menage.*

Запѣвы разнообразятся: *Je vous vends la feuille de veigne;* *les remoris; mon tablier de soie; l'or et la couronne,* наконецъ: *je ne sais quoi,* какъ въ италіанскомъ *fior di niente.* Игра эта зовется *ventes d'amour;* у *Christine de Pisan* въ *Jeux à vendre* пѣсенки эти получили литературную обработку:

*Je vous vends la passe rose:
Belle, à dire ne vous ose
Comment amour vers vous me tire,
Si l'apercevez tout sans dire* ¹⁾.

Цвѣточныя зачала *stornelli*, румынскихъ *frundi* и *dayements* и игры въ «*fiore*» представляются мнѣ результатомъ развитія, точку отправленія котораго можно построить лишь гипотетически. Въ началѣ коротенькія формулы параллелизма въ стилѣ намѣ 40 извѣстныхъ; можетъ быть, игровыея пѣсни, съ амебейнымъ исполненіемъ такихъ дву- или четверостишій; съ одной стороны выработка болѣе постояннаго символизма, съ другой обветшаніе цвѣтовыхъ запѣвовъ въ формальныя, переходныя, свободно-при-

1) Формула: *Je vous vends* — напоминаетъ обмѣнъ шутокъ при раздачѣ свадебныхъ подарковъ на малорусской свадьбѣ: Даруюць хлопци.....того кабана, що за Дніпромъ ходзиць, лычемъ дре, хвостомъ боронуйе, все тейе Бугъ поровнуйе; Дарую тоби коня, що по-полю ганя: якъ піймаєшъ, то твій буде.

мѣнимые. На этой точкѣ развитія остановились stornelli и dayemens; когда эти измѣненія или искаженія проникли въ игровую пѣсню, получился *il giuoco del fiore*.

Подтвержденію предложенной гипотезы могли бы послужить слѣды народно-пѣсенного параллелизма въ средневѣковой художественной лирикѣ, по ихъ немнога, и они ощутимы развѣ въ манерѣ, какъ усвоенъ былъ чужой поэтическій приемъ. Лирика трубадуровъ, какъ и древнѣйшихъ труверовъ и миннезингеровъ, предполагаетъ, разумѣется, народныя начала, но позывъ къ личному творчеству, сознаніе поэтическаго акта, какъ серьезнаго, самодовлѣющаго, поднимающаго, все это явилось не самостоятельно, не изъ импульса народной пѣсни, которая и нравилась и не цѣнилась, была дѣломъ, когда поминала славные подвиги или призывала небожителей, либо любовнымъ бездѣлемъ, заподозрѣнныемъ церковью, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ не вызывая критерія—поэзіи. Этотъ критерій явился, а вмѣстѣ ощущилась и цѣнность поэтическаго акта, подъ вліяніемъ классиковъ, которыхъ толковали въ средневѣковой школѣ, которымъ старались подражать на ихъ языкѣ. У Гораций читали:

Solvitur acris hiems grata vice veris et Favoni (Od. I, 4);
Diffugere nives: redeunt jam gramina campis
Arboribusque comae (Od. IV, 7);
Iam veris comites, quae mare temperant,
Impellunt animae lintea Thraciaë;
Iam nec prata rigent, nec fluvii strepunt,
Hiberna nive turgidi (Od. IV, 12);

у Фортуната:

Tempora florigera rutilant distincta sereno,
Et majore poli lumina porta patet (III, 9)
Vere novo, tellus fuerit dum exuta pruinis,
Se picturato gramine vestit aér (VI, 1).

Веселые воганты прошли классическую школу, усвоили ея общія мѣста, ея миоологическія иллюзіи, полюбили аллегоріи и картинки природы, которые они приводятъ въ соотношеніе съ внутреннимъ миромъ человѣка. Дѣлаютъ они это нѣсколько

абстрактно, не останавливаясь на реальныхъ подробностяхъ, болѣе намѣчая настроеніе; такъ или иначе, они идутъ на встрѣчу тому народно-пѣсенному параллелизму, который зиждется на 41 такомъ же совпаденіи, на зозвучіи виѣшней природы съ процессами нашей психики. Въ отрывкахъ старо-нѣмецкаго *Minensang'a*, не ощущившаго вліянія трубадуровъ и, черезъ ихъ посредство, классиковъ, параллелизмъ еще ощущается въ наивной свѣжести образовъ, какъ напримѣръ въ пѣсенкѣ о соколѣ — молодцѣ, съ которою мы встрѣтимся далѣе.

Такъ сплелась классическая традиція съ народно-пѣсеннымъ пріемомъ и, начиная съ XII вѣка, поражаетъ насъ однообразіемъ тѣхъ запѣвовъ, которые нѣмцы называли *Natureingang*. Рядъ формулъ, банальныхъ отъ частыхъ перепѣвовъ: весна идетъ, все цвѣтетъ въ природѣ, цвѣтетъ и любовь; или, наоборотъ: впечатлѣнія осени и зимы сопоставляются съ грустнымъ настроеніемъ чувства. Вспомнимъ народныя параллели: дерево зеленѣетъ, молодецъ распускается для любви, или «листъ опадаетъ — милый покидаетъ». Такихъ раздѣльныхъ аналогій въ средневѣковой художественной лирикѣ мы встрѣтимъ немногіо, интересъ исчерпывается общими мѣстами: весна, зима съ окружающими ихъ явленіями, съ другой стороны человѣческое чувство, то поднятое, то убитое; между отдельными членами параллели и ихъ образами не снують нити образнаго параллелизма. Общія мѣста старо-французской лирики, эпоса, фабліо построены по слѣдующей схемѣ: въ Апрѣль

Que li tens est souez et douz
Vers toute gent et amourous,
Li rossignols, la matinée,
Chante si clair par la ramée
Que toute riens se muert d'amour.

En Avril après Mai, que la rose est florie,
Li temps se renouelle et la jent est plus lie,
Li caudh revient et l'invers est cangie.

Ce fu el mois de Mai, ens le commencement,
Que l'erbe verte est née et la flor ensement,
Que li rosingneus chante ens el bos hautement,
Et menu oiseillon par esbaudissement,
Que maintiennent amor bacheler de jovent.

Et on voit chez buisson florir et bourjonner,
Par chez près verloians chez flouretes lever,
Pucheles et vallés danser et caroler,
Et toute rien fremist de joie demener. |

Ближе къ стилю народной поэзии немецкая безыменная 42
пѣсенка:

Die linde ist an dem ende nu járlanc sleht und blöz.
Mich vöhst min geselle.

Grune stat der schöne walt,
Des suln wie nu ursen balt.

Üf der linden obene dâ sanc ein kleinez vogellin.
Vor dem walde wart ez lüt:
Dô huop sich aber daz herze min
An eine stat, da'z é dâ was.
Ich sach die röse bluomen stân,
Die manent mich der gedanke vil.
Die ich hin zeiner vrouwen hän (Dietm von Eist 34, 3).

У Вольфрама фонъ-Эшенбахъ весеннее чувство просыпается въ параллель съ образомъ птицъ, баюкающихъ весною птенцовъ своими пѣснями (al des meigen zît si wegeten mit gesange ir kint.).

Такая отвлеченная формула параллелизма получила и другое развитіе, по идеѣ противорѣчія. Выше мы привели подходящій примѣръ; объяснивъ его умоляніемъ одного изъ членовъ параллели: высокая верба пускаетъ широкій листъ: велика моя любовь, а сердце изнываетъ въ разлукѣ (какъ листъ отлетѣлъ отъ вербы. См. стр. 23—24). Можетъ быть, и здѣсь мы вправѣ говорить о сопоставленіи по противорѣчію: весна идетъ, моя любовь должна бы цвѣсти, но она увядаетъ; и, наоборотъ, блаженство любви окружается образами зимы, все кругомъ окочено, только не чувство. Эта игра контрастами, которую нѣдко можно встрѣтить въ средневѣковой лирикѣ, указываетъ, что сопоставленія:

весны — любви и т. д. уже сложились; они естественны, ихъ со-
звукія, ихъ соотвѣтствія — ожидаютъ, а его нѣть, и тѣ же образы
сопоставляются по идеѣ противорѣчія; не на нихъ лежитъ центръ
тяжести, а на анализъ чувства, которому они даютъ вѣртуозное
выраженіе.

Въ одномъ эпизодѣ старофранцузского Парсивала Caradoc,
застигнутый въ лѣсу бурей, спрятался отъ дождя подъ вѣтви-
стымъ дубомъ и предается печальнымъ думамъ о своей любви.
Видѣть: на него движется что то свѣтлое, слышится пѣніе пти-
чекъ, въ полосѣ свѣта ёдетъ Alardin, рядомъ съ нимъ, на бѣломъ
мулѣ — красавица; соловьи, жаворонки, дрозды весело несутся
надъ ними, перелетая съ вѣтки на вѣтку и чирикая, такъ что
огласился весь лѣсъ. Парочка проѣхала на разстояніи шага отъ
43 Карадока; его привѣтъ не находитъ | отзыва; онъ мчится за
удалявшимися на конѣ, подъ дождемъ и вѣтромъ — и не можетъ
ихъ нагнать, а они движутся впередъ, все въ томъ же сіяніи,
подъ пѣніе птичекъ.

Параллель по контрасту — въ формѣ грёзы. Очевидно, по-
добный пріемъ могъ явиться лишь на относительно поздней стадії
развитія; весна — не въ весну — напоминаетъ и логическое по-
строение отрицательного параллелизма, не сопоставляющаго, а
выдѣляющаго сопоставленіемъ. Не бѣлая березка нагибается...
Добрый молодецъ кручиной убивается.

V.

Развитіе обоихъ членовъ параллели могло быть разнообраз-
ное, смотря по количеству сходныхъ образовъ и дѣйствій; оно
могло остановиться на немногихъ сопоставленіяхъ, и развер-
нуться въ цѣлый рядъ, въ двѣ параллельныхъ картинки, взаимно
поддерживающихъ другъ друга, подсказывающихъ одна другую.
Такимъ образомъ изъ *параллели запоеа* могла выйти пѣсня —
варъяція на его основной мотивъ. Когда хмѣль вѣтсется по тыну,
по дереву (парень увиается около девушки), когда охотникъ

(женихъ, свать) выслѣдилъ куницу (невѣсту), я представляю себѣ приблизительно, какъ пойдетъ дальнѣйшее развитіе. Разумѣется, оно можетъ направиться и въ смыслѣ антитезы: вѣдь охотникъ можетъ настичь — или и не настичь куницу. Нѣсколько Schnaderhüpfel начинаются запѣвомъ: пара бѣлоснѣжныхъ голубковъ пролетаетъ надъ озеромъ, лѣсомъ, домомъ дѣвушки, и она раздумалаась: и мой суженый — голубокъ скоро будетъ со мною! Или онъ не явится, и любви конецъ; одинъ варьянтъ развивается именно эту тему; дѣвушка настроена печально; въ запѣвѣ другого варьянта голуби даже не бѣлоснѣжные, а черные, какъ уголь¹⁾.

Развитіе могло разнообразиться и иначе. Рѣчка течеть тихо, не всколыхнется: у певѣсты-сироты гостей много, да некому ее благословить; этотъ знакомый намъ мотивъ анализуется такъ: рѣчка притихла, потому что поросла лозой, заплавали на ней члены; лозы и члены — это «чужина», родня жениха. Пѣсенка о рутѣ, уже упомянутая нами, развивается такимъ образомъ въ цѣлый рядъ варьятовъ, вышедшихъ изъ одной темы: удаленія, разлуки. Тема эта дана въ запѣвѣ: зеленая рутонька, желтый цвѣтъ (объ ея искаженіяхъ см. выше стр. 35). Либо сама дѣвушка хочетъ удалиться, чтобы не выйти за немилаго, либо милый просигъ ее уйти съ нимъ, и этотъ варьянтъ | развивается 44 отповѣдью: Какъ же мнѣ пойти? Вѣдь люди будуть дивоватися. Или невѣста не дождется жениха, матери, написала бы, да не умѣеть, пошла бы сама, да не смѣеть. Къ этому развитію примыкаетъ другое: ожидая жениха, дѣвушка свила ему вѣнки на зарѣ, сшила хустки при свѣтѣ, и вотъ она просигъ темную ночку помочь ей, зарю — посвѣтить. И пѣсня входить въ теченіе предыдущей: написала бы, да не умѣю, послала бы, да не смѣю, пошла бы, да боюсь.

Хорошимъ образцомъ цѣльной пѣсни, исключительно развившейся изъ основной параллели (соколь выбираетъ себѣ галку,

1) (голубки) Сл. Ἀλφάβητος τῆς ἀγαπῆς, ed. Wagner, № 94: τέσσερις τρυγόπουλα σ' τοὺς οὐρανοὺς πετοῦσιν, высматриваетъ себѣ подругу; такъ молодецъ стремится къ своей милой.

Иванушка — Авдотьюшку), можетъ служить слѣдующая, записанная въ Щигровскомъ уѣздѣ Курской губерніи:

- a Па падъ небисью исменъ соколь лятая,
Сы палёту чёрныхъ галокъ выбирая,
Онъ выбралъ себѣ галушку сизуя,
Онъ сизуя, сизуя, маладуя.
Сизая галушка у сокола прашалась:
«Атпусти мене, исменъ соколь, на волю,
Охъ на волю, на волю въ чистая поля,
Съ черными галками палятати».
— «Атпустиль бы тябе, галушка, ия будиши,
Пра мине, яснова сокола, забудиши».
«Прѣва буду, исменъ соколь, ни забуду,
Пра тибе ли, яснова сокола, успомни,
Охъ, успомни, успомни, васпамяну».
- b Па улицы, улицы шырбай,
Па улицы Иванушка прѣзжая,
Съ карагоду красныхъ дѣвокъ выбирая,
Онъ выбралъ себѣ дѣвшушку любуя,
Охъ любуд, любуя, Авдотьюшку маладуя.
Авдотьюшка у Иванушки прашалась:
«Атпусти мне, Иванушка, у гости,
Охъ у гости, у гости гаствати,
А въ радимова батюшки пабывати,
Съ подружками пагуляти».
— «Атпустиль бы, тябе, Авдотьюшка, ия будиши,
Пра мине ли, добрава молотца, забудиши».
«Прѣва буду, Иванушка, ия забуду,
Пра тибе-ли, добрава молотца, успомни,
Охъ успомни, успомни, успомяну».

Пѣсня развивается изъ запѣва, и запѣвъ можетъ снова вторгаться въ ея составъ, повторяясь, иногда дословно напоминая о себѣ, часто вплетаясь въ ходъ пѣсни и согласно съ тѣмъ видоизмѣняясь, какъ въ слѣдующей моравской:

*Už ty vršky zelenajú, už to děvču namľúvajú,
Už ty vršky sú zelené, už je děvča namľúvené;*

или въ пинской:

*Охъ вишенька, черешенька,
Съ-пидъ кореня зелененька,
Ой, за добрымъ жена мужемъ
Що дня вона веселенька.*

Но дерево подрублено, и пѣсня возвращается къ запѣву, варьируя его и настраиваясь на другую параллель:

*Oxi, вишенька, черешенька,
Съ-пидъ кореня дай затятая,
Ой, за благимъ жена мужемъ,
Що день — очи заплаканы.*

Порой измѣненія запѣва внутри пѣсни объяснимы лишь требованіемъ созвучія, но при ослабленіи символическихъ отношеній трудно опредѣлить, какая форма была первичною. Вотъ напримѣръ чешское четверостишие (плясовая):

*Záhon petřele.
Záhon mrkve,
Nepůdeme domů
Až se smrkne;*

въ другой пѣснѣ этотъ запѣвъ варьируется такъ:

*Záhon petřele,
Záhon maku,
Nechodte k nám, hoši,
Do baraku.
Záhon petřele,
Záhon prosa,
Nechodte k nám, hoši,
Když je rosa.
Záhon petřele
Záhon mrkve,
Ne chodte k nám, hoši,
Až se smrkne.
Záhon petřele,
Záhon zeli,
Nechoďte k nám, hoši,
Až v nedeli.*

Ср. ещепольскую пѣсенку:

*Wysoko, daleko,
Listek na jaworze, |
I ożeń się, kochanko,
O jusci to mocny Boże.
Wysoko, daleko
Listek na kalinie,
Kto zię s kim pokocha,
To się już nie mienie.*

Сходное впечатлѣніе получается, когда нѣсколько нѣмецкихъ Schnaderhüpfel, вышедшихъ изъ одного запѣва, сливаются вмѣстѣ въ одну пѣсню. Я выбралъ запѣвъ о голубкахъ:

Drei¹⁾ schneeweisse Täuble
Flieg'n über den Wald:
Schön Schatz hab' ich g'hatten,
War achtzehn Jahr alt.
Drei scneeweisse Täuble
Flieg'n hin und ä wieder:
Die Lieb ist vergange,
Kömmmt nimmer wieder.

Къ этимъ четверостишіямъ пристраиваются другія, развивающія ихъ настроеніе; отмѣчу третье:

Zu dir bin ich gange,
Zu dir hat's mir gefreut,
Zu dir komm ich nimmer
'S war's letzte Mal heut.

Импровизія алтайцевъ и телеутовъ состоитъ изъ *парныхъ* четверостишій, начинающихся съ одного и того-же, нѣсколько видоизмѣненного запѣва, что совершенно отвѣчаетъ типу спѣтыхъ вмѣстѣ Schnaderhüpfel о голубкахъ.

Кто разсыпалъ золотые листья?
Не была ли береза? Да, это она.
Кто распустилъ по спинѣ волосы?
Не жена ли моя? Да, это она.

Кто разсыпалъ серебристые листья?
Не синя ли береза? Да, это она.
Кто распустилъ волосы на затылкѣ?
Не моя ли невѣста? Да, это она.

«Бѣлый цвѣтокъ выросъ въ незнакомомъ мѣстѣ; ты, мой родной, идешь въ страну, гдѣ намъ съ тобой не поговорить».
47 Слѣдующее | четверостишіе замѣняетъ бѣлый цвѣтокъ — синимъ, вмѣсто: поговорить — повидаться.

1) Вѣроятно: Zwei, сл. выше стр. 43.

Какъ исполняются эти пѣсенки, амебейно, или нѣтъ, мы не знаемъ, но два такихъ четверостишія, построенныхъ на тавтологіи или антитезѣ, сиѣтыя подъ рядъ, дадутъ въ результатѣ пѣсню съ рядомъ повторяющихся *versus intercalares*—запѣвовъ: однихъ и тѣхъ же, развивающихъ, видоизмѣненныхъ, паконецъ, запѣвовъ, разныхъ по содержанію, только поддерживающихъ общее настроеніе пѣсни. Съ точки зрѣнія нашей поэтики они какъ-бы сознательно возвращаются нась къ основному мотиву, вызывая къ новому его анализу: стилистической пріемъ, выработавшійся, какъ я полагаю, изъ древняго чередованія хора и запѣвалы двухъ хоровъ, двухъ пѣвцовъ. Подхватывался послѣдній стихъ, либо повторялся запѣвъ; въ послѣдовательности пѣсеннаго исполненія повторявшийся запѣвъ являлся на перебоѣ двухъ отдельловъ, строфъ пѣсни, въ одно и то-же время и запѣвомъ и *gefrain'омъ*.¹⁾ Ихъ исторіи другъ отъ друга не отдѣлить; къ *refrain'* у я еще вернусь въ другомъ отдѣлѣ поэтики.

Но развитіе пѣсни не остановилось въ границахъ его основного мотива: психологической параллели запѣва; она наростала новымъ содержаніемъ, общими мѣстами, эпизодическими чертами и оборотами, знакомыми изъ другихъ пѣсень. Порой они являются у мѣста, иногда вторгаются механически, какъ вторгался символъ, развившійся въ другомъ кругѣ представлений. Иные стихи, группы стиховъ западали въ ухо, какъ нѣчто цѣлое, какъ формула, одинъ изъ простѣйшихъ элементовъ пѣсеннаго склада, и лирическая пѣсня пользуется ими въ разныхъ сочетаніяхъ, какъ эпическая тавтологіей описаній, сказка опредѣленнымъ кругомъ постоянныхъ оборотовъ. Изученіе подобнаго рода обобщенныхъ, бродячихъ формулъ положить основы народной пѣсени и сказочнай морфологіи. Къ бродячимъ формуламъ принадлежитъ напримѣръ третья строфа въ сводѣ изъ Schnaderhüpfel'ей о голубкахъ: она встрѣчается въ составѣ разныхъ нѣмецкихъ пѣсень, какъ и нѣкоторыя другія («изъ ручья напиться, девушку лю-

1) (*refrain*) R. M. Meyer, Die Formen des Refrains, Euphorion V, 1.

бить», «нѣть яблока безъ червя», нѣть дѣвушки, парня безъ обмана и др.»).

Сюда-же относятся и запѣвы, отставшіе отъ пѣсни, которую они зачинали, которая изъ нихъ развилаась. Слѣдующая одиночная строфа носитъ всѣ признаки запѣва, въ родѣ нашей пѣсенки о рутѣ:

Grüne Petersilie, du wunderschönes Kraut!
Ich habe mein Schätzchen gar vieles vertraut,
Gar vieles vertraut und vieles verspricht.
Alte Liebe die rostet nicht.

48 | Варьянги этой пѣсни начибаются жалобой дѣвушки: что такое сдѣлала я, что мой милый на меня гибается? — и продолжаются четверостишиемъ о Petersilie, нѣсколько измѣненныемъ; иногда ввиду дальнѣйшихъ, приставшихъ къ пѣснѣ строфъ: Въ пѣснѣ другого содержанія молодецъ обращается къ дѣвушкѣ: надѣнь вѣнокъ, ты будешь мнѣ невѣстой (Rosel, pflück dir Kränzelkraut, Du sollst werden meine Braut); она отказывается, еще молода; коли такъ, отвѣчааетъ парень, то и я гордъ и не возьму тебя. Въ варьянгѣ этой пѣсни попадъ запѣвъ о Petersilie:

Petersilje, du schönes Kraut,
Ich hab meinem Liebchen viel vertraut.
Viel vertrauen thut selten gut,
Ich wünsch mei'm Liebchen alles Gut.

Онъ еще явится, потому что Die alte Liebe rostet nicht. И милый дѣйствительно является, просить дѣвушку надѣть вѣнокъ: «Mädchen, pflück dein Kränzelkraut!». Разрѣшеніе такое-же, какъ въ предыдущей пѣснѣ: дѣвушка отказывается, — а она вѣдь поджидала жениха! Едва-ли этотъ новый оборотъ мотивированъ психологически, проще объяснить его неумѣстнымъ вторженiemъ посторонняго мотива.

Образцомъ пѣсни, неорганически наросшей, могутъ служить нѣкоторыя изъ приведенныхъ выше русскихъ пѣсень о калинѣ, либо слѣдующая:

Елычка ты сасонка,
Ахинись и туды и сюды,
На ёсъ чатыри сторыны;
Ти ёсё при табѣ
Сучча — вѣтица?
Ай, ёсё при мнѣ
Сучча — вѣтица,
Тольки нѣту макушечки,
Залатэй вяръхушечки.
Марьичка малодая,
Пагляди на ёсъ сторыны:
Ти ѿся при табѣ
Твая родина?
Ай, ёсё при мнѣ
Мая родина,
Тольки нѣту при мнѣ
Маёго батюшки.

Пѣсня разработана изъ параллели, но продолжается иногда тѣмъ, что покойный отецъ или мать просяется у Бога поглядѣть на чадо (см. выше стр. 27).

| Тема слѣдующей пѣсни такая: мѣсяцъ выводить зорю = 49 звѣзду, велить ей свѣтить, какъ онъ свѣтить; женихъ приводить невѣсту въ отцовскій домъ, велить служить отцу, какъ онъ служить ему или служилъ тестю. Варягнъ такой:

Уйзышоў мѣсичыкъ надъ избою,
Іонъ узвѣй зориньку за сабою:
Святи, мыя зоринька, якъ я свячу,
А ужъ мѣсичыкъ на свѣтіїся,
На тѣмнымъ облакамъ находїїся.
А узъѣхай Ваничка на батькинъ дворъ;
Іонъ узвѣй Марьичку за сабою;
Поставій Марьичку передъ сабою:
Стой, мыя Марьичка, якъ я стаю,
Служи маяму батюшки, якъ я служу.
А ужъ я, молодецъ, на служїїся,
На тѣмной ночушки наѣздїїся,
Пригыняй коника па гараль єздючи,
Пришлѣпай пужичку каша паганяющи,
Я злымай шапычку сымаочи,
Усклычай голоўку склыняющи,
Устаю сапожечки скидаочи.

Одинъ варьянгъ развиваетъ, отчего усталъ женихъ:

Стой, мая Аўдуська,
Якъ я стаю,
Кланійся майму батюшки,
А я твайму (якъ я?).
Пакланіўся я твайму батюшки;
Стеръ — змяў шляшыньку,
У рукахъ держаль,
Всё твайму батюшки
Укланялсе,
Всё да табе, Аўдуська,
Добивалсе.

Въ третьемъ варьянгѣ новыя подробности служать къ развитію уравненія: зори — звѣзды — невѣсты: мѣсяцъ вывелъ звѣзду за собою, поставилъ рядомъ,

Святы, мыя зоринька, якъ я свячу.
А ужъ ина маленька, дакъ ясненька,
Мижъ усихъ зоричекъ ина знатненька.

Ваничка вывелъ невѣstu, поставилъ рядомъ съ собою:

Хушъ ина хмарненька, дакъ красненька,
Межъ усихъ дѣвычекъ ина знатненька, |
Хушъ ина нивяличка, румяная личка!
• • • • •
Кланійся, Дуничка, майму батюшки,
Я твайму батюшки пыкланіўся и т. д.

Если бы дѣло шло о разнотеніяхъ художественной пѣсни, записанной то въ болѣе или менѣе полномъ видѣ, то съ опущеніями и развитіями, естественнѣе всего было бы предположить, что послѣдній изъ сообщенныхъ выше варьянтовъ сохранилъ болѣе цѣльный текстъ, другіе его сократили, забывъ ту или другую черту или оборотъ. Такой процессъ несомнѣнно существуетъ и въ народной пѣснѣ, чередуясь съ обратнымъ, знакомымъ и писанной поэзіи: приращеніями. Разница въ томъ, что въ послѣдней онъ всегда сознательнъ, совершается съ опредѣленною, напримѣръ, художественною цѣлью (итальян. rifacimento), въ народной пѣснѣ онъ настолько же служить ея исказенію, насколько сло-

женію. Я не рѣшусь, напримѣръ, сказать, какимъ изъ двухъ процессовъ объяснить лишнюю параллель нашего третьяго варьянта: А ужъ ина маленька — Хушъ ина хмарненька; принадлежала ли она составу пѣсни, или вторглась въ него позднѣе, хотя бы и со стороны, но въ уровенъ съ ея образностью?

Развитіе пѣсни изъ мотива основной параллели принимаетъ иногда особыя формы. Извѣстны португальскія двойныя пѣсни, собственно одна пѣсня, исполненная двумя хорами, изъ которыхъ каждый повторяетъ стихъ за стихомъ, только каждый на другія риомы. Иное впечатлѣніе производить слѣдующая лесбосская пѣсня, также двойная. Я имѣю, главнымъ образомъ, въ виду ея первую часть; построена она на извѣстномъ параллелизмѣ образовъ: утолить жажду = утолить любовь, дерево въ цвѣту = красавица; образы эти чередуются черезъ стихъ, такъ напримѣръ, что первый связантъ съ третьимъ (дерево), второй съ четвертымъ (дѣвушка) и т. д. Во второй части пѣсни, содержательно связанной съ первою лишь однимъ стихомъ (мои уста утолили жажду), то-же странное чередованіе, но параллелизмъ не ясенъ, господствуетъ внутренній, мѣняющійся refrain.

- 1 а Кто видѣлъ дерево въ цвѣту,
б Дѣвушку черноглазую?
а Дерево съ зеленої листвой,
б Дѣвушку съ черными волосами и бровями,
а Съ тройной вершиной,
б Дѣвушку съ глазами, полными слезъ,
а У подножья котораго находится
б Ея сердце полно печали! |
а Студеный источникъ?
Кто видѣлъ такое диво?
а Я склонился, чтобы напиться, наполнить мою чашу, —
б (Глаза, которые мнѣ милы, такие черные!)
Чтобъ поцѣловать ея черные глаза.
- 2 Мой платокъ упалъ,
Мои уста утолили жажду,
Шитый золотомъ,
(Какъ онъ прекрасенъ!),
Который вышили мнѣ
Три дѣвушки, распѣвая,
Какъ поютъ молодыя въ Маѣ.

Одна вышивает орла
(Выйди, бѣлокурая моя, дай на себя поглядѣть!)
Другая — небо.
(Какъ сладокъ твой взглядъ!);
Одна изъ Галаты
(Не потерять бы мнѣ разсудка!),
Другая изъ новаго квартала;
То дочка хаджи Яна.

Сходная пѣсня, въ другомъ варьянтѣ, поется на Олимпѣ.
Проскѣптическая форма двучленного параллелизма даєть мнѣ ню-
водъ освѣтить, и не съ одной только формальной стороны, строеніе
и психологическія основы заговора.
Параллелизмъ не только соопоставляет два дѣйствія, анали-
зыруя ихъ взаимно, но и подсказываетъ однимъ изъ нихъ чаянія,
опасенія, желанія, которые простираются и на другое. Лина всю
ночь шумѣла, съ листикомъ говорила: будеть намъ разлука —
будеть разлука и дочери съ маткой (см. нашъ № 13); либо: вишня
хилится къ корню, такъ и ты, Маруся, поклонись матери, и т. д.
Основная форма заговора была такая же двучленная, стихо-
творная или смѣшанная съ прозаическими паргіями, и психологи-
ческие поводы были тѣ же: призывалось божество, демониче-
ская сила, на помощь человѣку; когда-то это божество или де-
монъ совершили чудесное исцѣленіе, спасли или оградили; какое-
нибудь ихъ дѣйствіе напоминалось типически (такъ уже въ
сумерийскихъ заклинаніяхъ), — а во второмъ членѣ параллели
являлся человѣкъ, жаждущій такого же чуда, спасенія, повторе-
нія такого же сверхъестественного акта. Разумѣется, эта
двучленность подвергалась измѣненіямъ, во второмъ членѣ эпи-
52 ческая канва уступала мѣсто лирическому моменту моленія, но
образность восполнялась обрядомъ, который сопровождалъ реаль-
нымъ дѣйствиемъ произнесеніе заклинательной формулы. Извѣст-
ный мерзебургскій заговоръ съ его многочисленными паралле-

лями можетъ служить типическимъ представителемъ другихъ подобныхъ: бѣхали когда-то три бога, у одного изъ нихъ конь поранилъ ногу, но богъ исцѣлилъ его; такого исцѣленія ожидаетъ и молящій объ упятіи крови. Вместо боговъ являлись святые, лица евангельской исторіи, казовыя события которой, расцевѣченныя фантазіей апокрифовъ, давали порой схему заговора. Сотникъ Лонгинъ вынулъ гвозди изъ руки и ногъ Спасителя; нусть бы и у меня вышло изъ тѣла желѣзное остріе: Longinus der jud der unserm herren Jesu Christo die nagel us zoch us henden und us füzzzen — als wär dis wort sien, als werlich geb mir Got huit kraft und mach mir christenmenschen diez iseñ uf gän und us flaisch zü ziehen in gotes Namen. Иначе картина распятія дала образы для заговоровъ отъ кровотеченія, искажаясь до неузнаваемости: въ латышскомъ заговорѣ Иисусъ Христосъ идетъ по морскому берегу, три креста у него въ правой руки: первый — вѣры, второй — повелѣнія, третій — исцѣленія. Кровь, я тебѣ повелѣваю, — остановись!

Порой заговоръ звучитъ, какъ пѣсенная параллель:

Какъ хмель вѣтется около кола по солнцу,

Такъ бы вилась, обнималась около меня раба Божія (имя рекъ);

Въ печи огонь горить... и тлить дрова,

Такъ бы тлѣло и горѣло сердце у Н;

но тотъ же огонь является грандиознымъ космическимъ богатыремъ, которого молять укротить: а. «Сядть багатырь огромный и магуций. Сядь, багатырь, ни кверыху, ни книзу, ни на стырыну! Надъ табою стыять тучи грозныи, подъ табою стыять моря синяя, агаражены вы залѣзныи тыномъ. — б. Пумяни, Господи, царь Давыда, царь Кастянтина, вы укратили землю и воду, украйте этига багатыга багатыря на етымъ мѣстѣ».

Болѣзнь (чемеръ) выбиваются:

а На мбри, мбри, на икани, стаить ракигывый кустъ, на тымъ кусти ляжитъ голъ каминъ, на тымъ камни сидять 12 молдцаў, 12 багатыреў, диржать 12 малатоў, буть, какъ день,

какъ ночь, выбивають чемиръ зъ рыжій шерсти, изъ буйный га-
лавѣ, изъ яркихъ вачей, изъ жиль, изъ пажиль, изъ лехкага
вздыханія. в — Слѣдовало ожидать просьбы, чтобы изъ такого-то
53 выбили немочь; вмѣсто того | молитва къ Богородицѣ: О,
Господи! закрый и помилуй отъ усякыга упадку! Михаила,
Архаяла су ўсею небесныю силу. Пумаги!

Пресвятая Дѣва родила безъ боли и мукъ; апокрифическая
легенда знаетъ ея бабку Соломониду, ее-то могли представить
себѣ собирающей лѣчебныя травы и цвѣты, но это дѣйствіе пе-
ренесли на Богородицу; мѣсто дѣйствія было на Иорданѣ, кото-
рый какимъ-то образомъ смѣшанъ былъ съ Соломонидой — рѣкой,
омывающей крутые берега и желтые пески. Таковъ могъ быть
первоначально составъ заговора «отъ суроцъ», перепутанный въ
слѣдующихъ двухъ варьянтахъ:

а. Присвятая Бугуродица Дѣва Марія, ты хадила и гуляла
на ўсимъ па лугамъ и па райскимъ садамъ са сваимъ сынымъ
Сусомъ Христомъ, съ ангилами, са архангилами и са ўсими апо-
сталами. Вы разныя травы искали и ўси твѣты сабирали; ты,
Присвятая Бугородица, ўси твѣты тапила и ўсихъ бальныхъ ля-
чила — палячтия и пасабитя отъ суроцъ (слѣдуетъ молитва
I. Христу и Богородицѣ — помочь рабу Божію отъ сглаза, наго-
вора, отъ колдуновъ, «отъ ураждэннихъ, отъ женскова роду»
и т. д.). Слаўная рика Ирданъ Саламанида, ты ишла па святымъ
гарамъ, па жаўтымъ пискамъ, пы крутымъ биришкамъ, пу зя-
ленымъ лужкамъ, пу махамъ, пу балотамъ, па гнильмъ калодамъ,
ты змывала и мхи и балоты и гнилэя калоды, — змый съ р. Б.
(имя) суроцы пиригаворныя! — в. Ну, я пайду у рику Ирданъ
воду братъ, я ни самъ собою, Божкія Матирь са мною. Ана
будеть умувать, пилинами утиратъ, ўси яго балѣзни унимать
атъ видмавішцеў, атъ учѣныхъ, атъ ураждэнныхъ, атъ женъ-
скихъ и т. д.

а Святая матерь Бугуродица Суса Христа парадила, ни ви-
дала ни крыви, ни боли, ни якіи муки надъ сабою. Слаўна рика

Вутя, слаўна рика Саламанида выхадила зъ вастока, съ биластока и са ўсихъ четырехъ сторонъ, атмывала крутыи бирягі, открывала жаўты пяски. — б. Аткрый етакыму-та ать чирна глазу и сѣра глазу, сива глазу и крива глазу, желты глазу и каса глазу и ать ўсихъ разныхъ глазоў...

Къ одночленному параллелизму, о которомъ мы говоримъ далъе, относятся тѣ формулы, въ которыхъ развита лишь первая, эпическая часть. Сличите, напримѣръ, слѣдующія заклятія отъ крови: три сестрицы прядуть шелкъ; вынрядайте его, на землю не роняйте, съ земи не поднимайте, «у раба Божія крови не бывать»; либо: «Пресвятая мать Бугородица на золатую прядлипу 54 пряла, нитку атарвала, кроў завязала. Сл. латышскіе заговоры; Святая Марія, Божія матерь сидить на бѣломъ морѣ, держить въ рукѣ иголку съ бѣлою шелковою нитью, зашиваетъ всѣ жилы; либо за Іорданомъ три липы, у каждой девять вѣтвей, у каждой вѣтви по девяти дѣвшушекъ, зашиваютъ, завязываютъ кровянную жилу. «Кровь остановись!»

Порой въ эту эпическую часть параллели переносится изъ второй человѣческой личности, какъ объектъ совершающагося на яву дѣйствія. Такъ въ русскомъ заговорѣ отъ жабы: «У горыди Русалими, на рикѣ Ирдани, стаить древа купаресъ; на томъ древи сядить птица арёль, шипитъ и тирибитъ кактами и нахтами и падъ щиками, и падъ зябрами у раба Божія (имя) жабу». — Отъ глазу. «На мыри, па кыяни, стыяў дубъ съ карынями; съ падъ тога дуба бягитъ вадица кипучая и гримучая. Божескія матиры вадицу брала, па Сояньской гарѣ посвищала, такога-то чиловѣка на галавѣ умывала».

Формулы такого рода восходятъ къ двучленной и изъ нея объясняются: въ городѣ Іерусалимѣ орелъ сидить на деревѣ, теребить немочь-жабу; такъ-бы истребилась немочь у раба Божія и т. п.

VII.

Я коснусь лишь мимоходомъ явленія 3) многочисленнаго параллелизма, развитаго изъ двучленнаго одностороннимъ накоплениемъ параллелей, добытыхъ при томъ не изъ одного обзекта, а изъ ипъсколькихъ, сходныхъ. Въ двучленной формулѣ объясненіе одно: дерево склоняется къ дереву, молодецъ льнетъ къ милой, эта формула можетъ разнообразиться въ варьиантахъ одной и той-же пѣсни: Не красно солнце выкаталоси (вѣрнѣе: закаталоси) — Моему мужу занеможилось; вместо того: Какъ во полюшкѣ дубъ шатается, какъ мой милый перемогается; либо: Какъ синь горючъ камень разгарается, А мой милый другъ размогается.— Многочисленная формула сводить эти параллели подъ рядъ, умножаетъ объясненія и, вмѣстѣ, материалы анализа, какъ бы открывая возможность выбора:

Не свивайся трава со былинкой,
Не ластися голубъ со голубкой,
Не свыкайся молодецъ съ дѣвицей.

Не два, а три рода образовъ, объединенныхъ понятіемъ сви-
ванія, сближенія. Такъ и въ нашемъ № 3, хотя и не такъ ясно:
хилится сосна отъ вѣтра, хилится галка, сидящая на ней, и я
55 также хилюсь, | печалюсь, потому что далекъ отъ своихъ. Такое
одностороннее умноженіе объектовъ въ одной части параллели
указываетъ на большую свободу движенія въ ея составѣ: парал-
лелизмъ сталъ стилистическо-аналитическимъ пріемомъ, а это
должно было повести къ уменьшенію его образности, къ смѣше-
ніямъ и перенесеніямъ всякаго рода. Въ слѣдующемъ сербскомъ
примѣрѣ къ сближенію: вишня — дубъ: дѣвушка — юнакъ, —
присоединяется и третья: шелкъ — бумбакъ, устраниющая въ
концѣ пѣсни образы вишни и дуба:

Ој ти вишња, вишњица!
Като ти се нагнула?
— А я сам се нагнула.
Ка бору зеленему.

А ти, млада дѣвојка,
К кому се привила?
— А ја сам се привила
К младому јунаку,
Кот ми се привија
И свила к бумбаку.
Лѣна ти је та свила,
Још је лѣпша та мила,
Лип ти ли је тај бумбак,
Још је лѣпши млад јунак,
Лѣпо ти је свилу тката,
Још је лѣпши с милом спат,
Лѣпо ти је с свилом шит,
Још је лѣпше с милом бит.

Если наше объясненіе вѣрно, то многочленный параллелизмъ принадлежитъ къ позднимъ явленіямъ народно-поэтической стилистики; онъ даётъ возможность выбора, аффективность уступаетъ мѣсто анализу; это такой же признакъ, какъ накопленіе эпитетовъ или сравненій въ гомеровскихъ поэмахъ, какъ всякий плеоназмъ, останавливающійся на частностяхъ положенія. Такъ анализуетъ себя лишь успокоившееся чувство; но здѣсь же источникъ пѣсенныхъ и художественныхъ loci comunes. Въ одной сѣверно-русской заплачкѣ жена рекрута хочетъ пойти въ лѣсъ и горы и къ синему морю, чтобы избыть кручинъ; картины лѣса, и горъ, и моря обступаютъ ее, но все окрашено ея печалью: кручинъ не избыть, и аффектъ ширится въ описаніяхъ:

И лучше пойду я съ великой кручинушки
Я въ темны лѣсушки, горюша, и дремучій...
И хоть въ этихъ темныхъ лѣсахъ дремучіихъ
И тамъ отъ вѣтрышка деревца шатаются |
И до сырой земли деревца да приклоняются,
И хоть шумять эти листочки зеленыи,
И поють да тамъ вѣдь птички жалобиѣшенько,
И уже тутъ моя кручина не уходится...
И стать на горушки вѣдь мнѣ да на высокіи
И выше лѣсушка глядѣть да по поднебесью,
Идуть облачка оны да потихошеньку,
И въ туманѣ пече красно это солнышко,
И во печали я, горюша, во досадушкѣ,
И уже тутъ моя кручина не уходится...
И мнѣ пойти съ горя къ синему ко морюшку,
И мнѣ къ синему, ко славному Онегушку...

И на синемъ морѣ вода да сколыбается,
И со желтымъ пескомъ вода да помутилася,
И круто бѣть теперь волна да непомѣрная,
И она бѣть круто во крутый этотъ бережокъ,
И по камешкамъ волна да разсыпается,
И ужъ тутъ моя кручина не уходится.

Это — эпический Natureingang, многочленная формула параллелизма, развитая въ заплачку: вдова печалится, дерево клонится, солнце затуманилось, вдова въ досадушкѣ, волны расходились, расходилась и кручинка.

Мы сказали, что многочленный параллелизмъ направляется къ разрушению образности; 4) одночленный выдѣляетъ и развиваетъ ее, чѣмъ и опредѣляется его роль, въ обособленіи нѣкоторыхъ стилистическихъ формаций. Простѣйшій видъ одночленности представляетъ тотъ случай, когда одинъ изъ членовъ параллели умалчивается, а другой является ея показателемъ; это — pars pro toto; такъ какъ въ параллели существенный интересъ отданъ дѣйствию изъ человѣческой жизни, которая иллюстрируется сближенiemъ съ какимъ нибудь природнымъ актомъ, то послѣдній членъ параллели и стоитъ за цѣлое.

Полную двучленную параллель представляетъ слѣдующая малорусская пѣсня: зоря (звѣзда) — мѣсяцъ — дѣвушка, — молодецъ (невѣста — женихъ):

- a Слала зоря до місяца:
Ой, місяце, товаришу,
Не заходить же ты раній мене,
Изїйдемо обое разомъ,
Освітимо небо и землю...
b Слала Марья до Иванка:
Ой Иванку, мій сужений,
Не сідай же ты на посаду,
На посаду раній мене и т. д.

57 | Отбросимъ вторую часть пѣсни (b), и привычка къ извѣстнымъ сопоставленіямъ подскажетъ вмѣсто мѣсяца и звѣзды — жениха и невѣstu. Такъ въ слѣдующихъ сербскихъ и латышской пѣсняхъ павлинъ водить паву, соколь — соколицу (женихъ — невѣstu), липа (склоняется) къ дубу (какъ молодецъ къ дѣвушкѣ):

Paun šeta, vojno — le! na venčanje,
S sobom vodi, vojno — le, paunicu.

Ide soko, vodi sokolicu,
Blago majci! zlatna su joj krila?

Украшай, матушка, липу,
Которая посреди твоего двора;
Я видѣль у чужихъ людей
Разукрашенный дубъ (латышск.).

Въ эстонской свадебной пѣснѣ, пріуроченной къ моменту, когда невѣstu прячутъ отъ жениха, а онъ ее ищетъ, поется о птичкѣ, уточкѣ, ушедшей въ кусты; но эта уточка «обула башмачки».— Либо: солнце закатилось: мужъ скончался; сл. олонецкое причитаніе:

Укатилось великое желаньице.
Оно во водушки, желанье, во глубокіи,
Въ дики темныи лѣса, да во дремучіи,
За горы оно, желанье, за толкучи.

Въ моравской пѣснѣ дѣвушка жалуется, что посадила на огородъ фіалку, ночью прилетѣли воробы, пришли парни, все поклевали, потоптали; параллель къ знакомому намъ символу «стоптанья» умолчана. Особенно интересны въ нашемъ смыслѣ пѣсенки изъ Аннама: одночленная параллель, которая тотчасъ же понимается иносказательно: «иду къ плантаціямъ бетеля и спрашиваю разсѣянно: поспѣли-ли гранаты, груши и коричневыя яблоки» (это значитъ: спросить у сосѣдей, есть ли въ такомъ то домѣ дѣвушка на выданье); «хотѣлось бы мнѣ сорвать плодъ съ этого лимоннаго дерева, да боюсь колочекъ» (подразумѣвается ухаживатель, боящийся отказа).

Когда въ сербскихъ пѣсняхъ говорится о юнакѣ, ворвавшемся въ среду враговъ: Kaka vatra izmedju nas doje? либо Tale uvozitъ Anheiliјu и глумится надъ соперникомъ:

Siv sokole, dje si doletio,
Da hočes — li zdravo izletiti
I iznjeti tici prepelicu? |

58 когда, обращаясь къ дѣвушкѣ, Анакреонъ представляетъ ее въ образѣ еракійскаго жеребенка, который косится на него и бѣжитъ,— все это отрывки сокращенныхъ параллельныхъ формулъ.

Выше было указано, какими путями изъ сближеній, на которыхъ построены двучленный параллелизмъ, выбираются и упрочиваются такія, которыя мы зовемъ *символами* (стр. 24, сл. прим., и слѣд.) ихъ ближайшимъ источникомъ и были короткія одночленныя формулы, въ которыхъ лица стремились къ дубу, соколь вѣль съ собою соколицу и т. п. Онъ то и пріучили къ постоянному отождествленію, воспитанному въ вѣковомъ пѣсенномъ преданіи; этотъ элементъ преданія и отличаетъ символъ отъ искусственно подобраннаго аллегорического образа: послѣдній можетъ быть точенъ, но не растяжимъ для новой суггестивности, потому что не поконится на почвѣ тѣхъ созвучій природы и человѣка, на которыхъ построены народно-поэтический параллелизмъ. Когда эти созвучія явятся, либо когда аллегорическая формула перейдетъ въ оборотъ народнаго преданія, она можетъ приблизиться къ жизни символа; примѣры предлагаютъ исторія христіанской символики.

Символь растяжимъ, какъ растяжимо слово для новыхъ откровеній мысли. Соколь и бросается на птицу, и похищаетъ ее, но изъ другого, умолчаннаго члена параллели на животный образъ падаютъ лучи человѣческихъ отношеній, и соколь ведеть соколицу на вѣнчанье; въ русской пѣснѣ ясень соколь—женихъ прилетаетъ къ невѣстѣ, садится на окошечко, «на дубовую причелинку»; въ моравской онъ прилетѣлъ подъ окно дѣвушки, раненый, порубаный: это ея милый. Сокола—молодца холять, убираютъ, и параллелизмъ сказывается въ его фантастическомъ убранствѣ: въ малорусской думѣ молодой соколенокъ попалъ въ неволю; запутали его тамъ въ серебряныя путы, а около очей повѣсили дорогой жемчугъ. Узналь обѣ этомъ старый соколь, «на городъ—Царь-городъ налитавъ», «жалобно квыльывъ-проквыльвъ». Закручинился соколенокъ, турки сняли съ него путы и жемчугъ, чтобы разогнать его тоску, а старый соколь взялъ его

на крылья, поднялъ на высоту: лучше намъ по полю летать, чѣмъ жить въ неволѣ. Соколь — казакъ, неволя — турецкая; соответствіе не выражено, но оно подразумѣвается; на сокола наложили пуги; онъ серебряный, но съ ними не улетѣть. Сходный образъ выраженъ въ двучленномъ параллелизмѣ одной свадебной пѣсни изъ Пинской области: Отчего ты, соколь, низко летаешь? — У меня крылья шелкомъ подшиты, ножки золотомъ подбиты. — Отчего ты, Яся, поздно прїѣхалъ? — Отецъ невырадливый, поздно снарядилъ дружину.

| Это напоминаетъ одночленный параллелизмъ старо-нѣмецкой 59 пѣснки о соколѣ, котораго приручали, лелѣяли, перья котораго обивали золотомъ (въ сербской пѣснѣ у соколицы золотыя крылья), а онъ снялся и улетѣлъ въ другія страны:

Ich zöch mir einen valken mère danne ein jär,
Dō ich in gezämete, als ich in wolte hän,
Und ich im sín geviedere mit golde wol bewant,
Er huop sich üf vil hohe und vlong in anderiu lant.

Образъ молодца подсказывается; о миломъ — улетѣвшей птичкѣ (оловѣй, сойкѣ), которую снова заманиваютъ въ золотую, серебряную клѣтку, поютъ и другія народныя пѣсни; нѣмецкая отразила любовь феодального общества къ охотѣ, къ соколу, какъ охотничей птицѣ, уходомъ за которой занимались и дамы; на печатяхъ онъ нерѣдко изображается на рукаѣ женской фигуры. Эти бытовыя отношенія и дали всему окраску; молодецъ не просто ясный соколь, а соколь охотничій, милая ухаживаетъ за нимъ, и горюетъ объ его отлетѣ¹⁾.

1) (Соколь — молодецъ). Сл. сонъ Гудруны = Кримгильды. Къ соколу, улетѣвшему изъ клѣтки сл. Becker, *Der Altheimische Minnesang*, p. 40, 196. Сл. Burdach, *Das volksthämliche deutsche Liebeslied*, Zs. f. d. Alt., 27, стр. 365, прим. 1; Berqu, Zs. f. d. Philol. XIX, 446—7; 448—9 (перья въ золотѣ). (Соколь) Сл. Joseph., *Die Frühzeit d. deutschen Minnesangs (Quellen u. Forschungen*, № 79. 1890), стр. 45 слѣд.: пѣсенка въ циклѣ Кюренберговскихъ (*Ich zöch mir einen valken*); стр. 84 слѣд. (по поводу статьи Anton Wallner'a въ Zs. f. d. Alterthum 1896 ?).

Но тот же образъ могъ вызывать и другое развитіе, въ уровень съ абстракціями искусственной поэзіи и въ разрѣзъ съ требованіями прозрачности поэтическаго сопоставленія. Когда въ Minne-Falkner соколиное дѣло является аллегоріей любовныхъ отношеній, то это такъ же искусственно, какъ въ Словѣ о Полку Игоревѣ сравненіе перстовъ, возлагаемыхъ на струны, съ десятью соколами, которыхъ напустили на стадо голубей. Съ нѣко-
торыми вырожденіями символики сокола мы уже познакомились выше.

Роза представляетъ еще болѣе яркій примѣръ растяжимости символа, отвѣтившаго на самыя широкія требованія суггестивности. Южный цвѣтокъ былъ въ классическомъ мірѣ символомъ весны и любви и смерти, возстающей весною къ новой жизни; его посвятили Афродитѣ, имъ же вѣнчали въ поминальные дни, Rosalia, гробницы умершихъ. Въ христіанской Европѣ послѣднія отношенія были забыты, либо пережили въ видѣ обломковъ, суевѣрій, гонимыхъ церковью: наши русалки (души умершихъ, которыхъ поминали когда то жертвою розъ) и название Пятиде-
сятницы: Pascha Rosarum — далекія отраженія языческихъ Ro-
salia¹⁾. Но роза, какъ символъ любви, принялась на почвѣ западной народной поэзіи, проникая частями и въ русскую пѣсню,
60 вторгаясь въ завѣтную символику руты и калины. За то произошло новое развитіе, можетъ быть, по слѣдамъ классического міра о розѣ, разцвѣтшой изъ крови любимца Афродиты, Адониса: роза стала символомъ мученичества, крови, пролитой Спасителемъ на крестѣ; она начинаетъ служить иносказаніямъ христіанской поэзіи и искусства, наполняетъ житія, разцвѣтаетъ на тѣлахъ святыхъ. Богородица окружена розами, она сама зачата отъ розы, розовый кустъ, изъ котораго выпорхнула птичка — Христость. Такъ въ нѣмецкихъ, западно-славянскихъ и пошедшихъ отъ нихъ южно-
русскихъ пѣсняхъ. Символика ширится, и символъ Афродиты

1) Къ вопросу о русаліяхъ-русалкахъ сл. теперь А. Павлова, Номоканонъ при большомъ Требникѣ, стр. 446 слѣд.

развѣтаеть у Данте въ гигантскую небесную розу, лепестки которой святые, святая дружина Христова ¹⁾).

Вернемся еще разъ къ судьбамъ одночлениаго параллелизма. Выдѣляясь изъ народной Формулы, онъ стоять за опущенную параллель, иногда смѣшиваясь съ ней — подъ вліяніемъ ли аффекта, привычки къ парнымъ, отвѣчающимъ другъ другу образамъ — или по забвенію? Когда въ свадебной пѣснѣ говорилось о желтомъ цвѣткѣ руты, символѣ дѣвственности, отчужденія, разлуки — и далѣе о пути — дорогѣ, образы сплачивались въ синкретическую формулу: «далекая дороженька, жовтій цвітъ» ²⁾).

Но я имѣю въ виду другого рода смѣшенія, когда параллельная формула проникается не только личнымъ содержаніемъ опущенной, но и ея бытовыми, реальными отношеніями. Соколь въ неволѣ — это казакъ въ неволѣ; онъ *ведетъ* соколицу, павлий паву — на *вѣнчаніе*. Такъ и въ слѣдующей хорватской пѣснѣ:

Dva cvijeta u bostanu rosla,
Plavi zumbul ³⁾ i zelena kada ⁴⁾;
Plavi zumbul ode na Doljane,
Osta kada u bostanu sama;
Posučuje zumbul za Doljana:
Duš moja, u bostanu kada и т. д.

Поэтическій символъ становится поэтическою *метафорой*; ею объясняется обычный въ народной пѣснѣ приемъ, унаследованый художественною поэзіей: обращаются къ цвѣтку, розѣ, ручью, но развитіе идетъ далѣе въ колеяхъ человѣческаго чувства, роза распускается для васъ, она вамъ отвѣтаетъ или вы ждете, что она отзовется ⁵⁾.

1) См. мою замѣтку: Къ поэтикѣ розы, Привѣтъ 1898 г., стр. 1 слѣд.

2) См. выше стр. 35.

3) Гіацинтъ.

4) Родъ нарцисса.

5) (*Метафора*) сл. Stöcklein, Bedeutungswandel der Wörter. München, Lindauer, 1898, 79 р. (сл. работы Hecht'a, Heerdegen'a, Hey, и Paul, Prinzipien). Сл. Attilio Lavi, L'elemento storico nel greco antico. Contributo allo Studio dell' espressione metaforica (изъ Memorie della Reale Accad. d. scienze di Torrino, s. II, t. 49) Torino, Hausen, 1900, p. 385—405.

61 | Примѣры взяты нами изъ новогреческихъ пѣсень. «По со-
сѣдству дерево, оно скрипить, и всякий скрипъ его отзыается
въ моемъ сердцѣ (ἐδῶ σ' τοῦτην τὴν γειτονίαν ἔναν δένδρο καὶ
τρίζει, Κη ἀπὸ τὸ τρίσμα τὸ πολὺ εἰς τὴν καρδίαν μ' ἐγγίζει). Дер-
рево мое зеленое, студеный ручей, какъ подумаю я о тебѣ; мои
уста сохнуть, ощущая жажду (Δένδρο μου γριστοπράσινον καὶ δρυ-
τερή μου βρύση, Ὅταν σε θέλω θυμηθῆ, τὸ στόμα μ' ἀποφρύσει).
Апельсинное дерево, отягченное плодами, цвѣтущій помера-
нецъ, ты предаль меня, юношу, въ твои собственныя терзанія
(὾ γεραντῖά με τὸν καρπὸν καὶ λειμονία με τ' ἄνθη, Ποῦ ἔβαλες
ἔμὲν τὸν νιὸν εἰς τὰ δικὰ σου πάθη). О цвѣтущая роза, цвѣтокъ
изъ цвѣтовъ; пусть будетъ такъ, чтобы не видать было, что я не
владею болѣе твою любовью (὿ ρόδο μου ξεφούντατο, λονλοῦδι
μέστα τ' ἄνθη, Μηδὲν φανῆ ἡ ἀγαπή σου ὅτι ἀπὸ μένα χάθη).
Густолистенное мое орѣховое дерево, желаль бы я усѣсться
подъ тобою и поцѣловать твои губки до крови (Δερτοκαρπά μου
φουντωτή, νὰ κάθομαι σημά σου, Νὰ δάγκωνα τά χειλή σου, νὰ
στάλαζε τὸ αἷμα). — Пришелъ май, покрылась цвѣтами поляна и
цвѣтеть въ моемъ сердцѣ роза, поется въ одной нѣмецкой пѣснѣ:

Ein edles röslen zarte
Von roter Farbe schön
Blüet in meins Herzens Garte,
Für alle Blümlein ich's krön.

У Шота Руставели Автандиль спѣшить на свиданіе къ *розѣ* (Тинатинѣ), онъ плачетъ о ней: кристаллы (глаза) росили о *розѣ*; завядшая *роза* вздыхающая между терній — это Таріэль. Восточный селамъ основанъ на подобныхъ перенесеніяхъ. Многія изъ этихъ формулы естественно сводятся къ двучленному типу: дерево сохнетъ, гнется (трещитъ): печально мое сердце; лина говоритъ съ листомъ (дѣвушка съ матерью), калина отказывается цвѣсти (дѣвушка любить и т. д.). При невыраженности параллели, обращеніе къ цвѣтку — милой производитъ впечатлѣніе чего то антропоморфического. Но это не синкретизмъ древней *метафоры*, отразившій въ формахъ языка такое же синкретическое пониманіе

жизни, и не антропоморфизмъ старого вѣрованія, населившаго каждое дерево гамадріадой, а поэтическая метафора, новообразованіе, являющееся въ результатѣ продолжительного стилистического развитія; формула, оживающая въ рукахъ поэта, если въ образахъ природы онъ съумѣеть найти симпатический откликъ теченіямъ своего чувства.

Формула басни входитъ въ ту-же историческую перспективу и подлежитъ той же оцѣнкѣ: въ основѣ древнее анимистическое 62 сопоставленіе животной и человѣческой жизни, но нѣть нужды восходить къ посредству зоологической сказки и миѳа, чтобы объяснить себѣ происхожденіе схемы, которой мы такъ же естественно подсказываемъ человѣческую параллель, какъ не требуемъ комментарія къ образу розы — дѣвушки.

И такъ: поэтическая метафора — одночленная параллельная формула, въ которую перенесены иѣкоторые образы и отношенія умолчанного члена параллели. Это опредѣленіе указываетъ ея мѣсто въ хронологіи поэтическаго параллелизма. Аристотель не имѣлъ ввиду этого хронологического момента, когда говорилъ о метафорѣ по аналогіи (Поэтика, гл. XXI): «Аналогія возникаетъ, утверждалъ онъ, когда 2-ой членъ находится къ 1-му въ такомъ же точно отношеніи въ какомъ 4-ый — къ 3-му, ибо въ такомъ случаѣ вмѣсто 2-го можно поставить четвертый, а вмѣсто четвертаго — второй. Иногда прибавляютъ къ метафорѣ пѣчто, относящееся не до нея, а до того, вмѣсто чего она стоить. Вотъ примѣръ: чаша находится въ такомъ же отношеніи къ Діопису, въ какомъ щитъ къ Арею. Слѣдовательно, можно назвать щитъ — чашей Арея, а чашу щитомъ Діониса. Другой примѣръ: что старость для жизни, то вечеръ для дня. Слѣдовательно, вечеръ можно назвать старостью дня, а старость — вечеромъ жизни, или какъ у Эмпедокла употреблено: δυσμᾶς βίον, заходъ жизни (вмѣсто старости). Для иѣкоторыхъ словъ нѣть установленной analogіи, тѣмъ не менѣе употребляется соотвѣтственное метафорическое выраженіе. Такъ «сѣять» значить разбрасывать «сѣмена», но нѣть глагола, выражающаго распространеніе солнечныхъ лучей. Такъ какъ дѣйствіе

разбрасыванія находится въ одинаковомъ отношеніи какъ къ сѣменамъ, такъ и къ солнечному свѣту, то поэть имѣлъ право сказать: «сѣявши божественный свѣтъ». — Этимъ родомъ метафоры можно пользоваться еще и иначе, именно прибавляя слово, отрицающее какое нибудь существенное качество предмета; если напримѣръ, щить назвать не чашей Арея, а «чашею безъ вина». Другіе примѣры метафоры даны въ Реторикѣ III, II: *τόξον* = *φόρμιγξ ἄχορδος, ἐρείπισον* = *ῥάκος οἰκίας.*

Едва ли «чаша безъ вина» будетъ поэтическимъ образомъ при Ареѣ, но такое формальное развитіе возможно, народная пѣсня знаѣтъ такія внѣшнія перенесенія, которыя можно продолжать напримѣръ и для Аристотелевскаго примѣра о Діонисѣ и Ареѣ: стоитъ только применить нѣкоторые изъ атрибутовъ первого ко второму, или наоборотъ. Тучи находяться сваты идутъ, поется въ малорусской свадебной пѣснѣ; отъ тучъ можно оборониться, со сватами поговорить отецъ. Вмѣсто того получается такая формула: отецъ поговорить съ тучей:

Ой чи не чуешь ты, Меласю,
Що съ синего моря туча йде?..
Я же ти тучі не боюсь,
Е в мене від тучі батенько,
Він з тиесю тучею поговоре,
Він мене обороне.

Разумѣется, на этомъ пути можно было дойти и до тѣхъ искусственныхъ, вымыщленныхъ сближеній, которыя лежать въ основѣ нѣкоторыхъ сѣверныхъ *kenningar* и сродныхъ имъ выражений, основанныхъ на одночленной параллели, сокращенной до значенія эпитета. Воинъ высится между другими въ битвѣ, дерево высится надъ другими въ лѣсу; отсюда название для воина: дерево битвы; вѣтеръ рветъ паруса; волкъ добычу: отсюда: вѣтеръ — волкъ парусовъ; корабль — морской жеребецъ, исполинъ — китъ поля (*hraunvalr*). Нѣчто подобное наблюдается въ метафорическомъ языке Ригведы: солнечный конь (быть какъ) стрѣла, прекрасень, какъ дѣва; отсюда: стрѣла = дѣва; либо: вмѣсто шума, молитвы употребляется метонимически: камень — и стано-

вится возможной формула: говорить, сказывать камень (= молитву) и т. п.¹⁾.

Это почти загадка, какъ пѣсенки изъ Аннама, приведенные выше, но вѣдь и известный типъ загадки нокится на одночленномъ параллелизмѣ, при чёмъ образы сознательно умолчанного члена параллели, который приходится угадать, переносятся порой на тотъ, который и составляетъ загадку. (Сл. Аристотель, Реторика III, 2: загадки — «хорошо составленныя метафоры»). Перенесеній нѣтъ, напримѣръ, въ слѣдующихъ примѣрахъ:

Es kam ein Vogel federlos,
Sass auf dem Baume blattlos,
Da kam die Jungfer mundlos
Und frass den Vogel federlos
Von dem Baume blattlos.

(Солнце растопляетъ снѣгъ на безлистномъ деревѣ).

Bjela njivo, crno sjeme, star bio tko ga sio; разгадка въ умолчанной параллели: бѣлая хартія, черныя письмена; см. Campo bianco e semenzâ nera, Due la guarda e cinque la mena: бумага, письмо, глаза, перо (сходная загадка встречается у литовцевъ, во Франціи и | Англіи. Или: Jedna glava voska svemu svietu 64 dosta (мѣсяцъ въ небѣ, свѣча въ дому). Но загадка: «что въ избѣ за бычій глазъ?» указываетъ на перенесеніе: сучекъ въ стѣнѣ — глазъ у быка, какъ и слѣдующія: красная дѣвушка по небу ходить (солнце), «мѣсяцъ новецъ, днемъ на полѣ блещетъ, къ ночи на небо слетѣль» (серпъ). Иныя загадки напоминаютъ образность пѣсенныхъ запѣвовъ: замутиться (о водѣ) значить опечалиться, растроиться; отсюда загадка: помутилася вода съ пескомъ (ссора мужа и жены); роса падаетъ на зарѣ, мѣсяцъ застаетъ ее, солнце сушитъ, крадеть; вместо того — одночленная параллель, загадка на тему росы: «заря зоряница, красная дѣвица, врата запирала, по полю гуляла, ключи потеряла, мѣсяцъ видѣль, а солнце скрало». — Иногда загадка построена на выключеніяхъ: рабо —

1) (Къ метафорамъ Ригведы). Сл. Regnard, Revue de l'hist. des religions, XVI, 166—9 (o jeux de mots védiques).

да не песь, зеленъ, да не лукъ, вертится, какъ бѣсь и повертка въ лѣсь (= сорока); «Красна, да не дѣвка, зелена, да не дубрава» (морковь).

VIII.

Загадка, построенная на выключеніи, обращаетъ насъ еще къ одному типу параллелизма, который намъ остается разобрать: 4) *къ параллелизму отрицательному*. «Крѣпокъ — не скала, реветь — не быкъ», говорится въ Ведахъ; это можетъ послужить образцомъ такого же построенія параллелизма, особенно популярнаго въ славянской народной поэзії¹⁾. Принципъ такой: становится двучленная, или и многочленная формула, но одна или однѣ изъ нихъ устраняются, чтобы дать вниманію остановиться на той, на которую не простиралось отрицаніе. Формула начинается съ отрицанія, либо и съ положенія, которое вводится нерѣдко съ знакомъ вопроса.

Не бѣлая березка нагибается,
Не шатучая осина разпушмѣлася,
Добрый молодецъ кручиной убивается.

Какъ не бѣлая березанька со липой свивалася,
Какъ въ пятнадцать лѣтъ дѣвица съ молодцемъ свыкалась.

Не березынька шатается,
Не кудрявая свивается,
Какъ шатается, свивается,
Твоя молода жена.

65 Не бывать вѣтрамъ — да повѣяли,
 Не бывать-бы боярамъ, да понѣхали.

Не громъ гремитъ, не стукъ стучитъ,
Говорить тутъ Ильюшка своему батюшкѣ.

1) (Отрицательный параллелизмъ). Сл. Пушкинъ, Полтава, п. 1-ая: Не серна подъ утесь уходитъ,— Орла послыша тяжкій летъ,— Одна въ сѣняхъ не вѣста бродитъ,— Трепещетъ и рѣшенья ждетъ.

Не ясень соколь тутъ вылетывалъ,
Не черный воронъ тутъ выпархивалъ,
Выѣзжалъ тутъ злой татарченокъ.

Не ясень соколь въ перелеть леталъ,
Не бѣлы кречетъ перепархивалъ,
Выѣзжалъ Добрыня Никитичъ младъ.

Что не бѣль въ полѣ забѣлѣлася,
Забѣлѣлася ставка богатырская,
Что не синь въ поляхъ засинѣлася,
Засинѣлиися мечи булатные,
Что не крась въ полѣ закраснѣлася,
Закраснѣлась кровь со печенью.

Изъ-за горъ было, горъ высокихъ,
Изъ-за лѣсовъ, лѣсовъ темныхъ,
Не бѣла заря занималася,
Не красно солнце выкаталося,
Выѣзжалъ тутъ добрый молодецъ,
Добрый молодецъ, Илья Муромецъ.

Не двѣ тучи въ небѣ сходилися,
Слеталися, сходилися два удалые витязи.

Не орель подъ сѣни подлетѣль,
Ванька по сѣнямъ походилъ.

Ни въ тереми свѣчка ни жарка гарить,
Ни жарка; ни полымимъ всыхивантъ,
Въ тереми Настасьюшка пичальна сидить,
Жалостна, пичальна рѣчи гаворить.

Ни трубушка трубить
Рано на зарѣ,
Плакала Марьушка па русый касѣ.

Не ручей да бѣжитъ, быстра эта рѣченка,
Это я, бѣдна, слезами обливаюся,
И не горькая осина разстонулася,
Эта злая моя кручинка расходилася. |

Ой то не огни пыталы, не туманы уставалы,
Якъ изъ города, изъ тяжкой неволи,
Тры братки втикали.

Не вербы жъ то шумилы и не галкы закричали,
Тожъ казаки эъ ляхами пиво варить зачинали.

(Сербскія).

Dva su bora naporedo rosla,
Medju njima tankovrha jela;
To ne bila dva bora zelena,
Ni medj' njima tankovrha jela,
Već to bila dva brata rodjena,
Medju njima sestrica Jelica

Ili grmi, il' se zemlja trese,
Il' udara more u bregove?
Niti grmi, nit' se zemlja trese,
Već dijeli blago svetitelji

Jali grmi, jal' se zemlja trese,
Jal' se bije more o mramorje?
Jal' se biju na Popina yile?
Niti grmi и т. д.

Zakukala crna kukavica,
Kad joj roka ni vremena njima ..
Ono nije crna kukavica,
No je majka Beke Turčinova.

Šta se sjaji kroz gora selenu?
Da l' je sunce, da l' je jasen mesec?
Nit' je sunce, nit' je jasen mesec,
Već zet šuri na vojvodstvo ide.

(Чешскай).

U našeho jazera,
Stójí lipka zelena,
A na téj lipě, na téj zelenéj,
Zpívaju tři ptačkove;
A nejsu ptačkove,
To jsu šohajičkove,
Rozmluvaju o švarnej děvčine,
Keremu se dostane |

Mit Lust thät ich ausreiten
Durch einen grünen Wald,
Darin da hört ich singen
Drei Vöglein wohlgestalt;
So sein es nit drei Vögelein,
Es seín drei Jungfräulein.

67

Бѣлѣютъ цвѣты на горѣ,
Черемуха ли эта цвѣтеть, или яблоня?
Не цвѣтеть ни черемуха, ни яблоня,
А бѣлѣется сама братнина сестра (латышская).

Отрицательный параллелизмъ встрѣчается въ пѣсняхъ литовскихъ, новогреческихъ, рѣже въ нѣмецкихъ; въ малорусской онъ менѣе развитъ, чѣмъ въ великорусской. Я отличаю отъ него тѣ формулы, гдѣ отрицаніе падаетъ не на объектъ или дѣйствіе, а на сопровождающія ихъ количественныя или качественныя опредѣленія: не *столько*, не *такъ* и т. п. Такъ въ Иліадѣ, XIV, 394; но въ формѣ сравненія: съ *такою* яростью не реветь, ударяясь о каменистый берегъ, волна, поднятая на морѣ сильнымъ дуновеніемъ сѣвернаго вѣтра; *такъ* не воетъ пламя, надвигаясь съ шипящими огненными языками; ни ураганъ, . . . *какъ* громко раздавались голоса троянцевъ и данаевъ, когда съ страшнымъ кликомъ они свирѣпствовали другъ противъ друга. Или въ VII сестинѣ Петrarки: «Не *столько* звѣрей таить морская пучина, не *столько* звѣздъ видить надъ кругомъ мѣсяца ясная ночь, не *столько* птицъ водится въ лѣсу, ни злаковъ на влажной полянѣ, *сколько* думъ приходить ко мнѣ каждый вечеръ» и т. п.

Можно представить себѣ сокращеніе дву—или многочленной отрицательной формулы въ одночленную; хотя отрицаніе должно было затруднить подсказываніе умолчанного члена параллели: не бывать вѣтрамъ, да повѣяли (— не бывать бы боярамъ, да понѣхали); или въ Словѣ о Полку Игоревѣ: не буря соколы занесе чрезъ поля широкія, (галичъ стады бѣжать къ Дону великому). — Примѣры отрицательной одночленной формулы мы встрѣчали въ загадкахъ.

Популярность этого стилистического приема въ славянской народной поэзіи дала поводъ къ нѣкоторымъ обобщеніямъ, которыхъ придется если не устранить, то ограничить. Въ отрицательномъ параллелизмѣ видѣли что то народное или расовое, славянское, въ чёмъ типически выражался особый, элегический складъ славянского лиризма. Появленіе этой формулы и въ другихъ народныхъ лирикахъ вводить это объясненіе въ надлежащія граниты; можно говорить развѣ | о большемъ распространеніи формулы на почвѣ славянской пѣсни, съ чѣмъ вмѣстѣ ставится вопросъ о причинахъ этой излюбленности. Психологически на отрицательную формулу можно смотрѣть, какъ на выходъ изъ параллелизма, положительную схему которого она предполагаетъ сложившегося. Та сближаетъ дѣйствія и образы, ограничиваясь ихъ парностью или накопляя сопоставленія: не то дерево хилится, не то молодецъ печалится; отрицательная формула подчеркиваетъ одну изъ двухъ возможностей: не дерево хилится, а печалится молодецъ; она утверждаетъ, отрица, устраняетъ двойственность, выдѣляя особь. Это какъ бы подвигъ сознанія, выходящаго изъ смутности сплывающихъ впечатлѣній къ утвержденію единичнаго; то, что прежде врываилось въ него, какъ соразмѣрное, смежное, выдѣлено, и если притягивается снова, то какъ напоминаніе, не предполагающее единства, какъ сравненіе. Процессъ совершился въ такой послѣдовательности формулъ: человѣкъ: дерево; не дерево, а человѣкъ; человѣкъ, какъ дерево. На почвѣ отрицательного параллелизма послѣднее выдѣленіе еще не состоялось вполнѣ: смежный образъ еще витаетъ гдѣ-то вблизи, видимо устраниенный, но еще вызывая созвучія. Понятно, что элегическое чувство нашло въ отрицательной формулы отвѣчающее ему средство выраженія: вы чѣмъ-нибудь поражены, неожиданно, печально, вы глазамъ не вѣрите: это не то, что вамъ кажется, а другое, вы готовы успокоить себя иллюзіей сходства, но дѣйствительность бывать въ глаза, самообольщеніе только усилило ударъ, и вы устраниете его съ болью: то не березынька свивается, то свивается, кручинится твоя молодая жена!

Я не утверждаю, что отрицательная формула выработалась въ сферѣ подобныхъ настроеній, но она могла въ ней воспитаться и обобщиться. Чередованіе положительного параллелизма, съ его прозрачною двойственностью, и отрицательного, съ его колеблющимся, устраниющимъ утвержденіемъ, даетъ народному лиризму особую, расплывчатую окраску. Сравненіе на такъ суггестивно, но оно положительно.

На значеніе 5) *сравненія* въ развитіи психологического параллелизма указано было выше. Это уже прозаической актъ сознанія, разчленившаго природу; сравненіе — та же метафора, но съ присоединеніемъ (частицъ сравненія?) говорить Аристотель (*Rhet.* III, 10); оно болѣе развито (обстоятельно) и потому менѣе нравится; не говоритъ: это = *то-то*, и потому умъ не ищетъ и *этого*. — Поясненіемъ можетъ служить примѣръ изъ 6-й главы: *леовъ* (= Ахилль) ринулся — | и Ахилль ринулся, *какъ леовъ*; въ 69 послѣднемъ случаѣ нѣть уравненія (это = то-то) и образъ льва (то-то) не останавливается вниманія, не заставляетъ работать фантазію. Въ гомерическомъ эпосѣ боги уже выдѣлились изъ природы на свѣтлый Олимпъ, и параллелизмъ является въ формахъ сравненія. Позволено ли усмотрѣть въ послѣднемъ явленіи хронологической моментъ, — я сказать не рѣшаюсь.

Сравненіе не только овладѣло запасомъ сближеній и символовъ, выработанныхъ предыдущей исторіей параллелизма, но и развивается по указаннымъ имъ стезямъ; старый матеріалъ влился въ новую форму, иные параллели укладываются въ сравненіе, и наоборотъ, есть и переходные типы. Въ пѣснѣ о вишнѣ, напримѣръ¹⁾, къ параллели: вишня и дубъ = девушка: молодецъ третье сближеніе пристраивается уже какъ сравненіе (Кат се привија — И свила къ бумбаку). Такъ и въ слѣдующей пѣснѣ:

1) См. выше, стр. 194 (55).

Jer se digla magla od Kotara,
A kroz maglu sijevaju munje.
Što se ona magla podignula,
To se digla praha ot kopita,
Što kroz maglu sijevaju munje,
To s'jevaju toke na junacim.

Выражение нашихъ былинъ: «спѣла тетивочка» не что иное, какъ отложеніе параллели: человѣкъ поетъ: тетива звенить, поеть¹⁾). Образъ этотъ можно было выразить и сравненіемъ, напримѣръ въ Ригведѣ: тетива шепчетъ, говорить, какъ дѣва; точно богиня заворковала натянутая на лукъ тетива (см. тамъ же: стрѣла, какъ птица, ея зубъ точно зубъ дикаго звѣря); луки щебечутъ, словно журавли въ гнѣзда:

da begunden snateren die bogen
so die Storche im Neste (Нибелунги),

какъ и у Гомера:

δεξιτερῆ δ' ἄρχ χειρὶ λαβὼν πειρήσατο νεύρης,
ἡ δ' ἄρα καλὸν ἀεισε χελιδόνι ἐικέλη αὐδῆν (Od. XXI, 410—11).

Въ олонецкомъ причитаніи вдова плачется, *какъ* кукушка, но сравненіе перемежается образомъ, выросшимъ изъ параллели: вдова == кукушка.

Ужъ какъ я бѣдна кручинная головушка,
Тосковать буду подъ косыччатымъ окошечкомъ, |
Коковать буду, горюша, подъ околенкой,
Какъ несчастная кокоша на сыромъ бору...
На подушней сижу на деревиночкѣ,
Я на горькой сижу да на осиночкѣ.

Многочленному параллелизму отвѣчаетъ такая-же форма развитаго сравненія (напримѣръ у Гомера, въ англосаксонскомъ эпосѣ и т. д.), съ тою разницей, что, при сознательности самого акта, развитіе является болѣе синтаксически-сплоченнымъ, а

1) Сл. Brunnhofer, Ueb. den Geist der ind. Lyria (Lpz., 1882), стр. 182.

личное сознаніе выходитъ изъ границъ традиціоннаго материала параллелей къ новымъ сближеніямъ, къ новому пониманію образовъ и виртуозности описаній, довлѣющихъ самъ себѣ. Въ Иліадѣ II, 144 слѣд. два сравненія идутъ подъ-рядъ, заимствованныя отъ образа вѣтра; тамъ же 455 слѣд. впечатлѣніе ахейской рати и ея вождей выражено въ шести сравненіяхъ, взятыхъ отъ огня, птицъ, цвѣтовъ, мухъ, пастуховъ и быка. Позднѣе это накопленіе сравненій становится формулой, едва ли служащей цѣли единства впечатлѣнія (сл., напримѣрь, Макферсона, Шатобріана и др.). Эпическая обстоятельственность, такъ называемая retardatio — поздній стилистический фактъ. Слѣдующіе примѣры, взятые главнымъ образомъ изъ Гомеровскихъ поэмъ, отвѣтять за многіе другие.

Какъ море, надвигаясь волна за волной, взволнованное зе-
фиromъ, бѣется обѣ утесистый, звонко отзывающійся берегъ, и
сначала высоко вздымается, затѣмъ, разбившись о твердыню,
громко реветь, крутясь вокругъ мыса и далеко извергая соленую
воду, — такъ шли Данай (Ил. IV, 422). Безпокойство ахейцевъ
сравнивается (Ил. IX, 4) съ бурнымъ моремъ, взволнованнымъ
западнымъ и сѣвернымъ вѣтрами и выбрасывающимъ на берегъ
морскую траву. Пенелопа плачетъ, что снѣгъ таетъ; это развито
такимъ образомъ (Од. XIX, 205 слѣд.):

Какъ таетъ

Снѣгъ на вершинахъ высокихъ, заоблачныхъ горъ, теплоноснымъ
Эвромъ согрѣтый и прежде туда нанесенный Зефиромъ,
Имъ-же растаяннымъ рѣки полнѣются и лютятся быстрѣ,
Такъ по щекамъ Пенелопы прекраснымъ струею лилися
Слезы печали.

Битва сравнивается съ вихремъ, ломающимъ деревья, кото-
рыя по этому поводу и упоминаются раздѣльно: тутъ и питатель-
ный ясень, и дёрень съ плотною корою (Ил. XVI, 765 слѣд.;
Сл. такія же реторически развитыя сравненія Ил. IV, 141 слѣд.;
XVI 385 слѣд.). Бытовыя впечатлѣнія, окружавшія пѣвца, втор-
гались въ его сравненія, и параллелизмъ обогащался сценами,

71 всегда реальными, если не | всегда поэтичными. Тревожимый думами Одиссей не находить себѣ покоя на ложѣ, вращаясь, какъ кусокъ мяса на вертелѣ (Од. XX, 25 слѣд.):

Какъ на огнѣ, разгорѣвшемся ярко, ворочаютъ полный
Жиромъ и кровью желудокъ туда и сюда, чтобы отовсюду
Могъ быть онъ вкусно и сочно обжаренъ, огнемъ непрожженный,
Такъ на постелѣ ворочался онъ, безпрестанно тревожась
Въ мысляхъ о томъ, какъ ему одному съ жениховъ многочисленной
Шайкоу сладить.

«Запѣвы» сравненія облекаются порой въ одну и ту же форму (какъ сѣв. svâ ег, sem): «*Какъ человѣкъ* даетъ мужамъ шкуру большого быка, текущую тукомъ, дабы они растянули ее, а они, разойдясь въ кругу, тянуть ее, пока не исчезнетъ сырость и не сойдетъ жиръ, — такъ на небольшомъ пространствѣ тянули оба въ ту и другую сторону тѣло Патрокла» (Ил. XVII, 399 слѣд.), «*Какъ человѣкъ*, искусный обѣзжать коней, запряжетъ четверню и стремительно Ѣдетъ по столбовой дорогѣ съ поля въ городъ, и многіе мужи и жены дивятся ему, а онъ поперемѣнно скачеть съ одного коня на другого, пока они летятъ впередъ, — такъ, широко разставляя ноги, шагалъ Аяксъ съ одной палубы на другую» (Ил. XV, 679 слѣд.). Боли роженицы сравниваются съ болью отъ раны (Ил. XI 219); Одиссей, спрятавшійся въ ворохѣ листьевъ, — съ тѣлощею головней, которую мужъ спряталъ въ золѣ на краю поля, чтобы такимъ образомъ сохранить огонь и не искать его вдали, коли нѣть сосѣдей.

Многое отзывается искусственностью, придуманностью, тогда какъ въ другихъ случаяхъ вѣтъ непосредственностью народно-поэтической параллели: героя со львомъ (Ил. XX, 164 слѣд.; сл. V, 782 слѣд.; IV, 253), или съ кабаномъ, какъ въ французскомъ эпосѣ; Одиссей сравниваетъ Навзику съ финиковою пальмою, видѣнною имъ въ Делосѣ у алтаря Аполлона (Од. VI, 162); красавица французской Chanson de geste алѣе розы на кустѣ, бѣлѣе снѣга; голова героя склоняется, какъ головка мака (Ил. VIII, 306):

Словно какъ макъ въ цвѣтникѣ наклоняетъ голову на бокъ,
Пышный, плодомъ отягченный и крупною влагой весенней,
Такъ онъ голову на бокъ склонилъ, отягченную шлемомъ.

Это напоминаетъ параллель: хилиться = склониться, какъ сближенію листа—дѣвшушки по идеѣ удаленія, разлуки, данъ иной оборотъ, въ превосходномъ сравненіи:

Листьямъ въ дубравахъ древеснымъ подобны сыны человѣковъ:
Вѣтеръ одни по землѣ развѣваетъ, другіе дубрава, |
Вновь разцвѣтая, рождаетъ, и съ новой весной возрастаютъ;
Такъ человѣки: сіи нарождаются, тѣ погибаютъ. (Ил. VI, 146).

72

Сл. Ил. XXI, 464. «Я мала (безпомощна), какъ листокъ» (ný em ek svá litil sem lauf sé opt jolstrum. Guð. I, 19, 5), говорится въ пѣсенной Эддѣ, одинока, какъ осина въ йѣсу, безъ вѣтвей и листьевъ (einstoett em ek ordin sem զsp í holti, fallin at fraendum sem fura at kvisti vadín at vilja sem vider at laufi. Hamð. 5),— какъ вдова русскаго причитанья, кукующая на осиночкѣ.

Радостныя слезы Одиссея и Телемаха въ сценѣ признанія (Од. XXVI, 216) вызываютъ въ памяти жалобный клехть птицъ, морскихъ орловъ или кривокогтистыхъ ястребовъ, у которыхъ крестьяне похитили птенцовъ, еще не умѣвшихъ летать, тогда какъ заботы Ахилла о своихъ людяхъ подъ Троей, среди безсонныхъ ночей и бранныхъ подвиговъ, напоминаютъ образъ птицы, пекущейся о своихъ дѣтенышахъ, которымъ она приносить пищу, забывая себя.

Иные изъ этихъ образовъ намъ до сихъ поръ суггестивны, другіе понятны, но ихъ поэтическая суггестивность исчезла, потому что наше понятіе о героѣ стало болѣе исключительнымъ, чтобы не сказать салоннымъ, да и въ природѣ умалился элементъ свободы и героизма съ тѣхъ поръ, какъ человѣкъ овладѣль ею, пересадилъ въ свои сады и стойла. Мы не сравнимъ болѣе витязя съ гончимъ псомъ, какъ часто въ Иліадѣ (VIII, 338; X, 360; XV, 579; XVII, 725 слѣд.; XXII, 189), или въ пѣснѣ о Роландѣ:

Si com li cerfs s'en vait devant les chiens,
Devant Rolant si s'en fuient paiens.

Чѣмъ-то архаичнымъ вѣть отъ сравненія Сигурда съ оленимъ (Gud. II, 2,5), Гельги съ оленымъ теленкомъ, покрытымъ росою, рога которого сияютъ до неба, тогда какъ самъ онъ выится надъ всѣми другими звѣрями (Helgakv. H. II, 37,5); или Агамемнона съ быкомъ, выдающимся по величинѣ изъ всего пасущагося стада (Ил. II, 480); двухъ Аяксовъ, рядомъ стоящихъ въ битвѣ,—съ парой быковъ въ ярмѣ (Ил. XIII, 703), троянцевъ, слѣдующихъ за своими вождями — со стадомъ, идущимъ за бараномъ къ водопою (Ил. XIII, 429 слѣд.), Одиссея съ тучнымъ бараномъ (Ил. III, 196 слѣд.). Стрѣла Гелена отскакиваетъ отъ латы Менелая, какъ бобы и горохъ отъ тока (Ил. XIII, 588 слѣд.); мирмидоняне, мужественно стремящіеся въ битву, напоминаютъ ось, нападающихъ на мальчика, раззорившаго ихъ гнѣзда (Ил. XVI, 641 слѣд.); мужи, сражающіеся вокругъ тѣла Сарпедона (Ил. XVI, 641 слѣд., сл. II, 469 слѣд.) — что муhi, слѣд. 73 тѣвшіяся къ наполненному молокомъ сосуду; храбрость, внушенная Менелаю Аеной (Ил. XVII, 570) — храбрость муhi, постоянно сгоняемой и все-же нападающей на человѣка, чтобы полакомиться его кровью, тогда какъ троянцы, бѣгущіе отъ Ахилла къ Есану, сравниваются съ саранчей, спасающейся въ рѣку отъ пожара, или съ рыбой, бѣгущею отъ дельфина (Ил. XXI, 12 слѣд., 22 слѣд.).

Одиссей злобствуетъ на служанокъ, потворствовавшихъ женихамъ Пенелопы: таково озлобленіе пса, защищающаго своихъ щенятъ (Од. XX, 14); Менелай оберегаетъ тѣло Патрокла, готовый отразить нападеніе, какъ корова не отходитъ отъ своего первого теленка (Ил. XVII, 14). Когда Аяксы, влекущіе тѣло Патрокла, напоминаютъ пѣву (Ил. XVII, 743) двухъ муловъ, что тащать мачтовое дерево съ горы, когда Аяксъ медленно уступаетъ передъ напоромъ троянцевъ, точно упрямый осель, забравшійся въ поле и тugo уступающій передъ ударами, которыми осыпаютъ его мальчики (Ил. XI, 558) — мы не уяснимъ себѣ значенія этихъ образовъ, если не вспомнимъ, что въ гомеровскихъ поэмахъ осель еще не является въ томъ типическомъ осѣв-

щений, къ которому мы привыкли, которое присваиваемъ, напримѣръ, образамъ овцы и козы, тогда какъ въ Иліадѣ (IV, 433 слѣд.) говоръ троянского войска сравнивается съ блеяніемъ овецъ въ загонѣ богача, троянцы—съ блеющими козами, боящимися льва (Ил. XI, 383), радость товарищей при видѣ Одиссея, вернувшагося отъ Кирки,—съ радостью телятъ, скачущихъ на встрѣчу матери, идущей съ поля, и бѣгающихъ вокругъ нея съ мычаніемъ (Од. XX, 410 слѣд.).

Ригведа пошла еще далѣе, сравнивая красоту пѣсни съ мычаніемъ молочной коровы, какъ и въ одномъ четверостишии Нâla'ы говорится, что отвести глаза отъ красавицы такъ же трудно, какъ малосильной коровѣ выбраться изъ ила, въ которомъ она завязла. Все это было такъ же естественно, какъ образы убиваемыхъ или околѣвшихъ животныхъ, которые вызывается у Гомера смерть того или другого героя (Ил. XVII, 522; Од. XX, 389; Ил. XVI, 407), когда, напримѣръ, спутники Одиссея, схваченные Скиллой, сравниваются съ рыбами, вытащенными изъ воды и трепещущими на берегу (Од. XII, 251):

Такъ рыболовъ, съ каменистаго берега длинно-согбенной
Удой кидающій въ воду коварную рыбамъ приманку,
Рогомъ быка лугового ихъ ловить, потомъ, изъ воды ихъ
Выхвативъ, на берегъ жалко — трепещущихъ быстро бросаетъ:
Такъ трепетали они въ высотѣ, унесенные жадною Скиллой.

| Герой — осель, пѣсня — мычанье коровы и т. п.— все это 74
далеко отъ нашего міросозерцанія, не въ нашихъ вкусахъ. Матеріаль сравненій съузился, ограничился выборомъ, подсказаннымъ измѣненіями быта, отдѣленіемъ художественной поэзіи отъ народной, увлеченіями моды, случайностью культурныхъ скрещиваній¹⁾. Кто скажетъ, напримѣръ, почему роза и соловей удержались на высотѣ нашихъ эстетическихъ требованій, и надолго ли

1) (Миѳическая новообразованія у новыхъ поэтовъ). Сл. Renouvier о Victor Hugo.

они удержанятся? Съ сравненіями произошло то же, что съ тѣми параллельными формулами, которыя и нарождались въ народной пѣснѣ, и забывались, тогда какъ немногія пережили, отложившись въ прочныя очертанія символа, опредѣленного и, вмѣстѣ, широко суггестивнаго. Новый подборъ можетъ решить иначе; онъ выдвинетъ забытое, устраниТЬ, что нѣкогда нравилось, но перестало подсказывать; дастъ мѣсто и новообразованіямъ.

IX.

Метафора, сравненіе дали содержаніе и нѣкоторымъ группамъ эпитетовъ¹⁾; съ ними мы обошли весь кругъ развитія психолого-гического параллелизма, на сколько онъ обусловилъ матеріаль нашего поэтическаго словаря и его образовъ. Не все, когда-то живое, юное сохранилось въ прежней яркости, нашъ поэтический языкъ нерѣдко производить впечатлѣніе детритовъ, обороты и эпитеты полиняли, какъ линяетъ слово, образность котораго утрачивается съ отвлеченнымъ пониманіемъ его объективнаго содержанія. Пока обновленіе образности, колоритности остается въ числѣ *pia desideria*, старыя формы все еще служатъ поэту, ищущему самоопредѣленія въ созвучіяхъ — или противорѣчіяхъ природы; и чѣмъ полнѣе его внутренній міръ, тѣмъ тоньше отзвукъ, тѣмъ большею жизнью трепещутъ старыя формы. «Горнія вершины» Гете написаны въ формахъ народной дву-членной параллели:

Ueber allen Gipfeln ist Ruh,
In den Wipfeln spürtest du
Kaum einen Hauch.
Die Vögel schweigen im Walde;
Warte nur, balde
Ruhest du auch!

1) О нихъ см. выше: «Изъ исторіи эпитета», стр. 58 слл.

| Другіе примѣры можно найти у Гейне¹⁾, Лермонтова²⁾, 75 Верлена³⁾ и др.; «пѣсня» Лермонтова — сколокъ съ народной, подражаніе ея наивному стилю:

Желтый листъ о стебель бѣется
Передъ бурей,
Сердце бѣдное трепещетъ
Предъ несчастьемъ;

если вѣтеръ унесеть мой листокъ одинокій, пожалѣеть ли о немъ вѣтка сирая? Если молодцу рокъ судилъ угаснуть въ чужомъ краю, пожалѣеть ли о немъ красна дѣвица?

Одночленную метафорическую параллель, въ которой смѣшаны образы двучленной, человѣкъ и цвѣтокъ, дерево и т. п., представляетъ Гейневское: «Ein Fichtenbaum steht einsam» и, напр., Ленау:

Wie feierlich die Gegend schweigt!
Der Mond bescheint die alten Fichten,
Die sehnuchtsvoll zum Tod geneigt
Den Zweig zurâck zur Erde richten.

Подобные образы, уединившіе въ формахъ вѣчеловѣческой жизни человѣческое чувство, хорошо знакомы художественной поэзіи⁴⁾. Въ этомъ направлениі она можетъ достигнуть порой конкретности миѳа.

У Ленау (Himmelsstrasse) облака — думы:

Am Himmelsantlitz wandert ein Gedanke,
Die düst're Wolke dort, so bang, so schwer.

(Сл. Фофановъ, Мелкія стихотворенія: Облака плывутъ, какъ думы, Думы мчатся облаками). Это почти антропоморфизмъ Го-

1) Ein Lyrisches Intermezzo 23 (Warum sind denn die Rosen so blass?); 25 (Die Linde blühte, die Nachtigall sang), 59 (Es fällt ein Stern herunter) и др.

2) Волны и люди; Стояла сѣрая скала и др.

3) Il pleurt dans mon coeur, Comme il pleurt sur la ville.

4) См. напримѣръ Heine, Lyr. Intermezzo 10: Die Lotosblume, Лермонтовъ: Парусъ, Утесь: Ночевала тучка золотая; Бальмонтъ, Падучая звѣзда и др.

лубиной книги: «наши помыслы отъ облацъ небесныхъ», но съ содержаніемъ личнаго сознанія. — День разрываетъ покровы ночи: хищная птица рветъ завѣсу своими когтями; у Вольфрама фонъ-Эшенбахъ все это слилось въ картину облаковъ и дня, пробившаго когтями ихъ мглу: *Sine klawen durch die wolkne sint geslagen*¹⁾). Образъ, напоминающій миѳическую птицу — молнію, сносящую небесный огонь; недостаетъ лишь момента вѣрованія.

76 | Солнце — Геліосъ принадлежитъ его антропоморфической порѣ; поэзія знаетъ его въ новомъ освѣщеніи. У Шекспира (сонетъ 48) солнце — царь, властелинъ; на восходѣ онъ гордо шлетъ свой привѣтъ горнимъ высямъ, но когда низменныя облака иска-зять его лицъ, онъ омрачается, отводить взоръ отъ потеряннаго міра и спѣшить къ закату, закутанный стыдомъ. У Бордвортса это — побѣдитель темной ночи (*Hail, orient conqueror of gloomy night*). Напомню еще образъ солнца — царя въ превосходномъ описаніи восхода у Короленка (Сонъ Макара): «Прежде всего, точно первые удары могучаго оркестра, изъ-за горизонта выбѣжало нѣсколько свѣтлыхъ лучей. Они быстро пробѣжали по небу и потушили яркія звѣзды. И звѣзды погасли, а луна закатилась. И снѣжная равнина потемнѣла. Тогда надъ нею поднялись туманы и стали кругомъ равнины, какъ почетная стража. И въ одномъ мѣстѣ, на востокѣ, туманы стали свѣтлѣе, точно воины одѣтые въ золото. И потомъ туманы заколыхались, и золотыя волны наклонились долу. И изъ-за нихъ вышло солнце и стало на ихъ золотистыхъ хребтахъ, и оглянуло равнину. И равнина вся засияла невиданнымъ, ослѣпительнымъ свѣтомъ. И туманы торжественно поднялись огромнымъ хороводомъ и разорвались на западѣ и, колеблясь, понеслись кверху. И Макару казалось, что онъ слышитъ чудную пѣсню. Это была какъ будто та самая, давно знакомая пѣсня, которою земля каждый разъ привѣтствуетъ солнце».

1) Lieder ed. Lachmann 4, 8 слѣд. Сл. Ulrich von Türrheim: *dez diu wolken wâren grâ und der tac sine clâ hate geslagen durch die naht.*

Рядомъ съ этимъ оживаютъ въ поэзіи древнѣйшія представления, вродѣ солнце — глазъ, лицъ Божій (напримѣръ, въ Ведахъ) и т. п. Rückert говоритьъ о золотомъ древѣ солнца (Blüht der Sonne goldner Baum), Julius Wolf о древахъ свѣта — лучахъ восходящаго солнца, вѣромъ разсѣянныхъ на востокѣ; ни тотъ, ни другой не знать, либо не припомнилъ миѳа о солнечномъ или свѣтовомъ деревѣ, но они видѣли его сами, это такая же образная апперцепція явленій вѣнчанаго міра, какая создала старые миѳы¹⁾. — Золотой, ширококрылый соколь витаетъ надъ своимъ лазурнымъ гнѣздомъ (Denn der goldne Falke, breiter Schwingen, Ueberschwebet sein azurnes Nest): такъ изображаетъ восходъ солнца одна восточная пѣсенка, пересказанная Гете. У Гейне (Die Nordsee, 1-er Cyclus: Frieden) солнце — сердце Христа, гигантскій образъ котораго шествуетъ по морю и сушѣ, все благословляя, тогда какъ его пылающее сердце шлетъ міру свѣтъ и благодать. У Юліуса Гарта солнце — это сердце поэта; самъ онъ разлить во всемъ твореніи, вышелъ изъ него и продолжаетъ въ немъ участвовать. Лено | обновившейся весною земли онъ вѣн- 77 чаетъ розами своихъ пѣсенъ, привѣтствуя ее:

Bin nun wieder dein geworden,
Deines Blutes dunkler Spross,
Und der rothen Feueronne
Strahlenleuchtender Genoss.
Diese Blumen sind wir Schwestern
Und des Baumes Frühlingsshaft
Kreist auch hell in meinen Adern, —
Und was meine Seele schafft,
Schau ich rings durch alle Lüfte
Ausgestreut auf Feld und Rain,
In den Blumen glüht und blüht es
Und der Vogel singt's im Hain...
Ueber meinem Haupte kreisen
Meine Träume und Gedanken,

1) По румынскому повѣрю солнце стоитъ утромъ у вратъ рая, оттого оно такое свѣтлое, улыбающеся; днемъ оно палить, потому что гнѣвается на людскія прегрѣшенія, вечеромъ его путь идеть мимо вратъ ада, оттого оно такое гнѣвное, печальное.

Jene Adler sind's, die droben
In den grauen Wolken schwanken.
Meines Ichs blutrote Welle
Ueber alle Erden fliesst,
Du, o Sonne, bist's, die leuchtend
Ihren Leib durchs Weltall giesst

(Pan 1897, № 3, стр. 142—143: Maerzenwelt).

Гдѣ-то вдали слышится наивная кантилена нашего стиха о Голубиной книжѣ: Наши кости крѣпкія отъ камени, кровь-руды наша отъ черна моря, солнце красное отъ лица Божьяго, наши помыслы отъ облацъ небесныхъ¹⁾.

Итакъ: метафорическія новообразованія и — вѣковыя метафоры, разработанныя на ново. Жизненность послѣднихъ, или и ихъ обновленіе въ оборотѣ поэзіи зависитъ отъ ихъ ёмкости по отношенію къ новымъ спросамъ чувства, направленного широкими образовательными и общественными теченіями. Эпоха романтизма ознаменовалась, какъ извѣстно, такими же архаистическими подновленіями, какія мы наблюдаемъ и теперь. «Природа наполняется иносказаніями и миѳами», говоритъ Rémi по поводу современныхъ символистовъ; вернулись феи; казалось, онѣ умерли, но онѣ только попрятались, и вотъ онѣ явились снова, феи поля, борозды и лѣса, . . . тѣ, которыхъ крестьяне встрѣчаютъ порой на жнивѣ, въ тѣни былинки; фея, которую забыли пригласить, когда родился Оберонъ. . . феи жизни и смерти, властвующія нашей долей, почивающія въ нашей душѣ. Онѣ вернулись, настроенные несолько болѣе педантски, если хотите, болѣе ученыя: вѣдь нельзя же безнаказанно или безъ пользы прожить вѣкъ наукъ и позитивизма. Но такова емкость символовъ: они — Форма, служащая выражению непознаваемаго; измѣняются постольку, поскольку положительныя науки опредѣляютъ и развиваются наше пониманіе таинственнаго»; но и вымираютъ, прибавлю я, когда между тѣмъ и другимъ теченіемъ прекращается живой обмѣнъ.

1) (Кости отъ камня и т. д.) Сл. относительно подобнаго рода формулы и ихъ источникахъ (христіанскихъ?) Sichs, въ Z. f. deutsche Philol., XXIX, стр. 398—9.

Интересно остановиться на нѣкоторыхъ формахъ поэтическихъ новообразованій, намѣченныхъ уже на почвѣ простѣйшей метафоры. Аристотель приводить въ образецъ «закатъ жизни», какъ въ олонецкой заплакчкѣ «закатилось» солнышко—мужъ; страсть—осень: «Довольно пожилъ я, дожилъ до сухого, желтаго листа» (*my way of life — Is fall'n into the sear, the yellow leaf, Macbeth, V, 3*)¹; мы говоримъ о волненіи страстей (*хѣмѧ, хѣбѡу и т. д.*); романтики ввели въ оборотъ голубыя мысли и т. п. И вотъ, не человѣкъ переноситъ себя въ природу, въ дерево, листокъ, утесь, а природа переносится въ человѣка, онъ самъ какъ бы отражаетъ процессы макрокозма.

У d'Annunzio встрѣчается такая картина: Джулъяна и Тулліо сидятъ подъ вязами, онъ измѣнилъ ей, заставилъ ее страдать и болѣть, и жгучее сознаніе обновившагося чувства обуяло его всецѣло. Она сидѣть спокойная, добрая, на колѣняхъ книга «Война и миръ», нѣкоторыя страницы отчеркнуты, напримѣръ та, гдѣ Лиза въ гробу, казалось, говоритъ: «Что вы со мной сдѣлали?» А съ вязовъ безпрерывно падали увядшіе цвѣты; то было неустанное, медленное паденіе лепестковъ, прозрачныхъ, почти не осязаемыхъ; они то останавливались въ воздухѣ, застаивались, то дрожали, какъ крыльшки стрекозъ, не то зеленоватыя, не то бѣлые; и это безостановочное паденіе дѣйствовало галлюцинируя. Цвѣты все сыпались, безжизненные, точно не реальные, производя невыразимое впечатлѣніе: будто все это совершается внутри, и самъ Тулліо присутствуетъ при паденіи безчисленныхъ, бесплотныхъ тѣней гдѣ-то тамъ, на небѣ души, въ немъ самомъ. Что вы со мной сдѣлали? говорила, казалось, покойница, говорила, молча, Джулъяна, что вы со мной сдѣлали?

Верленъ (*Le rossignol*) вводить насъ въ полную фантасмагорію: метафорическій параллелизмъ съ блестками аллегоріи, которые, впрочемъ, не портятъ образа. На дерево сбилась стая

1) Сл. King Henry VIII, 3: This is the state of man: to-day he puts forth — The tender leafs of hope, to morrow blossoms и т. д.

птицъ — горькихъ воспоминаній, сбилась на *желтую листву сердца*, созерцающаго *свой погнувшийся стволъ въ водахъ* «Сожалѣній». Стая голоситъ, тревожить сердце, но кличъ постепенно замираетъ, и раздаются раскаты соловья, поющаго, какъ встарь, про нее, про первую любовь. Тусклая луна взошла надъ душною лѣтнею ночью и рисуетъ на зыби силуэты трепещущаго дерева и сѣтующей птички.

Comme un vol criard d'oiseaux en émoi
Tous mes souvenirs s'abattent sur moi,
S'abattent parmi le feuillage jaune
De mon coeur mirant son coeur plié d'aune
Au tain violet de l'eau des Regrets
Qui mélancoliquement coule auprès;
S'abattent, et puis la rumeur mauvaise
Qu'une brise moite en montant apaise,
S'éteint par dégrès dans l'arbre, si bien,
Qu'au bout d'un instant on n'entend plus rien,
Plus rien que la voix célébrant l'Absente,
Plus rien que la voix — ô si languissante! —
De l'oiseau qui fut mon premier amour
Et qui chante encore comme au premier jour ;
Et dans la splendeur triste d'une lune
Se levant blaſfarde et solennelle, une
Nuit mélancolique et lourde d'été,
Pleine de silence et d'obscurité,
Berce sur l'azur, qu'un vent doux effleure,
L'arbre qui frémit et l'oiseau qui pleure.

Въ такомъ исканіи созвучій, исканіи человѣка въ природѣ, есть нѣчто страстное, патетическое, что характеризуетъ поэта, характеризовало, при разныхъ формахъ выраженія, и цѣлья полосы общественного и поэтическаго развитія. Элегическое увлеченіе красотами природы, интимность *Naturgefühl'я*, жаждущаго отголосковъ, наступало въ исторіи не разъ: на рубежѣ древняго и новаго міровъ, у средневѣковыхъ мистиковъ, у Петрарки, Руссо и романтиковъ. Франциску Ассизскому чудилась въ природѣ разлитая повсюду божественная любовь; средневѣковый аллегоризмъ, чаявшій во всемъ твореніи соответствія и

совпаденія съ міромъ человѣка, дасть схоластической оборотъ тому же строю мыслей; Петрарка искалъ тѣхъ же созвучій, но набрель на противорѣчія: онѣ лежали въ немъ самомъ. Такое настроеніе понятно въ эпохи колебаній и сомнѣній, когда назрѣлъ разлѣдъ между существующимъ и желаемымъ, когда ослабѣла вѣра въ прочность общественнаго и религіознаго уклада и сильнѣе ощущается жажда чего-то другого, лучшаго. Тогда научная мысль выходитъ на новые пути, пытаясь водворить равновѣсіе между вѣрой и знаніемъ, | но сказывается и старый 80 параллелизмъ, ищущій въ природѣ, въ ея образахъ, отвѣта на недочеты духовной жизни, созвучія съ нею. Въ поэзіи это приводить къ обновленію образности, пейзажъ — декорація наполняется человѣческимъ содержаніемъ. Это тотъ же психической процессъ, который отвѣтилъ когда-то на первые, робкіе запросы мысли; та же попытка сродниться съ природой, проектировать себя въ ея тайникѣ, переселить ее въ свое сознаніе; и часто тотъ же результатъ: не знаніе, а поэзія.

1899.

Три главы изъ исторической поэтики.

[Журналъ Мин. Нар. Просв. 1898 г., № 4—5, ч. СССХII, отд. II, Мартъ,
стр. 62—131 и Апрѣль, стр. 223—89].

[Предисловіе къ отдельному изданію].

«Три главы изъ исторической поэтики» представляютъ отрывки изъ предположенной мною книги, нѣкоторыя главы которой помѣщаемы были разновременно въ *Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія*. Я печаталъ ихъ не въ томъ порядке, въ какомъ онѣ должны явиться въ окончательной редакціи труда, — если вообще ему суждено увидѣть свѣтъ, — а по мѣрѣ того, какъ иныя изъ нихъ представлялись мнѣ болѣе цѣльными, обнимающими самозаключенный вопросъ, способными вызывать критику метода и фактическія дополненія, тѣмъ болѣе желательныя, чѣмъ необъятнѣе матеріалъ, подлежащий разработкѣ.

I.

Синкетизмъ древнѣйшей поэзіи и начала дифференціаціи поэтическихъ родовъ¹⁾.

| Попытка построить генетическое определение поэзии, съ 62—1 точки зре́ния ея содержания и стиля, на эволюции языка-миоа, будетъ по необходимости не полна, если не сосчитается съ однимъ изъ наиболѣе существенныхъ элементовъ опредѣляемаго: ритмическимъ. Его историческое объясненіе въ *синкетизме* первобытной поэзии: я разумѣю подъ нимъ сочетаніе ритмованныхъ, орхестическихъ движений съ пѣсней-музыкой и элементами слова.

Въ древнѣйшемъ сочетаніи руководящая роль выпадала на долю ритма, послѣдовательно нормировавшаго мелодію и развивавшійся при ней поэтическій текстъ. Роль послѣдняго въ началѣ слѣдуетъ предположить самою скромною: то были восклицанія, выраженіе эмоцій, нѣсколько незначущихъ, несодержательныхъ словъ, носителей такта и мелодіи. Изъ этой ячейки содержательный текстъ развился въ медленномъ ходѣ исторіи; такъ и въ первобытномъ словѣ эмоциональный элементъ голоса и движенія (жеста) поддерживалъ содержательный, неадекватно выражавшій впечатлѣніе объекта; болѣе полное его выраженіе получится съ развитіемъ предложенія.

1) См. *Журналъ Министерства Народного Просвещенія* 1894 г. № 5, отд. 2 (Изъ введенія въ историческую поэтику); 1895, № 11, отд. 2 (Изъ истории эпитета), 1897, № 4, отд. 2 (Эпическая повторенія, какъ хронологический моментъ), 1898, № 3, отд. 2 (Психологический параллелизмъ и его формы въ отраженіяхъ поэтическаго стиля).

2—63 | Таковъ характеръ древнѣйшей *пѣсни-игры*, отвѣчавшей потребности дать выходъ, облегченіе, выраженіе накопившейся физической и психической энергіи путемъ ритмически упорядоченныхъ звуковъ и движений. Хоровая пѣсня за утомительную работой нормируетъ своимъ темпомъ очередное напряженіе мускуловъ; съ виду безцѣльная игра отвѣчаетъ безсознательному позыву упражнить и упорядочить мускульную или мозговую силу. Это — потребность такого же *психофизического катарзиса*, какой былъ формулированъ Аристотелемъ для драмы; она сказывается и въ виртуозномъ дарѣ слезъ у женщинъ племени Maoris, и въ повальной слезливости XVIII вѣка. Явленіе то же; разница въ выраженіи и пониманіи: вѣдь и въ поэзіи принципъ ритма ощущается нами, какъ художественный, и мы забываемъ его простѣйшія психофизическая начала.

Къ признакамъ синкретической поэзіи принадлежить и преобладающій способъ ея исполненія: она пѣлась и еще поется и играется многими, *хоромъ*; слѣды этого хоризма остались въ стилѣ и приемахъ позднѣйшей, народной и художественной пѣсни.

Если бы у насъ не было свидѣтельствъ о древности хорового начала, мы должны были бы предположить его теоретически: какъ языкъ, такъ и первобытная поэзія сложилась въ безсознательномъ сотрудничествѣ массы, при содѣйствіи многихъ. Вызванная, въ составѣ древняго синкретизма, требованіями психофизического катарзиса, она дала Формы обряду и культуры, отвѣтивъ требованіямъ катарзиса религіознаго. Переходъ къ художественнымъ его цѣлямъ, къ обособленію поэзіи, какъ искусства, совершился постепенно.

Материалы для характеристики синкретической поэзіи разнообразные, требующіе возможно широкаго сравненія и опасливой критики.

Прежде всего: 1) поэзія народовъ, стоящихъ на низшей степени культуры, которую мы слишкомъ безусловно приравниваемъ къ уровню культуры первобытной, тогда какъ въ иныхъ случаяхъ дѣло идетъ не о переживаніи старыхъ порядковъ, а о

возможныхъ бытовыхъ новообразованіяхъ на почвѣ одичанія. Въ такихъ случаяхъ сравненіе съ 2) аналогическими явленіями среди современныхъ, такъ называемыхъ культурныхъ народностей, болѣе доступныхъ наблюденію и оцѣнкѣ, можетъ указать на совпаденія и отличія, получающія значеніе въ глазахъ изслѣдователя.

Въ случаѣ совпаденія, при отсутствіи возможности вліянія одной сферы на другую, факты, намѣченные среди культурной народности, могутъ быть признаны на дѣйствительныя переживанія болѣе древнихъ бытовыхъ отношеній и въ свою очередь 64—3 бросить свѣтъ на значеніе соответствующихъ формъ въ народности, остановившейся на болѣе раннихъ ступеняхъ развитія. Чѣмъ болѣе такихъ сравненій и совпаденій и чѣмъ шире занимаемый ими районъ, тѣмъ прочнѣе выводы, особенно если къ нимъ подберутся аналогіи изъ нашихъ памятей о древнихъ культурныхъ народностяхъ. Такъ греческая подражательная игра Гѣракнос (журавль) находитъ себѣ соотвѣтствіе въ такихъ же играхъ-пляскахъ съверо-американскихъ индійцевъ, которыя съ своей стороны позволяютъ устранить, какъ позднее историческое измышленіе, легенду, будто Гѣракнос введенъ былъ на Делосъ Тезеемъ въ воспоминаніе и подражаніе своихъ блужданій по Лабиринту. Такъ развитіе амебейнаго пѣнія въ народной поэзіи, не испытавшей литературныхъ вліяній, ставить границы гипотезъ Рейценштейна о культовомъ происхожденіи сицилійской буколики.

Слѣдующія сообщенія группируются, быть можетъ, пѣсколько виѣшнимъ образомъ, по отдѣламъ некультурныхъ и культурныхъ народностей. Записи, касающіяся первыхъ, далеко не равномѣрны: старыя, появившіяся до обособленія фольклора, какъ науки, не имѣли въ виду его запросовъ и могли обходить, какъ неважныя, такія стороны явленій, которыя стали съ тѣхъ поръ въ центрѣ его интересовъ; новые записи лишь случайно и стороной захватывали ту область народнопоэтическихъ данныхъ, которая подлежитъ нашему наблюденію, и не всегда отвѣчаютъ его специальному, иногда мелочному требованіямъ. Такъ, на-

примѣръ, мы часто въ невѣдѣніи, въ какихъ отношеніяхъ находится текстъ запѣвалы къ припѣву хора, въ чёмъ состоить припѣвъ, приводится ли онъ изъ хоровой или единоличной пѣсни и т. п.

Иначе обстоитъ дѣло съ параллельными явленіями въ сфере культурныхъ народностей: здѣсь, при обилии матеріаловъ, возможность народныхъ общеній и вліяній можетъ затруднить вопросъ о томъ, чтобъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ свое или чужое, считается или неѣтъ единицей въ суммѣ данныхъ, которая предстоитъ обобщить. Впрочемъ, въ области обряда и обрядовой поэзіи, обусловленной формами быта, перенесеніе ограничивается, по большей части, эпизодическими подробностями, относительно которыхъ только и можетъ возникнуть сомнѣніе о заимствованіи. Я имѣю въ виду хотя бы пѣсни, играющія роль въ связи обряда: онѣ могутъ быть искони крѣпки ему, могли быть внесены въ него и позднѣе, на мѣсто древнихъ, если отвѣчали содержанію 4—65 обрядового момента. Примѣромъ первыхъ можетъ служить финская руна о Сампо, которую поютъ при посѣвѣ; примѣромъ вторыхъ — балладныя пѣсни, которая исполняются и отдѣльно и при свадебномъ обиходѣ, очевидно, въ связи съ сохранившимися въ немъ слѣдами древняго «умыканія». Другимъ примѣромъ являются новыя пѣсни, которая не только поются, но и играются въ стилѣ старыхъ, народносинкретическихъ. Удержано не содержаніе пѣсни, а хорическое начало исполненія; съ первымъ мы не считаемся, второе подлежитъ нашему обобщенію, какъ переживаніе.

Эти немногія методическія замѣчанія приготовятъ насъ къ слѣдующему обзору, по необходимости, неполному.

I.

Поэзія некультурныхъ народовъ проявляется главнымъ образомъ въ формахъ хорического, игроваго синкретизма. Начну съ общей характеристики.

Замѣчательно тонко развитое чувство ритма, даже при отсутствіи мелодіи, ритма, выражавшагося постукиваніемъ, хлопаніемъ, подражаніемъ конской рыси (у сингалезцевъ есть ритмъ, носящий именно это название) и голосамъ животныхъ.

У кафровъ присутствующіе поочереди импровизируютъ какуюнибудь фразу, на которую отвѣчаетъ хоръ; такъ и у дамаровъ (Африка); здѣсь подхватываніе хора обозначается, какъ *refrain*. Негры импровизируютъ, ихъ пѣсни родъ речитатива съ хоромъ: запѣвало споетъ стихъ, хоръ подхватываетъ припѣвомъ. Неясно отношеніе хора и запѣвалы на Мадагаскарѣ: содержаніе пѣсни дано обыкновенно въ ея первой строкѣ, по которой пѣсня и зовется; начинаетъ ее хоръ, запѣвало отвѣчаетъ, чтобы снова дать мѣсто хору. На одномъ изъ острововъ Фиджи (Лакемба) игра лицедѣя (клоуна) сопровождается пѣніемъ и музыкой, которая чередуются другъ съ другомъ; нѣкоторые изъ участниковъ бываютъ въ ладоши, другіе дуютъ въ длинныя бамбуковые трости, издающія звукъ, похожій на звукъ слабо натянутаго барабана; въ заключеніи каждой пѣсни раздается нѣчто въ родѣ военного клика, обычного въ Полинезіи. На островахъ Дружбы существуютъ два рода пѣсень: однѣ, *Hiwa*, нѣчто въ родѣ речитатива, другія, *Langi*, построены строго метрически и снабжены риѳмованнымъ текстомъ. *Hiwa* предшествуетъ *Langi* и затѣмъ продолжаетъ чередоваться съ нимъ, при чёмъ переходъ отъ первого ко второму выдѣляется особымъ, рѣзкимъ возгласомъ. Какъ распредѣляется то | и другое между запѣвалой и хоромъ, мы не знаемъ. Музыканты снабжены бамбуковыми тростями, разнаго тона, звукъ которыхъ напоминаетъ тамбурины, когда, стуча ими въ землю, играющіе отбиваютъ тактъ. Пѣвецъ-теноръ аккомпанируетъ себѣ, ударяя небольшими палочками о бамбуковую трость, тогда какъ трое другихъ участниковъ, усѣвшись противъ него, жестами выражаютъ то, о чёмъ поется. Въ Полинезіи (*Tutuila*) девушки пляшутъ, одни изъ присутствующихъ подпѣваютъ веселую пѣсню, другіе издаютъ какие-то горловые звуки, похожіе на хрюканіе. У минкошевъ дирижеръ, онъ же сочин-

нитель пляски и пѣсни, отбиваеть тактъ, ударяя ногою о доску, нормируя пѣвцовъ и пляшущихъ; пока онъ поетъ речитативъ, царить общее молчаніе, затѣмъ, по данному имъ знаку, плясуны вторгаются въ кругъ подъ звуки припѣва, который исполняютъ женщины. По свидѣтельству Торквемады древніе мексиканцы пѣли хоромъ: начинали двое запѣвали; въ началѣ пѣли тихо и протяжно, въ минорномъ ладѣ, при чёмъ первая пѣсня имѣла отношеніе къ содержанію празднества; затѣмъ вступалъ хоръ и начиналась пляска. Въ плясовой игрѣ, которою гренландцы встрѣчаютъ ежегодное появленіе солнца, каждый изъ выступающихъ пѣвцовъ поетъ по четыре пѣсни; первыя двѣ цѣликомъ построены на темѣ Amna-ayah, двѣ слѣдующихъ — речитативы, коротенькие стихи которыхъ чередуются съ припѣвомъ хора: Amna-ayah.

Это даетъ мнѣ поводъ обратиться къ вопросу обѣ эволюціи текста, сопровождающаго синкетическую игры. Въ началѣ онъ импровизуется; мы видѣли это у кафровъ и дамаровъ; то же у жителей Тасмании, ирокезовъ и др. Иногда весь текстъ состоитъ изъ повторяющагося подъ мелодію восклицанія: Heia, heia, какъ у индійцевъ въ британской Гвіанѣ; либо это небольшая фраза, всего нѣсколько словъ, подсказанныхъ какимъ-нибудь случайнymъ событиемъ или впечатлѣніемъ и неограниченno повторяющихся.

Такія пѣсни не знаютъ преданія. У негровъ (Abongo) не существуетъ традиціонныхъ пѣсенъ, которыя бы передавались изъ рода въ родъ; цѣлая пѣсня снуется напримѣръ на такой фразѣ: Бѣлый человѣкъ — добрый человѣкъ, онъ даетъ Абонго соли! Национальная пѣсня камчадаловъ состоять въ безконечномъ повтореніи одного и того же слова: Bahia; либо запѣваютъ такъ: Дарья все еще пляшетъ и поетъ! Это повторяется до восьми разъ. То же явленіе у австралійцевъ, кафровъ; арабскія женщины 6—67 перепѣваютъ пять-шесть разъ первые два стиха пѣсни, которые подхватываются присутствующими, | но третій стихъ, въ которомъ упоминается имя какого-нибудь славнаго витязя, повторяется до 50-ти разъ.

Нѣсколько примѣровъ импровизаціи по поводу. На островѣ Mexiana у устьевъ Амазонки пѣвецъ начинаетъ: Батюшка (padre) заболѣлъ и не могъ прійти! Хоръ подхватываетъ эти слова; другой пѣвецъ продолжаетъ: Мы рѣшили на слѣдующій день пойти узнать о его здоровыи! И эти слова также подхватываются хоромъ. На Нукагивѣ Лангдорфъ присутствовалъ при такой сценѣ: однажды вечеромъ кто-то увидѣлъ огни на одномъ изъ враждебныхъ острововъ; гдѣ они? На Танатѣ, отвѣчали другіе. Это вызвало въ присутствовавшихъ идеи мести и войны, жалости и грусти—и мысли о томъ, когда-то удастся имъ полакомиться человѣческимъ мясомъ. Когда Мунго-Паркъ зашелъ однажды къ одной негритянкѣ, женщины, сидѣвшія за пряжей, тотчасъ же сложили про него пѣсню и напѣвъ: «Дули вѣтры и шелъ дождь, блѣдный бѣлый человѣкъ, слабый и усталый, явился и сѣлъ подъ нашимъ деревомъ. Нѣть у него матери, чтобы подать ему молока, нѣть жены, которая намолола бы ему муки». На это другія отвѣчали: «Приголубимъ бѣлаго человѣка: нѣть у него матери, чтобы подать ему молока, нѣть жены, которая смолола бы ему муки». Когда Дарвинъ прибылъ на Таити, дѣвушка сложила про него четыре строфы, исполненіе которыхъ сопровождалось хоромъ.

Интересный образчикъ ех tempore представляетъ лопарская (не хоровая) пѣсня. Лопарь воспѣваетъ всегда то, что видить и слышать въ данную минуту: пріѣздъ путешественника, чиновника и т. д. Г. Максимовъ такъ описываетъ это пѣніе: «Лопарь сѣлъ за столъ, облокотился и завыль.... монотонную пѣсню. Онъ не владѣлъ голосомъ, но варьировалъ звукомъ. «Поѣхаль я за сватовствомъ въ Іоканга.... А. передовой сватъ поѣхаль въ Лумбовскій (погость). А женихъ пріѣхаль въ Лумбовскій, поставилъ самоваръ и поѣхаль въ стадо. Пріѣхали чиновники. Вздумалось имъ въ Іокангскій погость вмѣстѣ ћхать. Становой говорить: Я схожу на сходъ на два часа. А другой чиновникъ повалился въ балку спать и говорить: Ты меня разбуди, когда П. А. пріѣдетъ. Сотскій явился, а чиновникъ, который въ

балкѣ спаль, и говоритъ: Откройте мнѣ (парусину). Вышелъ чиновникъ изъ балки и пошелъ въ отводную квартиру. И сказалъ сотскому: Поди къ П. А. и спроси: долго-ли онъ тамъ? Надоѣхать впередъ. Сотскій пришелъ и сказалъ: Можетеѣхать въ Куропти, а черезъ часъ я пріѣду». Физіономія пѣвца сіяла вдохновеніемъ, у слушателей были озабоченные лица».

7—68 | Сообщенные выше пѣсни представляютъ образчики уже развитого текста; вызванныя по поводу, онѣ могутъ исчезнуть вмѣстѣ съ нимъ, когда интересъ къ вызвавшему ихъ событию охладѣлъ, но могутъ и прожить некоторое время въ создавшей ихъ средѣ. Когда импровизация ограничивалась двумя-тремя стихами, подсказанными случайнymъ впечатлѣніемъ, наполняющими мелодію безконечными повтореніями, ихъ смыслъ долженъ былъ утратиться тѣмъ быстрѣе. Оттуда явленіе, довольно распространенное на первыхъ стадіяхъ поэтическаго синкретизма: поютъ на слова, которыхъ не понимаютъ; либо это архаизмы, удержавшіеся въ памяти благодаря мелодіи, либо это слова чужого, со-сѣдняго языка, переселившіяся по слѣдамъ напѣва. Въ торжественной умилостивительной пляскѣ карокскихъ индійцевъ (Калифорнія), въ которой участвуютъ одни мужчины, начинаютъ два или три пѣвца, импровизуя воззваніе къ духамъ, а затѣмъ всѣ поютъ установленный хораль, текстъ котораго лишенъ всякаго значенія. Въ пѣсняхъ дикихъ, напримѣръ, патагонцевъ, папуасовъ, сѣверо-американскихъ индійцевъ, слова столь же безсмысленны; на островахъ Тонга поются пѣсни на языкѣ Намоа, котораго туземцы не понимаютъ; то же явленіе наблюдается въ Австралии и сѣверной Америкѣ: мелодія передается съ словами отъ одного смежнаго племени къ другому и переживаетъ пониманіе текста. Языкъ «эмбінной пѣсни» индійцевъ Passamaquoddy непонятенъ самимъ пѣвцамъ, какъ слова военной пѣсни ирокезовъ: его словарь либо архаиченъ, либо принадлежитъ къ тайнымъ и условнымъ; австралийцы нерѣдко не понимаютъ текста пѣсень, сложенныхъ на ихъ же діалектѣ, адамнанский пѣвецъ

бываетъ принужденъ объяснять хору и слушателямъ значение имъ же сложенной пѣсни.

При такихъ отношеніяхъ текста къ мелодіи первый является въ роли стропилья, лѣсовъ, поддерживающихъ зданіе: дѣло не въ значеніи словъ, а въ ритмическомъ распорядкѣ; часто поютъ и безъ словъ, и ритмъ отбивается напримѣръ барабаномъ, слова коверкаются въ угоду ритма: въ устахъ негровъ тексты Св. Писанія и хорошо имъ знакомыхъ церковныхъ пѣснопѣній искажаются на всѣ лады, лишь бы подогнать ихъ подъ условія ритма. Это явленіе можно прослѣдить и далѣе: Миклошичъ объясняетъ его въ сербскихъ пѣсняхъ въ связи съ «усиленіемъ», обычнымъ въ турецкомъ языке, напримѣръ: *U njega mi bijaše bri njegova britka sablja;* или въ заговорѣ: *ustu, ustupite, anatemnici.* Такъ, наоборотъ, въ пѣсенномъ исполненіи русскихъ духовныхъ стиховъ Федосовой стихъ обрывался, въ уровень съ концомъ | музыкаль- 69—8 ной фразы, на послѣднемъ ударяемомъ слогѣ; слѣдующій, неударяемый, умалчивался. Это невольно поднимаетъ вопросъ: въ какомъ хронологическомъ отношеніи находится текстъ и размѣръ стиха къ сопровождающему его напѣву? Что къ чему приложено?

Слова вообще не крѣпки къ тексту: индійцы Navajos поютъ подъ рядъ нѣсколько пѣсень на тотъ же сюжетъ, но на разныя мелодіи и съ разными припѣвами; маорисы, поэзія которыхъ стоитъ уже на степени значительного содержательного развитія, подбираютъ слова къ знакомымъ напѣвамъ; когда обѣ этихъ пѣсняхъ говорится, что онѣ не только держатся въ памяти, но и унаследуются, то понятенъ вопросъ: что подлежитъ традиціи, текстъ или мелодія? Еще въ средніе вѣка мелодія почталаась важнѣе связанныго съ нею слова и могла распространяться отдельно.

Преобладаніе ритмическо-мелодического начала въ составѣ древняго синкретизма, удѣляя тексту лишь служебную роль, указываетъ на такую стадію развитія языка, когда онъ еще не владѣлъ всѣми своими средствами, и эмоциональный элементъ въ немъ

быть сильнѣе содержательного, требующаго для своего выраженія развитого сколько нибудь синтаксиса, что предполагаетъ въ свою очередь большую сложность духовныхъ и материальныхъ интересовъ. Когда эта эволюція совершится, восклицаніе и незначущая фраза, повторяющаяся безъ разбора и пониманія, какъ опора напѣва, обратятся въ нечто болѣе цѣльное, въ дѣйствительный текстъ, эмбріонъ поэтическаго; новые конкретическія формы выростутъ изъ среды старыхъ, некоторое время уживаясь съ ними, либо ихъ устрания. Содержаніе станетъ разнообразнѣе въ соотвѣтствіи съ дифференціаціей бытовыхъ отношеній, а когда у народа явится и раздѣльная память прошлаго, создастся и поэтическое преданіе, чередуясь съ старой импровизаціей; пѣсня станетъ переходить изъ рода въ родъ, отъ одной народности къ другой, не только какъ мелодія, но какъ самъ себѣ интересующій текстъ.

Развитіе началось, вѣроятно, на почвѣ хорового начала. Въ составѣ хора запѣвало обыкновенно зачиналь, вѣль пѣсню, на которую хоръ отвѣчалъ, вторя его словамъ. При появлениі связнаго текста роль запѣвалы-корифея должна была усилиться, участіе хора сократиться; онъ не могъ болѣе повторять всей пѣсни, какъ прежде повторялъ фразу, а подхватывалъ какой-нибудь стихъ, подпѣвалъ, восклицалъ; на его долю выпало то, что мы называемъ теперь *refrain'омъ*, пѣсня въ рукахъ главнаго 9—70 пѣвца. Это требовало некотораго | умѣнія, выработки, личнаго дара; импровизація уступала мѣсто практикѣ, которую мы уже можемъ назвать художественною; она начинаетъ создавать преданіе. Въ малайской хоровой поэзіи пѣсни *ex tempore* уже чередуются съ тщательно отдѣленными речитативами, которые произносятся главнымъ образомъ при народныхъ празднествахъ. Изъ запѣвалы вышелъ пѣвецъ: онъ владѣетъ словомъ, у него свои пѣсни и мелодіи; на Андаманахъ считается недозволеннымъ пользоваться мелодіей, сложеною другимъ лицомъ, тѣмъ болѣе усопшимъ. Съ этимъ новшествомъ пѣвецъ соединяетъ и репертуаръ древняго хора: индійскіе пѣвцы, занзибарскіе носильщики, о ко-

торыхъ говорить Томсонъ, дѣйствуютъ единолично, самостоятельно, сказываютъ и поютъ и пляшутъ, отбивая тактъ руками, и жестикулируютъ, дѣйствуютъ.

Моментъ «дѣйства», вторяющій содержанію хоровой игры, впослѣдствіи и словамъ текста, уже встрѣчался намъ на пути; далѣе мы обратимъ вниманіе на специальныя проявленія этого мимического начала.

Движенія пляски не безразличны, а содержательны по отношенію къ цѣлому, выражаютъ орхестрически его сюжетъ. Такія пляски отбываются часто безъ сопровождающаго ихъ текста; онъ могли сохраниться изъ той далекой поры хоризма, когда ритмическое начало брало верхъ надъ остальными, и далѣе развиться до пантомимы.

Рядомъ съ однимъ хоромъ нерѣдко выступаютъ два, содѣйствующихъ другъ другу, перепѣвающихся. Таковы хоры негритянокъ, привѣтствовавшіе Мунго-Парка, похоронные хоры австраліекъ. Эта двойственность развила принципъ перепѣвовъ, вопросовъ и отвѣтовъ, популярный въ поэзіи некультурныхъ народовъ: на островахъ Самоа такъ перепѣваются за работой, на греблѣ, на прогулкѣ, нерѣдко издѣваясь надъ непріятными людьми и т. п.; порой какая-нибудь старуха станетъ позорить воина, извѣстнаго своей храбростью, онъ приходитъ въ негодованіе, отвѣчаетъ, хоръ поддерживаетъ его, восхваляя. Изъ этого хорового чередованья вышло амебейное пѣніе отдѣльныхъ пѣвцовъ, до сихъ поръ держащееся въ европейскомъ народно-пѣсенномъ обиходѣ. Импровизація кафровъ принимаетъ форму вопросовъ и отвѣтовъ, чередующихся между мужчинами и женщинами; у маорисовъ девушки и молодые люди перепѣваются строфами любовного содержанія, съ поддержкой и подъ пляску хора; маорийской краснобай выходитъ ночью за порогъ своего дома и затягиваетъ громкимъ голосомъ какую-нибудь старую, знакомую пѣсню, имѣющую | отношеніе къ сюжету рѣчи, которую онъ на- 71—10 мѣренъ держать; кто-нибудь отвѣчаетъ на его рѣчь, и преніе продолжается далеко въ ночь. У гренландцевъ личное оскорблениe

можно смыть состязаниемъ въ пѣсняхъ, слушатели являются судьями; якутскіе пѣвцы устраиваютъ состязанія другого рода и поютъ поперемѣнно, добиваясь похвалы слушателей.

Поводы къ проявленію хорической поэзіи, связанной съ дѣйствіемъ, даны были условіями быта, очередными и случайными: война и охота, моленія и пора полового спроса, похороны и поминки и т. п.; главная форма проявленія въ обрядовомъ актѣ.

Подражательный элементъ дѣйства стоитъ въ тѣсной связи съ желаніями и надеждами первобытнаго человѣка и его вѣрой, что символическое воспроизведеніе желаемаго вліяетъ на его осуществленіе. Психическо-физический катарзисъ игры пристраивается къ реальнымъ требованіямъ жизни. Живутъ охотой, готовятся къ войнѣ, — и пляшутъ охотничій, военный танецъ, мимически воспроизводя то, что совершится на яву, съ идеями удачи и увѣренности въ успѣхѣ: какъ въ пѣснѣ о Роландѣ пораженіе обратилось въ кликъ народнаго самосознанія, такъ въ Суданѣ, когда Горубы бываются разбиты Наппами, они слагаютъ пѣсню, въ которой говорятъ о своемъ могуществѣ, трепетѣ непріятеля. Построеніе нашихъ заговоровъ освѣщаетъ значеніе мимической, обрядовой игры: при заговорѣ есть магическое дѣйство, въ самой формулѣ — элементъ моленія о томъ, чтобы желаемое совершилось, и эпическая часть, въ которой говорится, что это желаемое когда-то совершилось по высшей волѣ; пусть будетъ такъ и теперь. Эта эпическая часть является такимъ же восполненіемъ дѣйства, символического волхвованія, какъ въ хорической пѣснѣ текстъ, развивавшійся постепенно на помощь ея мимическому моменту.

Хоровые пляски суть преобладающимъ въ нихъ мимическимъ, подражательнымъ началомъ, описаны въ значительномъ количествѣ; принадлежать онѣ къ разнымъ стадіямъ развитія, съ накопленіемъ древнихъ и новыхъ элементовъ. Постараемся разобраться въ немногихъ примѣрахъ, приводимыхъ далѣе.

У маорисовъ военные пѣсни-пляски выдержаны въ особомъ ритмѣ и сопровождаются соответствующими тѣлодвиженіями; туземцы Викторії пляшутъ передъ боемъ и по окончаніи его; ново-

зеландцы также пляшутъ передъ битвой, чтобы довести бойцовъ до высшей степени остервененія. Въ новомъ южномъ Уэльсъ военный танецъ представляетъ картину настоящаго сраженія; изъ военныхъ плясокъ | сѣверо-американскихъ индійцевъ одна 72—11 представляеть рекогносцировку непріятеля, другая зовется «Пляской скальпа». Интересна «Пляска стрѣлы»: участвующіе становятся въ два ряда, дѣйствуютъ парень и дѣвушка: она является въ особомъ костюмѣ и зовется Малинки. Парень стоитъ впереди фронта на колѣнахъ, съ лукомъ и стрѣлою въ рукахъ, слѣдя внимательно за дѣвушкой, пляшущей вдоль фронта; вотъ она ускориваетъ темпъ — это она увидала врага; пляска становится все быстрѣе, бышнѣе; вдругъ Малинки выхватываетъ у молодца стрѣлу, ея тѣлодвиженія показываютъ, что бой начался, стрѣла спущена, непріятель палъ и скальпированъ. Дѣйство кончено, стрѣла отдана молодцу, и новая партія играющихъ выступаетъ на смычу первой.

У дайяковъ на Борнео въ ходу такая пантомима: представляется битва, одинъ изъ воиновъ падаетъ мертвымъ, и убившій его открываетъ слишкомъ поздно, что онъ поразилъ пріятеля; онъ выражаетъ знаками свое отчаяніе, а мнимо-убитый уже всталъ и предается иеистовой плясѣ. Сходна мимическая игра индійцевъ: на сцену выходитъ человѣкъ, руки его связаны назади веревкой, концы которой держатъ другіе; пока они гоняютъ плѣнника, зрители отбиваются тактъ на доскахъ и барабанахъ, обтянутыхъ медвѣжьей шкурой; внезапно является предводитель и нѣсколько разъ вонзаетъ ножъ въ спину плѣнника, пока не покажется кровь (составъ изъ красной смолы, резины, олея и воды) и пораженный не повалится на землю, словно убитый. У племени Тупи поводъ къ подобной сценѣ реальный — принесеніе въ жертву плѣнника: женщины связываютъ ему ноги, кладутъ петлю на шею, послѣ сего раздаются пѣсни: «Мы поемъ о женщинахъ, что схватили за горло птицу и издѣваются надъ плѣнникомъ; ему не уйти. Если бы ты быть попугаемъ, что опустошаетъ наши поля, какъ бы ты улетѣть?»

О военныхъ пляскахъ єракійцевъ и мизійцевъ такого же мимического характера говорить Ксенофонтъ.

Среди племенъ, живущихъ охотой, сложились соответствующія подражательныя игры. На Борнео подражаютъ обиходу охоты; «Буйволовый танецъ» съверо-американскихъ индійцевъ—мимическое дѣйство, всесцѣло выросшее на почвѣ охотничьяго быта: когда въ равнинахъ переведутся буйволы, пляска, изображающая охоту за ними, назначена ихъ привлечь; пляшущіе облечены къ буйволовыя шкуры; усталые удаляются изъ круга,—это сраженные звѣри, ихъ замѣняютъ другіе. Въ Катунгѣ одинъ 12—73 изъ актеровъ представляетъ боа, игра — | его поимку. На Алеутскихъ островахъ разыгрывается такая сцена: кто-то подстрѣлилъ красивую птичку, она оживаетъ въ образѣ красавицы, въ которую охотникъ тотчасъ и влюбляется. Отмѣтимъ еще слѣдующую пантомиму изъ Австралии: толпа дикихъ представляетъ собою стадо, вышедшее изъ лѣсу на пастбище: одни лежать, подражая жвачкѣ, другіе чешутся будто рогомъ или задней ногой, облизывая другъ друга, потираясь другъ о друга головой. Тогда является другая толпа, осторожно подкрадываясь, выбирая жертву. Две головы пали при восторженныхъ кликахъ зрителей, а охотники принимаются за дѣло, изображая жестами, какъ они сдираютъ шкуру, свѣжуютъ, разнимаютъ туши. Все это сопровождается пояснительною пѣсней распорядителя пантомимы и звуками оркестра, состоящаго изъ женщинъ.

Въ связи съ охотничими стоять широко распространенные пантомимы, въ которыхъ рядятся звѣрями, перенимая ихъ движенія и голосъ. Въ Африкѣ представляютъ гориллу, туземцы Викторіи пляшутъ, подражая кэнгуру, эму, лягушкѣ, бабочкѣ; папуасы подражаютъ пѣнлю птицѣ; у индійцевъ (Rocky Mountains) существуютъ пляски медвѣдя, бизона, быка, у другихъ (Sioux) собачій танецъ; камчадалы знаютъ тюленью, медвѣжью, куропачью пляски и т. п.; африканскіе дамары мимируютъ движенія быковъ и овецъ. Въ такихъ пантомимахъ участвуетъ иногда пѣлая труппа китайскихъ актеровъ.

Съ развитіемъ и большимъ разнообразіемъ бытовыхъ формъ и культурныхъ спросовъ должны были явиться и новые мотивы подражанія. Австралійцы мимируютъ греблю въ лодкахъ; плясовая пѣсня у маорисовъ представляеть, какъ кто-то дѣлаеть лодку, а его подкараулили враги, преслѣдуютъ его и убиваютъ; пока чукчи подражаютъ жестами движеніямъ войны и охоты, женщины имъ подгѣваютъ и въ свою очередь воспроизводятъ мимически свои повседневныя занятія: какъ онѣ ходятъ по воду, собираютъ ягоды и т. д. У народовъ землепашцевъ стануть подражать актамъ сѣянія, жатвы, занятій, обусловленныхъ климатомъ, чередующихся въ опредѣленномъ порядкѣ календаря. Какъ у грековъ была игра подъ названіемъ «ростъ ячменя» ($\alpha\lambda\phi\tau\omega\acute{\eta}\chi\mu\tau\iota\zeta$), такъ у сѣверо-американскихъ индійцевъ green-corn-dance; у Ксенофonta эпіаны и магнеты подъ звуки флейты пляшутъ карпаю, танецъ «сѣва»: кто-нибудь представлялся пашущимъ и сѣющимъ, другой — разбойникомъ, который похищаетъ у первого оружіе, хочетъ отобрать у него и рабочій скотъ, связываетъ его, либо связанъ самъ.

| Надо полагать, что и охотничій промыселъ, и воинственные 74—13 набѣги за человѣческимъ мясомъ ограничены были благопріятнымъ сезономъ, какъ и половое общеніе въ природномъ быту опредѣленною порой года. Остатки послѣдняго пріуроченія сохранились теперь, на почвѣ личнаго брака, въ немногихъ переживаніяхъ; въ пору общинно-родовыхъ отношеній это пріуроченіе отвѣчало животному, календарному спросу и вызывало такое же развитіе обрядовыхъ, подражательныхъ игръ. Эротическія игры — пляски (Rurerure) у маорисовъ сопровождаются непристойными тѣлодвиженіями; въ Портъ-Джексонѣ пантомима изображаетъ ухаживаніе мужчины за женщиной въ крайне откровенной миникѣ; на языкѣ сѣверо-американскихъ индійцевъ (Owawhaws) слово Wertche означаетъ и танецъ и половое общеніе. У австралийскихъ вачаудовъ (Watschaudas), при первомъ новолуніи, когда поспѣть уать (діоскорея, мучнистые корни которой служатъ имъ пищей), послѣ пира и попойки копаютъ яму, которую огоражи-

ваются кустарникомъ, что должно изображать *хтэіс*; при свѣтѣ мѣсяца въ высшей степени обсценный танецъ совершается вокругъ ямы, въ которую тычутъ копьями (символъ мужской силы); при этомъ поется въ теченіе всей ночи одинъ стихъ: *Pulli nira*, (трижды) *wataka!* (не яма, а . . .).

Календарный обрядъ обнялъ спросы быта и занятія и надежды, овладѣль и хорическою пѣсней — игрой. Когда простѣйшее анимистическое міросозерцаніе вышло къ болѣе опредѣленнымъ представлѣніямъ божества и образамъ миѳа, обрядъ принялъ болѣе устойчивыя формы *культа*, и это развитіе отразилось на прочности хорового дѣйства: явились религіозныя игры, въ которыхъ элементъ моленія и жертвы поддерживался символическою мимикой, значеніе которой мы знаемъ. Такихъ религіозныхъ плясокъ много у сѣверо-американскихъ индійцевъ: змѣиная пляска, пляска духовъ и т. п. Раженіе звѣрями, маски и соответствующія игры пришли въ уровень съ тотемистическими вѣрованіями: действующія лица австралійской или африканской религіозной драмы могли въ самомъ дѣлѣ представляться богами, типически осуществлявшими то, о чёмъ ихъ молили; драма была заговоромъ въ лицахъ. И въ то же время развитіе миѳа должно было отразиться на характерѣ поэтическаго текста, выдѣлявшагося изъ первоначального хорового синкретизма, гдѣ онъ игралъ служебную роль: обособляясь внутри и внѣ хорового состава пѣсни съ содержаніемъ древнихъ повѣрій, пѣсни о родовыхъ преданіяхъ, которыя мимируютъ, на которыя ссылаются, какъ на историческую памяти.

14—75

| *Винъ календаря* остались такія пѣсни, какъ похоронныя, переходившія, впрочемъ, въ видѣ поминальныхъ, и въ годичную обрядовую очередь. У многихъ народовъ Азіи и Африки, Америки и Полинезіи погребальные пѣсни поются и пляшутся хоромъ; элементъ сѣтованія соединяется съ похвалой умершему и типическими вопросами: Зачѣмъ ты покинулъ насъ? Не угадали-ли мы тебѣ, не во всемъ-ли былъ у тебя достатокъ и т. д. «Увы, увы, умеръ мой хозяинъ!» поютъ на Сандвичевыхъ островахъ

вахъ, «не стало моего господина и друга. А былъ онъ мнѣ другомъ въ пору голода и засухи, въ бурю и непогоду и т. д. Удалился онъ, увы! Никогда не увижу я его болѣе». Такъ причитаютъ и въ Австралии, хоромъ, съ тѣмъ же пріпѣвомъ: (молодыя женщины) «Мой юный братъ! (старухи) Мой юный братъ! (вмѣстѣ) Никогда болѣе не увижу я его». У племени Yurana (на рѣкѣ Shing), хоронящаго своихъ покойниковъ въ домахъ, пѣвецъ, съ трубой въ рукахъ, ходить вдоль и поперекъ жилья мимо домашнихъ гробницъ и тянеть безконечную пѣсню, каждый стихъ которой длится по крайней мѣрѣ минуту, чтобы повториться вновь.

Внѣ обряда остались гимнастические игры, маршевые пѣсни, наконецъ хоровые и амебейные пѣсни за работой, съ текстомъ развитымъ или эмоционального характера, часто наборомъ непонятныхъ словъ, лишь бы онъ отвѣчалъ очереднымъ повтореніямъ ударовъ и движений. Рабочія пѣсни распространены повсюду, отвѣчая такту самыхъ разнообразныхъ производствъ. Судовые пѣсни извѣстны, напримѣръ, въ Египтѣ, голландской Индіи, Гельголандѣ, на Мадагаскарѣ, гдѣ партія запѣвалы ограничена речитативомъ, содержаніе которого составляетъ что-нибудь лично пережитое. Это напоминаетъ келевсмы греческихъ и римскихъ моряковъ: онѣ пѣлись въ чередованіи запѣвалы и хора, каждая строфа которого кончалась возгласомъ: *heia!* И теперь еще такъ поютъ греческие судовщики: *Ѣх лѣста!* (при медленномъ подъеманіи или опусканіи якоря), *Ѣх мѣла!* (при быстромъ). — Другія работы вызывали другія пѣсни соответствующаго темпа. Въ древнемъ Египтѣ раздавалась пѣсня погонщика воловъ, обминавшихъ снопы: «Топчите сами, волы, топчите сами, топчите сами колосья; жатва принадлежитъ хозяину». Пѣсни за жерновами знакомы древней (*ἐπιμύλιος φόδη*) и новой Греціи, въ сѣверномъ Grottasöngr ихъ поютъ амебейно Fenja и Menja, какъ и финскія женщины, когда ихъ двѣ за работой, поютъ вмѣстѣ, либо чередуясь; содержаніе пѣсень гномическое, сатирическое, либо балладное, любовное. Такъ и въ соответствующей литовской:

15—76 1) «Шумите, шумите, жернова! Кажется | мнѣ, не одна я мелю.
2) Одна я молола, одна пѣла, одна вертѣла рукоятку. 3) Зачѣмъ,
милый молодецъ, понадобилась тебѣ я, бѣдная дѣвушка? 4) Вѣдь
зналь ты, дорогой, что у меня нѣть двора! 5) По колѣни въ бо-
лотѣ, по плечи въ водѣ. Печальны мои дни». Въ сѣверной Африкѣ
негритянки поютъ, когда толкуютъ пшеницу, о возвращеніи воина,
поютъ въ тактъ; внезапно онъ нарушенъ, и пѣсня обращается
въ заплачку: утѣшаются дѣвушки, у которыхъ убили ея милаго;
далѣе говорится, будто закололи козла и по его внутренностямъ
рѣшили, что если милый палъ, то съ честью. Тогда песты снова
стучать въ тактъ, и пѣсня кончается подхватомъ хора.—Такъ у
Виргиля нереиды поютъ за пряжей о любви Арея и Афродиты,
такъ и китайская ткацкая пѣсня говорить о подвигахъ какой-то
дѣвы — воительницы.

Пѣсни не отвѣчаютъ содержанію работы, но продолжаютъ
отвѣтчикъ ея темпу; въ сущности это балладныя пѣсни; старо-
французское название для такихъ пѣсень, *chansons de toile*, ука-
зываетъ на ихъ происхожденіе. Онѣ не создались при работѣ, а
примкнули къ ея такту и окрѣпли подъ его вліяніемъ. Наоборотъ,
хоровыя пѣсни съ содержаніемъ, отвѣчающимъ извѣстному бы-
товому моменту и рабочему темпу, могутъ безразлично повторяться и вѣдь вызвавшихъ ихъ условій. Такъ, по словамъ Стэнли,
туземцы въ Африкѣ день деньской тянули одну и ту же поход-
ную кантилену въ чередованіи запѣвалы и хора и съ эмоциональ-
нымъ припѣвомъ: Куда вы идете? — На войну. — Противъ
кого? — Противъ Марамбо и т. д.

Въ хоровой игрѣ обрядового характера пѣсня должна была
быть крѣпче къ ея содержанію, но и въ обрядѣ были свободные
моменты, гдѣ старина скорѣй забывалась, и очищалось мѣсто
нововведеніямъ, не нарушившимъ единства цѣлага. Это уже на-
чало разложенія обрядового хора.

На этомъ мы покончимъ обозрѣніе явленій поэтическаго син-
кретизма среди некультурныхъ народностей. Передъ нами прошли
всѣ его виды: древнѣйшая хоровая игра безъ текста и съ заро-

дышами текста, игры мимической, обрядовые и культовые хоры. Создалась пантомима съ сюжетами бытового характера, вопросы и отвѣты выдѣлили принципъ діалога; собраны элементы драмы, но драмы еще нѣтъ. Она и не выйдетъ изъ обряда, а разовьется въ непосредственной связи съ культомъ. Условія такого развитія впереди, пока выяснился одинъ результатъ, богатый послѣдствіями: изъ связи хора выдѣлился его корифей, пѣвецъ; онъ — носитель текста, речитатива, сочиняетъ пляску, въ Австраліи 77—16 руководить пантомимой, сопровождая ее пояснительною пѣсней; на Явѣ онъ читаетъ libretto, содержаніе котораго играющіе воспроизводятъ жестами. На Явѣ онъ назовется dalang, у центрально-американскихъ индійцевъ holpor — церемоніймейстеръ; это — единственный актеръ Ѳесписа. Порой онъ выступаетъ и одинъ, самостоятельно.

II.

Тѣ же хоровые пѣсни мы встрѣчаемъ и въ народной поэзіи культурныхъ племенъ, еще бытующей, либо сохранившейся въ историческихъ воспоминаніяхъ. Пѣли и плясали хоромъ евреи и германцы, римляне и греки, пѣли, совершая обряды, торжествуя победу, идя въ битву, на похоронахъ и свадьбахъ. Начну съ воспоминаній: греческія свидѣтельства восходятъ къ Иліадѣ, они и послужатъ къ общей характеристицѣ разновидностей хоровой игры.

Извѣстно изображеніе обрядового жатвенного хора на щитѣ Ахилла (П. 18, v. 561 слѣд.): толпа девушекъ и парней въ виноградникѣ, они несутъ зреілые гроздья, среди нихъ юноша поетъ гимнъ, подыгрывая себѣ на киоарѣ, они же пляшутъ, притопывая въ тактъ и подпѣвая. Имѣется въ виду припѣвъ: Αѣ Λіуε! перенесенный впослѣдствіи, какъ названіе, на пѣсню и на дѣйствовавшее въ ней лицо. Что пѣлось о Линѣ въ этой жатвенной пѣснѣ, мы не знаемъ; позже стали рассказывать о мальчикѣ, взросшемъ среди ягнятъ и растерзанномъ псами. «О Линъ»,

поется о немъ въ одной народной пѣсенкѣ, «ты почтенъ быль богами, ибо тебѣ, первому изъ смертныхъ, они послали даръ сладковицнхъ пѣсенъ. Фебъ убилъ тебя изъ зависти, Музы тебя оплакиваютъ».

Атеней говоритъ о крестьянской плясѣ, *άνθεμα*, которую мимировали (*μιμούμενοι*), припѣвая: Гдѣ же розы, гдѣ фіалки, гдѣ красавица петрушка? Вонъ гдѣ розы, гдѣ фіалки, гдѣ красавица петрушка!

Ποῦ μοι τὰ ρόδα, ποῦ μοι τὰ ἵα, ποῦ μοι τὰ καλὰ σέλινα;
Ταῦτα τὰ ρόδα, ταῦτα ἵα, ταῦτα καλὰ σέλινα.

Это отзывается непосредственной свѣжестью весенняго хоровода, напоминая поиски за первою фіалкой, вѣстницей весны, въ нѣмецкомъ *Minnesang'*.

Пѣли и исполняли орхестически гипорхемы и диѳирамбы, нѣкоторые гимны, иногда пэаны: обрядовыя пѣсни — игры, пристроившіяся къ культу того или другого божества, съ содержаніемъ его миѳа, | которое разрабатывалось діалогически. Въ отрывкахъ недавно открытаго диѳирамба Вакхилла сюжетъ — возвращеніе Тезея изъ Крита; корифей ведеть партію Эгейя, хоръ представляетъ афинянокъ: онѣ спрашиваютъ царя о появлениіи какого-то незнаемаго витязя, который и окажется Тезеемъ, Эгей отвѣчаетъ. Сохранилось всего четыре строфы, въ чередованіи вопросовъ и отвѣтовъ.

Пѣли, плясали и мимировали; у насъ есть свѣдѣнія объ играхъ, въ которыхъ подражали движеніямъ животныхъ (оттуда названія: левъ, журавль, лиса, *σκόψ*), актамъ винодѣла: какъ собираютъ виноградъ, кладутъ въ тоцила и т. д. На Делосѣ женскій хоръ исполнялъ гипорхему: пѣль про Латону и Артемиду, чарующую пѣснь о мужахъ и женахъ старины, и такъ искусно подражалъ, подъ звуки кастаньетъ, голосамъ разныхъ людей, что всякому мнилось, будто онъ самъ себя слышитъ (Нумп. Apol. Delph. 146 слѣд.). Пляшущіе носили соответствующіе костюмы и имена дѣйствующихъ лицъ миѳа (Plut. *Συμποσία IX*, 15); по другому

показанію (Lucian. Περὶ ὁρχῆσεως 16), пока хоръ двигался, нѣ- сколько человѣкъ болѣе искусныхъ, отдѣлившись отъ него, вы- ражали жестами содержаніе дѣйствія. Такъ плясали приключенія Діоскуровъ, изступленіе Аякса, судь Париса, смерть Гектора, и еще въ послѣднюю пору язычества — подвиги и бѣшенство Иракла; въ Пирѣ Ксенофона юноша и дѣвушка представляютъ встрѣчу Діониса съ Аріадной, покинутой на Наксосѣ и т. д. Изящныя движенія пляски и выразительная мимика возведены были въ искусство: пляска подражала пѣнію музъ (Платонъ), изображала своимъ ритмомъ нравы, страсти, дѣйствія (Аристо- тель); ей доступны всѣ исторические и поэтические сюжеты (Лес- бонаксъ изъ Митилены); жесть замѣняетъ ей слово, отгуда на- званіе для владѣющихъ выразительною мимикой: χειρόσοφαι (Лесбонаксъ); она наставляетъ и вмѣстѣ ритмически настраиваетъ душу зрителей (Лукіанъ).

Психо-физический катарзисъ древней игровой пѣсни пере- шелъ въ эстетической.

Принципъ двухъ или нѣсколькихъ хоровъ, отмѣченный нами въ поэзіи некультурныхъ народностей, удержанлся и въ условіяхъ культуры¹⁾. Достаточно привести греческіе примѣры, тѣмъ бо- лѣе интересные, что они продѣлали эстетическую эволюцію, пе- реидя за порогъ художественной драмы. Въ «Щитѣ Иракла», 79—18 поэмъ, приписываемой Гезіоду, изображены два свадебныхъ хора, одинъ съ киарой, другой съ скрипкой; напомню свадебные хоры Сапфо. У Плутарха въ біографіи Ликурга три хора; хоръ старцевъ начинаетъ: Когда-то и мы были здоровыми молодцами (*Ἄμες πόκ' ἡμες ἀλκιμοι νεανίκη*), мужи подхватываютъ: Мы та- ковы, коли желаете, полюбуйтесь нами (*Ἄμες δέ γ' εἰψές, αἱ δέ λῆς, αὐγάσδεο*); а мы будемъ сильнѣе всѣхъ (*Ἄμες δέ γ' ετσόμεσθα πολλῷ κάρρονες*) припѣваютъ ребята. Укажу на дихорію греческой трагедіи, на два перепѣвающіхся, иногда состязаю-

1) См. выше мою статью: Эпическая повторенія, какъ хронологический моментъ.

щихся хора греческой комедії. Изъ дихоріи рождалось амебейное состязаніе или чередованіе отдѣльныхъ пѣвцовъ.

На почвѣ хорической поэзіи культурныхъ народностей границы календарно-обрядовой и календарно-бытовой поэзіи съуживаются. Многое, что въ древнемъ быту подчинялось физиологическимъ, либо профессиональнымъ спросамъ, обусловленнымъ порою года, вышло изъ-подъ ихъ влиянія и отбываетя болѣе или менѣе свободно. Я имѣю въ виду хотя бы брачныя отношенія, старая календарная обусловленность которыхъ сохранилась лишь въ отдѣльныхъ переживаніяхъ. Образцы календарно-обрядовыхъ игръ, приводимые далѣе, не дадутъ намъ повода коснуться вопроса, не всегда разрѣшимаго въ отдѣльныхъ случаяхъ, о границахъ между обрядомъ, въ нашемъ обычномъ пониманіи этого слова, и культомъ, предполагающимъ большую органичность формъ, пластически выраженную идею божества, цѣльность миѳа. Обрядъ вель къ культу и миѳу не доразвитъ до него, но онъ миѳъ сохранить и память о культе, отжившемъ или устранившемъ, сохраниться, какъ переживаніе полупонятаго обихода и лишенная содержанія внѣшность. На Ливанѣ, въ ночь на 21-е сентября, мужчины и женщины пляшутъ въ теченіе всей ночи вокругъ священного дуба; римская надпись на алтарѣ финикийскаго храма Солнцу, стоявшаго выше, посвящена богу-покровителю плясовыхъ игрищъ. Освященіе полей живеть въ современномъ обрядѣ и совершается семьей, общиной; въ Римѣ выработалась для этой цѣли коллегія арvalскихъ братьевъ, мы знаемъ ихъ заговорную орхестическую пѣсню съ припѣвомъ *triumpe*. Наши весенніе хороводы и греческие хоровые гимны находятся въ такихъ же взаимныхъ отношеніяхъ. Обрядъ перешелъ въ культь, формы остались тѣ же, и въ вопросѣ объ ихъ генезисѣ мы считаемся съ ними безразлично. Иной критерій явится, когда на почвѣ культа и культурнаго миѳа обрядовая сторона разовьется до новаго художественнаго созданія и побѣговъ поэзіи. Мы встрѣтимся съ этимъ вопросомъ при началахъ греческой драмы.

Пока обратимся къ анализу нѣкоторыхъ календарныхъ обрядовъ и сопровождающаго ихъ хорового дѣйства, чередуя современное съ древнимъ. Выборъ опредѣлился нашей цѣлью: усѣдить выданіе пѣсни изъ обрядовой связи.

По римскому повѣрю въ Срѣтенье зима встрѣчается съ лѣтомъ, чтобы съ нимъ побороться, а на Благовѣщеніе, говорять, что весна зиму поборола. У насъ это преніе лѣта и зимы, кончающееся пораженіемъ послѣдней, выражается въ формѣ игры: осадой снѣжного города; либо соломенное чучело, изображающее зиму или смерть, обносится съ пѣснями по полямъ, а затѣмъ сжигается или бросается въ воду. — На западѣ этотъ обрядъ разработанъ подробнѣе, и у него есть свои литературныя исторіи. Въ воскресенье Laetare, въ срединѣ поста, когда зима и лѣто, морозъ и тепло уравновѣшиваются другъ друга, еще недавно совершилась игра, представлявшая борьбу лѣта и зимы, особенно на берегахъ верхняго и средняго Рейна. На сцену выходило двое мужчинъ, одинъ окутанный зеленою, другой соломой и мохомъ, Лѣто и Зима, и состязались другъ съ другомъ. Зима побѣждена, съ нея срывали ея костюмъ, при чемъ собравшаяся молодежь, вооруженная большими жердями, пѣла пѣсни въ привѣтъ веснѣ и на глумленіе зимѣ:

Stab aus, Stab aus,
Stecht dem Winter die Augen aus.

Древнѣйшее упоминаніе этой игры восходитъ къ 1542 году; въ летучихъ листкахъ 1576 и 1580-хъ годовъ сохранилась и соответствующая пѣсня. Вотъ ея содержаніе: Зима и Лѣто выступаютъ другъ противъ друга среди толпы слушателей, въ веселый день встрѣчи лѣта, и препираются: кто изъ нихъ господинъ, кто слуга? Лѣто пришло съ своею челядью изъ Oesterreich, съ востока, гдѣ всходить солнце, и велитъ Зимѣ убраться. А Зима, грубый крестьянинъ, въ мѣховой шапкѣ, явилась съ горъ, принесла съ собою студеный вѣтеръ, грозить снѣгомъ и не думаетъ удалиться: она похваляется блоснѣжными полями, Лѣто

зелеными долами; лѣтомъ произрастаютъ травы и листья, зимой изобрѣтены разные хорошия напитки; лѣто даетъ сѣно, жито, вино, но все это уничтожается зимой, и т. д. Очевидно, все это содержаніе распредѣлялось, какъ вопросы и отвѣты, между главными 20—81 действующими лицами, за которыми стояла ихъ | «челядь», хоры. Побѣда остается за Лѣтомъ, Зима называетъ себя его работникомъ и просить подать ему руку, чтобы вмѣстѣ пойти въ другія страны. Тогда Лѣто объявляетъ, что бой конченъ, и желаешь всѣмъ покойной ночи.

Эта обрядовая игра извѣстна въ Швабіи, Швейцаріи, Баваріи и Хорутаніи. Здѣсь, въ Гурской долинѣ, съ наступленіемъ весны, парни составляютъ двѣ группы: старшая изображаетъ зиму, младшая лѣто. Въ подобающемъ нарядѣ, съ соотвѣтствующими атрибутами, обѣ группы прогуливаются въ ясный весенний день по селу, состязаясь передъ домами зажиточныхъ крестьянъ въ пѣніи пѣсень, пока лѣто не побѣдить. Происходитъ это обыкновенно въ маргѣ, мѣстами въ день Срѣтенія.

Игра дала содержаніе двумъ пѣснямъ XIV и XV вѣковъ, одной нидерландской драмѣ и драматическимъ діалогамъ Hans'a Sachs'a: *Gespräch zwischen dem Sommer und dem Winter* (1538) и *Ain schöner perck-rayen von Somer und Winter* (1565), перенесшимъ преніе на осень, почему и исходъ другой: побѣдительницей является зима.

На французской и англо-норманской почвѣ воспоминаніе о соотвѣтствующемъ народномъ обычай восходить къ XIV вѣку. Въ Англіи древнее преніе является въ новой обстановкѣ: вмѣсто олицетвореній лѣта и зимы — характеризующія ихъ растенія: остролистникъ (*holy*) изображаетъ собою лѣто, плющъ (*euy*) — зиму, какъ въ сходной нѣмецкой пѣснѣ въ тѣхъ же роляхъ выступаютъ буксъ съ ивой. Преніе между ними отнесено къ святкамъ, порѣ зимняго поворота солнца; извѣстно, что именно къ святочному циклу пріурочены въ народномъ европейскомъ по-вѣры надежды на будущіе посѣвы и урожай и выражаютъ ихъ обряды. Въ одной англійской пѣснѣ XV вѣка поется: остролист-

никъ стоитъ въ горницѣ, любо на него поглядѣть, а плющъ за дверями, на морозѣ; остролистникъ съ товарищами иляшеть и поетъ, плющъ и его служанки плачугъ и ломаютъ руки; у плюща ознообъ отъ холода; пусть будетъ то же со всѣми, кто за него стоитъ. У остролистника ягоды адыя, какъ роза, лѣсники и охотники оберегаютъ ихъ отъ звѣрей, а у плюща ягоды черныя, что у терна, ими кормится сова; къ остролистнику прилетаютъ птицы, красивая стая: соловей и попугай, милый жаворонокъ; а у плюща — какія птицы? Ни одной, кромѣ сыча, что кричитъ: у! у! — Пріпѣвъ этой пѣсни, очевидно, сопровождавшейся, въ пору игрового развитія, переодѣваніемъ и мимическимъ дѣйствомъ, приглашаетъ плющъ покориться противнику. И въ Англіи обрядовое преніе зимы и лѣта дало | сюжетъ для драматическихъ 82—21 эпизодовъ: въ *Summer's last will and testament* (1593 г.) Thomas'a Nash'a выведены четыре времени года съ товарищами, между ними весна съ ея свитой, она одѣта въ зеленый мохъ, представляющій короткую молодую травку; ея пѣсня подражаетъ пѣнію кукушки и другихъ весеннихъ птицъ. Въ Шекспировскомъ *Love's Labour lost* 5, 2 весна и зима представлены кукушкой и совой, и въ ихъ пѣсенномъ преніи слышень то весенній пріпѣвъ: ку-ку! то кликъ ночной птицы. Пѣсни, исполняемыя при этомъ спорящими, несомнѣнно сложены Шекспиромъ, но мотивъ игры народный, только разработанный литературно, какъ напримѣръ у Gil Vicente и въ итальянскихъ *Contrasti*, где спорящими являются двѣнадцать мѣсяцевъ.

Подобную попытку литературной разработки мы встрѣчаемъ уже въ каролингскую пору, въ одномъ латинскомъ стихотвореніи VIII—IX вѣка, подражаніи III-й виргиліевской эклогѣ; оно свидѣтельствуетъ объ относительной древности лежащаго за нимъ обряда. Весеннимъ днемъ пастухи, спустившись съ горъ, сошлись въ тѣни деревьевъ, чтобы воспѣть кукушку; въ числѣ другихъ юный Дафнисъ и Палемонъ постарше. Подошли и Весна въ вѣнкѣ изъ цвѣтовъ, и старикъ Зима съ всклокоченными волосами, сошлись и подняли великий споръ о пѣніи кукушки. Весна выра-

жаетъ желаніе, чтобы прилетѣла ея любимая птичка, всѣмъ же-
ланная гостья, съ красненькимъ клювомъ и хорошими пѣснями:
пусть приведеть съ собою веселые всходы и прогонитъ холодъ;
спутникъ и любимецъ Феба, умножающаго свѣтъ, она приносить
въ клювѣ цвѣты, подаетъ медъ, строить дома, открываетъ ко-
раблямъ мирныя волны, заводить гнѣзда и одѣваеть смѣющіеся
луга. А Зима отвѣчаетъ бранью на кукушку: пусть не прилетаетъ,
а спить себѣ въ темныхъ берлогахъ; вѣдь она ведетъ за собой
голодъ, будить войну, нарушаетъ любезный миръ, волнуетъ землю
и море. Споръ переходитъ къ тому, кто изъ препирающихся
лучше: Зима хвалится своими богатствами, веселыми пирами,
сладостнымъ покоемъ и теплымъ очагомъ; Весна порицаетъ лѣнъ
и веселое житѣе противницы, спрашиваетъ, кто же ей, сонѣ,
припасаетъ достатокъ? То правда, отвѣчаетъ Зима, но такъ какъ
вы работаете, собирая для меня, какъ господина, плоды своего
труда, то вы — мои рабы. А Весна считаетъ ее не госпожей, а
надменною нищей, которой нечѣмъ было бы прокормиться, еслибы
не питала ее кукушка. Тогда рѣшаетъ съ высокаго сѣдалища
Палэмонъ, а вмѣстѣ съ нимъ и весь сонмъ пастуховъ: что расто-
22—83 чительной, жестокой зимѣ | надо умолкнуть, и пусть прилетѣть
скорѣе дорогая гостья, кукушка, которую все ждетъ, и земля, и
море, и небо. Слава ей во вѣки! Слава!

Мы сказали выше, что въ основѣ этого латинскаго диспута
лежитъ таковой же, но народно-обрядовой, хорический или аме-
бейный; именно популярностью этого рода слѣдуетъ объяснить и
усвоеніе въ средніе вѣка діалогическаго момента эклоги; препія
бродячихъ потѣшниковъ, школьные диспуты, художественные
тенционы и *débats* средневѣковыхъ поэтовъ, — все это уложилось
въ мѣрку этой популярности¹⁾). При анализѣ литературныхъ
преній необходимо имѣть въ виду возможность взаимныхъ вліяній
и разнообразныхъ скрещиваній, но исходною точкой, моментомъ,
усвоившимъ остальные, всюду является народный обрядъ. Какъ

1) См. мои Эпические повторенія, I. с., стр. 283.

въ Европѣ, въ пору перелома оть зимы къ веснѣ, они выступали въ спорѣ другъ съ другомъ, такъ они являются, въ тѣхъ же отношеніяхъ, въ сказкѣ сѣверо-американскихъ индійцевъ и въ эзопической баснѣ (Halm, 414).

Къ спору зимы и весны-лѣта, побѣждавшаго противника, примыкало торжественное чествованіе побѣдителя: декоративный обрядъ, распространенный въ былое время оть Скандинавіи и Сѣверной Германіи до Франціи и Италіи. Ямбю въ виду обходы Mairöslein въ Эльзасѣ, процесіи майскаго графа и графини, хожденіе въ лѣсъ за маемъ, символомъ не только обновившейся природы, но и производительной силы, зеленої вѣткой, деревомъ, березкой русскаго обряда; въ великорусскихъ губерніяхъ ее срубаютъ о Семикѣ, наряжаютъ въ женское платье, либо обвѣшаютъ разноцвѣтными лентами и лоскутками и несутъ изъ лѣса въ деревню, гдѣ она остается въ какомъ-нибудь домѣ гостейкой до Троицына дня. Драматический характеръ этихъ празднествъ удержался, въ поздней перелицовкѣ, за итальянскимъ Maggio: это — дерево, вѣтка майскаго обряда, и вмѣстѣ съ тѣмъ название драматическихъ пьесъ необрядового характера, значенія которыхъ мы еще коснемся.

Въ нѣмецкомъ «преніи», въ народныхъ обрядахъ выноса, изгнанія смерти-зимы и кликанія весны, зима и весна представляются раздѣльными, враждебными другъ другу существами, въ чередованіи побѣды и пораженія. Когда эта двойственность сольется въ представленіе чего-то одного, то обмирающаго, то возникающаго къ новой жизни, религіозное сознаніе подвинется на пути развитія: борьба | жизни и смерти примкнетъ къ миѳу 84—23 одного существа, бога, выразится въ соответствующихъ обрядахъ календарного характера; когда этотъ миѳъ обобщится психологическими мотивами, онъ дастъ материалъ для художественной діонисовской драмы; либо онъ выйдетъ изъ предѣловъ годичной смысли зимы и весны къ діонисовскимъ тріэтеріямъ, наконецъ, переселится къ концу мірового года, къ концу дней, когда за гибеллю всего существующаго ожидали иного свѣтлаго порядка

вещей. Календарный миѳъ станетъ эсхатологическимъ; такую то эволюцію пережилъ сѣверный миѳъ о Бальдрѣ¹⁾.

Но вернемся къ смѣнѣ весны и зимы въ ея новомъ пониманіи. Представляли себѣ, что кто-то умеръ, погибъ, что его убили изъ зависти, ревности, — и его оплакиваются; но пришла весна, онъ очнулся, все зажило, даже маны выглянули на Божій свѣтъ, керы, русалки; въ Германіи о святкахъ души умершихъ проносятся въ сонмѣ Дикой охоты: очевидно весенній образъ, отодвигнутый къ началу года; въ томъ же освѣщеніи представляются миѳъ теперь и генварскія русалки болгаръ. По манамъ творять поминки, они наводятъ страхъ, — и въ то же время въ эротической хоровой пѣснѣ раздается призывъ къ любви. Наканунѣ зимы, съ поворотомъ солнца эта пѣсня раздавалась снова, смѣняясь печальнымъ настроениемъ: весну-лѣто хоронили, и снова показывались маны, мчалась Дикая охота, и проносился сонмъ Иродіады. Оба момента печали и ликованія отразились въ разномъ чередованіи и въ весеннихъ играхъ, и въ циклѣ обрядовъ, выражавшихъ, что лѣто пошло на склонъ. Сложились типическія легенды о раноотцвѣтшемъ юношѣ, сраженномъ богомъ, растерзанномъ, брошенномъ въ воду, Линѣ или Адонисѣ, Бормѣ или Пелузії, Гилосѣ или Литіэрзѣ, Діонисѣ; легенды, вышедшія изъ аграрнаго обряда и настроившія его пѣсни: о Линѣ сѣтовали за сборомъ винограда, о Пелузії — хлѣбопашцы Пелузії, Борма оплакивали маріандинскіе жнецы, къ Гіагнису они взывали во Фригіи съ просьбой о дождѣ: онъ не даромъ погибъ въ Меандрѣ, вверженный туда Иракломъ. Въ Малороссіи хоронили соломенное чучело Ярилы, вооруженное фаллусомъ, гося надъ нимъ: Померъ онъ, померъ! Нестанетъ онъ больше! Что за жизнь, если тебя нѣть!

И затѣмъ этотъ сраженный, умершій, воскресалъ, и все радовалось. Въ Малороссіи, въ | началѣ весны, въ первый понедѣль-

24—85 1) Для слѣдующаго см. мой Гетеризмъ, побратимство и кумовство въ купальской обрядности (*Журнал Министерства Народного Просвещенія*, 1894, февраль, *passim*) (III серія н. изданія) и Разысканія №№ XIV, XV и XVI (IV серія н. изданія).

никъ Петровки, хоронили соломенную куклу, надъ которой причитали:

Померъ, померъ, Кострубонько,
Сивый, милый голубонько!

Либо умершаго представляла дѣвушка, лежавшая на землѣ: вокругъ нея двигался съ печальною пѣсней хороводъ; немного погодя она вскакивала, и хоръ весело запѣвалъ:

Оживъ, оживъ нашъ Кострубонько,
Оживъ, оживъ нашъ голубонько!

Въ Эпирской Загорії дѣвушки собираются для игры въ Зафира ($\gammaὰ παῖςουν τὸ Ζαφείρη$): дѣвушка или мальчикъ представляютъ его, усопшаго, остальные покрываютъ его цветами и причитываютъ, но лишь только раздастся заповѣдный припѣвъ ($\gammaὰ στοιχὶ μωρὲ Ζαφείρη μου$), мнимый покойникъ вскакиваетъ и, среди общаго хохота и веселья, пускается ловить дѣвушекъ, бросившихся вразсыпную; какую поймаетъ, той быть Зафиromъ; игра кончается пѣніемъ обрядовыхъ весеннихъ пѣсень. Иной разъ Зафира изображаютъ четыре листка чемерицы, крестообразно прикрепленныхъ къ землѣ шипами аканта, либо кукла. На Ливанѣ среди греческаго населенія мальчики ходили прежде на Пасхѣ изъ дома въ домъ, изображая воскресеніе Лазаря, на Кипрѣ, въ день его памяти, кто-нибудь, одѣтый по праздничному, представляетъ такимъ же образомъ усопшаго; въ его оживленіи принимаетъ участіе и духовчество. Церковь овладѣла весеннимъ обрядомъ, и мы въ состояніи различить долю народнаго и церковнаго элементовъ и въ кахетинской лазарѣ, куклѣ, съ которою въ пору засухи ходятъ дѣвочки, распѣвая пѣсни-моленія о дождѣ, и въ обычай болгарскихъ дѣвушекъ лазарвать на шестой недѣлѣ поста, при чемъ имъ подаютъ хлѣбъ, который и зовется куклой¹⁾.

1) Сл. мои Разысканія VIII, стр. 312—314, 457 (примѣчанія къ стр. 312—314) и Δελτίον τῆς ἱστορ. καὶ ἐθνολογ. ἑταιρίας τῆς Ἑλλάδος τομ. V, τεῦχ. 18, стр. 347 слѣд. (Λείψυνα τῆς λατρείας τοῦ Λίνου καὶ Ἀδόνιδος ἐν Ἰπείρῳ ὑπὸ τοῦ Δ. М. Σάρρου).

Миѣ уже довелось при другомъ случаѣ¹⁾ поднять вопросъ о возможности перенесенія и усвоенія извѣстной не-христіанской обрядности, уже осложненной гдѣ-нибудь формами и именами христіанской легенды. Къ лазарскимъ пѣснямъ и дѣйству присоединю и другой примѣръ: въ русскомъ повѣры Кузьма и 25—86 Демьянъ представляются | ковачами: они куютъ «свадебку», что не трудно было бы объяснить символомъ брака — связи, но въ Изернїи, городкѣ близъ Неаполя, тѣ же святые являются въ болѣе откровенной роли, указывающей на слѣды мѣстного пріапического культа: къ нимъ обращаются съ молитвой дѣвшушки и неплодныя жены и на ихъ алтарь возлагаютъ, въ видѣ приношенія, восковыя фигурки въ образѣ фаллуса. Такимъ образомъ и Лазарь далъ лишь имя народному обряду, выражавшему идею оживленія, оплодотворенія, любви, дождя. Оттуда въ болгарскихъ обходахъ типъ «невѣсты», которую представляетъ одна изъ дѣвшушекъ; въ Крыму, въ Лазареву субботу, молодежь устраиваетъ скачки: это она встрѣчаетъ Лазаря и Пелагію. По легендѣ (греческой) она дочь Мангупскаго князя, властивавшаго надъ православными греками, была при смерти, а «четырехдневный Лазарь» отпросился у Бога, чтобы исцѣлить ее въ день своего воскресенія. Можетъ быть, и Пелагія явилась замѣной какогонибудь образа, аналогію къ которому мы найдемъ въ «пѣрахъ» весенней обрядности.

Богъ оживаетъ; либо онъ покоится сномъ, и его будятъ. Въ Нерехтѣ, въ четвергъ передъ Духовымъ днемъ, дѣвшушки кумятся, цѣлюясь черезъ вѣнокъ, сплетенный въ нижнихъ вѣтвяхъ дерева; одна изъ нихъ бросается на траву, будто опьяниенная, и представляется спящею; другая будить ее поцѣлюемъ. Въ Б्रіансонѣ (Дофінѣ) существуетъ такой майскій обычай: молодой человѣкъ, милая котораго его покинула, либо вышла замужъ за другого, лежить на землѣ, окутанный зеленью, будто спить; это *le fianc  du mois de May*; дѣвшушка, чувствующая къ нему склонность, по-

1) См. Гетеризмъ I. с. стр. 288 слѣд.

даёт ему руку; они идут въ таверну — первая пара въ пляскѣ; въ томъ же году они обязаны обѣнчаться.

Съ проводами лѣта картина мѣняется: за любовными пѣснями нашего ивановского цикла слѣдуютъ похороны — сожженіе Купалы.

Миѳы о Діонисѣ и Адонисѣ обняли весну и зиму, идею жизни и смерти. О діонисовскихъ обрядахъ мнѣ придется говорить въ связи съ вопросомъ о началахъ греческой драмы; Адонисъ даль сюжетъ для декоративной александрийской пантомимы, воспѣтой Ѹеокритомъ. По легендамъ — онъ плодъ тайной связи отца съ дочерью (Theias'а съ Смирной, Кинирѣ съ Миррой), любимецъ Афродиты, убить венремъ, образъ которого принялъ Арея или Аполлонъ; треть года онъ проводилъ у Персефоны, весной возвращался на землю. Весеннія адоніи въ Библосѣ начинались съ сѣтованія по немъ: вокругъ изображенія усопшаго женщины причитали, били себя въ грудь, пѣли подъ | звуки флейты адоніазмы; 87—26 обрѣзывали себѣ волосы въ знакъ печали, либо въ теченіе дня отдавались каждому проходящему, и мѣда назначалась въ жертву Афродите; обрядъ, отвѣчающій кипрійской легендѣ о сестрахъ Адониса, отдавшихся чужеземцамъ (Apollod. 3, 14, 3). На другой день праздновали восстание Адониса, и раздавались клики: Живъ, живъ Адонисъ! вознесся на небо (Luc. De Dea syr. 6). Александрийскія адоніи отбывались въ концѣ лѣта, и порядокъ обряда былъ другой; мы знаемъ его по описаніямъ Ѹеокрита и Биона: фигуры Адониса и Афродиты покоялись на ложѣ — символъ ихъ брачнаго союза:

Ложе твое пусть займетъ, Киоерея, прекрасный Адонисъ:
Онъ вѣдь и мертвый прекрасенъ; прекрасенъ, какъ будто уснувшій;
Въ мягкихъ одеждахъ его положи почивать благолѣпно,
Въ коихъ съ тобою вкушаль онъ глубокою ночью священный
Сонъ на ложѣ златомъ ¹⁾.

1) Біонъ, Надгробная пѣснь Адонису у В. Латышева, Переводы изъ древнихъ поэтовъ (С.-Пб. 1898, стр. 34 и слѣд.).

Вокругъ разставлены плоды, пироги, изображенія различныхъ животныхъ и такъ называемые «садики» Адониса, горшки съ засѣянной въ нихъ обрядовой, быстро поднимающеюся и увядающею зеленью, символомъ производительности и вмѣсть могильнымъ: ихъ звали ἑπιτάφιοι. У Феокрита пѣвица славить Афродиту, къ которой черезъ годъ Горы вернули милага отъ вѣчныхъ волнъ Ахеронта; пусть порадуется сегодня, завтра же на зарѣ женщины понесутъ его въ море, распустивъ волосы, обнаживъ грудь, съ громкою пѣсней и пожеланіями возврата: «Будь къ намъ милостивъ, Адонисъ, теперь и въ будущемъ году; милостивымъ ты пришелъ, будь такимъ же, когда вернешься». Надгробная пѣснь Адониса у Биона, сохранившая обрядовой refrain, заставляетъ плакать по немъ горы и дубы, и рѣки, и соловья; причитаетъ сама Киприда, но пѣсня кончается не пожеланіемъ, а призывомъ къ веселью:

Нынѣ свой плачъ прекрати, Киоерея, вернися къ веселью:
Снова ты слезы прольешь, черезъ годъ снова плакать придется.

На фонѣ этихъ весеннихъ и лѣтнихъ празднествъ вырисовываются пары: дѣвушка, будящая майскаго жениха, майскіе графъ и графиня, Robin Hood и Maid Marian, Купало и Марена, Иванъ и Марья бѣлорусскихъ пѣсенъ и малорусскихъ преданій, Адонисъ и Афродита, Діонисъ и обрученная ему жена архонта василевса 27—88 въ обрядѣ | Аноестерій. Они—выраженіе идеи смерти и любви, наполнившихъ содержаніе и практику обрядовъ; ихъ эротизмъ, находящій себѣ параллель въ соответствующихъ хоровыхъ играхъ некультурныхъ народностей, восходитъ къ эпохѣ коммунальныхъ браковъ и первоначальной пріуроченности половыхъ сношеній къ извѣстнымъ временамъ года¹⁾. О безстыдствѣ купальскихъ обычаевъ говоритъ уже блаженный Августинъ, и свидѣтельствуетъ для XVI вѣка нашъ игуменъ Панфиль; храмовому эротизму весеннихъ адоній въ Библосѣ отвѣчаетъ показаніе

1) См. мой Гетеризмъ I. с. стр. 311; ib. 290—4; сл. выше стр. 242.

Stubbs'a о майскихъ празднествахъ въ Англіи XVI вѣка: толпы народа выходили въ горы и лѣсъ, приносили майское дерево, вокругъ котораго плясали; разгуль быль такъ великъ, что третья часть дѣвушекъ теряла цѣломудріе. Позже этотъ эротизмъ смягчился, принявъ въ переживаніяхъ обряда формы брака и кумовства. У насъ «невѣстятся» въ первое воскресеніе послѣ Петрова дня; у славянъ свадьбы являются кое-гдѣ пріуроченными къ извѣстнымъ годовымъ срокамъ; у кассіевъ въ Ассамѣ, въ маѣ мѣсяцѣ, отбываетя большой плясовой праздникъ, при которомъ женщины и дѣвушки, пользуясь обычнымъ правомъ, выбираютъ себѣ пару, женатаго или холостого. Въ Kindleben'ѣ, близъ Готы, въ Вознесеніе, парни и дѣвушки сходятся на смотрини подъ старой лицой: кто съ кѣмъ пропляшетъ подъ нею, и они вмѣстѣ вернутся, это знакъ, что пары помолвились. Въ средней и южной Италии молодые люди обоего пола кумятся на Ивановъ день съ обрядностью, напоминающею адоніи и ихъ двойственный символизмъ любви и смерти: весною готовятъ сосуды, съ засѣянными въ нихъ традиціонными растеніями; когда они взойдутъ, ихъ ставятъ въ страстную недѣлю на плащаницу; они такие же надгробные (*piatta di sepulcri*), какъ садики Адониса. Ихъ главная роль обѣ Ивановѣ днѣ, когда кумятся: ихъ выставляли у оконъ, украшали лентами, въ былое время, до церковнаго запрета, и женскими статуэтками, либо фигурками изъ тѣста на подобіе пріапа.

Въ современной весенней пѣснѣ, какъ, вѣроятно, и въ старо-французскихъ майскихъ *reverdies*, отзвуки этого эротизма не выходятъ изъ границъ новыхъ бытовыхъ порядковъ, но еще даютъ сюжеты и настроенія: просьба любви, исkanіе, порывы къ свободѣ наслажденія, бѣгство изъ супружеской неволи, ухаживание, сватовство. Обо всемъ этомъ поется, все это играется въ хороводѣ, *choreas venereas*, какъ называлъ ихъ одинъ изъ пѣвцовъ *Carmina Burana*, но пѣсня и | отвлекалась отъ дѣйствія, балладная, 89—28 новеллистическая, иногда съ моментами игрового діалога. Пѣсня о связи брата съ сестрой выросла на почвѣ купальскихъ обы-

чаевъ и легенды, напоминающей адонисовскую; другую широко-распространенную балладную пѣсню русскіе варяяты позволяютъ привязать не только къ весеннему хороводу, но и къ обряду. Мы знаемъ, какъ весною оплакиваются, а затѣмъ привѣтствуютъ воскресшаго Кострубоньку; въ одной малорусской весенней игрѣ дѣвушка стоитъ въ срединѣ хоровода и, обращаясь къ одной изъ участницъ, говорить: Христосъ воскресел! Та отвѣчаетъ: Воистину воскресе! Чи не бачилъ моего Кострубонька? спрашиваетъ первая; отвѣтъ: Пішовъ у поле орати. Тогда дѣвушка, что въ срединѣ хоровода, представляется, что плачетъ, и поетъ съ поддержкою хора:

Бідна-жъ моя головонька,
Несчастлива годиночка,
А южъ бо я наробыла,
Що Коструба не злобила!
Прийди, прийди, Кострубочку,
Стану съ тобой до шлюбочки,
А у неділю, у неділечку,
При раннему сніданничку.

Далѣе чередованіе вопросовъ и отвѣтовъ: Чи не бачили моего Кострубопыки? — Лежитъ на поле слабий; умирае; везутъ на цвінтарь; уже поховали. Получивъ такой отвѣтъ, дѣвушка вдругъ принимаетъ веселый видъ, плещеть въ ладоши, топаетъ ногами, а хороводъ поетъ весело:

Хвалю тебе, Христе Цару,
Що мой милий на цвінтару!
Ноженьками придолпала,
Рученьками приплескала.
А теперь, мій Кострубоньку,
Не лай, не лай, мої мами,
Ти у глубокій уже ями.

(Чубинскій, Нар. днев., стр. 17—18, № 16).

Въ другой хороводной пѣснѣ уже нѣть обрядового имени Коструба: жена выбѣжала, чтобы поплясать, старый мужъ является, и хоровая игра переходитъ въ пререканіе, въ обмѣнъ вопросовъ и отвѣтовъ, съ припѣвомъ и вмѣшательствомъ хора.

Таково, въ сущности, построение и старой провансальской пѣсни, съ перебоемъ refrain'a и возгласами въ концѣ каждого стиха, видимо указывающими на хоровое исполненіе¹⁾. Пѣсни на 90—29 тотъ же сюжетъ существуютъ въ современномъ Провансѣ и Гаскони, извѣстны и ломбардскія плясовыя XV вѣка²⁾. Либо жена заплясалась, и мужъ зоветъ ее домой: тамъ дѣти плачутъ, есть спать хотятъ; дѣйствующія лица только мимируютъ, за нихъ говорить хоръ (малорусская). Или женѣ, забывшейся въ веселой плясѣ, говорятъ, что мужу дома нечего есть, пить; поѣсть, напьется и безъ меня, отвѣчаетъ она; мужъ умеръ: пусть женщины поплачутъ надъ нимъ, пѣвчиѳ его отпоютъ, попы погреютъ, черви съѣдятъ. Такъ въ Лесбосской хоровой пѣснѣ, къ которой я указалъ французскую параллель; вотъ и нѣмецкая, вѣроятно, исполнявшаяся когда-то хоромъ:

Frau, du sollst nach Hause kommen,
Denn dein Mann ist krank.
Ist er krank, so sei er krank,
Legt ihn auf die Ofenbank,
Und ich komm nicht nach Hause.

Далѣе ей говорятъ: твоему мужу стало хуже, онъ скончался, его выносять, хоронятъ; она все не хочетъ вернуться, но когда ей сообщаютъ, что прїѣхали женихи, она велитъ не отпускать ихъ:

Sind die Freier in dem Haus.
Ei so lasst mir keinen raus,
Und ich komm gleich nach Haus.

Въ другомъ варіантѣ жена, при повторяющихся вѣстяхъ о болѣзни мужа, продолжаетъ плясать, каждая строфа кончается ея словами:

Noch a Tänzel oder zwei,
Und dann wer i gleich hamet gehn;

1) См. мои Эпические повторенія, 1. с. стр. 281—282 прим. 2; сл. ibid. стр. 280 слѣд.

2) См. R. Renier, Appunti sul contrasto fra la madre e la figliuola стр. 19, прим. 5; см. еще колядку № 137 у Чубинского, Нар. днев., стр. 409.

Только когда она слышитъ, что «en Andrer ist schon da», она отвѣтаетъ:

n'Ander da?

Hopsasa!

Nun kan Tänzal mehr, bedank mich schön!

Jetzt, jetzt werd i glei hamed gehn.

Содержаніе слѣдующихъ русскихъ игръ — сватовство: нѣ сколько дѣвушекъ становятся въ рядъ, взявшись за руки; про-
30—91 тивъ нихъ | особо двѣ дѣвушки. Кланяясь однѣ другимъ, онѣ поютъ поочередно; начинаютъ стоящія особо, хоръ отвѣтаетъ:

— Царівно, мостіте мости,

Ладо мос, мостите мости!

(Тотъ же припѣвъ послѣ каждого стиха).

«Царенку, вже й помостили».

— Царівно, ми ваши гости.

«Царенку, зачимъ ви, гости?»

— Царівно, за дівчиною.

«Царенку, за которою?»

— Царівно, за старшенькою.

«Царенку, старшенька крива».

— Царівно, такъ ми й пидемо.

«Царенку, такъ вернітесь».

— Царівно, мостіте мости, и т. д.

Слѣдуєть такое же предложеніе, касающееся «підстаршай» дѣвушки; но она слѣпа; сваты хотятъ удалиться, ихъ задерживаютъ, и въ третій разъ оказывается, что они пришли за «меньшенькою».

«Царенку, такъ не зряженна».

— Царівно, такъ ми й зрядимо.

«Царенку, вже жъ ми й зрядили».

— Царівно, такъ ми й візмемо.

При послѣднемъ стихѣ отдельно стоящія дѣвушки, сомкнувшись, поднимаютъ руки вверхъ, а подъ ихъ руками хороводъ пробѣгаєтъ вереницею; изъ хоровода послѣдняя дѣвушка остается при первой парѣ. Послѣ этого снова повторяется первая пѣсня

до тѣхъ поръ, пока дѣвушки до послѣднихъ двухъ не перейдутъ къ начальной парѣ, такимъ же порядкомъ, какъ и первыя.

Тотъ же сюжетъ сватовства разработанъ въ слѣдующей пѣснѣ по схемѣ пренія; какъ и въ предыдущей, часть дѣвушекъ представляетъ парней; символическій мотивъ «мощенія мостовъ», знакомый свадебнымъ пѣснямъ (приготовленіе къ браку, брачный поѣздъ), замѣненъ здѣсь другимъ, столь же распространеннымъ, эротическимъ: топтаніемъ проса (сада, винограда и т. д.). Дѣвушки раздѣляются на два ряда-хора, въ десяти шагахъ одинъ отъ другого. Одинъ хоръ поетъ:

А мы просо сіяли, сіяли,
Ой дідъ ладо, сіяли, сіяли!

| Второй хоръ:

92—31

А мы просо вытопчемъ, вытопчемъ,
Ой дідъ ладо, вытопчемъ, вытопчемъ!

(Припѣвъ, повторяющійся послѣ каждого стиха).

Такъ продолжаютъ, чередуясь:

— А чимъ же вамъ витоптать?
«А ми коні випустимъ».
— А ми коні переймемъ.
«Да чимъ вамъ перейнять?»
— Ой шовковымъ неводомъ.
«А ми коні викупимъ».
— Ой чимъ же вамъ викупить?
«А ми дамо сто рублівъ».
— Не треба намъ тисячи.
«А ми дамо дівчину».
— А ми дівчину візмемо.

Первый хоръ поетъ:

Нашого полку убуде, убуде,

второй:

Нашого полку прибуде, прибуде.

Изъ первого полка дѣвушка перебѣгаетъ во второй, и это продолжается, пока всѣ не перебѣгутъ.

Къ распространеннымъ мотивамъ весеннихъ пѣсенъ относятся жалобы жены, неудачливой въ бракѣ (Malmari  e, Malmaritata), монастырской заключенницы; либо дѣвушка откровенно пристаетъ къ матери, чтобы она выдала ее замужъ: широко распространенный мотивъ канцоны del nicchio, которую въ Декамеронѣ предлагаютъ спѣсть Діонео. Такою именно просьбой о мужѣ кончается хоровая игра изъ Минскoй губерніи: она играется на Благовѣщеніе и носитъ название «Шума»; этого «Шума», ходящаго въ «диброви», изображаетъ мальчикъ лѣтъ шести, переходящій во время пѣсень по рукамъ играющихъ. Просьба дѣвушки, очевидно, отвѣчаетъ общему содержанию игры съ ея весенними надеждами на урожай, идеями оплодотворенія: отзвуки наивной физіологической подкладки. Во Владимірской губерніи въ Семикъ «водятъ Колосокъ»: молодыя женщины, дѣвушки и парни собираются у села и, попарно схватясь руками, становятся въ два ряда лицомъ другъ къ другу. По ихъ рукамъ ходить дѣвочка, убранная разноцвѣтными лентами, каждая послѣдняя пара, по рукамъ которой прошла дѣвочка, забѣгаєть впередъ; 32—93 такъ образуется безпрѣрывный мостъ, постоянно подвигающейся къ озимому полю. Достигнувъ его, дѣвочка спускается съ рукъ, срываетъ нѣсколько колосьевъ ржи, бѣжитъ съ ними въ село и бросаетъ у церкви. Въ это время поютъ пѣсни, въ которыхъ дѣвочку величаютъ царицей.

Ходить колось по яри,
По бѣлой пшеницѣ.
Гдѣ царица шла,
Тамъ рожь густа,
Изъ колосу осмина,
Изъ зерна коврига,
Изъ полузерна пирогъ,
Родися, родися рожь съ овсомъ,
Живите богаты сынъ съ отцомъ.

Это вводить насъ въ кругъ аграрныхъ хоровыхъ игръ, привязанныхъ къ круговороту земледѣльческаго года; ихъ основа — обрядовая, подражательный характеръ напоминаетъ сходныя:

пляски ряженыхъ у некультурныхъ народовъ. Напомнимъ турицу славянского весенняго обряда, хожденіе съ козой, кобылкой у насъ о святкахъ, аналогическое ряженіе оленемъ, старухой, употребленіе звѣрицыхъ масокъ въ святочномъ обиходѣ средневѣковаго запада. Извѣстные очередные моменты вызывали особые приливы хорового веселья: въ пору зимнихъ Діонисій въ Греції ходиль веселый комосъ, и раздавались фаллическіе хоры, въ Римѣ *versibus alternis opprobria rustica*.

Я не имѣю въ виду исчерпать весь относящійся сюда богатый матеріаль, а ограничусь разборомъ нѣсколькихъ игръ мимического характера. Иныя изъ нихъ спустились теперь до специально дѣтской традиціи, другія видимо отвязались отъ обряда и не дѣются, а поются свободно.

Въ Малороссіи «дівчата» и «молодиці» образуютъ собою кругъ, въ середину котораго садится нѣсколько дѣвочекъ, вокругъ которыхъ ходятъ и поютъ:

Ой на горі лёнъ, лёнъ,
На горі маковецъ,
По тысячи молодецъ,
По шелягу стрілка,
А по денежкі дівка.
Моі люби маковочки,
Сходітесь до купочки,
Станьте усі у рядъ.

Потомъ дѣвушки останавливаются и спрашиваютъ у дѣтей, сидящихъ въ срединѣ:

| Соловейку, шпачку, шпачку!
Чи бувавесь ти въ мачку, мачку!
Чи видавесь, якъ макъ копають?

94—33

Дѣти отвѣчаютъ, показывая при этомъ жестами на то, что заключается въ пѣснѣ:

Ой бувавъ я въ тимъ садочку,
Та скажу вамъ всю правочку:
Ото такъ
Копають макъ.

По бóльшей части это дéлается такимъ образомъ: спрашиваются: «Чи виорано?» Дéти отвéчаютъ: «Виорано». Потомъ опять ходятъ кругомъ, продолжая спрашивать: Чи зараляно? — Зараляно.— Чи заволочено? — Заволочено.— Чи засіяно? — Засіяно.— Чи збірано? — Збірано.— Чи пора молотити? — Пора. Послѣ этого дівчата и молодиці, составляющія кругъ, берутъ дѣтей въ руки и, подбрасывая ихъ вверхъ, поютъ:

Ой такъ, такъ
Молотили макъ.

Сходна великорусская игра: хороводъ выбираетъ мать и нѣ сколько дочерей. Одна изъ нихъ обращается къ матери:

Научи меня, мати,
На ленъ землю пахати.

Мать жестами показываетъ, какъ это дѣлать:

Да вотъ эдакъ, дочи, дочушки!
Да вотъ такъ, да вотъ этакъ!

Играющія дочерей подражаютъ движеніямъ матери. Такимъ порядкомъ продѣлываются всѣ пріемы обработки льна; наконецъ, во время работы, дочери начинаютъ заглядывать на парней и вдругъ озадачиваются матерью новой просьбой:

Научи меня, мати,
Съ молодцемъ гуляти.

Мать сердится и грозить дочерямъ побоями, но онѣ ея не слушаютъ и уже не ждутъ наставленія:

А я сама пойду,
Съ молодцемъ плясать буду,
Да вотъ такъ, да вотъ этакъ.

Норманская *ronde mimique*, параллели къ которой известны 34—95 въ | Каталоніи и Италіи, не привязана, кажется, ни къ какому обрядовому акту. Сюжетъ — съяніе и обработка овса:

Aveine, aveine, aveine,
Que le bon Dieu t'amène!
Avez vous jamais ouï
Comme on sème l'aveine?
Mon père le semait ainsi.

Слѣдуютъ соотвѣтствующія тѣлодвиженія, сопровождающія и дальнѣйшіе вопросы пѣсни: Какъ боронять, полутъ, косять, вяжутъ, вывозятъ, молотятъ, вѣютъ, мелютъ, ёдятъ овесь и т. д., какъ и въ chanson du vigneron или La coupe du vin изображаются послѣдовательно занятія винодѣла:

Plantons la vigne...
La voilà la joli' vigne;
Planti, plantons, plantons le vin;
La voilà la joli' plante au vin,
La voilà la joli' plante!
De plante en bine...
La voilà la joli' bine!
Bini, binons, и т. д.

Слѣдующія строфы продолжаютъ: De bine en pousse, De pousse en branche, De branche en fleur, De fleur en grappe, и, наконецъ, De verre en trinque.

Русская игровая пѣсня выражаетъ мимически и дальнѣйшій актъ: дѣйствіе напитка, пива:

Мы наваримъ пива,
Зеленда вѣна,
Ладу, ладу, ладу!
Что у насъ будетъ
Въ этомъ пивѣ?
Всѣ вмѣстѣ сойдемся,
Всѣ и разойдемся.

(Сходятся и расходятся). Слѣдуютъ вопросы и отвѣты: «Всѣ мы испосядемъ, Посидимъ да встанемъ» (садятся и встаютъ); «Всѣ мы исполяжемъ, Полежимъ да встанемъ» (ложатся и встаютъ); «Всѣ вмѣстѣ сойдемся» (сходятся); «Всѣ пива напьемся, Всѣ и разойдемся» (расходятся).

Греческие ἑπηλύγοι υμνοι могли отличаться такимъ же мимическими характеромъ; у Лонга описываются сельскія забавы: кто-то затянуль пѣсню, какую за работой поютъ жнецы (IV, 38), 85—96 другой принялъ | потѣхи ради подражать движеніямъ винодѣла. — Подобная мимическая пляска выражаетъ у маорисовъ сажаніе и выкалываніе пататовъ.

У румынъ, наканунъ Нового года, мальчики и парни ходятъ по домамъ съ пожеланіями, пѣніемъ и дѣйствомъ «Плуговой пѣсни». Пѣніе сопровождается игрой на флейтѣ и звяканіемъ желѣзъ отъ сохи, либо звономъ колокольчика, хлопаніемъ бича и игрой на инструментѣ, прозванномъ «быкомъ»; при томъ тащутъ либо настоящій плугъ, либо игрушечный, украшенный цветами и разноцветною бумагой. Сходный обрядъ существуетъ и у галицкихъ русиновъ. Содержаніе румынской пѣсни провожаетъ земледѣльца отъ его первого выѣзда въ поле съ плугомъ къ пашнѣ, посѣву и жатвѣ, на мельницу, а оттуда въ домъ, где печется румянный святочный «колачъ»¹⁾. Это годъ румынского земледѣльца, воспѣтый и сыгранный, въ надеждѣ, что представленное въ дѣйствіе осуществится, что именно символическое дѣйство вызоветъ его осуществленіе. Очень вѣроятно, что и такія потѣшныя игры, какъ сѣяніе мака, пѣсни обѣ овсѣ и лозѣ имѣли когда то такое же магическое значеніе.

Въ основѣ многихъ народныхъ обрядовъ лежить психологический параллелизмъ съ недоказаннымъ членомъ параллели²⁾; это — желаемое; дѣйствіе вызываетъ дѣйствіе; съ окрѣпшимъ значеніемъ слова, чарующая сила присвоивается ему. Мы уже отмѣтили такую именно послѣдовательность развитія въ составѣ заговора. Когда въ совокупности обрядовыхъ моментовъ зародится представление божества, дѣйствія будутъ исходить отъ него, слово и подражательный актъ обратятся къ нему. Въ Малороссіи

1) См. Разысканія, VII, стр. 114 слѣд.

2) Обѣ одночленномъ параллелизмѣ см. Психологический параллелизмъ, I. с., стр. 56 слѣд.

ребятишки ходять подъ Новый годъ, посыпая зерномъ хозяевъ и хаты, приговаривая: «На счастье, на здоровье, на Новый годъ! Сады, Боже, жито, пшеницю и всяку пашныцю», послѣ чего поется «посыпальница»:

А въ поли, поли самъ плужокъ ходе,
А зы тымъ плужкомъ самъ Господь ходе,
Святый Петро погоняе.
Богородица істы носыла,
Істы носыла, Бога просыла:
Зароды, Боже, жито, пшеницю,
Жито, пшеницю, всяку пашныцю.

(*Этнограф. Обозр.*, VII, 73).

| Подражательное дѣйствіе румынского обряда переселилось 97—36 въ миѳъ, въ легенду, подсказанную на этотъ разъ апокрифомъ о томъ, какъ «Христосъ плугомъ оралъ»; иногда пашущими являются святые: Василій, Илья и др. Но такое развитіе отъ обряда къ миоу могло совершаться и органически: такъ сложились изъ жатвенного обихода миоы и пѣсни о Липѣ, Манеросѣ и др. Такія миоологическая пѣсни, отрѣшившись отъ обряда, поются отдельно, какъ съ другой стороны, обрядъ, отрѣшившись отъ своего содержанія, можетъ очутиться простою мимическою игрой; таково, быть можетъ, отношеніе распространенной повсюду пляски «мечей» (немецкіе *Schwerttänze*, Bacchuber въ Бранденбургѣ и т. д.), которую я сближалъ съ готской игрой византійского святочнаго церемоніала — къ болгарскимъ русаліямъ, несомнѣнно люстрального характера¹⁾.

Третье выдѣленіе касается заговорной формулы, забывающей порой пріуроченіе и употребляющейся внѣ календарной связи. Кахетинскіе лазарѣ отбываются вообще во время засухи.

1) Сл. Разысканія, XIV; о представленихъ греческихъ митрагиртовъ, вооруженныхъ мечами и топорами, сл. *Лукіана* и *Апулея*; о готской игрѣ см. теперь изслѣдованіе *Krauss'a* въ *Paul's Beiträge*, XX, 224 слѣд.

III.

Переходъ отъ календарныхъ обрядовъ къ свободнымъ отъ пріуроченія представляютъ тѣ переживанія древняго гетеризма и обрядовъ ініціації, принятія въ родъ, которые еще ускрѣдимы, напримѣръ, въ современныхъ обычаяхъ кумленія, попрежнему привязанныхъ къ опредѣленной годовой порѣ. Брачный обиходъ уже вышелъ большею частью изъ этой условности, сохранивъ свой игровой и мимическій характеръ. Народную свадьбу называли не разъ народною драмой; я предпочелъ бы название свободной мистеріи: это накопленіе хоровыхъ мимическихъ дѣйствъ, отвѣчающихъ тому или другому моменту одного связнаго цѣлаго, какъ эпической пѣсни могли спѣваться, объединяясь однимъ сюжетомъ, однимъ героическимъ именемъ. Преобладаетъ хорическое начало (сл. старо верхнен. *hileich*, англос. *brýdlâc*: свадьба, съ основнымъ значеніемъ *leich'a*: игра, пляска), а именно принципъ двухъ хоровъ: мы уже говорили о двухъ хорахъ греческой свадьбы; та же двучленность присуща и римскимъ *carmina nuptialis*, известна во французскомъ, эстонскомъ и русскомъ брачномъ обиходѣ; естественное дѣленіе на группы дано двумя сошедшими родами, жениховымъ и невѣстинымъ, они препираются, стараясь показать, что они не «дурной родни», обмѣниваются шутками и прибаутками, задаютъ другъ другу загадки. Отсюда форма амебейности, вопросовъ и отвѣтовъ, діалога, какъ напримѣръ, въ народной свадьбѣ зальцбургскихъ горнорабочихъ отецъ невѣстки препирается съ дружкой; все это перемежается монологами дружки, волренницы, потѣшника. Не только накопленіе дѣйствъ, но и дѣйствъ, относящихся къ различнымъ порамъ развитія хорового начала, какъ и въ самомъ содержаніи свадебныхъ актовъ отразились въ пестрой смѣси разновременные формы брака, напримѣръ, умыканія и купли. Обрядъ раскрывался въ иѣкоторыхъ своихъ отдельахъ, слабѣе упроченныхъ символическимъ дѣйствомъ, для свободной импровизаціи, для личной

пѣсни, шуточной или балладной. Въ этотъ-то разрѣзъ вторгались захожіе веселые люди, шпильманы и скоморохи, личные пѣвцы, игра которыхъ на свадьбахъ, похоронахъ и поминкахъ вызывала протесты средневѣковой церкви. И, наоборотъ, сложившаяся въ брачномъ или другомъ ритуалѣ пѣсня могла выйти изъ его состава и разноситься на сторонѣ, оторвавшись отъ родимой вѣтки.

Русскій свадебный обиходъ открывается сватовствомъ, обставленнымъ символическими обрядами и традиціонными разговорами сватовъ съ родителями невѣсты. Разговоръ ведется исключительно въ формѣ загадокъ; этотъ мотивъ состязанія загадками и находчивыми отвѣтами проходитъ по всѣмъ дальнѣйшимъ эпизодамъ свадьбы; удачно разрѣшенная загадка открываетъ женихову поѣзду доступъ въ домъ. Слѣдуетъ рукобитье, съ казовою продажею или пропоемъ певѣсты, послѣ чего начинается рядъ посидѣлокъ или дѣвишниковъ; далѣе—самая свадьба, и на другой день большой столъ или хлѣбины, чѣмъ и кончается торжество. Во всѣхъ этихъ обрядахъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является невѣста, на ея долю выпадаетъ наибольшее количество пѣсенъ; она оплакиваетъ свою дѣвичью волю, прощается съ семьею, жалуется на судьбу, заставившую ее идти въ чужую, дальнюю сторону и т. д. Женихъ играетъ пассивную роль: за него все говорить и дѣлаетъ дружка, балагуръ и краснобай, отлично помнятъ всѣ тонкости свадебнаго обихода и свадебны хъ «приговоровъ», полны самосознанія, какъ и невѣстой руководить дружка, такая же опытная и ловкая, знающая, когда и что слѣдуетъ дѣлать, пѣть и говорить, носящая различныя названія: «княжны-свахи», вытницы, вопленницы, плачей, пѣвули, стиховодницы, заводницы и т. д. Она и дружка жениха — распорядители свадьбы, въ составѣ которой мы уже намѣтили разновременное наслоеніе бытовыхъ формъ въ ихъ пѣсенныхъ и мимическихъ выраженіяхъ. Такова, напримѣръ, подробность обряда, напоминающаго умыканіе невѣсты: сваты являются подъ вечеръ, въ видѣ странниковъ или охотниковъ, просятъ пустить ихъ обо-

грѣться, увѣряютъ, что ихъ князь охотился на краснаго звѣря и самъ видѣлъ, какъ одна куница или лисица скрылась во дворѣ именно этого дома. Ихъ пускаютъ во дворѣ, но не иначе, какъ послѣ долгихъ переговоровъ и за извѣстную плату, напримѣръ за угощеніе. Въ день свадьбы передъ поѣзжанами жениха запираютъ ворота; разыгрывается примѣрная борьба, иногда даже съ выстрѣлами; братъ невѣсты защищаетъ ее съ саблею въ рукахъ. Вечеромъ, послѣ свадебнаго пира, молодой хватаетъ новобрачную въ охапку и выносить изъ дома; та вырывается и бѣжитъ: дѣвушки ее защищаютъ; женихъ и поѣзжане снова овладѣваютъ ею и увозятъ въ домъ жениха. Въ ритуалѣ народной свадьбы на спнайскомъ полуостровѣ невѣста бѣжитъ, прячется отъ жениха, которому приходится искать ее. Таково содержаніе и одной фарейской пѣсни, сопровождающей какую то народную игру. Либо невѣста затерялась, тонеть, ее похитили, и на ея выручку отправляются отецъ, мать, братъ; находить ее женихъ. Такія пѣсни существуютъ въ пересказахъ малорусскихъ, венецианскихъ, сицильянскихъ, новогреческихъ, русскихъ; они ходятъ отдельно, кое-гдѣ поются въ связи съ свадебнымъ ритуаломъ, искони ли выражая содержаніе соотвѣтствующаго эпизода, или примкнувъ къ нему со стороны, по зозвучію? Что аналогическіе сюжеты могли вытѣснить традиціонное содержаніе обрядовой пѣсни, тому свидѣтельствомъ исторія диопрамба, въ которомъ исконные мотивы діописовскаго миѳа уступили мѣсто героическимъ вообще. Это открывало путь къ пѣсенныимъ нововведеніямъ, уже вѣдимой связи съ какимъ-бы то ни было обрядовымъ моментомъ; на польской и болгарской свадьбѣ поется на свободно бытовую тему о томъ, какъ мужъ, вернувшись изъ отѣзда, попалъ на брачный пиръ своей жены. Въ такомъ положеніи является Добрыня-скоморохъ въ былинѣ о немъ; пѣсня могла зайти въ обрядъ изъ скоморошьяго репертуара; вѣроятнѣе, что она въ немъ только преобразовалась, и что ея первоначальное содержаніе навѣяно было бытовымъ мотивомъ брачнаго умыканія.

Другіе эпизоды брачнаго дѣйства напоминаютъ о куплѣ-продажѣ невѣсты: сваты являются въ видѣ купцовъ и обязаны выкупить неѣсту у ея брата деньгами, либо рѣшенiemъ загадокъ; 100—39 происходит осмотръ товара и примѣрный торгъ, запиваемый могарычемъ.

И все это въ сопровождениі пѣсень, въ чередованіи хоровъ и съ моментомъ ряженія, въ которомъ теперь трудно отличить свое и серьезно-бытовое отъ навѣяннаго и безцѣльно потѣшнаго: рядятся цыганомъ, цыганкой, москалемъ, жидомъ, мужчина одѣвается женщиной и т. д. Нѣкоторую устойчивость обнаруживаютъ «приговоры»: они указываютъ на упроченное преданіе, передававшееся изъ рода въ родъ, отъ одного дружка къ другому; такая же профессиональная передача, какъ у вопленницъ нашихъ прічитаній, и съ тѣми же результатами: обиліемъ повторяющихся формулъ и образовъ, напоминающихъ и воспроизводящихъ схематизмъ былиннаго стиля. Въ ярославской свадьбѣ «предѣзжай» дружка жениха (это его постоянный эпитетъ) съ «молодымъ подружиемъ» (помощникомъ) подѣзжаетъ къ невѣстину дому; ворота заперты; онъ говоритъ, что приѣхалъ «не насильно, не навально», а посланъ женихомъ. «Нашъ князь молодой новобрачный выходилъ изъ высокаго терема на широкую улицу; я, предѣзжай дружка съ молодымъ подружиемъ, выходилъ изъ высокаго терема на широкую улицу, запрягалъ своего доброго команя и осѣдалъ и овозжалъ, шелковой плеткой стегаль; мой добрый конь осердился, отъ сырой земли отдѣлился, скакалъ мой добрый команъ съ горы на гору, съ холмы на холму, горы, долы хвостомъ устиналъ, мелки рѣчки перескакивалъ; доскачивалъ мой добрый команъ до синяго моря; на томъ синемъ морѣ, на бѣломъ озерѣ, плавали гуси сѣрые, лебеди бѣлые, соколы ясные (?). Спроси я гусей-лебедей: гдѣ стоить домъ, гдѣ стоить теремъ нашей княгини молодой новобрачной? На это мнѣ гуси отвѣчали: Поѣзжай къ синему морю въ восточную сторону, тутъ стоитъ дубъ о двѣнадцати корняхъ.—Я поѣхалъ въ восточную сторону, доѣхалъ до того дуба; выскочила кунка; не та кунка, что по лѣсу

ходить, а та кунка, которая сидить въ высокомъ теремѣ, сидить на рѣшетчатомъ стулѣ, шьетъ ширинку нашему князю молодому новобрачному. Я, предъѣзжій дружка съ молодымъ подружіемъ, поѣхалъ по куньему слѣду, доѣхалъ до высокаго терема на широкую улицу къ княгинѣ молодой новобрачной къ высокому терему; слѣдъ куній по подворотници ушелъ, а назадъ дворомъ не вышелъ; слѣдъ куній отведи или ворота отопри!»

Изъ-за воротъ спрашиваются: «Кто тутъ, комаръ или муха?»

Я не комаръ, не муха, тотъ ли человѣкъ отъ Святаго Духа.
Слѣдъ куній отведи или ворота отопри!»

40—101

| Изнутри слышится голосъ: Поди подъ кутное окно; либо:
Лѣзь въ подворотню; Ворота заперты, ключи въ море брошены;
или: Ворота лѣсомъ и чащѣй заросли. На все у дружки есть отвѣтъ,
напримѣръ: «Нашъ князь молодой новобрачный Ѵздила къ синему
морю, нанималь рыбачевъ удальцовъ, добрыхъ молодцовъ; они
кидали шелковый неводъ, изловили бѣлую рыбину, въ той бѣлой
рыбицѣ нашли златы ключи». За каждымъ отвѣтомъ то же тре-
бованіе: Слѣдъ куній отведи или ворота отопри!

Легко было-бы подвести къ приведеннымъ примѣрамъ рядъ
аналогическихъ изъ свадебнаго обихода другихъ народностей, но
они не измѣнили-бы характера тѣхъ обобщеній, которыя мы
имѣемъ ввиду. Остановимся лишь на одномъ вопросѣ: когда въ
обиходѣ народной свадьбы, какъ и въ гомеровскихъ поэмахъ,
встрѣчаются указанія на такія формы брака, которыя, развив-
шись въ послѣдовательной эволюціи семьи, не могли существова-
вать въ практикѣ жизни, ясно, что иныя изъ нихъ спустились къ
значенію обрядовыхъ и пѣсенныхъ формулъ: въ обрядѣ онѣ очу-
тились полупонятными переживаніями, въ пѣснѣ общими мѣстами,
широко и неопределенно суггестивными. Это одинъ изъ источни-
ковъ народно-пѣсенной стилистики.

Похоронная обрядность построена на такомъ же хорическомъ
началѣ, выражавшемся въ пѣніи, пляскѣ и дѣйствіи. Такъ уже
въ классическомъ мірѣ. Надъ Ахилломъ причитаютъ, чередуясь,
отвѣчая другъ другу (*ἀμειβόμενοι*), девять музъ, нереиды вопять-

(II. XXIV, 60 слѣд.); при тѣлѣ Гектора пѣвцы заводятъ плачъ — причитаніе, женщины испускаютъ вопли¹⁾). Говорятъ, что пиррихій (военный танецъ) изобрѣтенъ былъ Ахилломъ, исполнявшимъ его передъ костромъ Патрокла; судя по барельефамъ, на египетскихъ похоронахъ плясали скоморохи (*douatiou*), вооруженные короткими палками (*à tête de coucoupha*); погребальныя пляски у римлянъ замѣнились впослѣдствіи театральными представленіями, сопровождавшими, еще въ пору Веспасіана (Strab. Vesp. 19), похоронный обрядъ, что объясняетъ отчасти нахожденіе въ гробницахъ масокъ и вазъ съ сценическими изображеніями. Какъ въ Алжирѣ мѣстныя плакальщицы плачутъ съ дикими воплями, распустивъ волосы, на свѣжей могилѣ, такъ на армянскихъ похоронахъ, въ языческую и еще христіансскую пору, причитанія и пѣсни дѣлились на *mrmountch* (роптаніе), *egheig* 102—41 (жалоба) и *ogbh* (заплачка); являлась толпа плакальщицъ, называвшихся *dsterg sgo* (дочери сѣтования, траура), съ ними нѣбольшая, *maïr oghbots*, мать сѣтования. Они плясали, плеща другъ друга по ладонямъ, пѣли, подыгрывая на разныхъ инструментахъ; воспѣвали доблѣсть, благотворительность покойнаго, обращаясь къ нему, вопрошаю, зачѣмъ онъ покинулъ неутѣшную молодую жену и дѣтей, либо прощались отъ его имени съ вдовой и т. д. По словамъ Фавста византійскаго, царь Арзакъ такъ велѣлъ оплакивать *Knel'a*: Фарандзема, супруга убитаго, стала во главѣ вопленицъ, и всѣ хоромъ запѣли жалобную пѣсню о коварствѣ Дириты, о ея любовныхъ взорахъ, тайныхъ проискахъ противъ Кнеля, обѣ убийствѣ послѣдняго; все это раздирающимъ, страстно захватывающимъ голосомъ, на который отвѣчали сѣтования присутствующихъ.

Извѣстно, какъ ратовала западная церковь противъ *salta-*
tiones и *carmina diabolica* на кладбищахъ, Стоглавъ противъ

1) II. XXIV, 720: παρὰ δὲ εῖσαν ἀσιδούς, θρῆνων ἐξάρχους, οἵ τε στονόεσσαν ἀσιδὴν, σὶ μὲν δὴ θρήνεσσι, ἐπὶ δὲ στενάχουτο γυναῖκες — Оѣ тѣ-ої мѣн предполагаетъ порчу текста, либо пропускъ, на что и было указано. Ожидаетъ двойственной роли пѣвцовъ: одни зачинаютъ, другіе отвѣчаютъ.

скаканія и пляса и сатанинскихъ пѣсень на погостахъ въ троицкую субботу. Козьма Пражскій говоритъ объ игрѣ ряженыхъ и сценическихъ представленияхъ на могилахъ, какъ позже въ Малороссіи похоронныя, поминальныя пѣсни смѣнялись веселыми и пляской въ присядку.

Въ иныхъ случаяхъ погребальный драматизмъ выражался другими чертами. Двѣнадцать витязей обѣзждаютъ могильный холмъ Беовульфа, сѣтуя и славословя (*Beowulf V*, 3138); Иорданъ такъ описывается, со словъ Приска, похороны Аттилы: посреди стана, на холмѣ, подъ шелковымъ наметомъ положили тѣло усопшаго; выбрали изъ гуннского народа лучшихъ наездниковъ, и они обѣзжали холмъ, восхваляя Аттилу въ искусныхъ пѣснопѣніяхъ, *cantu funereo*: Славный король гунновъ, Аттила, сынъ Мундзука, повелитель храбрѣйшихъ народовъ, владѣль въ неслыханной дотолѣ мощи, единолично, скиѳскими и германскими странами, устрашилъ взятиемъ городовъ обѣ римскія имперіи, но, дабы не предавать всего грабежу, снисходя къ просьбамъ, соглашался принимать ежегодную дань. И когда, поддержаный удачей, онъ совершилъ все это, обрѣль смерть не отъ раны, нанесенной врагомъ, и не предательствомъ своихъ, а среди своего народа, стоявшаго на верху могущества, среди веселья, радостно и безболѣзенно. Кто же почтеть прекращеніемъ жизни то, за что никому нельзя отомстить? — Такъ оплакавъ своего повелителя, они совершили на вершинѣ холма тризну (*strava*), пиръ и попойку и, оставивъ похоронныя причитанія, соединяя противоположное, предались веселью.

42—103

| Таковы были хорические субстраты обряда, изъ которыхъ выдѣлились греческие *φρῆγοι*, римскія *neniae*, средневѣковые *planctus*, *complaintes*¹⁾, въ которыхъ лирическій моментъ сѣтованія, возгласа, заплачки естественно чередовался съ моментомъ разсказа, воспоминаній о дѣлахъ усопшаго, съ тѣмъ, что можно обосновить названіемъ *причитанія*. Они проникались взаимно, или

1) См. Эпическій повторенія I. с., стр. 280.

дѣлились; въ послѣднихъ импровизація, пѣніе ex tempore, обусловлена была тѣмъ обстоятельствомъ, что о каждомъ отдѣльномъ лицѣ приходилось поминать разное; заплачка должна была скорѣе принять болѣе прочныя, фиксированныя преданіемъ, формы, согласно съ ограниченною группой вызвавшихъ ее настроеній. Такія заплачки — причитанія могли раздаваться или создаваться и на поминкахъ вѣнѣ обрядового дѣйства. Въ какихъ условіяхъ сложилась недавно записанная абиссинская пѣсня, мы не знаемъ.

«Выѣхалъ ты, Балай, съ витязями, верхомъ на своемъ мулѣ.

Бѣлыѣ быль твой муль; при саблѣ, щитѣ и мушкетѣ, ты быль прекрасенъ, какъ сынъ Бога.

У Балая зубы были бѣлыѣ, что молоко; твоє прекрасное лицо очаровывало все Тигрэ, твоя сабля искала не простыхъ воиновъ, а вождей.

Зачѣмъ же не защитили тебя въ бою твои товарищи?

Развѣ въ тотъ день, когда ты паль, не быль при тебѣ твой товарищъ Леймаша?

Балай, никогда не замиришься ты съ твоимъ врагомъ, ибо ты паль подъ деревомъ.

Не сѣтуй, Балай, что я такъ часто называю тебя по имени: убили тебя у камня.

О, еслибы тебя убили, по крайней мѣрѣ, саблей или пулей, а убили тебя, какъ душатъ собаку.

Но скажи же намъ! Когда тебя убили, развѣ не было при тебѣ твоего пріятеля Семаала?

Балай, Балай, твоя мать ничего не знаетъ о твоей смерти, она говорить: Вотъ онъ сейчасъ прискакетъ на своемъ бѣломъ мулѣ!

Твоя мать представляетъ себѣ, какую пыль подняла твоя богатырская нога.

| Уѣхалъ Балай, сынъ Гуальду, но вмѣсто него вернулась 104—43 растрапанная пороховница.

Теперь ты лежишь подъ камнемъ и никогда болѣе не двинешься; Балай, Балай, единственный сынъ твоей матери убитъ!

Триста стрѣлковъ поджидали и окружили тебя; выстрѣлы тебя поражали, душиль дымъ; на тебѣ была красная рубашка, подъ тобой бѣлый мулъ.

Рубашку пробила молнія свинца. Король Іоаннъ много печалился о твоей смерти.

Враги убили твоего сына (обращеніе къ матери?); ты сражался противъ тысячи пушекъ, мы противъ тысячи всадниковъ.

Все это кажется сномъ.

Великій Боже, порази враговъ прежде, чѣмъ они изготавляются къ оборонѣ, и пусть все для нихъ, и земля и небо, будетъ твердо, какъ желѣзо».

Такъ могли воспѣвать гуинны смерть Аттилы, вестготы своего короля Теодориха. Средневѣковые *planctus, complaintes*, сохранившіеся на латинскомъ и народныхъ языкахъ, принадлежащіе уже художественному почину, покоятся на обрядовомъ актѣ и вышедшемъ изъ него хоровомъ или личномъ причитаніи—заплачкѣ. Рядъ относящихся сюда памятниковъ начинается съ *planctus* на убитаго въ 799 году Эриха Фріульскаго и съ плача безыменнаго автора на смерть Карла Великаго и т. д.; Пасхазій Радберть сообщаетъ (826 г.), что кончина св. Адальгарда была оплакана *rustica romana latinaque lingua*. Близость подобнаго рода литературныхъ причитаній къ народной почвѣ обнаруживается ритмическимъ строемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, пришѣвомъ, наслѣдіемъ хорового исполненія, и преобладаніемъ эпической канвы надъ лирическимъ сѣтованіемъ. Таковы *planctus* на смерть Фулькона Реймскаго и Вильгельма *Longue-Érée*, говорящіе о дѣлахъ покойныхъ и обстоятельствахъ ихъ смерти. Тѣмъ же эпическими характеромъ отличаются французскія *complaintes*, напримѣръ, Рютбѣфа; когда во французскихъ *chansons de geste* смерть витязя вызываетъ со стороны слагателя, либо изъ устъ дѣйствующихъ лицъ, память и хвалу и молитву объ успокоеніи, въ отра-

женії общаго мѣста еще сохранился бытовой откликъ, но моментъ воспоминаній уже уступилъ сѣтованію. Такъ причитаетъ надъ Турпиномъ Роландъ:

E! gentils hom, chevalier de bon aire,
Ui te comant al glorios celeste.

| Ja mais n'iert om plus volontiers lo serve,
Des les apostles ne fu mais tel prophete
Por lei tehir e por om atraire.
Ja la votro ame nen ait duel ne sofraite:
De pardis li seit la porte overte.

105—44

Въ провансальскихъ planh эпическая тема теряется еще болѣе, развита лирическая часть плача и создается искусственный жанръ, устранившій всякие слѣды обрядовой основы.

Именно эпическая часть planctus подлежала раннему обособленію изъ обрядовой связи, если по содержанію она отвѣчала болѣе широкимъ, не мѣстнымъ только интересамъ. Пѣсни — плачи о славномъ витязѣ, народномъ героѣ, продолжали интересовать и внѣ рокового события, вызвавшаго ихъ появленіе: ихъ повѣствовательная часть дѣлается традиціонной, въ другомъ смыслѣ, чѣмъ фиксированныя подробности лирической заплачки. Такъ выдѣлялись изъ похоронной связи лирико-эпическая причитанія: ихъ могли пѣть по прежнему хоромъ, съ припѣвомъ или отдельно, внѣ обряда, который разлагался и съ другой, игровой стороны. Въ современной Греціи причитанія, миріологіи, обратились въ застольную игру: кто-нибудь изъ присутствующихъ представляетъ покойника, надъ нимъ гоносятъ подъ звуки музыки ($\lambda\alpha\lambda\eta\tau\alpha\delta\epsilon\varsigma$), пока усопшій не вскочить, и не начнется общій плясъ. Въ прежнее время плясали на похоронахъ, на жальникахъ, отбывая серьезное дѣйство; теперь въ Бретани, вечеромъ по воскресеньямъ, еще пляшутъ на погостахъ, по привычкѣ и косности преданія, но пляшутъ подъ звуки балладныхъ пѣсень. «Образуются rondes, и раздается тонкій голосъ, на простой ритмъ, вызывая хоръ:

C'est dans la cour de Plat-d'Etain.

Всѣ подхватываютъ стихъ. Пляска оживляется.... По большей части морской вѣтеръ уносить половину словъ:

....perdu mon serviteur....
....porter mes couleurs....

Пѣсня кажется болѣе наивною, привлекательною, когда ее слышишь въ такихъ обрывкахъ, съ странными опущеніями, обычными въ пѣсняхъ, творящихся за пляской, гдѣ интересъ отданъ болѣе ритму, чѣмъ значенію текста». (*Daudet, Contes du lundi: La moisson au bord de la mer*).

Иная судьба ожидала причитаніе тамъ, гдѣ оно зажилося внутри обряда, какъ, напримѣръ, у славянъ и албанцевъ, грековъ и ирландцевъ, на Корсикѣ и въ Сициліи. Обыкновенно при-
45—106 читаются женщины, | какъ надъ Ахилломъ музы, римскія praeficae, итальянскія voceratrici, наши вопленницы; въ армянскомъ похоронномъ ритуалѣ являются дочери — и мать сѣтованій, плачая, нечто въ родѣ гомеровскаго ἔξαρχος Θρήνου, что указываетъ на хоровое начало. И вотъ въ этой сфере замѣчается раз-
витіе специализаціи, профессіи: печалятся близкіе люди, но при-
читаютъ другіе, вспять о чужомъ горѣ, потому что умѣютъ волить. Выше мы замѣтили, что лирическіе мотивы заплашки, выражающіе группу опредѣленныхъ психическихъ настроеній, необходимо повторялись, внося въ пѣсенный складъ извѣстную устойчивость и вмѣстѣ однообразіе. Къ этому присоединилась теперь устойчивость стиля, выработанная профессіональною привычкой къ такимъ, а не другимъ оборотамъ, къ схематизму положеній, къ ограниченнымъ ими словарю и фразеологіи. Легко ощутить разницу между этою профессіональною и вольною заплачкой, если сличить, напримѣръ, приведенную выше заплашку, аббессинца съ нашими олонецкими причитаніями. Присоедините къ опредѣленности психическихъ мотивовъ и образовавшейся устойчивости ихъ словеснаго выраженія еще и любовь къ нѣкоторымъ традиціоннымъ сюжетамъ, повторяющимся изъ рода въ родѣ — и мы очутимся на почвѣ эпоса и эпического стиля, то-есть, въ концѣ долгаго процесса, первые шаги котораго мы

пытаемся уяснить. — На параллель съ стилем свадебныхъ приговоровъ указано выше.

Заплачка о видномъ дѣятель становилась историческою былью, балладною пѣсней, и переходила въ преданіе; къ нимъ приставали пѣсни, навѣянныя казовыми событиями народной жизни, побѣдами и пораженіями, пѣсни миѳологического содержанія. Все это пѣлось хоромъ, порой и плясалось. О предводитель саксовъ Гервардѣ говорится, что «mulieres et puellae de eo in choris canebant»; женскій хоръ или хоровая пляска разумѣется въ слѣдующемъ свидѣтельствѣ о битвѣ ирландцевъ съ англичанами при Eskdale:

Zung women, guhen thai will play,
Syng it emang thame ilke day.

По поводу смерти Ричарда Англійскаго, убитаго стрѣлою въ Лемозинѣ, такъ разсказываютъ Annales Monastici: pro miraculo habetur apud multos, quod per multum tempus ante obitum regis solebant puellae normannicae canere in choreis:

In Limozin sagitta fabricabitur
Qua tyrannus morti dabitur 1).

| Какъ въ Одиссеѣ (IX, 266 слѣд.) феакійскіе юноши пля- 107—46 шутъ подъ пѣсию о шашняхъ Арея съ Афродитой, такъ на фэ-рейскихъ островахъ извѣстныя традиціонныя пляски исполняются подъ баллады изъ цикла сказаний о Нифлунгахъ, а въ Дитмаршѣ въ былое время плясали подъ пѣсни воинственного содержанія. Хоромъ пѣли, по свидѣтельству начала XII вѣка, про дѣянія Вильгельма (qui chori juvenum, qui conventus populorum.... non resonant et modulatis vocibus decantant qualis et quantus fuerit); то же предположили и для древне-германскихъ эпическихъ пѣсень и тѣхъ греческихъ, которыя мы теперь не различимъ въ спѣвѣ гомеровскихъ поэмъ.

Мы не можемъ поручиться, насколько и въ болѣе древнихъ, приведенныхъ нами примѣрахъ, содержаніе пѣсни искони было

1) Обѣ цитаты исправлены по Boeckel, Deutsche Volkslieder aus Ober-Hessen, CLVI—VII (red.).

крѣпко хору, тѣмъ менѣе обрядовому дѣйству. Твердо сохранился лишь обычай: пѣть хоромъ, играть, плясать пѣсню, содержаніе ея не всегда обязывало. Канталена о св. Фаронѣ, которую, съ плесканіемъ рукъ, исполнялъ женскій хороводъ, входитъ въ разрядъ былевыхъ, историческихъ, разсмотрѣнныхъ выше, но когда во Французской Канадѣ исполняютъ архаической религіозный танецъ подъ звуки «Евангелистой пѣсни»¹⁾, во Франціи — подъ пѣсню о Николаѣ угодникѣ и сожженнѣ отрокѣ (наша «жена милославая»), намъ станетъ ясно, что между текстомъ и движениами пляски нѣтъ ничего общаго, что текстъ только опора ритма, игра отвѣчаетъ требованіямъ того ритмического катарзиса, который мы встрѣтили при началѣ синкретического дѣйства, который греки обобщили въ эстетической принципѣ.

На этой точкѣ развитія стоитъ цѣлый рядъ хоровыхъ пѣсень и плясокъ, которыя мы не въ состояніи пріурочить ни къ обрядовому акту, ни къ мимической игрѣ.

Въ Португаліи перепѣваются два хора, поочередно повторяя двустишія на разныя риомы, съ однимъ постояннымъ припѣвомъ, при чёмъ каждый хоръ подхватываетъ послѣдній стихъ своей же, предыдущей строфы:

1. Per ribeira de rio
Vy remar o navio,

(Припѣвъ). El sabor ey da ribeyra.

2. Per ribeira do alto
Vy remar o barco,

(Припѣвъ).

- | 1. Vy remar o navio,
Ly vay o meu amigo,

(Припѣвъ).

2. Vy remar o barco,
Ly vay o meu amado.

(Припѣвъ) и т. д.

1) См. Мои Разысканія, VI, стр. 82.

Точно два правильно перевивающихся варианта одной и той же пѣсни. Пляшутся и поются французскія rondes; я заподозрилъ обрядовое начало въ нѣмецкихъ Schwerttänze, хотя, быть можетъ, они по существу подражательно-гимнастические, какъ и сходныя военные пляски, известныя во Франціи. Въ старые годы въ Дитмаршѣ исполняли такъ называемый Lange Dantz, въ его различныхъ видахъ, съ топаньемъ и прыжками, подъ звуки пѣсень въ родѣ: *Her Heinrich und sine Brüder alle dre,* либо: *Mi boden dre hövische Medlein* и т. п. Описаніе одного изъ такихъ протяжныхъ танцевъ сохранилъ намъ Neocorus (Johann Adolph): запѣвало, порой выбравшій себѣ товарища, который подпѣвалъ-бы ему и вообще помогалъ, зачиналь пѣсню съ кубкомъ въ рукѣ. Пропѣвъ одинъ стихъ, онъ останавливался, и стихъ повторялся остальными. Они либо тутъ же подслушивали его, либо знали раньше. Въ томъ же порядкѣ исполнялись и второй и слѣдующіе. Послѣ первого или второго стиха выступалъ и руководитель танца и съ шляпой въ рукѣ принимался плясать, такимъ образомъ приглашая къ тому же и другихъ. Онъ соображался съ пѣнiemъ солиста, за нимъ и всѣ участники въ танцѣ; порой онъ такъ же выбиралъ себѣ такого же помощника, какъ и запѣвало.

Особо слѣдуетъ поставить хорическія игры съ характеромъ мѣстныхъ, церковно-легендарныхъ воспоминаній: онѣ могли явиться на смѣну и въ формахъ древнихъ народно-обрядовыхъ, могли и сложиться на-ново изъ элементовъ, накопившихся въ игровомъ преданіи. Примѣромъ послужитъ слѣдующая бытовая картинка изъ Южной Италіи. О св. Павлинѣ, епископѣ Нолы, рассказываютъ, что онъ самъ отдалъ себя въ рабство въ Африку, дабы освободить изъ неволи сына одной вдовы, попавшаго въ плѣнъ; когда по нѣкоторомъ времени онъ вернулся, жители встрѣтили его пѣснями и плясками. 22-го іюня въ Нолѣ ежегодно чествуютъ это воспоминаніе праздникомъ гильдій: устраивается по городу процессія, въ которой несутъ громадныя декоративныя башни, украшенныя статуями святыхъ и гильдейскими эмблемами;

48—109 въ нижнемъ этажѣ башни пахарей Юдиоъ держитъ голову Олoферна. Въ процессіи везутъ и корабль, на немъ ряженый мавромъ, съ сигарой въ зубахъ, и св. Павлинъ, коленоопреклоненный передъ алтаремъ. Когда всѣ башни соберутся на площади передъ соборомъ, носильщики начинаютъ качать ихъ взадъ и впередъ, на плечахъ, подъ тактъ, указанный распорядителемъ; затѣмъ башни спускаются наземь, и вокругъ нихъ устраиваются пляски: пляшутъ кругомъ мужчины, положивъ руки другъ другу на плечи; въ срединѣ круга танцуютъ двое; порой они берутъ къ себѣ третьяго: онъ лежитъ у нихъ на рукахъ и сначала самъ продѣлываетъ пѣ въ этомъ положеніи, затѣмъ стихаетъ, точно его за-качали на смерть — и вдругъ поднимаетъ голову, улыбается и принимается стучать кастаньетами. Другіе въ то же время ломаютъ изъ себя акробатовъ, показывая разные *tours de force*, тогда какъ рядомъ въ соборѣ епископъ торжественно священномѣстуетъ у алтаря святого. — Легендарное воспоминаніе, разработанное народными, обобщившимися игровыми мотивами. Такъ новая пѣсня создается нерѣдко изъ старыхъ формулъ. Не изучивъ исторического словаря этихъ мотивовъ и формулъ, исследователь какъ безъ рукъ въ вопросахъ миоологического и поэтическаго генезиса.

Мы разсмотрѣли въ краткомъ очеркѣ разные виды хоровыхъ дѣйствій, жившихъ или еще доживающихъ среди культурныхъ народностей. Ихъ легко приравнять къ категоріямъ, установленнымъ нами для народностей некультурныхъ. Передвинулись только, мы видѣли, границы календарного обряда, торжествуетъ текстъ, импровизація во многомъ уступила традиціи, и изъ связи хора могутъ выдѣляться отдельныя пѣсни, самостоятельный цѣлья, живущія своею особою жизнью и опредѣляющія порой формы и роды художественной поэзіи. Такъ обособились балладные пѣсни изъ цикла весеннихъ, свадебныхъ, поминальныхъ, заговорныхъ. Греческая поэзія полна такихъ выдѣленій, лишь название напоминающихъ о своемъ обрядовомъ началѣ: элегія уже не вызываетъ въ насъ представлениія о погребальной пѣснѣ, са-

тира о древней синкретической сатурѣ и т. п. Весь этотъ процессъ предполагаетъ, еще за предѣлами литературы, отдельныхъ носителей, пѣвца или пѣвцовъ, вышѣдшихъ изъ хора или дихоріи; и въ то же время на почвѣ хора и въ амебейности даны были условія драматического дѣйства: создавались жанровыя сценки, какъ въ нашихъ весеннихъ играхъ, съ типами и масками, какъ въ Ателланахъ, и такіе же сценическіе эпизоды примыкали къ обряду извнѣ, не проникнутые и не обусловленные его содержаниемъ. Таковъ характеръ нѣмецкихъ | Fastnachtsspiele, нашей 110—49 святочной игры въ «боярина» и т. п. Не видно непосредственной эволюціи обрядового хора, въ которомъ такъ сильно развиты моменты движенія и діалога, къ тому цѣлому, которое мы назовемъ драмой. Греческая трагедія указываетъ на идеальныя условія такого развитія и на его переходную степень — въ кульѣ. Къ этому вопросу, уже затронутому нами выше, намъ еще придется вернуться. Культовая драма средневѣковой Европы, мистерія, остается въ сторонѣ: она вышла не изъ народныхъ источниковъ, въ разрѣзъ и противоположности съ народною обрядностью. Черты послѣдней могли проникнуть въ нее, когда она стала выходить изъ-подъ опеки церкви, но онѣ отражаются главнымъ образомъ въ бытовыхъ подробностяхъ, типахъ. И наоборотъ: какъ церковь овладѣла на западѣ народною обрядовою игрой, введя ее въ свой обиходъ, такъ церковная драма пристраивалась къ народнымъ хоровымъ дѣйствамъ въ пору ихъ разложенія или забвенія, какъ одинъ изъ элементовъ новаго синкретизма. Когда въ иныхъ мѣстностяхъ Германіи начальники двухъ народныхъ труппъ, исполняющихъ рождественскую мистерію, обмѣниваются загадками, препираются другъ съ другомъ въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ, намъ ясно, что церковная драма примкнула къ народному хоровому или амебейному дѣйству. Въ Италіи таковъ былъ, вѣроятно, первоначальный характеръ *maggio*: вѣтка майскихъ обходовъ, игра и преніе въ родѣ тѣхъ, какія мы наблюдали въ Германіи; позже *maggio* принялъ рыцарскій колоритъ и перешелъ въ торжественное ристаніе, родъ казоваго турнира;

теперь подъ старымъ названіемъ разыгryваются народныя пьесы, заимствованныя изъ легендъ святыхъ и перешедшихъ въ народную книгу феодальныхъ поэмъ и рыцарскихъ романовъ.

IV.

На почвѣ хорического дѣйства мы отмѣтили постепенный процессъ дезинтеграціи и, въ результатѣ, ряды органическихъ выдѣленій и неорганическихъ смѣшеній; послѣднія являются и живутъ спорадически, органическія выдѣленія вступили на путь развитія. Въ послѣдующей исторіи поэзіи мы встрѣчаемъ такие болѣе или менѣе опредѣленные типы, какъ эпiku, лирику, драму; въ какихъ отношеніяхъ стоять они къ той синкретической, хоровой поэзіи, формы которой мы вправѣ считать древнѣйшими? Въ какой послѣдовательности развились они изъ этой протоплазмы, отвѣчая тѣмъ или другимъ спросамъ бытовой или общественной эволюціи?

50—111 | Вопроcъ этотъ занималъ эстетиковъ и историковъ литературы; рѣшенія шли въ уровень съ тѣми или другими общими посылками, философскими взглядами и приращеніемъ матеріала сравненій, разрушавшихъ старыя обобщенія, вызывая новыя. На первыхъ порахъ считались съ наличностью историко-литературныхъ данныхъ, среди которыхъ явленіе первоначального синкретизма не выдѣлялось, пока болѣе широкое изученіе фольклора не выставило его въ надлежащемъ свѣтѣ.

Я коснусь лишь въ немногихъ чертахъ исторіи вопроса, въ которой меныше рѣшеній, чѣмъ неупорядоченныхъ колебаній.

Начну съ воззрѣній, полученныхъ изъ а) одностороннаго обобщенія фактovъ греческаго литературнаго развитія, принятаго за идеальную норму литературнаго развитія вообще. И до Гомера были гимнические поэты и жреческие пѣвцы, но грандиозное явленіе гомерического эпоса заслонило собою болѣе древнія начинанія; онъ и представился стоящимъ въ началѣ всего;

исторія греческої літератури указувала далі на расцвіть лиризма, позже на явленіе драми; эта троичность и эта послѣдовательность были приняты за нормальныя и узаконены a posteriori філософскою ідеєй. Таково построение Гегеля: на первомъ планѣ эпосъ, какъ выражение *объекта*, объективнаго міра, впечатлѣніе котораго полонить не развитое еще сознаніе личности, подавляя ее своею массой. Въ другой исторической чередѣ личность начинаетъ развиваться, и ростъ ея самосознанія открывается въ новой поэзіи *субъекта*: *лирикъ*. Когда субъектъ окрѣпъ, является возможность критического отношенія къ міру объективныхъ явленій, оцѣнка человѣческой роли въ окружающемъ ее эпосѣ, страдательной или побѣждающей, борящейся. Этому и отвѣтило явленіе драмы, поэзіи *объекта* — *субъекта*. Съ этой точки зрењія драма могла представляться чѣмъ то композитнымъ, сводомъ, соединившимъ результаты прежнихъ воззрѣній и формъ для выраженія нового міросозерцанія. «Драма — эпический родъ лирическихъ моментовъ, говоритъ Жанъ Поль Рихтеръ; въ ней объективное соединяется съ лирическимъ. Драматический поэтъ — суффлёръ души. Присутствіе хора у древнихъ было живою, цѣльною лирическою стихіей. У Шиллера сентенціи дѣйствующихъ лицъ можно назвать маленькими хорами». Насколько лирическія партіи хора въ греческой драмѣ участвовали въ этомъ опредѣленіи — ясно само собою.

Воззрѣнія Гегеля надолго опредѣлили схематическое построение и чередование поэтическихъ родовъ въ послѣдующихъ эстетикахъ. Примѣромъ можетъ послужить *Cartière (Wesen und Formen der Poesie)*: | «эпическая поэзія — заря культуры, первое 112—51 слово, которымъ народъ выражаетъ свою сущность»; «можно сказать, что, съ точки зрењія искусства, драма представляетъ послѣдній, вершающій зданіе камень, ибо она покоятся на соприкосновеніи и сліяніи эпическихъ и лирическихъ элементовъ, да и въ историческомъ отношеніи является лишь тогда, когда послѣдніе уже развились. Самая прозрачная исторія искусства, греческая, доказываетъ это всего яснѣе: такъ послѣ Гомера и Алкея вы-

ступають Эсхилъ и Софоклъ, и въ ихъ трагедіяхъ эпическая партія въ повѣстованіи гонцовъ наслаждаются на лирическія пѣснопѣнія хоровъ». Въ другомъ своемъ трудѣ (*Die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung* и т. д.) Carrière уже дѣлаетъ слабую уступку явленію синкретизма, предварившаго все послѣдующее развитіе, но драма по прежнему является такою же композитной, какъ у Ж. П. Рихтера: въ началѣ культуры поэтические роды еще не успѣли выдѣлиться, дальнѣйшее развитіе состоится въ послѣдовательномъ обособленіи сначала эпоса, потомъ лирики, которые подъ конецъ соединяются въ органическое цѣлое драмы. Художественная ея обработка — міровая заслуга грековъ, подвигъ Аѳинъ послѣ персидскихъ войнъ. Для этого не только необходимо было предварительное развитіе музыки и пластики, но и выдѣленіе, изъ первоначального, безразличного единства поэзіи, сначала эпоса, потомъ лирики; надо было прежде развить искусство разсказа, затѣмъ умѣніе выражать настроеніе чувства, дабы то и другое соединилось въ драмѣ... Такимъ образомъ въ Аѳинахъ слились, въ созданіи новой художественной формы, іонійскій эпосъ, дорическая хоровая лирика и эолійская лирика личнаго чувства. — Подобные взгляды мы встрѣчаемъ и въ поэтикѣ Ваккернагеля, у Benloew'a (*le drame qui marie le lyrisme à l'épopée*), еще недавно у Лакомба.

Въ сторонѣ отъ этого построенія, мирясь и не мирясь съ нимъ, высказано было другое. Основано оно на b) *психологическихъ* посылкахъ, навѣянныхъ современнымъ пониманіемъ лиризма, которое и проектировалось въ начало развитія; туда же вело, быть можетъ, и приравненіе древнейшей гимнической поэзіи, выросшей въ обрядовой, хорической средѣ, къ лирикѣ личнаго чувства. Таково пониманіе Жань-Поль Рихтера: «Лира предшествуетъ всѣмъ формамъ поэзіи, такъ какъ чувство — мать, искра, возжигающая всякую поэзію, подобно тому, какъ лишенный образа огонь Прометея оживляетъ всѣ образы». Въ комментаріи къ своему переводу поэтики Гегеля Бенаръ выразилъ свое 52—113 несогласіе съ взглядомъ автора на болѣе позднее, | будто-бы,

развитіе лирики сравнительно съ эпикой: наоборотъ, на лирическую поэзію всегда смотрѣли, какъ на самую древнюю и общую форму поэзіи: это — первый крикъ души къ своему Творцу, голосъ, поднявшийся изъ глубины сердца, движимаго благодарностью и восторгомъ; выраженіе наивно-вдохновенной мысли. Всюду лирическая пѣсня предваряла эпическую. — Подобныя воззрѣнія заявлялъ и Benloew (*Le lyrisme est la poésie des peuples qui n'en ont pas d'autre*), ихъ раздѣляютъ Talvy и Schipper, Westphal и Croiset, Regnaud и др. Léon Gautier мотивировалъ ихъ съ обычнымъ ему паѳосомъ. «Представьте себѣ первого человѣка въ моментъ, когда онъ вышелъ изъ рукъ своего Творца и впервые окидываетъ взоромъ свои недавнія владѣнія. Представьте себѣ, насколько возможно, живость и глубину его впечатлѣній, когда великолѣпіе трехъ царствъ природы отразилось въ умственномъ зеркальѣ его души. Видѣ себя, опьяненный, почти изступленный отъ изумленія, благодарности и любви, онъ поднимаетъ къ небу очи, которыхъ никогда не удовлетворить зрѣлище земли; тогда, открывъ въ небѣ Бога и воздавъ ему хвалу за красоту и свѣжую гармонію его творенія, онъ разверзаетъ уста; онъ заговорить; неѣть, онъ запоетъ, и первая пѣсня этого властителя міра будетъ гимнъ Богу-Творцу». Такіе гимны онъ станетъ пѣть и впослѣдствіи, славословія Создателя; таковъ древнійшій поэтическій родъ, который греки назвали по внѣшнему признаку, аккомпанименту на лирѣ — лирикой. Но люди плодились и разошлись въ народы; поэзія гимновъ болѣе не удовлетворяла; славословіли Бога, затѣмъ стали пѣть хвалы вождямъ, народнымъ героямъ, но для новаго содержанія формы гимна или оды оказались слишкомъ тѣсными. Тогда зародился новый родъ поэзіи, менѣе восторженный, болѣе повѣствовательный: сказывали (*επω*) о войнахъ, народныхъ побѣдахъ и невзгодахъ; начали съ мифовъ, пока еще не проснулся исторический тактъ. Но и этою эпическою поэзіей не удовлетворились, она пріѣдалась; хотѣлось чего то болѣе живого, захватывающаго. И вотъ у нѣкоторыхъ поэтовъ явился замыселъ: вмѣсто того, чтобы воспѣть гимнъ герою или повѣдать о

его подвигахъ, они собрали своихъ друзей и сказали: ты назовешься именемъ такого-то лица, примешь его обликъ, его костюмъ, станешь говорить и действовать, какъ онъ: ты будешь Орестомъ, Агамемнономъ, Уллиссомъ, Ахилломъ, Гекторомъ.— Люди приняли съ восторгомъ эту новинку, замѣнившую разсказъ действиемъ — драму.

Съ подобнымъ взглядомъ на хронологическое первенство лирики | мы еще встрѣтимся въ одной изъ новѣйшихъ работъ, только мотивы будутъ другіе, не навѣянные идеалистическимъ взглядомъ на первобытнаго человѣка съ его вспышками благодарности къ Творцу.

Отъ увлеченія нормами греческаго развитія, гдѣ на первомъ мѣстѣ исторіи стоялъ эпосъ, и отъ психологически-отвлеченнаго предпочтенія лирики, какъ естественнаго крика души, 1) *историко-этнографическая школа* выходила послѣдовательно къ понятію древняго хорового синкретизма (Мюлленгофъ, Ваккернагель, фонъ-Лиленкронъ, Уландъ, Гейерь и др.), изъ котораго развились поэтическіе роды. Уже Benloew, стоящій за большую древность лирики, говорилъ о сплетеніи эпическихъ и лирическихъ элементовъ въ поэзіи первобытныхъ народовъ (*mais elle n'est cela que virtuellement pour ainsi dire*). Неопределеннѣе выразился Штейнталъ: первые элементы поэзіи и остальныхъ искусствъ даны преданіемъ (*Sage*) и культурой. Гимнъ, стало быть, лирика, эпосъ и драма, въ началѣ почти нераздѣльные, выступаютъ впослѣдствіи, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, особо и самостоятельно. Какъ языкъ, миѳъ и религія — созданія народнаго духа, такъ и начала поэзіи — въ народной, выразившейся особенно въ лирикѣ, но всего ярче въ эпосѣ.

Гастонъ Парісъ различаетъ въ первобытной поэзіи два теченія, лирическое и эпическое, смѣшанныя, у иныхъ народностей никогда не доходившія до дифференціаціи, выразившіяся въ произведеніяхъ эпическихъ по содержанію, лирическихъ по формѣ. У народовъ съ историческою ролью и преданіемъ является потребность не только высказать свои ощущенія по поводу того или

другого событія, но и разсказать о нихъ, на память себѣ и по томкамъ. Форма такихъ пѣсень на первыхъ порахъ страстная, отрывочная, отстаетъ со временемъ въ чѣто болѣе ясное, правильное, объективное; лирическій элементъ утрачиваетъ почву, и народная поэзія переходитъ къ эпикѣ.

Такъ выяснилось, рядомъ съ понятіемъ синкретизма, и другое: понятіе лирико-эпического жанра, какъ переходной степени развитія. Остается попрежнему открытымъ вопросъ объ относительной хронологіи эпики и лирики. Изслѣдователи отвѣчаютъ разно: Лахманъ, Ваккернагель, Коберштейнъ, Мартинъ, Барчъ, фонъ - Лилленкронъ, Вильмансь ставятъ лирику позже эпики, Я. Гриммъ, Мюлленгофъ, Шереръ это отрицаютъ. Разногласіе объясняется тѣмъ, что въ понятіе древней лирики и эпики безсознательно переносятся моменты различной цѣнности, и что подъ лирикой одни разумѣютъ не то, что другіе.

| Поэтика Шерера пролила бы, вѣроятно, свѣтъ на многіе 115—54 изъ нерѣшенныхъ вопросовъ, еслибъ не осталась наброскомъ, оставомъ лекцій, полнымъ блестящихъ идей, но и недосказанностей. Шереру снилась поэтика будущаго, построенная на мас-совомъ сравненіи фактовъ, взятыхъ на всѣхъ путяхъ и во всѣхъ сферахъ поэтическаго развитія; широкое сравненіе привело бы и къ новой, генетической классификациі. Эта поэтика очутилась бы въ такомъ же отношеніи къ старой, законодательной, въ какомъ историко-сравнительная грамматика къ законодательной грамматикѣ до-Гrimмовской поры. Все это остается пока и, вѣроятно, надолго останется — идеаломъ.

Шереръ откровенно сталъ на синкретическую точку зреїнія, но не выдержалъ ее до конца, не выяснилъ моментовъ развитія, когда изъ пестрой связи игровыхъ проявленій выдѣляется то, что мы назовемъ поэзіей, ячейкой поэзіи. Предполагается въ началѣ смѣщеніе поэзіи — пѣсни съ музыкой и мимическою пляской; для древняго периода, который мы пытались характеризовать, когда элементъ слова отсутствовалъ въ синкретической игрѣ, либо выражался восклицаніями, можно сказать, что въ впечатлѣніи

цѣлаго слово не играло опредѣляющей роли. Шерерь обобщаетъ этотъ выводъ съ очевидною натяжкой: «поэзія не въ одномъ только художественномъ употреблениі рѣчи», говорить онъ и иллюстрируетъ это примѣрами: балета, обходящагося безъ словъ, пантомимы, наконецъ средневѣковой мистеріі, которая пѣлась и плясалась, производя художественное впечатлѣніе именно въ этой связи, не однимъ только словеснымъ элементомъ. Отсюда выводъ, что пантомима—поэтическое произведеніе безъ словъ (*ein dichterisches, poetisches Kunstwerk*). Мы выйдемъ изъ противорѣчія, поставивъ вмѣсто «поэтическаго» хотя бы «художественное».

Итакъ: хоровая пѣсня съ плясомъ, откуда начало поэтическаго ритма; съ радостными кликами и смѣхомъ, потому что поэзія отвѣтила прежде всего требованіямъ забавы, удовольствія; однимъ изъ древнѣйшихъ ея моментовъ былъ эротическій. Въ это опредѣленіе не укладывается многое, о чёмъ могли пѣть и пѣли; куда дѣвать, напримѣръ, причитанія? Нельзя же говорить въ пору зарожденія поэзіи объ эстетической субSTITУЦІІ.

Рядомъ съ ритмическою хоровою пѣснею — сказка въ прозѣ, начало эпики. Чередованіе стиховъ и прозы, встрѣчающееся у разныхъ народовъ¹⁾, понято, какъ переходная степень эпического изложенія; | происхожденія самой формы Шерерь не объясняетъ: совершилось ли смѣшеніе сказа, партіи корифея, съ хоровымъ припѣвомъ, что могло бы повести къ чередованію ритмическихъ и неритмическихъ партій? Дальнѣйшей формой будетъ эпическая пѣсня въ стихахъ, но не въ строфахъ, ибо строфа развивается въ хоровомъ исполненіи, а эпическая пѣсня, «эпось», какъ выражается Шерерь, сказывается однимъ лицомъ, это его «индивидуальный подвигъ». Любопытно, какъ объяснилась бы съ этой точки зрѣнія строфичность французскихъ *chansons de geste*. Но и лирика, при ея зарожденіи, оказывается такимъ же индивидуальнымъ дѣломъ: кто-нибудь одинъ выражалъ свою радость, удовольствіе, эротическія чувства; если у него были сочувствен-

1) См. мои Эпическая повторенія I. с. стр. 299.

ные слушатели, его настроение сообщалось и имъ; на этомъ основано наше участие къ лирической поэзіи вообще.

Началь драмы изъ элементовъ хоровой пѣсни Шерерь не касается вовсе; можно было бы ожидать нѣсколько соответствующихъ указаний въ отдель, посвященномъ «родамъ поэзіи», но именно здѣсь авторъ оставляетъ историческую точку зрења для обычнаго схематизма, орудующаго понятіями эпоса, лирики, драмы, какъ чѣмъ то объективно даннымъ, строго определеннымъ, въ чемъ можно разобраться, плодя новыя формальныя категоріи. Въ эпосѣ подчеркивается, напримѣръ, элементъ появленія; сюда отнесены эпопея — и баллада и романсь, отмѣченые, впрочемъ, названіемъ эпико-лирическаго рода. Цѣлый рядъ любовныхъ пѣсенъ съ эпическою канвой подобаетъ извлечь изъ отдельа лирики и отнести къ эпикѣ; надо изъ лирики выдѣлить все эпическое, — хотя эпический разсказъ можетъ быть проникнуть лирическими моментами. И въ то же время широко распахиваются двери изъ лирики въ драму: діалогическая партія въ лирикѣ принадлежать полудраматическому роду, точно также, какъ «молитва», «посланіе», «героида», хотя, сама по себѣ, она можетъ носить и эпический характеръ и т. д.

Историко-сравнительная поэтика не освѣтила категорій формальной.

Книга Шерера вызвала болѣе полемики, чѣмъ сочувствія. Съ нею мы вступаемъ въ область новѣйшей литературы, посвященной интересующимъ насъ вопросамъ. Я остановлюсь лишь на нѣкоторыхъ ея явленіяхъ; въ нихъ старое и новое чередуются, эволюціонная точка зрења съ умозрительною, черпающею свои обобщенія изъ современнаго художественнаго опыта. Я не отрицаю значенія умозрѣнія, если его психологические и эстетические выводы построены не на одиноко | стоящихъ, хотя бы и казо- 117—56 выхъ фактахъ, а на идеѣ развитія въ широкой исторической перспективѣ.

Начну съ работъ, не задававшихся цѣлями исторического изученія.

Какой изъ двухъ родовъ поэзіи, лирика или эпосъ, относительно древнѣе, на этотъ вопросъ мы не найдемъ отвѣта въ книгѣ Werner'a (Lyrik); только, полемизуя противъ Шерера, онъ дѣлаетъ замѣчаніе, что въ эпикѣ моментъ чувства, стало быть, лирическій, кажется ему древнѣе повѣствовательнаго; вмѣстѣ съ Шереромъ онъ считаетъ эротическое начало существеннымъ въ лирикѣ эпохи зарожденія. Для поэтическихъ родовъ устанавливаются два дѣленія: по содержанію и по формѣ. По отношенію къ первому слѣдуетъ отличать два рода: лирическій и другой, для обозначенія котораго у насъ, въ сущности, нѣтъ соотвѣтствующаго выраженія; этотъ то родъ и распадается по формѣ на два вида: эпосъ и драму. Какъ видно, первое дѣленіе основано не на процессѣ исторического развитія, а на знакомомъ старой теоріи признакѣ не содержательно-психологическаго, а формальнаго характера: что лирикъ выражаетъ свои личныя ощущенія, тогда какъ задача эпического и драматического поэта изображеніе характеровъ, положеній, дѣйствій другихъ людей. Будто все это не вызываетъ и въ личности поэта личной оцѣнки, стало быть, и выраженія индивидуального ощущенія? Вѣдь и лирика, какъ понимаетъ ее Вернеръ, лирика самонаблюденія предполагаетъ раздвоеніе субъекта, часть котораго и становится объектомъ анализа, не говоря уже о народной пѣснѣ и той древнѣйшей, которую мы можемъ конструировать для начала развитія, гдѣ для субъективнаго анализа въ нашемъ смыслѣ слова и не было мѣста. — Это позволить намъ устранить и другую характеристику, не оправдываемую ни психологическими, ни историческими фактами: будто лирика довѣрять самой себѣ, одинокій жанръ, einsame Gattung, тогда какъ эпосъ и драма предполагаютъ общество, публику; онъ — gesellige Gattungen. Одинокая лирика «про себя» принадлежитъ эстетической абстракціи, какъ школьному схематизму — установление 256-ти лирическихъ родовъ. Изъ нихъ лишь 16 признаются чистыми, безпримѣсными; для нѣкоторыхъ другихъ допущено соприкосновеніе лирики и эпоса (знакомый намъ лирико-эпический жанръ) и предполагается нѣсколько

новыхъ определений, напримѣръ, эпико-лирики для пьесы, въ которой эпический элементъ преобладаетъ надъ лирическимъ (Гётеvская баллада: *Der Fischer*); или даже естественно-политической лирики (*Natur-politische Lyrik*) для политической сатиры Уланда (*Schwindelheber*). Это напоминаетъ пастушеско-комическая, 118—57 историко-пастушеская и траги-комико-историко-пастушеская драмы, о которыхъ говорить Гамлетъ.

Valentin также недоволенъ ходячимъ распределениемъ поэтическихъ родовъ на эпику, лирику и драматику и, не считая существеннымъ ихъ отличіе по формѣ, строить свою теорію на понятіи *Gattung*, обособляя такимъ образомъ эпику, лирику и поэзію рефлексіи. Но что такое *Gattung*? Это — *сущность содержания*, сюжета, столь тѣсно обусловленная природою, настроениемъ поэта (*dichterische Wesenheit*), я сказалъ бы: его *особой апперцепціей действительности*, что всякое измѣненіе первой существенно отразится и на второй. Лиризмъ Жанъ-Поль Рихтера, напримѣръ, не находилъ себѣ выраженія въ эпическихъ формахъ романа и — находилъ въ безформенныхъ *Streckverse* его прозы. Этимъ устраивается категорія Формы.

Далѣе понятіе *Gattung* двоится: вицшнїй міръ дѣйствительности даетъ поэту объективное, эпическое содержаніе, онъ воспринимаетъ его, разрабатываетъ субъективно, одолѣвая его рефлексіею, извлекая изъ него моментъ чувства: материалъ лирики. Эпическо-объективное содержаніе является такимъ образомъ общимъ субстратомъ, художнику принадлежать рефлексія и чувство, и я устранилъ бы «эпическое» изъ понятія *Gattung*; но авторъ продолжаетъ говорить о трехъ *Gattungen*, въ сущности, трехъ элементахъ, присущихъ, въ разныхъ сочетаніяхъ, каждому поэтическому созданію. Именно разный характеръ сочетаній и привелъ его къ установленію трехъ названныхъ выше поэтическихъ категорій: «мы говоримъ объ эпическомъ процессѣ, когда сообщаются представлія съ цѣлью вызвать въ насъ такія же ощущенія, какія вызвали бы въ воспріимчивой личности дѣйствія, возбудившія эти представлія. Мы говоримъ о лирикѣ, когда

чувство, которое желають въ насъ возбудить, не возникаетъ въ насъ непосредственно изъ представлений, а изъ такого же чувства, своеобразно сложившагося въ какой-нибудь личности и въ этой своеобразности сообщающагося другимъ, что, при средствахъ языка, возможно лишь путемъ усвоенныхъ имъ представлений. Наконецъ, мы называемъ рефлектирующимъ процессъ размышленія, вызывающаго оцѣнку и выводы». Все дѣло въ качествѣ смѣшенія при тождествѣ участвующаго материала; мы въ царствѣ переходныхъ сложеній, въ которое отринутое учение о Формѣ вносило какой-то внѣшній распорядокъ: представление вызываетъ представление и — повтореніе ощущеній, чувство вызываетъ 58—119 чувство путемъ представлений языка, | образныхъ, эпическихъ. Авторъ опирается на это качество языка, чтобы прійти къ такому опредѣленію поэзіи, въ которомъ расплываются его прежнія понятія объ «эпическомъ», какъ объ одномъ изъ элементовъ, *Gattungen*, поэтическаго творчества — и какъ о субстратѣ дѣйствительности. Оказывается, что поэзія, какъ словесное искусство,— искусство эпическое, оно поднимается до лирики — музыки, лишь борясь съ своимъ материаломъ; между ними —танецъ, который можетъ быть и эпическимъ, и лирическимъ. Мы встрѣчали въ первобытной синкретической игрѣ пляску въ соединеніи съ элементомъ дѣйства, изъ которого разовьются впослѣдствіи формы драмы; но до (художественной) драмы дошли не все народы, говоритъ авторъ, она не «истекаетъ непосредственно изъ сущности поэзіи», не родъ, а форма, которая одинаково служить и эпическому изображенію, и лирическому чувству, и рефлексіи.

Иное дѣленіе родовъ находимъ у Лакомба (*Introduction à l'histoire littéraire*, стр. 7, 318 слѣд., 341). Стоитъ ли устанавливать ихъ іерархію? спрашиваетъ онъ себя и отвѣчаетъ положительно. Если съ философской точки зрѣнія ихъ различіе и можетъ показаться безполезнымъ, то во-первыхъ вопросъ о преимуществѣ одного надъ другимъ неотдѣлимъ отъ вопроса о прогрессѣ въ литературѣ, во-вторыхъ самое существование жанровъ — исторический, соціологический фактъ, одна изъ лите-

ратурныхъ институцій, заслуживающихъ изученія. Мы ожидаемъ послѣ этого заявленія, что іерархія Лакомба будетъ историческая, соціологическая; вмѣсто того мы получаемъ одну изъ обычныхъ банальныхъ схемъ, построенныхъ на психологическихъ и эстетическихъ посылкахъ. Лирика (въ стихахъ или прозѣ) — это жанръ, гдѣ поэтъ свободно выясняетъ самого себя, свои чувства и мысли. Она по необходимости одностороння, и это указываетъ ей скромное мѣсто въ іерархіи: романистъ, драматургъ выше лирика по разнообразію вызываемыхъ имъ ощущеній; къ той же оцѣнкѣ ведетъ и положеніе автора, впрочемъ не развитое, что высшая цѣль искусства — создавать характеры, *individuer*. Въ противоположности съ лирикой — драматика: сюда относятся всѣ произведенія, въ которыхъ художникъ заставляетъ дѣйствовать, чувствовать, говорить другія лица. Такія произведенія извѣстны были «во всѣ эпохи» (?), рядомъ съ другими, гдѣ авторъ показывается и самъ, поясняя и обсуждая то, что дѣлаютъ его марionетки. Это — эпика; «логически» — это «смѣшанный родъ», *genre mixte*.

Отъ отвлеченно-эстетическихъ построеній Вернера, Valentin'a и | Лакомба, едва ли имѣющихъ обогатить практическую поэтику, 120—59 перейдемъ къ нѣкоторымъ работамъ, въ которыхъ поставлены были и обобщены вопросы поэтики исторической. Я имѣю въ виду Якововскаго и Летурнѣ.

Якововскій выступилъ въ защиту *Urlyrik*, подчеркивая ея субъективное содержаніе на почвѣ древняго ритмического синкретизма. Для него лирика — выраженіе, эмбріонъ зарождающагося субъективизма. Первобытный человѣкъ переживаетъ пріятныя и непріятныя ощущенія; одни изъ нихъ такъ и остаются непроизводительными, тогда какъ другія непосредственно переходятъ, какимъ то психо-химическимъ процессомъ, въ лирику, когда особенно спільный аффектъ выведетъ человѣка изъ состоянія душевной косности. Лирика является такимъ образомъ выраженіемъ ненормального состоянія сознанія; ея материалъ — пріятныя и непріятныя ощущенія; форма — звуки, междометія; если-бы

сравнительное языкоzнаніе поставило себѣ задачей изучить восклицанія, общія всѣмъ языкамъ, мы открыли бы въ нихъ слѣды первоначальной лирики. Эмоціональный моментъ восклицанія указываетъ на пѣніе, содержательный — оформленъ въ словѣ; отсюда положеніе, что поэзія (?), слово и пѣніе — три вѣтви, выросшія изъ одного корня. Поэзія упомянута раньше времени; пока мы на почвѣ восклицаній; ими достигается такой же катарзисъ пріятныхъ и непріятныхъ ощущеній, какъ движеніями сердца, дыхательного аппарата, мускуловъ на ходу, въ пляскѣ. Начала лирики въ связи съ пляской, съ пляской ритмическою. Авторъ останавливается на физіологическомъ значеніи ритма, симметріи, играющихъ роль и въ мірѣ животныхъ, гдѣ то и другое служитъ и пособіемъ, и приманкою въ пору случки. Ритмический характеръ первобытной лирики стоитъ въ связи съ ритмомъ сопровождавшихъ ее плясовыхъ движеній; повтореніе движеній вызывало и соответствующее повтореніе лирическихъ звуковъ, восклицаній: это зародышъ стиха; повтореніе одной и той же мысли, выраженной въ тѣхъ же однообразныхъ звукахъ — начало лирической пѣсни; удовольствіе, какое находили въ сложеніи одинаковыхъ звуковъ, поддерживалось другимъ, умѣньемъ воспроизводить уже сложившіеся, затверженные, въ чёмъ мы усмотрѣли выше начинающійся ростъ преданія.

Переходя къ сюжетамъ первобытной лирики, авторъ выдѣляетъ особо лирику основныхъ позывовъ: голода и любви, къ которымъ пристраивается лирика зрительныхъ и звуковыхъ впечатлѣній. Изъ послѣднихъ двухъ отдельовъ не придется ничего 60—121 извлечь: нельзя же | серьезно говорить, по поводу того и другого, о зарожденіи эстетического чувства природы (*Ursprung des Naturgeföhls*), когда рядомъ предполагается лирика аппетита. Что касается любви, основного мотива древнѣйшей поэзіи, по мнѣнію Шерера и Вернера, то эта категорія у мѣста лишь въ томъ случаѣ, если мы ограничимъ ее понятіемъ физіологической, обрядовой эротики. Уже не разъ этнографы замѣчали теоретикамъ поэзіи, что собственно любовная пѣсни не принадлежать

къ той порѣ развитія, которую имѣетъ ввиду авторъ: въ рамки его субъективизма и выражющей его *Urlyrik* не укладывается поэзія личного чувства.

Первобытная поэзія была чисто субъективною (*Urgroesie war reiner Subjektivismus*), повторяетъ онъ въ одной изъ послѣднихъ главъ, то-есть была одиноко-лирической, ибо публики — нѣть. Нѣчто подобное проскользнуло передъ нами и во взглядахъ Шерера и Вернера. Предполагается, что первобытный человѣкъ жилъ какъ то особью (у Якововскаго — въ домаѣ; это пещерный-то!) и могъ одиноко предаваться своимъ ощущеніямъ. Затѣмъ явилась первая публика — женщины; если пѣвецъ обращался къ ней, онъ уже былъ эпикомъ; если она ему отвѣчала, то выходилъ діалогъ, начало драмы.

Такъ легко устанавливается порядокъ эволюціи, если забыть, вмѣстѣ съ авторомъ, сообщенные имъ же факты и объективные выводы. Субъективная лирика кликовъ и воплей удовольствія или боли понятна, какъ физіологический субстратъ языка и поэзіи, но отсутствіе публики, то-есть себѣ подобныхъ, предполагаетъ историческія отношенія, мыслимыя развѣ въ отвлеченіи. Далѣе представленія групповыхъ особей мы въ исторіи человѣчества воззойти не можемъ; языкъ, поэзія, обрядъ (на обрядовую сторону древней поэзіи Якововскій не обратилъ вниманія) указываютъ на общеніе, «публику», и это сразу вводить настѣнь въ отношенія синкретизма, съ лирикой его возгласовъ, съ обрывками эпического сказа и ритмическими дѣйствіями. Здѣсь точка отправленія для дальнѣйшаго развитія.

Такъ понять этотъ вопросъ и въ компилиативномъ труде Летурнѣ: развитіе идетъ отъ драматическихъ игръ и забавъ (у первобытныхъ и древнихъ народовъ) къ неразвитымъ еще формамъ драмы, отъ которой мало по малу отдѣлилась лирика. Я не остановлюсь на разборѣ этой книги, лишенной самостоятельныхъ взглядовъ; Матовъ попытался соединить ихъ съ теоріей Якововскаго, отвѣчая на вопросъ: эпосъ ли древнѣйший родъ поэзіи? Отвѣтъ едва ли изъ удачныхъ. Поэзія, говорить авторъ, перво-

61—122 начально связана съ мимикой и танцами: | драматические начатки, проявлявшіеся въ глубокой древности въ играхъ и процессіяхъ. Изъ этой связи выработались и стали особо лирика и эпосъ, и когда развитіе коснулось мимики и музыки, стала возможенъ и новый организмъ — драмы. Это напоминаетъ ея опредѣленіе у Ж. П. Рихтера: эпический родъ лирическихъ моментовъ. Первою выдѣлилась лирика — и мы впадаемъ въ субъективную Urlyrik Якобовскаго съ моногаміей, какъ древнѣйшою формой брака: публики нѣтъ, жена — первая публика для лирика-мужа; отсюда, какъ у Якобовскаго, выходъ къ эпосу и драмѣ: «всякій разъ, какъ только жена отвѣчаетъ мужу не только мимикой, но и словами, лирическая поэзія дѣлаетъ шагъ къ эпосу и получаетъ въ то же время драматическую форму». Но вѣдь драматическая форма уже дана въ первобытномъ синкретизмѣ, изъ котораго выросла Urlyrik? И далѣе мы не выходимъ изъ противорѣчій: лирика сдѣлала шагъ къ эпосу и драматической формѣ, «но настоящая эпика развивается лишь тогда, когда изъ семейства образуются роды. Тогда не только чувство любви, но и другія чувства заставляютъ человѣка дѣлиться своими впечатлѣніями съ другими, а это вызываетъ подражаніе; такимъ, можетъ быть, смутнымъ желаніемъ звуками и движеніями произвести то же чувство, которое создало эти звуки и движенія у того, кто первый ихъ произнесъ, объясняются общественные хороводы и пѣсни у первобытныхъ народовъ». Стало быть, опять новообразованіе драматической формы, уже дважды явившейся на очереди развитія.

Матовъ несогласенъ съ «философами-археологами» (Миклошичъ), полагавшими, что «первоначальная поэзія была эпической, такъ какъ древнѣйшою формой общественной жизни былъ родъ (союзъ, задруга, кланъ и др.), и такимъ образомъ не было мѣста для индивидуальности, для лирической поэзіи». Опровержая это воззрѣніе, авторъ ломаетъ мечть и надѣль своимъ собственнымъ, усвоеннымъ отъ Якобовскаго. Послѣдній допускаетъ, «что до образования общества человѣкъ былъ самостоятельной единицей;

следовательно, индивидуальность была только во время периода неустройства, и только въ это время процвѣтала лирика. Но, можетъ быть, человѣкъ былъ стаднымъ общественнымъ животнымъ, — тогда куда же отнести первичную лирику?» И авторъ сразу переносить насъ отъ лирики прачеловѣка къ лирикѣ рода: «одно забывали въ такихъ разсужденіяхъ, продолжаетъ онъ: если исчезаетъ (?) личность въ задругѣ, родѣ, то все же остается нѣ-которое личное сознаніе, а послѣднее, въ болѣе сильныхъ (?) формахъ, и есть родовое, общее. Цѣлый родъ имѣеть одинаковые интересы, одну мораль, вѣру и чувства, и это лучшія условія для 123—62 лирическихъ произведеній, которыхъ создаются отдѣльными личностями, но воспроизводятся цѣлымъ родомъ и понятны каждому его члену. И Летурнѣ допускаетъ такой именно *lyrisme du clan...* Въ Греціи... существовали хороводныя пѣсни лирическаго характера, и только позднѣе развивается эпостъ. Какъ всѣ эстетическія игры и забавы австралійцевъ, такъ и пѣсни ихъ, соединенные съ хоромъ и мимикой, обнимаются цѣлымъ кланомъ, среди нихъ имѣются и лирическія (?). Папуасы, у которыхъ хоры являются для изображенія всякихъ важныхъ общественныхъ событий, какъ жатва, война и проч., сопровождаются хоромъ словами, которыхъ, хотя (?) ведутся въ діалогической формѣ между начальникомъ и родомъ, но, въ сущности, выражаютъ воинственное (то-есть лирическое ?) настроеніе рода и пр. Въ позднѣйшемъ периодѣ времени, когда явилась частная собственность, частные интересы..., когда образовались разные классы, разныя убѣжденія и проч., явилась другая лирика, главное содержаніе которой — любовь».

Кажется, самъ авторъ не пришелъ къ какой-либо ясной, генетической формулировкѣ своихъ воззрѣній. Его послѣдніе выводы всюду ставить вопросы: «необходимо признать, что только въ усовершенствованной формѣ драма — самый молодой родъ поэзіи, а въ формѣ начальной она могла явиться очень рано». Лирика по прежнему — главное содержаніе первичной поэзіи; «говорю — главное, потому что и эпическая творенія создавались

тогда, когда образовывались родъ и семейство, что видимъ изъ наблюдений (?). Позднѣе, вслѣдствіе долгаго промежутка времени и при извѣстныхъ (?) обстоятельствахъ, могъ возникнуть и создаться чистый (?) эпосъ, въ то время какъ чистый (?) лиризмъ свойственъ самой глубокой древности».

Мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ объ одномъ ученикѣ поэтики и одной новѣйшей попыткѣ основать ее на историческихъ данныхъ. Краткій обзоръ Боринскаго ставить лирику во главѣ развитія, не безъ неясностей: чистѣйшее выраженіе поэзіи въ лирикѣ, говорить онъ, въ лирикѣ, еще не окутанной внѣшнимъ, фактическимъ материаломъ эпоса и драмы; самъ поэтъ — герой своей пѣсни; это переносить въ первобытную поэзію понятіе современаго, старающагося отрѣшиться отъ окружающаго, индивидуализма. Даѣмъ мы узнаемъ о хоровой пѣснѣ (*Chorlied*), какъ объ явленіи уже болѣе поздняго порядка: хоровая пѣснь — это единеніе, сліяніе лирическихъ моментовъ (*die einheitliche Zusammenfassung einer lyrischen Mehrheit*), не сліяніе, | а первоначальный синкретизмъ эпическихъ и лирическихъ началъ. Этотъ-то сводный хоръ и разложился впослѣдствіи въ греческую и средневѣковую церковную драму; пора Renaissance выработала изъ нея оперу.

Въ недавно явившейся книгѣ Брухмана мы не найдемъ оправданія ея второго заглавія: *Poetik, Naturlehre der Dichtung* (1898). Исходною точкой является синкретизмъ пѣсни и пляски въ его древнихъ и новыхъ проявленіяхъ, но идея эволюціи намѣчена слабо, и указанія практической поэтики занимаютъ оставленное ею поле. Первымъ сказалось въ пѣснѣ чувство; «этую субъективную непосредственность мы называемъ лирическою»; не слѣдуетъ представлять себѣ эту первобытную пѣсню въ формахъ нашей любовной, предполагающей двойственность участвующихъ лицъ, либо въ видѣ соло съ поддержкой хорового припѣва; всякий былъ личнымъ творцемъ своей пѣсни, хотя пѣль не одинъ, а въ присутствіи другихъ. — Не трудно угадать поводы къ такому построенію: надо было спасти въ периодъ хоровой пѣсни субъекти-

визмъ лирики, при чмъ субъективизмъ смѣшивается съ единоличнымъ починомъ, творчествомъ пѣвца; но единоличность не есть непремѣнно субъективизмъ. Авторъ, впрочемъ, самъ противорѣчить себѣ въ другомъ мѣстѣ, противополагая эпическому пѣвцу, какъ выдѣлившемуся передъ лицомъ слушателей, древнѣйшую поэзію, которая пѣлась сообща. Такъ могли исполняться, по его мнѣнію, и лирико-эпическая пѣсни, напримѣръ причитанія, которыхъ предварили появленіе эпическихъ, вызванныя, вѣроятно, религіозною обязанностью поминать предковъ за трапезой, у очага и на могилахъ.

Что общаго говорится далѣе о поэтическихъ родахъ, принадлежитъ стилистикѣ: подобно Вернеру, Брухманъ предлагаетъ отличить лирику отъ другого жанра, распадающагося въ свою очередь на эпику и драматику; ибо всю поэзію можно раздѣлить, съ формальной точки зрењія, на драматическую и не-драматическую, скорѣе, діалогическую и не-діалогическую, съ смѣщеніями и сложными опредѣленіями въ родѣ слѣдующихъ: Манфредъ Байрона — рефлексія въ формахъ фантастической драмы, Королева Мебъ Шелли — эпосъ въ драматической формѣ и т. п. ¹⁾).

V.

| Предложенный разборъ нѣкоторыхъ выдающихся трудовъ, 125—64 посвященныхъ вопросамъ поэтики, выяснилъ положеніе дѣла: вопросъ о генезисѣ поэтическихъ родовъ остается по прежнему смутнымъ, отвѣты получились разнорѣчивые. Если далѣе я пытаюсь предложить свой отвѣтъ, то, разумѣется, подъ опасеніемъ прибавить одно гипотетическое построеніе къ другимъ. Я обойду періодъ восклицаній и безформенныхъ зародышей текста и начну съ болѣе развитыхъ формъ хорической поэзіи.

1) Уже во время печатанія этой статьи явилась поэтика Евг. Вольфа (*Eugen Wolf, Poetik*).

Представимъ себѣ организацію хора: запѣвало-солистъ, онъ въ центрѣ дѣйствія, ведетъ главную партію, руководить остальными исполнителями. Ему принадлежитъ пѣсня-сказъ, речитативъ, хоръ мимируетъ ея содержаніе молча, либо поддерживаетъ корифея повторяющимся лирическимъ припѣвомъ, вступаетъ съ нимъ въ діалогъ, какъ, напримѣръ, въ диѳирамбѣ Вакхиліда. Въ греческомъ диѳирамбѣ и пѣанѣ въ извѣстную пору его развитія, какъ и въ гимнѣ Гераклу Архилоха, пѣсню вчиналь и вель (*έξαρχειν*) корифей, участіе хора обозначается словомъ *έφουμιάζειν*.

Итакъ: пѣсня-речитативъ, мимическое дѣйство, припѣвъ и діалогъ; въ началахъ драмы мы найдемъ всѣ эти моменты, разнообразно выраженные, съ тою же руководящей ролью пѣвца-корифея. Мы видѣли, что австралійская пантомима сопровождалась пѣсней распорядителя-запѣвала, пояснявшую ея содержаніе; на Явѣ въ его рукахъ *libretto*, исполнители выражаютъ его суть жестами и движеніями. Средневѣковые люди представляли себѣ въ такихъ именно чертахъ исполненіе классической драмы: кто-нибудь одинъ, *recitator*, говорилъ діалогический текстъ за актеровъ, игравшихъ молча. Въ рукописяхъ Теренція встрѣчается такая картинка: въ небольшомъ домикѣ сидѣтъ *recitator* Калліопѣ, онъ высунулся изъ него съ книгой въ рукахъ, передъ нимъ скачутъ и жестикулируютъ четыре пестро-одѣтыхъ фигурки, въ маскахъ и остроконечныхъ шляпахъ, древнемъ *pileus*, унаследованномъ нашими потѣшниками и клоунами отъ древнихъ комиковъ. Отразилось ли въ такомъ представлѣніи драмы, какъ театры марionетокъ, память объ исполненіи трагедіи и пантомимы императорской поры, съ ихъ раздѣленіемъ слова и мимики, или это 65—126 представлѣніе поддержано было и народнымъ игровымъ | преданіемъ? На испанской народной сценѣ *un musico* поетъ романсь, и по мѣрѣ того, какъ онъ поетъ, соотвѣтствующія лица выходятъ на сцену, выражая жестами сюжетъ пѣсни.

Руководящая роль корифея удержалась и въ тѣхъ случаяхъ, когда хоръ участвовалъ въ игрѣ не только мимикой, но и словомъ.

Въ греческой драмѣ актеръ произносить иногда прологъ, въ индійской дирижеръ играетъ самъ, вводить на сцену актеровъ, является истолкователемъ дѣйствія, какъ и въ средневѣковой мистеріѣ есть evocator, объясняющій публикѣ, въ какихъ обстоятельствахъ и почему дѣйствующія лица будутъ держать тѣ или другія рѣчи.

Все это — выродившіяся и развитыя формы старыхъ хорошихъ отношеній; ими объясняются и слѣдующіе факты, въ которыхъ, къ сожалѣнію, не ясно распределеніе партій сказа и пѣсни. Въ Нормандіи пѣсня заодно поется, сказывается и пляшется: *danse, dire et chanter*; графъ *de Bourmont* наблюдалъ такой распорядокъ на одной свадьбѣ: молодые люди, пришедши изъ города, пѣли и жестикулировали, крестьяне пѣли, скрестивъ руки и закрывъ глаза; послѣ каждого припѣва они напередъ говорили, о чёмъ будутъ пѣть въ слѣдующемъ куплетѣ.

Позже формула: *danse, dire et chanter* устраниется другой: *dire et chanter, singen und sagen*. Она знакома старо-французскому и средневерхненѣмецкому, литературнымъ, не пѣсеннымъ эпосамъ, не отвѣчая ихъ изложенію. Либо это архаистическое выраженіе, уцѣлѣвшее изъ хоровой поры и отвѣчавшее древней смѣнѣ речитатива-сказа и припѣва, либо наслѣдіе единоличныхъ пѣвцовъ, которые сказывали и пѣли, захватывая порой и партію хора, *refrain*.

Когда партія солиста окрѣпла, и содержаніе или форма его речитативной пѣсни возбуждала сама по себѣ общее сочувствіе и интересъ, она могла выдѣляться изъ рамокъ обрядового или необрядового хора, въ которомъ сложилась, и исполняться вѣнчего. Пѣвецъ выступаетъ самостоительно, поетъ и сказываетъ и дѣйствуетъ. Въ разсказѣ Санть-Галленского монаха лонгобардскій жонглёръ поетъ сложенную имъ пѣсню и вмѣстѣ съ тѣмъ исполняетъ ее орхестически (*se rotando*) въ присутствіи Карла Великаго. Можетъ быть, мы въ правѣ предположить въ данномъ случаѣ не народный типъ, выродившійся изъ хорового обихода, а типъ захожаго фигляра, мима; позднѣйшіе жонглёры соеди-

няли пѣсню и мимическую пляску еще и съ профессіей фокусника, вожака медвѣдя и т. п. Но мы видѣли подобное же соединеніе на другой почвѣ рядомъ съ практикой хорового начала: такъ 66—127 сказы¹ваютъ и поютъ и дѣйствуютъ единолично индійскіе пѣвцы и носильщики въ Занзибарѣ. У армянъ *tzoutzg* (*stoustg*) означало мимическую пляску на какую-нибудь историческую или міѳологическую тему, подъ звуки хоровой пѣсни, по у нихъ былъ и пѣвецъ-актеръ, *goussan* (отличный отъ *ergist'a*: пѣвца, музыканта), представлявшій такие же сюжеты, подпѣвая и подыгравая себѣ. Такого единоличнаго пѣвца-актера, изображавшаго типы и разыгравшаго діалогическія сценки, знали и средніе вѣка: это *recitator* у *Galfredus de Vino salvo, contrafazen, remendor* провансальцевъ; не иное означаетъ, быть можетъ, и староверхненѣм. глосса: *einwigi: singulare certamen* — и *spectaculum* = *spil*. Отсюда развился литературный жанръ драматического монолога: практика и поэтика индійскаго театра оформила его подъ названиемъ *bhâna*; для среднихъ вѣковъ типомъ можетъ служить *le Dit de l'herberie Rustebuef'a* (XIII вѣка) и *Le franc archer de Bagnolet*.

Въ подробностяхъ такой личный сказъ-пѣсня могъ разнообразиться. Сказывали — пѣли и подыгрывали сами себѣ; въ такихъ случаяхъ пѣвецъ сначала пѣлъ строфу, затѣмъ повторялъ ея мелодію на инструментѣ. Такъ до сихъ порь поютъ итальянскіе народные пѣвцы, такъ пѣли, вѣроятно, и средневѣковыя эпическія пѣсни. Бретонскіе и уэльскіе *lais*, въ сущности, мелодіи, исполнявшіяся на *rote'*, слова служили какъ бы объяснительнымъ къ нимъ текстомъ; и теперь еще въ Уэльсѣ мелодію играютъ на арфѣ, и пѣвецъ импровизуетъ текстъ на музыкальную тему. Либо сказъ и аккомпанементъ распределены между разными лицами: сказывали французскія *Chansons de geste*, и кто-нибудь подыгрывалъ на *symphonie*; жонглёръ подыгрывалъ трубадуру; то-же было во Франціи и Германіи. При такомъ исполненіи получалась большая свобода для мимическаго дѣйства; въ жонглёрскомъ репертуарѣ такое распределеніе могло быть обычно: такъ

дѣйствуютъ и наши скоморохи; у Понтана (въ его діалогѣ *Antonius*) является *histrio personatus* и вмѣстѣ съ нимъ пѣвецъ, кото-
рого онъ перебиваетъ своими шутками; когда грузинскіе местныре
ходяты вдвоемъ, одинъ изъ нихъ играеть на гудѣ (родъ волынки),
другой поетъ о подвигахъ своихъ соотчичей, о минувшихъ бѣд-
ствіяхъ страны, разсказываетъ легенды, славить природу своей
Карталиніи, импровизуетъ привѣтствія слушателямъ, порой пля-
шеть и паясничаетъ и падаетъ въ грязь имъ на потѣху. Гречес-
кіе гилароды (= симоды) и магоды (= лизіоды) принадлежать
къ тому же типу: кто-нибудь подыгрывалъ, гилародъ, въ торже-
ственной бѣлой одеждѣ, съ золотымъ | вѣнкомъ на головѣ, исполн- 67—128
няль орхестически сцены серьезно-балладнаго содержанія (*παρὰ τὴν τραγῳδίαν*), магодъ выступалъ въ женскомъ костюмѣ, и сценки
его—бытовыя (*παρὰ τὴν κωμῳδίαν*): онъ мимиравалъ невѣрныхъ
женъ, сводень, человѣка навеселъ, пришедшаго на свиданіе съ
свою милою (Athen. XIX, 620—621). О Ливіи Андроникѣ, ро-
донаачальнице римской литературной драмы, говорять, что въ
началѣ онъ самъ пѣлъ и мимиравалъ дѣйство, но, потерявъ го-
лость, раздѣлилъ роли, предоставивъ себѣ лишь молчаливую игру.

До сихъ поръ дѣло шло о выдѣленіи одного пѣвца, уносив-
шаго съ собою речитативъ и вмѣстѣ съ нимъ преданіе хора: *dire et chanter*. Но мы предположили выше, что выдѣлялись порой и
два пѣвца, что диХорія создавала амебейность, антифонизмъ, до
сихъ поръ дающій формы народной лирической пѣснѣ. Амебейное
начало обняло и гимническіе агоны, и шуточныя пренія, и обмынь
загадокъ и діалогическія сценки ¹⁾). Вспомнимъ миѳы о состязанії
Аполлона и музъ съ тѣмъ или другимъ пѣвцомъ (отразившиѳ,
какъ полагаютъ, замѣну одного музыкальнаго лада другимъ), по-
тѣшныя препирательства скомороховъ у Горация (Sat. I, 5, v. 51),
жанръ идилліи и эклоги, агоны греческой комедіи, парное вы-
ступленіе комическихъ типовъ въ эпизодахъ у Плавта и въ
итальянской народной шуткѣ; второго актера (*stupidus*) при глав-

1) См. выше стр. 22.

номъ въ исполненіи римскихъ мимовъ, пренія пастуховъ въ старо-французской мистеріи, нѣмецкое Kranzingen и т. п. Въ амебей-
ный репертуаръ входили и эпические сюжеты: въ чередованіи пѣвцовъ, воспринимавшихъ одинъ другого, могъ развиваться одинъ и тотъ же пѣсенныи сюжетъ¹⁾. Два варварскихъ пѣвца, прославлявшихъ передъ лицомъ Аттилы его побѣды и доблести, разсказать Vidsid'a о томъ, какъ онъ пѣль вдвоемъ съ своимъ товарищемъ Scilling'омъ, ничего не говоря о характерѣ ихъ исполненія; на нѣкоторыя соображенія наводить діалогизмъ въ эпическихъ произведеніяхъ нѣмецкихъ шильмановъ; но есть факты, свидѣтельствующіе, что амебейный способъ исполненія эпическихъ пѣсенъ существовалъ и еще существуетъ въ народной практикѣ. Къ примѣрамъ, приведеннымъ мною при другомъ случаѣ присоединю и слѣдующіе. Якутскія былины — олонго пѣлись встарь пѣсолькими лицами: одинъ браль на себя разсказать (ходъ дѣйствія, описание мѣстности и т. д.: libretto), другой роль доброго богатыря, третій его соперника, остальные пѣли партіи отца, 68—129 жены, | шамановъ, духовъ, и т. п. Теперь чаще случается, что одинъ пѣвецъ исполняетъ всѣ партіи. — Я напомнилъ при другомъ случаѣ²⁾ индійскую легенду о Kuça и Lava, близнецахъ, сыновьяхъ Ситы и Рамы, ученикахъ Вальмики, которымъ онъ передалъ свою поэму, дабы они пѣли ее вдвоемъ. Kuçilava — про-
фессиональный пѣвецъ, рапсодъ, актеръ; bharata, изъ рода Bhara-ta'овъ, соединяетъ ту и другую профессію. Тѣ и другіе ходили партіями, Kuçilava'ы пѣли про дѣянія Рамы, сыновья котораго были покровителями ихъ корпораціи, bharata'ы — о приключе-
ніяхъ Пандавовъ. Сказывая, они распредѣляли между собою роли, отличали ихъ костюмами и особыми примѣтами; стало быть, сказывали амебейно, антифонически въ связи эпопеи. Текстъ Magabharata указываетъ на такое изложеніе: нѣть стиховъ, вѣнчанимъ образомъ связывающихъ одну рѣчь съ слѣдующимъ отвѣ-

1) См. мои Эпическая повторенія I. с. стр. 278—9, 296 слѣд.

2) Эпическая повторенія I. с.

томъ, а вѣ мѣтра чередуются указанія: такой-то, такая-то сказали. Не намекаетъ-ли такой распорядокъ на древность антифонизма, какъ принципа эпического изложенія? Такъ могли скрываться нѣкоторыя діалогическая пѣсни Эдды. Замѣчу кстати, что на одномъ барельефѣ въ Sanchi изображены kathakas, пѣвцы, во время исполненія ими поэмы: у нихъ въ рукахъ музыкальные инструменты, они движутся и принимаютъ позы. Сцена при дворѣ султана Махмуда свидѣтельствуетъ, что этотъ ансамблъ уже разложился: Фирдуси читаетъ свое произведеніе, и чтеніе сопровождается музыкой и танцами.

Я рискну поставить вопросъ: не упорядочилъ ли Солонъ или Гиппархъ лишь старый пріемъ сказа, когда обязалъ рапсодовъ эпоса такъ излагать гомеровскія поэмы ($\epsilon\acute{\epsilon}\ \bar{\nu}\pi\bar{o}\beta\bar{o}\lambda\bar{h}\zeta$, $\epsilon\acute{\epsilon}\ \bar{\nu}\pi\bar{o}\lambda\bar{h}\bar{\psi}\omega\zeta$), чтобы одинъ продолжалъ, гдѣ останавливался другой (Diog. Laert. I, 57, Ps. Plat. Hipp. 228 b)? Въ такомъ случаѣ это было бы не нововведеніе, а возстановленіе нарушенагося, быть можетъ, обычая.

Въ чередованіи пѣвцовъ отдѣльныя пѣсни свивались ($\phi\acute{\alpha}\pi-\tau\epsilon\sigma\theta\alpha$) въ цѣлое, $\sigma\acute{\iota}\mu\eta$, въ полные ряды ($\sigma\acute{\iota}\mu\sigma\varsigma$) пѣсень, сплетенныхъ другъ съ другомъ ($\sigma\chi\omega\nu\tau\epsilon\nu\eta\varsigma$ о пѣснѣ). Легенда о состязаніи Гомера и Гезіода, относящаяся ко времени императора Адріана, напоминаетъ пренія загадками и правилами житейской мудрости, какія до сихъ поръ въ ходу, напримѣръ, на Кипрѣ и въ Германіи, отразилась въ пѣсняхъ и сказкахъ и въ діалогахъ стихотворной Эдды; но есть въ этомъ памятникъ и эпическая часть, только сведенная къ игрѣ остроумія, къ находчивости, съ которою пѣвецъ доказываетъ фразу или | положеніе, недоска- 130—69 заннѣя въ стихѣ соперника. Что всего лучше ($\phi\acute{\epsilon}\rho\tau\chi\tau\varsigma\varsigma$, $\kappa\acute{\alpha}\lambda-\lambda\iota\sigma\tau\varsigma$) смертнымъ? — спрашиваетъ Гезіодъ; не родиться, а родившиесь, скорѣе перейти врата Аїда, отвѣчаетъ на первый разъ Гомеръ; во второй: лучшее — сознаніе мѣры ($\mu\acute{e}\tau\tau\varsigma\varsigma\ \epsilon\acute{i}\nu\alpha!$ — $\alpha\acute{u}\tau\varsigma\acute{u}$ $\acute{e}\alpha\mu\tau\varsigma$). Спой мнѣ не о томъ, что было, есть или будетъ, а о чѣмъ-нибудь другомъ ($\ddot{\alpha}\lambda\lambda\eta\varsigma\ \mu\eta\eta\sigma\alpha\ \dot{\alpha}\omega\delta\eta\varsigma$). — Никогда звонко бѣгущіе кони не будутъ разбивать колесницъ у гробницы Зевса, состя-

заясь о побѣдѣ (гробницу Зевса предполагали на Критѣ; пѣвецъ въ это не вѣрить). Изъ эпической части иренія выбираю нѣсколько примѣровъ: (Гезіодъ) Взявъ въ руки стрѣлы противъ пагубнаго рода гигантовъ, (Гомеръ) Ираклъ снялъ съ плечь изогнутый лукъ; (Гезіодъ) Совершивъ трапезу, они въ черномъ пеплѣ собрали бѣлыя кости Діева умершаго (Гомеръ) сына, отважнаго Сарпедона, богоравнаго и т. п.

Въ такой амебейности, въ подхватываніи, обратившейся теперь въ игру, но когда-то служившей и новообразованію эпической *сїмї*, въ діалогическомъ моментѣ я искалъ объясненіе нѣкоторыхъ явлений эпической стилистики. Пѣли попарно, смѣняя другъ друга, подхватывая стихъ или стихи, вступая въ положеніе, о которомъ уже пѣлъ товарищъ, и развивая его далѣе. Пѣсня слагалась въ чередованіи строфъ, разнообразно дополнявшихъ другъ друга, съ повтореніемъ стиховъ и группъ стиховъ, которые и становились исходнымъ пунктомъ новыхъ вариацій. Либо могли чередоваться такимъ же образомъ партіи прозаического сказа и стиха, унаслѣдованныя изъ хоровой двойственности речитатива и припѣва, переживаниемъ которой и является сходное чередованіе въ обиходѣ французской свадьбы. Слѣды первого исполненія я склоненъ приписать тѣмъ древнимъ пѣснямъ, манера которыхъ сохранилась въ пріемахъ и изложеніи старо-французскихъ *Chansons de geste*, съ ихъ строфичностью и рядами *couplets similaires*; слѣды второго — въ нѣсколько загадочномъ *Aucassin et Nicolette*, съ перебоемъ прозаическихъ и стихотворныхъ партій, то вступающихъ другъ въ друга, то послѣдовательно развивающихъ нить дѣйствія. Я называлъ этотъ памятникъ загадочнымъ: его текстъ пѣлся и сказывался, какъ явствуетъ изъ надписаній, не уясняющихъ вопроса: дѣялось ли это однимъ лицомъ (*or se cante*), или двумя, или нѣсколькими: *or dient et cantent et fablent*. Послѣднее выраженіе можно понять, какъ обобщеніе: такъ сказываютъ, поютъ (когда поютъ) пѣвицы, жонглёры вообще.

Если строфичность и захватывающія, непосредственныя по-

вторенія однихъ и тѣхъ же стиховъ и положеній указываютъ на амебей|ное, многоголосное исполненіе, то пѣсня единоличнаго 131—70 пѣвца — развитіе хорового речитатива — должна обойтись безъ захватовъ такого рода, и ея бродячія повторенія-формулы принадлежать къ явленіямъ болѣе поздняго порядка, къ установленнѣмъ въ пѣсенной практикѣ общимъ мѣстамъ эпического стиля¹⁾). Сравните какой-нибудь эпизодъ пѣсни о Роландѣ съ связнымъ, словоохотливо-ширящимся изложеніемъ, напримѣръ, русскихъ и сербскихъ былевыхъ пѣсень, и разница бросится въ глаза. Я не рѣшусь отнести ее всецѣло къ различію первоначальнаго исполненія, не отнесу лишь потому, что сравниваемые факты раздѣлены временемъ, одни мы вычитываемъ изъ большихъ поэмъ, другіе явились въ позднихъ записяхъ, и ихъ стиль могъ испытать рядъ формальныхъ измѣненій.

Гомерическія поэмы не строфичны; строфичны нѣкоторыя пѣсни стихотворной Эдды, приписанныя старымъ народнымъ сказателямъ, *þulir*; между тѣмъ *þula*, означавшее родъ арфы, употребляется теперь въ значеніи пѣсни, ряда стиховъ безъ строфического дѣленія; *lesa i þulu ok bulu* — читать, сказывать подъ арфу (употребляется о риѳмованныхъ и аллитерационныхъ формулахъ); *þylja* — сказывать, читать, пѣть подрядъ, безъ интонаціи; пѣть — шептать, какъ произносятся заговоры, молитвы.

VI.

Мы снова пришли къ вопросу, уже затронутому нами выше²⁾: 223—70 обѣ обособленіи отдельныхъ пѣсень изъ воспитавшей ихъ хоровой. На этотъ разъ я имѣю въ виду *форму, стиль* тѣхъ пѣсень, которая, за неимѣніемъ болѣе подходящаго названія, принято называть *лирико-эпическими*. Въ общихъ чертахъ опре-

1) Ср. I. с., стр. 272.

2) См. выше стр. 48.

дѣленія всѣ согласны: повѣствовательный мотивъ, но въ лирическомъ, эмоціональномъ освѣщеніи. Сюда относятъ древне-греческие номы и гимны, тѣ и другіе вышедшіе изъ хорового исполненія къ единоличному; но сохранившіеся отрывки и образцы слишкомъ немногочисленны и уже испытали личную, литературную обработку, почему и не показательны въ нашемъ вопросѣ. Въ ту же категорію помѣщаются и сѣверные баллады и старофранцузскія *chansons de toile, chansons d'histoire*; говорить и о лирико-эпическомъ характерѣ Калевалы. Все дѣло въ томъ, какъ понимать, какъ формулировать лирическій элементъ этихъ пѣсень, 71—223 и | чѣмъ первоначально онъ выразился. Знакомый намъ составъ хорической поэзіи и типы современной балладной пѣсни позволяютъ отвѣтить на это теоретически. Эпическая часть—это канва дѣйствія, лирическое впечатлѣніе производятъ то тормозящіе, то ускоряющіе его захваты, возвращеніе къ тѣмъ же положеніямъ, повтореніе стиховъ (какъ у Тиртея Bergk, II, № 10: ἐπὶ 71—224 προμάχοις πεσόντα, μετὰ προμάχοις πεσόντα, ἐν προμάχοις πέσων). Refrain хора также переселился въ лирико-эпическую пѣсню, какъ ритурнель, какъ настраивающій эмоціональный возгласъ; рефрень хорового пэана: ἵη παιάν—остался за народными монодическими. Для той поры зарожденія, какую мы себѣ представляемъ, пѣть еще унаследованного традиціей стиля, нѣть эпического схематизма, нѣть типическихъ положеній, которыхъ позднѣйшая эпика будетъ вносить въ изображеніе любого события, геронизма и т. п. Пѣсня ведется нервно, не въ покойной связи, а въ перебоѣ эпизодовъ, съ діалогомъ и обращеніями и перечнемъ подвиговъ, если ихъ подсказываетъ сюжетъ. Абиссинская заплачка, приведенная выше¹⁾, можетъ послужить къ характеристикѣ лирико-эпического стиля, какъ я его понимаю. Не лишнее будетъ привести еще нѣсколько образцовъ. Вотъ, напримѣръ, пѣсня (военная или похоронная) сѣверо-американскихъ

1) См. выше стр. 42—43.

индійцевъ: пѣсня о пораженіи и надеждахъ, что новое поколѣніе подрастетъ и выступитъ на смыну побѣжденныхъ.

«Въ тотъ день, когда наши воины полегли, полегли,— Я бился рядомъ съ ними и, прежде, чѣмъ палъ,— Чаяль отмстить врагу, врагу!

«Въ тотъ день, когда наши вожди были сражены, сражены,— Я бился лицомъ къ лицу во главѣ моей дружины,— И моя грудь истекла кровью, кровью!

«Наши вожди болѣе не вернутся, не вернутся,— А ихъ братья по оружію, которые не могутъ показать рану за рану,— Словно женщины, будутъ оплакивать свою судьбу, свою судьбу!

«Пять зимъ на охотѣ мы проживемъ, проживемъ,— Тогда снова поведемъ въ битву нашихъ юношь, когда они станутъ мужами,— И кончимъ жизнь, какъ наши отцы, какъ наши отцы!»

Въ Суданѣ подобныя пѣсни входятъ въ репертуаръ народныхъ рапсодовъ, гріотовъ, ими и слагаются. Храбрость Суны возбудила зависть другихъ вождей, и они отдалались отъ него, предательски пустивъ ему въ спину пулю — во время битвы. Вотъ какъ объ этомъ поется:

| «Ты правъ, Суна, ты правъ, сынъ Kôdaré Dialo! Всякій 224—72 разъ, когда дѣло заходило о войнѣ, тебя надо было призывать, потому что ты всегда сражалъ воиновъ и выбивалъ изъ сѣда всадниковъ, гдѣ только бывала стычка.

«Ходили на Guingéléni; всѣ Peulh'ы обратились въ бѣгство, 225—72 не бѣжалъ одинъ Суна.

«Ходили на Таматугу, Суна не бѣжалъ.

«Ходили на Diassakouloumo, Суна и т. д.

«Ходили на Diaramana, Суна и т. д.

«Въ воскресенье ты бился при Сиблѣ, въ субботу въ бою при Sansandig; всюду ты проявилъ свою храбрость. Ты былъ при Oroguita'ѣ, въ бою при Boumoundo: оба дѣла покрыли тебя славой.

«Съ копьемъ въ рукахъ Суна мчался по долинѣ, выбилъ изъ сѣда всадника на рыжемъ конѣ. Четыре всадника напали на

деревню Kémédaly, Суна погнался за ними, троихъ взяль въ плѣнь; одинъ изъ нихъ былъ на гнѣдомъ конѣ, другой на бѣлогомъ.

«На войнѣ Суна никогда не убиваетъ врага, не обезоруживъ его. Храбрость Суны такъ возбудила зависть Peulh'овъ, что они стали пріискивать средство, какъ бы его извести.

«Мы нападемъ на деревню Ouro, говорять они, онъ одинъ проникнетъ туда, куда никто изъ насъ не рѣшился пойти. Найдется ли храбрецъ, который взялся бы выстrelить по немъ? А когда его убьютъ, мы скажемъ, что убить онъ пулями враговъ.

«Взялся исполнить это подлое дѣло нѣкій человѣкъ, по имени Oumagou; нѣкій mabé (= гріотъ, пѣвецъ) узналъ о ковахъ, которыя готовили его господину.

«Сказалъ онъ ему: Не ходи съ войскомъ, что готово выступить; твои соперники полны зависти къ тебѣ. — Mabé Guéladio, отвѣчалъ Суна, всѣ пельскія дѣвушки и въ деревнѣ любятъ меня и были бы огорчены, еслибы я не пошелъ, стали бы говорить, что не пошелъ я изъ страха. Пусть лучше узнаютъ, что я убитъ, чѣмъ провѣдають, что я не послѣдовалъ за войскомъ.

«Заплакаль Mabé Guéladio и запѣль: Выходите, деревенскія дѣвушки, поглядѣть на Суну; онъ ёдетъ на войну и не вернется; выходите, деревенскія дѣвушки, поглядѣть на Суну; его убьютъ.

«Онъ отправился въ Ouro, гдѣ его убили.

«Когда отрядъ вернулся въ Kémédaly, Mabé Guéladio, пла-
73—225 кавшій по своемъ господинѣ, сказалъ: Говорилъ я вамъ, жен-
щины Kala'ы, что Суна не вернется; онъ не вернулся, убить
пулей завистниковъ. Сынъ Dougaba'ы, тебя убили, но ты ни-
когда не зналъ позора».

73—226 Невольно вспоминается страхъ передъ male chanson въ пѣснѣ о Роландѣ, страхъ передъ тѣмъ, что скажутъ и о чёмъ станутъ пѣть. Вмѣстѣ съ чувствомъ воинской чести развивается и обще-
ственная сила пѣсни.

Слѣдующая, записанная въ той же области, вводить насъ въ кругъ бытовыхъ, балладныхъ. Поется ли она хоромъ, или напоминаніе о хорѣ въ началѣ и концѣ принадлежитъ къ внешнимъ мотивамъ, оставшимся отъ хорового преданія? Пѣсня начинается запѣвомъ, въ которомъ говорится объ охотѣ на птицъ, очевидно, въ связи съ темой дальнѣйшаго рассказа, но за запѣвомъ слѣдуетъ еще эпизодъ съ изреченіями общаго характера, безъ всякаго, повидимому, отношенія къ цѣлому.

«Diah! Птички! Diambéré, бородатый человѣкъ, дай намъ поохотиться на птицъ! Пусть всѣ запоютъ хоромъ: Diah! Diah! Diah! птички! Diah!

«Дозволь намъ любить птичекъ, человѣкъ въ блестящей, свѣтло-синей одеждѣ, съ шелковыми нарукавниками, съ французскимъ двуствольнымъ ружьемъ! Вѣдь тѣ люди, что пляшутъ пѣсню Kono, разрушили Djingo, тѣ, что пляшутъ пѣсню Kono, разрушили Солибу. — Diambéré, бородатый человѣкъ! Дай намъ поохотиться на птицъ! Пусть всѣ запоютъ хоромъ: Diah! Diah! Diah! птички! Diah!

«Вы, властители Manassi, Dissé (и др.)! Война даетъ власть, война ея и лишаетъ; война доставила вамъ отческій кровъ, вамъ, потомкамъ Massa'ы, война его и лишила: побѣдоносное войско вѣдь не знаетъ силы побѣжденного. Вѣдомо вамъ, родъ Massa'ы и Moriba'ы, что міръ стоить не съ нынѣшняго дня; довѣряться своимъ противникамъ то же, что полагаться на воды высоко вздувшейся рѣки. Неблагоразумно довѣряться врагамъ.

«Внучка Alahi вышла изъ своего жилья въ отцовскій огородъ, чтобы отгонять птицъ, поѣдавшихъ просо; а молодого человѣка, на котораго она положила всѣ свои надежды, обуяла любовь, и захотѣлось ему побывать вдвоемъ съ милой. Пошелъ онъ въ огородъ, который отецъ поручилъ ей сторожить день-деньской. Была у царевны служанка изъ плѣнницъ и гротка (изъ сословія гріотовъ); не хотѣлось царевнѣ, чтобы они довѣдались о ея отношеніяхъ. Когда, бывало, солнце стояло въ полуднѣ, она говорила гротку: Пойди, пройдись въ ту сторону огорода; а плѣнницѣ:

Прогуляйся во другую. Когда онъ удалялись, царевна подавала
74—226 своему милому знакъ: Diah! | Diah! Diah! птички! Diah! Юный
воинъ въ наручникахъ, всадникъ, на бѣломъ арабскомъ конѣ,
тебѣ я говорю! Зачѣмъ оставляешь ты меня одну отгонять птицъ?
74—227 Юноша въ полотняныхъ шароварахъ, развѣ не слышалъ ты, что
о насть говорятъ: говорять, что два свободныхъ человѣка всту-
пили въ постыдную связь? Придется покориться, извѣдать срамъ.
Вчера родители позвали меня, велѣли объявить имя того, отъ
кого я понесла; я не хотѣла сказать; они грозились убить меня,
коли я не открою виновника, я отвѣтила, что они вольны меня
убить, но что имени я никогда не произнесу. Если я стою на
отказѣ, то потому, что правдивые мужчины теперь въ рѣдкость,
и я неувѣрена, не сталъ ли бы ты отрицаться, еслиъ я назвала
тебя. Коли это покроетъ тебя стыдомъ, то лучше мнѣ взять на
себя грѣхъ, ибо свободный мужчина не долженъ испытать стыдъ,
который перенесеть женщина. Я беру на себя тяжесть всего,
что произошло; женщина можетъ сказать только: я убита, но
никогда: я посрамлена. Среди всего населенія Kaarta говорю:
Diah! другъ мой, я опечалилась бы, еслиъ увидѣла тебя покры-
таго безчестiemъ. Diah! Kono! Diah! Diah! Пусть всѣ споютъ хо-
ромъ: Diah! Diah! Diah! Kono Diah!»

Таковъ могъ быть, въ своей свободной разбросанности, складъ
эпико-лирической пѣсни, когда она вышла впервые изъ хоровой
связи. Позже эта разбросанность придетъ въ извѣстный порядокъ,
образуется балладный стиль, съ чередующимися припѣвами
или безъ нихъ, съ затачками эпического схематизма, съ любовью
къ троичности и т. д., какъ, напримѣръ, въ слѣдующей новогре-
ческой пѣснѣ:

«Тамъ на берегу моря, тамъ на побережье, мыли бѣлье хиот-
скія дѣвушки, мыли поповскія дочки; мыли и рѣзвились и играли
на пескѣ. Проходила каравела, недавно снаряженная. Подулъ
сѣверякъ, подулъ вѣтеръ съ полночи, поднялъ у нея (у дѣвушки)
серебромъ шитую юбку; выглянула ея серебряная ножка, засіяли
оттого и море, и все побережье. — Пойдемъ-ка, дѣтки, пойдемъ,

палликары, заберемъ что тамъ свѣтится впереди. Коли золото то будетъ, наше сообща будетъ, коли желѣзо, пригодится на кара-
велу, коли дѣвушка, — достанется нашему капитану. — По волѣ
Божіей и Пресвятой Богородицы то была дѣвушка, капитану она
и досталась».

Болѣе полное развитіе схематизма представляютъ финскія
эпико-лирическія пѣсни, многія изъ которыхъ вошли въ иску-
стственный сводъ Калевалы. Это — обрядовыя руны, раздающіяся
на свадьбѣ, заплачки, руны-заклятія, магическія. Пѣсня исходила
изъ обряда въ | почти готовыхъ эпическихъ формахъ; я имѣю 227—75
главнымъ образомъ въ виду выдѣленіе пѣсенъ миѳологическаго
содержанія. О строеніи заговора мнѣ не разъ приходилось гово-
рить: его эпическая часть вліяетъ на демоническія силы природы 228—75
разсказомъ объ ихъ дѣяніяхъ, либо захаръ достигаетъ того же
путемъ насилия, проявленіемъ вѣщаго знанія: онъ властенъ надъ
тѣми силами, знаетъ слово, сущность вещей. Въ быту, проникну-
томъ идеями рода, знаніе выражалось часто въ формахъ генеа-
логіи: откуда что попло? На это отвѣтили многочисленныя lе-
gendes des origines — одинъ изъ мотивовъ эпической части закли-
нанія: заклинаютъ желѣзо, огонь, медвѣдя и т. д. и рассказы-
ваютъ о его происхожденіи. Руна о Сампо, символъ аграрнаго
благоденствія, пѣлась при посѣѣ и пахотѣ: сказывали о томъ,
какъ создалось это чудо, и какъ его раздобыли. Выше мы видѣли
русскую мимическую игру — пѣсню о вареніи и дѣйствіи пива¹⁾,
финская руна поетъ о его изобрѣтеніи:

Хмель родился отъ гуляки,
Малымъ быль онъ брошенъ въ землю,
Малымъ въ почву быль положенъ,
Какъ змѣя онъ брошенъ въ землю
На краю ручья Калевы,
На краю поляны Осмо;
Тамъ подросъ младой отростокъ,
Поднялся зеленый прутикъ,
Потянулся по деревьямъ,
Поспѣшилъ къ вершинѣ прямо.

1) См. выше стр. 34.

А ячмень посыпалъ старецъ,
Старецъ счастья въ полѣ Осмо;
Хорошо ячмень родился,
Въ вышину прекрасно выростъ
На концѣ поляны Осмо,
На поляхъ сыновъ Калевы.

Мало времени проходить,
Зажужжалъ тамъ хмель въ деревьяхъ,
Говорилъ ячмень на полѣ
И вода въ ручье Калевы:
«Такъ когда же мы сойдемся
И пойдемъ одинъ къ другому?
Въ одиночествѣ намъ скучно,
Двумъ, троимъ жить вмѣстѣ лучше».

Тогда Осматарь береть шесть зёренъ ячменя, семь концовъ
у хмеля, восемь ложекъ воды, ставить все это въ котлѣ на огонь;
76—229 но | ея пиво не бродить. И вотъ, взявъ въ руки щенку и поте-
ревъ ее о верхнюю часть бедра, она создаетъ векшу и говорить ей:

Векша, золото въ высотахъ,
Цвѣть холмовъ, земли веселье!
Побѣги, куда пошли я.

Она посыпаетъ ее достать сосновыхъ игль, тонкихъ ниточекъ
еловыхъ; положила ихъ въ пиво, но оно не поднялось; кунница,
созданная изъ лучинки, принесла дрожжей изъ медвѣжьей бер-
логи, пѣны, что льется изъ медвѣжьей пасти, и опять не забро-
дило пиво, пока третью созданіе Осматарь, пчелка, сотворенная
ею изъ стручечка, не прилетѣла къ ней съ медомъ. Какъ поло-
жили его въ ушатъ,

Пиво пѣнится до ручекъ,
Черезъ край оно стекаетъ,
Убѣжать на землю хочетъ
И упасть стремится на полѣ.

Это уже почти традиціонный эпический стиль, медленно те-
кущий въ ряду тавтологій, систематизирующій (сл. троичность:
хмель, ячмень, вода; сосновыя иглы, дрожжи, медъ), любовно
останавливающійся на всякой подробности. Такъ и въ слѣдую-

щемъ заговорѣ-рунѣ «отъ колотья»: Вырось дубъ такой высокій, что его вѣтви затемняли солнце и луну, запирая въ небѣ путь облакамъ. Никто не въ силахъ свалить его; тогда изъ моря вышелъ карликъ, съ топоромъ на плечѣ, съ каменнымъ шлемомъ на головѣ, въ каменныхъ башмакахъ. По третьему удару онъ свалилъ дубъ; вершиной къ востоку, корнемъ къ западу, онъ лежалъ вѣковѣчнымъ мостомъ, ведущимъ въ мрачную Похйолу. Щепки, что упали въ море, вѣтеръ отнесъ въ незнаемую страну, гдѣ живетъ злой духъ Hiisi; его песь схватилъ ихъ своими желѣзными зубами и отнесъ къ дѣвѣ Hiisi. Посмотрѣла она на нихъ и сказала: Изъ нихъ можно что-нибудь подѣлать; если отдать ихъ кузнецу, онъ сработаетъ изъ нихъ плугъ. Слышалъ это злой духъ, понесъ ихъ къ ковачу, велить надѣлать изъ нихъ стрѣль, чтобы колоть людей, и копей, украсилъ ихъ перьями; а чѣмъ ихъ прикрошить? Волосами дѣвы Hiisi; какъ закалилъ? Змѣинымъ ядомъ. Сталь онъ пытать ихъ на свое мѣсто лукѣ: первая стрѣла полетѣла къ небу, такъ высоко, что потерялась; другая въ землю, такъ глубоко, что ея нельзя было доискаться; пустилъ онъ третью, и она пролетѣла сквозь землю и воды, горы и лѣса, задѣла камни и угодила въ кожу человѣка, въ тѣло несчастнаго.

| Эпическая часть заговора естественно выдѣлялась изъ его 230—77 состава; такъ старо-германскій spel, заклинательная формула, обособился впослѣдствіи въ значеніи поученія, побасенки, сказки.

Выше, говоря о фамильныхъ особенностяхъ древней лирико-эпической пѣсни, я назвалъ старо-французскія chansons de toile и сѣверныя баллады. Это даетъ мнѣ поводъ оговориться: не всѣ пѣсни сходнаго стиля подлежатъ однаковой хронологической оценкѣ; необходимо отдѣлить содержаніе отъ отстоявшейся въ преданіи формы. Пѣсни, близкія къ событиямъ, волновавшимъ народное чувство, невольно принимаютъ лирический колоритъ; таковы малорусскія думы, за вычетомъ испытанного ими школьнаго вліянія; но такія пѣсни могли выразиться въ формѣ, уже опредѣленной предыдущимъ развитиемъ лирико-эпической поэзіи,

какъ съ другой стороны та же готовая форма могла облечь сюжеты, не вызывавшіе, повидимому, лирическаго настроенія.

На сѣверѣ, напримѣръ, поютъ лирико-эпическая баллады, съ пріпѣвомъ и подхватами, на тему сказаний о Нифлунгахъ; эти сказанія извѣстны сѣверной старинѣ, стихотворной Эддѣ, но тамъ ихъ стиль и метрика другіе. Восходитъ ли современная баллада къ какой-нибудь заглохшей древней формѣ хорического, позднѣе лирико-эпического исполненія, или она усвоила порознь и сюжетъ, и стиль, и ея генеalogія смѣшанная? ¹⁾.

Содержаніе сообщенной выше финской заговорной руны — легендарно-миѳическое; таковы должны были быть сюжеты лирико-эпическихъ пѣсенъ у племенъ, не тронутыхъ бытовыми волненіями, распрями враждующихъ родовъ или тѣми, которые неизбѣжны на межѣ двухъ племенъ. Эти распри создавали новые интересы, столкновенія объединили племенное сознаніе; создавались лирико-эпическая пѣсни-кантилены, международныя (если можно говорить о народности) въ томъ смыслѣ, что тамъ и здѣсь поперемѣнно пѣли о побѣдахъ и пораженіяхъ, выходили на сцену, въ освѣщеніи хвалы, горизанія или страха, однѣ и тѣ же имена витязей, вождей; вокругъ нихъ собранъ интересъ, вокругъ нихъ ихъ боевые товарищи, дружины, о нихъ слагаются пѣсни браны и мести, поминальныя, величальныя; поются и циклизуются, притянутыя тѣмъ или другимъ рѣшающимъ событиемъ, славой одного имени. Такую естественную циклизацию слѣдуетъ представить себѣ уже въ лирико-эпическую пору: слагалась, вызванная ех tempore однимъ и тѣмъ же фактомъ, подвигомъ, не одна пѣсня, а нѣсколько; однѣ изъ нихъ забывались, другія переживали, | 78—231 переходили изъ одного поколѣнія въ другое вмѣстѣ съ памятью подвига, что предполагаетъ и его цѣнность въ глазахъ потомства, и начала исторической традиціи, родовой и народной. Разумѣется, въ слѣдующихъ поколѣніяхъ эти пѣсни не могли вызывать тѣхъ жгучихъ аффектовъ горя и ликованья, какъ въ ту пору, когда

1) Форма занесенная (изъ Германіи)?

онъ выживались, и ихъ лирическія партіи могли оттѣниться слабѣ; забывались и пѣкоторыя подробности далекаго событія, удерживалась его схематическая часть, общія нити и характерныя черты героя. Начало такого обобщенія, съ его результатами, типическими, идеализирующими приемами пѣсенной памяти, слѣдуетъ искать въ механической работе народнаго преданія.

Остальное довершили *пѣоцы*, въ той новой роли, которую оно имъ создало. Въ боевую пору, родовую или дружинную, пѣвецъ естественно воспѣвалъ вождей и витязей, лелѣялъ ихъ славу, слагалъ лирико-эпической пѣсни на событія дня, но помнилъ и старыя пѣсни предковъ и о предкахъ своего героя. Онъ зналъ ихъ родословную, и это знаніе вносило въ его репертуаръ новый принципъ генеалогической циклизациі; въ его памяти чередовались въ длинной вереницѣ героические образы, и обобщался идеалъ героизма, который естественно вліялъ на все новое, входившее въ кругозоръ пѣсни: типы физической мощи и красоты, храбрости и вѣжества, предательства и вѣрности, подвига; чѣмъ далѣе отъ основного преданія, тѣмъ чаще могло случаться, что такого рода типическія черты вмѣнялись не надлежащему лицу, какъ общее мѣсто: коли герой, то онъ могъ совершать то-то, и совершалъ. Такъ незамѣтно открывалась брешь въ историческія основы пѣсенного преданія. Процессъ, отвѣтившій таковому же жизненному: создавшійся въ жизни типъ героизма вызывалъ подражаніе, его стремились осуществить; пѣсни, сложившіяся о немъ, поневолѣ служили образцомъ, схемой, въ формахъ которой отливаются и позже воспоминанія о витязяхъ новыхъ поколѣній. Такъ, въ пору феодального эпоса и легенды, держались въ памяти и подражаніи постоянные образы идеального подвига и подвижничества, и *chansons de geste* и житіе складывались въ безсознательномъ повтореніи старыхъ идеаловъ.

Рядомъ съ общими мѣстами содержанія, отвѣчая имъ, развилось такое же явленіе въ области стиля: онъ сталъ типическимъ, тѣмъ, что я выше назвалъ эпическимъ схематизмомъ. У пѣвцовъ свой пѣсенный Домострой, отраженіе, иногда застывшее

шее, бытового: герои определеннымъ образомъ снаряжаются къ 79—232 бою, въ путь, вызываютъ | другъ друга, столуютъ; одинъ, какъ другой; все это выражается определенными формулами, повторяющимися всякий разъ, когда того потребуетъ дѣло. Складывается прочная поэтика, подборъ оборотовъ, стилистическихъ мотивовъ, словъ и эпитетовъ: готовая палитра для художника. При данныхъ условіяхъ продукція пѣвца напоминаетъ пріемы *commedia dell' arte*: данъ коротенькой *libretto*, знакомы типы Арлеккино, Коломбины, Панталоне; актерамъ предоставленъ определенный всѣмъ этимъ діалогъ и свобода *lazzi*. Пѣвецъ знаетъ пѣсни, характерныя черты дѣйствующихъ лицъ, все остальное доскажетъ его поэтика; тотъ же или другой пѣвецъ пропоетъ ту же пѣсню въ другой разъ иначе, разница будетъ въ подборѣ нѣкоторыхъ общихъ мѣсть, въ забвениіи того или другого эпизода *libretto*, но существенное повторится. Устойчивость такого стиля — въ *пѣвческомъ*, я бы сказалъ, *школьномъ преданіи*. Когда на финскихъ свадьбахъ и другихъ народныхъ празднествахъ раздаются руны, тотъ, кто въ такихъ случаяхъ услышитъ незнакомую пѣсню, старается ее запомнить, но, повторяя ее передъ другими, скорѣе держится ея содержанія, чѣмъ буквальной передачи: то, чего онъ не запомнить слово въ слово, онъ споетъ своими словами, и часто даже лучше, чѣмъ самъ слышалъ. За него говорить сложившаяся стилистика.

Мы на почвѣ *эпики*: ея носители — родовые, дружинные пѣвцы, знатоки родовыхъ историческихъ преданій, греческіе аэды, англосаксонскіе и франкскіе *scopas*, позже — пѣвцы другого разбора, смѣшивавшіеся съ захожими *jaculatores* отжившаго греко-римского міра и принявшиѳ ихъ название: *jongleurs*, *spielente*. Имъ принадлежитъ и дальнѣйшее претвореніе традиціонной поэзіи. Они бродили, слышали и знали много пѣсенъ, спѣвали ихъ подъ рядъ, и на смѣну генеалогической циклизациіи явились спѣвы пѣсень, сложившихся порознь и въ разное время. Хронологія не мѣшала — пѣсня создавала свою: Карль императоръ заслонилъ собою молодого короля-начинателя, и пѣсня о Роландѣ

уже знаетъ его вѣнчаннымъ имперскою короной; его враги баски, саксы, одинаково обратились въ сарациновъ; въ разсказѣ о событиї вносились лица, не современныя другъ другу и т. п.; «свиваются оба полы времени». Рядомъ съ безсознательнымъ нарушеніемъ хронологіи столь же естественнымъ слѣдствіемъ такого рода спѣвовъ явилась попытка заново мотивировать связь спѣтыхъ вмѣстѣ дѣйствій, начатки новаго внутренняго плана. Изложеніе ширится, видимо привлекая само по себѣ; матеріаль даютъ унаслѣдованные и съ лихвой развитые пріемы старой пѣсни: излюблено тройкое повтореніе одного и того же акта, 233—80 параллелизмъ, лежащій въ основѣ народно-пѣсенной психологіи¹⁾ и ритмики. Какъ у Карла двѣнадцать пэровъ, такъ и у сарацинскаго властителя; пораженіе врага двоится, того требовалъ и стиль, и народное самосознаніе. Въ дошедшей до насъ пѣснѣ о Роландѣ Карль не только разбивается Марсиля, но впослѣдствіи еще и полчища Балиганта; разсказъ о послѣднемъ признаютъ позднѣе включеннымъ въ текстъ пѣсни о Роландѣ изъ поэмы, разсказывавшей именно о Балигантѣ. Интерполяція доказывается противорѣчіями содержанія и неловкостью спая, но ничто не мѣшаетъ предположить, что самая интерполяція вызвана была какимъ нибудь указаніемъ, стихомъ древней кантилены, намекавшимъ на вторичную отмѣтку или призывающимъ ея повтореніе.

Сложившись въ рукахъ родовыхъ или дружинныхъ профессиональныхъ пѣвцовъ, такая эпика еще продолжаетъ жить кое-гдѣ въ циклахъ пѣсенъ, объединенныхъ именемъ или событиемъ, Кіевомъ или Косовской битвой, либо въ циклическихъ спѣвахъ, въ родѣ якутскихъ былинъ, олонго, пѣніе которыхъ занимаетъ несолько вечеровъ. Пѣсни эти спустились теперь въ народъ, еще лелеютъ народное самосознаніе тамъ, где оно стоитъ или стояло на уровнѣ условій, впервые вызвавшихъ ихъ появленіе и продукцію; въ такихъ условіяхъ мыслимо и новое пѣсенное сло-

1) См. мой Психологический параллелизмъ, I. с.

женіе въ формахъ стараго. Иначе пѣсня теряетъ свою жизненность и сохраняется, какъ старина, не дающая отпрысковъ; держится своеї — поэтикой. И тамъ, и здѣсь къ ней потянули пѣсни житейскаго, балладнаго, сказочнаго содержанія; поютъ люди, знающіе старину, слѣпцы, эпигоны древнихъ профессіональныхъ пѣвцовъ.

На пути этого разложенія бывали задержки, какъ бы новыя формы творчества, отвѣчавшія тому же подъему пароднаго самосознанія, какъ и древнія эпическія пѣсни, но болѣе широкаго, сознанія политически сплотившейся народности, чающей историческихъ цѣлей. Я разумѣю появленіе народныхъ эпопей въ родѣ пѣсни о Роландѣ. Очевидно, это не механическій спай эпическихъ пѣсенъ — кантиленъ, какъ то полагали многіе, а нѣчто новое, обличающее одного автора, его индивидуальный подвигъ. Я не подчеркну особо въ этомъ опредѣленіи черту индивидуальности, потому что склоненъ искать ее и ранѣе, въ той эпохѣ развитія, которая восходитъ въ сѣдую даль, къ пѣвцу или пѣвцамъ, вы-
81—234 дѣлившимся изъ хорового синкретизма. Это развитіе | не останавливалось; съ нимъ надо считаться, покинувъ туманныя представлениія о хоровомъ, массовомъ началѣ, создавшемъ явленіе эпопей. Если замѣнить слово «спай» понятіемъ «спѣва», какъ мы установили его ранѣе, и представить себѣ обусловленную имъ психологическую и стилистическую работу, работу обобщеній, перенесеній и мотивировки, пѣсня о Роландѣ представится намъ однимъ изъ многихъ, столь же индивидуальныхъ спѣвовъ, пережившихъ другіе, потому что онъ стоилъ того. Прогрессъ не въ индивидуальномъ починѣ, а въ его сознательности, въ цѣнности, которая дается пѣсенному акту, въ записѣ, которой закрѣпляется не пѣсня-сводь, а поэтическое произведеніе, когда пѣвецъ ощутить себя — поэтомъ.

Такая поэма, какъ пѣсня о Роландѣ является новой точкой отправленія. Ея печать ложится на другихъ такихъ же спѣвахъ; далѣе поэмы не спѣваются, а сочиняются, и на почвѣ этихъ сочиненныхъ chansons de geste повторяются тѣ же процессы цикли-

зациі: героямъ преданія даютъ небывалыхъ предковъ и потомковъ, литературный материалъ заглушаетъ остатки традиціонаго, мѣняется и метрическая форма, пока наконецъ стихъ не уступаетъ мѣсто прозѣ. Еще одинъ шагъ, и изувѣченное преданіе возвращается, въ видѣ народной лубочной книги, въ сферу, гдѣ доживаютъ свой вѣкъ и старыя эпическихія пѣсни.

Все это относится уже къ специальной исторіи эпоса, о которой здѣсь не идетъ рѣчь. Остановлюсь лишь на одномъ эпизодическомъ фактѣ этой исторіи. О томъ или другомъ лицѣ могли слагаться, непосредственно послѣ событія, и лирико-эпическая пѣсня, впослѣдствіи обобщившаяся въ эпическую, и преданіе, разсказъ, анекдотъ, не знавшій пѣсенной формы. Пѣвцамъ-современникамъ онъ могъ быть извѣстенъ, знакомъ и ихъ слушателямъ; почему его обошли пѣсней, мы никогда не узнаемъ: можетъ быть случайно, или потому что онъ не отвѣчалъ цѣлямъ идеализациі. Позже, съ развитіемъ чистой эпики, отделившейся отъ непосредственности воспоминаній, такія преданія, *Sagen*, могли попасть и въ теченіе пѣсни, особенно въ ту пору эпики, когда она раскрылась для новыхъ, не традиціонныхъ, а просто интересныхъ по содержанію мотивовъ. Отсюда два вывода: нельзя заключать по преданіямъ, напримѣръ, меровингскихъ и южно-русскихъ лѣтописей, какъ бы ни казались они намъ фактически невѣроятными, не историчными, что обѣ этихъ преданіяхъ слагались когда то недошедшая до насъ былины и кантилены. Нельзя также говорить съ Voretsch'емъ, что источникъ «эпоса» не въ лирико-эпическихъ кантиленахъ, а именно въ преданії, 235—82 *Sage*. Преданіе—это, будто бы, перепутье оть исторіи къ эпосу, устное, органическое развитіе историческаго факта (*mündliche Ueberlieferung*—*Zwischenglied zwischen Geschichte und Epos*; *organische Weiterbildung der Ueberlieferung*), эпосъ, *Dichtung*—его неорганическое развитіе. Исторія понимается здѣсь какъ то абстрактно, какъ будто и на страницахъ лѣтописи она не отразилась въ томъ коллективно-субъективномъ освѣщеніи, которое опредѣляетъ и развитіе саги, и темы пѣсни. Разница въ выборѣ

того, что интересуетъ, что кажется выдающимся по содержанию, и въ уровнѣ и гомогенности среды, для которой пишется лѣтопись, въ которой слагаются преданіе и пѣсня. Съ точки зрењія Voretsch'a выходитъ, что эпической пѣвецъ ждалъ, пока надъ историческимъ фактомъ наслится преданіе, и лишь тогда переводилъ его въ пѣсню; неужели ждала его и лирико-эпическая заплачка, пѣсня ликованія о побѣдѣ? Такъ можетъ творить, выискивая традиціонные сюжеты, лишь поэтъ новаго времени. Сага и эпическая пѣсня идутъ объ-руку; объяснять сложеніе «эпоса» (Voretsch, очевидно, разумѣеть эпопею) изъ преданій — значитъ забывать предыдущія фазы развитія эпики.

VII.

Эпосъ — объектъ, лирика — субъектъ; лирика — выраженіе зарождающагося субъективизма. На эти опредѣленія я уже успѣль возразить; еслибы я захотѣль присоединить къ нимъ и свое, я подчеркнулъ бы субъективизмъ эпоса, именно *коллективный субъективизмъ*; я говорю о началахъ эпоса. Человѣкъ живеть въ родовой, племенной связи и уясняетъ себя самъ, проектируясь въ окружающей его объективный міръ, въ явленія человѣческой жизни. Такъ создаются у него обобщенія, типы желаемой и нежелаемой дѣятельности, нормы отношеній; тотъ же процессъ совершается и у другихъ, въ одинаковыхъ относительно условіяхъ и съ тѣми же результатами, потому что психической уровень одинъ. Каждый видный фактъ въ такой средѣ вызоветъ оценку, въ которой сойдется большинство; пѣсня будетъ коллективно-субъективнымъ самоопределѣніемъ, родовымъ, племеннымъ, дружиннымъ, народнымъ; въ него входитъ и личность пѣвца, то-есть того, чья пѣсня понравилась, пригодилась. Онъ анонименъ, но только потому, что его пѣсню подхватила масса, 88—236 а у него нѣть сознанія личнаго авторства. Оно | выростаетъ постепенно вмѣстѣ съ суженіемъ колективизма: выдѣленію личнаго начала предшествуетъ групповое, сословное. Дружинный

пѣвецъ обусловленъ интересами дружины, это опредѣляетъ его міросозерцаніе и настроение репертуара; его пѣсни не всенародные, а кружковые; онъ могли спуститься въ народъ, какъ наши былины въ опежкія захолустья, какъ сословный эпосъ въ известныхъ условіяхъ становится простонароднымъ.

Итакъ: проекція коллективнаго «я» въ яркихъ событияхъ, особяхъ человѣческой жизни. Личность еще не выдѣлилась изъ массы, не стала объектомъ самой себѣ и не зоветъ къ самона-блуденію. И ея эмоциональность коллективная: хоровые клики, возгласы радости и печали, и эротического возбужденія въ обрядовомъ дѣйствѣ или весеннемъ хороводѣ. Они типичны, остаются устойчивыми и въ пору сложенія пѣсенного текста, когда онъ вышелъ изъ периода возгласовъ, въ которомъ застыла хоровая пѣсня иныхъ некультурныхъ народовъ. Слагаются refrains, коротенькия формулы, выражаютія общія, простѣйшія схемы простѣйшихъ аффектовъ, нерѣдко въ построеніи параллелизма, въ которомъ движения чувства выясняются безсознательнымъ уравненіемъ съ какимъ нибудь сходнымъ актомъ вѣнчаного міра¹⁾. И здѣсь выясненіе собственнаго «я» происходитъ тѣмъ же путемъ, прислоненіемъ къ міру лежащей вѣтъ его объективности.

Такими коротенькими формулами полна всякая народная поэзія, не испытавшая серьезныхъ вліяній художественной. Это — ходячія дву — и четверостишія; послѣднія (спѣтыя, вѣроятно, изъ двухъ первыхъ, ибо двустишие само по себѣ удовлетворяетъ требованію параллелизма) распространены отъ Китая, Индіи и Турціи до Испаніи и Германіи. Они встрѣчаются въ обрядовой связи, напримѣръ, въ свадебномъ дѣйствѣ, въ запѣвахъ и припѣвахъ лирико-эпической и эпической пѣсни — наслѣдіе хорового возгласа: это ихъ крѣпкое, исторически, мѣсто. Но они ходятъ и отдельно: зачаточные, формальные мотивы того жанра, который мы назовемъ *лирикой*. Ими обмѣниваются въ амебейномъ чередованіи, импровизуя въ старыхъ формахъ, народные пѣвцы, и пѣсня вы-

1) См. Психологический параллелизмъ, I. с.

ходить иногда изъ послѣдовательности вопросовъ и отвѣтовъ. Такое сложеніе пѣсни наблюдается въ Германіи, Сициліи, Сардиніи¹⁾; въ Португаліи изъ пренія (*desafios*) пѣвцовъ, обмѣниваю-
84—237 щихся строфами, съ подхватами риомы и стиха, образуются цѣ-
лые серіи, *despiques*, напоминающія романсы; одна нѣмецкая
пѣсня на тему невѣрной жены разработана мотивами, обычными
въ пѣсенной реторикѣ; въ этомъ смыслѣ о ней и говорится, что
спѣли ее «наново» два ландскнехта. Но и виѣ этого исполненія
то, что мы зовемъ народною лирическою пѣсней, не что иное,
какъ разнообразное сочетаніе тѣхъ же простѣйшихъ мотивовъ,
стиховъ или серій стиховъ: вы встрѣтите ихъ тамъ и здѣсь, какъ
общее мѣсто; порой они накапляются, видимо, безцѣльно, подска-
занные мелодіей и темпомъ, какъ во французскихъ *motets*, порой
развиваются содержательно, одинъ мотивъ вызываетъ другой,
сродный, какъ риома вызываетъ риому²⁾). Все это бываетъ свя-
зано незатѣйливо, діалогомъ, либо какимъ-нибудь положеніемъ:
кто-нибудь ждетъ, задумался, плачетъ, зоветъ и т. п., и стили-
стическая формулы служать къ анализу психологического содер-
жанія: Формулы печали, разстановья, привѣта, какъ въ эпической
пѣснѣ есть формулы боя, столованья и т. д.; тотъ же стилисти-
ческий Домострой. Если положеніе перейдетъ въ дѣйствіе, мы по-
лучимъ схему лирико-эпической, балладной пѣсни; черту раздѣла
между нею и лирической трудно себѣ представить при выходѣ изъ
общаго хорового русла.

Аффективная сторона этой лирики монотонна, выражаетъ не-
сложныя ощущенія коллективной психики. И здѣсь выходъ къ
субъективности, которую мы привыкли соединять съ понятіемъ
лирики, совершился постепенными групповыми выдѣленіями куль-
турнаго характера, которыя перемежались такими же периодами
монотонности и формализма, ограниченныхъ предѣлами группы.
Когда изъ среды, коллективно настроенной, выдѣлился, въ силу
вещей, кружокъ людей съ иными ощущеніями и инымъ понима-

1) См. мои Эпическая повторенія, 1. с., 285 слѣд.

2) См. мой Психологический параллелизмъ, стр. 43 слѣд.

ніемъ жизни, чѣмъ у большинства, онъ внесеть въ унаслѣдованныя лирическія формулы новыя сочетанія въ уровень съ содержаніемъ своего чувства; усилився въ этой сферѣ и сознаніе поэтическаго акта, какъ такового, и самосознаніе поэта, ощущающаго себя чѣмъ-то инымъ, чѣмъ пѣвецъ старой анонимной пѣсни. И на этой стадіи развитія можетъ произойти новое объединеніе съ тѣми же признаками колективности, какъ прежде: художественная лирика среднихъ вѣковъ — сословная, она наслонилась надъ пародной, вышла изъ нея и отошла въ новомъ культурномъ движениі. И она монотонна настолько, что, за исключеніемъ двухъ-трехъ именъ, мы почти не встрѣчаемъ въ ней личныхъ | настроеній, такъ много 238—85 условнаго, повторяющагося въ содержаніи и выраженіи чувства. Разумѣется, слѣдуетъ взять въ разсчетъ, что въ этой условности современники вычитывали многое и разнообразное, чего не въ состояніи подсказать мы, но въ сущности мы не ошибемся, если усмотримъ въ этомъ однообразіи результатъ извѣстнаго психическаго уравненія, наступающаго за выдѣленіемъ культурной группы, какъ руководящей. Показателемъ ея настроенія становится какой нибудь личный поэтъ; поэтъ рождается, но материалы и настроеніе его поэзіи приготовила группа. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что петраркизмъ древнѣе Петрарки. Личный поэтъ, лирикъ или эпикъ, всегда групповой, разница въ степени и содержаніи бытовой эволюціи, выдѣлившей его группу.

Нѣсколько примѣровъ изъ исторіи зарожденія художественной лирики уяснять эти теоретическія соображенія.

Дошедшіе до насть обрывки и образцы, собранные подъ рубрикой народной греческой лирики, не даютъ раздѣльного понятія обѣ ея характерѣ и содержаніи, о той степени литературной обработки, которой они подверглись при записи. Коротенькия пѣсенки, обрядовые, хоровые припѣвы, въ родѣ весенняго: Гдѣ роза, гдѣ фіалка? — и тѣхъ, которыми обмѣнивались хоры спартанскихъ старцевъ, мужей и юношей¹⁾). Въ числѣ народныхъ фор-

1) См. выше стр. 16, 17—18.

муль мы встрѣтимъ и кликанье весны, совершенно аналогичное съ такимъ же обрядовымъ кликомъ современаго греческаго простионародья, и пѣсенку о Линѣ, очевидно, далеко отошедшую по своему содержанію отъ той, которая раздавалась въ гомеровскую пору подъ хоровой припѣвъ виноградарей. Такой мотивъ, какъ жалоба влюбленной, обманутой дѣвушки, сохранившійся изъ Александрійской эпохи, но не отвѣчающей ея общественнымъ типамъ, восходитъ также къ сюжетамъ народной, отзутившей пѣсни, не знавшей культа гетеръ.

За вычетомъ этихъ болѣе или менѣе народныхъ пѣсенныхъ фрагментовъ, материаломъ для изученія греческой художественной лирики въ пору ея возникновенія остаются памятники хоровой и монодической поэзіи, и не столько памятники, большая часть которыхъ не дошла до насъ, сколько свѣдѣнія о нихъ, сохранившіяся у древнихъ писателей. И тѣ, и другія указываютъ уже на литературную обработку сюжетовъ и формъ, зародившихся на почвѣ народнаго хора. | То, что древніе говорятъ объ эволюціи формъ, отличаетъ нерѣдко склонность вмѣнить личному почину результаты органическаго развитія и разложенія.

Мы знаемъ, напримѣръ, что выдѣленіе solo лирико-эпического характера, съ содержаніемъ миѳа или героической легенды, было естественнымъ явленіемъ въ исторіи хорового начала; такъ хорический пѣанъ могъ стать эпико-лирическимъ, и когда намъ сообщаютъ о Ксено克拉ѣ, что онъ развилъ въ первомъ партію мифологического, эпического сказа, мы склонны ограничить его новшество художественными цѣлями. Если ввести эту и подобныя легенды въ генетическую связь, въ какой мы представили себѣ развитіе хоровой поэзіи, онъ займетъ въ ней свое мѣсто, и эволюція греческихъ поэтическихъ жанровъ изъ народныхъ началь представится намъ въ цѣльности, формы которой оставалось лишь развивать пѣвцу или поэту. Изъ хорическихъ гимновъ вышли лирико-эпическіе, съ содержаніемъ миѳа или героической были, материалъ эпическихъ спѣвовъ — и эпопеи. Элегія, первоначально печальная, похоронная пѣсня, могла выработаться, изъ обрядовой

заплачки съ ея моментами сътования, угъшенія и общими мѣстами традиціонной гномики; этотъ гномической характеръ удержанался за ней, когда она перешла въ руки личнаго поэта, выражая содержаніе его личнаго или сословнаго міросозерцанія, вдали отъ обряда. Такъ хоровой разгуль комоса въ пору Діонисій, либо въ концѣ пира, обратился въ Ständchen подъ окномъ красавицы, и лирическія пѣсеньки Алкея и Анаkreона носятъ это название. Вся хорическая лирика грековъ не что иное, какъ разработка средствами цѣльнаго хора, эпико-лирической темы, обособившейся въ немъ вмѣстѣ съ корифеемъ. Въ этомъ смыслѣ о Стезихорѣ можно было сказать, что онъ установилъ хоръ (*πρῶτος κιθαρῳδίας χορὸν ἐστησεν.* Suid.), положивъ на лиру бремя эпопеи. Подобную же реформу диенірамба приписываютъ Аріону, но съ колебаніями, указывающими на забвеніе традиціи. Извѣстно, что въ исполненіи диенірамба главныя партіи принадлежали корифею, онъ вчиналъ и велъ пѣсню, хоръ только поддерживалъ его, вступая съ нимъ въ діалогъ¹⁾). И вотъ обѣ Аріонѣ говорятъ, что онъ смѣнилъ эту драматическую двойственность хоровымъ, строфическимъ мелосомъ; вотъ почему Платонъ могъ отнести позднѣйшій диенірамбъ къ произведеніямъ не подражательной (драматической), а повѣствовательной, излагающей поэзіи; послѣднюю форму | Аристотель 87—240 считаетъ древнѣйшей, изъ нея, будто-бы, выработался диенірамбъ того амебейнаго типа, изъ котораго вышла драма. Это было-бы развитіе — противъ теченія. Со всѣмъ этимъ не соединимо показаніе Свиды, что Аріонъ ввелъ въ диенірамбъ сатировъ съ метрическими рѣчами (*έμφετρα*), что можетъ быть истолковано лишь въ смыслѣ художественной разработки старыхъ хоровыхъ началь.

Развитіе такой лирики, выросшей изъ цѣльности народнаго хора, именно у дорянъ, указываетъ на устойчивость у нихъ древнихъ поэтическихъ формъ, чemu отвѣчалъ и архаизмъ бытовыхъ отношеній; эолійскій монодизмъ выразилъ окрѣпшее индивидуалистическое чувство въ формахъ хоровой эмоциональ-

1) См. выше стр. 64.

ности; драма сохранила и въ своемъ художественномъ составѣ всѣ элементы хорового синкетизма: корифея — актера, хоры и діалогъ.

Обратимся къ бытовымъ условіямъ выдѣленія греческой индивидуалистической лирики.

Какъ всякая эпика исторического характера, такъ и греческая выросла въ періодъ наступательныхъ, завоевательныхъ движений народности, въ условіяхъ дружинного быта и аристократической монархіи. Дружинный вождь, царь, окруженный ими-тыми людьми, признающими его первымъ изъ равныхъ; онъ и военачальникъ, и владыка, и судья; народъ руководится и внемлетъ; интересъ, біеніе исторической жизни сосредоточены въ одномъ кружкѣ, онъ дѣйствуетъ, о немъ идетъ пѣсенная молва. Является дружинный пѣвецъ, и слагается дружинная боевая пѣсня. Въ началѣ VIII вѣка до Р. Х. былевыя пѣсни гомеровскаго типа уже не создаются болѣе; къ началу Олимпіады относятся тѣ спѣвы, которые мы назовемъ Иліадой и Одиссеей; нѣть новой пѣсенной продукции, потому что нѣть для нея условій: періодъ за-воеваній кончился, уже гомеровскія поэмы указываютъ на возврещеніе новыхъ порядковъ и воззрѣній, войны не любятъ, бѣгство не вызываетъ осужденія, славится мудрость и хитрость Одиссея. Монархическое начало уступаетъ напору многихъ, желающихъ раздѣлить его преимущества и считающихъ себя призванными. «Когда умножилось число достойныхъ людей, въ городахъ обрѣлись многіе, равные по достоинству, они перестали выносить монархическую власть, начали искать нѣчто общество и устроили свободную общину» (Аристотель). Выдѣляется сословная аристократія; ея древнѣйшая исторія протечеть въ борьбѣ съ демократическимъ началомъ, приводившей порой къ явлениямъ тиранніи, демократическо-культурной монархіи. Старая 83—241 эпическая пѣсни, «старина и дѣянье», не забыты, ихъ | поютъ на панаѳинеяхъ, рапсоды ихъ повторяютъ, но онъ не отвѣчаютъ болѣе интересамъ времени, занятого вопросами, въ которыхъ надо было разобраться. «Не пойму я ничего въ борьбѣ вѣтровъ,

поетъ Алкей (fr. 18): волны перекидываются туда и сюда; мы же — на черномъ кораблѣ, сильно терпимъ отъ страшной бури; конецъ мачты въ водѣ, парусъ въ лохмотьяхъ болтается на свободѣ, канаты повисли». Общественная борьба создаетъ политическую, партійную пѣсню; возникаетъ на почвѣ новыхъ сословныхъ выдѣленій, но изъ старыхъ хоровыхъ началъ, новая поэзія, художественная лирика. Мы отмѣтимъ въ ней теперь же характеръ *современности*.

Выходъ изъ старого порядка вещей предполагаетъ его критику, комплексъ убѣждѣній и требованій, во имя которыхъ и совершаются перевороты; они ложатся въ основу *сословно-аристократической этики*. Эта этика обязываетъ всѣхъ; оттого аристократъ тиличенъ, процессъ индивидуализаціи совершился въ немъ въ формахъ сословности. Опь знатень по рожденію, по состоянію и занятіямъ, блюдесть завѣты отцовъ, горделиво стояніе отъ черни; не выrostи розѣ изъ луковицы, свободному человѣку не родиться отъ рабыни, говоритъ Теогнисъ. А между тѣмъ завоеванное, не обеспеченное давностью положеніе надо было упрочить, и это создавало рядъ требованій, подсказанныхъ жизнью и отложившихся въ правила сословной нравственности, которымъ греческая аристократія отвѣчала въ свои лучшіе годы: жить не для себя, а для цѣлага, для общины, гнушаться стяженій, не стремиться къ наживѣ и т. п. Все это вело къ самонаблюденію, сатирѣ и анализу, обнимавшему не одни явленія дѣятельности, но и общіе вопросы жизни и назначенія человѣка. Аристократъ не отвѣчалъ ли своему нравственному призванію, Архилохъ крикнетъ ему: Прочь, ты изъ знати! (fr. 106); аристократія рода выживаетъ, начинаетъ царить золото: Въ деньгахъ человѣкъ, ни одинъ бѣднякъ не знатень, ни почтенъ, скажетъ аристократъ Алкей (fr. 51). Въ борьбѣ партій призываютъ къ выдержкѣ, мужеству, мѣрѣ желаній чередуется съ отчаяніемъ и покорностью судьбы: несчастье постигаетъ то того, то другого, предоставь все богамъ, они воздвигаютъ простертыхъ, свергаютъ бодро ступающихъ (см. Архилохъ, fr. 5, 13, 24, 58, 68). Но

гдѣ же справедливость Зевса, спросить Теогнись: хорошие страдаютъ, неправедные счастливы, дѣти несутъ наказаніе за грѣхи отцовъ; остается молиться Надеждѣ, единственному божеству, пребывающему среди людей; другія ушли на Олимпъ (v. 730 слѣд., 1135 слѣд.). Отсюда пессимистичскій взглядъ Симонида 89—242 на | жизнь, какъ на нѣчто пошлое, безодержательное, безцѣльное; въ цѣльность религіознаго сознанія вносится элементъ со мнѣній и соглашеній; старые миѳы толкуются на ново.

Такія изреченія житейской мудрости встрѣчались и на почвѣ эпоса; въ греческой лирикѣ они отвѣтили волненіямъ новаго быта, явившагося на смѣну старого, и сложились въ систему. Греческая лирика разовьетъ элементъ учительности, *гномики*; элегія-причитаніе, еще близкая стилистически къ эпосу, станетъ гномическю. Сходныя отношенія связываютъ *сатирическую* поэзію ямба съ его культовыми началами: миѳъ разсказывалъ о служительницахъ Деметры, Ямбѣ, развеселившей богиню своими потѣшными выходками; въ ямбахъ выражалась въ кульѣ Деметры народная піздѣвка; на почвѣ лирики сатира въ ямбическомъ метрѣ, эта воинствующая гномика, обняла явленія личной и общественной жизни. Извѣстны сатирическія выходки Симонида (изъ Аморгоса или Самоса) противъ женщинъ: на десять женщинъ, пошедшихъ отъ нечистыхъ или вредныхъ животныхъ, обезьяны, собаки, свиньи, найдется развѣ одна изъ рода — пчелы. Эти нареканія совнали съ пѣснями любви Сапфѣ, какъ въ средніе вѣка любовные восторги трубадуровъ съ невоздержаными нападками на «злыхъ женъ».

Сатира Архилоха выходила изъ партійности съ ярко эгоистичскимъ порывомъ, Симонидъ обобщаетъ извѣстный явленія абстрактно, предлагая нормы житейской оцѣнки; въ средѣ, относительно застывшей въ архаическихъ формахъ быта, какова спартанская, гдѣ личность поглощена была общиной, поэтъ обращался къ слушателямъ отъ лица хора, видимо устранивъ свою индивидуальность, являясь какъ бы носителемъ общихъ воззрѣній, празднуя со всѣми чью-нибудь побѣду, поминая старые миѳы и

незамѣтно внося въ нихъ личное освѣщеніе. Я имѣю въ виду личность группового характера, на этомъ покоятся взаимное пойманіе поэта и его среды. Говорять, что Гомеръ и Гезіодъ создали грекамъ ихъ боговъ; лирика продолжала то же дѣло въ уровень съ міросозерцаніемъ своего общества, формулируя его, иногда съ колебаніями. Въ одномъ изъ своихъ гимновъ Стезихоръ говорилъ объ Еленѣ, полюбившей Париса и увезенной имъ въ Трою; въ палинодіи онъ отрицаются отъ этого міоа: «Нѣтъ, это неправда; ты не вступила на корабль, хорошо снабженный вѣслами, не направилась къ Троянскимъ твердынямъ»; въ Троѣ явился лишь ея призракъ, єїшлоръ. Міоы были не только образнымъ выраженіемъ религіозной мысли, но и готовыми формулами поэтическаго | творчества, плодившиe новые образы и обобщенія. Чѣмъ 243—90 шире и глубже становился поэтическій горизонтъ, тѣмъ больше на нихъ спросятъ: въ оборотъ пускаются частные, мѣстные міоы, не связанные общенароднымъ преданіемъ, иногда балладныя легенды. Стезихоръ первый рассказалъ объ Аениѣ, вышедшей во всеоружіи изъ головы Зевса; о странствованіяхъ Энея на западъ; онъ пѣлъ о Радинѣ и Каликѣ. Радину продали коринѣскому тирану; ея двоюродный братъ любить ее, является въ Коринѣ; оба преданы смерти, и ихъ трупы отосланы въ Самость; но насильникомъ овладѣло отчаяніе, и онъ велитъ вернуть тѣла убитыхъ, чтобы предать ихъ погребенію. Калика любить Эватлоса, молитъ Афродиту устроить ихъ бракъ, но Эватлосъ гнушается дѣвушкой, которая погибаетъ,бросившись съ Левкадійского утеса.

Когда поэтъ чувствуетъ себя относительно свободнымъ въ орудованіи міоомъ, попытка свободы на почвѣ унаследованныхъ поэтическихъ формъ должна явиться, какъ естественное слѣдствіе. Развитіешло по разнымъ путямъ въ соотвѣтствіи съ качествомъ общественной среды. Мы видѣли, какъ дорическій лиризмъ своеобразно разработалъ преданіе хора. Стезихоръ ввелъ въ его перепѣвы строфу и антистрофу и завершающую ихъ эподу; его гимны, расположенные по системѣ тріады, развиваются лирико-эпическую тему; онъ еще близокъ къ языку эпоса, богатъ эпи-

тетами. Въ области монодической лирики Архилоху приписываютъ рядъ ритмическихъ и музыкальныхъ нововведеній, но, по всей вѣроятности, онъ только ввелъ въ оборотъ художественной лирики уже готовыя формы и формулы, отвѣчавшія новому содержанію чувства, какъ введеніе незнакомыхъ дотолѣ миѳологическихъ сюжетовъ отвѣтило требованіямъ болѣе широкаго анализа. У Алкейя и Сапфѣ — стиль народной пѣсни, съ ея образами и сравненіями, въ которыхъ они подчеркнули черты реальности, выражающія интимное чувство природы. Пѣсни Сапфѣ полны розъ и золотыхъ цветковъ; Алкей, подражая Гезіоду, приглашаетъ вышить, когда падить солнце, все истомилось отъ жажды, цвететъ волчецъ, а въ листвѣ слышно стрекозу, роняющую съ крыльевъ звонкія, частыя трели своей пѣсни (fr. 39). Архилохъ сравниваетъ островъ Тазосъ съ хребтомъ осла, поросшимъ дикимъ лѣсомъ (fr. 20), и не гнушается образомъ вороны, весело отряхивающей крылья (fr. 100).

Господство надъ содержаніемъ и формою рождаетъ *самосознаніе пѣвца*. Музы дали мнѣ славу, память обо мнѣ не пройдетъ, говоритъ Сапфѣ (fr. 10, 32); я положилъ свою печать на эти стихи, плодъ моего искусства, поетъ Теогнисъ, никто не похититъ ихъ, не подмѣнитъ, всякий скажеть: вотъ стихи Теогниса изъ Мегары (v. 19—23). Я далъ тебѣ крылья, ты полетишь надъ землей и моремъ, продолжаетъ онъ, обращаясь къ другу, котораго воспѣлъ; на всѣхъ празднествахъ юноши станутъ пѣть про тебя; даже когда ты будешь въ Аидѣ, твоя память не минется, а распространится даромъ Музъ,увѣнчанныхъ фіалками. Всюду, гдѣ только будутъ читать искусство пѣсни, ты будешь жить, пока стоять земля и солнце (v. 237—252). Пѣсня станетъ силой: она дастъ славу воспѣтому, и за нее будутъ платить.

Самосознаніе пѣвца — самосознаніе личности, выходившей изъ сословной замкнутости и партійныхъ предубѣждений. Анонимный пѣвѣцъ эпическихъ пѣсень смѣняется поэтомъ, и о немъ ходятъ не легенды, какъ о Гомерѣ и Гезіодѣ: у него есть биографія, подсказанная отчасти имъ самимъ, потому что самъ онъ

охотно говорить о себѣ, заинтересовать собою и себя, и другихъ. Біографіи трубадуровъ указываютъ на зарожденіе такого же интереса. Архилохъ и Алкей — индивидуальности, за Архилохомъ нѣть даже партіи: онъ самъ по себѣ. Боецъ по призванію, энтузіастъ борьбы, мечемъ или ядовитымъ ямбомъ, служитель Арея и Музъ (fr. 1), онъ откровенно выносить на показъ свои личные счеты и недочеты, иронизируетъ надъ самимъ собою (fr. 5), реалистъ и идеалистъ вмѣстѣ, ищущій мѣры, (fr. 66), которая не лежала въ его натурѣ. Въ Алкеѣ эта мѣра дана его жизнерадостностью: онъ аристократъ, рыцарь партіи, поеть политическія пѣсни, но воспѣваетъ и вино, и красоту, и любовь. Къ Сапфѣ онъ обратился съ двустишиемъ: Цѣломудрая Сапфѣ, съ кудрями цвѣта фіалки, съ медянной улыбкой, хотѣль бы я сказать тебѣ нѣчто, да меня удерживаетъ стыдъ (fr. 55). Она отвѣчала: Еслибъ твое желаніе направлено было на благое и хорошее, и языкъ не готовъ быть примѣшать что-либо дурное, стыдъ не покрыль бы твоего чела, и ты сказалъ бы все по правдѣ, откровенно (fr. 28). Съ застѣнчивою просьбой Алкея сличите новогреческое четверостишие:

Θέλο νὰ σὲ εἰπῶ, κιρά μου,
Τὸν κάψωνα τῆς ἀγάπης,
ἀλλ' ἐντρέπομαι, κιρά μου,
Τὶ νὰ σοῦ τὸ συντυχαίνω.

Такъ обмѣниваются въ Сициліи крестьяне и крестьянки любовными stornelli; четверостишія Алкея и Сапфѣ — художественная | разработка знакомой намъ народной лирической формы: 245—92 «не сидится мнѣ за станкомъ, милая мама, одолѣла меня Афродита страстью къ стройному юношѣ», поеть Сапфѣ, совершенно въ стилѣ весеннихъ пѣсень Carmina Burana.

Такихъ народныхъ мотивовъ полны эпиграммы Сапфѣ, отъ которыхъ сохранились лишь отрывки и отзвуки въ подражаніяхъ Феокрита и Катулла. Идетъ женихъ, и пѣсня Гименея весело обращается къ плотникамъ: пусть подвысятъ крышу, женихъ подобенъ Арею, выше высокаго мужчины (fr. 91). Такъ въ яро-

славской свадьбы дружка, входя въ избу невѣсты, приговариваетъ, спрашивая: Нѣть ли у васъ на мостахъ калиновыхъ столбовъ близко, перекладовъ низко, чтобы мнѣ, дружкѣ, ступить, да головы не проломить? — Яблоко, символъ дѣвушки, невѣсты въ народныхъ пѣсняхъ, является, очевидно, съ такимъ именно значеніемъ: оно алѣеть на верху вѣтки, собирающіе забыли его; не то что забыли, а достать его не могли (fr. 93). Другому распространенному символу, выражающему брачный актъ срываюшему, топтанiemъ цвѣтка, отвѣчаетъ образъ гіацинта, на который въ горахъ наступили пастухи, а онъ склонилъ долу свою пурпурную головку (fr. 94). Есть игра словами: Гесперъ, ты приводишь все, что разсѣяла свѣтлая Эосъ: приводишь овцу, приводишь козу, — уводишь отъ матери дочку (fr. 95). Она хочетъ остаться въ дѣвушкахъ (№ 96), но ее отдаютъ, на то отецъ (fr. 96). Въ иныхъ формулахъ встрѣчаются повторенія чисто народнаго стиля: Съ кѣмъ бы получше сравнить тебя, женишокъ? Сравнить лучше всего съ прямою вѣткою (fr. 104). Дѣвичество уходитъ: Дѣвичья доля, дѣвичья доля, зачѣмъ покидаешь меня, оставляешь? — Не приду я къ тебѣ болѣе, не приду! (fr. 109). Это, вѣроятно, пріпѣвъ хора.

Въ лирикѣ, выразившей прогрессъ личности на почвѣ группового движенія, вопросъ чувства, любви, займетъ первое мѣсто. Пѣсни Сапфѣ посвящены любви и красотѣ; красотѣ тѣла, дѣвушекъ и эфебовъ, торжественно состязавшихся въ ней у храма Геры на Лесбосѣ; любви, отвлеченою отъ грубости физиологическаго порыва къ культу чувства, надстраивавшаго надъ вопросами брака и пола, умѣрявшаго страсть требованіями эстетики, вызывавшаго анализъ аффекта и виртуозность его поэтическаго, условнаго выраженія. Отъ Сапфѣ выходъ къ Сократу: не даромъ онъ называлъ ее своей наставницей въ вопросахъ любви. Все это выходило облагороженнымъ изъ бытовыхъ условій, специально развившихся въ греческой жизни, и принимало ихъ 93—246 формы, какъ и новыя вѣянія рыцарской любви нашли | себѣ выраженіе въ такихъ же формахъ, обезпечивавшихъ свободу чув-

ства. По отношению къ любовной лирикѣ, тамъ и здѣсь, я говорю имѣнно о формахъ быта: не всякая пѣсня трубадура предполагаетъ реальный субстратъ, а нѣчто искомое, не всегда осознательное, отвлеченное отъ дѣйствительности, гдѣ желаемому не было мѣста, тогда какъ фантазія могла работать надъ нимъ, изощряя чувство и раскрывая его до дна.

Сапфѣ выразила его въ разнообразіи переливовъ свѣта и тѣни, ревности и страсти и томленія въ одиночествѣ. Любовь потрясаетъ ее, какъ вихрь, спускающійся на горные дубы (fr. 42); богу подобенъ, кто сидитъ возлѣ тебя, слышитъ твой голосъ, твой милый смѣхъ. Какъ увижу я тебя, мое сердце всполохнется въ груди, и я нѣмѣю; огонь пробѣгаешьъ подъ кожей, въ глазахъ тускнѣеть, въ ушахъ жужжитъ; я вся въ поту, дрожу, цвѣтъ лица травяной, точно подходитъ смерть (fr. 2). Отъ этой реальной картины къ другой: Сапфѣ вспоминаетъ, какъ Афродита явилась когда то на ея зовь, покинувъ золотыя хоромы Зевса; птички несли ея колесницу надъ темной землею, часто потрясая крыльями. О чемъ молишь ты? спросила богиня; та, что гнушаются твою любовью, еще будетъ искать тебя, полюбить, если не любила (fr. 1)¹⁾. — И снова Сапфѣ одна: зашла Селена и Плеяды, ужъ полночь; часть проходитъ, а я одна на моемъ ложѣ! (fr. 52). — Это мотивъ Ständchen сѣвернаго стиля.

Когда говорять о началахъ ново-европейской лирики, соединяютъ ее въ одинъ отдѣль съ гномикой (Koegel), либо обособляютъ, въ отдѣль chanson, ея объективные жанры отъ субъективныхъ, лирику древняго народнаго типа отъ рыцарской (Jeanroy). Поводы къ такому выдѣленію даны не отличиемъ настроений, характеризующихъ коллективную эмоциональность народной пѣсни съ одной стороны и лирику личнаго чувства съ другой, а формаль-

1) Переводы прозой той и другой пьесы сохранились въ черновой тетради Пушкина; стихотворный переводъ первой принадлежитъ проф. О. Е. Коршу. См. его: «Римская элегія и романтизмъ». Москва, 1899, стр. 5.

нымъ признакомъ: въ пѣсняхъ первого рода выводятся на сцену постороннія пѣвцу лица, самъ онъ рѣдко заявляетъ о себѣ; оттуда опредѣленіе объективности. Если провести этотъ виѣшній критерій до конца, границы субъективной и объективной лирики пошатнутся, многое, отнесенное въ область первой, получить свое 94—247 объясненіе въ явленіяхъ второй, и въ началѣ всего развитія объявится древнѣйшій пластъ хоровой, обрядовой поэзіи, пѣсни въ лицахъ и пляскѣ, изъ которыхъ послѣдовательно выдѣлились эпические и лирическіе жанры: французскія *chansons à danses, caroles*, чemu въ субъективной лирикѣ отвѣтять *rondet* и *balette*, пров. *balada, dansa, нѣм. reige*; образчикъ нѣмецкой игровой лирико-эпической пѣсни (*Die Tänzer von Köbigk*) восходитъ, по мнѣнію Шредера, къ половинѣ XI вѣка. Діалогическій, амебейный стиль пастурели, отнесенной къ объективной группѣ, родственъ по своему происхожденію съ тенционой и jeu parti; нужны нѣть, что послѣдними формами овладѣла субъективная, художественная поэзія: мы знаемъ, что онѣ развивались въ связи съ хоромъ, какъ изъ хорового речитатива обособилась лирико-эпическая пѣсня, *chanson d'histoire, de toile, à personnages*, что на другой почвѣ мы назовемъ балладой или романсомъ. Такія пѣсни выносили свою эпическую канву изъ хорового дѣйства, ихъ исполняли мимически и діалогически, прежде чѣмъ сложился ихъ связный текстъ, подъ который продолжали плясать. Пѣсни Нейдгарта начинаются приглашеніемъ къ танцу и переходить въ сценку: либо старуха уговариваетъ дѣвушку воздержаться отъ пляски, либо дѣвушка подговариваетъ подругу идти и т. п. Вильмансь считаетъ такое соединеніе лирическаго обращенія съ эпическимъ сюжетомъ явленіемъ позднимъ; отвѣтомъ могутъ служить приведенные нами¹⁾ игровые пѣсни о женѣ и нелюбимомъ мужѣ и т. п. Связь дана была дѣйствомъ. — Трехчленное строеніе строфы въ нѣмецкомъ *Minnesang'* приписываютъ вліянію провансальскихъ и французскихъ образцовъ, но оно естественно

1) См. выше, стр. 28 слѣд.

развилось изъ подхватовъ, повтореній хора или хоровъ и приставшаго къ повтореніямъ припѣва.

Но какъ представить себѣ начало собственно лирической пѣсни, chanson, развившейся въ художественный жанръ провансальского vers, canso, съ неисчерпаемымъ богатствомъ ея отраженій?

Выше я привязалъ эти начала къ эмоциональнымъ кликамъ древняго хора, къ коротенькимъ формуламъ разнообразнаго содержанія¹⁾; изъ нихъ и вокругъ нихъ выростала пѣсня. Либо это формула параллелизма, въ родѣ:

Gruonet der walt allenthalben,
Wa ist min geselle alse lange?

(Carm. Bur. 188);

| либо призывъ къ любви:

248—95

Kume, kum, geselle min,
ih enbiete harte din,
ih enbiete harte din,
Kume, kum, geselle min.

(См. тамъ же въ другой пѣснѣ: Ich sage dir, ich sage dir, min geselle kum mit mir).

Или это пожеланіе, привѣтъ, обращенный къ милому, какъ въ Руодлибѣ: у меня столько любви, сколько листьевъ въ чащѣ. Это salut d'amour, развитый въ художественный родъ провансальскою и французскою лирикой. Къ такимъ формуламъ принадлежать и нѣмецкія: «Ты моя, я твой», съ образомъ милаго, на всегда запертомъ въ сердцѣ влюбленнаго. Гномические и сатирические мотивы, являющіеся порой въ запѣвѣ или припѣвѣ пѣсни, могли быть ея основпою темой: Кто любитъ, сладко спитъ, Qui s'entreaiment, soef dorment, слышится въ припѣвѣ одной chanson d'histoire (Le samedi au soir); женщину и охотничью птицу легко приручить (wîp unde vederspil die werdent lihte zam): на этомъ

1) См. выше, стр. 83 слѣд.

построена пѣсенка народнаго типа изъ числа приписанныхъ von Kurenberg'у. Французскіе refrains, припѣвы, въ сущности, мотивы пѣсни; испанское refran — поговорка.

Содержаніе этой народной лирики должно было отвѣтывать бытовому уровню народной среды и качествамъ ея аффективности. Церковные люди называли эти пѣсни, хоровыя (*choros*), плясовыя (*ballationes, saltationes*) или монодическая (*cantica paellarum?*) — діавольскими, безстыдными, *cantica turpia, luxuriosa*; монахинямъ запрещаютъ писать и посыпать любовныя пѣсенки (*winileodos*): *Gesta abbatum Trudonensium* (l. XII, 11 слѣд.) говорятъ о безчинствахъ, сопровождавшихъ обрядовые хороводы. Многое въ этихъ отрицательныхъ отзывахъ можно объяснить узостью церковнаго взгляда, но вызывавшіе его факты существовали. Мы говорили о слѣдахъ старого эротизма въ майскихъ пѣсняхъ и обрядахъ¹⁾; онъ отразился въ нѣкоторыхъ пьесахъ *Carmina Burana*, въ подражаніяхъ Нейдгарта; французскія *chansons d'histoire* берутъ сюжетами: нелюбовь жены къ старому мужу, жалобы дѣвушки, заключенной въ монастырь — темы майскихъ хоровыхъ

96—249 игръ. Таково могло быть настроеніе древней «безстудной» | пѣсни: наивные порывы чувства, весело идущаго къ цѣли, наивнаго, какъ природный спросъ; выражали его одинаково мужчина и женщина; починъ часто принадлежалъ ей, какъ вообще въ народной любовной лирикѣ она выступаетъ самостоятельнѣе, свободнѣе, не только сѣтуетъ и молить, но и призываешьъ. Діалогизмъ пѣсни естественно выражалъ эти отношенія; простѣйшая эпическая схема, на-ряду съ другими, бытовыми: ожиданіе гдѣ то, выходъ къ хороводу и т. п. Все это уже въ старой народной пѣснѣ могло очутиться общимъ мѣстомъ.

Первыя художественные проявленія нѣмецкой лирики на почвѣ культурнаго рыцарского класса воспроизводятъ такой именно типъ пѣсни. Въ числѣ немногихъ пьесъ, дошедшихъ до насъ изъ этого периода развитія, есть строфы съ народными мотивами,

1) См. выше, стр. 26 слѣд.

діалогами, откровеннымъ настроениемъ любви и инициативой женщины. Она не стысняется признаніемъ; такъ у фонъ-Кюренберга: «Когда я стою одна, раздѣтая (*in mînem hemede*), и раздумаюсь о тебѣ, благородный рыцарь, краснѣю, какъ роза на шипу, и на сердце ложится печаль» (M. F. 8, 11 сл.); «Поздно ночью стояль я у твоего ложа, говорить ей ея милый, и не рѣшился разбудить тебя. — Да накажеть тебя Господь, вѣдь я не медвѣдь какой», отвѣчаетъ она (ib. 7, 9 слѣд.). Она страдаетъ предчувствіемъ разлуки, жалуется на людей, помѣшавшихъ ея счастью (ib. 7, 19 слѣд.; 9, 13 слѣд.); холила сокола-молодца, а онъ отлетѣлъ: Господь да сведетъ тѣхъ, кто любитъ другъ друга (ib. 8—9, 33 слѣд.). Такимъ пожеланіемъ, встрѣчающимся въ одной старо-португальской пѣснѣ, кончается пѣсенка, попавшая въ серію приписанныхъ фонъ-Кюренбергу. Въ другой, анонимной, либо обозначенной именемъ Дитмара von Aiste, мотивъ сокола поставленъ иначе: дама смотрить вдали, поджидаетъ своего милаго, сѣтуетъ: другія завидуютъ ей, отнимутъ его; пролетаетъ соколь, и сама она начинаетъ завидовать его свободѣ: ему вольно выбрать дерево, на которое опуститься (l. с. 37, 4). Но она бываетъ и назойлива не въ мѣру: пѣсня фонъ-Кюренберга начинается такимъ же общимъ мѣстомъ, какъ и одна изъ предыдущихъ: «Поздно ночью стояла я на забралѣ, слышала, какъ въ толпѣ статный рыцарь пѣлъ — на напѣвъ Кюренберга. Онъ будетъ моимъ; коли — нѣть, пусть покинеть этотъ край». «Подай мнѣ скорѣй моего коня, дай мою броню, говорить (конюху) рыцарь: придется мнѣ покинуть этой край изъ-за одной дамы. Хочеть она приневолить меня къ любви, пусть же останется безъ нея навсегда» (l. с. 8, 1 слѣд., 9, 29 слѣд.).

| Пѣсни Дитмара von Aiste, Meinloh von Sevelingen, бург-^{250—97} графа Регенсбурга и др. принадлежать къ тому же лирическому стилю. Дѣйствующія лица: рыцарь и дама, *frouwe*, но она зоветъ его *friunt* (*ami*) *geselle*, *trût* (*druz*), *heilt*, онъ ее *friwendin*; желанія выражаются реальныя: обнять, приласкать, провести счастливую ночь (*bî ligen, umbevangen, guote naht*); о томъ говорить жен-

щина; въ альбѣ Дитмара фонъ Эйстъ она будить своего дружка: уже птичка взлетѣла на вѣтви липы, надо разстаться; нѣть любви безъ горя, lieb âne leit mac niht gesin, говорить онъ, уѣзжая. Въ нѣмецкой альбѣ, Tagelied, удержалась на сторонѣ женщины инициатива страсти, когда въ другихъ лирическихъ родахъ уже воцарился новый идеалъ любви, хотя и позже, въ пору расцвѣта Minnesang'a, реализмъ народной пѣсни продолжаетъ отзываться у Вальтера фонъ-деръ-Фогельвейде, Нейфена, и др.

Какія дѣйствительныя отношенія рыцарского быта отразила эта лирика? Ставлю этотъ вопросъ въ виду недавней попытки Бергера спасти пѣломудріе нѣмецкаго рыцаря, доказавъ, въ противорѣчіи со всѣми другими изслѣдователями, что культь чужой жены, главное вѣроученіе романскаго кодекса любви, коснулся Германіи лишь стороною, что здѣсь рыцари любили только незамужнихъ женщинъ съ цѣлью брака, а если и замужнихъ, то по памяти о юношескомъ увлеченіи дѣвшкой, ставшей потомъ женой другого. Это сдѣлало бы честь нѣмецкимъ рыцарямъ, если бы оправдывалось фактами, но не спасло бы Бергера отъ необходимости сосчитаться съ такими выраженіями, какъ bî ligen и т. п., обычными въ лирикѣ, еще мало тронутой романскимъ вліяніемъ. Я становлюсь здѣсь на точку зрењія Бергера, не увидавшаго своихъ собственныхъ противорѣчій: «нельзя заключать по темамъ фаблѣ обѣ огульности женской «злобы», по современному французскому роману — о небрежности общества, говорить онъ въ одномъ мѣстѣ; эту мѣрку надо было перенести и на средневѣковую лирику и не защищать нѣмецкую нравственность, а объяснить себѣ условность нѣкоторыхъ поэтическихъ формулъ, которыя и при самомъ зарожденіи могли выражать скорѣе желаемое, чѣмъ реальное, и далѣе удержаться въ обиходѣ среди общественныхъ отношеній, при которыхъ это реальное еще менѣе было возможно».

Нѣмецкая рыцарская лирика древняго типа еще идетъ въ колеѣ народной, перенимая ея образы и положенія, чувственно свѣжая и непосредственная; въ вопросахъ любви женщинѣ при-

надлежить здоровая, дѣятельная роль въ предѣлахъ извѣстной равноправности съ | мужчиной. Затѣмъ положеніе менѣется: 251—98 женщина какъ будто вышла изъ живого общенія чувства, повышена надъ нимъ, мужчина имъ порабощенъ. Роли дѣйствующихъ лицъ переставились, измѣнилось и пониманіе любви: она становится идеальнѣе, абстрактнѣе, несмотря на материальныя формы выраженія. Мы во второй порѣ нѣмецкаго *Minnesang'a*.

Возможно ли было выйти къ этому новому пониманію средствами старой нѣмецкой лирики фонъ-Кюренберга и его сверстниковъ — отвѣтить на это трудно: развитіе нарушено было вліяніемъ лирики Прованса и воспитанной на ней французской. Этимъ не устраивается предположеніе, что уже пѣсни Кюренберга, какъ и *troulied* австрійскихъ рыцарей, о которыхъ говорить Генрихъ von Melk (около 1160—1170 годовъ) могли испытать раннее вліяніе романскихъ образцовъ (черезъ сѣверную Италію и Фріуль, по мнѣнію Шёнбаха), овладѣть ихъ условной фразеологіей, наприм., понятіемъ «служенія», встрѣчающимся и въ нѣмецкихъ строфахъ *Carmina Burana*. Но воздействиѳ это не тронуло, повидимому, идеального содержанія чувства; оно измѣнилось, когда непосредственное вліяніе Прованса и Франції водворило новый кодексъ любви, сложившійся въ средѣ культурнаго романскаго рыцарства и настроившій его поэзію. Дѣло идетъ не о зарожденіи нового этическаго взгляда на женщину, что считаются существенною заслугой именно нѣмецкаго *Minnesang'a*, а о расширеніи и обогащеніи мужскаго идеала любви. Это не весенній порывъ, не одно колебаніе желаній и удовлетвореній, а нѣчто болѣе полное, охватывающее весь душевный строй, выводящее чувственность къ идеальности аффекта, дающее радость и горе высшаго порядка; нѣчто такое, къ чему стоять стремиться, что не дается захватомъ, а надо приобрѣсть трудомъ и мольбой, служеніемъ той, кто свободно располагаетъ правомъ снизойти или отвергнуть. Въ семье права были на сторонѣ мужа, дѣвушка рыцарского класса показывалась въ люди, но состояла подъ охраной сословнаго этикета, далекая отъ деревенской свободы; прежде всего — объектъ

брака. Когда чувство настроилось на тему «служенія», оно естественно найдеть для своего выраженія бытовую формулу: любимая женщина будетъ сюзереншѣй того, кто ищетъ ея взаимности; не своя жена, ибо она при сюзеренѣ мужѣ, а жена другого, независимая, полноправная. Головная, утопическая формула, вызванная сословною эволюціей чувства, Формула, которой могли отвѣтить, порой и отвѣчали, дѣйствительныя отношенія жизни, но которая вовсе^{99—252} не предполагаетъ ихъ въ основѣ, какъ точку отправленія; | къ лирикѣ она приладилась, заполнивъ ее, какъ формула «желаемаго». Разница между нею и условно-символическими образами нашего поэтическаго языка лишь въ томъ, что ея обхватъ былъ шире, что она обняла цѣлую область духовныхъ интересовъ, стоявшихъ на очреди развитія, и послужила ихъ анализу. Схема «служенія» разработалась до мелочей чертами феодальныхъ нравовъ и обычаевъ: дама — сюзерень, рыцарь — вассалъ, онъ ея подданный, обязанный ей неизмѣнноѣрностью, оберегающій ея честь, свою и ея тайну — и въ словарь новой лирики входятъ такие термины, какъ *dominei*, *gonnoi*, *dienen*, *under-tân* и т. п., что напоминаетъ Фразеологію римскихъ элегиковъ: *domina*, *servire*. Отношенія и обороты старой пѣсни получаютъ въ этой обстановкѣ новый колоритъ. Образный параллелизмъ народныхъ запѣвовъ обратится въ формулу, мы сказали бы, въ музыкальную прелюдию *Natureingang'a*. Когда-то любящіе видѣлись ночью украдкой и разставались, лишь только птицы или ночной сторожъ подадутъ вѣсть, что свѣтаетъ; теперь сцена переселилась въ замокъ, гдѣ дама сердца живетъ подъ строгой охраной (*huote*), окружена соглядатаями (*merkere*; *losengiers* — *lugenaere*), и въ рыцарскую альбу входить новое идеальное лицо, — пріятеля влюбленныхъ, стоящаго на стражѣ и предупреждающаго ихъ, что пора разойтись. — Птица-вѣстникъ народной пѣсни перешла и въ рыцарскую, но чаще является посланецъ (*Bote*); это шло къ обстановкѣ. Далѣе являются образы, подсказанные аллегоріями Физіолога, чтеніемъ Овидія; условные выраженія получаютъ права гражданства: складывается особый стиль, отвѣчающій но-

вому настроению чувства, которое раскрывается въ своихъ тайникахъ, разбирается по мелочамъ, съ неизбѣжными повтореніями и настоятельностью. Надъ понятіемъ реальной любви, спустившейся къ значенію низменной, выступаетъ идеалъ чистой, возвышенной любви (*fin amor, amistat fina, hohe Minne*), облагораживающей человѣка, очищающей его вождѣнія, поднимающей его духъ (*hochgemuet*) надъ волненіями плоти къ чему то, что мы готовы назвать симпатіей сердца, платонической дружбой, Безъ нея не заслужить милости Божіей, поетъ Вальтеръ фонъ-деръ-Фогельвайде: никогда она не ютится въ лживомъ сердцѣ и такъ угодна небу, что я молю ее — показать мнѣ туда путь (81, 25). Ее-то надо воспитать въ себѣ, къ ней стремиться, по ней томиться — и въ фразеологію лирики входятъ слова: *senen, klag-en, kumber*; такое чувство довлѣеть самому себѣ, служить себѣ объектомъ: все дѣло въ радостномъ самоощущеніи, въ наслажденіи мыслью, желаніемъ (*wân, gedanke, gedinge*), | психи- 253—100 ческимъ процессомъ, раскрывающимъ въ насъ новую духовную цѣнность. Кѣмъ онъ вызванъ — можетъ быть безразлично: «поступай въ услуженіи дамы такъ, чтобы и другимъ это было по сердцу; тогда, можетъ статься, иная осчастливить тебя, если эта не пожелаетъ» (Walter v. d. Vogelweide, 93—34). Зачѣмъ любите вы столькихъ рыцарей, столькимъ юношамъ дарите вѣнки? спросилъ Филиппъ англійскій мадонну Лизу; она отвѣчала: Я люблю многихъ, какъ могла бы любить и одного, и люблю одного такъ, чтобы мнѣ можно было любить себя и того болѣе.

Естественное, реальное чувство невольно прорывалось въ абстракціяхъ *fin amor*, требуя исхода, выражаясь ярко и откровенно, порой угрозами; его устраниютъ, съ нимъ борются, но съ нимъ играютъ, идуть ему на встрѣчу въ увѣренности побѣды, побѣды не легкой. Это настраивало элегически страстью, поднимало самосознаніе; въ такой жертвѣ есть доля сладострастія. Мистики баюкали себя чувственными образами, которымъ давали духовный смыслъ, но они отрѣшились отъ свѣта; рыцарская любовь отвлекалась отъ чувственности къ сознанію другихъ, нрав-

ствено-эстетическихъ отношеній, но они не ладили съ спросами темперамента и условиями быта. Все это грозило формализмомъ. Сюзеренша сердца не подняла значенія женщины: попрежнему она юридически безправна, существо низшаго разряда, предметъ грубаго вожделѣнія, вызываетъ шутку и злословіе и соблазнительный анекдотъ. Она царитъ въ мірѣ условнаго чувства, и если сумѣеть овладѣть имъ, привлечь симпатіи, сама проникается со-зnanіемъ предоставленныхъ ей правъ, своего преимущества передъ мужчиной, принимаетъ его служеніе, какъ должное, сдер-живаетъ его порывы, созидаeтъ салонные нравы. Это женщина-формула рыцарской лирики, окруженнaя нерѣдко фиктивною дѣй-ствительностью; моментъ самоанализа для поэта, занятаго своимъ чувствомъ, бѣдѣющимъ съ собою: діалогизмъ, естественно раз-вивавшійся въ отношеніяхъ народной пѣсни, долженъ быть спу-ститься къ значенію риторического общаго мѣста. Разумѣется, милая поэта — красавица; она тонеть въ цвѣтующихъ сравненіяхъ; у Вальтера фонъ-деръ Фогельвейде пьеса въ 50 стиховъ занята описаніемъ ея физическихъ прелестей (52, 23), что опять напо-минаетъ римскихъ элегиковъ; другая обременяетъ ее семью эпи-тетами подъ рядъ (*edeliu, reine, wolgekleidet, wol gebunden, ho-velichen, hochgemiuot, umbesehend ein wêne*). Она обуяла душу и тѣло поэта, онъ молить о взаимности, клянется, колеблется между надеждой и отчаяніемъ, служить долго, напрасно, безплодно;

254—101 порой | она склоняется къ нему, настроена страстно, чаше остается неприступною, враждебною: существенная, типическая черта фор-мулы служенія, безъ которой поэтъ былъ бы какъ безъ рукъ. У средневѣковыхъ лириковъ есть серіи любовныхъ пѣсенъ, слагаю-щихся какъ бы въ личный романъ; нѣть нужды искать въ нихъ непремѣнно отраженія дѣйствительности, исторіи встревоженного кѣмъ-то сердца; этого мы не станемъ требовать и отъ современ-наго романа; что поражаетъ — это преобладаніе рецепта, въ ко-торомъ доля влюбленныхъ заранѣе опредѣлена, дама сердца ико-нографически условна и неподвижна. Ограниченный кругозоръ рыцарского пѣвца не въ состояніи оживить ее.

Таковъ былъ идеалъ любви, наполнявшій средневѣковую лирику и романъ: такое-же выраженіе сословной личности, какъ рыцарская этика, поскольку она не опредѣлена была вліяніемъ церкви, какъ рыцарское вѣжество (*courtoisie*), какъ понятіе чести и культь подвига ради подвига, устремлявшагося въ безцѣльную даль авантюры. Во всемъ этомъ были элементы нравственного прогресса, но они вызывали рядъ противорѣчій высокородной любви съ отношеніями семьи, физiологiи съ отвлеченнымъ чувствомъ, грубости нравовъ съ куртуазiей, личнаго героизма съ наростающими вопросами общественности и политики. Все это уживалось въ предѣлахъ культурнаго класса, въ сословномъ досугѣ; кое-что, новое и идеальное, переходило въ практику жизни, но чаще мирилось съ ней, какъ мирится фантастика съ дѣйствительностью, не поднимая вопроса о противорѣчiяхъ. Фантастическая автобiографiя Ульриха фонъ-Лихтенштейнъ наивно играетъ ими; романъ-формула, въ которомъ выразились отрицательные итоги сословнаго идеализма.

Когда рыцарство пало, какъ живая сила, спустилось къ уровню салона и турнира (Фруассаръ) или кулачнаго права, обнаружилась односторонность его этическаго содержанія, и его лирика изсякла въ перепѣвахъ. Непосредственный реализмъ народной пѣсни, къ которой прислушивался Вальтеръ фонъ-деръ-Фогельвейде, не послужилъ ей источникомъ обновленія; Нейдгарть шаржируетъ ее, создается искусственный родъ пастурели, вышедшиi изъ амебейныхъ сценокъ обрядовой поэзіи; народностью балуются, играютъ въ *paysannerie*. Чѣмъ-то архаически печальнымъ вѣтъ отъ виртуозныхъ пѣсенокъ Карла Орлеанскаго, продолжавшаго, въ пору англiйскаго погрома, играть въ головное чувство, воспитанное въ сословной замкнутости; и въ то-же время у другого изъ послѣднихъ рыцарскихъ пѣвцовъ, Освальда фонъ-Волькенштейнъ, слышится народная, реальная струя. | Признаки времени: наслѣдiе 255—102 рыцарской этики и куртуазiи переходитъ въ другiя руки, усваивается формально или содержательно. Мы входимъ въ новую сословную эволюцiю поэзіи.

Въ XIV вѣкѣ вновь раздается, во Франціи и Германіи, давно забытая народная пѣсня; ее записываютъ, ей подражаютъ; намъ говорятъ о возникновеніи ея особаго литературнаго жанра, къ которому примкнула, будто бы, традиція современной народной пѣсни съ ея бытовыми рыцарскими мотивами и фразеологіей. Передатчиками могли быть непосредственно бродячіе пѣвцы, но, быть можетъ, и культурная буржуазія: она переняла вѣжество рыцаря, знакома съ его лирикой, и вмѣстѣ съ тѣмъ близка къ народу и его пѣснѣ; то и другое могло объединиться въ обиходѣ буржуазной семьи; въ этой то сферѣ создались нѣмецкія Hof-и Gesellschaftslieder, переселившіяся далѣе на площадь и въ деревню.

Это вызываетъ рядъ вопросовъ. Несомнѣнно вліяніе поэзіи культурныхъ классовъ на народную тамъ, гдѣ эта двойственность существовала, что было, напримѣръ, во Франціи, Германіи и Италии, и чего не было у насъ; но необходимо отличить, что именно было заимствовано и что вернулось, какъ старое наслѣдіе, пережившее на сторонѣ извѣстную культурную эволюцію и только давшее новыя формы тому, что было и не забывалось. Когда, напримѣръ, въ XV вѣкѣ и позже народная нѣмецкая пѣсня и пѣсня народнаго стиля говорятъ о завистникахъ (*neider*), сплетникахъ, доносчикахъ (*klaffer*), всегда готовыхъ помышшать чужому счастью, то это — мотивъ, навязывавшійся повсюду: о сплетникахъ, завистникахъ говорить Катулль, греческія пѣсни о сосѣдяхъ — зложелателяхъ (*γείτονες, κακοθελητάδες*), русская пѣсня о пересудахъ, ворогахъ, которые брешутъ, какъ рыцарская лирика о *losengiers, lugenaere, merker*. Но нѣмецкая народная пѣсня знаетъ и о «служеніи» дамъ сердца, дѣвушкѣ, ибо «сюзеренша» исчезла вмѣстѣ съ условіями соответствующаго быта:

Ich dient ir frue und ganz mit trewen
Demselben frewelein,
Ich dient ir in allen reien
Biz auf das ende mein;

либо:

Mein feins lieb wolt mich leren
Wie ich im dienen soll.

Отголоски ли это рыцарского служения, или выражение отношений, самостоятельно возникших в народном быту на смешную тёхъ, которыхъ такъ ярко отражаются въ пѣсняхъ, напримѣръ, 256—103 весенняго цикла? Отвѣтить трудно; еще не написана исторія мужскаго идеала любви въ народныхъ пѣсняхъ и бытѣ, стоявшихъ вдалекъ отъ воздействиій культурныхъ классовъ и воспитаннаго ими чувства. Намъ говорять о женской «долѣ», не о мужской куртуазіи. Въ ней несомнѣнно совершался прогрессъ, опредѣленный тѣми или другими условіями. Слѣдующіе примѣры отведутъ насъ далеко за предѣлы средневѣковой европейской лирики, но они не безынтересны съ теоретической точки зренія. Намъ знакомъ эротизмъ, сохранившійся въ переживаніяхъ старыхъ весеннихъ обрядовъ; въ теченіе времени онъ смягчился до формъ болѣе абстрактныхъ и идеальныхъ: церковь преслѣдовала древнія русаліи, но не отказывала въ своеемъ освященіи явленіямъ побратимства и посестримства; народное кумовство связываетъ явленія бытового и церковнаго порядка. Далѣе пошелъ сванетскій линтурали, несомнѣнно вышедшій изъ обрядового принятія въ родѣ — къ формамъ служенія дамъ, близко напоминающімъ рыцарское. Линтурали¹⁾ — это обрядъ, устанавливающій родственныя отношенія между сыномъ и сванеткой, замужней или девушкой, и дающій первому право служить послѣдней; отношенія понимаются не въ смыслѣ побратимства, а какъ бы между сыномъ и матерью. Получивъ согласіе дамы, ея родителей или мужа, сванъ отправляется въ означенный вечеръ въ ея домъ, въ сопровожденіи друга; его встречаютъ съ почетомъ и угождаютъ; хозяинъ и всѣ присутствующіе поднимаютъ чаши съ водкой и про-

1) См. мою замѣтку въ *Кавказѣ* 1897 г. № 152: Сванетскій линтурали и рыцарское служеніе дамъ.

сять Бога благословить линтурали; послѣ этого сванъ преклоняетъ колѣна и голову передъ дамой и, въ знакъ неизмѣнной преданности, спрашивается: ему ли прикоснуться зубомъ къ ея груди, то-есть ему ли быть ея отцомъ, или ей быть матерью. Въ послѣднемъ случаѣ обожатель разстегиваетъ ей платье и, насыпавъ на ея грудь соли, прикладывается зубомъ трижды, повторяя: Ты мать, я сынъ. Обрядъ завершается поцѣлуемъ, а на другой день обмѣномъ подарковъ, послѣ чего между мужчиной и женщиной устанавливается кровное родство: они бывають другъ у друга, даже спять вмѣстѣ, но пока никто не сомнѣвался въ чистотѣ ихъ отношеній. Обычай этотъ зовется «христіанство» (ликрисдъ); муро, которымъ помазывали новыхъ родственниковъ, сваны доставали когда то отъ своихъ жрецовъ, а тѣ получали его отъ христіанскихъ священниковъ.

104—257 | Прикосновеніе къ груди — символъ молочного родства по кормилицѣ или, какъ здѣсь, по фиктивной матери; такого рода связь устанавливалася и молочное братство и посестримство; символомъ побратимства, какъ и средневѣкового compagnonage и рыцарства, было еще общеніе крови. Сванъ и сванетка скрѣпляли свой союзъ поцѣлуемъ, какъ клятвой, и поцѣлуемъ скрѣплялись такія же отношенія между рыцаремъ и дамой, ленная присяга — поцѣлуемъ и передачей перчатки. Самое название обычая («христіанство») указываетъ на вмѣшательство церкви, освятившей и болѣе широкія явленія побратимства и рыцарского обряда. Вездѣ одни и тѣ же требованія нравственной чистоты, готовность къ одинаковому искусу: сванъ и сванетка спять вмѣстѣ, не помышляя о чемъ бы то ни было грѣховномъ; провансальскія и итальянскія дамы XII—XIII вѣковъ дозволяли своимъ поклонникамъ проводить съ ними ночь, обязавъ ихъ клятвенно не требовать отъ нихъ ничего, кромѣ поцѣлуя. Идеалъ сюзеренши такая же гарантія неприкосновенности, какъ фиктивная мать сванетскаго любовнаго союза. Невольно подсказываетъ и еще одна параллель изъ Gérard de Roussillon: жена императора Карла отдаетъ свою любовь графу Жерару при свидѣтеляхъ; символомъ союза была пе-

редача перстня; «и всегда была между ними любовь, и никогда не было ничего дурного».

Народная пѣсня могла отразить тѣ или другія стороны рыцарской лирики, но могла и отдать ей, отражая самостоятельный прогрессъ народнаго быта, нѣкоторые основные мотивы, которымъ оставалось развернуться въ обиходѣ рыцарства и въ идеализации «высшей любви».

На почвѣ буржуазіи рыцарскую лирику постигла иная судьба. Въ Германіи горожане овладѣли ея формами и символами, не ея содержаніемъ; формы они хранять съ суевѣрнымъ почетомъ, кропотливо разрабатывая ихъ технику въ своихъ пѣсенныхъ цехахъ; французская поэзія XIV—V вѣковъ вводить и новые поэтические виды, дотолѣ незнакомые, но все дѣло сводится къ постановкѣ определенныхъ лирическихъ типовъ, къ филигранной чеканкѣ стиха и виртуозному сплетенію риѳмъ. Всему этому надо было учиться, поэтическое дѣло стало цеховой наукой, *art et science de rhétorique*, не отвѣчавшей ни вѣяніямъ новаго времени, ни настроенію пріютившой поэзію среды. Нѣмецкая буржуазія живеть по Домострою; семейная и хозяйственная, дѣловая и набожная, она настроена къ серьезному назиданію и заглядываетъ въ книжки; элементъ дидактики и религіозности, уже предъявлявъ 258—105 шійся въ рыцарской и духовной лирикѣ, выступаетъ теперь на первый планъ; культу дамы нѣть мѣста въ жизни. Въ концѣ XIV и началѣ XV вѣка Іоганнъ Гадлаубъ разсказываетъ о своей любви, зародившійся съ дѣтскихъ лѣтъ, какъ въ дантовской *Vita Nuova*; это — переживаніе рыцарской Формулы; муки любви для Гадлауба то же, что непосильный трудъ угольщика или повозчика. Либо поднимается педантскій споръ между майстеромъ Фрауенлобомъ и Регенбогеномъ: какое название почетнѣе — *Weib* или *Frau?* — Въ противорѣчіяхъ содержанія и формы — причины обѣднѣнія поэзіи въ Германіи и Франціи XIV—XV вѣковъ; во Франціи оно ощущается не столь рѣзко, многое искупаєтъ Виллонъ, поэтъ городской богемы, но нѣмецкій *Meistersgesang* производить впечатлѣніе почтеннаго буржуа въ потертой салонной

одеждѣ. — На почвѣ Италии, среди горожанъ, богатыхъ образовательнымъ преданіемъ, развивавшимъ самосознаніе личности, при эстетическомъ досугѣ и не увядавшемъ античномъ культѣ красоты, возможно было усвоеніе формъ и идеаловъ: сициліанская лирика, отблескъ провансальской, перекочевала въ Тоскану, восприняла здѣсь реализмъ народной пѣсни и настроенія классической культуры, и изъ этой весенней встрѣчи вышелъ *il dolce stil piuovo*, Данте и Петрарка. *Canzoniere* такой же не-реальный романъ, какъ любовныя признанія средневѣковыхъ поэтовъ; Лаура такой же типъ, въ которомъ слились многія, живыя и фантастическая Laуры: поэтическое обобщеніе всего, что поэтъ пережилъ и способенъ былъ пережить въ области своего аффекта. Но этотъ аффектъ сталъ содержательнѣе, тоньше, разнообразнѣе; типъ женщины оживаетъ чѣмъ-то, что мы назовемъ личнымъ началомъ. Возрожденіе повторило чудо Пигмаліона. Начинается новое групповое выданіе, надолго опредѣлившее содержаніе и формы лирики европейской.

VIII.

Эпосъ и лирика представились намъ слѣдствіями разложенія древняго обрядового хора; драма, въ первыхъ своихъ художественныхъ проявленіяхъ, сохранила весь его синкретизмъ, моменты дѣйства, сказа, діалога, но въ формахъ, упроченныхъ культомъ, и съ содержаніемъ миѳа, объединившаго массу анимистическихъ и демоническихъ представленій, расплывающихся и не дающихъ обхвата. Культовая традиція опредѣлила большую устойчивость хоровой, потребовала и постоянныхъ исполнителей: 106—259 не всѣмъ дано было знать разнообразіе миѳовъ, и обрядъ, который отбывался родомъ, держась въ преданіи старшихъ, переходилъ въ вѣдѣніе профессиональныхъ людей, жрецовъ. Они знаютъ молитвы, гимны, сказываютъ миѳъ или и представляютъ его; маски старыхъ подражательныхъ игръ служатъ новой цѣли: въ ихъ личинахъ выступаютъ дѣйствующія лица религіознаго

сказанія, боги и герои, въ чередованіи речитатива, діалога и хорового припѣва.

Такъ можно теоретически представить себѣ развитіе драмы. Выходъ изъ культа будетъ моментомъ ея художественного зарожденія; условія художественности — въ очеловѣченномъ и человѣчномъ содеряніи миѳа, плодящемъ духовные интересы, ставящемъ вопросы нравственного порядка, внутренней борьбы, судьбы и отвѣтственности.

Такова греческая трагедія. Иначе сложится драматическое дѣйство, вышедшее изъ обрядового хора: оно ограничится мифологическою или эпической темой, разбитой на діалоги, съ аккомпаниментомъ хора и пляски (Индія), либо разовьется, въ непосредственной близости къ обряду, рядъ бытовыхъ сценокъ, слабо связанныхъ или и не связанныхъ его нитью. Таковъ типъ ателланъ и южно-италіанского мима. На всѣхъ стадіяхъ этого развитія мы встрѣтимъ слѣды старого хорового состава, иногда болѣе ясные тамъ, гдѣ мы всего менѣе ихъ ожидаемъ, запутанные тамъ, гдѣ, казалось бы, близость къ обрядовому источнику должна была гарантировать ихъ большую сохранность. Вмѣшательство посторонняго преданія затемняетъ порой ходъ естественной эволюціи, но вездѣ ставятся вопросы, бросающіе на нее свѣтъ. Укажу хотя бы на различія въ общественномъ положеніи актеровъ.

Начну съ сибирской «медвѣжьей драмы»: она всего ближе къ началу развитія, еще колеблется между обрядомъ и культомъ.

Празднства въ честь медвѣдя принадлежать къ распространеннымъ среди инородцевъ западной и восточной Сибири, у гиляковъ, айно, и др.; связаны они съ обычнымъ у нихъ почитаниемъ медвѣдя, какъ существа, одаренного божественной силой и мудростью, сына неба или верховнаго бога (остяки, ногулы); съ древнимъ, нѣкогда широко раскинутымъ, во всякомъ случаѣ до-эллинскимъ культомъ, удержавшимся въ обиходѣ аттическихъ Бравроній, въ залежахъ европейскихъ повѣрій и суевѣрій, по-

выхъ и старыхъ, вызывавшихъ когда-то обличенія церкви¹⁾). Что 107—260 сохранилось въ Европѣ какъ отрывочныя переживанія, вошло эпизодически въ составъ греческаго человѣченаго миѳа, то объединяется для нась на инородческой почвѣ въ самостоятельный циклъ вѣрованій и обрядовъ, въ ихъ различныхъ этапахъ, отъ охотничьяго праздника съ подражательной игрой до культового дѣйства съ божественнымъ героемъ-медвѣдемъ въ его центрѣ.

Ибо медвѣдь — звѣрь священный, говорить преданіе. Жилъ онъ когда-то у Нуки Торумъ, на небѣ, въ золотомъ его домѣ, въ переднемъ углу на кухнѣ. Разъ Нуки пошелъ на охоту; удаляясь, заперъ медвѣдя, предупредивъ его, чтобы онъ дверей не ломалъ а сидѣлъ бы дома. Сидѣлъ медвѣдь, надоѣло ему; подошелъ къ дверямъ, попробовалъ ихъ — заперты; сталь напирать, замокъ и сломался; испугался сначала, но потомъ видѣть — бога нѣть; вышелъ изъ дома и отправился гулять. Гулялъ долго, — все одно и то же: лѣсу нѣть, одна только трава; скучно стало; вдругъ видѣть божихъ лошадей, побѣжалъ къ нимъ, хотѣль съ ними поиграть, а тѣ испугались и бросились въ сторону, онъ за ними. Вдругъ оглянулся; смотрѣть — яма, внизу виднѣются многочисленные лѣса и воды; захотѣлось ему туда, а нельзя, дороги нѣть. Бился медвѣдь долго, но ничего не добился; разсердился, пошелъ домой и по дорогѣ сталь все ломать; приходитъ и прежде всего разорвалъ свою постель. Вдругъ слышитъ — возвращается богъ подходитъ къ дому и такъ сильно отрясаетъ лыжи, что самъ говоритъ: «Если бы не сынъ мнѣ ихъ дѣлалъ, давно бы онъ у меня сломались». Входитъ въ домъ, видѣть беспорядокъ, спрашивается медвѣдя, уже смирно сидѣвшаго въ углу: «Это что?» Тотъ волей не волей долженъ быть сознаться, какъ все было, только извинилъ себя тѣмъ, что ему ужъ очень надоѣло сидѣть, онъ и пошелъ. Разсердился на него богъ, обругалъ его, затѣмъ надѣлъ фартукъ и стала изъ старыхъ ножей, топоровъ, лопатъ приго-

1) См. Разысканія, вып. IV, стр. 447 слѣд., прим. къ стр. 131—2, 133, прим. 2; стр. 170—1, 184—7.

товлять цѣнь, длинную, въ триста сажень, сдѣлалъ затѣмъ изъ бересты люльку, посадилъ туда медвѣдя, который во все время приготовительныхъ работъ дрожалъ отъ страху, и подвелъ его къ отверстію, видѣнному медвѣдемъ; спустилъ туда люльку и подвѣсилъ ее такъ, чтобы она земли не касалась, и вѣтеръ свободно качалъ ее изъ стороны въ сторону, для чего поднялъ сильную бурю. Отъ этого медвѣдя закачало до того, что когда богъ на третій день подошелъ къ отверстію и спросилъ медвѣдя, каково ему живется, онъ немедленно сказалъ: «Какъ тебѣ не стыдно надо мной смѣяться? Я и такъ чуть живъ!» Послѣ этого богъ смило-
вался и говорить: «Это я тебѣ въ наказанье. Тѣперь же я ис- 261—108
полню твое желаніе, спущу тебя на землю, только смотри, не
ѣшь ничего изъ человѣческихъ амбаровъ, а то отошашь и по-
гибнешь; если исполнишь приказаніе — то будешь жирнымъ;
поручить тебѣ рыбу и другіе запасы въ амбарахъ нельзя, потому
что ты будешь ихъ раззорять и даже людей убивать».

Спустился медвѣдь, обѣщая исполнить приказаніе, но лишь
только увидѣлъ человѣческий амбаръ, какъ взломалъ его и сталъ
ѣсть все, что тамъ только было. Слѣдствія такого непослушанія
обнаружились скоро: онъ отошаль до того, что еле стала ходить.
Увидала его разъ россомаха, спросила, отчего онъ такой худой,
и посовѣтовала быть послушнымъ; лишь только онъ исправился
и пересталъ трогать человѣческіе запасы, опять стала жирнымъ.
На зиму онъ сдѣлалъ себѣ по указанію бога домъ-берлогу въ
землѣ и питался тѣмъ, что сосалъ особый комочекъ, полученный
нимъ отъ бога при спусканіи его на землю. Жилъ онъ такъ долго,
питаясь ягодами и корнями, но и ему насталъ конецъ: разъ уви-
далъ его богатырь Узынъ-одыръ-пыхъ, убилъ его и даже на-
глумился надъ нимъ, употребивъ переднія лапы, какъ метелки
для пола и очага, заднія — какъ лопатки, а всей шкурой стала
замыкать чувалъ. Оскорбилась на это тѣнь медвѣдя, пошла въ
лѣсъ и привела съ собой новыхъ десять медвѣдей. Богатырь пе-
ребилъ ихъ, а затѣмъ и другихъ, приведенныхъ поочередно въ
количество 20, 30 и 40. Тогда пришелъ 51 медвѣдь, изъ кото-

рыхъ послѣдній былъ пестрый. Это былъ именно тотъ, котораго спустили съ неба: Нуи Торумъ позволилъ его тѣни принять прежній видъ и быть вѣчнымъ обитателемъ земли, почему его и до сихъ поръ видѣть иногда на Уралѣ. Богатырь 50 медвѣдей убилъ, но пестраго одолѣть не могъ; испуганный, онъ спрятался въ амбаръ, потомъ въ домъ, но медвѣдь разметалъ то и другое. Запросилъ тутъ богатырь прощенія: «Не зналъ я, что богомъ положено почитать медвѣдей, да по правдѣ сказать, и теперь не совсѣмъ вѣрю; если хочешь это доказать, сѣѣшь этотъ топоръ». Думалъ онъ, что медвѣдь обломаетъ себѣ всѣ зубы, но этого не случилось: топоръ былъ весь изгрызенъ, а богатырь, несмотря на обѣщаніе жить мирно, растерзанъ.

О происхожденіи приведенныхъ медвѣдей разсказывается легенда, знакомая и по другимъ, европейскимъ версіямъ: о человѣкѣ, обращенномъ въ медвѣдя силой проклятія. Будто въ одномъ селеніи на землѣ жила женщина съ сыномъ, который былъ такъ силенъ, что еще въ малолѣтствѣ, съ кѣмъ ни начиналь играть, непремѣнно всякаго обидить, а иногда и убить. Мать 109—262 просила его, приказывала | быть осторожнымъ, наконецъ, выведенная изъ терпѣнія, прокляла. Богъ услышалъ это проклятіе; разъ когда парень пошелъ гулять, и собаки стали бросаться на него съ страшнымъ лаемъ, онъ увидѣлъ, оглядѣвъ себя, что сталъ медвѣдемъ. Когда онъ вернулся домой, и мать бросилась отъ него бѣжать, онъ остановилъ ее и назвался; стала она плакать и просить бога о прощеніи, затѣмъ принялась упрекать сына, зачѣмъ довелъ онъ ее до того, что она его прокляла. Разсердился онъ тутъ, зарычалъ: «Молчи, еслибы ты не была мнѣ матерью, я растерзалъ бы тебя!» Поцѣловалъ ее и ушелъ навсегда въ лѣсъ, гдѣ нашелъ себѣ подругу изъ богатырскихъ дочерей, превращенную въ медвѣдицу за избѣніе, по злости, всѣхъ своихъ братьевъ; зажилъ онъ съ нею и прижилъ дѣтей, такъ что теперь медвѣди являются потомками той четы. Какъ и спущенного съ неба, такъ и превращенныхъ Нуи Торумъ сдѣлалъ представителями истины и справедливости на землѣ: «Ѣшьте

только тѣхъ людей и тотъ скотъ, которые въ чемъ либо провинились, и на которыхъ вамъ будетъ указано, другихъ же не трогайте, ибо сами погибнете». Не мудрено поэтому, что всякий, сознающій за собою грѣхъ, невольно дрожитъ при встрѣчѣ съ медвѣдемъ; тѣмъ не менѣе всякий стремится на охоту за нимъ, хотя и со страхомъ, но вмѣстѣ и съ тайною надеждой, что богъ пошлетъ ему такого медвѣдя, который согрѣшилъ чѣмъ нибудь, и котораго богъ рѣшилъ наказать, а исполнителемъ этого наказанія изберетъ его, угоднаго себѣ человѣка. Кромѣ того богъ разрѣшилъ медвѣду мстить тѣмъ людямъ, которые при жизни или по смерти будутъ надѣяться насмѣхаться или оказывать малое почтеніе: хотя и убитый, онъ все видѣть и слышать; вотъ почему каждый инородецъ, убившій медвѣдя, бѣется изо всѣхъ силъ, чтобы только доказать, что онъ любить и уважаетъ его, разсчитывая, что всѣ знаки проявленія этихъ чувствъ вознаградятся ему потомъ стопроцентно; задобриваешь онъ его, извиняется, что убилъ, говоря: «Ты прости меня и не суди строго, вѣдь убилъ тебя не я, а русскій: отъ него я получилъ ружье, порохъ, свинецъ, я же тебя всегда любилъ и уважалъ»; и въ доказательство этого устрою празднество въ твою честь».

Таковы представлѣнія о божественномъ медвѣдѣ; ихъ двойственность указываетъ на среду, не вышедшую еще изъ борьбы съ природой, не выяснившую себѣ нравственныхъ принциповъ въ постоянной борьбѣ животнаго страха съ животнымъ же эгоизмомъ. Въ небѣ царитъ Нури Торумъ и водворяетъ истину и справедливость, но онъ понимаются наивно-лицемѣрно: медвѣду позволено пожирать лишь | тѣхъ, кто чѣмъ нибудь погрѣшилъ, 263—110 какъ нашъ Юрий указываетъ волкамъ «повелѣнную» имъ добычу; и наоборотъ, туземецъ успокаиваетъ себя, что также убилъ виновнаго въ чемъ-нибудь звѣря. Его боятся, клянутся надѣю его лапой и мордой, женщины, обходя его слѣдъ, оставляютъ на немъ, въ видѣ жертвы, хотя бы нѣсколько волосъ, а убивъ, заѣряютъ въ любви, и сами боги приходятъ увѣриться, какой почетъ воздаютъ ему люди. Въ сценахъ медвѣжьяго праздника

они являются эпизодически; его драматизмъ выросъ въ преданіяхъ теріоморфического обряда и культа.

Главная охота на медвѣдя, «хозяина земляного дома», бываетъ осенью, но и весною и лѣтомъ. Когда медвѣдь убитъ въ берлогѣ, его вытаскиваютъ, закидывая обязательно арканъ на шею, и начинаютъ бросаться снѣгомъ или мохомъ и землею, съ цѣлью взаимнаго очищенія. Затѣмъ уже приступаютъ къ снятію шкуры, для чего предварительно на грудь и брюхо убитаго звѣря кладутъ пять или четыре (если убитая — самка) поперечныя палочки, означающія застежки верхней одежды (ягушки), которыя разрѣзаются, какъ будто развязываютъ застежки: представление, напоминающее обутаго теленка Діонисовскаго обряда на Тенедосѣ. Сдираютъ шкуру со всего тѣла, за исключениемъ головы и переднихъ лапъ, гдѣ оставляютъ ее съ конца пальцевъ до костевыхъ сгибовъ. Когда шкуру и мясо привезутъ въ домъ, женщины устраиваютъ въ переднемъ углу, какъ наиболѣе почетномъ мѣстѣ, ложе для убитаго: шкура разстилается на скамьѣ или нарахъ, подъ нее подкладываютъ деревянныя перекладины, три для самца, двѣ для самки; морда располагается между лапъ, и передъ нею ставятъ нѣсколько оленыхъ изображеній изъ хлѣба или бересты; на глазахъ прикрѣпляются серебряныя монеты, на конецъ морды надѣвается берестянный кружокъ, на пальцы кольца, если убитая самка, монеты и намордникъ, потому что женщины недостойны смотрѣть медвѣдо въ глаза и цѣловать его въ губы, чтѣ продѣлываютъ мужчины, а если цѣлюютъ, то черезъ платокъ; поэтому онъ и лицо закрываютъ платкомъ, когда увидятъ медвѣдя. Когда его вносятъ въ жилье, подъ порогъ обыкновенно кладутъ топоръ.

Затѣмъ приготовляютъ все къ празднству, совершающему всегда по ночамъ, такъ какъ боги преимущественно въ это время посѣщаются землю и такимъ образомъ могутъ видѣть, какъ почитается тѣнь убитаго звѣря. Очищаются помѣщеніе въ жильѣ, достаются изъ запасовъ рыбу и мясо, водку и табакъ; даются знать сосѣдямъ о счастливой охотѣ. Собирается иногда до 60—

100 человѣкъ, приглашенныхъ или нѣть. Празднства продол- 264—111 жаются не менѣе трехъ дней, если убитый — молодой медвѣдь, четырехъ, если самка, пяти, если самецъ, но нерѣдко празднуютъ двѣнадцать ночей, смотря по состоятельности охотника. Если подъ конецъ у хозяина не хватить запасовъ,сосѣди приносятъ, что могутъ, безъ отдачи. Иногда шкура переносится въ другой домъ, даже неучастника охоты, если онъ человѣкъ со средствами.

Сходятся и сѣзжаются въ сумерки. Охотникъ, убившій медвѣдя, сидить у него по правой сторонѣ и лѣвую руку держитъ у него на шѣѣ; по лѣвой сидятъ играющіе на сангульданѣ, музыкальномъ инструментѣ въ видѣ длиннаго узкаго ящика, обыкновенно изъ ели, съ пятью струнами, большею частью изъ оленыхъ жилъ; при игрѣ его кладутъ на колѣни и перебираютъ струны сразу обѣими руками, при чемъ звукъ получается въ высшей степени мягкой и мелодичной. Всѣ одѣты въ лучшія одежды; всякаго, въ первый разъ вступающаго въ домъ, гдѣ лежить медвѣжья шкура, обливаютъ водой или осыпаютъ снѣгомъ, съ цѣлью очищенія; входящіе прикладываютъ къ медвѣдю, а кому случится выйти изъ помѣщенія, тотъ выходитъ, пятясь.

Празднство заключается въ пѣніи, пляскѣ, представленияхъ и угощеніи. Представляютъ всегда мужчины; если надо изобразить женщину, то надѣваютъ женскій костюмъ и стараются, по мѣрѣ возможности, подражать женщинѣ въ походкѣ, голосѣ и движеніяхъ. Число участвующихъ рѣдко бываетъ болѣе трехъ; они всегда надѣваютъ на лицо маски, преимущественно берестяные и рѣдко деревянныя, большею частью грубоватой формы; на этихъ маскахъ красною краской (нэрпѣ) или котельною сажею дѣлаются брови, усы и борода; иногда къ носу или къ подбородку подвязываются какіе нибудь кружечки и треугольники и т. д., при чемъ носы дѣлаются самые уродливые. Назначеніе масокъ — скрывать лица играющихъ отъ медвѣдя, потому будто бы, что хотя онъ и любить увеселенія, но не терпить нахальства, оттого и нельзя плясать, смотря ему въ глаза. Костюмы играющихъ

обычные, только нѣсколько измѣненные, вывернутые, съ при-
дѣланнымъ горбомъ, и т. д.; говорять обыкновенно не своимъ
голосомъ, и хотя всѣ присутствующіе, по крайней мѣрѣ теперь,
отлично знаютъ, кто играетъ и кто какъ одѣтъ, ни одинъ изъ
нихъ не можетъ называть участвующихъ ихъ именами, а какими
нибуль вымыщленными; даже участники, по отношенію другъ къ
другу, строго это соблюдаются. Говорить и дѣлать имъ разрѣ-
шается | положительно все: ихъ личность на время представления
забывается и даже не вспоминается послѣ, остается только слава
хорошаго актера, и эта свобода доходитъ до того, что какой
нибуль родовой старшина, который строго наказалъ бы въ иное
время человѣка, осмѣлившагося указывать на его поборы и не-
похвальныя дѣянія, теперь долженъ наряду со всѣми выслуши-
вать всѣ насмѣшки и нападки, иногда въ высшей степени мѣткія,
не смѣя ничѣмъ ихъ остановить. Подобныя остроты бывають
направлены и на другихъ присутствующихъ, которыхъ пароди-
руютъ на сценѣ, и на это сердиться не полагается, артисты
пользуются полною свободой движеній и выраженій, потому что
считаются не простыми людьми, а особенными, способными при-
нимать видъ того или другого представляемаго ими лица. Царить
грубая шутка, циническая выходки, и публика принимаетъ въ
ней живое участіе, вступая въ разговоръ съ актерами.

Всякая ночь начинается съ пѣнія: трое мужчинъ въ шапкахъ,
или вообще съ покрытою головой, становятся передъ медвѣдемъ,
отвѣсивъ ему низкій поклонъ, берутся мизинцами за руки и, все
время размахивая ими, начинаютъ пѣть. При окончаніи каждой
пѣсни, одинъ изъ почетныхъ гостей, сидящій по лѣвой руку отъ
медвѣдя, звонить въ колоколецъ, либо ударяетъ палкой въ метал-
лическую доску, послѣ чего дѣлается короткій промежутокъ для
отдыха пѣвцовъ, и слѣдуетъ вторая пѣсня и т. д.; если убитый
медвѣдь самецъ, то поютъ иногда до 5-ти пѣсенъ, при самкѣ до
4-хъ, при маленькомъ медвѣдѣ ограничиваются и двумя, но
обыкновенно бываетъ три.

Пѣснями кончается первая половина ночи, послѣ чего слѣ-

дуется угощениe хозяиномъ всѣхъ присутствующихъ. Вторая половина состоить изъ представлениe отдѣльныхъ сценъ вперемежку съ плясками.

Во время пѣнія музыки не бываетъ, всѣ молчатъ и слушаютъ съ глубокимъ вниманіемъ; поютъ безъ масокъ и костюмовъ, поющіе иногда мѣняются мѣстами, такъ какъ поетъ главнымъ образомъ лишь стоящій въ срединѣ, остальные ему подтягиваются; когда средній устаетъ, его замѣняетъ или одинъ изъ крайнихъ, или кто-нибудь изъ присутствующихъ.

Мотивъ пѣсенъ довольно разнообразный, то живой, то медленный, то страстный, то монотонный, то веселый, то грустный. Послѣ окончанія послѣдней пѣсни пѣвцы иногда сами начинаютъ плясать, только подъ музыку, взявъ въ обѣ руки по платку, которымъ постоянно машутъ. Поютъ про медвѣдя, какъ онъ гулялъ 266—113 по лѣсу, какъ нашелъ себѣ подругу, какъ сдѣлалъ берлогу; про его прежнюю жизнь на небѣ и на землѣ; про богатырей и прежнее славное время, когда не было пришельцевъ и всего было вдоволь—и звѣря, и птицы, и рыбы; поютъ про боговъ, про ихъ любовь и ненависть другъ къ другу и ихъ отношеніе къ людямъ. Пляски промежъ пѣсенъ приоровлены къ ихъ содержанію, подражательны: если поютъ про медвѣдя, то подражаютъ ему, если про лѣшихъ (мэнковъ), то имъ, съ сильными тѣлодвиженіями, присвистомъ, топотомъ, какъ то дѣлаютъ, по мнѣнию инородцевъ, лѣсныя божества. При началѣ и окончаніи каждой пляски, пѣсни и представлениe отдаются низкій поклонъ медвѣдю, какъ при входѣ въ жилье. Между отдѣльными сценами пляшутъ не только мужчины, но и женщины съ дѣтьми, закрывая лицо платкомъ и втягивая руки въ рукава, чтобы не показать медвѣдю нагого тѣла; во время пляски у женщинъ руки всегда согнуты въ локтяхъ и немного приподняты пальцами кверху; они поднимаются ихъ и опускаются въ тактъ музыкѣ. Послѣ каждой сцены представляющіе немногого пляшутъ, но затѣмъ ихъ замѣняютъ другіе.

Когда въ послѣднюю ночь выносятъ шкуру медвѣдя, убившій

его спрашиваетъ его вслухъ или на ухо, скоро ли и кѣмъ будетъ опять убить медвѣдь, при чемъ называетъ охотника по имени; если скажетъ вѣрно, то шкура поднимается съ мѣста легко. Происходить и другія гаданія.

Шкуру выносятъ въ тундру или лѣсъ, но женщины при этомъ не участвуютъ; онѣ бросаются снѣгомъ или обливаются водой и варятъ предоставленный имъ медвѣжій задъ; остальное мясо уже съѣдено на празднество, мужчины въ полѣ готовятъ себѣ голову, сердце и лапы; костей не дробятъ, а разнимаютъ по суставамъ. Все ненужное отъ туши бросаютъ въ огонь, а черепъ вѣшаютъ на дерево въ увѣренности, что медвѣдь въ благодарность за оказанныя ему почести будетъ приносить счастье всѣмъ присутствующимъ на празднество.

Представленій, сопровождающихъ медвѣжье празднество, бываетъ по нѣсколько на каждую ночь; на послѣднюю приходятся обязательно такія, гдѣ дѣйствующими лицами выступаютъ боги, призываляемые какъ бы въ свидѣтельство хорошаго обращенія съ медвѣдемъ. Въ центрѣ, очевидно, стоялъ онъ, основой была охотничья мимическая игра, разнообразившаяся въ своихъ эпизодахъ, но сюжеты ея постепенно разрастались, мимика касалась 114—267 другихъ сторонъ быта, переходила въ паясничество; вторгались схемы сказки и потѣшныя, бытовыя, заставляющія забывать о серьезной сути празднества.

Начнемъ съ медвѣдя.

Входить на лыжахъ, какъ бы издалека, трое мужчинъ, видѣть много собравшагося народа, удивляются и спрашиваютъ, что ихъ сюда привело. Одинъ изъ зрителей отвѣчаетъ: развѣ они не знаютъ, что такой-то убилъ медвѣдя, шкура его лежитъ тутъ же въ помѣщеніи, а они собрались воздать ему послѣдній долгъ? Пришедшіе въ началѣ не понимаютъ, смѣшиваютъ слова, острятъ, но затѣмъ, увидѣвъ шкуру, бросаются къ выходу, давя другъ друга; ихъ уговариваютъ, останавливаютъ, они понемногу начинаютъ подходить, но все-таки дрожатъ, нѣсколько разъ опять уѣгаютъ, двое даже не возвращаются, а третій остается и со-

страхомъ и трепетомъ подходитъ къ медвѣжьей шкурѣ и осторожно щѣлуетъ морду.

Въ другой сценкѣ два охотника набрели на берлогу; они никогда не видали медвѣдя, но одна умная старуха научаетъ ихъ, что это за звѣрь, котораго они добываютъ и свѣжуютъ. Медвѣдя представляетъ дубинка, покрытая малицей.

Либо является на лыжахъ инородецъ-хвастунъ: онъ никого не боится, для него нѣть ничего страшнаго. Видить медвѣдя, спрашивается, что это такое; ему говорять, что это звѣрь священный, а онъ бѣть его по щекѣ. Зрители въ ужасѣ, предсказываютъ ему всякия несчастія, а онъ и въ усь себѣ не дуэтъ и продолжаетъ храбриться. Вдругъ онъ останавливается на полусловѣ, оборачивается, смотрить себѣ подъ ноги. Что съ нимъ? спрашиваютъ его; онъ ничего не видить, но къ чему-то прислушивается, оглядывается и, наконецъ, обратясь къ зрителямъ, просить спасти его отъ враговъ, которые бѣгаютъ у него промежъ ногъ. Всѣ вглядываютъ, видятъ небольшую мышь и смеются; но пришедшему оттого не легче, онъ просить защиты, падаетъ на колѣни и молитъ убить мышь и дать ему пожить еще немного. При этомъ онъ сознается, что всего боится и далеко не такъ храбръ, какъ говорить. Зрители прощаются, и начинается общая пляска.

Отецъ, мать и сынъ плывутъ на лодкѣ по рѣкѣ. Сынъ выпросился на берегъ, обѣлся черемухи и умеръ. Стали его старики продувать спереди и сзади, но ничего не помогло. Отецъ сдѣлалъ гробъ и пошелъ съ нимъ отыскивать укромное для него мѣсто; идетъ и поетъ про то, какъ разъ одинъ старикъ заблудился въ лѣсу, какъ незамѣтно провалился въ медвѣжью берлогу и какъ ему, испуганному, | медвѣдь сталъ давать въ руки 268—115 какой-то комокъ; слышалъ онъ отъ старииковъ, что богъ медвѣдямъ на зиму даль комокъ, который тотъ и сосетъ всю зимнюю пору и такимъ образомъ не умираетъ съ голоду. Сталъ старикъ лизать свой комокъ, полизаль и заснуль. Черезъ нѣкоторое время проснулся и вновь полизаль, повернулся на другой бокъ и про-

снулся лишь тогда, когда подъ него стала течь вода. Видить, весна настала, берлога покрыта водой, а медвѣдя и слѣдъ простыль. Вышелъ изъ берлоги и думаетъ, куда ему идти; вдругъ видитъ вдали медвѣдя, который манитъ его къ себѣ; пошелъ за нимъ и черезъ нѣсколько времени вышелъ на дорогу, по которой и добрался до дому.—Пока стариkъ пѣлъ эту пѣсню, не замѣчая усталости, неся гробъ; потомъ сѣлъ отдохнуть, вынулъ сына изъ гроба, отрубилъ ему ноги и понесъ; затѣмъ поочередно, когда тяжело становилось, онъ отрубаетъ ему туловище, руки по локти, голову, а затѣмъ бросиль и все остальное; остался только гробъ. Приходитъ стариkъ на мѣсто, а жена, обогнавъ его, уже тамъ; захотѣлось ей еще разъ взглянуть на сына, а въ гробу его нѣть. Мужъ показываетъ удивленное лицо и говоритъ, что, навѣрно, Нуи Торумъ взялъ ихъ сына на небо; жена вѣритъ и, на радостяхъ, начинаетъ плясать вмѣстѣ съ мужемъ.

Въ другихъ сценахъ женщина выдѣлываетъ шкуру соболя и при этомъ поетъ, какъ соболь живеть въ лѣсу, выводить дѣтей, учить ихъ ловить добычу и избѣгать западней. Либо изображается воръ на рыбномъ самоловѣ, попавшійся на крючекъ; человѣкъ, принимающій свою тѣнь за нѣчто живое, удивляющійся подражательнымъ движеніямъ; отмахивающійся во снѣ отъ комаровъ.

Затѣмъ мы вступаемъ въ область анекдота и бытовой шутки. Самоѣдъ увозить жену остыка, у котораго былъ въ гостяхъ, опьянивъ его особымъ напиткомъ изъ мухоморовъ. Либо молодой инородецъ посватался за дочь старика, жившаго неподалеку, но ни разу не удавалось ему увидѣть ея лицо, потому что она постоянно закрывалась платкомъ. Взмолился онъ къ Нуи Торумъ и просить помочь горю. Поѣхалъ онъ опять; какъ поднимется вѣтеръ, сорвалъ платокъ съ дѣвушки, и женихъ ахнуль, увидѣвшись безобразіе. Онъ повернуль лодку и давай грести; гребеть и оглядывается, не нагоняютъ ли его, и дома еще отплевывается и насмѣхается надъ собой и невѣстой, а бога благодарить за спасеніе отъ такой жены.

Въ одной пьесѣ выведенъ дуракъ; младшій изъ обычной въ сказкахъ троицы братьевъ. Попросился онъ съ ними на охоту и все дѣлаетъ навыворотъ. Не умѣетъ навьючить нарту, тянетъ ее въ обратную сторону, когда ее потащили братья; ему велять снѣгъ разбирать, а онъ сталъ въ лицо бросать; велять дровъ нарубить, а онъ имъ ноги попортилъ; попортилъ и ужинъ. Поколотили его братья. Когда на другой день они пошли лѣсоватъ, младшій сталъ потихоньку дѣлать сангульданъ. Вечеромъ братья принесли кто со болей, кто бѣлокъ, а младшій рассказалъ, что у него глаза разбѣжались, столько онъ увидѣль звѣря, да не удалось ничего убить. Съ ужиномъ повторилось то же; пришлось братьямъ поѣсть одной сухой рыбы. Когда они снова ушли на охоту, дурачекъ додѣлалъ сангульданъ и спряталъ въ снѣгъ; на другой день, оставшись дома одинъ, онъ игралъ на немъ вплоть до разсвѣта. Побѣжалъ на ночлегъ, а братья уже спятъ; на слѣдующій разъ онъ проигралъ всю ночь; стали его искать братья, не медвѣдь ли его сѣять; вдругъ одинъ изъ нихъ слышитъ: кто-то вдали играетъ. Свистнуль другому брату, но этотъ свистъ услыхалъ и играющій, испугался, бросился прятать свой сангульданъ, но зрители увѣряютъ его, что то не свистъ, а вѣтеръ; при второмъ свистѣ его успокоили, что то скрипнули его лыжи. Наконецъ братья подкрались, схватили дурачка и стали требовать сангульданъ. Въ началѣ онъ не отдавалъ, потомъ уступилъ; принялись они играть — ничего не выходитъ, а когда заигралъ младшій, такъ заигралъ, что всѣ пустились въ плясъ.

Я счелъ нужнымъ подробнѣе остановиться на описаніи медвѣжьяго праздника, потому что на немъ можно рельефно прослѣдить зарожденіе культовой драмы (если позволено примѣнить это название къ сценическимъ эпизодамъ, приведеннымъ выше) изъ обрядового хора, назначенаго повліять на усилѣнность охоты. Въ основѣ это такое же мимическое дѣйство, какъ «буйоловая пляска» сѣверо-американскихъ индійцевъ, привлекающая буйловъ на оставленныя ими равнины; напомню такую же австралийскую игру, изображающую облаву на стадо, охоту за звѣремъ,

свѣжеваніе туши и т. д.; одна изъ сценокъ медвѣжьей драмы представляется аналогическое содержаніе. Древнія драматическая части обряда еще легко выдѣлимъ изъ-подъ позднѣйшихъ на-слоеній: хоръ, съ солистомъ во главѣ, пѣль про медвѣдя, про его жизнь въ лѣсу и на небѣ, и т. п.; пѣль, подражая въ плясѣ его тѣлодвиженіемъ. Къ этимъ сюжетамъ пѣсень пристали другіе, сродные, и границы мимического дѣйства расширились; то и другое дало содержаніе отдѣльнымъ сценамъ, съ особыми исполнителями, актерами. Они не профессиональные, и ничто, повиди-
117—270 мому, не указываетъ на ихъ | специальную связь съ культомъ; между отдѣльными сценами они сами пляшутъ, что, быть можетъ, указываетъ на ихъ отношенія къ пляшущему хору, изъ которого и выродилась сценическая часть обряда; они въ постоянномъ общеніи съ зрителями, вмѣшивающимися въ ихъ дѣйство. И вмѣстѣ съ тѣмъ они поставлены какъ-то особо, принимаются на время игры новыя имена, считаются не простыми людьми, а способными представлять другое лицо, можетъ быть, вѣрнѣе: являться другимъ лицомъ, богомъ, демономъ. Мимическое дѣйство имѣло цѣлью вызвать участіе въ людскихъ дѣлахъ нездѣшней силы, и можно представить себѣ, что въ раннюю пору культовой драмы грань между подражаніемъ и объектомъ терялась, драма становилась заговоромъ въ лицахъ, на что я указалъ уже, говоря о начаткахъ религіозной драмы у некультурныхъ народовъ. Оттуда употребленіе масокъ: онѣ могли служить цѣлямъ подражанія, затѣмъ культа, выдѣляя извѣстныя лица изъ общенія толпы: если намъ говорять, что маски медвѣжьей драмы назначены скрыть лица играющихъ отъ медвѣдя, не любящаго нахальства, то такое объясненіе едва ли не позднее, этіологическое. На точкѣ зреїнія такого отождествленія становится понятно и свобода слова, безвозбранно предоставленная актерамъ и удержанвшаяся за ними по наслѣдству.

Этотъ элементъ мы встрѣтимъ въ культовыхъ началахъ греческой драмы и въ южно-индійскомъ аграрномъ обрядѣ въ честь мѣстной сельской богини. Обрядъ этотъ состоить въ животныхъ

жертвахъ, между прочимъ, въ закланії священнаго буйвола; въ немъ участвуютъ и брахманы, но руководятъ имъ туземцы не арійскаго происхожденія, паріи и другія презрѣнныя у брахмановъ касты; являются и танцовщицы изъ касты паріевъ, Asádi или Dásasi, служащія во храмѣ богини, при нихъ музыкантъ, Ранига, играющій роль скомороха, буффона. Когда въ послѣдній день праздника совершался торжественный обходъ общепаріевъ шолей, съ преднесеніемъ изображенія богини и буйволовой головы, наступалъ моментъ разнуданности, смѣнявшій серьезные моменты культа: Ранига осипалъ нареканіями богиню и власти, деревенскаго старшину и всякаго встрѣчнаго, такъ что отъ него откупались какою-нибудь мелкою подачкой; паріи и Asádi нападали на самыхъ почтенныхъ обывателей, на брахмановъ, лингамтовъ и замандаровъ, танцовщицы вскачивали имъ на плечи, пастухи били въ барабаны. Все это служило катарзису чувства, приподнятаго торжественнымъ актомъ и разнуданно выражавшагося въ противорѣчіяхъ; зародилось въ связи съ культомъ, заражало 271—118 зрителей и принимало иной традиціонный колоритъ: въ Элевзисѣ, во время празднованія мистерій, когда предшествовавшая имъ процессія проходила по мосту на Кефиссѣ, колкости и язвительныя насмѣшки сыпались на ея участниковъ; фаллофоры Діонисовскаго обряда — носители безцѣльной шутки, но и сатиры, не участники культа, а зрители изъ толпы, за ними свобода слова; материалъ для зарожденія греческой комедіи.

Изученіе народной обрядности современной Индіи въ ея драматическихъ элементахъ, вѣроятно, прольетъ свѣтъ на начала индійской драмы въ ея отношеніяхъ къ культу и, вмѣстѣ, на развитіе эпоса; то и другое вызываетъ не мало теоретическихъ вопросовъ. И здѣсь точкой отправленія была поэзія хорового обряда съ мимическою пляской, пѣсней-сказомъ и діалогомъ. «Пляска приятна богамъ, ея безконечно свободныя движения какъ бы воспроизводятъ міровую гармонію; подъ ея вѣчный ладъ пляшеть властелинъ, пляшетъ Ума» (Málavikâgnimitra 4). Шива плясунъ, это его особенность, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ патронъ актеровъ;

санскритское название для драмы: *nâtya* указывает на такой синcretизмъ; *lâsyâ* = пляска обнимаетъ понятіе пѣсни и речитатива. Соединеніе всѣхъ трехъ хорическихъ элементовъ встрѣчается па почвѣ культа: нѣкоторые гимны Ригведы построены амбейно, съ чередованіемъ хоровъ или пѣвцовъ; число перепѣвающихся не превышаетъ трехъ. Въ одномъ гимнѣ Индра бесѣдуетъ съ Марутами, и въ концѣ вторгается пѣвецъ, слагатель пѣсни. Такіе гимны стояли виѣ культового обихода, ихъ ставили въ особую категорію діалоговъ, легендарныхъ разсказовъ; Ольденбергъ предполагаетъ, что въ основѣ лежалъ разсказъ такого именно содержанія, не получившій опредѣленной поэтической формы, но онъ забытъ, сохранились лишь діалоги дѣйствующихъ лицъ, боговъ и святыхъ, обработанные рапсодомъ. Именно указаніе, что такого рода гимны стояли виѣ культа, говорить, быть можетъ, за ихъ болѣе древнее происхожденіе: я имѣю въ виду одинъ изъ моментовъ выдѣленія эпической пѣсни изъ чередованія пѣвцовъ обрядового хора, смѣнявшихъ другъ друга и діалогически развивавшихъ одну какую нибудь традиціонную тему, не входя въ подробности, не гоняясь за связью легенды, всѣмъ понятной изъ суггестивныхъ недомолвокъ лирико-эпической пѣсни. Мы знаемъ уже, что индійскій эпосъ исполнялся въ такомъ именно чередованії¹⁾; соотвѣтствующіе діалогическіе гимны Ригведы были бы доказательствомъ ранняго вторженія въ культь эпическо-драматического сказа, сложившагося до культового обихода. Съ точки зрѣнія обособившагося драматического рода, имя эпического, дружинного пѣвца, сказывавшаго діалогически, естественно переходило къ значенію игреца, актера; нѣкоторые жанры индійской драмы, въ родѣ *vyâgoga*, не что иное, какъ легенда, въ началѣ воинственного содержанія, разбитая на сцены; одинъ изъ условныхъ говоровъ, употребляемыхъ въ драмѣ классической поры, *mâgadhi*, ведеть, быть можетъ, свое начало отъ *mâgadhas*, древнихъ эпическихъ пѣвцовъ, славившихся по всей Индіи.

1) См. выше стр. 68.

То, что мы можемъ назвать типомъ индійской драмы, какъ она сложилась до Калидасы, сводится, въ сущности, къ такой же обработкѣ эпического сюжета съ лирическими партіями, участіемъ музыки и мимической пляски. Если все это не привело къ драматической разработкѣ положеній и характеровъ, то это зависѣло оть сущности индійского міросозерцанія, не знающаго психической борьбы, а только силу предопредѣленія, увлекающаго человѣка къ той или другой участи въ силу его заслугъ или преступковъ. Здѣсь распутіе индійского и греческаго драматического развитія; въ данномъ случаѣ дѣло не въ этомъ: мы въ началѣ эволюціи формъ, и вопросъ идетъ объ отношеніяхъ драмы къ культурѣ, въ чёмъ мы усмотрѣли одно изъ условій ея художественнаго роста.

Между діалогическими гімнами Ригведы и явленіемъ драмы нѣть видимой преемственности; утрачены посредствующія звенья на мѣстныхъ діалектахъ, оставившихъ свои слѣды въ технікѣ классической поры и въ искусственныхъ, діалектически окрашенныхъ говорахъ, обязательныхъ для актеровъ, исполнявшихъ низменныя роли. Особое значеніе въ этой праисторіи драмы дается области Çurasena'овъ, гдѣ возникла и развилась религія Кришны, и его поэтическая легенда питала хоровое, мимическое дѣйство. Одинъ изъ эпизодовъ Harivanta'ы переносить настъ на почву хора и къ воспоминаніямъ орхестически исполнявшихся греческихъ мифовъ: апсарасы пляшутъ подъ звуки инструментовъ, другіе поютъ, жестикулируя, сплетаются хороводъ (*râsa*), изобрѣтенный Кришной, подражая языку, одежду той или другой стороны, изображая тѣловиженіями смерть Камсы и Праламбы и другіе подвиги Кришны, тогда какъ Муни Нарада вторгается, порой въ ихъ кругъ, всклокочивъ волосы, и смѣшить зрителей комическими выходками, представляя ихъ въ лицахъ и передразнивая.

| Другой эпизодъ той же поэмы знакомитъ настъ съ очертаніями 273—120 уже сложившейся регулярной драмы, съ началами натаки: сынъ Кришны съ товарищами является во дворецъ демона Vajranâbha'ы подъ видомъ актеровъ; они распредѣляютъ между собою роли

героя, шута, режиссера и др.; сюжеты взяты изъ цикловъ Рамаяны и Куверы; представлениe происходит во время празднества Kāla'ы въ нарочно устроенномъ для того театрѣ.

Ната́ка — типическая форма индийской художественной драмы; практика и поэтика, разработанная до мелочей, подвела подъ педантическія правила такія формы народного хорового дѣйствія, которыя мы въ правѣ вмѣнить его до-классическому, областному развитію, опираясь на параллели, знакомыя намъ изъ хоровыхъ игръ, еще бытующихъ среди некультурныхъ народовъ. Укажу, между прочимъ, на значеніе дирижера, сказывающаго молитву, являющагося въ прологѣ и въ главной партіи драмы, которую онъ руководить, выводя на сцену то или другое лицо, объясняя зрителямъ ходъ пьесы, доказывая его. Такихъ руководителей мы встрѣчали въ народныхъ мимическихъ дѣйствіяхъ и началихъ театра¹⁾; они выработались изъ древняго хорового корифея. Молитва, благословеніе въ началѣ пьесы, nândi, вводить драму въ оборотъ культа; въ Бенгалѣ молитву поетъ теперь хоръ. За нею слѣдуетъ другая, обращенная къ богу, которому празднують, съ упоминаніемъ въ ней соответствующаго времени года: быть можетъ, архаическое указаніе на древнюю пріуроченность дѣйствія къ календарному обряду. Къ этому присоединяется рядъ другихъ религіозныхъ формулъ, когда, напримѣръ, актеръ приступаетъ къ гримировкѣ и т. п. Драма вошла въ храмъ, разыгрывается въ немъ передъ статуей божества; вышла ли она изъ культового обихода, или только примкнула къ нему изъ сложившейся на сторонѣ хоровой игры — вотъ вопросъ, возбуждаемый общественнымъ положеніемъ ея исполнителей. Тѣсная связь греческой драмы съ породившимъ ее культомъ продолжается и въ эпоху ея расцвѣта: драма была почестью, которую народъ воздавалъ одному изъ своихъ божествъ; священный характеръ дѣйствія отразился и на положеніи актеровъ: ихъ профессія не заподозрѣна, они пользуются почетомъ, нерѣдко являются въ роли пословъ и т. п.

1) См. выше, стр. 15—16, 64 слѣд.

Иначе въ Индіи и Китаѣ: китайские лицедѣи представляютъ при храмахъ эпизоды изъ житія Будды, | но ихъ профессія считается 274—121 презрѣнною, въ Индіи ихъ каста изъ низшихъ, брахманы не общаются съ ними, не могутъ принимать отъ нихъ пищи, развѣ въ случаѣ большой крайности; они слывутъ обжорами, ихъ жены распутницами, которыми торгуютъ мужья; ихъ можно бить, и ихъ свидѣтельство не принимается на судѣ. Между тѣмъ они должны были обладать извѣстнымъ образованіемъ, знаніемъ литературного языка; иные водятъ дружбу съ поэтами, вхожи ко двору. Если принять въ разсчетъ почетъ, которымъ окружены были въ Индіи эпическихъ пѣвцы, бхараты, положеніе актеровъ выяснится исторически: они не сложились въ профессиональныхъ носителей дружинныхъ воспоминаній и не крѣпки культу, а примкнули къ нему съ практикой хоровой игры, какъ лицедѣи, которыхъ призывали для цѣлей религіознаго торжества. При гипотезѣ діалектическихъ народныхъ началъ индійской драмы такое объясненіе представляется вѣроятнымъ: какъ брахманы присутствовали на празднествѣ сельской богини, отбывавшемся паріями, такъ элементы народной игры воспринимались подъ сенью храма, тогда какъ надъ ея исполнителями продолжало тяготѣть иго касты.

Именно соціальное положеніе актеровъ заставляетъ насъ обратиться теперь же къ началамъ римской драмы, расцвѣтъ которой совершился подъ вліяніемъ и по стезямъ греческой. Я имѣю въ виду народныя начала, запутанныя посторонними воздействиіями,— дѣйствительными или легендарными? Аналогическія явленія въ исторії драмы вообще позволяютъ намъ разобраться въ этомъ пестромъ смѣшніи.

У насъ есть свѣдѣнія о римскихъ религіозныхъ дѣйствіяхъ драматического характера, люстрационныхъ (Луперкалі), аграрныхъ, мимическихъ, заговорныхъ (Ambarvailia) и т. п. Были и хоровые игры, съ участіемъ музыки, импровизованныхъ пѣсень, сказа и пляски, безъ выясненнаго плана: древняя сатира, настроеніе которой характеризуется литературнымъ родомъ сатиры,

выработавшимся изъ нея, какъ греческая элегія вышла изъ обрядового причитанія; между этою сатирой и греко-итальянскими *стáтирои* нѣтъ ни этимологической, ни генетической связи; возможенъ лишь вопросъ о позднѣйшемъ вліяніи. Изъ хорового дѣйствія мы всюду предположили выходъ къ пѣсенкамъ амебейнаго характера, сатирическаго содержанія (*opprobria rustica*), которыми обмѣнивались встарь (*agricolae prisci*) въ праздникъ винограднаго сбора и жатвы (*condita post frumenta*, Hor. Epist. 2, 1, 139). Говорять, что пѣсенки такого рода, фесценины, занесены были изъ этруссаго города *Fescennium*; я склоненъ понять это 122—275 такимъ | образомъ, что тамъ онѣ могли стать цѣльнымъ, моднымъ жанромъ и, какъ таковыя, повліять на формы, уже естественно развивавшіяся по стезямъ народной хоровой поэзіи. Амебейность создаетъ драматизмъ, типы, участвующіе въ бытовыхъ сценкахъ. И здѣсь намъ говорять о такомъ же перенесеніи, которое мы понимаемъ, какъ усвоеніе чужого, болѣе совершенного, своимъ встрѣчнымъ преданіемъ. Въ южной Италии, греческой и осской, изъ хоровой игры вышли интермедіи съ комическими масками, ателланы и мими, преданія которыхъ разнесутъ единоличные потѣшники, гилароды, мимоды и т. п., уже встрѣтившіеся намъ на путяхъ драматического развитія¹⁾. Ателланы и мими переселились въ Римъ; обрядовые начала первыхъ несомнѣнны: онѣ освоились на новой почвѣ и вызывали подражанія, а между тѣмъ еще въ эпоху Августа ихъ исполняли на осскомъ языке при какомъ то культовомъ дѣйствіи.

Съ этими материалами въ рукахъ мы можемъ обратиться къ показанію Ливія (VII, 2), передающаго какой нибудь древній источникъ, о началахъ римскихъ *ludi scenici*. Поводъ къ нимъ религіозный: разсказывается, что когда въ 364 году до Р. Х. настало моровое повѣтріе, вызваны были изъ Этруріи жрецы, *ludiones*, съ цѣлью умилостивить гнѣвъ неба; они плясали молча, безъ мимики, которая выражала бы содержаніе танца, но съ дви-

1) См. выше стр. 65 слѣд..

женіями, не лишенными изящества, подъ звуки флейты. Это поведение понравилось: римская молодежь стала подражать захорой пляскѣ, приоровивъ къ ней принципъ народныхъ амебейныхъ пѣсенокъ, перебрасываясь стихами въ стилѣ фесценнинъ (*inconditis inter se jocularia fundentes versibus; fescennino versu similem incompositum temere ac rudem alternis jaciebant*) и сопровождая ихъ соответствующими тѣлодвиженіями (пес *absoni a voce motus erant*). На этомъ не остановились народные игрецы (*vernaculis artificibus*), названные, отъ этрусскоаг слова *ister = ludius*, гистріонами: случайная импровизація фесценнинъ уступила мѣсто пѣснѣ съ установленнымъ текстомъ, приложеннымъ къ звукамъ флейты, и движенія пляски-сатуры подчинились определенной мелодіи. Такъ можно понять слова Ливія: *non, sicut ante, fescennino versu similem incompositum temere ac rudem alternis jaciebant, sed impletas modis saturas, descripto jam ad tibicinem cantu, motuque congruenti peragebant*. Это — страничка изъ знакомой намъ исторіи хоровой игры: въ началѣ пляска 276—123 обрядового характера съ мимическимъ, заговорнымъ дѣйствомъ, безъ словъ; затѣмъ появление текста въ импровизаціи фесценнинъ; далѣе выдѣленіе пѣсни-сказа, нормирующего движенія — и мимику хора. Судя по слѣдующему сообщенію Ливія, во всемъ этомъ не было фабулы, которая объединила бы пѣсню и дѣйство цѣльностью сюжета; сюжетовъ, положеній могло быть нѣсколько; мы уже знаемъ, что при плясовой игрѣ они развивались въ рядъ бытовыхъ сценокъ. Позднѣйшая связь сатуры съ ателланами можетъ служить косвеннымъ доказательствомъ того, что и въ ней самой существовали встрѣчные ателланамъ элементы.

На этомъ Ливій обрываетъ исторію сатуры, чтобы перейти къ Ливію Апдронику, изъ Таренга, первому, на римской почвѣ, представителю греческой драматической и спевнической традиціи. О немъ говорится, что, въ противоположность разбросанности сатуры, онъ первый рѣшился создать фабулу дѣйства (*qui ab saturis ausus est primus arguento fabulam serere*), которую пѣть единолично, изображая ее и жестами; рассказывали, что,

когда впослѣдствіи онъ потерялъ голосъ, онъ поручилъ пѣсеннюю партію мальчику, оставивъ за собой мимическую. Можетъ быть, это лишь анекдотическое объясненіе: въ исторіи хоровой поэзіи мы встрѣчали и единоличныхъ пѣвцовъ, изображавшихъ движеньями содержаніе своей пѣсни, и раздѣленіе пѣнія или музыки — отъ мимики. Андроникъ могъ внести преданіе греко-итальянского гиларода. Оно привило, говорить Ливій: стали пѣть въ аккомпанементъ, подъ руку (мимировавшимъ) гистріонамъ, предоставивъ имъ только діалогической партіи. Это раздѣленіе *canticum* и *diverbia* сохранилось въ организмѣ римской комедіи.

Нововведеніе Ливія Андроника оказалось слишкомъ серьезнымъ, продолжаетъ историкъ, возвращаясь къ позднѣйшей исторіи сатуры: не было мѣста смѣху и веселью, и воть римская молодежь снова обратилась къ традиціи фесценнинъ, и, предоставивъ гистріонамъ драму новаго типа, продолжала попрежнему перепѣваться въ потѣшныхъ импровизаціяхъ (*ipsa inter se more antiquo ridicula intexta versibus jactitare coepit*), примкнувшихъ къ ателланамъ и въ этомъ видѣ явившихся въ роли экзодій, комическихъ пьесъ, слѣдовавшихъ за серьезными драмами, какъ въ Греціи сатировская драма вѣнчала трилогію.

На эту связь съ ателланами, раскрывающую древній составъ и народно-сценические элементы сатуры, указано было выше. Подтвержденіемъ этихъ соображеній можетъ служить и слѣду-
124—277 ющее: драма | предоставлена была гистріонамъ, она — захожая, не своя, ея исполнители, взымавшіе мзду, безправны, *infames* (August. De Civ. Dei I. II c. 13; Cornelius Nep. praef.; Quintil. De Inst. orat. I. III c. 16; Digest. De his qui notantur infamia I. II, par. 5), въ ателланахъ же участвовала лишь полноправная римская молодежь, не исключавшаяся изъ трибовъ и не лишавшаяся права военной службы (Liv. I. c.). Безправность римскихъ гистріоновъ объясняется аналогіей съ индійскими: они не прошли черезъ освящающую стадію культа, какъ ихъ греческие собратья; особое положеніе исполнителей ателланъ (и сатуры) указываетъ на переживаніе забытаго преданія, на обрядовое дѣйство,

которое отбывали когда то члены семьи и рода, община. Въ сибирскомъ медвѣжьемъ празднике актеры — охочіе люди.

Народная начала римской драмы, освобожденная отъ нѣкоторыхъ легендъ, входитъ такимъ образомъ въ картину общей драматической эволюціи. Греческое вліяніе не дало имъ доразвиться самостоятельно; мы перехватимъ прерванную нить на почвѣ Греціи.

Здѣсь первые шаги яснѣе; мы, разумѣется, не знаемъ, какъ слагалось обрядовое дѣйство въ ту пору религіознаго сознанія, которую мы можемъ возстановить лишь по слѣдамъ и намекамъ и — аналогіи съ зооморфическимъ характеромъ сибирской медвѣжьей драмы. Когда греческое міросозерцаніе вышло къ человѣкоподобнымъ, если не всегда гуманнымъ, богамъ и создало о нихъ разсказы, развивавшіеся въ уровень съ общественно-нравственнымъ сознаніемъ, измѣнилось и содержаніе культовой драмы, съ миѳомъ въ центрѣ, мѣстнымъ или общимъ, характеризовавшимъ дѣянія и сущность того или другого божества. Выше мы говорили о мимическихъ пляскахъ такого содержанія¹⁾; къ нимъ примкнули дѣйства торжественно-культового характера. Въ Критѣ представляли рожденіе Зевса; на Самосѣ, въ Кносѣ на Критѣ и въ Аєинахъ — бракосочетаніе Геры съ Зевсомъ; въ Платеѣ отбывали Δαιδაλα; мальчикъ, обносившій въ Танагрѣ, въ праздникъ Гермеса, ягненка вокругъ городскихъ стѣнъ, изображалъ самого бога; въ Дарнефоріяхъ ѡессаліи и Беотіи ряженому въ костюмъ Аполлона сопутствовалъ хоръ дѣвъ; въ Дельфахъ, въ первый день празднованія, молодой человѣкъ, одѣтый Аполлономъ, въ блестящей туникѣ, пѣль, играя на киарѣ, про свою победу надъ Пиѳономъ, которая и представлялась съ возможною реальностью; на другой день | сюжетомъ 278—125 мимической пляски былъ діонисовскій миѳъ — оживленіе Семелы, — и другой, приставшій къ нему по содержанію: самоубийство Харилы. Сюжеты дѣйства разrostались по смежности

1) См. выше стр. 16 слѣд..

культовъ и соединенныхъ съ ними легендъ: Аполлона и Діониса въ Дельфахъ, Діониса и Деметры въ Элевзисѣ. Въ послѣднемъ случаѣ къ смежности присоединилось и внутреннее сродство религіозныхъ представлений: тамъ и здѣсь земледѣльческій, календарный миѳъ, въ стилѣ тѣхъ, которые мы разобрали въ связи съ миѳомъ Адониса. Зимой замираетъ производительная мощь природы, весной возстаетъ къ новой жизни; Діонисъ страдаль и умиралъ, чтобы воскреснуть; Персефону-Кору похищалъ Плутонъ, когда она собирала цвѣты; печальная Деметра ищетъ дочери, весной она снова вернется на землю. Въ большихъ мистеріяхъ Элевзиса въ Воедроміонѣ (сентябрь — октябрь) орхестически исполнялись сцены похищенія, исканія и возврата; о малыхъ, приходившихъ въ Аноестеріонѣ (февраль — мартъ) у насъ мало свѣдѣній, но, очевидно, культовые *προχαριστήρια* были выражениемъ благодарности за возвращеніе Коры-Персефоны изъ царства мертвыхъ. Съ нею возвращались на этотъ свѣтъ и маны, временно оживавшіе, на страхъ живущимъ. Въ празднествахъ такого рода, гдѣ идеи жизни и смерти смынялись въ разномъ чередованіи, моменты сбѣтования естественно соединили съ откровенными символами творческой силы и фаллическаго веселья. Понятно взаимодѣйствіе діонисовскаго и элевзинскаго культовъ и дѣйствій: Діонисъ — Якъ занялъ въ послѣднемъ мѣсто подлѣ Деметры и Персефоны, его сдѣлали даже сыномъ Деметры, въ мистеріяхъ представляли его рожденіе, орхестически изображали уходъ за новорожденнымъ (Lucian, De salt. 39), какъ въ Дельфахъ тіады будили въ колыбели малютку Діониса въ то время, какъ жрецы изъ коллегіи *δυτῶν* приносили жертву у его гробницы (Plat. de Isid. Os. 35). Жизнь плодила смерть, возникшая изъ нея и снова къ ней возвращаясь; срѣзанный колось, который въ послѣднюю ночь большихъ мистерій гіерофантъ показывалъ мистамъ среди благоговѣйной тишины, символически обобщалъ идеи земледѣльческаго миѳа, невольно переносившіяся на явленія общественной и личной жизни, гдѣ также смына паденій и возникновеній, незаслуженнаго торжества и

страданія, не успокаивала мысль непререкаемостью природнаго процесса, а поднимала тревожные вопросы о назначениі человѣка, о предопределѣленіи и отвѣтственности, ихъ противорѣчіяхъ и возможности ихъ примиреніи и равновѣсія въ сознаніи, въ жизни за гробомъ. Эзотерическая таинства Элевзиса, доступныя | 279—126 лишь посвященнымъ, пытались отвѣтить на эти вопросы, символически раскрывая идеи зла и добра, вины и возмездія. Неофитовъ вводили въ область мрака и тишины, нарушавшейся порой страшными звуками или видѣніемъ адскихъ чудовищъ и мукъ, ожидающихъ грѣшниковъ, а затѣмъ разливался въ темнотѣ ночи яркій солнечный свѣтъ, и посвящаемые приносили поклоненіе сіяющимъ ликамъ божества.

Эзотерическое ученіе таинствъ обобщило содержаніе миѳа; идеи промысла и долга, судьбы и вмѣняемости преобразили его содержаніе, и въ немъ раскрылись сюжеты для драмы душевныхъ конфликтовъ. Всѣ наши помыслы, рѣшенія, страсти внушены божествомъ, говорило старое повѣрье; руку Ореста направилъ на мать Аполлонъ, убійцу матери преслѣдуютъ Эринии — и онъ страдаетъ невольно; Федра полюбила пасынка по наущенію Афродиты, избравшей ее орудіемъ своей мести противъ Ипполита, — и мы сочувствуемъ Федрѣ. Родовая связь, вызывавшая родовую отвѣтственность и, въ практикѣ жизни, месть за месть, тяготѣвшую надъ поколѣніями, отложилась въ понятіе родовой вины, искупаемой потомками, судьбы, пависшей надъ безвинными — но она представляется намъ въ конфликѣ предопредѣленія, мойры, и свободной воли, родовой и личной нравственности, и трагическое чувство очищалось на образахъ Эдипа, Антигоны, Прометея, Ореста. Либо идея родовой вмѣняемости переносилась на народно-политическую арену, и рокъ некультурности рѣшалъ судьбу Персовъ въ драмѣ Эсхила.

Если развитіе художественной аттической драмы примкнуло къ культу и народно-обрядовымъ дѣйствиямъ Діописа, то слѣдуетъ, быть можетъ, припомнить, что въ самыхъ легендахъ о немъ, есть ихъ рѣзко опредѣленными мотивами страданій и торжества,

«игрой созиданія и разрушенія индивидуального міра» (Нітше), было дано сочетаніе сюжетовъ, шедшихъ на руку драмѣ и вызывавшихъ психологическое обобщеніе.

Діонисъ — богъ творческой силы природы, податель плодородія, отъ него — лѣсныя чащи и лоза; священная лоза, на одной изъ вершинъ Київера, ежедневно приносила по зреющей ягодѣ; оттуда эпитеты бога: δενδρίτης, σταφυλίτης и др.; одинъ изъ его символовъ — фаллосъ, ему посвящены козель и быкъ; самъ онъ обратился въ козленка, избѣгая преслѣдований Геры; его зовутъ ἑριφιος; козлиный ликъ сатировъ, очевидно, восходитъ къ той порѣ, когда его чествовали мимически, принимая его образъ; ряженіе звѣрями въ играхъ некультурныхъ народовъ освѣщаетъ этотъ забытый періодъ діонисовской драмы — и, вмѣстѣ, воздѣйствіе обрядового акта на миѳъ: сатиры — ряженые очутились 127—280 въ | миѳѣ служителями, свитой Діониса, какъ менады и тіады могли первоначально обозначать женщины, шумно, бѣшено отбывающихъ его празднества. — Но его любимымъ образомъ и символомъ былъ быкъ; оттуда его прозвища: βουγενής, βοηλάτης; въ Аргосѣ его призывали молитвой: Приди, о Діонисъ, съ харитами, вступи въ храмъ бычачьей ногой, славный быкъ! — Онъ самъ принимаетъ порой его видъ, пугаетъ имъ, его изображаютъ быкомъ, небольшие рога остались его атрибутомъ и въ позднѣйшихъ антропоморфическихъ изображеніяхъ. Быкъ былъ обычною ему жертвой, одной изъ наградъ победителю на діонисовскихъ поэтическихъ состязаніяхъ.

Но бога производительности и жизненной мощи преслѣдуютъ, онъ погибаетъ. Ликургъ разгоняетъ его кормилицъ, самъ онъ бросается въ море, къ Фетидѣ, или ищетъ убѣжища у Музъ; Персей убилъ его и бросилъ въ озеро Lerna; либо титаны его разорвали, когда, послѣ многихъ превращеній, онъ принялъ образъ быка. Послѣдній миѳъ, принадлежащий къ распространеннымъ, поконится, очевидно, на обрядѣ: по свидѣтельству Еврипида, къ обрядности Діониса принадлежала обычай разрывать на части и пожирать живьемъ быковъ и телятъ; на Критѣ загрызали быка;

въ память такой же участи бога. Тенедосскій обычай приносить новыя черты къ эволюціи религіознаго міросозерцанія: стельную корову холили и за ней ухаживали, какъ за человѣческою родильницей; теленокъ отъ нея, котораго приносили въ жертву, былъ обутъ въ котурны; указаніе на то, что животная жертва явилась на смѣну человѣческой, въ самомъ дѣлѣ практиковавшейся въ Хіосѣ и Орхоменѣ. Интересно и слѣдующее: за человѣкомъ, заколовшимъ теленка, гнались до морскаго берега, бросая въ него камнями. Когда мимическій обрядъ сталъ культовымъ, религіознымъ, въ объектѣ подражательнаго дѣйства яснѣ предстало имманентное ему божество; жертва неизбѣжна, но ея исполнителя — преслѣдуютъ. Такъ въ южно-индійскомъ аграрномъ обрядѣ, изъ котораго выше сообщенъ былъ эпизодъ¹⁾: одинъ изъ участниковъ, носящій имя бога, котораго онъ служитель (*Pótraj*), гипнотизируетъ теленка, дѣлая надъ нимъ нѣсколько пассовъ руками, отчего тотъ становится недвижимъ. Тогда *Pótraj*'ю завязываютъ руки на спинѣ, и всѣ пляшутъ надъ нимъ, испуская громкіе крики. Онъ поддаѣтся общему изступленію, бросается на теленка, лежащаго въ гипнозѣ, впиваются зубами въ горло, загрызаетъ его. Ему подносятъ | блюдо жертвеннаго 281—128 мяса, въ которое онъ погружаетъ свое лицо; мясо и остатки теленка хоронятся у алтаря, а *Pótraj*'ю развязываютъ руки, и онъ обращается въ бѣгство.

Прежде чѣмъ это мистически-культовое дѣйство обратилось къ значенію жертвы, принесенной божеству, тождественность той и другого выразилась и въ другихъ формахъ: закалали дѣйствительно зооморфическое божество, пріобщаясь къ нему, къ его жизненной силѣ, къ его крови, наполняясь имъ. Въ этомъ освѣщеніи понятны разсказы о менадахъ, терзавшихъ въ божественномъ изступленіи звѣрей и людей; когда виноградъ и вино, еще не игравшіе, какъ полагаютъ, роли въ древнемъ Діонисовскомъ культе, вошли въ его символической кругозоръ, вино яви-

1) См. выше стр. 117 (368).

лось, быть можетъ, замѣнной крови. Это даръ Діониса людямъ; въ весеннія діонисовскія празднства имъ совершили тризну по усопшимъ; могли представлять себѣ, что они оживали, пріобщившись къ вину — крови; таково могло быть и первоначальное представление о кѣрахъ — эринніяхъ, душахъ, жаждущихъ человѣческой крови. Въ средневѣковой легендѣ вино — это кровь Вакха, св. Гроздія, замученного въ точилахъ.

Пока Діонисъ въ царствѣ Аида у маны, но онъ вернется съ того свѣта, родится вновь. Въ Аргосѣ его, быкороднаго, вызываютъ изъ озера Лерна трубными звуками; когда титаны разорвали и пожирали его, Зевсъ успѣлъ проглотить его сердце, которое даетъ Семелѣ; отъ него рождается вновь Діонисъ-Загрей; за малюткой ухаживаютъ, будятъ его; съ его возвращениемъ на землю природа оживаетъ среди чудесъ: долины текутъ молокомъ и медомъ, медь сочится съ тирсовъ менадъ, отъ ихъ ударовъ открываются въ землѣ источники воды и вина; оживаютъ маны. Все пріобщается къ Діонису, онъ всюду разливъ: его метаморфозы въ образѣ льва, быка, пантеры и т. п. — символы его жизненной вездѣсущности. Онъ царить невозбранно: никто не въ состоянії избѣжать его настія, точно какой то невѣдомой силы, поднимающей самосознаніе жизни, энтузіазмъ веселья, доводящій до изступленія, которое благодатный богъ очищаетъ, умиротворяя: таково первоначальное значеніе катарзиса; но онъ и насыщаетъ его на тѣхъ, кто попытался бы противиться его власти. Весеннее чувство неотразимо; Пентей у Евріпіда говорить о разгульности менадъ, какъ средневѣковые обличители о крайностяхъ майского разгула. Таково могло быть физиологическое-психологическое настроеніе соответствующей календарной обрядности; перенесенное на почву исторіи, оно отложилось въ миѳахъ о богѣ, карающемъ маніей гонителей его культа.

| Таковы легенды о Діонисѣ, какъ онѣ сложились, наслонившись на болѣе древніе аграрные культуры и въ соприкосновеніи съ культомъ Элевзиса. Это — миѳы о ежегодно возникающемъ и обмирающемъ богѣ, всюду вызывавшіе соответствующіе кален-

дарные обряды, черты которыхъ взаимно освѣщаются. Пріуроченіе Діониса къ культу вина и винограднаго дѣла только измѣнило календарный порядокъ оживанія и смерти.

Были ли деревенскія Діонисіи (декабрь — январь) и слѣдовавшія за ними Ленеи (январь — февраль) праздникомъ винограднаго сбора, какъ полагали въ противорѣчіи съ временемъ года, или праздникомъ еще не выбродившаго вина — это безразлично: мимическое дѣйство обряда обобщало символическую суть божества и въ этомъ смыслѣ можетъ быть ретроспективно, какъ, наоборотъ, наши святочные обходы съ плугомъ подражаютъ весеннимъ аграрнымъ актамъ. Въ пору зимнихъ празднествъ Діонисъ представляется на верху жизненной мощи, онъ полонъ неизсякаемой силы, которую разливаетъ вокругъ; вино вышло изъ страданій точилъ, даритъ людямъ веселье и радость. А въ виду новыя страданія и смерть; потому что обычный круговоротъ совершился; трагическій моментъ естественно присоединялся, какъ ожиданіе, къ моменту торжества. Это двойственное настроеніе отражалось въ обиходѣ празднества. Среди его исполнителей мы различаемъ двѣ группы: блюстителей обрядового акта, ставшаго культомъ, и публику, толпу энтузіастически настроенныхъ поклонниковъ. Первые продолжаютъ старое мимическое дѣйство: это сатиры, ряженые въ личину бога, когда онъ еще являлся въ звѣриномъ образѣ. Хоровой, плясовой диѳирамбъ, съ ряжеными сатирами, старая народная пѣсня въ честь Діониса, страстная, патетическая, выражала то бѣшеное веселье, сопровождавшееся неистовыми танцами, то настраивалась къ образамъ плача и смерти. Когда хоръ вращался вокругъ сельскаго жертвенника, корифей рассказывалъ объ испытаніяхъ и страдахъ Діониса; о его сверстникахъ и миѳологическихъ герояхъ, притянутыхъ къ нему по соотвѣтствію содержанія (напр. Адрастъ). Такъ разростались сюжеты будущей трагедіи; корифей сталъ выступать въ лицѣ бога или героя, хоръ отвѣчалъ ему, подпѣвая, завязывая діалогъ. Можно представить себѣ въ этомъ обиходѣ и перекликаніе двухъ хоровъ, — будто бы нововведеніе Лазоса.

Роль непричастныхъ къ культу поклонниковъ была другая; они всецѣло вживались въ моменты разнуданаго веселья, не сдержанаго серьезною стороной празднества; для нихъ Діонисъ 130—283 былъ богомъ | жизни и здоровья; сидя на повозкахъ, въ которыхъ крестьяне привозили вино, они въ обиходѣ Леней, какъ и въ процессіи Аноестерій, сыпали на зрителей шутками и остротами; параллели къ столь же свободному вмѣшательству толпы въ драму культа намъ извѣстны¹⁾). Либо устраивался *хѣмос*: толпа подгудывшихъ шумно двигалась съ преднесенiemъ фаллоса и со-ответствующими пѣснями, та фалліхѣ, по дорогѣ задѣвая прохожихъ, порой останавливаясь, чтобы разыграть какую нибудь импровизованную комическую сценку (Athen. XIV, 622: στା-
ଧ୍ୟନ... ἐπραττο). Дѣйствующія лица — обыватели, фаллофоры Діониса, Оиванцы зовутъ ихъ ἑଥେଲୁନାଁ, охочie, другie αୟତୋକାବ୍ଦାଳୋି (Athen. XIV, 621) ²⁾. Въ выдержкѣ изъ Семоса Делосскаго у Атенея (XIV, 922) фаллофоры, являющіеся въ одномъ (культовомъ, спеническомъ?) дѣйствѣ рядомъ съ ииффаллами, едва ли не отличены отъ нихъ, какъ «охочie» отъ представителей культа.

Элементъ ряженія, наслѣдіе обрядового подражанія лицу божества, естественно развивался и обобщался въ этой обстановкѣ; мазали себѣ лицо винными подонками, красились въ бѣлый, черный, красный цвѣтъ, костюмировались, дѣлали себѣ бороду изъ листьевъ, надѣвали маски изъ дерева и коры, звѣриняя маски. Остатки мимическихъ дѣйствій, доживающихъ среди некультурныхъ народностей.

Аттическія Аноестеріи, праздновавшіяся весною (февраль — мартъ) въ теченіе трехъ дней, примыкали къ зимнему циклу Діонисій. Ихъ «деревенское» содержаніе можно подсказать: пока богъ вина и веселья торжествуетъ, но скоро ему конецъ; зерну,

1) См. выше стр. 117—18 (369).

2) Проф. Ф. Ф. Зѣлинскій, Quaest. com. 51, сближаетъ — κାବ୍ଦାଳୋି съ κା-
ବ୍ୟଲୋି, κାବ୍ଦାଳୋି, — дуракъ; въ αୟତୋ — я вижу элементъ «охочаго».

John Barleycorn, уйти въ землю, Діонису—спуститься въ Аидъ. Оттуда новыя чередованія брачныхъ образовъ съ обрядами тризны и поминокъ. Открывали бочки выбродившаго вина (оттуда название первого дня Аноестерій Πεσθίγια), хозяева приносили жертву Діонису, они и домашняя челядь участвовали въ возліяніяхъ, которые на другой день принимали характеръ состязанія: победитель удостоивался награды. Это какъ-бы вступленіе въ слѣдующее празднество, Хѣс: Діонисъ еще разъ вступалъ въ жизнь, наканунѣ перенесли его статую изъ Ленейскаго храма въ Керамикъ и теперь шли съ неї обратно въ торжественной процессіи, въ которой участвовали ряженые горами, нимфами, вакханками, въ маскахъ; съ повозокъ, провожавшихъ шествіе, раздавались | веселые клики, сатирическія выходки. Въ храмѣ 284—131 обручили Діониса съ супругой второго архонта, она приводила къ присягѣ четырнадцать женщинъ въ томъ, что онѣ соблюдали чистоту и по отцовскому обычаю будутъ служить богу. Это—невѣсты Діониса. Но показались и выходцы съ того свѣта, керы, ихъ боятся; они бродятъ среди людей, отъ нихъ стараются огородиться въ теченіе μιαραι ἡμέραι придорожникомъ, либо вымазывая двери дегтемъ. Напомнимъ аналогическую черту элевзинскихъ празднествъ. Душамъ и подземному Діонису совершали либацио виномъ: обычай пить взапуски не имѣеть другого основанія; вечеромъ участники тризны несли свои обвитые вѣнками кубки въ лепейскій храмъ, вручали вѣнки жрицѣ и изливали въ честь Діониса оставшееся въ кубкахъ вино.

Послѣдній день празднства, Хитроі съ ихъ Παυτεριά' ей, снѣдью изъ варенныхъ злаковъ, всецѣло посвященъ поминокъ по усопшимъ, кончающейся ихъ изгнаніемъ: «Прочь керы, конецъ Аноестеріамъ! кричать имъ въ слѣдъ; имъ нѣть мѣста среди живыхъ». Такъ, провожая весну, изгоняютъ у насть манъ — русалокъ.

Къ празднику Хитръ принадлежали и поэтическія состязанія, Ху́тристіοι ἀγῶνες, содержанія которыхъ мы не знаемъ; въ самомъ обиходѣ Хитръ было много драматическихъ элементовъ, между

тѣмъ зарожденіе драмы примкнуло, по общему признанію, не къ нимъ, а къ обиходу деревенскихъ Діонисій и Леней. Городскія Діонисій (мартъ — апрель) переняли въ художественной формѣ наслѣдія культового и обрядового дѣйства. Я еще разъ настаиваю на этомъ отличіи, какъ мнѣ кажется, капитальномъ для исторіи драмы.

По словамъ Аристотеля трагедія вышла изъ диенрамба, отъ вчинавшихъ его, ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τὸν διεύραμβον; хоръ или хоры, вращавшіеся съ культовою пѣсней вокругъ жертвеннника Діониса, опредѣлили обстановку и персональ трагедіи. То мѣсто въ оркестрѣ, гдѣ ея хоры совершили свои эволюціи, продолжало называться θυμέλη, жертвенникомъ; «сатировская» драма, слѣдовавшая за трагедіей, внослѣдствіи за трилогіей, удержала название и маски культовыхъ исполнителей древняго диенрамба; между ней и трагедіей распредѣлились веселые и серьезные моменты; принципъ амебейныхъ, перепѣвающихъ хоровъ выражался и въ дихоріи, и въ обычай агоновъ, состязаніи трагедіями или трилогіями.

Важнѣе художественные метаморфозы хорового состава. Мы знаемъ, что въ исполненіи диенрамба главную партію вель корифей, онъ вчиналъ его, вводилъ въ его содержаніе. Изъ него 132—285 вышелъ актеръ Фесписа. О Феспісѣ говорится, что онъ изобрѣлъ πρόλογον καὶ ρῆστιν; прологъ принадлежитъ, очевидно, его единственному актеру; это подтверждается аналогическими фактами изъ исторіи развитія хорового дѣйства, вообще¹⁾), и можетъ вызвать вопросъ: дѣйствительно ли прологъ греческой трагедіи произносился первоначально всѣмъ хоромъ, а не актеромъ, какъ въ Агамемнонѣ, Хоэфорахъ и у Еврипида? Съ выдѣленіемъ корифея и текстъ его сказа долженъ былъ принять устойчивыя формы, смѣнивъ капризы импровизаціи: Ливію Андronику приписывается введеніе опредѣленной фабулы; не иное значеніе имѣеть повидимому и ρῆστις Феспіса. Три маски, въ которыхъ

1) Сл. выше стр. (64—5) 303—4.

поочередно является его актеръ,—наследие старого мимического обряда и, вмѣстѣ, переходная степень къ двумъ актерамъ Эсхила (въ Агамемнонѣ, Хоэфорахъ и Эвменидахъ ихъ, впрочемъ, уже три), къ тремъ исполнителямъ Софокла; хотя и въ періодъ культового дѣйствия можно представить себѣ не одну, а пѣсколько руководящихъ ролей въ лицѣ запѣвалы и его помощниковъ, въ корифеяхъ двухъ хоровъ.

Диенрамбический хоръ подпѣвалъ корифею, завязывался діалогъ, развивавшій и сюжетъ фабулы: корифей отвѣчалъ. Актеръ трагедіи, ὑπερήτης — «отвѣчающій»; вступительная сцена «Скованного Прометея» развивается въ чередованіи актера и хора; сценическій оставъ трагедіи построенъ на діалогахъ хора и актеровъ, хоровъ и хоревтовъ между собою. — Либо хоръ диенрамба ограничивался припѣвомъ, изъ которого развились лирическія партіи трагического хора. Его статих едва-ли не выродились изъ перепѣвовъ двухъ хоровъ: чередующіяся строфы и антистрофы часто подхватываются другъ друга, не только въ параллелизмѣ содержанія и идей, какъ у Софокла, но и въ повтореніи тѣхъ же словъ и образовъ, начальной риѳмы (анастрофа), какъ у Эсхила (*Ξέρξης μὲν ἄγαγεν ποποί, Ξέρξης δ' ἀπώλεσεν, τοτοὶ, Ξέρξης δὲ πάντ' ἐπέσπε δισφόνως — Νᾶες μὲν ἄγαγεν ποποί, Νᾶες δ' ἀπώλεσεν, τοτοὶ, Νᾶες πανωλέθροισιν ἐμβολαῖς*). Точно couplets similaires старофранцузского эпоса, вышедшіе изъ чередованія и подхватовъ пѣвцовъ, какъ refrain, распространяющійся въ народѣ Агамемнона на три строфы (*Αἴλιον, αἴλιον εἰπέ, τὸ δ' εὖ νικάτω*), унаслѣдовавъ, быть можетъ, формы старого диенрамбического припѣва.

Участіе хора, постепенно сокращавшееся въ трагедіи, по мѣрѣ того, какъ въ ней брало перевѣсъ сценическое дѣйство, настолько | отошло отъ своего древняго значенія въ диенрамбѣ, 286—133 что его пришлось объяснять на-ново. Гораций (Ad Pisones 193) еще слѣдуетъ какому-то древнему свидѣтельству, когда требуетъ отъ хора, чтобы онъ принималъ участіе въ дѣйствіи; для Аристотеля актеры представляютъ героевъ, хоръ — народъ, зрителей

(Probl. 48—49); А. В. Шлегель назвалъ его «идеальнымъ зрителемъ», другіе сдѣлали изъ него представителя общественной совѣсти, творящаго вслухъ нравственную оцѣнку личностей въ связи событий, исходъ которыхъ онъ проридитъ, обобщающаго противорѣчія судьбы и свободной воли, выясняя ихъ и примиряя. Для Нитше хоръ — символъ всей діонисовской возбужденной массы.

Такъ одухотворилось понятіе діонисовскаго, реального катарзиса, идеализовался хоръ диоирамба, обрядовыя маски котораго выросли въ опредѣленные типы — маски художественной трагедіи. Тотъ же процессъ совершился и въ области ея сюжетовъ, разросшихся за предѣлы діонисовскаго миѳа, еще въ границахъ диоирамба; они отвѣтили новому содержанію мысли и также идеализовались. Остановлюсь на одномъ примѣрѣ: на праздникѣ Хое́с совершались возліянія по усопшимъ, и они показывались: маны, «роженицы», правящія долей своихъ родичей, посылающая ее и строго карающія нарушеніе родовыхъ завѣтovъ: керы и, вмѣстѣ, эринніи. Возліяніе въ честь манъ совершалось сообща, но такъ, что каждый пилъ отдельно, послѣ чего всѣ несли своиувѣнчанные кубки въ храмъ Діониса. Дѣлалось это, будто-бы, въ память Ореста, исключеннаго за матеребуйство изъ общенія съ другими людьми, отлученнаго отъ храмовъ, пока божество не примирило его, очистивъ отъ невольного грѣха. Невольного потому, что Аполлонъ заставилъ его наложить руки на мать, убийцу отца; но за священные права матери мстить ея родовыя маны, эринніи. Миѳъ отразилъ культурныя отношенія, когда древній матріархатъ боролся съ патріархатомъ, водворившимъ новые порядки вещей. Мѣсто этого миѳа въ діонисовскомъ культе объясняется связью Діониса съ хөоническимъ міромъ; онъ могъ быть однимъ изъ сюжетовъ диоирамба, у Эсхила онъ является въ сіяніи трагического катарзиса.

Художественная драма сложилась, сохранивъ и, вмѣстѣ, съ тѣмъ, претворяя и свои культовыя формы и сюжеты миѳа. Выработка эпического преданія и ростъ личной художественной ли-

рики не могли не найти въ ней отраженія, но она — не новый организмъ, не механическое сплоченіе эпическихъ и лирическихъ партій, а эволюція древнѣйшей синкетической схемы, скрѣплен^{287—134} ной культомъ и послѣдовательно воспріявшой результаты всего общественного и поэтическаго развитія. Свободное отношеніе къ содержанію религіозной легенды и ея ёмкость были однимъ изъ условий ея художественного расцвѣта; для средневѣковой литературной драмы на ея переходѣ къ мистеріи они не существовали, потому что религіозное преданіе считалось неприкосновеннымъ. Драма могла выдѣлиться изъ церковнаго ритуала и перейти на площадь, не ставъ тѣмъ, чѣмъ стала трагедія по отношенію къ диенрамбу деревенскихъ Діонисій.

Судьбы комедіи иныя, потому что и ея источникъ былъ другой. Она вышла, по Аристотелю, изъ фаллическихъ пѣсенъ, раздававшихся въ деревенскихъ Діонисіяхъ, *ἀπὸ τῶν ἐξαρχόντων τα φᾶλλικά*. Если понять *ἐξάρχων* въ томъ же смыслѣ, въ какомъ мы говоримъ о «вчинаніи» диенрамба, то зародыши комедіи можно представить себѣ въ комическихъ сценкахъ на пути комоса, когда какой нибудь ряженый потѣшалъ, мимируя сосѣда, изображая типы, напримѣръ, болтливаго старика, поддерживающаго свою воркотню ударами палки, (Аристофанъ, Облака, парабаза), пьяного и т. п., вызывая смѣхъ и веселое вмѣшательство добровольныхъ хоревтовъ.

Въ такихъ сценкахъ, невольно принимавшихъ амебейный характеръ, не было въ сущности ничего религіознаго, діонисовскаго, кроме веселья; ни жертвенника, ни культового дѣйствія, ни традиціонныхъ сатировъ, ни содержанія миѳа; онѣ могли зарождаться и зарождались и вѣдь діонисовскаго обихода, какъ южно-итальянскіе мими и Ателланы съ ихъ литературнымъ и народнымъ наслѣдіемъ. Комедія выростала изъ подражательного обрядового хора, не скрѣпленного формами культа; у ней есть положенія и реальные типы, неѣть опредѣленныхъ сюжетовъ миѳа и его идеализованныхъ образовъ. Когда эти положенія и типы свяжутся единствомъ темы, ее возьмутъ изъ быта, потѣшнаго разсказа,

изъ міра фантастики, съ хорами звѣріныхъ масокъ, съ типами, полными шаржа, назойливо откровенными, какъ фаллическая пѣсня, съ столь же откровенною сатирой на личности и общественные порядки, какая раздавалась съ повозокъ діонисовскихъ празднествъ.

Комедія Аристофана, въ сущности, комедія типовъ, шаржа и сатиры. Трагедія дала ей свои художественно-цѣлостныя формы, не овладѣвъ ея формальною разбросанностью: остались лирическія пѣсенки, капризно вброшенныя въ ея составъ, осталась загадочная парабаза, съ амебейными строфами и сказомъ корифея, 135—288 перебивающая | дѣйствіе и не стоящая съ нимъ въ органической связи; агоны греческой комедіи, состязаніе въ родѣ $\lambda\circ\gamma\circ\varsigma\delta\circ\kappa\alpha\circ\varsigma\kappa\alpha\circ\ddot{\alpha}\delta\circ\kappa\alpha\circ\varsigma$ (Аристофанъ) и т. п. — наслѣдіе амебейныхъ сценокъ комоса. Въ «новой» комедіи эти шероховатости примирились; она покинетъ грубый шаржъ для изображенія нравовъ, отражая послѣднія эволюціи трагедіи, когда ея героическія типы спускаются у Евріпіда къ нормамъ простой человѣчности и психології. Идеализація человѣка началась вокругъ алтарей, завершилась въ сферахъ героизма, поднятаго надъ дѣйствительностью: здѣсь слагались типы и переносились въ жизнь къ оцѣнкѣ ея реальныхъ отношеній и явленій. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что вышедшая изъ культа трагедія подняла комедію изъ бытоваго шаржа въ міръ художественныхъ обобщеній.

Попытаюсь подвести нѣсколько итоговъ.

Въ началѣ движенія — ритмически-музыкальный синкретизмъ, съ постепеннымъ развитіемъ въ немъ элемента слова, текста, психологическихъ и ритмическихъ основъ стилистики.

Хорическое дѣйство, примкнувшее къ обряду.

Пѣсни лирико-эпического характера представляются первымъ естественнымъ выдѣленiemъ изъ связи хора и обряда. Въ извѣстныхъ условіяхъ дружинного, воинственного быта онъ переходить, въ рукахъ сословныхъ пѣвцовъ, въ эпической пѣсни, кото-

рыя циклизуются, спѣваются, иногда достигая формъ эпопеи. — Рядомъ съ этимъ продолжаетъ существовать поэзія хорового обряда, принимая или нѣтъ устойчивыя формы культа.

Лирическіе элементы хоровой и лирико-эпической пѣсни сводятся къ группамъ короткихъ образныхъ формулъ, которыхъ поются и отдельно, спѣваются вмѣстѣ, отвѣчая простѣйшимъ требованиямъ эмоциональности. Тамъ, гдѣ эти элементы начинаютъ служить выраженію болѣе сложныхъ и обособленныхъ ощущеній, слѣдуетъ предположить въ основѣ культурно-сословное выдѣленіе, болѣе ограниченное по объему, но болѣе интенсивное по содержанію, чѣмъ то, по слѣдамъ котораго обособилась эпика; художественная лирика позднѣе ея.

И въ эту полосу развитія протягиваются предыдущія: обрядовой и культовой хоризмъ, эпика и эпопея и культовая драма. Органическое выдѣленіе художественной драмы изъ культовой требуетъ, повидимому, условій, которыхъ сошлись лишь однажды въ Греціи и не даютъ повода заключать о неизбѣжности такой именно стадіи эволюціи.

| Все это обходилось не безъ обоюдныхъ вліяній и смѣшеній, 289—136 новое творилось безсознательно въ формахъ старого; являлись и подражанія, когда въ каждомъ отдельномъ родѣ создались образцы художественного эпоса, лирики, драмы, какъ то было въ Греціи и Римѣ. Ихъ формы обязывали, поэтики Аристотеля и Гораций обобщили ихъ, какъ классическія, и мы долго жили ихъ обобщеніями, все примѣряя къ Гомеру и Виргилію, Пиндару и Сенекѣ и греческимъ трагикамъ. Поэтическія откровенія, не предвидѣнныя Аристотелемъ, плохо укладывались въ его рамку; Шекспирь и романтики сдѣлали въ ней большую брешь, романтики и школа Гrimmовъ открыли непочатую дотолѣ область народной пѣсни и саги — и Каррье, Ваккернагель и другіе распахнули передъ ними двери старыхъ барскихъ покоевъ, гдѣ новымъ гостямъ было не по себѣ. Затѣмъ явились этнографы, фольклористы; сравнительно-литературный матеріалъ на столько расширился, что требуетъ новаго зданія, поэтики будущаго. Она не станетъ норми-

ровать наши вкусы односторонними положениями, а оставить на Олимпѣ нашихъ старыхъ боговъ, помиравъ въ широкомъ историческомъ синтезѣ Корнеля съ Шекспиромъ. Она научить насть, что въ унаслѣдованныхъ нами формахъ поэзіи есть нечто закономѣрное, выработанное общественно-психологическимъ процессомъ, что поэзію слова не опредѣлить отвлеченнымъ понятіемъ красоты, и она вѣчно творится въ очередномъ сочетаніи этихъ формъ съ закономѣрно измѣняющимися общественными идеалами; что все мы участвуемъ въ этомъ процессѣ, и есть между нами люди, умѣющіе задержать его моменты въ образахъ, которые мы называемъ поэтическими. Тѣхъ людей мы называемъ поэтами.

II.

Отъ пѣвца къ поэту. Выдѣленіе понятія поэзіи.

I.

Мы видѣли, какъ изъ хорового синкетизма выдѣлились при 1—187 условіяхъ, которыя мы пытались ускѣдить, формы эпики, лирики и драмы; какъ изъ связи хора вышли пѣвцы, продолжавшіе его пѣсеннное преданіе; какъ, съ переходомъ обряда, которому служилъ хоровой синкетизмъ, къ устойчивымъ формамъ культа, явились особые блюстители ритуала и гномики. Выдѣленіе совершалось, какъ уже было сказано, групповымъ путемъ, отлагалось въ формы родовой, сословной, кастовой профессіи, которая создавала школу, съживала и берегла преданіе, вырабатывала и перерабатывала по наслѣдству пріемы стиля и составъ репертуара. Обрядовая заплакчка и теперь еще находится кое-гдѣ въ рукахъ особыхъ плакальщицъ; учатся причитать; въ древнемъ Египтѣ на торжественныхъ празднествахъ пѣли женщины, чаще — слѣпые; у слѣпцовъ до сихъ порь свои пѣсни отъ Россіи и Греціи до Италіи и Испаній; во Франціи XIV—V вѣковъ они явились на смѣну жонглѣровъ, распѣвавая на площадяхъ старыя пѣсни подъ звуки скрипки или chifouine; кавказскіе ашуги, большую частью армянскіе переселенцы изъ Турціи, слѣпцы, и теперь еще поютъ о подвигахъ Каръ-Оглы или рассказываютъ подъ звуки гонгури какую-нибудь сказку. Это — переживаніе ста-

рыхъ порядковъ, послужившихъ когда-то эволюціи поэзіи, групп
137—2 повыхъ выдѣленій, которыя можно представить себѣ совершавши
шимися то совмѣстно, то послѣдовательно, что приводило къ
смѣшенію и чередованію вліяній. Не принявъ во вниманіе этихъ
условій не объяснишь многаго въ исторіи пѣвца и праисторіи
поэта.

138—2 | Чѣмъ ближе пѣвецъ къ началамъ хоровой поэзіи, тѣмъ
шире его репертуаръ. Онъ еще не специализировался; при отсут-
ствіи извѣстныхъ историческихъ и бытовыхъ условій эта специа-
лизація можетъ и не состояться. У финновъ эпика не развилась,
потому что не было обособившихся профессиональныхъ пѣвцовъ:
финская руна охватываетъ и заклятіе, и обрядовую заплачку, и
сказочный сюжетъ; эпический стиль смѣшанъ съ лирическимъ;
всякій пѣвецъ споетъ про все, преданіе открыто ему цѣликомъ,
онъ выростъ въ немъ, подслушалъ у отцовъ и дѣдовъ, «Я знаю
сотни пѣсень», говоритъ финскій laulaja, «онъ висятъ у меня на
поясѣ, на кольцѣ, при бедрѣ; не всякий ребенокъ ихъ споетъ,
мальчикъ не знаетъ и половины... Моя наука—пѣсня, стихи—
мое достояніе: я подобралъ ихъ по дорогѣ, срывалъ съ вѣтокъ,
сметалъ съ кустовъ; когда ребенкомъ я пасъ ягнятъ на медвя-
ныхъ лугахъ, на золотистыхъ холмахъ, вѣтеръ навѣвалъ мнѣ
пѣсни, сотни ихъ носились въ воздухѣ, наплывали, что волны, и
присловья падали дождемъ... Ихъ пѣль мой отецъ, дѣлая топо-
рище, научился я имъ отъ матери, когда она вертѣла веретено,
я же, шалунъ, возился у ея ногъ».

Къ тому же типу принадлежали, вѣроятно, и старосѣверные
þulir, бродячіе и осѣдлые, съ такимъ же синкретическимъ репер-
туаромъ, обнимавшимъ и сагу, и заговоръ, и всю народно-поэти-
ческую мудрость, þulr (англійск. þyle), собственно, человѣкъ
мудрый, знающій присловія, знахарь. Если въ нынѣшнемъ словѣ
þula—стихотвореніе не строфического характера—сохранилось
его древнее значеніе, то въ дошедшій до насъ строфической
поэзіи сѣвера трудно ускѣдить формальное вліяніе þulir: имъ
приписываютъ такія пьесы, какъ Voluspá, Grimnismál, Nag-

bardslod, Hávamál, Vikarsbalkr, гномическо - миѳологического содержания, діалогизмъ которыхъ указываетъ на старое начало амебейности, преняя вопросами и отвѣтами. Таковъ ли былъ характеръ изложения þul'я, мы не знаемъ¹⁾; его чествовали, какъ носителя заповѣдной обрядовой мудрости; когда онъ являлся — садили на особое мѣсто, сѣдалище þul'я (þularstóll), съ котораго онъ вѣщалъ; его эпитеты: великий (hár þulr, fimbulþulr), | старый 3—138 (gamli). «Не смѣйся надъ великимъ þul'емъ, часто хорошо бываетъ то, что вѣщаютъ старики» (Hávam. 135); «попытаемъ, кто больше знаетъ, гость или старый þulr» (Vafþrudnismál 9).

| Такъ чествовали и пѣвца военныхъ былей и подвиговъ, и 3—139 мы приходимъ къ специализаціи, получившей особое развитіе въ дружинно-боевой эпикѣ. Когда слѣдого Демодока привезли къ Алкиною, ему подали «стулъ сребркованный», повѣсили надъ головой лиру, угощаютъ; Одиссей велитъ удѣлить ему почетную часть веприны. И онъ запѣлъ.

VIII. 73. Муза внушала пѣвцу возгласить о вождяхъ знаменитыхъ,
Выбравъ изъ тѣни, въ то время вездѣ до небесъ возносимой,
Повѣсть о храбромъ Ахиллѣ и мудромъ царѣ Одиссѣѣ.

Одиссей втихомолку опечаленъ содерjaniemъ пѣсни, но и печальный несказанно чтить пѣвца.

VIII. 481. Всѣми на обильной землѣ обитающимъ людямъ любезны,
Всѣми высоко чтимы пѣвцы; ихъ сама научила
Пънію Муза; ей мило пѣвцовъ благородное племя.

Такъ, обратясь къ Демодоку, сказалъ Одиссей хитроумный:
«Выше всѣхъ смертныхъ людей я тебя, Демодокъ, поставляю;
Музою, дочерью Дія, иль Фебомъ самимъ наученный,
Все ты поешь по порядку, что было съ Ахейцами въ Троѣ,
Что совершили они и какія бѣды претерпѣли;
Можно подумать, что самъ былъ участникъ всему иль отъ вѣрныхъ
Все очевидцевъ узнать ты. Теперь о конѣ деревянномъ

Спой намъ

1) См. выше стр. (70) 311.

Если объ этомъ по истинѣ все намъ, какъ было, споешь ты,
Буду тогда передъ всѣми людьми повторять повсѣмѣстно
Я, что божественнымъ пѣніемъ боги тебя одарили».

Такъ онъ сказаць, и запѣль Демодокъ, преисполненный бога.

Демодокъ поетъ про событія, знакомыя Одиссею, такъ точно, какъ будто былъ самъ ихъ очевидцемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ только выбираетъ эпизодъ «изъ пѣсни въ то время вездѣ до небесъ возносимой». Въ сущности не изъ пѣсни, а изъ былевого цикла, (какъ понимаютъ *oīc̄h* въ ст. 74 и 483; сл. Od. X, 347), успѣвшаго распространиться. Такія пѣсни унаслѣдовались въ поколѣніяхъ профессиональныхъ эпическихъ пѣвцовъ. Какъ даръ пророчества держался въ родѣ Ямидовъ, лирическое преданіе въ Косской школѣ, такъ Гомериды Хиоса, аэды, ведшіе свой роль 4—139 отъ Гомера, блюли пѣсенное преданіе, | связанное съ его именемъ, спѣвая его до известной цѣльности, видоизмѣняя въ пѣсен- 4—140 ной практикѣ, какъ и въ живомъ эпическомъ преданіи пѣсни постоянно варьируются и сливаются въ границахъ своего же стиля и упрочившихся общихъ мѣсть — Индійскіе *bharata*’ы, первые среди касть рапсодовъ, пѣвцы народныхъ эпопей, такой же родъ, *γένεή Bharata*’ы, какъ Гомериды.

Дружинно-родовой бытъ — естественная почва для продукціи профессиональной, эпико-лирической, для обереженія эпической пѣсни. Жизнь въ дробныхъ центрахъ, неизбѣжность столкновенія, масса энергіи въ тѣсномъ кругозорѣ, жажда добычи, переходившая въ жажду удальства — все это плодило сюжеты, тогда какъ память о прошломъ обязывала человѣка, не вышедшаго изъ родовыхъ понятій, уходившаго въ нихъ, какъ греческій дѣятель позднѣйшей поры исчезающій въ величинѣ политії. И эта память хранилась. Оттуда значеніе пѣвца, хранителя памяти, творца славы; ему всюду почетъ. Такова роль аэдовъ въ гомеровскомъ мірѣ; я назвалъ Демодока и Фемія; таково положеніе филовъ при дворахъ ирландскихъ царьковъ, индійскихъ *bharata*’овъ при именитыхъ семьяхъ: они знаютъ ихъ родословную, носители эпического преданія, поютъ на праздникахъ и

религіозныхъ торжествахъ про дѣянія предковъ; окружены суевѣрнымъ уваженіемъ: рука разбойника ихъ не коснется, и ихъ присутствіе въ караванѣ обезпечиваетъ его отъ нападенія.

У старыхъ германцевъ (англо-саксовъ, франковъ) скопъ — ближній къ царю, вождю человѣкъ, сидитъ у его ногъ (*ät his hlâfordes fôtum*; сл. *Bi manna vyrde* v. 80—1, *Beov.* v. 500, 1166), поетъ на пирахъ, подъ звуки арфы, старыя были (Беовульфъ), одинъ или вдвоемъ (*Vidsîd* 104 слѣд.); умѣть пѣть и сказывать (*singan andsecgan spell*, ib. 54), но исполняетъ и важныя, отвѣтственные порученія: Видсідъ сопровождаетъ супругу своего короля *Eâdgils'a* ко двору Эрманариха (какъ въ Одиссеѣ III, 267. слѣд.). Агамемнонъ, отправляясь въ Трою, поручаетъ своему пѣвшему блюсти Клитемнестру); онъ изъ хорошаго рода (*Vidsîd*: *fram Myrgingum äðelu*).

Все это указываетъ на почетную роль старого пѣвца; его-то, очевидно, имѣютъ въ виду фризскіе законы, взыскивавшіе за пораненіе его (*harpatorem*) въ руку строже, чѣмъ за рану, нанесенную другому человѣку того же общественнаго положенія. Такіе пѣвцы селились при дворахъ: таковъ скопъ короля Гродгара (Беовульфъ); *Deðg* долго пѣлъ при Геоденингахъ, былъ имъ любъ, пока не смѣнилъ его властитель пѣсней *Heorrenda*, и *Deðr* сѣуетъ. Пѣвцовъ зазываютъ: | франкскій король Хлодвигъ про- 5—140 сить Теодориха прислать ему искуснаго пѣвца, *citharoedum arte sua doctum*, который могъ бы забавлять его за столомъ 5—141 пѣсней и игрой на арфѣ. Пѣвцы странствуютъ, какъ *Vidsîd*, объѣхавшій много странъ и народовъ, побывавшій при разныхъ дворахъ, собирая дары и съя пѣсни. Такъ распространились элементы германскаго эпоса; по свидѣтельству Павла Диакона (I, 21) пѣсни о лангобардскомъ королѣ Альбоинѣ извѣстны были въ Баваріи и Саксонії.

Эпика циклизовалась, но движеніе было заторможено; развитіе большихъ государственныхъ цѣлыхъ расширило горизонтъ, создало новые интересы; христіанскіе идеалы и классическая культура расшатали цѣльность германскаго міросозерцанія; все

это не по плечу дружиннымъ пѣвцамъ. Имъ нѣть мѣста въ средѣ, гдѣ Карлъ Великій собираетъ древнія пѣсни, *scripsit memoriaeque mandavit*; о старыхъ пѣвцахъ не слыхать. Когда въ феодальную эпоху явятся профессиональные пѣвцы, выразители нового группового выданія, они назовутся римскими именами: *histrio, scurra, mimus, thymelicus, joculator, jocularis*; воспреобладало послѣднее: французское *jongleur*, въ немецкомъ переводѣ *spilman, spilman*¹⁾. Ихъ генеалогія сложная, возбуждающая вопросы. Мимы, *joculatores* послѣдней греко-римской поры, наводнили германскій міръ: фигляры и пѣвцы, представлявшіе въ лицахъ потешныя, но и грязныя сценки, вожаки медвѣдей и ученыхъ собачекъ, разскащики и захари; греческіе магоды, представлявшіе комическія сценки, знали магическія формулы и силу врачебныхъ средствъ (*Athen. XIV, 621*). Типъ намъ знакомый, мы встрѣтили его въ зачаточномъ развитіи на границѣ обрядовой поэзіи, въ пѣвцахъ-скомороахъ, поющіхъ и лицедѣйствующихъ, какъ армянскій *tzoutzg*, грузинскій *мествыре*; сѣверные *fulir* знаютъ присловья, заговорыя молитвы. Подобный типъ пѣвцовъ, не прошедший идеализацію дружинной эпіки, могъ существовать и на германской почвѣ, отвѣчая низменнымъ спросамъ потѣхи и чудеснаго. Жонглёры — продуктъ ихъ смѣшенія съ мимами, ихъ программа та же, только къ чужимъ разсказамъ, которые приносили съ собою южные гости, они присоединили и мѣстные, овладѣли народнымъ пѣсеннымъ матерьяломъ, слагаютъ пѣсни на историческія события. Они — профессиональные пѣвцы феодальной эпохи; въ ихъ рукахъ ближайшія судьбы французскаго 141—6 и немецкаго эпосовъ. Дружинные пѣвцы забыты. Такъ заѣйтъ былъ нашъ Боянъ; стиля его «замышленій» не раскрыть подъ 142—6 реторической фразеологіей автора слова о Полку Игоревѣ, пересказывавшаго «былины» своего времени; наши былины сложились въ средѣ другихъ пѣвцовъ, въ которыхъ силенъ быть элементъ захожихъ скомороховъ = жонглёровъ.

1) Для слѣдующаго см. мои Разысканія VII, стр. 128 слѣд.

Новое движение вызывает и новые силы, порой выводя къ жизни заглохшія; подборъ и развитіе подсказывается историческими условіями. Когда въ Уэльсѣ подавлено было друидическое преданіе, и заглохли серьезные, школьные пѣвцы, единственными представителями преданія и пѣсни стали барды, игравшіе въ древне-кельтской народной поэзіи лишь послѣднюю роль. Здѣсь развитія не было, но когда военно-колонизаціонное движение эпохи викинговъ обновило условія дружинного быта, изъ народныхъ *þulir*, знахарей и сказителей, выработался классъ дружинныхъ пѣвцовъ, скальдовъ, бродячихъ и пристальныхъ къ дворамъ, явилась школа и съ нею профессиональная поэтика. Такъ вышли на сцену на плечахъ феодального движения и тѣ низменные пѣвцы, которые, обновившись приливомъ мимовъ, стали во главѣ новаго эпического развитія. Къnimъ могъ принадлежать *scurrus*, *cantor* бургундцевъ XI вѣка, ободрявшій воиновъ пѣснями о *res fortiter gestas et priorum bella*; таковъ былъ *cantor*, щахавшій въ войскѣ Вольдемара, возбуждая его бывлю о предательствѣ Свена (*parricidialem Svenonis perfidiam famoso carmine proseguendo*). Въ войскѣ Вильгельма завоевателя при Гэстингсѣ какой-то *histrio*, *mimus* игралъ по скомороши мечами, подбрасывая ихъ; онъ палъ въ битвѣ; въ позднѣйшихъ свидѣтельствахъ у него есть имя, *Taillefer*; у *Gaimar*'а онъ *juglere*, но *hardiz et noble vassal*; у *Wace* онъ поетъ пѣсню о Ронсевалѣ, онъ рыцарь, какъ въ Нибелунгѣ *Volker — spilman* и *edel herre*.

Жонглёры-шильманы стали проходить въ люди; тѣмъ не менѣе печать происхожденія долго лежала на сословії. Когда на западѣ иные изъ нихъ стали пѣть кантилены и *chansons de geste* и христіанскія легенды, церковь отлучила ихъ отъ тѣхъ родичей, которые продолжали паясничать и москоловудить. Къ nimъ духовная и свѣтская власть относились сурово, какъ въ Византіи къ скиникамъ; ихъ отлучали отъ причастія, отказывали въ предсмертномъ напутствованіи, лишали права наслѣдства¹⁾. Такое

1) См. Разысканія I. с. стр. 134—5, 152—3.

отношениe церкви понятно: она не любила ничего мірского, ве-
143—7 селье отводило отъ спасенія, | было язычествомъ, своимъ или
чужимъ—все равно. Непонятнѣе, на первый взглядъ, отношениe
общества: потѣшниковъ, пѣвцовъ звали, слушали охотно, кор-
мили ихъ и одѣвали, за угощеніе и подарки они отплачивали
хвалой (*guot durch ēre nemen*), ихъ злозычія (*diu scelta*) боялись,
славословіе покупали — и вмѣстѣ съ тѣмъ юридически они были
безправны; у нихъ нѣть права собственности, наслѣдства, за ихъ
жизнь полагается призрачная пеня; они — безродные: Богъ даль
попа, а чортъ скомороха; они же кичливо вели свое происхожде-
ніе отъ царя Давида, изобрѣтшаго подъ Троей игру на арфѣ
(*Salman und Morolf*). Какъ нѣмецкаго шпильмана садили на ко-
нецъ стола, такъ на пирахъ у Владимира скоморохамъ мѣсто ском-
орошеское, «на той печкѣ на муравленой», «на печкѣ на земле-
ныя» и т. п.¹⁾; съ этого-то непочетнаго мѣста переводить князь
Добрыню, «удалаго скоморошину», за дубовъ столь, предоставляя
ему выборъ трехъ мѣсть «любимыхъ», либо «золотъ стуль»²⁾.

Мы далеки отъ почета, который окружалъ полноправнаго
родового, дружиннаго пѣвца. Съ моей точки зрѣнія это положе-
ніе жонглѣровъ объясняется ихъ генезисомъ. Народный пѣвецъ
вышелъ изъ обрядовой связи и бродилъ на сторонѣ. Онъ помнить
заговоры, магическія дѣйства и пользуется ими на свой страхъ;
его зовутъ и боятся, какъ знахаря. Онъ поетъ, и потѣшаетъ, и
побирается; пристаетъ къ тѣмъ, кто его кормить, льстить и бра-
нить, кого попало, смотря по обстоятельствамъ и кошельку. Онъ
дѣлаетъ, ничего не дѣлая, у него профессія безъ профессії; его
не уважаютъ, не признаютъ за нимъ правъ, гнушаются имъ и
продолжаютъ къ нему обращаться. Онъ не обеспеченъ тѣмъ
групповымъ выдѣленіемъ, которое создало дружиннаго пѣвца и
феодальнуу эпіку.

1) См. Рыбн. I, 136, сл. Гильф. 44—5; Рыбн. II, 31, сл. Гильф. 1029; Рыбн.
I, 144.

2) Рыбн. I, 135, Гильф. 136.

Нѣсколько фактовъ выяснять этотъ взглядъ. Выше мы привели параллель между общественнымъ положеніемъ греческихъ актеровъ и безправностью индійскихъ и китайскихъ, указавъ на причины этого различія. Африканскіе народные пѣвцы безправны и по тѣмъ-же поводамъ: они являются на общественныхъ, обрядовыхъ празднествахъ (оурѣзанія, похоронахъ), сопровождаются войско въ набѣгахъ, ободряя его пѣснями, служатъ разведчиками, состоять при короляхъ и властныхъ людяхъ; если они не достаточно вознаграждены — ходятъ | по окрестнымъ деревнямъ, 8—144 хуля тѣхъ, кого восхваляли. Они богатѣютъ отъ подачекъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ къ нимъ относятся съ презрѣніемъ. Примѣромъ послужатъ суданскіе гроты и гротки. Это народные пѣвцы и пѣвицы, скоморохи и паясы, играющіе на тамъ-тамъ, офиціальные листцы, умѣющіе сложить похвальное слово и получить за него мзду. Ихъ зовутъ къ себѣ на потѣху, князьки и вожди держать ихъ при себѣ въ качествѣ буффоновъ и музыкантовъ, и они славятъ ихъ съ чисто восточной невоздержностью. Ихъ королица непремѣнно взысканъ Дугой, миѳической птицей о восьми крыльяхъ, отъ полета которой дрожитъ земля, которая излюбила только храбрыхъ, вождей, гнушаясь остальными. Однажды гротъ Diali-Koma является къ Музѣ, властителю Сегу, и велитъ доложить о себѣ; ему говорить, что Музѣ нельзя видѣть. Онъ просить о томъ-же проходившую гротку; «если ты гротъ, то не въ обычай докладывать о немъ, гротъ долженъ объявить о себѣ самъ», отвѣчаетъ она. И Diali - Koma берется за гитару и наигрываетъ Дуга: «Сынъ Makaro, я слышала о тебѣ на западѣ, слышала, что исходъ войны благополученъ для тебя; слышала, что ты никогда не показываешь тыла врагу, никогда не берешь въ жены дочь труса, что всѣ женщины свободнаго состоянія томятся желаніемъ быть твоими супругами. Ты храбръ и всегда благополученъ на войнѣ; богатъ тотъ человѣкъ, которому улыбнулось въ ней счастье. Я пою Дугу, ибо во всемъ Diamanka-Dougou тебѣ одному дано быть его властелиномъ».

При дворѣ Mademba'ы, властителя Sansanding'a, два грота встрѣтили французскихъ путешественниковъ речитативомъ воинственного содержанія, перешедшимъ въ панегирикъ. Внезапно одинъ изъ нихъ подскочилъ къ нимъ и, протянувъ кулаки, съ свирѣпымъ выражениемъ глазъ, почти выходившихъ изъ орбитъ, обратился къ старшему съ страстью, взволнованною рѣчью: Ты всѣхъ сильнѣе! Больше, храбрѣе всѣхъ! Ты властелинъ пушки и скорострѣльныхъ ружей! Ты побѣдитель Omssebougou, Segou! и т. д. И онъ яростно набросился на товарища, точно готовъ былъ разорвать его: Ты говоришь, что это не правда? Повтори-ка, что это не такъ, повтори! — Да, это правда, отвѣчалъ тотъ, таково было желаніе боговъ: онъ всѣхъ сильнѣе, онъ побѣдитель Segou и т. д. Въ такомъ чередованіи, поддержаный возгласами толпы, развивался далѣе этотъ импровизованный панегирикъ. Вечеромъ Мадемба устроилъ для гостей торжественный тамъ-тамъ и показалъ одну изъ своихъ гротокъ, древнюю сухопарую старуху, съ морщинистымъ лицомъ, исполосованнымъ ударами.

145—9 Это моя «военная» гротка, объяснилъ онъ, она ободряетъ моихъ воиновъ въ дни битвы, снова ведеть въ дѣло слабѣющихъ, бѣется, какъ мужчина, убиваетъ безъ жалости, любить бойню и приканчиваетъ побѣженныхъ. Я самъ былъ свидѣтелемъ, какъ она водила людей на приступъ, первая взбиралась на стѣны, снимала головы ударомъ сабли. Церемонія тамъ-тамъ — одна изъ тѣхъ мимическихъ плясокъ, съ образцами которой мы уже знакомы. Въ началѣ пляшутъ девушки, раздѣлившись на двѣ группы, то набѣгая другъ на друга съ угрожающими жестами, то расходясь подъ тактъ музыки и хлопанье въ ладоши. Ихъ смѣняютъ мужчины: они подражаютъ движеніямъ войны, подстерегаютъ, выглѣдываютъ, бросаютъ вызовъ, обращаются въ бѣгство, стрѣляютъ другъ другу въ упоръ; когда къ нимъ возвращаются женщины, бѣгство мѣняется; пѣсенный и музыкальный аккомпанimentъ становится нѣжнѣе, сладострастнѣе: мимируютъ любовные сцены, быстро принимающія нескромный, обсценный характеръ, заражающей толпу. Затѣмъ настаетъ второй актъ

дѣйства; въ его центрѣ гротка «войны»; мужчины строятся въ два ряда, которые ходятъ и выются вокругъ нея, то удаляясь, то сходясь тѣснѣмъ кругомъ, запирая ее; вся эта группа движется на слушателей и зрителей; всѣ возбуждены; раздается дикий вопль, и настаетъ очередь гротки. Въ ея рукѣ кинжалъ, наполненный какимъ-то составомъ, цвѣта крови; брызги летятъ, когда она машетъ руками. Она начинаетъ тихо, постепенно приходя въ волненіе, гипнотизируя себя и другихъ: говорить о томъ, какъ снаряжаются къ бою, какъ весело блестятъ на солнцѣ сабли; славить свѣтлоокихъ витязей, упиваться картиной битвы, разгрома и рѣзни, пе знающей пощады, побѣды, не знающей состраданія. Въ толпѣ раздаются вопли, проклятия, точно слово дѣется на виду, реально. Когда гротка кончила словами хвалы и пожеланіями Мадембѣ, она упала въ изнеможеніи на руки окружавшихъ ее женщинъ.

Гроты прославляютъ военные подвиги, побѣды, хвалятся нѣкоторыми изъ своихъ, оказавшими храбрость, но не живутъ общей народной жизнью, гдѣ все дѣло въ физической силѣ, въ презрѣніи опасностей, и трусость считается постыдной. Ихъ слушаютъ, но презираютъ; они вхожи въ дома, но обычай поставилъ ихъ въѣзда закона: они не могутъ разсчитывать на успокоеніе въ другой жизни, и ихъ лишаютъ погребенія; хоронятъ въ дуплистыхъ баобабахъ, гдѣ ихъ пожираютъ шакалы. Туземцы считаютъ ихъ порожденiemъ діавола, и сами гроты убѣждены, что созданы исключительно для того, чтобы | веселиться, пѣть и ве- 10—146 селить другихъ. Они вѣрють, что по смерти они пребудутъ въ нѣкогда до страшнаго суда и снова вернутся на землю, чтобы зажить по прежнему. Все дѣло въ томъ только, чтобы не дать діаволу поглотить душу грота; и вотъ, когда онъ скончался, другие собираются вокругъ его тѣла, и девушки, вооруженные копьями, голосятъ въ теченіе всей ночи, чтобы удалить нечистаго, который сторожитъ выходъ души. Сами гроты пошли отъ чорта. Объ этомъ разсказывается такая легенда: какъ-то разъ чортъ обратился въ человѣка, его узнали и бросили въ море.

Рыба проглотила его частицу, рыбу съелъ рыбакъ, и злой духъ тотчасъ же вселился въ него. Рыбака побили камнями, но чортъ переселился въ другого человѣка, и такъ нѣсколько разъ, пока люди не махнули рукой, оставивъ въ живыхъ послѣдняго изъ бѣсноватыхъ. Отъ этого-то бѣсноватаго и пошли гріоты.

Мы привели примѣры профессиональныхъ пѣвцовъ, результатъ групповыхъ выданій: пѣвцовъ дружинныхъ, въ средѣ которыхъ творится старая эпика, и тѣхъ, которые, выйдя изъ обряда, унесли съ собою въ народъ наслѣдіе сказа, лицедейства и знахарства,— пѣвцовъ бродячихъ, пріобщившихся въ Европѣ къ движению феодализма, оставшихся въ другихъ случаяхъ за чертой дальнѣйшаго развитія. Культовой пѣвецъ, ставшій съ ними рядомъ, еще не былъ нами затронутъ. Народная поэзія Пенджаба даетъ примѣры. Я оставлю въ сторонѣ народныхъ случайныхъ пѣвцовъ-сказителей, рассказывающихъ въ кружкѣ пріятелей и близкихъ мѣстныя легенды и сказки. Вся остальная область посчителей поэзіи дѣлится на три профессиональныя группы. Въ религіозную, культовую группу входитъ знатокъ священныхъ индусскихъ преданій, рассказывающій и частью представляющій съ своей труппой полурелигіозныя стихотворныя пьесы, известныя подъ названіемъ Swâng'овъ. Его призываютъ, разумѣется, за воздаяніе, во время опредѣленныхъ годовыхъ празднествъ: весной къ Holî, осенью къ Daskhrâ. Къ той же категоріи принадлежить и святоша, поклонникъ того или другого индускаго или мусульманскаго угодника: онъ поетъ въ честь ихъ легенды на празднествахъ, собирая подаяніе на ихъ святилища. Слѣдуетъ другая группа пѣвцовъ, напоминающихъ родовыхъ и дружинныхъ, типъ древнихъ bharata, спустившихся къ уровню гріотовъ; они пристроились къ магнатамъ, поютъ на темы народныхъ преданій, пѣсни о боевыхъ подвигахъ, знаютъ родословную и семейную исторію мѣстнаго властителя, котораго, однако, мѣняютъ и которому измѣняютъ по обстоятельствамъ. Почетомъ они не пользуются; типические представители служебнаго люда при дворѣ индійскаго князька. Наконецъ, третья профессиональная группа:

балладный пѣвецъ (*mîrâsâ*), который акомпанируетъ танцовщицамъ и поетъ за вознагражденіе на свадьбахъ и другихъ подобныхъ торжествахъ; въ его репертуарѣ входятъ и народныя преданія, и разсказы самого нескромнаго свойства. Особо стоитъ пѣвецъ изъ обездоленныхъ касть Индіи, поющій на торжествахъ для своихъ же родичей, то подражая брахманскому *swâng'у*, то долговязо пересказывая какую нибудь легенду языкомъ, понятнымъ его слушателямъ, подхватывая ее у профессионального пѣвца, либо выбирая подходящую къ предмету торжества или мѣстнаго культа.

Всѣ три категоріи профессиональныхъ пѣвцовъ мы встрѣчаемъ и въ древней Ирландіи, но упроченнія въ систему, устроенные корпоративно. Прежде всего друиды, свѣдѣнія о которыхъ на кельтской почвѣ Западной Европы восходятъ къ III и IV вѣкамъ до Р. Хр. Они — хранители религіозно-культурнаго преданія, вѣроятно, вынесенного ими изъ Британіи; памятниковъ ихъ литературы не сохранилось: обѣ ирландскихъ друидахъ известно, что они не излагали письменно своего ученія. Въ Ирландіи они были прорицателями, знахарями, врачами, жрецами, наставниками; освобождены были отъ военной службы и окружены большимъ почетомъ; друидъ шелъ рядомъ съ королемъ, во главѣ общества. За ними фили, то-есть, провидящіе, отвѣчающіе вѣщунамъ Діодора Сицилійскаго, Страбоновскимъ *ouâteis* и *euhages* Тимогена, сохранившагося въ переводѣ Амміана Марцеллина. Они вѣщуны, заклинатели, но, главное, разсказчики, сказываютъ и поютъ подъ звуки *crott'ы* (арфы), переплетая разсказъ стихами о бранныхъ подвигахъ и любви, празднествахъ и странствованіяхъ. Они діаскевасты ирландской эпической литературы, древнѣйшія записи которой восходятъ къ VII вѣку, вѣку особаго процвѣтанія филовъ. Они творять ее и берегутъ преданіе школы, законы композиціи; ихъ іерархія построена на знаніи большаго или меньшаго числа разсказовъ, *scêl* (отъ 350 до 7); смотря по тому они и распредѣляются по разнымъ классамъ (ихъ насчитываютъ различно: 10, 11 и 7) и пользуются

неодинаковыми правами, напримѣръ, относительно количества свиты, мѣста, куска за царскимъ столомъ и т. п. Когда съ водвoreniemъ христіанства значеніе друида поблекло, его мѣсто за царской трапезой занялъ священникъ, но непосредственно занимъ сидитъ ollam, королевскій філь, старшій въ іерархіи. Пред-
148—12 ставители свѣтскаго знанія и преданія, фили остались, и ихъ ореоль лишь немного потерялъ отъ своего прежняго блеска.

Ниже ихъ стояли въ Ирландіи и вообще у древнихъ кельтовъ барды. Это пѣвцы низменнаго типа, полуученые, не соблюдающіе традиціонныхъ пріемовъ поэзіи филовъ, не прошедшиѣ ихъ школы, ноющіе отъ себя, какъ подскажетъ фантазія. Мы уже знаемъ, какія историческія события выдвинули ихъ на первый планъ въ Уэльсѣ.

Барды — это балладные пѣвцы Пенджаба, бродячіе, не пріуроченные пѣвцы, предположенные нами въ основѣ того синкретического типа, который называется жонглёромъ. Фили — это дружинные пѣвцы: развитіе дружинной эпіки, заторможенное на германской почвѣ, нашло въ Ирландіи особыя условія, которые позволили ей сложиться и досказаться до конца, до обширной циклизаціи, до эпопеи. Условія эти: жизненность дружинного быта съ одной стороны, съ другой — грамотность и образовательныя начала ирландской культуры, съ привнесенными въ нее латинскими и греческими элементами, которые сдѣлали ирландцевъ съятелями первого въ Европѣ классического возрожденія. Дружинный бытъ поддерживалъ традицію подвига и пѣсни, схемы и стилистика пѣсни попали въ оборотъ школы и нашли въ ней болѣе устойчивыя формы; я уже сказалъ о поэтикѣ скальдовъ; народно-пѣсенная традиція получила школьный колоритъ, ее не перенимали, а ей учились. Пѣсня, сказаніе, становятся не только объектомъ памяти, но и объектомъ науки, изученія. Сличите легенду о происхожденіи гріотовъ, о скоморохѣ, какъ созданіе чорта, съ слѣдующей ирландской о томъ, откуда пошли фили: у бога Dagdѣ, властителя высшей науки, была дочь Brigit, вышедшая за Bress'a, сына Elatha'ы, что означаетъ: Знаніе лите-

ратурной композиції. У нихъ три сына, боги искусствъ, сообща родившіе Icne = Мудрость; у него послѣдовательное потомство: Знаніе, Великая Разсудительность, Великая Наука, Размышеніе, Великое Просвѣщеніе, Искусство, которое и было отцомъ первого фила. Оно не всякому дается; не изъ всякаго пѣвца выходитъ поэтъ; традиціонная, профессиональная пѣсня уже вызвала эгоистическое сознаніе, что пѣсенное слово — сила; теперь явится сознаніе, что она пріобрѣтается трудомъ и искусствомъ; одинъ изъ этаповъ на пути къ пониманію пѣсенного акта, какъ личаго, поэтическаго. Когда это сознаніе явилось, оно дѣйствуетъ заразительно, ускоряя процессъ такого же перехода въ границахъ своего вліянія. Поэзія сѣверныхъ скальдовъ, смѣнившая древнихъ *fuilir*, сложилась, по мнѣнію Бугге, по образцамъ ирландской, и | мы, можетъ быть, еще не достаточно взвѣсили, на 13—149 сколько классические примѣры повліяли на выдѣленіе художественной лирики изъ средневѣковой народной и профессиональной пѣсни. Когда средневѣковымъ людямъ раскрылись впервые чудеса античной поэзіи, и они бросились подражать ей на ея же языкѣ, — материальный трудъ усвоенія и воспроизведенія естественно перенесся для нихъ на свойство поэтическаго акта: поэзія, искусство — это трудъ, плодъ томительныхъ ночныхъ бдѣній, школы. На ея то плечахъ выросъ изъ жонглера, смѣси мима и народнаго пѣвца, личный поэтъ — труверъ.

Названія поэта лишь мало освѣщаются намѣченнымъ нами переходомъ отъ унаслѣдованной пѣсни къ личной, отъ пѣвца къ поэту; древнія названія могли исчезать, но замѣнялись ли они новыми въ уровень съ измѣнившимся пониманіемъ, или обновлялось въ иномъ освѣщеніи какое нибудь старое, до тѣхъ поръ не бывшее въ ходу? Скальдъ, напримѣръ, означаетъ просто рассказчика (*γ σεπ*, *sec* въ *ÿννεπε*, *inquam*; ирланд. *scél* = разсказъ); со временемъ Гезіода и Пиндара *ἀοιδός* = пѣвецъ уступилъ мѣсто поэту, *ποιητής*, но это слово относится собственно къ складу, выѣшиему построению пѣсни, что не исключаетъ элементовъ унаслѣдованной пѣсни и могло сложиться въ ея предѣлахъ. Поэтъ (*ποιέω* отъ

✓ к³еі, к³оі: наслаивать, образовать, формовать), собственно, строитель, формовщик — своей или чужой пѣсни, какъ рапсодъ ихъ спѣваетъ, собственно сшиваетъ (φάπτειν ἀοιδὴν): образъ, родственный гомеровскому μύθους ὑφαίνειν (П. III, 212), финскому säistäja (сплетающій, выюцій пѣсню — о второмъ пѣвцѣ, подхватающемъ пѣсню главнаго, старшаго), малорусскому: «се нова пісня чтеться». Такъ и въ Ведахъ о пѣснѣ говорится, что она строится: англос. scôp, староверхненѣм. scoph = poeta (сл. scoph — острота, ludibrium, scophsanc = poesis, scophliod = carmina rustica et inepta) едва ли оть scaffan, но староверхне-нѣмецкое hleodarsezzeo = тотъ, кто устраиваетъ, ставить, упорядочиваетъ звукъ, пѣсню, снова возвращаетъ насъ къ тому же техническому представлению. Интересны съ точки зрѣнія синкретизма глоссы къ этому слову: ariolus, zouprari: знахарь, кудесникъ, и cervulus = олень; первая указываетъ на одну изъ специальностей средневѣковыхъ шпильмановъ¹), вторая имѣеть въ виду маску западнаго святочнаго обихода².

Иначе сложеніе пѣсни выражается образомъ кованія: въ 150—14 ста|росѣверномъ языке liodarsmiðr, galðra-smidr = ковачъ пѣсенъ; финскій laulaja = пѣвецъ и знахарь, но Вейнемейненъ — ковачъ пѣсенъ, и въ томъ же значеніи употребляется laulaseppä, ranoseppä. Съ средневѣковыми трубадурами и труверами мы уже соединяемъ представление о личномъ пѣвцѣ, но специальное значеніе trobar, trover указываетъ лишь на музыкальный ладъ, мелодію, тонъ, греч. τρέπος, какъ нѣмецкое Dichter, латинское dictator (оть dictare), на наслѣдіе и образцы латинской школы.

Слова переживали, возникали и обновлялись на путяхъ развитія, и значеніе переростало этимологію.

1) См. выше, стр. (141) 397—8.

2) См. выше, стр. (32) 264.

II.

Обособленіе понятія поэзіі отъ пѣсни совершилось по тѣмъ же путямъ, по какимъ пѣвецъ проходилъ отъ обрядового и хорового строя къ профессії и самосознанію личнаго творчества.

а) Въ началѣ: *пѣсня*—*сказ*—*дѣйство*—*пляска*: греческое *ἀγιδὸς* = *ἀΓοιδὸς* отъ *ἀεὶδω* = *ἀΓεῖδω*, отъ *ν* vad = говорить, кликать, пѣть; латинское *vates* отъ *ν* ga, gā, gva, va: пѣть; но нѣмецкое *leich* (родъ пѣсни въ неравномѣрныхъ строфахъ) связано съ понятіемъ движенія, игры, пляски: готское *laikr* = *χορός*, сѣв. *leikr* = бой, но въ норв. пляска и сопровождающая ее музыка; это бросаетъ свѣтъ на орхестрическій элементъ *hileich* и *charaleich* = брачной и похоронной плясовой пѣсни. *Spil* объединяло различныя движения, пляску съ музыкой и пѣніемъ; оттуда *spilman*; нѣмецкое *Lied*, старогерм. * *leáfom* изъ * *leúto-m*) объясняютъ, какъ «разрѣшеніе сплетеній» при (хоровой) пляскѣ, либо какъ «отдѣль, отрѣзъ», что указывало бы на строфический строй и на чередование въ хорѣ; литовск. *daina*—народная пѣсня свѣтскаго содержанія, былина, но латышское *diet*: плясать, прыгать, *chorum ducere*; *dei-ja*: пляска, хороводная пляска, *dei-ni-tis* = плясунъ; греческія *μολπή* и *μελπεσται* означаютъ не только пѣніе, но и пляску и, вообще, всякое граціозное движение въ игрѣ; у якутовъ одно и то-же слово обнимаетъ понятіе пѣсни и боя, состязанія. Въ семитическихъ языкахъ общее название для пѣсни восходитъ къ *ν sch(s)-v(j)-r* съ первоначальнымъ значеніемъ: разъединять, собирать, сопоставлять, *colligere*; сура въ классическомъ арабскомъ языке означаетъ рядъ камней, собранныхъ, сложенныхъ вмѣстѣ, стѣну; впослѣдствіи: пѣсню, отдѣль религиознаго кодекса; въ сирійскомъ: каменную стѣну и хороводъ.

| б) Въ другихъ обозначеніяхъ пѣсни-сказа сохранились слѣды 15—151 ея древняго прикрѣпленія къ обрядовому акту, именно къ акту заговора, заклинанія, гаданія. Таковы основныя понятія реаль-

наго и даже материального свойства, соединенного съ германскими: spel, runa, siggvan.

Готское *siggvan* = *legere*, собирать, староверхненѣмецкое старосаксонское, старофранкское *lesan*, сѣверное *lesa* = *colligere*, *legere*; староанглійское *raēdan* = *conjicere*, *legere* — всѣ эти глаголы относятся къ акту обрядового гаданія и волхвованія по биркамъ и гадальнымъ палочкамъ, которыя бросали, собирали и толковали, заключая по ихъ сочетанію о волѣ боговъ (*conjicere* и *conjectura*), о будущемъ; греческое *συμφήνη*, этимологически тождественное съ готскимъ *siggvan*, сѣвернымъ *syggja*, нѣмецкимъ *singen*, означаетъ, собственно, пророческое изреченіе¹⁾). Материальный актъ собираанія, *siggvan*, перенесенъ быль на изреченіе, на сопровождавшую обрядъ пѣсеннную формулу или сказъ; оттуда новое значение *singen*, *syngja*: пѣть; на переходную степень указываетъ сѣверное: *lesa söng-* пѣть, въ сущности, собирать пѣсню.

Гадали по биркамъ, рѣзамъ, *ex assulis ligneis cultro elaboratis*, говорится о древнихъ финнахъ; это Тацитовские *surculi* (Germ. c. 10): *Virgam frugiferae arbori decisam in surculos amputant eosque notis quibusdam super candidam vestem temere ac fortuito spargunt. Mox, si publice coisul(t)etur, sacerdos civitatis, sin privatim, ipse pater familiae precatus deos coelumque suspiciens ter singulos tollit, sublatos secundum impressam ante notam interpretatur.* Это толкованіе выражалось въ заповѣдной формулѣ, название которой могло перейти на гадальные бирки съ рѣзами, *notae*, какъ это совершилось впослѣдствіи на сѣверѣ, когда захожей рунической азбукѣ присвоено было обозначеніе, указывающее на сказъ, совѣщаніе, таинственное нашептываніе или напѣваніе: готское *runa* = *μυστήριον*, *συμβούλιον*, *βουλή*; староверхненѣмецкое *rūna*, *garūni* — *mysterium*, *rūnen*, *rūnazan* = шептать; старосаксонское *rūna* = совѣщаніе, бесѣда; староанглійское *rūn* = тайна, *rūnian* = шептать; старосѣверное

1) Иначе: *siggwan* = *recitare* къ *V seq*, откуда и *skáld*. см. выше, стр. (149) 407.

rûn = тайна, бесѣда; rûni — собесѣдникъ, совѣтникъ, пріятель. Значеніе финскаго runo = пѣсня, заимствованаго у сѣверныхъ соцѣдей, можетъ и не принадлежать къ обобщеніямъ вродѣ siggwan = пѣть, а указываетъ на древній характеръ исполненія, забытый въ германскихъ вариантахъ слова.

| Сходное развитіе, но еще болѣе разнообразное по резуль- 16—152 татамъ, привязывается къ германскому spel. И здѣсь, какъ полагаютъ (Schröder), оно пошло отъ гадальной бирки, дощечки: готское spilda, сѣверное speld, spjáld = πιγκίδιον, πλάξ; староанглійское speld: лучина, осколокъ; средневерхненѣмецкое spelte: отрубокъ дерева. Ихъ такъ же бросали, какъ тацитовскіе surculi, и собирали, складывали, толковали; таково значеніе англійского spell: читать по складамъ, французскаго (съ германскаго) espeler, épeler, съ старымъ добавочнымъ значеніемъ: объяснять; въ голландскомъ: читать по складамъ, собирать ихъ и — объяснять, толковать; можетъ быть, и современное значеніе этого слова: вѣщать, предсказывать относится къ переживанію обрядового акта; съ староанглійскимъ anspell: conjectura.

Въ кругу обрядового акта удерживаетъ насъ Шекспиръ, открывая и новыя точки зрењія: у него spell — магическое дѣйство, формула волшебства, чары, и это значеніе, очевидно, древнее, удержалось въ языкѣ, поддержанное сѣверными параллелями: сѣверное spjáll = слово, изреченіе, рѣчь; spjálli — собесѣдникъ, вѣстникъ, но fëspjöll spaklig ясно указываетъ на обрядовую, заговорную или гадальную формулу: мудрыя чары. Обобщеніе вышло отъ этого понятія къ значенію рѣчи, бесѣды; въ другихъ случаяхъ оно издавна развилось при словахъ, видимо стоящихъ въ материальныхъ условій обряда: сѣверное ljöd = Lied въ старомъ языкѣ преимущественно пѣсни чары; galdr. отъ gala = пѣть — заговорная, знахарская формула, вѣдовство; слав. баати не только μιθεύεσθαι, fabulari, но и incantare.

Остальные германскія отраженія spel'я стоятъ уже на точкѣ зрењія обобщенія: удержалась память о сказѣ, она то и подвергалась различнымъ измѣненіямъ. Въ староверхненѣмецкомъ

spel = рѣчъ, разсказъ, парабола, басня; bispel = parabola; spel-lunga = tragoeiae; wârspello у Таціана = propheta. Въ среднене-англійскомъ spel = рассказъ, поученіе, небольшая повѣсть; говорится и о сказываніи Отче Нашъ. Въ средневерхненѣмецкомъ spelen — рассказывать, бесѣдовать, spel — рассказъ, сказка, болтовня, сплетня, позднѣе литературный родъ, рассказъ наставительного содержанія: bispel, съ XVI вѣка Beispiel.

Не къ литературному роду, а къ формамъ скоморошьяго и пѣвческаго сказа приводитъ насъ исторія другого слова: гот. hlauts = κλύρος, англос. hlot, сѣв. hlutr, древне-верхнє-нѣм. lōz, жребій. На сѣверѣ гадающіе намѣчали, надрѣзали свои жеребы (skera, marka hluti), бросали ихъ въ полу платья, вынимало ихъ третье лицо. Hlutir звались также талисманы, изображавшиѳ, 153—157 обыкновенно, человѣческія | фигуры, ихъ носили на себѣ, и съ ними соединена была идея судьбы, доли: чей hlutr куда попадеть, тамъ быть и его хозяину. Оба значенія: вѣщанія по жеребьевымъ палочкамъ и талисмана отразились, быть можетъ, въ колбъдахъ нѣмецкихъ скомороховъ, которыхъ они показывали изъ подъ плаща, чтобы разсмѣшить зрителей (Hugo von Trimberg, Renner 5065), и въ ихъ loterholz’ѣ: онъ служилъ имъ для какихъ-то шутовскихъ или знахарскихъ продѣлокъ, можетъ быть, для сказыванія? Böckel сравниваетъ съ нимъ бирки слѣпыхъ пѣвцовъ въ Бретани, по нарѣзамъ которыхъ они припоминаютъ порядокъ изложенія, и представляютъ себѣ таковой же роль ράθδος’а, жезла, отличительного признака рапсодовъ. Къ традиціонному слѣпцу Гомера шло-бы такое именно представлениѳ, поддержанное Пиндаромъ (Pind. Isth. III, 55: “Ομηρος κατὰ ράθδον ἔφρασεν”), но не всѣ же рапсоды были слѣпцами, и значеніе пѣвческаго жезла было, очевидно, другое. Музы вручили лавровую вѣтвь жезль Гезіоду (Theogon. въ началѣ); при пѣніи застольныхъ сколій такая вѣтка переходила изъ рукъ одного пѣвца къ другому; такъ могъ чередоваться и ράθδος при амебейномъ исполненіи эпическихъ пѣсенъ.

Runa, spel, siggvan, loterholz привели насъ къ обрядовому

моменту гаданья; съверное сказание о происхождении напитка, сообщавшаго поэтический даръ, привязывается, по моему мнѣнію, къ другому обрядовому же акту: родового замиренія, виры, которую распиваютъ сообща. Легенда наслойлась посторонними чертами, но основныя черты носятъ слѣды опредѣленного бытового происхожденія. Рассказывается, что послѣ долгой распри Азы и Ваны заключили между собою миръ; закрѣпился онъ образно, какъ смѣшеніемъ крови совершилось и совершается еще принятие въ родъ и союзъ побратимства. Враждовавшіе приступили къ одному сосуду и смѣшали въ немъ свою слону, изъ которой и сотворили Kvâsir'a, мудрѣйшаго и разумнѣйшаго изъ всѣхъ созданій. Онъ далеко ходилъ по свѣту, наставляя людей, пока два дверга, Fialar и Galar, не убили его. Его кровь они спустили въ два сосуда, Boðn и Sôn, и котель Oðhroerir, примѣшали туда мёду: вышелъ драгоценный напитокъ—мёдъ, сообщавшій каждому, кто его отведалъ, даръ поэзіи и мудрости. Великанъ Suttungr принудилъ дверговъ отдать ему этотъ медъ, какъ виру за убийство его отца, скрылъ его въ Hnitbjörg'ѣ, а хранительницей поставилъ дочь свою, Gunnlöð. Одинъ проникъ въ гору, принявъ образъ змѣи (червя?), и провелъ три ночи съ девушкой, которая обѣщала ему за то три глотка мёду; въ три приема онъ опорожнилъ | всѣ три сосуда и пустился въ обратный 18—154 путь въ образѣ орла. Суттунгъ погнался за нимъ, также обернувшись орломъ, но Одинъ раньше его добрался до Асгарда, гдѣ извергнулъ изъ себя напитокъ въ сосуды, подставленные Азами. Медъ онъ даровалъ Азамъ и поэтамъ; оттуда разнообразныя наименованія поэзіи, дара пѣсни: кровь Квасира, изобрѣтеніе (fundr), напитокъ Одина, волна Boðn'a, кубокъ (fyllr) Sôn'a, словесное сѣмя Sôn'a (ordfasað Sónar).

Начало рассказа переносить на почву древняго обряда: справляется мировая смѣшеніемъ слоны и крови (сюда относится кровь Квасира), при чемъ участвующіе пили и пѣли. Kvâsir (заимствованное слово?) относится, вѣроятно, къ *v* кыс: квасить, заквашивать; слюна и медъ играютъ ту же роль, какъ въ

финской рунѣ обѣ изобрѣтеніи пива. Пѣсня вызвана хмѣльнымъ напиткомъ, и тѣмъ и другимъ закрѣплялось обрядовое дѣйство замиренія. Передъ нами всѣ моменты, сошедшіеся въ образованіи миа о происхожденіи меда и пѣсни; нѣкоторыя изъ собственныхъ именъ указываютъ на каждый изъ нихъ въ отдѣльности. Напомнимъ еще Bodn = бочка (по иному объясненію: oblatio), Són, название другого сосуда = вира, примиреніе, reconciliatio. Старосѣверный обрядъ виры (sónar-blót) совершался въ навечеріи Рождества: закалывался вепрь (sónar-göltr), на его гризу возлагали руки и произносили клятвы за кубкомъ Bragi (bragarfull); при этомъ гадали, вѣроятно, по кускамъ свернувшейся крови; оттуда другое значеніе sónar-blot: пророчество. Кубокъ Bragi пили и при другихъ обрядовыхъ дѣйствахъ: на похоронахъ, свадьбахъ; brag, даръ Одина скальдамъ, — поэзія; мы увидимъ, какъ обособился со временемъ и особый богъ поэзіи — Bragi.

С) Обрядовая пѣснь не творится, она — унаслѣдованное знаніе; вѣщій пѣвецъ, собственно, знающій: церковнославянское вѣшть — peritus, вѣдь — saga (словинская vešča — то же), церковнославянская (сербская) вѣшица — maga; сл. еще одну изъ этимологій, предложенныхъ къ vates: ✓ vat = знать, примѣчать, понимать. Пѣсня — знаніе, а знаніе — сила: заговоръ обрядового пѣвца, жреца, принуждаетъ боговъ проявить себя, подѣйствовать; онъ властенъ надъ ними, его мановенію повинуется природа. Таково дѣйствіе ведійского гимна на божество, позднѣе молитва буддійскаго риши; до крайности доведено это воззрѣніе въ индійскомъ представлениі, что жрецъ древніе міра, и что міръ созданъ культомъ, какъ и друиды утверждали о себѣ, что они сотворили небо и землю и море, солнце и луну. Первые пять изъ индійскихъ ме-
155—19 лодій (Rangs, Rangenes) вышли изъ головы бога | Mahades, ихъ исполненіе вызывало ночь и дождь, наводненіе и пожаръ и т. п.

Съ греческими легендами мы переходимъ на менѣе зыбкую почву: сказанія обѣ Амфіонѣ, подъ пѣсню котораго камни сами собой складывались въ стѣну, обѣ Орфеѣ, за которымъ слѣдовали скалы и деревья и дикіе звѣри, о Марсѣ и орлѣ Зевса, усыплен-

ныхъ звуками киоары, — вводяты насть въ многочисленный рядъ сказаний о вліяніи пѣсни, музыки, въ которыхъ старыя представлениа обѣихъ волшебномъ, неотразимомъ вліяніи, напоминающемъ силу заговора, чередуются съ эстетическими, порой переходя въ комической шаржъ. Antoninus Liberalis такъ разсказываетъ, слѣдуя Никандру, о преніи музъ съ дочерьми Піэрія на Геликонѣ: при пѣніи музъ остановились небо и звѣзды, моря и рѣки; самъ Геликонъ, исполненный веселья, выросъ въ небо, пока не остановилъ его, по повелѣнію Посейдона, Пегасъ, удариивъ копытомъ въ его вершину. Въ старо-ирландской поэмѣ обѣйствѣ сыновей Usnech'a, когда игралъ Noïsé, коровы и женщины давали втрое болѣе молока; всѣ слышавши егo испытывали невыразимое наслажденіе. Иное дѣйствіе арфы Dagd  (въ поэмѣ о битвѣ при Moytura); у нея было два названія: дубъ о двухъ голосахъ и рука о четырехъ напѣвахъ; сорвавшись со стѣны, при чемъ она убила девять человѣкъ, она помѣстилась въ рукѣ Dagd , и онъ сыгралъ три мелодіи, что отличаетъ искуснаго игрока: мелодіи жалобы, смѣха и сна; отъ первой заплакали жены, отъ второй засмѣялись жены и молодые люди, подъ третью всѣ заснули.

Пѣсня Горанта въ Гудрунѣ дѣйствуетъ волшебно на больныхъ и здоровыхъ, кто заслышилъ ее, притихаетъ, и звѣри, и змѣи, и рыбы:

389. Die tier in dem Walde ir weide liezen st n,
Die w rme, die d  solten in dem grase g n,
Die vische die d  solten in dem w ge vliezen,
Die liezen ir geverte.

Пѣсня Горанта стала типической, когда говорили о волшебномъ вліяніи пѣсни, называли ее. Ея мелодію играетъ B osi въ сарѣ его имени: у него похитили его невѣсту, и онъ является съ товарищами на брачный пиръ, переодѣтый, принявъ имя Спигурда, и играетъ передъ королемъ и молодыми. «Когда принесли заздравный кубокъ, онъ ударилъ по струнамъ, и всѣ сказали, что подобнаго ему (игрока) нѣть и не бывало. «Это что, только на-

чало!» говоритъ онъ, а король проситъ его постараться. Принесли кубокъ, посвященный Тору; Сигурдъ измѣнилъ темпъ, и зашевелилось все, что не было прикрыто, ножи, | и блюда, и все, 156—20 чего не держали; многіе повскакали со своихъ мѣсть и принялись плясать по покою; такъ шло долго. Затѣмъ явился кубокъ, посвященный всѣмъ Азамъ. Сигурдъ опять взялъ другой темпъ и заигралъ такъ громко, что эхо отдалось въ залѣ; всѣ, что были тамъ, поднялись, кроме молодого, молодой и короля, и начался плясъ по всей палатѣ; и это долго длилось. Спросилъ король Сигурда, знаетъ ли онъ и другіе наигрыши; онъ отвѣтилъ, что осталось еще нѣсколько, небольшихъ, и велѣлъ всѣмъ напередъ отдохнуть. Усѣлись и стали пить. Сыграли онъ «волшебный наигрышъ» (*Gýgjarslag*), «усыпляющій» (*Drömbud*) наигрышъ и напѣвъ Горанта (*Hjarranda — hljöð*). Когда принесли кубокъ Одина, Сигурдъ раскрылъ арфу; она была такъ велика, что въ ней могъ бы выпрямиться человѣкъ, точно вся изъ золота; досталь онъ оттуда бѣлыя, отороченные золотомъ перчатки, заигралъ наигрышъ, что зовется *Faldafeyrkir* (*faldr* — чепецъ), и чепцы полетѣли съ головъ женщинъ и унеслись подъ потолокъ; женщины и мужчины повскакали, и не было вещи, которая осталась бы на мѣстѣ. А когда миновалъ этотъ кубокъ и принесли тотъ, что посвященъ Фреѣ,—его надо было пить послѣднимъ,— Сигурдъ ударилъ по струнѣ, что натянута поперекъ другихъ, и велѣлъ королю изготовиться къ *Rammarslag*, «сильному наигрышу». И король тотчасъ вскочилъ, съ нимъ женихъ и невѣста, и никто не плясалъ такъ бойко, какъ они». Этимъ и пользуются товарищи Сигурда, чтобы похитить невѣstu.

Кто не вспомнить по этому поводу пляску морского царя, когда играетъ Садко (Рыбник. I, 369; Кир. V, 39), волшебное дѣйствіе гуслей-самогудовъ въ народныхъ сказкахъ, сангульдана въ бытовой сценкѣ медвѣжьяго праздника? Бози играетъ на свадьбѣ своей жены, какъ Добрыня скоморохъ; у Бози нѣсколько чудесныхъ, но и страшныхъ мелодій; у Дагде ихъ три. Въ Гудрунѣ Горантъ завлекаетъ красавицу пѣсней, и говорится о трехъ

«тонцахъ», drî doene; у Добрыни три наигрыша¹⁾; наиболѣе поэтическую параллель представляетъ слѣдующая якутская:

«Есть три пѣсни, выросшія изъ одного корня, точно три вѣтви одного дерева. Есть вѣтвь человѣческой души, вѣтвь человѣческаго бога и пѣсня дьявольскаго дыханія. Отъ послѣдней то и сохнуть деревья». Когда пѣль якутскій пѣвецъ Артамонъ, съ женщинами случались истерики, мужчины, очарованные, ослабѣвшіе, не могли | уйти, точно маленькия дѣти. Отъ его пѣнія 21—157 сохли деревья и люди теряли разсудокъ, сказывало преданіе. «Есть пѣсни до того волшебныя, говорится въ другомъ афоризмѣ, что ими нарушается порядокъ... Хорошій пѣвецъ лучшихъ своихъ пѣсенъ не поетъ друзьямъ, людямъ, которыхъ любить. Эти пѣсни вносятъ въ жизнь разладъ». Хорошій пѣвецъ не можетъ не пѣть, у него всегда на душѣ пѣсня; если ему не пѣть — мысли у него путаются, въ груди томитъ, все что то не клеится; запоетъ — растревожитъ духовъ. И онъ бываетъ несчастливъ, платится за свою «силу» счастьемъ.

Богато развить этотъ мотивъ въ финской народной поэзіи, пробѣгая всѣ стадіи развитія: отъ космического вліянія пѣсни до сентиментально-психологическаго. Первое могло быть когда то объектомъ вѣрованія, теперь оно переживается въ формулахъ стиля. «Когда пѣль мой отецъ, говорится въ одной пѣснѣ, поть капаль съ волосъ, поля колебались въ своихъ межахъ, земля дрожала въ своихъ членахъ; солнце и мѣсяцъ останавливались, чтобы послушать Вицунена, созвѣздіе Колесницы, чтобы у него получиться, воды и волны замедляли свой бѣгъ».

Вейнемайненъ усыпляетъ своей игрой народъ Похольы, Вейнемайненъ, деміургъ финскихъ вѣрованій, создатель пѣсни, творецъ кантелей. Когда онъ сдѣлалъ ее изъ зубовъ щуки съ струнами изъ конскаго волоса Хіизи, никто не былъ въ состояніи сыграть на немъ, какъ слѣдуетъ, одинъ лишь Вейнемайненъ. «Расправивъ персты и усѣвшись на скалѣ, старый, мудрый Вей-

1) О нихъ см. приложеніе къ этой главѣ.

немейненъ положилъ гусли себѣ на колѣни и сказалъ: Пусть всякий, кто не слыхалъ старыхъ рунъ, придетъ теперь ихъ послушать. Заигралъ старый Вейнемейненъ, и чудесно зазвучали струны подъ его искусными перстами. Раздались нѣжные серебристые звуки и понеслись далеко по окрестности. Это была такая пѣснь радости и веселья, что ни одно живое существо не могло удержаться, чтобы не послушать божественного пѣвца. Перепрыгивая съ мѣста на мѣсто, бѣлки спѣшили туда, гдѣ раздавалась пѣсня; бѣжали горностаи, лоси и рыси, проснулся въ болотѣ волкъ, поднялся съ песчанаго бора медведь и вскарабкался на самую вершину ели, чтобы не пропустить ни одного звука. Самъ Тапіо, покровитель лѣсовъ, въ сопровожденіи остальныхъ лѣсовиковъ, взобрался на гору послушать нѣжной мелодіи, а хозяйка лѣсовъ, въ синихъ чулкахъ и башмакахъ, перевязанныхъ красными шнурками, задумчиво облокотилась о березу. Быстро разсѣкая воздухъ крыльями, летѣли со всѣхъ сто-
158—22 ронъ птицы. Услышалъ тѣ звуки | орель и понесся въ ту сторону, покинувъ въ гнѣздахъ своихъ птенцовъ. Стрѣлою спустился изъ-за облаковъ ястребъ. Лебеди и утки снялись со своихъ мѣсть и полетѣли туда, гдѣ раздавались чудесные звуки; зяблики, жаворонки, чижи и всѣ остальные пѣвцы лѣсовъ весело щебетали и запѣли вокругъ Вейнемейнена, а иные даже усѣлись на его плечи. Даже Луоннетаретъ, дѣвы воздуха, сидя на краю радуги, заслушались этихъ дивныхъ пѣсенъ. Куутарь, дочь мѣсяца, и Пейветеръ, дочь солнца, сидѣли на краю облака за золотой и серебряной пряжей, но лишь только услышали чудесный звонъ кантели, заслушались и выронили изъ рукъ челноки. Къ берегу подплываютъ тюлени, щуки, лещи, сиги и другія рыбы, чтобы послушать чудесной пѣсни. Показался на поверхности водъ Ахто, царь морской, съ бородой изъ тростника, и, заслушавшись тѣхъ звуковъ, проговорилъ: Никогда не приходилось мнѣ слышать такихъ рунъ, какія поетъ Вейнемейненъ. Русалки, расчесывавшія свои прекрасные волосы, заслушавъ чудные звуки, въ изумленіи выронили изъ рукъ гребни и стали подплывать ближе къ берегу.

Даже мать водъ, показавшись нѣсколько разъ надъ волнами, облокотилась наконецъ на выступавшую изъ воды скалу и, заслушавшись, позабылась. Такъ два дня игралъ Вейнемайненъ; не только юноши, дѣти и женщины, глубоко тронутые его пѣснями, плакали отъ умиленія, но даже старики, мужи и храбрые витязи не могли удержаться отъ слезъ. Обильныя слезы текли изъ глазъ Вейнемайнена, скатываясь крупными, тяжелыми каплями со щекъ на густую бороду, съ бороды на широкую грудь, съ груди на могучія колѣна, съ колѣнъ на ноги; покатились къ берегу и канули на морское дно. Тамъ онъ обратились въ жемчужины, которыя достаешь со дна синекрылая утка».

Текстъ приведенъ по Калевалѣ, составленной Лёнертомъ, а извѣстно, что онъ понималъ роль діасковаста, какъ понимаетъ ее народный пѣвецъ: кое что могло быть прибавлено изъ матерьяла народной же пѣсни, кое-что додумано, какъ напр., эпизодъ о слезахъ-жемчужинахъ. Эстонскія пѣсни о происхожденіи пѣсни и Kannel — кантели не испытали такого претворенія. Онъ говорить, что для Kannel употреблена была челюсть гигантскаго лосося, зубы щуки, какъ колки, волосы молодой дѣвушки, какъ струны. По одному преданію Wainemuiine (Вейнемайненъ) спустился на соборную гору (около Дерпта), гдѣ всѣ твари ждали его, чтобы поучиться «праздничному языку», то-есть, пѣснѣ. Водворилась тишина, все обратилось въ слухъ. Но не всѣ существа одинаково усвоили это пѣніе: деревья подмѣтили лишь | шумъ 23—159 отъ вѣянія, при которомъ нисходитъ божественный герой, и стали издавать только шелестъ; рѣка Эмбахъ научилась журчать; вѣтеръ издавалъ рѣзкіе звуки, изъ звѣрей — однихъ поразилъ скрипъ колковъ, другихъ — звонъ струнъ; пѣвчія птички, особенно соловей и жаворонокъ, переняли прелюдію; всѣхъ меньше получили на свою долю рыбы, высунувшія изъ воды голову только по уши — онъ научились шевелить ртомъ и остались на вѣкъ безгласными. Человѣкъ же усвоилъ себѣ все, оттого и пѣсня его доходитъ до глубины души и жилища боговъ.

По другому преданию, записанному у псковскихъ православныхъ эстовъ, kannel устроилъ самъ Jumal — богъ; разсказъ о томъ пристроился къ обширному циклу дуалистическихъ повѣрій о мірозданії¹⁾. Будто Jumal и злой духъ (Wana halb) стали спорить, кто изъ нихъ раньше изобрѣтѣть музыкальный инструментъ. Jumal взялъ листъ съ дерева и чудно заигралъ, тогда какъ Wana halb трудился нѣсколько дней надъ деревянной дудкой. Стали спорить вторично: Jumal устроилъ kannel, Wana halb — рогъ; побѣда и на этотъ разъ осталась на сторонѣ Jumal'a. Оттого kannel — священный инструментъ, имѣющій силу изгонять злого духа.

Сила пѣсни, которую иногда трудно отѣлить отъ чаръ мелодіи, стала общимъ мѣстомъ европейскихъ балладъ и сказокъ, даетъ имъ мотивы, служить развязкѣ. Въ англійской балладѣ Glasgerien о героѣ говорится, что онъ совершилъ невиданное: звуками арфы выманилъ рыбу изъ воды, извлекъ воду изъ камня, молоко изъ дѣвичьихъ грудей, что подломился мостъ, остановилась рѣка и левъ прислушался въ восхищеніи. Такъ и въ испанской пѣснѣ: поетъ рыбакъ на палубѣ, и засыпаютъ морскія волны, вѣтеръ обратился въ слухъ, рыбы тянутся изъ глубины и съ мачты внемлютъ птички.

Одно изъ обычныхъ пріуроченій этого мотива — къ любви: пѣсня увлекаетъ. Въ старо-французскомъ Lai d'Ignaurès герой влюбляется въ себя своимъ пѣніемъ двѣнадцать женъ двѣнадцати бретонскихъ рыцарей; въ шведскихъ балладахъ такимъ средствомъ привлечения и соблазна пользуется морской демонъ Strömkarl; подобные мотивы встрѣчаются въ англійской и голландской народныхъ пѣсняхъ. Въ нѣмецкой разбойничьей пѣснѣ выманиваетъ царевну изъ замка, и она бѣжитъ съ нимъ въ темный лѣсъ; въ французской такъ заманиваютъ разбойники дѣ-160—24 вушку на корабль. Либо чары пѣсни и любви | исходить отъ дѣвушки: въ старыхъ датской и шведской балладахъ рыцаря

1) См. мои Разысканія №№ XI и XX.

Тунне увлекла на охоту Ulfva, дочь дверга, и привораживает его къ себѣ звуками арфы: все въ природѣ прислушивается въ восхищенніи, звѣри и человѣкъ, растенія и цвѣты; лѣсные звѣри не трогаются съ мѣста, птицы забыли свои пѣсни, сизый соколь покоится на крыльяхъ, рыба пріостановилась, поля разукрасились цвѣтами и все позелѣнѣло. Рыцарь пришпориваетъ коня, но конь не можетъ тронуться, и Тунне сходитъ съ него точно въ чаду, очарованный, идетъ молить красавицу о любви. Недаромъ въ средневѣковой Германіи о чарующей мелодіи скрипача говорили, что это лейхъ, пѣсня эльфовъ, Albleich.

Порой такая пѣсня раздается отъ лица узника: въ нѣмецкой онъ такъ поетъ, что птицы останавливаются въ воздухѣ, дѣти засыпаютъ въ колыбели, а пажи королевы не могутъ сдвинуться съ мѣста, точно ихъ околдовали. Въ испанско-португальскомъ романѣ Reginaldo навлекъ на себя опалу; мать проситъ его спѣть ту самую пѣсню, которую пѣлъ когда то его отецъ въ Иванову ночь. Король слышитъ пѣвца и, тронутый пѣсней, посыаетъ дочь провѣдать, кто это поетъ, точно ангелы въ небѣ или морскія сирены. Узнаютъ, что это Reginaldo, и онъ прощенъ.

На обрядовой степени развитія мы встрѣтили-бы вмѣсто всего этого серьезную кантилену — заговоръ, вмѣсто баллады о рыцарѣ Тунне — присушку: Въ печи огонь горить и тлить дрова, такъ-бы тлѣло сердце у такого-то.

d) Откуда берется пѣсня у пѣвца? Его пѣсня-заговоръ властна надъ богами, и мы видѣли, до какой степени самосознанія доходили въ этомъ отношеніи индусскіе жрецы и друиды Ирландіи. А между тѣмъ даръ пѣснопѣнія и нераздѣльный съ нимъ даръ музыки исходитъ на нихъ откуда-то свыше, отъ тѣхъ самыхъ силъ, на которыхъ они старались вліять, отъ боговъ. Они посылаютъ пѣсню каждый своему служителю: θέσπις ἀοιδή, ἀοιδὴ θεσπεσίη, θέσπις ἀοιδός; богамъ, миѳическимъ героямъ приписывается изобрѣтеніе музыкальныхъ инструментовъ. Выдѣленіе особаго бога, вѣдающаго пѣсню, впослѣдствіи — поэзію, должно было сопутствовать разложенію обрядового акта по путямъ

культы и профессиональной пѣсни. Сѣверо-американскіе индѣйцы (Seneca) говорятъ, что ихъ жатвенные пѣсни даны имъ «великимъ мужемъ, что вверху», Na-we-ni-ju; подобныя представленія существуютъ у туземцевъ Мексики и Юкатана; латышамъ пѣсню приносить Лайма, въ христіанской замѣнѣ — Маря.

161—25

Пѣсню пою, какова она есть,
Она не мною сочинена,
Ее написала маменька,
Когда я спала (спаль) въ колыбели,
И маменька не знала-бы,
Если-бы Лайминя ей не сказала.

Или:

Милая Лайма, дочь Бога,
Приходи сочинять пѣсенки;
Скажи пѣсенку, пой сама
О молодыхъ, о старыхъ.

Либо:

Когда я пою, прекрасно пою,
Когда я плачу, жалобно плачу;
Какъ мнѣ прекрасно не пѣть,
Маря, сказительница пѣсень?
Какъ мнѣ жалобно не плакать,
Когда я была сиротинушкой?

«Я могу спѣть всякую пѣсню», говорить кара-киргизскій Akyn (пѣвецъ), Богъ послалъ мнѣ въ сердце даръ пѣсень, такъ что мнѣ искать нечего: ни одной изъ моихъ пѣсень я не выучилъ, все вышло изъ меня, изъ нутра».

Миѳологическій образъ Вуотана — Одина выработался постепенно: на сѣверѣ ему приписывали изобрѣтеніе рунъ, похищеніе мёда, сообщающаго даръ пѣсень; онъ Fimbulþulr, глава, начальникъ, покровитель þulr; онъ — отецъ саги; одно изъ объясненій его эпического прозвища, Gantr: sermones serens. Позже, въ пору викинговъ, когда типъ Одина получилъ воинственный характеръ, его стали представлять властителемъ, королемъ; у него дворецъ, дружина, а въ дружинѣ — пѣвецъ; не Одинъ теперь внушитель пѣсни, а Bragi; одинъ изъ эпитетовъ Одина (англосакс. brego — princeps; сѣв. bragnar = герои, люди) отвлечень отъ

него и сталъ самостоятельнымъ: онъ служитель Одина, украшеніе его стола, пѣвецъ боговъ, богъ поэзіи. Мы знаемъ обрядовое значеніе *bragarfullr*¹⁾; теперь *bragr* — поэзія.

Сходный процессъ произошелъ на греческой почвѣ. Древнее представлениe Аполлона было разностороннее, смѣшанное по содержанию и разнообразію атрибутовъ; со временемъ изъ этого синкетизма выступаютъ яснѣе типы бога свѣта и солнца (Аполлонъ — Фебъ) и Аполлона, вооруженнаго киарой или лирой, которую изобрѣлъ Гермесъ, онъ-же снабдилъ семью струнами: Аполлона Музагета. Музы, позднѣе | Музы, также вышли изъ 26—162 подобнаго-же синкетизма и примкнули къ культу Аполлона; отъ Музы и Аполлона пошли аэды и киеаристы, говорить Гезіодъ; Орфей и Линъ — сыновья Калліопы; музы вдохновляютъ гомеровскаго пѣвца, Демодока:

Муза его при рождениi зломъ и добромъ одарила:
Очи затмила его, даровала за то пѣснопѣнье.

Она, дочь Дія, «внушаетъ пѣвцу возгласить о вождяхъ знаменитыхъ», научила его пѣнію; но вмѣстѣ съ ней является Фебъ и боги вообще: остатокъ болѣе древняго, не специализированного представления. Демодокъ «даръ пѣсенъ пріялъ отъ боговъ», божественнымъ пѣніемъ боги его одарили; я не отъ себя пою, богъ внушилъ мнѣ пѣсни — были, говорить Фемій (*Od. X*, 347—8). Телемахъ просить мать не препятствовать Фемію пѣть «что въ его пробуждается сердцѣ»; виноваты въ пѣснѣ не пѣвцы, а Зевсъ, посылающій ее; Фемію судьба (*Νέμεσις*) пѣть о несчастной долѣ Danae (Od. I, 345 слѣд.).

Внущеніе, передача пѣсни понимались въ началѣ реально, въ уровнѣ съ представлениями, что смѣшоніе крови устанавливаетъ родовую связь, что съѣсть сердце врага значитъ переселить въ себя его храбрость. Остатки такого рода идей можно прослѣдить вплоть до теоріи вдохновенія. Даръ пѣсенъ сообщается чудес-

1) Сл. выше, стр. (154) 414.

нымъ напиткомъ. Мы знаемъ значеніе обрядового Kvásir'a; индійскій Сома также принадлежитъ обряду: онъ творецъ пѣснопѣній, но и творецъ неба и земли, Агни и Суры, Инды и Вишну, что отвѣчаетъ индійскому вѣрованію о деміургической силѣ жреческой молитвы. «Васъ, о Ашвины, призываю громкими пѣснями къ питью Сомы пѣвецъ Атри, зову и я», говорится въ одномъ гимнѣ Ригведы. — Я только напомню греческую Иппокрену на Геликонѣ и Касталійской источникъ на Парнасѣ съ ихъ отношеніями къ музамъ и Аполлону. Дары Діониса также входятъ въ эту связь: Эсхила называли его товарищемъ, самъ богъ явился ему и посвятилъ въ трагическіе поэты; рассказывали, что онъ творилъ безсознательно въ чаду вина.

Поэзія, дарь слова — *снѣдь*, нечто вкладываемое со стороны механически. Музы изливаютъ чудесную росу на усталастителей, которыхъ они взыскали съ колыбели, и изъ ихъ усть выходятъ слова, сладкія, что мёдъ (Hes. Theog. 84 слѣд.). Романъ сталъ пѣснопѣвцемъ, съѣвъ хартію, которую въ сновидѣніи подала ему Богородица. Архангель Гаврій явился къ Магомету и, вынувъ сердце, вложилъ новое съ хартіею, на которой написана была суть Корана. Пастухъ Hallbjørgn пригонялъ стадо къ 163—27 могильному холму скальда Þorleif'a | и проводилъ тамъ ночь.

Часто приходило ему желаніе сложить хвалебную пѣсню про покойнаго, да не хватало умѣнья; начнетъ бывало: «Здѣсь по-коится скальдъ», а далѣе ничего не выходило. Снится ему однажды, что изъ холма вышелъ мужъ, высокій ростомъ, хорошо одѣтый, и говоритъ: «Лежиши ты здѣсь, Hallbjørgn, и затѣялъ нечто, на что ты не способенъ: сложить пѣсню въ мою хвалу. Одно изъ двухъ: или этотъ дарь явится и дастся тебѣ больше, чѣмъ многимъ другимъ, на что я и надѣюсь; либо — оставь напрасный трудъ». Онъ коснулся его языка и произнесъ четверостишіе; если, проснувшись, Hallbjørgn его запомнитъ, изъ него выйдетъ толкъ. И Hallbjørgn сталъ скальдомъ.

Въ другихъ разсказахъ механическое перенесеніе замѣнено приказомъ, прикосновеніемъ; такова легенда о Кэдмонѣ, о Евемії

Иберѣ: въ Константинополѣ онъ забылъ грузинскій языкъ; во время болѣзни явилась ему Богородица. «Почему ты такъ плачешь? спрашиваетъ Она его.— Я сильно боленъ, старая царица. «Встань и говори по грузински, ибо ты выздоровѣешь». Онъ всталъ и началъ говорить съ краснорѣчіемъ Гомера. Сходное рассказывается о туркоманскомъ поэте Machdoun Kouli, котораго почитаютъ святымъ, его писанія богодохновенными. Однажды, когда онъ заснулъ на своемъ конѣ, онъ увидѣлъ себя въ Меккѣ, будто онъ сидѣтъ между пророкомъ и первымъ калифомъ. Сталъ онъ оглядываться и увидѣлъ Омара, покровителя туркомановъ, который подозвалъ его къ себѣ, благословилъ и коснулся его лба. Съ тѣхъ поръ Machdoun Kouli сталъ поэтомъ.

По абиссинскому сказанію, св. Духъ явился св. Яреду въ видѣ голубя и наставилъ его въ чтеніи, письмѣ и музыкѣ.

Ідеи судьбы, доли, унаслѣдуемой въ родѣ отъ поколѣнія къ поколѣнію, выражаются материальнымъ образомъ *связи*¹⁾. Дарь пѣсень, музыки переходилъ такимъ-же путемъ. По хорватскому повѣрю, каждую пятницу передъ новымъ мѣсяцемъ съ неба спускается вила, садится на дерево, съ нею двѣ женщины, другія стоять вокругъ и прядутъ. Мудрыя наставленія сообщаются имъ вещественно: другого значенія не имѣть та черта, что, пока вила говорить, всѣ слушательницы внизу и вверху соединены между собою одною нитью пряжи. Пѣсня «тчется», какъ тчется судьба.

Наконецъ, *передача духа, одержимость чужимъ духомъ* сообщаютъ дарь пѣсни, что входитъ въ рядъ распространенныхъ представлений объ одержимости пророковъ, корибантовъ, людей, преслѣдуемыхъ эринніями | и т. под. Австралійскій пѣвецъ по- 28—164 получаетъ этотъ дарь во снѣ отъ духа умершаго, обыкновенно родственника; у грековъ поэты одержимы нимфами, духомъ нимфъ, *υμφόληπτοι*; музъ одного корня съ *μανία, μάντις*. Это основа ученія о *вдохновеніи*, объ *энтузіазмѣ*; онъ годился для

1) См. мои Разысканія XIII, стр. 208 слѣд..

древнѣйшаго развитія своей не материальною матерьюльностью. Платонъ привелъ это ученіе въ систему, съ тѣхъ порь поэты повторяли его на всѣ лады, эстетики толковали. Изъ четырехъ родовъ восторга, *μανία*, одинъ исходитъ изъ музъ, говоритъ Платонъ. «Кто безъ маніи (*κατοχή* — одержаніе), внушеной музами, приходитъ ко вратамъ поэзіи, думая, что искусствомъ (*ἐκ τέχους*) изъ него сдѣлается хороший поэтъ, тотъ никогда не достигнетъ совершенства, и поэзія его, какъ поэзія разумнаго (*τοῦ σωφρού οὗτος*) будетъ отличаться отъ поэзіи безумствующихъ» (Федръ). «Какъ цѣпь желѣзныхъ колецъ заимствуетъ свою силу отъ магнита, такъ музы посылаютъ вдохновеніе пѣвцамъ, которые сообщаютъ его другимъ, и такъ составляется цѣпь людей вдохновенныхъ (*διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἀλλῶν ἐνθουσιασμῶν ὥρμαθδς ἔξαρτᾶται*). Въ самомъ дѣлѣ не искусствомъ, но энтузіазомъ и вдохновеніемъ великие эпические поэты сочиняютъ свои.... произведенія. Славные лирики также, подобно людямъ, волнуемымъ безумiemъ корибантовъ, пляшущихъ вѣ себѣ, не остаются въ умѣ своемъ, когда творять изящныя пѣснопѣнія: какъ скоро вошли они въ ладъ гармоніи и ритма, то преисполнены безумiemъ, объемлются восторгомъ, подобно восторгу вакханокъ, которыя во время упоенія черпаютъ въ рѣкахъ молоко и мѣдъ, чего не бываетъ съ ними въ спокойномъ расположеніи духа. Въ душѣ лирическихъ поэтовъ въ самомъ дѣлѣ совершается то, чѣмъ они хвалятся. Они говорятъ намъ, что черпаютъ въ медовыхъ источникахъ, летаютъ подобно пчеламъ по садамъ и долинамъ музъ и въ нихъ собираютъ пѣсни, которыя намъ поютъ. Они говорятъ правду. Поэтъ, въ самомъ дѣлѣ, существо легкое, крылатое и святое; онъ можетъ творить тогда только, когда объемлетъ его восторгъ, когда онъ выйдетъ изъ себѣ и разсудокъ покинетъ его; пока онъ при немъ, человѣкъ не способенъ творить все и изрекать пророчества. Поэтъ, по жребию Божию, успѣваетъ лишь въ томъ родѣ, къ которому муга его призываетъ (въ диарамбѣ, похвальной одѣ, плясовой пѣснѣ, эпосѣ, ямбахъ), и всѣ будуть слабы вѣ всякому другому, потому что ихъ внушаетъ искусство,

а не божественная сила. Если-бы искусствомъ они умѣли творить, они могли-бы успѣть въ разныхъ родахъ. А цѣль, ввиду которой богъ, отъемля у нихъ смыслъ, употребляетъ ихъ, какъ своихъ служителей, наравнѣ съ пророками и гадателями, та, 29—165 чтобы, внимая имъ, мы познавали, что не сами собою они говорятъ намъ вещи чудныя, ибо они внѣ своего разума, а что черезъ нихъ намъ глаголеть самъ богъ» (Лонъ).

Поэты усвоили эту теорію, то побрякивая ея формулами, какъ общимъ мѣстомъ, то проникаясь ею до самочувствія, плодя новые образы:

Убогому пѣть не тяжелый былъ трудъ,
А пѣсня ему не въ хвалу и не въ судъ,
Зане онъ надъ нею *не воленъ*.
Она, какъ рѣка въ половолье, сильна,
Какъ росная ночь благотворна,
Тепла и душиста, какъ въ маѣ весна,
Какъ солнце привѣтна, какъ буря грозна,
Какъ лютая смерть необорна.
Охваченный ею не можетъ молчать;
Онъ рабъ ему чуждаго духа,
Вожмась ему въ грудь вдохновенія печать,
Неволей иль волей — онъ долженъ въщать,
Что слышитъ подвластное ухо.

Два теченія и, вмѣстѣ, два опредѣленія выяснились намъ въ праисторії поэзіи къ той порѣ, когда ее понимаютъ уже какъ искусство и личный актъ. Къ первому пришли ирландскіе филы, подчеркнувъ идею *труда* и усвоеніе преданія, что не всякому дается: въ родословной фила есть и Знаніе и Великая Наука, Размышеніе и Просвѣщеніе и отецъ поэта — Искусство. Второе опредѣленіе, назначенное уяснить особенности личнаго поэтическаго процесса, въ сущности принижаетъ его, перенося его внѣ личности: теорія вдохновенія не далеко ушла отъ представленій поэзіи напиткомъ и спѣдью. Поэтъ одержимъ «чуждымъ духомъ» (*вдохновеніе, одержаніе*); онъ его рабъ, не владѣетъ своимъ умомъ, безумствуетъ, какъ корибанты (*безуміе*). Это такъ же мало объясняетъ природу того, что мы называемъ творчествомъ,

какъ увѣреніе финскаго пѣвца, что свои пѣсни онъ подобралъ на дорогѣ, сметаль съ кустовъ, что ему ихъ навѣяли вѣтры; какъ Гѣтевское «Ich singe, wie der Vogel singt». Разумѣется, образъ одержимости давно пересталъ ощущаться реально, но онъ на-долго заслонилъ пониманіе личнаго психологическаго процесса, свойственнаго всѣмъ намъ, потенцированнаго у поэтовъ, у которыхъ

. . . быстрый холдъ вдохновенія

Власы подъемлетъ на челъ

(Пушкинъ).

166—30 | Пушкину знакомо и вдохновеніе, и Муза, «наперсница волшебной старины», и демонъ, обладавшій его играми и досугомъ:

За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ;

и наитіе поэзіі:

И пробуждается поэзія во мнѣ,
Душа стѣсняется лирическимъ волненіемъ,
Трепещеть, и звучить, и ищетъ, какъ во снѣ,
Излиться, наконецъ, свободнымъ проявленіемъ.

Но когда онъ пытался уяснить самому себѣ сущность того, что въ немъ происходило, онъ забывалъ поэтическіе образы и, выключая изъ понятія вдохновенія ложно-классическую категорію «восторга», предъявляя поэту требованія труда, работы мысли. «Вдохновеніе, говорилъ онъ, есть расположеніе души къ живѣй-шему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно и къ объясненію онъихъ. Восторгъ исключаетъ спокойствіе, необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому. Восторгъ не продолжителенъ, не постояненъ, слѣдовательно не въ силахъ произвестъ истинное, великое совершенство. Гомеръ неизмѣримо выше Пиндара. Ода стоить на низшихъ ступеняхъ творчества. Она исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго». «Борисъ Годуновъ» — плодъ вдохновенія и труда: «писанная мною въ строгомъ уединеніи, вдали охлаждающаго свѣта,

плодъ добросовѣстныхъ изученій, постояннаго труда, трагедія сія доставила мнѣ все, чѣмъ писателю насладиться дозволено: живое занятіе вдохновенію, внутреннее убѣжденіе, что мною употреблены были всѣ усилия».

Мой своенравный гений
Позналъ и тихій трудъ и жажду размышеній...
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ.

Я зналъ и трудъ и вдохновеніе,
И сладостно мнѣ было жаркихъ думъ
Уединенное волненіе.

Изучить общіе процессы этого волненія—задача психологіи; особенности и причины ихъ личнаго выраженія ускользаютъ отъ теоріи климата, врожденности и среды и даже отъ анализа доктора Тулузъ; музы и вдохновеніе уволены въ арсеналъ старыхъ формуль, ничего не значущихъ, но служившихъ поколѣніямъ для «свободнаго проявленія» ихъ поэтическихъ думъ. Извѣстныхъ формуль состоять весь нашъ поэтическій языкъ; въ этомъ интересъ его изученія.

Наигрыши Добрыни.

(Приложеніе къ стр. 155 слѣд.).

Къ материаламъ, сообщеннымъ выше для характеристики 31—167 силы пѣсни, я привлекъ и наигрыши Добрыни. Это требуетъ объясненія и поставить нѣсколько вопросовъ о мотивахъ, вошедшихъ въ составъ былины «о Добрынѣ въ отъѣздѣ».

Уѣзжая, Добрыня заказываетъ женѣ—ждать его столько-то лѣтъ, а потомъ пусть выходитъ замужъ, только не за брата названнаго, Алѣшу Поповича. Въ небольшой группѣ былинъ жена просто не дождалась и готова выйтти за Алѣшу (Гильф. №№ 23, 26, 33, 36), не послушала мужчина наказа—обождать, пока голубь съ голубкой не оповѣстятъ ее о его смерти, или его

конь не прибѣжитъ на дворъ (Гильф. № 80). Въ одномъ пересказѣ (Гильф. № 168) жена рѣшается выйти замужъ, получивъ ложную вѣсть о смерти Добрыни, но не отъ Алѣши, какъ въ большинствѣ варъянтовъ, изображающихъ его измѣнникомъ; въ западныхъ параллеляхъ къ нашему сюжету говорится о предателѣ, сообщающемъ, именно, такую коварную вѣсть и притязающемъ на руку вдовы.

На свадьбу своей жены съ Алѣшей является Добрыня въ личинѣ скомороха и поеть, памекая на себя. Догадывается жена (Гильф. №№ 215, 222, 228, 306), присутствующіе на пиру (Гильф. № 5: что пріѣхалъ «удалый русскій богатырь; № 107: видно Добрыня вернулся, «не бывать намъ на пиру никому живымъ»; № 290: «которые на пиру догадалисе, А зъ зараны съ пиру убиралисе»; сл. № 292), или самъ Владимиръ (Гильф. № 65). Но эта догадка не приводить непосредственно къ признанію: оно совершается, когда Добрыня опустилъ свой перстень въ кубокъ съ виномъ. Замѣтимъ, что въ пѣсняхъ и сказкахъ типа «мужа на свадьбѣ жены», гдѣ онъ является пѣвцомъ или игрецомъ (сѣверная баллада о Торѣ, немецкая о Мѣрингерѣ), спознаніе также приводится не пѣсней, а кольцомъ, либо за игрой въ шахматы, какъ, наоборотъ, въ моравскомъ варъянтѣ у Sušil'a, 131, въ сербскихъ пѣсняхъ о Маркѣ и Ильѣ, въ польской о панѣ Думбровѣ и сказкѣ объ Ашикѣ — Керибѣ развязкой дѣйствія служить пѣсня, не перстень. Возможенъ вопросъ: не являются-ли догадка по пѣснѣ и признаніе по кольцу накопленіемъ однозначащихъ мотивовъ? № 215 Гильф. приводить ихъ въ связь, одинъ какъ бы психологически подготовляетъ другой: жена слышитъ пѣсню, догадывается и сама подаетъ мужу кубокъ, въ который онъ и опускаетъ кольцо.

168—32 | О чѣмъ-же пѣлъ Добрыни? Въ одной былинѣ (Рыбн. I, 132) говорится, что онъ былъ у Царыграда, когда получилъ вѣсть о второмъ бракѣ жены; въ другой (Гильф. стр. 1018), что онъ стоялъ три года подъ Царыградомъ, три года подъ Иерусалимомъ. Было ли такъ разсказано въ древнихъ о немъ былинахъ, или

города эти вошли въ нынѣшній ихъ составъ изъ напѣвокъ, наигрышѣ Добрыни, уже успѣвшихъ обратиться въ формулу — мы не знаемъ. Содержаніе наигрышѣ опредѣлено ихъ цѣлью: дать понять, кто такой захожій скоморохъ. Онъ будетъ пѣть о Царьградѣ, а затѣмъ и о Киевѣ, гдѣ онъ, очевидно, у себя дома, всѣхъ знаетъ:

А играеть то Добрыня въ Киеви
А на выигрышь береть да во Цари-гради,
А отъ стараго да всѣхъ до малаго
А повыиграль пойменно.

(Гильф. № 5).

либо:

Игралъ онъ въ Цариградѣ,
А на выигрышь береть все въ Киевѣ

(Кир. II, 37).

Либо является тройственность: Царьградъ, Іерусалимъ, Киевъ; въ связи съ Киевомъ «похожденія» Добрыни; иногда они и стоять вмѣсто Киева; именно кievскія откровенія и должны были заставить догадаться, что пріѣзжій не кто иной, какъ Добрыня. Эта тройственность наигрыша полюбилась, стала формулой, которая развивалась и искажалась:

Ёнъ игрищо игралъ отъ Царяграда,
Другое игралъ отъ Еросолима
Третье игралъ отъ Киева
И похожденія выигрывалъ Добрынины.

(Гильф. № 290; сл. № 292).

Либо: отъ Киева до Царьграда, отъ Царьграда до Ёросалиму, съ Еросалима къ землѣ Сорочинской (Гильф. № 80); струночку играетъ отъ синя моря, Другую играетъ отъ Царяграда, А третью отъ Еросалима, А все похожденыцио Добрынюшкино (Гильф. № 306);

Первый разъ игралъ отъ Царяграда,
Другой разъ игралъ отъ Іерусалима,
Третій разъ сталъ наигрывати,
Все свое похожденіе разсказывати

(Рыби. III, 16).

Далѣе являются уже искаженія: Онъ съ Кїева игралъ все до Новаграда, А ї съ Новаграда все до Киева (Гильф. № 43);

Тонцы повель оть Новаграда, Другіе повель оть Царяграда (Гильф. № 65); Ёнъ перву (струну) наладилъ съ града съ Кіева, Ёнъ другую наладилъ изъ Чернигова, Ёнъ вѣдь третью изъ Каменной Москвы (Гильф. № 207).

169—33 | Формула полюбилась, приладилась къ игрѣ Ставра, Соловья Будимировича, Садка; въ былинѣ о похищенні Соломоновой жены совѣтуется поставить на корабль гусельшки,

Чтобы сами и гудѣли и тонцы вели,
Тонцы то вели бы съ Царяграда,
Утѣхи то были Іерусалима,
Отпѣвали умъ-разумъ въ буйной головѣ.

Имѣется въ виду волшебное дѣйствіе пѣсни, мелодіи, увлекающей къ любви неудержимо, противъ воли. Съ такими мотивами мы познакомились выше¹⁾.

Какое значеніе имѣли наигрыши Добрыни помимо цѣлей не совершившагося или неполнаго признанія? О вліяніи Добрыниной пѣсни говорять: «всѣ на пиру пріугихли, сидять», либо «призадумались, игры призаслушались»; такой игры «на свѣтѣ не слыхано, на бѣломъ игры не видано». Но есть и болѣе рельефныя выраженія впечатлѣній: Добрыня играет сначала «по уныльному, по умильльному», и всѣ призаслушались; затѣмъ заигралъ по веселому: «какъ всѣ они тутъ да разскакалисе, какъ всѣ они затымъ вѣдь расплясалисе». (Гильф. № 49). Таково вліяніе игры въ сагѣ о Бози; пѣсня Добрыни дѣйствуетъ и того страшнѣе: по одному варьянту, когда онъ заигралъ, «всѣ на пиру оглянулися, всѣ на пиру ужаснулися»; замѣтимъ, что по одному пересказу (Гильф. № 80) въ Добрынинъ лукъ, «въ тупой конецъ», введены были гусельшки яровчаты и что когда товарищъ Добрыни, Иванъ Дубровичъ, заигралъ на этомъ лукѣ-гусляхъ, всѣ «игроки пріумолкли, всѣ скоморохи пріослухались».

Мотивъ «страшной» пѣсни примкнулъ къ нашимъ богатырскимъ каликамъ какъ общее мѣсто, настоящее положеніе кото-

1) См. выше, стр. 159 слѣд..

раго въ составѣ духовнаго стиха едва-ли отвѣчаетъ его назначению. Калики просятъ милостыни:

Скричать калики зычнымъ голосомъ,
Дрожитъ матушка сыра земля,
Съ деревъ вершины попадали,
Подъ княземъ конь окорачился,
А богатыри съ коней попадали
* * * * *
Съ теремовъ верхи повалился,
А съ горницъ охлопья попадали,
Въ погребахъ питья всколебались

(Безсоновъ, Калики I, № 4, стр. 9—10; сл. № 5, стр. 21).

Я полагаю, что все это — разбросанныя черты мотива о 34—170 «страшной» игрѣ Добрыни, непонятныя въ настоящей ихъ связи, какъ загадочными являются гусельщики, влитые въ пуговки Чурилы, если не возвести ихъ къ искаженному въ нихъ оригиналу. Въ былинѣ о Добрынѣ въ отъездѣ могли слиться два мотива: а) мужъ возвращается съ отлучки на свадьбу жены, даетъ знать о себѣ перстнемъ, удаляетъ соперника; б) жена похищена, мужъ является переодѣтый скоморохомъ, ужасаетъ всѣхъ своей игрой и пользуется суматохой, чтобы увезти жену. Послѣдній мотивъ «похищенія» могъ указать старой пѣснѣ ея мѣсто въ свадебномъ ритуалѣ, въ связи съ обрядовымъ переживаніемъ «умыканія»; въ этомъ ритуалѣ она осталась (напримѣръ, въ Польшѣ и у болгаръ) и въ той формѣ, въ которой она теперь популярна, то-есть съ мотивомъ возвращающагося изъ отлучки мужа. Можетъ быть, и въ пѣснѣ о возвращеніи отразились бытовыя черты, связанные съ одной изъ древнихъ формъ брака, устранившихъ жизнью, но сохранившихся въ свадебной символикѣ. Я имѣю ввиду обычай, по которому вдова становилась собственностью клана, который самовластно распоряжался ея вторичнымъ бракомъ; наиболѣе извѣстенъ институтъ левирата, отдававшій вдову старшаго брата въ жены младшему. Древняя легенда о женихахъ Пенелопы отразила, по мнѣнію Крука, такія именно отношения: Одиссей въ отлучкѣ, его считаютъ погибшимъ, женихи

Пенелопы — это члены клана, предъявившие свои притязания по праву; Гомеру эти отношения были уже неясны, и законное требование представилось ему насилиемъ. Въ пѣсняхъ о «мужѣ на свадьбѣ жены» ее принуждаются къ второму браку родные, отецъ, братья и сестры (скандинавская баллада, сербская пѣсня), теща (албанская пѣсня); Владимиръ насильно выдаетъ жену Добрыни за его названаго брата Алѣшку, притомъ меньшаго. Посягнуть на жену побратима такъ же преступно, какъ и въ подобныхъ отношенияхъ кумовства¹⁾; но зачѣмъ понадобился здѣсь этотъ мотивъ преступности? Въ западныхъ параллеляхъ къ нашему сюжету говорится о предателѣ, сообщающемъ ложную вѣсть о смерти мужа; этого достаточно; предателемъ является и Алѣша; его побратимство либо double emploi, либо замѣнило болѣе древнія представленія: въ началѣ дѣла могло идти о родичѣ, братѣ мужа; оттуда его притязанія на вдову.

1) Гетеризмъ и т. д., 1. с. стр. 804.

III.

Языкъ поэзіи и языкъ прозы.

I.

Никто не задумается отвѣтить на вопросъ, предполагаемый 35—171 этимъ заглавиемъ, и отвѣтить фразой, выражающей огульное впечатлѣніе, въ которомъ личные вкусы, какъ бы они ни были разнообразны, сошлись въ единствѣ унаследованнаго преданія. Изучить это преданіе въ его фактическомъ развитіи и генезисѣ, значило-бы объяснить или узаконить и самое впечатлѣніе. Въ слѣдующихъ строкахъ я намѣчу лишь путь, по которому можно было-бы пойти изслѣдователю, если-бы все необходимые для того факты были подъ рукою.

Дѣло идетъ объ отличіи языка поэзіи и языка прозы. Мы скажемъ, не обинуясь: языкъ поэзіи съ лихвой орудуетъ образами и метафорами, которыхъ проза чуждается; въ ея словарѣ есть особенности, выраженія, которыхъ мы не привыкли встречать въ ея обиходѣ, ей свойствененъ ритмическій строй рѣчи, котораго, за исключеніемъ нѣкоторыхъ моментовъ аффекта, чуждается обыденная, дѣловая рѣчь, съ которой мы обыкновенно сближаемъ прозу. Я говорю о ритмическомъ строѣ, не имѣя ввиду ритмъ стиха, заостренного или незаостренного риѳомой: если для Гёте поэзія становится таковой лишь при условіи ритма и риѳомы (*Leben* III, II), то мы уже успѣли пріучиться къ «стихо-

твореніямъ» въ прозѣ (Тургеневъ), къ стихамъ, не знающимъ размѣра, но производящимъ впечатлѣніе поэзіи (Walt Whitman), какъ съ другой стороны знаемъ «цвѣтущую», поэтическую прозу, облекающую порой весьма низменное содержаніе. Шерерь допускаетъ и эпосъ въ прозѣ, историческое произведеніе въ стилѣ эпопеи и не въ стихахъ; но мы, разумѣется, не сочтемъ поэзіей 172—36 научную тему потому лишь, что она изложена стихами, съ обилиемъ образовъ и соответствующимъ реторическимъ приборомъ.

Таково наше впечатлѣніе, и мы, естественно, склонны заключить, что выборъ того или другого стиля или способа выраженія органически обусловленъ содержаніемъ того, что мы назовемъ поэзіей или прозой по существу и къ чему подберемъ соответствующее опредѣленіе. Но вѣдь содержаніе мѣнялось и мѣняется: многое перестало быть поэтичнымъ, что прежде вызывало восторгъ или признаніе, другое водворилось на старое мѣсто, и прежніе боги въ изгнаніи. А требованія формы, стиля, особаго языка въ связи съ тѣмъ, что считается поэтическимъ или прозаически-дѣловымъ, осталось то-же. Это и даетъ право отнести къ поставленному нами вопросу определенно-формально: что такое языкъ поэзіи и языкъ прозы? Отличіе ощущается, требуется, несмотря на историческія измѣненія, которыя могли произойти въ составѣ того или другого стиля.

Французскіе *Parnassiens* утверждали, что у поэзіи такой-же специальный языкъ, какъ у музыки и живописи, и у него своя особая красота. Въ чемъ-же состоитъ она? спрашиваетъ Бурже. Не въ страсти, потому что самый пылкій любовникъ можетъ излить свое чувство въ трогательныхъ стихахъ, далеко не поэтичныхъ; не въ истинѣ идей, потому что величайшія истины геологіи, физики, астрономіи едва-ли подлежать поэзіи. Наконецъ, не въ краснорѣчіи. И вмѣстѣ съ тѣмъ и краснорѣчіе, и истина, и страсть могутъ быть въ высшей степени поэтичны—при извѣстныхъ условіяхъ, которыя и даны въ специальныхъ свойствахъ поэтическаго языка: онъ долженъ вызывать, подсказывать образы

или настроение сочетаниями звуковъ, такъ тѣсно связанныхъ съ тѣми образами или настроеніями, что они являются какъ-бы ихъ видимымъ выраженіемъ.

Мнѣ нѣтъ нужды останавливаться на разборѣ этой школьнай теоріи; важно признаніе особаго поэтическаго стиля; это понятіе и слѣдуетъ поставить въ историческое освѣщеніе.

Различая языкъ поэзіи отъ языка прозы, Аристотель (Риторика, кн. III, сл. 2) дѣйствуетъ, какъ протоколистъ, записывающій свои наблюденія надъ фактами, распредѣляющій ихъ по широкимъ категоріямъ, оставляя между ними переходныя полосы и не подводя общихъ итоговъ. Главное достоинство стиля — это ясность, говорить онъ; стиль не долженъ быть «ни слишкомъ низокъ, ни слишкомъ высокъ», но долженъ подходить (къ предмету рѣчи); и поэтический стиль, конечно, не низокъ, но онъ не подходитъ къ ораторской рѣчи. Изъ именъ и глаголовъ тѣ отличаются ясностью, которые вошли во всеобщее употребленіе. 37—173 Другія имена, которыя мы перечислили въ сочиненіи, касающемся поэтическаго искусства (Поэтика, гл. 23), дѣлаютъ рѣчь не низкой, а изукрашенной, такъ какъ отступленія (отъ рѣчи обыденной) способствуетъ тому, что рѣчь кажется болѣе торжественной: ведь люди такъ же относятся къ стилю, какъ къ иностранцамъ — и своимъ согражданамъ. Поэтому-то слѣдуетъ придавать языку характеръ иноземнаго, ибо люди склонны удивляться тому, что (приходитъ) издалека, а то, что возбуждаетъ удивленіе — пріятно. Въ стихахъ многое производить такое дѣйствіе и годится тамъ (то-есть въ поэзіи) потому, что и предметы и лица, о которыхъ (идетъ) тамъ рѣчь, болѣе удалены (отъ житейской прозы). Но въ прозаической рѣчи такихъ средствъ гораздо менѣе, потому что предметъ ихъ менѣе возвышенъ; здѣсь было-бы еще не-пріятнѣе, если бы рабъ, или человѣкъ слишкомъ молодой, или кто нибудь, говорящій о слишкомъ ничтожныхъ предметахъ, выражался возвышеннымъ слогомъ. Но и здѣсь прилично говорить то принижая, то возвышая слогъ сообразно (съ трактуемымъ предметомъ).

Холодность стиля, продолжаетъ Аристотель (гл. 3), происходит: 1) отъ употребленія сложныхъ словъ, 2) отъ необычныхъ выражений, 3) отъ ненадлежащаго пользованія эпитетами и 4) отъ употребленія неподходящихъ метафоръ. Здѣсь мы снова переходимъ къ вопросу объ отличіяхъ поэтическаго слога: не слѣдуетъ употреблять эпитеты длинные, неумѣстно и въ большомъ числѣ; въ поэзіи, напримѣръ, вполнѣ возможно назвать *молоко бѣлья*, въ прозѣ же (подобные эпитеты) совершенно неумѣстны; если ихъ *слишкомъ много*, они обнаруживаются (риторическую искусственность) и доказываютъ, что *разъ нужно ими пользоваться*, это есть уже поэзія, такъ какъ употребленіе ихъ измѣняетъ обычный характеръ рѣчи и сообщаетъ стилю отгѣнокъ чего-то чуждаго.... Люди употребляютъ *сложные слова*, когда у данного понятія нѣтъ названія, или когда легко составить сложное слово; таково, напримѣръ, слово *χρονοτրιβѣнъ* — времяпрепровожденіе; но если (*такихъ словъ*) много, то (*слогъ дѣлается*) совершенно поэтическимъ. Употребленіе двойныхъ словъ всегда свойственно поэтамъ, пишущимъ *диѳирамбы*, такъ какъ они любители *громкаго*, а употребленіе *старинныхъ словъ* — поэтамъ *эпическимъ*, потому что (такія слова заключаютъ въ себѣ) нѣчто *торжественное и самоувѣренное*. (Употребленіе-же) *метафоры* (свойственно) *ямбическимъ* стихотвореніямъ, которыя..... пишутся теперь..... Есть метафоры, которыя не слѣдуетъ употреблять: однѣ потому, что (онѣ имѣютъ) смѣшной смыслъ, почему и авторы 174—38 комедій употребляютъ метафоры; другія потому, что | смыслъ ихъ слишкомъ торжественъ; кроме того (метафоры имѣютъ) неясный смыслъ, если (онѣ) заимствованы издалека, какъ, напримѣръ, Горгій говорить о дѣлахъ «блѣдныхъ» и «кровавыхъ».

Итакъ поэтическій языкъ не низкій, а торжественный, возбуждающій удивленіе, обладающій особымъ лексикономъ, чуждымъ прозѣ, богатымъ эпитетами, метафорами, сложными словами, производящими впечатлѣніе чего-то не своего, чуждаго, поднятаго надъ жизнью, «стариннаго». Сторону затронуть вопросъ и о *содержаніи* поэзіи: она трактуется о предметахъ

возвышенныхъ, удаленныхъ отъ житейской прозы; но суть разсуждения сведена къ занимающей насъ цѣли: къ вопросу о сущности поэтическаго *стиля*. Мы увидимъ далѣе, что въ работахъ, посвященныхъ языку поэзіи и прозы, это существенное отдѣленіе содержанія отъ стиля не всегда бывало соблюдено. Оттуда рядъ неясностей и призрачныхъ опредѣленій. Изъ многаго выберемъ немногое.

Для Гербера отдѣленіе поэзіи отъ прозы наступило съ появленіемъ литературы; тогда то въ человѣчествѣ обнаружилось двойное стремленіе: съ одной стороны усвоить себѣ міръ, какимъ онъ кажется, представляется существующимъ, для чего точная прозаическая рѣчь давала самый подходящій способъ выраженія; съ другой — вообразить себѣ тотъ же міръ, какъ символъ, призракъ, *Schein*, чего-то божественнаго, чemu и послужила чувственно-образная рѣчь, рѣчь первобытнаго индивидуума, которая, поднятая и облагороженная, продолжаетъ существовать въ нашемъ языкѣ, *in der Sprache der Gattung*; это и есть языкъ поэзіи. Отличіе крайне сбивчивое: вѣдь нашъ языкъ, вообще, языкъ обыденной прозы, представляеть не суть міровыхъ явлений и объектовъ, а наше о нихъ пониманіе, то, что кажется, стало быть, *Schein*, и тотъ же *Schein* долженъ характеризовать и языкъ поэзіи; тамъ и здѣсь безсознательно-условная, символическая образность, несущественная и неощутимая болѣе въ одномъ случаѣ (проза), живая и существенная въ другомъ (поэзія). И что такое поэтический языкъ первобытнаго «индивидуума»? Если подъ послѣднимъ понять не индивидуальность, а особь, то вѣдь языкъ — явленіе соціальное, хотя-бы и въ узкомъ пониманіи этого слова. Проза, какъ особые стиль и родъ, выдѣлилась на памяти литературы; какъ стиль, ея начала лежать за историческими предѣлами, хотя-бы въ формахъ сказки.

Штейнталь нѣсколько разъ обращался къ занимающему насъ вопросу, въ статьяхъ *Zur Stylistik, Poësie und Prosa, Ueber den Stil*. Дѣло шло о стилѣ, а категорія содержанія, 39—175 поэтическаго или прозаического, постоянно вмѣшивалась въ

рѣшеніе, и болѣе или менѣе раздѣльного результата не получилось.

Я разберу второе изъ указанныхъ выше разсужденій.

Авторъ выключаетъ изъ своего разсмотрѣнія *дѣловую прозу*, противоположную искусству и наукѣ съ ихъ общими, теоретическими цѣлями. Подъ прозой разумѣется *научная проза* (за выключеніемъ научныхъ формулъ) и *краснорѣчіе*, которое характеризуется, впрочемъ, какъ нѣчто побочное, присталое (*anhängende Kunst*) къ искусству, тогда какъ поэзія всецѣло входитъ въ его область. Неясныя отношенія, въ которыхъ здѣсь поставлены поэзія и краснорѣчіе (ораторское искусство), напоминаютъ постановку этого вопроса у Аристотеля. До сихъ поръ мы въ области стиля: дѣло идетъ о поэтическомъ языкѣ и о языке прозы, но прозы эстетической; тотъ и другой противополагается обыденной, дѣловой прозѣ (*Sprache des Verkehrs*), какъ вообще практикѣ жизни, а вмѣстѣ съ тѣмъ они отличны другъ отъ друга. Отличіе это обосновывается разборомъ цѣлей практической дѣятельности, искусства и науки, но это указываетъ уже на другой критерій: не стиля и изложенія, а содержанія. Изъ области эстетической прозы исключается вслѣдствіе этого философія и наука, оперирующая отвлеченіями и общими понятіями, ибо ихъ процессы радикально расходятся съ процессомъ искусства, то-есть поэзіи: поэзія раскрываетъ идею въ особи, въ частномъ явленіи (*im Einzelnen*), въ образѣ, науки вѣдаются только идеи абстракціи. Иначе поставлены исторія или исторіографія по отношенію къ эстетической прозѣ, но когда авторъ разбираетъ отличіе пріемовъ работы и характера творчества у историка и поэта, категорія стиля, изложенія снова смѣшивается съ категоріей содержанія. То же слѣдуетъ сказать и объ отдѣлѣ, посвященномъ «поэтической прозѣ». Разумѣются романъ и новелла, и поднимается вопросъ, почему этотъ любимый въ настоящее время литературный родъ обходится безъ стиха. Авторъ видитъ въ этомъ обстоятельствѣ необходимую ступень въ развитіи поэзіи, постепенно спускавшейся на землю, къ темамъ индивидуальной, семейной и соціаль-

ной жизни. Такимъ образомъ мы узнаемъ стороною, что стихъ—принадлежность поэзіи, еще не спустившейся съ облаковъ.

Еще разъ возвращаясь къ языку науки, авторъ разбираеть, насколько допустимы въ ней элементы красоты, красоты присталой, *anhängende Schönheit*, которую такъ опредѣляетъ: это форма, которая, пріятно дѣйствуя на чувства, проявляеть въ предметѣ, къ которому пристала, исключительно утилитарное 40—176 назначеніе и цѣли. Искусство, поэзія, подскажемъ мы, пре-слѣдуетъ, стало быть, не утилитарныя цѣли, оно безкорыстно. Одно изъ старыхъ опредѣленій - признаковъ художественного творчества, построенное на категоріи содержанія и цѣли.

Анализъ Штейнталя представляеть много тонкихъ наблюденій и интересныхъ обобщеній, но лишь мало приносить къ разъясненію занимающаго насъ вопроса. Поэзія орудуетъ образами, особями; ей-свойственъ стихъ; ея красота — не присталая; что въ это понятіе входиگъ и стиль, понятно изъ соображеній о присталой красотѣ въ научной прозѣ. Но что же такое красота поэтическаго стиля?

«Essay» Спенсера о «философіи стиля» подошелъ къ рѣшенію вопроса съ другой точки зрењія: психо-физической и, если хотите, экономической. Дѣло идетъ не объ отличіяхъ поэтической и прозаической рѣчи, а о стилѣ вообще, но въ результатѣ получается не сколько данныхъ для обоснованія специального языка поэзіи.

Главное требование, которому долженъ отвѣтить хороший стиль—это экономизация вниманія со стороны слушателя или читателя; это требование опредѣляетъ выборъ словъ, ихъ распорядокъ въ рѣчи, ея ритмичность и т. д. Слова, которыя мы усвоили въ дѣствѣ, намъ болѣе внятны, легче суггестивны, чѣмъ равнозначущія имъ, либо синонимы, съ которыми мы освоились лишь позднѣе. Авторъ беретъ примѣры изъ англійского языка съ германскими и романскими элементами его словаря: первыми богать дѣтской языкомъ, вторые входятъ въ оборотъ уже въ періодъ окре-шаго сознанія. Оттого будто бы *to think* болѣе выразительно, чѣмъ *to reflect*; русской параллелью было бы сопоставленіе: ду-

матъ и размышлять, размышление и рефлексія. Той же экономії вниманія отвѣчаютъ краткія по объему слова, хотя авторъ оговаривается, что краткость не всегда отвѣчаетъ цѣли — быстрѣе остановить вниманіе, скорѣе вызвать впечатлѣніе: порой многосложныя слова, эпитеты, уже въ силу своего объема (size), выразительнѣе своихъ болѣе краткихъ синонимовъ, ибо они даютъ возможность слушателю долѣе остановиться на свойствахъ возбужденного ими образа. Примѣры: *magnificent* — и *grand*, *vast* — и *stupendous* и т. п. По поводу той или другой категоріи словъ слѣдуетъ замѣтить, что соединенные въ одной парѣ далеко не равнозначущія, а вызываются при одномъ и томъ же понятіи неодинаковыя ассоціаціі; что синонимовъ въ сущности нѣтъ, если подъ этимъ словомъ разумѣть нѣчто тождественное, покрывающееся безъ остатка, | что если допустить сосуществование *to think* и *to reflect* въ оборотѣ дѣтской рѣчи, они отразили бы безсознательно нѣкоторый отг҃ёнокъ пониманія, хотя и не тотъ, съ какимъ мы ихъ употребляемъ. Съ этой точки зрењія можно защитить введеніе иностранныхъ словъ, если они плодятъ ассоціаціі идей, которыя свои, народные синонимы не вызываютъ.

Экономії вниманія отвѣчаетъ и ономатопея: слова съ звуковой образностью. Если вы выразили абстрактнымъ, неживописнымъ словомъ пониманіе удара, паденія и т. п., мысль должна поработать, чтобы представить себѣ реальное впечатлѣніе самаго акта; эта работа становится лишней, когда вы услышите: бацъ, трахъ! И въ Лету бухъ! По той же причинѣ конкретныя слова выразительнѣе отвлеченныхъ, ибо мы мыслимъ не отвлеченіями, а частностями и особенностями, и намъ стоитъ труда перевести отвлеченное выраженіе въ образное.

Тотъ же принципъ, какой руководилъ выборомъ словъ, прилагается и къ конструкціі, къ послѣдовательности рѣчи. Авторъ выходитъ изъ примѣра: англичанинъ, нѣмецъ, русскій говорять: вороная лошадь; французы, италіанцы: лошадь вороная, *cheval noir*. Произнеся слово «лошадь», вы вызываете въ слушателѣ известный ему образъ, но непремѣнно окрашенный, и окрашен-

ный случайно: вы можете себѣ представить гнѣдую лошадь, саврасую и т. д., ибо элементъ «вороной» еще не задержалъ, не упрочилъ вашего вниманія; когда онъ выраженъ, вы удовлетворены въ случаѣ его совпаденія съ той окраской, которую вы дали вашему внутреннему образу, въ противномъ случаѣ вы начнете разрушать его, чтобы пристроить къ нему навязанное вамъ впечатлѣніе. Иначе при конструкціи «вороная лошадь» вы получили темный, черный фонъ, готовый къ воспріятію тѣхъ контуровъ, которые вамъ подскажетъ слово «лошадь». Это — экономія вниманія. Отсюда выводъ, опредѣляющій взглядъ Спенсера на идеальную конструкцію рѣчи: опредѣляющее раньше опредѣляемаго, нарѣчіе раньше глагола, сказуемое раньше подлежащаго, все, относящееся къ уясненію первого и второго, ранье ихъ самихъ; подчиненное предложеніе раньше главнаго и т. д. «Велика Эфесская Діана», красивѣе и экономичнѣе обычнаго: Эфесская Діана велика. Другими словами: нормальной является обратная, косвенная конструкція рѣчи, она, въ сущности, — прямая. Разумѣется, она рекомендуется съ ограниченіями: въ сложной фразѣ или сочетанії предложеній, гдѣ другъ за другомъ накапливаются опредѣленія, а опредѣлимое является гдѣ-то въ концѣ, трудно 42—178 бываетъ разобраться, слѣдить за послѣдовательностью накопленій, ввиду ожидаемой, невыясненной пока цѣли. Для этого надо известное усилие ума, a greater grasp of mind, усилие вниманія; гдѣ же тутъ экономія? Слабому уму, a weak mind, такая конструкція не по силамъ: сложное сочетаніе мыслей онъ выразить именно сочетаніемъ, сопоставленіемъ подъ рядъ отдѣльныхъ частей цѣлаго, нѣсколькихъ предложеній; я сказалъ бы: не сподчиненіемъ частнаго цѣлому, а координаціей. Спенсеръ говоритьъ, что именно такая конструкція свойственна дикимъ, либо не культурнымъ людямъ. Они скажутъ: Воды, дай мнѣ; либо: Люди, они тамъ были и т. д.

Вся аргументація Спенсера, поскольку мы ее прослѣдили, построена на двухъ посылкахъ: на экономіи силы и на наблюденіи *terre-à-terre* надъ современными требованиями отъ стиля; онѣ,

видимо, поддерживаютъ другъ друга, но забыть немаловажный, эволюціонный факторъ, столь дорогой Спенсеру, и немудрено, что построенное имъ зданіе оказывается призрачнымъ. Стиль долженъ быть яснымъ — для слушателя; авторъ, писатель, не принимается во вниманіе; правда, онъ пишеть для слушателя, языкъ, равно какъ и стиль — явленіе соціального порядка, и въ этомъ отношеніи постановка вопроса не грѣшить. Ясность стиля обусловлена сбереженіемъ усилій вниманія: это психофизическая посылка; вторая выходитъ изъ нея и вмѣстѣ подсказана наблюденіемъ надъ эффектностью, или лучше аффективностью непрямой, обратной конструкціи: Велика Діана Эфесская! Отсюда общій выводъ, оказывающійся, однако, въ противорѣчіи съ принципомъ сбереженія вниманія: простые люди, дикари, любятъ координировать впечатлѣнія и формы ихъ выраженія. Это — первый фактъ, изъ отмѣченныхъ Спенсеромъ, вводящій насъ въ историческую эволюцію стиля, особенно поэтическаго, въ сравнительную исторію синтаксиса, наконецъ, въ вопросѣ о психологическихъ или другихъ причинахъ тѣхъ сочетаній, которыя авторъ типически выразилъ въ формулахъ: вороная лошадь и — лошадь вороная.

Вопросъ объ экономії вниманія этимъ не исчерпанъ: фигуры рѣчи, синекдоха, метонимія, simile, метафора — всѣ онъ отвѣ чаютъ тому же требованію конкретности, чтобы спасти насъ отъ необходимости безсознательно переводить абстракціи въ образныя формы. Достоинство стиля состоять именно въ томъ, чтобы доставить возможно большее количество мыслей въ возможно меньшемъ количествѣ словъ; словъ суггестивныхъ — по привычкѣ, звукоподражательному элементу, конкретныхъ; такъ подскажетъ 179—43 всякий, слѣдившій за соображеніями | Спенсера. Здѣсь мы и подходимъ къ вопросу объ особенностяхъ поэтическаго стиля. Постоянное употребленіе словъ и формъ, выразительныхъ (forcible) сами по себѣ и по возбуждаемъ ими ассоціаціямъ, и даетъ въ результатѣ тотъ особый стиль, который мы называемъ поэтическимъ. Поэтъ употребляетъ символы, эффектность которыхъ подсказываетъ ему инстинктъ и анализъ. Оттуда отличие его языка

отъ языка прозы: неконченные периоды, частыя элизіи, опущеніе словъ, безъ которыхъ проза не могла бы обойтись.. Особое впечатлѣніе поэтическаго языка объясняется тѣмъ, что онъ слѣдуетъ законамъ вразумительной (*effective?*) рѣчи и вмѣстѣ съ тѣмъ подражаетъ естественному выраженію аффекта: если содержаніе поэзіи—*идеализація аффекта*, то ея стиль—*идеализованное его выражение*. Какъ композиторъ пользуется кадансами, въ которыхъ выражаются человѣческая радость и симпатія, печаль и отчаяніе, и извлекаетъ изъ этихъ зародышей мелодіи, подсказывающія тѣ же, но *возвышенныя* ощущенія, такъ и поэтъ развивается изъ типическихъ формулъ, въ которыхъ человѣкъ проявляетъ свою страсть и чувства, тѣ особыя сочетанія словъ, въ которыхъ повышенныя (*concentrated*) страсть и чувство находятъ свое настоящее выраженіе.

Переходя къ ритму и риомѣ, мы не оставляемъ поэзіи — и принципа экономіи вниманія. Объясненіе ритма послужить оправданіемъ и риомы. Неравномѣрно наносимые намъ удары заставляютъ насъ держать мускулы въ излишнемъ, порой не нужномъ напряженіи, потому что повторенія удара мы не предвидимъ; при равномѣрности ударовъ мы экономизируемъ силу. Вотъ объясненіе ритма.

Итакъ: поэзія употребляетъ выразительныя, конкретныя слова, вызывающія ассоціацію; инверсія и опущенія — въ ея обиходѣ. Все это, по Спенсеру, требованія стиля вообще, не повышенного. Поэтическому свойственны ритмъ и риома; но замѣчено, что тотъ и другая встрѣчаются и въ прозѣ, вторая болѣе спорадически, чѣмъ первый. Повышенность поэтическаго содержанія и аффекта объясняется *идеализацией аффекта*. Аффектъ, повышенность нерѣдко отмѣчаются, какъ особыя свойства поэтическаго языка; такъ напримѣръ, у Кардуччи: мнѣ кажется, говорить онъ, что, въ сравненіи съ прозой, поэзія, какъ искусство, и со стороны формы зиждется на *повышенномъ*; по крайней мѣрѣ, на одинъ градусъ, *настроеніи* (*intonazione*), ибо она предполагаетъ особое расположеніе духа въ творящемъ и воспринимаю-

щемъ, что и даетъ въ результатѣ тотъ художественный феноменъ,
180—44 который мы зовемъ поэзіей, въ отличіе отъ другого такого-же |
феномена артистической прозы. Въ обоихъ случаяхъ дѣло
идетъ о стилѣ. Относительно повышенной «интонаціи» напомню
слова Бурже по поводу парнасцевъ: всякий аффектъ повышаетъ
выраженіе, но не всякое словесное выраженіе аффекта есть
непремѣнно поэзія. Графъ Левъ Толстой (Что такое искусство?)
не принялъ во вниманіе очевидности этого факта, когда главнымъ
свойствомъ искусства призналъ «зараженіе» другихъ тѣмъ чув-
ствомъ, которое испытывалъ самъ художникъ. «Видъ самаго некра-
сиваго страданія можетъ сильнѣйшимъ образомъ заразить нась
чувствомъ жалости или умиленія и восхищенія передъ самоотвер-
женіемъ или твердостью страдающаго». При чёмъ тутъ иску-
ство? Искренность и сила аффекта всегда заразительны и въ
художественного ихъ выраженія.

II.

Основы поэтическаго языка тѣ же, что и языка прозы:
та-же конструкція, тѣ-же риторическія фигуры синекдохи, мето-
номіи и т. п.; тѣ-же слова, образы, метафоры, эпитеты. Въ сущ-
ности, каждое слово было когда-то метафорою, односторонне-
образно выражавшой ту сторону или свойство объекта, которая
казалась наиболѣе характерною, показательною для его жизнен-
ности. Обогащеніе нашего знанія объекта выясненіемъ другихъ
его признаковъ совершалось на первыхъ порахъ путемъ сопо-
ставленія съ другими, сходными или несходными объектами по
категоріямъ образности и предполагаемой жизнедѣятельности.
Таковы основы того процесса, который я назвалъ психологиче-
скимъ параллелизмомъ: въ сопоставленіи предметы взаимно освѣ-
щались; выяснялись и нѣкоторыя общія понятія, переносившіяся
на оцѣнку новыхъ явлений, входившихъ въ кругозоръ. Чѣмъ
шире становился кругъ сопоставленій, чѣмъ чаще ассоціаціи по-

отдельнымъ признакамъ, тѣмъ полнѣе наше пониманіе объекта въ безсознательномъ противорѣчіи съ односторонне-графическимъ опредѣленіемъ слова — метафоры. Когда мы произносимъ слово: домъ, хата и т. п., мы соединяемъ съ нимъ какой-то общій комплексъ признаковъ (строеніе, назначенное для жилья, огороженное пространство и т. п.), который каждый дополняетъ согласно съ собственнымъ опытомъ; но если мы говоримъ не объ известномъ намъ домѣ, образъ котораго почему бы то ни было запечатлѣлся въ нашей памяти, намъ дорогъ, а о домѣ вообще, о наймѣ дома и т. п., очертанія того, что мы обозначаемъ этимъ словомъ, намъ не присущи, мы ихъ себѣ не представляемъ.^{45—181} Слово стало носителемъ понятія, вызываетъ только ассоціаціи понятій, не образовъ, которые могли бы вызвать новыя сопоставленія съ другими образами и новыя перспективы обобщеній. Въ результатѣ — обѣдненіе ассоціацій реально-живописныхъ и психологическихъ. Языкъ поэзіи, подновляя графической элементъ слова, возвращаетъ его, въ известныхъ границахъ, къ той работе, которую когда-то продѣлалъ языкъ, образно усваивая явленія внешняго міра и приходя къ обобщеніямъ путемъ реальныхъ сопоставленій. Всѣ мы, не поэты, способны, въ минуты аффекта, печального или веселаго, вживаться въ формы реальности, видимой или вызванной фантазіей, воспоминаніемъ, и отъ ея образовъ увлекаться къ новымъ видѣніямъ и обобщеніямъ. Но это явленіе спорадическое; въ поэзіи это органическая принадлежность стиля. Какъ она выработалась?

Начну съ музыкального элемента. Онъ присущъ звукамъ языка, мы его ощущаемъ, порой ищемъ созвучій. Фонетика слова бываетъ показательна сама по себѣ, парнасы зашли слишкомъ далеко въ своеобразіе пониманія его звукового элемента, но психофизика (Фехнеръ) не отрицаетъ самаго факта. При музыкальномъ исполненіи эта сторона рѣчи должна была сказываться ярче; а поэзія родилась и долгое время существовала совмѣстно съ пѣніемъ.

Съ пѣніемъ, упорядоченнымъ ритмованной пляской.

Ритмъ, равномѣрная послѣдовательность движеній, ударовъ и т. д., принадлежить къ органическимъ условіямъ и требованіямъ нашего физиологического и психического строя; на этомъ фонѣ развились и его позднѣйшія эстетическая цѣли. Экономія вниманія, о которой говорить Спенсеръ по поводу стиля, есть экономія силы; разбросанные во времени удары, разбрасываютъ и усиливъ, употребленныя для ихъ отраженія, равномѣрность напряженія сохраняютъ ихъ, нормируя розмахъ и отдыхъ. Извѣстны пѣсни, сопровождающія въ народѣ физический трудъ, совпадающія съ его кадансомъ и поддерживающія его: такова наша «дубинушка», пѣсни египетскихъ женщинъ за ручнымъ жерновомъ, сардинскихъ крестьянъ на молотьбѣ и т. п.¹⁾). На степени, видимо, болѣе отдаленной отъ требованій чисто физиологического порядка, стоитъ наша любовь къ параллельно построеннымъ формуламъ, части которыхъ объединены одинаковымъ паденiemъ ударенія, иногда поддержанымъ созвучіемъ (*όμοτέ-
182—46 λειτου*), | риѳомой или аллитерацией и содержательно-психологическимъ параллелизмомъ членовъ предложенія. Примѣры: *Ueber Stock und Stein*; особенно часто въ старо-германскихъ юридическихъ формулахъ: *toe grée ende grónð, toe séitten, toe héllen; mit téle and mith réthe*; вертится, какъ *блѣсъ*, и повертка *въ лѣсъ* (сопора); *не свивайся трава съ павликомъ, не свыкайся молодецъ съ дѣвицей* и т. п. Въ пѣснѣ, ритмованной сплошь подъ тактъ пляски, такого рода созвучія могли повторяться чаще; оттуда явление риѳомы; ея особое развитіе въ романской поэзіи могло быть поддержано и вліяніемъ искусственной риторической прозы, унаслѣдованной отъ классиковъ средневѣковою проповѣдью, но это не измѣняетъ вопроса генезиса. Ударение выдвигало извѣстныя слова надъ другими, стоявшими въ интервалахъ, и если такія слова представляли еще и содержательное соотвѣтствіе, то, что я разобралъ подъ названіемъ «психологического параллелизма», къ риторической связи присоединялась и другая.

1) См. выше, стр. (14—15) 243—4.

Такъ выдѣлялись формулы, пары или группы словъ, объединенныхъ отношениями не только акта, но и образовъ и вызываемыхъ ими понятій. Формулы могли быть разнообразныя; полюбились тѣ, которые были или казались суггестивнѣе; отъ нихъ пошло дальнѣйшее развитіе. Соколь унесъ лебедь бѣлую, молодецъ увезъ, взять за себя дѣвушку: вотъ схема, части которой объединены параллелизмомъ образовъ и дѣйствій; равномѣрное паденіе ритма должно было закрѣпить совпаденіе сокола — молодца, дѣвицы — лебеди, унесъ — увезъ и т. д. Части этой формулы и другихъ, ей подобныхъ, такъ крѣпки другъ другу, такъ соприсущи сознанію, что одна часть можетъ идти за другую: соколь-лебедь можетъ вызвать представление о молодцѣ и дѣвушкѣ; соколь становится показателемъ молодца, жениха; либо части схемы сплетаются такъ причудливо, что дѣйствіе или образы одной переносятся въ другую, и наоборотъ. Такъ изъ психологического параллелизма, упроченного ритмическимъ чередованіемъ, развились символы и метафоры пѣсеннаго, поэтическаго языка, и становится понятнымъ специальный источникъ его образности. Она должна была поднять вообще образный элементъ слова тамъ, где онъ уже успѣль стереться въ обиходѣ обыденной, немѣрной рѣчи: оживали въ новомъ окруженіи старыя слова — метафоры; обиліе эпитетовъ, давно отмѣченное какъ признакъ поэтическаго стиля, отвѣчаетъ тому же требованію: въ словѣ подчеркивались реальнаяя черты образа или одна какая-нибудь черта, которая выдѣляла его и часто становилась неотдѣлимой отъ слова.

Основы поэтическаго стиля — въ послѣдовательно проведенномъ и | постоянно дѣйствовавшемъ принципѣ ритма, упорядо- 47—183 чившемъ психологически-образныя сопоставленія языка; психологический параллелизмъ, упорядоченный параллелизмомъ ритмическимъ.

Наблюденія надъ пѣснями разныхъ народовъ, стоявшихъ въ круга обоюдныхъ вліяній, приводятъ къ заключенію, что нѣкоторыя простѣйшія поэтическія формулы, сопоставленія, символы, метафоры могли зародиться самостоятельно, вызванные тѣми же

психическими процессами и тѣми же явленіями ритма. Сходство условий вело къ сходству выраженія; отличія бытовыхъ формъ, фауны и флоры и т. п. не могли не отразиться на подборѣ образовъ, но качества отношеній, источникъ символизма, являлись тѣ же. Гдѣ не знали сокола, другой хищникъ могъ быть символомъ жениха, девушка — другимъ цветкомъ тамъ, гдѣ не цвѣтетъ роза.

Если относительно легко представить себѣ условія зарожденія поэтическаго стиля, то исторію его древняго развитія и обобщенія можно построить развѣ гипотетически. Можно представить себѣ, что гдѣ-нибудь, въ обособленной мѣстности, въ небольшой группѣ людей, раздается, пляшется и ритмуется простейшая пѣснь и слагаются зародышныя формы того, что мы называемъ впослѣдствіи поэтическимъ стилемъ. То же явленіе повторяется, самозарождается по сосѣдству, на разныхъ пунктахъ того же языка. Мы ожидаемъ общенія пѣсенъ, сходныхъ по бытовой основѣ и выраженню. Между ними происходитъ подборь, содержательный и стилистический; болѣе яркая, выразительная формула можетъ одержать верхъ надъ другими, выражавшими тѣ же отношенія, какъ напримѣръ, въ области гномики одно и то же нравственное положеніе могло быть выражено различно, а понравилось въ одной или двухъ схемахъ-пословицахъ, которыя и удержались. Такъ на первыхъ же порахъ изъ разнобразія областныхъ пѣсенныхъ образовъ и оборотовъ могло начаться развитіе того, что въ смыслѣ поэтическаго стиля мы можемъ назвать *хору́ж*: таковъ стиль іонійскаго эпоса и дорійской хоровой лирики, діалогическая формы которой остались обязательными для хоровыхъ партій аттической драмы V-го вѣка. Такъ слагался, изъ общенія говоровъ, и тотъ средній, центральный языкъ, которому суждено было направиться, при благопріятныхъ историческихъ условіяхъ, къ значенію литературного языка. Слѣдующіе примѣры касаются отношенія діалектовъ къ литературному *хору́ж*, но освѣщаютъ и поставленный мною вопросъ: какъ обобщался поэтическій стиль?

Уже Я. Гриммъ, Гофманъ и Гебель, а въ послѣднее время Бѣккель и фонъ Гауфенъ обратили вниманіе на нѣкоторыя съ 48—184 виду загадочныя явленія въ области западной народной пѣсни: народъ поетъ не на своихъ діалектахъ, а на литературномъ языке, либо на языке, повышенномъ, близкомъ къ литературному. Такъ въ Германии, во Франціи, Австріи. Гофманъ объяснялъ это психологически: какъ народъ въ своихъ пѣсняхъ стремится въ сферу болѣе высокихъ чувствъ и міросозерцанія, возвышающаго его надъ прозаической дѣйствительностью, предпочитаетъ сѣдую древность своей неприглядной дѣйствительности, охотнѣе общается съ сказочными королями, маркграфами и рыцарями, чѣмъ съ своимъ братомъ, такъ и въ языке пѣсень онъ старается возвыситься надъ уровнемъ своего житейского говора. Подобное мнѣніе высказывалъ Шанфлѣри, характеризуя языкъ французскихъ пѣсень: пѣвецъ, творящій пѣсню, ярко сознаетъ свою личность и для выраженія этого самосознанія выбираетъ и особую оттѣняющую его форму, которую находитъ въ языке культурного класса;— Böckel видѣтъ въ этомъ выборѣ естественное желаніе поднять серьезную пѣсню, напримѣръ балладу, на высоту ея содержанія, котораго не выразить въ формахъ діалекта: діалекты слишкомъ не патетичны.

Наблюденія надъ языкомъ пѣсни оттѣняются наблюденіями надъ стилемъ сказки. Тогда какъ французскія сказки сказываются на діалектахъ и лишь въ рѣдкихъ, случаяхъ употребляется литературный языкъ, въ пѣсняхъ наблюдается обратное явленіе, и не только во Франціи, но и въ Норвегіи (по замѣчанію Moe) и на Литвѣ. Языкъ литовскихъ сказокъ сильно отличается отъ пѣсенного, говоритъ Бругманъ: послѣдній держится, такъ сказать, высокаго стиля, словарь и грамматика во многихъ случаяхъ разнятся отъ обычной разговорной рѣчи, суффиксы не даютъ возможности заключить о характерѣ мѣстныхъ говоровъ.

Мнѣ уже привелось коснуться повышенного, «литературного» языка народной пѣсни, и я поставилъ себѣ вопросы, не решая ихъ: въ какихъ пѣсенныхъ областяхъ особенно прояв-

ляется эта склонность, или и не проявляется вовсе? Она казалась мнѣ понятною въ балладахъ, въ любовныхъ пѣсняхъ, переселяющихся изъ одной провинціи въ другую и нерѣдко обличающихъ вліяніе города; иное мы ожидаемъ отъ пѣсень дѣтскихъ, обрядовыхъ и т. п. ¹⁾). Новѣйшія наблюденія подтверждаютъ эту точку 185—49 зрењія, открывая и новыя. | Оказывается, что въ областяхъ, отдаленныхъ отъ большой исторической дороги, либо жившихъ когда то самостоятельною политическою жизнью, въ пѣснѣ господствуютъ мѣстные діалекты: такъ въ Дитмаршѣ, у семиградскихъ нѣмцевъ, въ нѣмецкихъ же поселеніяхъ, включенныхъ въ иноязычную среду, напримѣръ въ Kuhländchen, въ Италіи, Правансь, Гаскони. Иначе въ средней Германіи и на Рейнѣ: здесь уже съ XV-го вѣка происходило пѣсенное общеніе между отдѣльными областями, и діалекты настолько сближались, что усвоеніе народомъ пѣсни на обще-литературномъ языкѣ не представляло особыхъ затрудненій. Либо наблюдается отличіе по категоріямъ пѣсень: въ Нормандіи, Шампани, въ области Меза и французской части Бретани пѣсни не обрядового, балладного и т. п. характера поются на общефранцузскомъ языкѣ, тогда какъ другія, раздающіяся во время празднествъ, процессій — на діалектахъ; при этомъ интересно отмѣтить, что древнія и наиболѣе поэтичныя пѣсни послѣдней категоріи, напримѣръ майскія, также отличаются общефранцузскимъ типомъ языка, тогда какъ новыя и болѣе грубыя предпочитаютъ мѣстный говоръ. Въ Швабіи, Баваріи, Фойтландѣ импровизованныя четверостишія, пѣсни на случай, сатирическія, принадлежать діалекту; большинство другихъ поются на языкѣ, близкомъ къ литературному.

Мнѣ думается, что эти факты можно обратить къ освѣщенію занимающаго насъ вопроса: объ образованіи народно-поэтическаго языка. На большихъ историческихъ дорогахъ и вообще въ благопріятныхъ условіяхъ сосѣдства и взаимныхъ вліяній діа-

1) См. Новыя книги по народной словесности, *Журналъ Министерства Народнаго Просвещенія* ч. CCXLIV, отд. 2, стр. 172.

лекты общались, сближались формы и словарь, получалось нечто среднее, действительно шедшее навстречу литературному языку, когда онъ сложился въ томъ или другомъ центрѣ и сталъ районировать. Общались въ тѣхъ-же условіяхъ и народныя областныя пѣсни, и я объясняю этимъ общеніемъ подборъ и выборъ тѣхъ мелкихъ стилистическихъ формъ и пріемовъ, которые мы предположили самозарождающимися въ началѣ всякой поэзіи. Такъ сложились, выдѣлившись изъ массы частныхъ явленій, основы болѣе общаго поэтическаго стиля; его образность и музыкальность повышали его надъ неритмованнѣмъ просторѣчіемъ, и это требование повышенности осталось въ сознаніи, даже когда выражалось нерационально: французскія и нѣмецкія пѣсни на «литературномъ» языкѣ могли быть занесены изъ города и сохранить лингвистическую окраску центральнаго, не мѣстнаго говора, но могли и впервые сложиться въ его формахъ, потому что для западнаго крестьянина языкъ горожанъ, литературный, естественно казался чѣмъ-то особымъ, повышающимъ пѣсню надъ сѣрымъ колоритомъ діалекта.

Повышенный языкъ литовскихъ пѣсенъ въ сравненіи съ сказками исключаетъ ли возможность литературныхъ воздействи? Специалистамъ рѣшить, чѣмъ объяснить это отличіе: повышеніемъ ли пѣсенного языка и стиля надъ окружающими говорами, или архаизмомъ. Сказка болѣе свободна, постоянныя формулы являются враздробь, не связывая изложенія; изъ пѣсни, говорить, слова не выкинешь, что не справедливо, но формула крѣпче держитъ въ ней слово подъ охраной ритма.

Остановлюсь мимоходомъ на отношеніяхъ обрядовой—діалектической и балладной, литературной пѣсни. Языкъ второй—продуктъ общенія, языкъ первой крѣпокъ мѣстному обычай, формамъ быта, довѣряющимъ самимъ себѣ, не переносимымъ, потому что онъ коренится въ жизни. Можно-ли заключить изъ этого, что и соответствующія поэтическія формулы не переносились изъ одного района въ другой, гдѣ существовали тѣ-же условія быта? Я говорю о формулахъ нѣсколько сложныхъ, о которыхъ нельзя

поднять вопросъ самостоятельного зарожденія. Онъ также могли переноситься, оттѣсняя другія, сходныя и водворяясь въ переходныхъ и новыхъ формахъ языка, участвуя въ томъ общеніи, которое приходило постепенно къ поэтическому *хозу*. Такъ нѣкоторые запѣвы проходять по всѣмъ говорамъ русскаго и польскаго языковъ, повторяясь и видоизменяясь. Гдѣ нибудь они слышались впервые и повліяли заразительно. Если символъ овладѣвающей любви—срываніе цвѣтка объясняется самозарожденіемъ, то запѣвъ: Зеленая рутонька и т. д., раскинувшись далеко, дѣло зараженія, то-есть общенія мѣстныхъ поэтическихъ стилей.

III.

Чѣмъ болѣе расширялись границы общенія, тѣмъ болѣе накаплялось матерьяла формулъ и оборотовъ, подлежащихъ выбору или устраниенію, и поэтическій *хозу* обобщался, водворяясь въ болѣе широкомъ районѣ. Его отличительная черта — это условность, выработавшаяся исторически и безсознательно обязывающая нась къ однимъ и тѣмъ же или сходнымъ ассоціаціямъ мыслей и образовъ. Изъ ряда эпитетовъ, характеризующихъ предметъ, одинъ какой нибудь выдѣлялся какъ показательный для него, хотя бы другіе были не менѣе показательны, и поэтическій стиль долго шелъ въ колеяхъ этой условности, въ родѣ «бѣлой» лебеди и «синихъ» волнъ океана. Изъ массы сопоставленій и перенесеній, выразившихся уже въ формахъ языка, отложившихся изъ психологического параллелизма пѣсни, впослѣдствіи обогащенныхъ литературными вліяніями, отобрались нѣкоторые постоянные символы и метафоры, какъ общія мѣста *хозу*, съ болѣе или менѣе широкимъ распространеніемъ. Таковы символы птицъ, цвѣтовъ-растеній, цвѣтовъ-окрасокъ, наконецъ чиселъ; упомяну лишь о широко распространенной любви къ троичности, къ трихотоміи. Таковы простѣйшія метафоры: зеленѣть—молодѣть, тучи—враги, битва—молотьба, вѣянье, пиръ;

187—51

трудъ — печаль; могила — жена, съ которой убитый молодецъ на вѣки обручился и т. д. Сопоставленія народной пѣсни, въ которыхъ образы вицѣнной природы символически чередуются съ человѣческими положеніями, отлились въ условность средневѣковаго нѣмецкаго *Natureingang*. Источникомъ другого рода общихъ мѣстъ являлись повторенія, объясняемыя захватами пѣсенного исполненія; риторические приемы, свойственные возбужденной рѣчи, какъ, напримѣръ, въ южно-славянскихъ, мало-русскихъ, ново-греческихъ, нѣмецкихъ пѣсняхъ формула вопроса, вводящая въ изложеніе, часто отрицающая вопросъ: *Što se beli u gori zelenoj? Was doch si ab irem haubet? Was zog ir abe vom finger?* и т. п. Къ общимъ мѣстамъ относятся формулы: вѣщихъ сновидѣній, похвальбы, проклятія, типичкія описанія битвы; все это нерѣдко тормозитъ развитіе, но принадлежитъ къ условностямъ народной поэтики. Условность классическихъ и псевдоклассическихъ жанровъ не отличается по существу; протестъ романтиковъ во имя болѣе свободныхъ формъ народной пѣсни въ сущности обратился оть одной условности къ другой.

Когда въ поэтическомъ стилѣ отложились такимъ образомъ известные кадры, ячейки мысли, ряды образовъ и мотивовъ, которымъ привыкли подсказывать символическое содержаніе, другое образы и мотивы могли находить себѣ мѣсто рядомъ съ старыми, отвѣчая тѣмъ-же требованіямъ суггестивности, упрочиваясь въ поэтическомъ языке, либо водворяясь не надолго подъ вліяніемъ переходнаго вкуса и моды. Они вторгались изъ бытовыхъ и обрядовыхъ переживаній¹⁾, изъ чужой пѣсни, народной или художественной, напосились литературными вліяніями, новыми культурными теченіями, опредѣлявшими, | вмѣстѣ съ содержаніемъ 52—188 мысли, и характеръ ея образности. Когда христіанство подняло цѣнность духовной стороны человѣка, принизивъ плоть, какъ что-то грѣховное, подвластное князю міра сего, понятіе физической красоты потускнѣло и повышалось лишь подъ условіемъ

1) Сл. выше, стр. 346.

одухотворенія; вмѣсто яркихъ эпитетовъ должны были явиться полутоны: color di perla — окраска жемчужины — таково впечатлѣніе красавицы у Данте и въ его школѣ. Къ символамъ, выработаннымъ на почвѣ народно-поэтической психологіи, подошли другіе, навѣянные христіанствомъ, подсказанные отраженіями александрийскаго «Физіолога»: солнечный лучъ, проникающій сквозь стекло, не разрушая и не видоизмѣняя его, сталь иносказаниемъ дѣственнаго зачатія; пошли въ оборотъ взятые изъ тѣхъ-же источниковъ аллегоріи Феникса, василиска, слона, который, разъ упавъ, не въ силахъ подняться безъ помощи другихъ, тотчасъ-же являющихся на его ревъ; оленя, который будучи раненъ, все-же возвращается на зовъ охотника; пеликаны и саламандры; пантеры, привлекающей звѣрей своимъ сладостнымъ ароматомъ; классическая легенда дали образы Нарцисса, Пелея, копье котораго врачевало нанесенные имъ-же раны и т. п. Средневѣковая поэзія наполнилась такими символами, которымъ кадры были открыты мѣстной выработкой поэтическаго стиля. И въ то-же время старые, народные символы стали служить выражению новаго содержанія мысли, насколько оно вязалось съ болѣе древнимъ. Пѣтухъ вездѣ вѣстникъ утра, смѣняющаго ночь, бдительности; когда запоетъ пѣтухъ (рѣполовъ и т. д.), недалеко и до утра, поется въ одномъ Schnaderhüpfel; какъ вѣстникъ утра, онъ будить; въ христіанскомъ освѣщеніи онъ сталъ символомъ Христа, зовущаго отъ мрака къ свѣту, отъ смерти къ жизни. Воронъ вѣщаетъ что-то недоброе; въ библейскомъ разсказѣ о потопѣ и въ пониманіи христіанства онъ показатель определенного злого начала: онъ — дьяволъ, голубь — Св. Духъ. Кукушка приносить весну, веселье (такъ у румынъ, нѣмцевъ и пр.), но она-же кладеть яйца въ чужія гнѣзда; и вотъ румыны рассказываютъ, что кукушка измѣнила куку, слюбившись съ словоемъ, и съ тѣхъ поръ ищетъ его и жалобно кличетъ; оттуда у нѣмцевъ рядъ новыхъ значеній: кукушка, Gouch — дурень, блудникъ,bastardъ, обманутый мужъ, накопецъ эвфемизмъ вмѣсто черта; ея прилетъ сулить несчастье.

Статистика общихъ мѣстъ и символическихъ мотивовъ поэтическаго стиля, возможно широко поставленная, дала бы намъ возможность приблизительно опредѣлить, какие изъ нихъ, простые и далеко | распространенные, могутъ быть отнесены къ 53—189 формуламъ, вездѣ одинаково выразившимъ одинаковый психической процессъ, въ какихъ границахъ держатся другіе, не вліяя и не обобщаясь, показатели мѣстнаго или народнаго пониманія; въ какой мѣрѣ, наконецъ, и на какихъ путяхъ литературныя вліянія участвовали въ обобщеніи поэтическаго языка. Въ такой статистикѣ всегда будутъ недочеты, явятся и новыя категоріи вопросъ, по которымъ распредѣлится материаль, смышенія и переходныя степени, опредѣлимъя лишь частичнымъ анализомъ. Приведу нѣсколько примѣровъ.

Древняя и народная поэзія любила выражать аффекты дѣйствіемъ, внутренній процессъ виѣшнимъ. Человѣкъ печалится — падаетъ, клонится долу; сидитъ, пригорюнившись. *Сидѣніе*, и именно *на камнѣ*, стало формулой грустнаго, тихо-вдумчиваго настроенія. Такъ у Вальтера фонъ деръ Фогельвейде; онъ призадумался, какъ соединить несоединимое, честь съ богатствомъ и милостью Божіей:

Ich saz uf eime steine
Und dahle bein mit beine,
dar uf sast ich den ellenbogen;
ich hete in mine hant gesmogen
daz kinne und ein min wange.

Въ нашихъ пѣсняхъ дѣвушка сидѣтъ на камнѣ, плачетъ, что не видѣть миаго; или:

По утру ранешенько, на зарѣ,
Щебетала ласточка на дворѣ,
Всплакала дѣвонюшка на морѣ,
На бѣломъ, горючемъ на камнѣ;

иначе:

Ой на морѣ каминъ мармуровый,
На нимъ сидѣть хлопецъ чернобровый,

горько ему на сердцѣ, онъ «гадоньку думайе», нѣть у него «дружинъ». Мармуровый камень — это «мраморный» камень, та-

melstein, pietra marmoria западныхъ заговоровъ и сувѣрныхъ молитвъ: на немъ сидѣтъ Богородица, I. Христосъ и т. д.

Вдалі отъ своихъ, отъ милой, человѣкъ ловить всякий образъ, всякую реальную связь, видимо протягивающуюся отъ него на далекую чужбину. Легатъ-ли съ той стороны птицы, или тянутся вереницей облака, или вѣеть вѣтеръ — они вѣсть подаютъ. Такъ у Бернарда de Ventadorn (*Quan la douss' aura ventâ*) и въ *Lai de la Dame de Fayel*:

190—54

E' quant cele douce ore vente, |
Qui vient de cel douz pais
Ou est cil qui m'atalente,
Volontiers i tour mon vis;
Adonc m' est vis que jel sente
Par desouz mon mantiau gris.

Птицу, вѣтеръ посыпаютъ съ вѣстями, наказываютъ съ ними поклонъ, пожеланія; на Мадагаскарѣ въ этой роли является облако; въ нѣмецкихъ, испанскихъ, баскскихъ, шотландскихъ, финскихъ, ново-греческихъ, персидскихъ пѣсняхъ — вѣтеръ. «Вей, вѣтеръ, вей, понеси отъ меня вѣсточку въ Сакину, въ Астрабадъ, поется на южномъ берегу Каспія; обойми ее своими крыльями, прижмись грудью къ груди». Птица — вѣстникъ принадлежитъ къ однимъ изъ самыхъ распространенныхъ мотивовъ народныхъ пѣсенъ.

Образъ птицы встрѣтится намъ въ группѣ формулъ, типически отвѣчающихъ разнымъ стадіямъ любви. Отвлеките отъ народной лирической пѣсни ея, часто несложный сюжетъ, и въ остаткѣ получится условная символика языка (любить = склоняться, виться, пить, замутить, топтать, срывать и т. д.), результатъ психологического процесса, и столь-же условныя формулы — положенія, результатъ стилистическихъ наслоеній.

Начну съ а) Формулы желанія: О еслибъ я былъ (была) бы птичкой, полетѣль (полетѣла) бы и т. д.; Wenn ich ein Vöglein wär, so geht ihr Gesang — Tage lang, halbe Nächte lang (Goethe, Faust, I Th., v. 2963—4).

Такъ выражается въ цѣломъ рядъ пѣсень (русскихъ, нѣмецкихъ, французскихъ, новогреческихъ, бретонскихъ) желаніе повидать далекую милую, свою сторонушку.

Въ нѣмецкой пѣснѣ молодецъ желалъ бы быть соколомъ, чтобы полетѣть къ любимой дѣвушкѣ, дѣвушка лебедемъ, дабы отецъ и мать не дознались, куда она удалилась;

Ah! si j'étais belle alouette grise,
Je volerais sur ces mâts de navire

(франц. пѣсня). Случайно мнѣ пощалась подъ руки относящаяся сюда пѣсня гребенскихъ козаковъ, судя по стилю, едва-ли изъ старинныхъ:

Кабы я та была на вольная пташичка,
На вольная пташичка—салавеюшка,
Куда здумала-бъ, полетѣла-бъ, |

полетѣла бы въ чистыя поля, въ темный лѣсъ, къ синю морю, 55—191 сѣла бы на березу; стой, бѣлая березонька, не шатайся,

Дай-же мнѣ, вольной пташички, насидѣца,
На всѣ читыри старонушки наглядѣца,
Каторая та старонушка изъ всѣхъ висяляя,
Ва той та старонушки мой другъ разлюбезныи.

Такого рода Формула, поставленная въ запѣвѣ, могла дать поводъ къ различному развитію. Такъ напримѣръ, въ одной нѣмецкой пѣснѣ:

Wer ich ein wilder Falke, so wolte ich mich schwingen auf,
Ich wolt mich niederlassen auf eines reichen Schuhmachers Haus.

Это вводить въ разсказъ о похищениі красавицы.

Наброски этого мотива встречаются у классиковъ въ разныхъ примѣненіяхъ: если у Евріпіда (Фінікіянки 163 слѣд.) Антигона желала бы перенестись быстролетнымъ облакомъ, чтобы обнять своего брата, то въ Федрѣ (732 слѣд.) желаніе хора другое: перелегѣть стаей птицъ къ берегамъ Эридана и садамъ Гесперидъ, гдѣ зреютъ золотыя яблоки.

Примѣръ изъ новой поэзіи много — варіаціи на старую тему; напомню хотя бы пьесу г. Лохвицкой: Еслибы счастье мое было вольнымъ орломъ (чуднымъ цвѣткомъ, рѣдкимъ кольцомъ).

Формула желанія нашла и другое выраженіе, крайне разнообразное и, вмѣстѣ, сходное по замыслу. Влюбленный желаетъ на этотъ разъ не то что перенестись къ милой, а быть чѣмънибудь при ней, въ ея близи и окруженіи, подъ ея рукой. «О еслибы я могъ висѣть золотой сергой въ твоихъ ушахъ! Я наклонился бы и поцѣловалъ тебя въ твою румянную щечку!» Съ этимъ индійскимъ четверостишіемъ сравните греческій схолій: «О еслибы я былъ прекрасной лпрай изъ слоновой кости, дабы красивые юноши понесли меня въ торжественной плясѣ Діониса! Еслибы быть мнѣ золотымъ треножникомъ, и несла его въ своихъ рукахъ цѣломудрая красавица!» У Феокрита влюбленный обращается къ Амариллидѣ: будь я пчелкой, я проскользнула бы къ тебѣ въ гротъ сквозь папоротники и плющъ. Въ антологической пьесѣ Ріана онъ завидуетъ дрозду, котораго поймалъ и держитъ въ рукахъ его любимецъ Дексіоникъ: онъ желалъ бы быть на мѣстѣ птички, стонать и проливать слезы. Это напоминаетъ воробышка Лесбіи у Катулла. «О еслибы я былъ западнимъ вѣтромъ, а ты, палимая солнцемъ, распахнула бы грудь мнѣ на встрѣчу; быть бы 192—56 мнѣ розой, а ты сорвала бы ее своей рукой и | положила бы ее, пурпурную, на свою грудь». Такъ въ одной анонимной пьесѣ того-же характера; въ другихъ греческихъ чередуются и накапливаются другіе образы: влюбленный желалъ бы быть источникомъ, изъ котораго его милая утоляетъ жажду, оружіемъ, которое она носить на охотѣ, небомъ, съ его множествомъ звѣздъ-очей, чтобы всѣми наглядѣться на нее, звѣздочку. «Желалъ бы я быть зеркаломъ, чтобы ты глядѣлась въ меня, сорочкой, чтобы ты меня носила; готовъ обратиться въ воду, которой ты моешься, въ мірру, которой умащаешь себя; въ платокъ на груди, въ жемчужину на шеѣ, въ сандалію, чтобы ты попирала меня своими ножками».

Такого рода элленистическая формулы перешли къ Овидію, вызвали византійскія подражанія; они знакомы и новымъ поэтамъ, Гейне, Мицкевичу:

Когда-бъ я лентой стала, что золотомъ играеть
На дѣственномъ челѣ твоемъ,
Когда-бъ одеждой стала, что перси облекаетъ
Твои воздушнымъ полотномъ,
Я-бъ сердца твоего біенъямъ внять старался,
Отвѣта нѣть-ли моему,
Съ твоей бы грудью я и падаль и вздымался,
Дыханью вѣрный твоему.
Когда-бъ я въ вѣтерокъ крылатый превратился,
Что дышеть, ясный день любя,
Отъ лучшихъ бы цвѣтовъ въ пути я сторонился,
Ласкалъ бы розу и тебя.

(Пер. Бенедиктова).

Тѣ же мотивы встречаются и въ народной пѣснѣ, что указываетъ на происхожденіе самой схемы. «Зачѣмъ я не шелковый платочекъ, покрывалъ бы я ея щечки подъ алымъ ротикомъ!», поетъ въ XIII вѣкѣ Нейдгарть, очевидно, разрабатывая народный мотивъ, «когда повѣяль бы на насъ вѣтеръ, она попросила бы меня прильнуть къ ней поближе. Зачѣмъ я не ея поясь.... и какъ бы желалъ я быть птичкой, спѣть подъ ея фатой и кормиться изъ ея руки». Въ одной нѣмецкой пѣснѣ, известной по печатному изданію 1500 года, желанія влюбленнаго такія: быть зеркаломъ милой, ея сорочкой, кольцомъ, наконецъ, бѣлкой, съ которой она бы играла. Кое что въ этихъ образахъ напоминаетъ послѣднюю изъ приведенныхъ мною анакреонтическихъ пьесъ (зеркало, сорочка въ той-же послѣдовательности), но это еще не даетъ права считать нѣмецкую пѣсню переводомъ или подражаніемъ античной. Въ одномъ Schnaderhüpfel голубые глаза красавицы вызываютъ 57—193 въ парнѣ желаніе стать лорнетомъ, бѣлокурые волосы — другое: обратиться въ прялку. Въ сербскихъ пѣсняхъ влюбленный хотѣль-бы очутиться жемчужиной въ ожерельѣ милой, дѣвушка — обратиться въ ручей подъ окномъ своего милаго, гдѣ онъ купается, а она подошла бы ему подъ грудь, попыталась бы коснуться его сердца.

Наша формула продолжала видоизмѣняться и далъе: влюбленный хотѣлъ бы превратиться въ какой-нибудь предметъ близкій къ милой; оставалось и ее подвергнуть подобной же метаморфозѣ, которая облегчила бы свиданіе, сближеніе. Она стала бы розой, онъ бабочкой (сербск.); она стала бы фиговыемъ деревомъ, онъ влѣзъ бы на него, четками—онъ молился бы по нимъ, въ Zucker-stock—онъ цѣловалъ бы его (нѣм.). Въ нѣмецкой пѣснѣ молодецъ желалъ бы, чтобы его милая обернулась розой, онъ упалъ бы на нее росинкой; она—шпеничнымъ зерномъ, онъ птичкой, унесъ бы ее; она—золотымъ ларчикомъ, а ключъ быль-бы у него. Въ шведско-датской пѣснѣ желаніе такого рода вмѣняется дѣвушкѣ: парень быль бы озеромъ, она уточкой; не ладно это, замѣчаешь парень, тебя бы застрѣли; такъ будь ты липой, я травинкой у твоихъ ногъ. Не ладно это и т. д.

Еще одинъ шагъ, и наша формула перейдетъ въ другую, также діалогическую, но съ обоюднымъ обмѣномъ желаній и нереальныхъ метаморфозъ¹⁾.

Она извѣстна въ цѣломъ рядѣ вариантовъ европейскихъ и восточныхъ (персидскомъ и турецко-персидскомъ). Общее положеніе такое: молодецъ предлагаетъ дѣвушкѣ свою любовь, она отнѣкивается: лучше я стану тѣмъ-то, измѣню образъ, лишь бы не принадлежать тебѣ. Парень отвѣчаетъ ей пожеланіемъ себѣ встрѣчной метаморфозы, которая опять поставить его въ уровень съ превращенной милой: если она станетъ рыбкой, онъ рыбакомъ, она птицей—онъ охотникомъ, она зайцемъ—онъ собакой, она цвѣткомъ—онъ косаремъ. Эта фантастическая игра въ желанія развивается разнообразно съ разными окончаніями. Въ румынской пѣснѣ спорятъ такимъ образомъ куклы—парень и горлица—дѣвушка: она обратится въ хлѣбъ въ печи, онъ въ кочергу, она въ тростинку, онъ сдѣлаетъ изъ нея свирѣль, будетъ пѣть—играть, будетъ ее цѣловать; она станетъ иконою въ церкви,

1) См. мои Разысканія, вып. III, стр. 67 слѣд. Съ тѣхъ поръ матеріалы сравненій значительно пополнились.

онъ причетникомъ, будеть ей кланяться, чествовать, приговаривая: святой образокъ, стань пташкой, чтобы намъ любиться, чтобы намъ миловаться, подъ облаками при солнцѣ, въ прохладной тѣни листьевъ, при звѣздахъ и лунѣ, на вѣки — вмѣстѣ!

Какъ румынскій парень желалъ бы срѣзать дѣвушку-тростинку, чтобы играть на ней и ее цѣловать, такъ въ романѣ Лонга Хлоя хотѣла бы обратиться въ сирингу своего Дафниса.

Тутъ неѣть заимствованія образа, какъ и къ самой схемѣ желаній нельзя приложить этого критерія, если онъ не вызванъ сложностью сходныхъ формулъ и совпаденіемъ послѣдовательности, чаще всего случайной, въ какой являются отдѣльныя части цѣлаго.

Иной критерій хотѣли приложить къ другому общему поэтическому мѣstu — къ b) *формулѣ пожеланія*. Въ Руодлибѣ (XI вѣка) герой посыаетъ къ красавицѣ своего пріятеля съ предложеніемъ руки и сердца. Она велитъ ему отвѣтить: Скажи ему отъ меня: сколько листьевъ на деревѣ, столько ему привѣтовъ, столько ликованья, сколько птичьаго воркованья, сколько зеренъ и цвѣтовъ, столько ему пожеланій.

Dic illi nunc de me corde fideli
Tantumdem liebes, veniat quantum modo loubes,
Et volucru wunna quot sit, tot dic sibi minna,
Graminis et florum quantum sit, dic et honorum.

Одни видѣли въ этой формулѣ, знакомой нѣмецкой и датской пѣснѣ, нечто пра-германское, другіе чуть не отголосокъ до-исторической поэзіи, ибо сходныя съ нею существуютъ, напримѣръ, въ Индіи, по они замѣчены были и въ Библіи и у классиковъ, Виргилія, Овидія, Марціала, Катулла. Въ моравской пѣснѣ (у Сушила 114) возвратившійся женихъ, неузнанный дѣвушкой, испытываетъ ее, увѣряя, что ея милый женился на другой, и онъ самъ былъ на его свадьбѣ; чего ты пожелаешь ему? «Я желаю ему столько здоровья, сколько въ этомъ лѣсу травы, столько счастья, сколько въ лѣсу листьевъ, столько поцѣлуевъ, сколько въ

необщ звѣздочекъ, столько дѣтокъ, сколько въ лѣсу цвѣтовъ». Сл. формулу пѣзь Зальцбурга:

So viel stern in der Heh,
So viel Tropfen in See,
So of grüess i di schen.

Едва ли идеть здѣсь рѣчь о сохранности расовой или племенной традиціи: простѣйшія психическая настроенія вездѣ могли 195—59 быть выражены одинаково, образно-схематично. Листьевъ не перечесть, любви не выразить вполнѣ; эта невыражаемость любви или отчаянія нашла себѣ и другую гиперболическую формулу, распространенную отъ востока до запада, отъ Корана до Фрейданка, испанской и новогреческой пѣсни. Я обозначу ее, по слѣдамъ Р. Кёлера, ея же начальнымъ образомъ: с) *Еслибъ небо было хартіей*. Еслибъ небо было хартіей, а море наполнено чернилами, мнѣ не хватило бы места, чтобы выразить все то, что я ощущаю. Вотъ общее содержаніе, а вотъ и его выраженіе въ ново-греческомъ варіантѣ: «Еслибъ всѣ морскія волны были мнѣ чернилами, хартіей все небо, и я стала бы писать на ней безъ конца, вдали и вширь, во всѣки не выписалъ бы всего моего горя и всей твоей жестокости». «Еслибъ всѣ семь небесъ были бумагой, звѣзды писцами, ночной мракъ чернилами и буквы были столь обильны, какъ песокъ, рыбы и листья, то и тогда я не сумѣла бы выразить даже на половину желанія видѣть моего возлюбленного» (Виса о Раминѣ — въ грузинской поэмѣ XII вѣка Висраміани). Въ ново-греческой пѣсенкѣ по рукописи XV вѣка (*Ἀλφάβητος τῆς ἀγάπης*) черты мотива уже разложились и мы не признали бы его безъ сравненія съ основнымъ. Стуетъ женщина: «Небо — письмо, звѣзды — буквы, и это отравленное письмо я ношу въ сердцѣ, я читала его и плакала. Слезы были мнѣ чернилами, палецъ — перомъ; я сѣла и написала, какъ ты меня покинулъ, обманывая, какъ соблазнилъ, полюбилъ и оставилъ». Тотъ же образъ подсказался и Гейне, но въ другомъ примѣненіи: на пескѣ у морского берега онъ чертилъ тростинкой: Агнеса, я люблю тебя!

Но волны смыли написанное, онъ не вѣрить ни тростнику, ни песку, ни волнамъ.

Der Himmel wird dunkler, mein Herz wird wilder,
Und mit starker Hand, aus Norwegs WÄldern,
Reiss ich die höchste Tanne
Und tauche sie ein
In des Aetna's glühenden Schlund, und mit solcher
Feuergetränkten Riesenfeder
Schreibe ich an die dunkle Himmelsdecke:
«Agnes, ich liebe dich!»

(Der Nordsee 1-г Cyclus 5).

Влюбленные увѣряютъ себя, что ихъ страсть вѣчна: скорѣе совершится что-нибудь невѣроятное по ходу вещей, чѣмъ они разлюбятъ. Мы переходимъ къ формулѣ d) невозможности, примѣнимой ко всему, чего не ожидаютъ, на что не надѣются. Скорѣе рѣки потекутъ вспять отъ безбрежнаго моря, времена года измѣнятъ | свой ходъ, чѣмъ измѣнится моя любовь, поеть 60—196 Проперцій (I, 15, 29), скорѣе поле обманчивымъ плодомъ наглумится надъ ратаемъ, солнце выѣдетъ на темной колесницѣ, рѣки потекутъ вспять и рыбы погибнутъ на сушѣ, чѣмъ я испытаю въ другомъ мѣстѣ печаль моей любви (Ів. III, 15, 31). Виргилій (Ecl. I, 59) противополагаетъ такія невозможности своему желанію лицезрѣть цесаря. Въ народныхъ пѣсняхъ и сказкахъ это locus communis, образно-тиpicно отвѣчающій на вопросы, выражавшій отчаяніе или увѣренность: Не разлюбишь ли меня? Когда вернешься? Вернешься ли? Полюбишь ли? Будетъ ли конецъ гореванью? и т. д. Отвѣты такие: когда рѣки потекутъ вспять, когда на снѣгу произрастетъ виноградъ, на дубѣ выростутъ розы, на морѣ кипарисы и яблони, на камиѣ песокъ, кукушка запоетъ зимой, воронъ побѣлѣетъ, либо станетъ голубемъ и т. д. Послѣдній образъ, выражавшій невозможность дорогимъ усопшимъ вернуться къ своимъ, извѣстенъ французскимъ, немецкимъ, хорватскимъ пѣснямъ, греческимъ пѣснямъ и сказкамъ. Willie вернется съ того свѣта, когда солнце и луна будутъ плясать на зеленомъ лугу, поется въ шотландской пѣснѣ; въ нѣмецкой моло-

дець оплакиваетъ свою милую: его горе кончится, когда розы зацвѣтутъ на горѣ. Въ малорусскихъ пѣсняхъ обычны въ такихъ случаяхъ образы камня, пускающаго корни, плавающаго поверхъ воды, тогда какъ тонеть перо, разцвѣтающаго сухого дерева; въ сербскихъ — соединеніе верхушками двухъ деревьевъ, стоящихъ по обѣ стороны Дуная; въ болгарской мати проклинаетъ дочь: у нея не будетъ дѣтей; будетъ, когда заиграетъ камень, запоѣть мраморъ, рыба провѣщится.

Типичность нѣкоторыхъ изъ этихъ выражений «невозможнаго» могла бы дать поводъ къ нѣкоторой ихъ группировкѣ по пѣсеннымъ областямъ, ихъ соприкосновеніямъ и литературнымъ вліяніямъ, которыя они могли испытать. Какъ широко напримѣръ распространенъ мотивъ ворона, которому никогда не стать бѣльмъ? Мотивъ этотъ, извѣстный уже классическому миѳу, принадлежитъ къ такъ называемымъ *légendes des origines*. Образъ сухой трости, жезла, зеленѣющихъ, разцвѣтающихъ, пріоцілся въ легендахъ о Тангейзерѣ, о покаявшемся грѣшникѣ; въ извѣстномъ эсхатологическомъ сказаніи такое чудо совершился съ сухимъ стволомъ райскаго дерева, древа распятія, и невозможное станетъ бѣлью.

Иное, шутливое приложеніе получилъ этотъ мотивъ въ пѣсняхъ, гдѣ молодецъ задаетъ дѣвушкѣ неисполнимыя загадки — задачи; она отвѣчаетъ ему тѣмъ-же. Задачи такія: спить платье 197—61 изъ макова, | алаго цвѣту, черевички изъ кленового листу, напрясть дратвы изъ дождевой капли и т. п. Какъ для этихъ задачъ, такъ и для мотива «невозможности» въ пѣсняхъ предыдущаго цикла, можно указать литературныя и сказочныя параллели въ загадкахъ царицы Савской, въ сказкахъ о мудрой дѣвѣ и т. д.; для пѣсень о задачахъ №№ 457—458 у Соболевскаго (Великор. нар. пѣсни, т. I) надо предположить литературный образецъ шуточнаго стиля (сл. № 457 изъ Воронежской губерніи: Дѣвка платье мыла, звонко юлтила, эхо въ морѣ раздавалось, на островѣ отзывалось).

Отъ грандіозныхъ желаній и такихъ-же увѣреній влюблен-

наго перейдемъ къ болѣе спокойнымъ проявленіямъ чувства. «Ты моя, я твой» — вотъ фраза, встрѣчающаяся въ цѣломъ рядѣ народныхъ пѣсень; ты заключенъ въ моемъ сердцѣ, а ключъ потерянъ: съ этимъ лишнимъ образомъ формула становится поэтической и нашла извѣстное распространеніе. Древнѣйшій нѣмецкій варъянтъ, XII вѣка, находится въ любовномъ посланіи у Wernher'a von Tegernsee:

Du bist min, ich bin din,
Des sollt du gewiz sin;
Du bist beslozen
In minem herzen,
Verloren ist das sluzzelin,
Du muost immer drinne sin.

Эта формула е) *ключъ къ сердцу* извѣстна въ массѣ четверостиший Schnaderhüpfel, изъ Швейцаріи, Тироля, Эльзаса, Штиріи, Хорутаніи, нижней Австріи и т. д. Либо ключъ потерянъ и его никогда не найти, либо онъ въ рукахъ одного лишь милаго или милой. Тотъ-же образъ знакомъ шотландской, французской, каталонской, португальской, итальянской, новогреческой и галицкой пѣснямъ. У нея были ключи отъ моего сердца, я вручилъ ихъ ей однажды утромъ, поють въ Каталоніи:

Las claus del meu cor
Ella las guardava,
To las li entregai
Una matinata.

Такъ въ новогреческой пѣснѣ, но съ другимъ оборотомъ:

Νὰ εἴχα τὰ δύο τὰ χέρια μου κλειδά μαλαγματένια,
Ν' ἀνοιγα τὴν καρδοῦλαν σου, ποὺ κλείδη δι' ἐμένα.

Художественная поэзія знаетъ этотъ мотивъ: у дантовскаго Pier delle Vigne два ключа отъ сердца Фридриха.

| Милый заключенъ въ сердцѣ, его берегутъ, холятъ, не вышучиваютъ. Намъ знакомо сопоставленіе народной пѣсни: молодца съ соколомъ, ястребомъ и т. п.; и вотъ образъ менѣется: молодецъ — соколь, соловей, сойка, запертые въ золотую, серебряную клѣтку,

выпорхнули, и милая горюетъ. Такъ въ средневѣковой лирикѣ, во французскихъ, итальянскихъ и новогреческихъ пѣсняхъ. Либо соловей — дѣвушка вылетѣла изъ клѣтки охотника, попала въ руки другого, который милуетъ ее. Это формула f) *птички въ клѣткѣ*; она встрѣчается и въ другомъ примѣненіи: молодецъ-соколь вырывается изъ неволи¹⁾; за нимъ ухаживали, окружали нѣгой, но лишали свободы, либо надругались надъ нимъ. Къ подобному мотиву пристало въ одной русской пѣснѣ (Соболевскій I. с. I, № 48) имя князя Волхонскаго изъ цикла пѣсень о немъ и ключникѣ; но только пристало:

Во селѣ-то во селѣ-то было Измайлово,
У князя было у Волхонскаго;

вылеталъ изъ терема «молодъ ясенъ соколъ, птичка вольная»; за нимъ бѣжитъ слуга, жалуется: «За тебя-ли меня, младъ ясенъ соколъ, казнить то хотятъ, вѣшати»; онъ отвѣчаетъ:

Воротись ты, воротись, слуга вѣрная!
Я теперь, соколъ, на своей волѣ;
Вечоръ-то вы надо мной надругались,
Кормили вы меня, сокола, мертвю вороною,
Поили сокола водою болотною.

Я не имѣю въ виду исчерпать всего богатства образныхъ формулъ, разсѣянныхъ по широкому пространству народныхъ пѣсень, видимо не общавшихся другъ съ другомъ; Формуль, выразившихъ одни и тѣ-же жизненные положенія, но отлившихся въ типически повторяющихся чертахъ.

Остановлюсь еще на Формулѣ g) *албы*. Влюбленные, любовники видятся тайкомъ, подъ покровомъ ночи; «О еслибъ я пробылъ съ ней одну лишь ночь и никогда не было-бъ разсвѣта!» (Petrarca sest. I); «О Боже! Пусть не поеть пѣтухъ, не занимается заря! Въ моихъ объятіяхъ бѣлая голубка» (новогреческая пѣсня). Но вотъ забрежило утро, надо разстаться, иначе ихъ

1) Сл. Психологический параллелизмъ, I. с., стр. 58—59; Ἀλφάβητος τῆς ἀγάπης № 26. См. выше, стр. 198—9.

застигнуть. Народныя пѣсни на эту тему принадлежать къ числу распространенныхъ (немецкія, чешскія, венгерскія, краинскія, сербскія, лужицкія, литовскія); по свидѣтельству | Атенея онъ 63—199 известны были въ Великой Греціи: въ одномъ приводимомъ имъ отрывкѣ женщина будить своего милаго при первыхъ лучахъ солнца, какъ бы не засталъ мужъ. Либо вѣстникомъ утра служить пѣніе птицъ: «Не могу я оставить тебя одну всю ночь! — Слыши запѣла птичка, вѣщаешь день», поется въ Швабіи:

Ich kann dich wohl einer lassen
Doch nicht die ganze Nacht.
— Hörst du nicht das Vöglein pfeifen?
Verkündet uns schon den Tag.

Птицей, вѣщающей день, является пѣтухъ; въ русской пѣснѣ дѣвшушка жалуется, что онъ рано поетъ, съ милымъ спать не даетъ (Соболевскій I. с. IV, № 717), но это не альба; въ литовской дѣвшушка баюкаетъ молодца: Спи, спи, спи, мой дорогой! — Но затѣмъ пришѣвъ мѣняется: Уже пропѣли пѣтухи, залаяли исы. Бѣги, бѣги, бѣги, милый мой, голубчикъ! Отецъ замѣтитъ, въ спину накладетъ! Бѣги, бѣги, бѣги, дорогой мой! — Въ черногорской альбѣ та же сцена происходитъ между младоженами: Іово бесѣдуетъ съ милой, пока не запѣли пѣты. Тихо говорить онъ милой: Пора намъ разстаться (vec je vakat da se rastanemo). То не пѣтухи, отвѣчаетъ она

Progj se dragi, to su pjetli lažni,

то съ минарета раздался утренній призывъ. Снова говорить Іово, и всякий разъ возвращается та же формула: Пора намъ разстаться! Она отвѣчаетъ всякий разъ иначе: то это голосъ старого хаджи, онъ не знаетъ, когда настаетъ утро (kad je sabah pravi), то это ребята голосятъ на улицѣ, или ихъ поколотила мать. Но вотъ является мать Іово и начинаетъ его корить; отвѣчаетъ Іова-нова люба: Сука ты, не свекровь; если ты родила сына, то я его добыла:

I ako si ti rodila sina,
Ti ga rodi, ali ga ja dobich.

Слѣдующая китайская альба лучше всѣхъ говорить о самостоятельности этого народнаго мотива: дѣйствующія лица — царь и царица; неизвѣстно, почему ихъ тревожить приближеніе дня: «Уже пѣтухъ прошѣлъ, на востокѣ занялась заря, говорить она, пора вставать, во дворцѣ уже собрался народъ. — То не пѣтухъ, а жужжать мухи, не заря, а свѣтить мѣсяцъ».

Художественная поэзія овладѣла этимъ положеніемъ: напомню альбу Дитмара фонъ Эйстъ¹⁾; у Чосера (*Troilus and Criseide III | 200—64 1413*) Крисенда обращается къ Троилу: Уже прошѣлъ пѣтухъ, и утренняя звѣзда, вѣстникъ утра, разлила свои лучи. И онъ и она опечалены:

But when the cocke, common astrologer,
Gon on his breast to beate and after crowe,
And Lucifer, the daies messenger
Gan to rise and out his beams throwe,
. then anone Criseide
With herte sory to Troilus thus saide :
Mine hearte life, my trust, all my pleasaunce,
That I was borne alas, that is my wo,
That day of us mote make disceveraunce,
For time it is to rise and hence to go.

Такъ и у Шекспира; только у него аффектъ повышенъ и предупрежденіе раздѣлилось между двумя лицами, въ соревнованіи страсти и опасенія. Ромео хочетъ удалиться, онъ слышалъ пѣсни жаворонка, утро близко. — То былъ не жаворонокъ, а соловей, говорить Джультетта; всю ночь онъ поетъ на томъ гранатовомъ деревѣ. — Нѣтъ, то былъ жаворонокъ, вѣстникъ утра, не соловей. Посмотри, дорогая, какія завистливыя полосы свѣта раздѣлили на востокѣ облака. Свѣточи ночи потухли и веселый день уже стоять, поднявшись на концахъ пальцевъ, надъ туманными вершинами горъ. Надо идти — и жить, либо остаться и умереть. — То не свѣтъ дня, это я знаю, а какой-нибудь метеоръ, испареніе солнца, онъ будетъ свѣтить тебѣ ночью на пути въ Мантую. Останься, еще не время идти. — Такъ пусть же меня схватятъ и

1) Сл. выше, стр. 343—4.

убыть; я счастливъ, если таково твое желанье. Скажу тебѣ: тотъ сѣрый отблескъ не отъ ока утра, а блѣдное отраженіе лица Цинтіи; то не жаворонокъ, трели котораго тамъ въ высотѣ бываютъ о сводѣ неба. У меня больше желанья остаться, чѣмъ уйти. И такъ, приди, о смерть, привѣтъ тебѣ; такъ хочеть Джульетта. Что же, душа моя, побесѣдуемъ еще, вѣдь еще день не насталъ! — Насталъ онъ, насталъ! Бѣги, спѣши! То жаворонокъ поетъ, такъ несогласно, такъ рѣзко; говорить, его пѣснь полна гармоній, согласныхъ дѣленій; насъ она раздѣляетъ!..

Вѣстникомъ утра и разлуки, могъ быть голосъ ночного сторожа, какъ въ черногорской альбѣ призывъ муэдзина; предупреждая всѣхъ о наступлѣніи дня, сторожъ невольно становился въ какія то близкія отношенія къ влюбленнымъ, точно оберегалъ именно ихъ, заботился о нихъ. Это создавало въ пѣснѣ типичное положеніе, которое рыцарская лирика пріурочила къ феодальной обстановкѣ: въ художественной альбѣ при двухъ 65—201 влюбленныхъ очутилось еще третье обязательное лицо пріятеля, заинтересованного въ ихъ судьбѣ; для нихъ онъ поетъ, и предполагается, что его не слышать лишь тѣ, которые могли бы нарушить свиданіе¹⁾). Это и невѣроятно и не реально: ясно, что въ рыцарской альбѣ мы имѣемъ дѣло съ формулой, развившей извѣстное положеніе по требованіямъ эстетики, не считавшейся съ вѣроятностью. Предполагать вмѣстѣ съ нѣкоторыми новѣйшими изслѣдователями альбы, что сторожъ, другъ, ея рыцарского типа навѣянъ мотивомъ утренняго христіанскаго гимна, не представляется никакой нужды.

Если рыцарская альба развилась изъ народнаго, самозданнаго мотива, то она въ свою очередь могла оказать вліяніе на позднѣйшія его варіаціи въ европейскихъ народныхъ пѣсняхъ. Но вопросъ вліяній — сложный, часто оставляющій васъ на распутьи и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ выводящій на торную дорогу. Примѣромъ могутъ послужить поэтическія формулы

1) Сл. выше, стр. 346.

h) лебедя и горлицы. Въ старые годы русскіе люди рушали лебедь на пирахъ, красавица была для нихъ бѣлой лебедушкой; «лебеди на морѣ—князи, лебедушки на морѣ—княгини» поется у насть о птицахъ. О музыкальномъ впечатлѣніи лебединой пѣсни показанія различны: въ свадебныхъ приговорахъ изъ Ярославской губерніи у дѣвицъ—пѣвицъ, «бѣлыхъ лебедицъ»—«говоря лебединая». Какъ понимать это «говоря»? «Станеть рѣчи говорить, точно лебедь прокричть» поется въ одной пѣснѣ (Шейнъ, Р. П. стр. 437), что невольно напоминаетъ въ Словѣ о Полку Игоревѣ сравненіе телѣжнаго скрипа съ крикомъ вспугнутыхъ лебедей; либо бочки въ погребахъ гогочутъ, когда ихъ качаетъ вѣтеръ, «будто лебеди на тихихъ на заводахъ» (Рыбн. I, 282). Особо стоить образъ Бояна, пускающаго десять соколовъ-пальцевъ на стадо лебедей-струнъ: до какой онъ прежде коснулся, «та преди пѣснь пояше». Нигдѣ ни слѣда того особаго символизма, который отразился въ значеніи нѣмецкаго «schwanen», а въ среднѣвѣковой западной лирикѣ позже далъ образы и сравненія. Когда въ Венеціанскомъ купцѣ (III, 2) Бассаніо идетъ попытать счастья съ ларцами, Порція говоритъ: «Пусть раздается музыка, пока онъ творитъ выборъ; если онъ проиграетъ, онъ кончится, какъ лебедь, замретъ въ мелодіи; а дабы сравненіе было подходящее, мои глаза будутъ ему рѣкой, влажнымъ одромъ смерти».

202—66 Символизмъ навѣянъ классиками: Эліаномъ, Плиніемъ, | Овидіемъ: будто-бы лебедь предчувствуетъ свою кончину и пѣсней прощается съ жизнью. Христіанская мысль также овладѣла образомъ: предсмертная пѣсня лебедя — это вопль Спасителя на крестѣ.

Сходное развитіе изъ подобныхъ же источниковъ представляетъ образъ голубя-горлицы. Что онъ получилъ особое значеніе при свѣтѣ библейско-христіанскихъ идей — на это указано было выше¹⁾; Богородица — голубица принадлежитъ тому же освѣщенію. Рядомъ съ этимъ развивается издавна представленіе о гор-

1) См. выше стр. 455—6.

лицѣ, сѣтующей по своемъ голубкѣ, какъ символъ супружеской вѣрности. Символъ этотъ одинъ изъ популярныхъ въ средневѣковой поэтической и учительной литературѣ; онъ отразился и въ народныхъ пѣсняхъ, нѣмецкихъ и французскихъ, итальянскихъ, испанскихъ и датскихъ. Обычная схема такая: горлица неутѣшна, потерявъ супруга, садится лишь на засохшія вѣтки, не пьетъ чистой воды, а только замученую. Замутиться — печалиться, это сопоставленіе знакомо народной пѣснѣ, какъ сидѣніе на сухой вѣткѣ (сухой въ противоположность къ зеленому = молодому, веселому) — олонецкому причитанію вдовы: она кукуетъ «какъ несчастная кокоша на сыромъ бору», на «подсушной сидѣть» на деревиночкѣ, на «горькой... на осиночкѣ». Въ греческой пѣсенкѣ соловей, когда опечаленъ, не поетъ ни по утрамъ, ни по полудни, не садится на дерево съ густою листвой, а когда приходитъ ему охота до пѣсень, понижаетъ голосъ, и тогда всѣ знаютъ, что онъ печалуется¹⁾.

Василію Великому, Григорію Назіанзину и блаженному Іерониму знакомъ символъ горюющей горлицы; Іеронимъ цитируетъ по этому поводу и болѣе древнихъ авторовъ. Христіанское поппманіе образа такое: это христіанство, молчаливо скорбящее по Спасителю.

Выше мы видѣли примѣры такой-же христіанской перелицовки символовъ²⁾. Народная пѣснь останавливается здѣсь порой на наивномъ смѣшеніи своего и чужого, птицы-вѣстника съ символическимъ представленіемъ Св. Духа. Въ одной нѣмецкой пѣснѣ Пресвятая Дѣва сидѣть, птичка подлетаетъ къ ней, ей сопутствуетъ прекрасный юноша. Онъ произносить слова благовѣстія, а птичку Пресвятая Дѣва приголубила на свое лонѣ, обрѣзала ей крыльшки, большое было имъ веселье:

1) См. Психологический параллелизмъ I. с. стр. 64, 70, Ἀλφάβητος τῆς ἀγάπης № 92. См. выше, стр. 204 слл. и 214.

2) Сл. выше стр. 455—6 и Психологический параллелизмъ, стр. 199—200.

203—67

Sie satzt sich zu ihm nider
Und schloss in in ir schoss,
Beschneid im sein gefider,
Ir beider freud ja die war gross.

Я коснулся лишь немногихъ мотивовъ, символовъ и образовъ и ихъ сочетаний, свойственныхъ поэтическому языку, то выработавшихся самостоятельно въ той или другой пѣсенной области и народности, то разсѣянныхъ по художественной или народной пѣснѣ изъ одного опредѣленного источника. Всѣ они произошли или были усвоены на почвѣ музыкально-ритмическихъ ассоціацій и составляютъ специальность поэтическаго словаря; всѣ они испытываютъ въ теченіи времени известное обобщеніе, приближаясь къ значенію формулъ, какъ въ процессѣ, которому подлежитъ человѣческое слово вообще на пути отъ его древней образности къ отвлеченію; но въ минуты возбужденія, на крыльяхъ ритма, въ рукахъ дѣйствительного поэта, они могутъ быть по прежнему опредѣленно суггестивны. Говоря о поэтическомъ стилѣ Уландъ подчеркнулъ явленіе обобщенія, но, по моему, не достаточно остановился на суггестивности формулъ, именно какъ формулъ. Въ теченіи долгаго и разнообразнаго развитія поэтическаго дѣла, говоритъ онъ, постепенно образовалось значительное количество поэтическихъ образовъ и оборотовъ, всегда готовыхъ къ услугамъ всякаго вновь объявившагося пѣвца, но вслѣдствіе постояннаго употребленія къ этимъ образамъ и оборотамъ такъ приглядѣлись, что авторы и читатели едва-ли соединяютъ съ ними какое-либо другое значеніе, кроме настоящаго и основнаго. По типу этихъ привычныхъ выражений стали слагать и новыя на тотъ же ладъ, въ значеніи которыхъ столь-же мало даютъ себѣ отчета. Этимъ объясняется, что въ иныхъ поэтическихъ произведеніяхъ мы встрѣтимъ словообразованія, которымъ не подсказать никакого смысла, либо образы, не вызывающіе никакого представлениія и взаимно уничтожающіеся, потому что за ними не лежитъ личное непосредственное впечатлѣніе. «Всякій образъ, особенно изъ избитыхъ частымъ употребленіемъ, долженъ быть

на-ново воспринять изъ природы, либо изъ яснаго созерцанія фантазіи, иначе онъ грозить стать фразой. Роза — постоянно возвращающійся, неотъемлемый образъ юности, но лишь толь употребить его поэтически, въ воображеніи котораго роза въ самомъ дѣлѣ раззвѣтаеть въ своемъ нѣжномъ сіяніи и ароматѣ».

Итакъ, поэтический образъ оживаетъ, если онъ снова пережить художникомъ, воспринятый изъ природы или подновленный силой воображенія; подновленный изъ воспоминанія — или изъ готовой пластической формулы. На этомъ я остановлюсь, потому что это существенно для вопроса. Поэтъ, напримѣръ, никогда не видѣть пустыни, но онъ можетъ передать намъ живое впечатлѣніе этого невиданного двумя-тремя словами, которыя, употребленныя въ дѣловой, докладывающей рѣчи, оставляютъ меня относительно равнодушнымъ, у него-же вызываютъ видѣнія. Когда еще жива была въ поэтическомъ оборотѣ предсмертная пѣсня лебедя, она, очевидно, была суггестивна и для тѣхъ, которые никогда ее не слыхали; самъ Уландъ говорить, что роза вызываетъ въ насъ ассоціацію веселья. Дѣло въ томъ, что поэтический языкъ состоять изъ формулъ, которыя въ теченіи извѣстнаго времени вызывали извѣстныя группы образныхъ ассоціаций положительныхъ и ассоціаций по противорѣчію; и мы пріучаемся къ этой работе пластической мысли, какъ пріучаемся соединять съ словомъ вообще рядъ извѣстныхъ представленій обѣ объектъ. Это дѣло вѣкового преданія, безсознательно сложившейся условности и, по отношенію къ той или другой личности, выучки и привычки. Внѣ установившихся формъ языка не выразить мысли, какъ и рѣдкія нововведенія въ области поэтической Фразеологии слагаются въ ея старыхъ кадрахъ. Поэтическія формулы — это первые узлы, прикосновеніе къ которымъ будить въ насъ ряды опредѣленныхъ образовъ, въ одномъ болѣе, въ другомъ менѣе, по мѣрѣ нашего развитія, опыта и способности умножать и сочетать вызванныя образомъ ассоціаціи.

Мы можемъ перенести этотъ вопросъ и въ область болѣе сложныхъ поэтическихъ формулъ: формулы — сюжетовъ, о чѣмъ

будеть рѣчъ въ слѣдующихъ главахъ поэтики. Есть сюжеты новоявленные, подсказанные наростающими спросами жизни, выводящіе новыя положенія и бытовые типы, и есть сюжеты, отвѣчающіе на вѣковѣчные запросы мысли, не изсякающіе въ оборотѣ человѣческой исторіи. Гдѣ-то и кѣмъ-нибудь такимъ сюжетамъ дано было счастливое выраженіе, формула, достаточно растяжимая для того, чтобы воспринять въ себя не новое содержаніе, а новое толкованіе богатаго ассоціаціями сюжета, и формула останется, къ ней будуть возвращаться, претворяя ея значеніе, расширяя смыслъ, видоизмѣняя ее. Какъ повторялась и повторяется стилистическая формула «желанія», такъ повторяются на разстояніи вѣковъ, напримѣръ, сюжеты Фауста и Донъ-Жуана; религіозные типы подлежать такому-же чередованію пересказовъ: картина Рѣпина, которую мнѣ удалось видѣть въ его мастерской, представляетъ блестящее доказательство того, что евангельскій разсказъ объ искушениі Христа еще да-
205—68 леко не исчерпалъ художниками и способенъ вызвать новое по-
205—69 этическое освѣщеніе. Какъ въ области культуры, такъ, специальнѣе, и въ области искусства, мы связаны преданіемъ и ширимся въ немъ, не созиная новыхъ формъ, а привязывая къ нимъ новыя отношенія; это своего рода естественное «сбереженіе силы». Къ числу многихъ парадоксовъ, наполняющихъ статью гр. Л. Толстого объ искусствѣ, принадлежитъ и слѣдующій, особенно яркій, едва-ли имѣющій вызвать даже полемику: будто такъ называемые поэтическіе сюжеты, то-есть сюжеты, заимствованные изъ прежнихъ художественныхъ произведеній, — не искусство, а «подобіе искусства». Примѣръ — сюжетъ Фауста. Пушкинъ уже отвѣтилъ на это: «Талантъ не волень, писаль онъ, и его подражаніе не есть постыдное похищеніе... признакъ умственной скучности, но благородная надежда на свои собственные силы, надежда открыть новые міры, стремясь по стезямъ генія». Иныхъ, менѣе оригинальныхъ поэтовъ возбуждаетъ не столько личное впечатлѣніе, сколько чужое, уже пережитое поэтически; они выражаютъ себя въ готовой формулѣ. «У меня

почти все чужое, или по поводу чужого, и все, однако, мое», писалъ о себѣ Жуковскій.

VI.

Языкъ прозы послужить для меня лишь противъсомъ поэтическаго, сравненіе — ближайшему выдѣленію второго. Въ стилѣ прозы неѣть, стало быть, тѣхъ особенностей, образовъ, оборотовъ, созвучій и эпитетовъ, которые являются результатомъ послѣдовательнаго примѣненія ритма, вызывавшаго отклики, и содержательнаго совпаденія, создававшаго въ рѣчи новые элементы образности, поднявшаго значеніе древнихъ и развившаго въ тѣхъ-же цѣляхъ живописный эпитетъ. Рѣчь, не ритмованная послѣдовательно въ очередной смѣнѣ паденій и повышеній, не могла создать этихъ стилистическихъ особенностей. Такова рѣчь прозы. Исторически поэзія и проза, какъ стиль, могли и должны были появиться одновременно: иное пѣлось, другое сказывалось. Сказка такъ же древня, какъ пѣсня; пѣсенныи складъ не есть непремѣнныи признакъ древняго эпическаго преданія; сѣверныи саги, этотъ эпосъ въ прозѣ, не представляютъ собою единичный фактъ. Изъ примѣровъ чередованія стихотворнаго и прозаическаго изложенія, собранныхъ мною при другомъ случаѣ¹⁾, иные | могутъ быть истолкованы, какъ поздняя попытка дополнить скажомъ забытые эпизоды пѣсни, но другое послужать къ характеристику | древней смѣны ритмованнаго и неритмованнаго слова. Это явленіе довольно распространено, и едва-ли мы вправѣ объяснить подобную смѣну въ Aucassin et Nicolette вліяніемъ кельтскаго (ирландскаго) эпоса, гдѣ она обычна. Грузинскія пѣсни о Таріэль перемежаются прозаическимъ пересказомъ отдѣльныхъ моментовъ, въ замѣнѣ утраченного въ народной памяти пѣсенного повѣствованія; латышскія пѣсни то сказы-

1) См. Эпическія повторенія 1. с., стр. 299 слѣд. (см. выше, 120 слл.), см. выше, стр. 292—3, 309—310.

ваются, то поются; Лайма, божья дщерь, поеть ихъ и сказывается и т. д.

Обычное въ поэтикахъ положеніе, что проза явилась позже поэзіи, по ея слѣдамъ, обобщено изъ наблюденій надъ внѣшнимъ развитіемъ, главнымъ образомъ, греческой литературы. Пѣлись гомерическія поэмы, за ними уже возникаетъ проза логографовъ. Эта послѣдовательность обязываетъ развѣ къ тому выводу, что тексты въ прозѣ могли быть записаны ранѣе поэтическихъ, потому что послѣдніе хранились и еще хранятся въ памяти народа, несмотря на ихъ, иногда, значительный объемъ, защищенные ритмомъ и складомъ, тогда какъ вольная рѣчь прозы забывалась, искажалась и требовала другой защиты, кромѣ оберега памяти. Въ пользу болѣе поздняго развитія прозы, какъ жанра, такой фактъ также мало доказателенъ, какъ ритмическая проза Корана, построенная по болѣе раннимъ метрическимъ образцамъ. Можно говорить объ усиленномъ развитіи прозаической литературы, дѣловой, философской и научной, послѣ того, какъ поэзія уже дала свой цвѣтъ. И это явленіе было обобщено: въ водвореніи прозы выдѣли ростъ личности, возможность личной оцѣнки и критики преданія, наконецъ преобладаніе демократіи, начало и торжественное вшествіе науки. Все это можно принять, но съ оговорками. Вѣдь древняя пѣсня обряда и культа была не только поэзіей, но, ранѣе того, и наукой, и знаніемъ, и вѣрованіемъ, и наставленіемъ (Солонъ); прототипы французскихъ *chanson de geste* сложились по слѣдамъ событий и, пока эпическая пѣсня не обставила общими мѣстами народной поэтики, не подверглась литературной обработкѣ, она была пересказомъ фактовъ, видѣнныхъ или слышанныхъ, съ элементами общихъ и личныхъ взглядовъ, и я не вижу большой разницы въ приемахъ логографа, смѣнившаго эпического пѣвца. Критическое отношеніе къ явленіямъ и даннымъ исторического прошлаго и общественной жизни въ области исторіографіи является въ результатѣ такого-же процесса, который вывелъ изъ народной пѣсни лирику личной мысли.

| Если говорить о подъемѣ литературы въ прозѣ въ связи съ 70—207
усиленіемъ демократическихъ интересовъ, то съ тѣмъ-же пра-
вомъ можно | выдвинуть и другой фактъ, ярче выясняющій 71—207
тѣ-же отношенія. Я называлъ-бы его аристократизаціей поэзіи.
Когда она начинаетъ служить профессиональнымъ и сословно-ка-
стовымъ цѣлямъ, ея содержаніе съуживается, и на открытыхъ
мѣстахъ, отвѣчая интересамъ, отъ которыхъ она отошла, водво-
ряется проза. Такъ могло быть вообще на переходѣ отъ народ-
наго обряда къ поэзіи храмового культа. Крайнее развитіе
крѣпко организованнаго кастового начала объясняетъ и такое,
повидимому, исключеніе, только подтверждающее правило: въ
политикѣ брахмановъ, ревниво устранившей массу отъ успѣховъ
знанія, Веберъ видѣтъ причину слабаго развитія санскритской
прозы; знаніе было въ рукахъ жреческаго сословія и продол-
жало выражаться въ архаическихъ формахъ-переживаніяхъ: и
поэтическія, и научныя темы, законы и обряды, и практичес-
кія наставленія — все это по прежнему облекалось въ стихи.

Другое обособленіе поэтическаго стиля произошло на почвѣ
профессіи. Явились, выдѣлившись на фонѣ народной пѣсни, про-
фессиональные пѣвцы, сказители, воспитавшіеся постепенно къ
сознанію поэзіи, не какъ обрядового или культового дѣла, а какъ
акта самодовѣрѣющаго; начала художественной поэзіи, которая
продолжаѣтъ развивать собственное стилистическое преданіе,
вблизи и вмѣстѣ въ сторонѣ отъ развитія дѣловой рѣчи. На этотъ
разъ мы имѣемъ дѣло не съ противорѣчіями архаизма культовой
поэзіи и новшества прозы, а съ двумя совмѣстно-развивающи-
мыми традиціями, при чемъ, быть можетъ, на сторонѣ поэтиче-
ского стиля задерживающихъ элементовъ больше, въ ритмѣ, въ
подборѣ унаследованныхъ оборотовъ, въ преданіи риторики и
школы, въ гильдіяхъ, какъ было въ Ирландіи и Уэльсѣ. Языкъ
поэзіи всегда архаичнѣе языка прозы, ихъ развитіе не равно-
мѣрно, уравновѣшивается въ границахъ взаимодѣйствія, иногда
случайнаго и трудно опредѣлимаго, но никогда не стирающаго со-
зnanія разности. «Бѣлый свѣтъ» нашей народной пѣсни такая-же

тавтологія, какъ «блѣлое молоко»; Аристотель считаетъ послѣднее сочетаніе возможнымъ въ поэзіи, неумѣстнымъ въ прозѣ; ему кажутся невнятными метафоры Горгія: «кровавыя дѣла» и даже «блѣдныя»; отъ послѣднихъ не отказался-бы и современный поэтъ; гр. Л. Толстой говоритъ о «черной темнотѣ» (Воскресеніе).

Взаимодѣйствіе языка поэзіи и прозы ставитъ на очередь интересный психологический вопросъ, когда оно является не какъ 208—71 незамѣтная инфильтрація одного въ другой, а выражается, такъ сказать, оптомъ, характеризуя цѣлую историческую области стиля, 208—72 приводя къ | очередному развитію поэтической, цвѣтущей прозы.

Въ прозѣ является не только стремленіе къ кадансу, къ ритмической послѣдовательности паденій и удареній, къозвучіямъ риомы, но и пристрастіе къ оборотамъ и образамъ, дотолѣ свойственнымъ лишь поэтическому словоупотребленію. Не всѣ смѣшенія такого рода подлежать одной и той-же оценкѣ: когда начинатели классического возрожденія обновили литературное значеніе латинской рѣчи, они еще не успѣли точно овладѣть критеріемъ поэтически и прозаически дозволенного, и ихъ стиль невольно отзывается центономъ неискусившихся искателей. Но когда подобный-же синcretизмъ встрѣчается въ перебояхъ литературныхъ и общественныхъ настроеній, въ греко-римскомъ азіанизмѣ, въ эвфуизмѣ Елизаветинской поры, въ французскомъ style pr  cieux, вопросъ о психологическихъ поводахъ такого смѣшенія возникаетъ естественно: дѣло идетъ объ эпохахъ переходныхъ, полныхъ начинаній и переломовъ, когда мысль, чувство и вкусы настроены къ выражению чего-то новаго, желаемаго, чemu нѣтъ словъ. И слова пишутъ въ приподнятомъ, потенцированномъ стилѣ поэзіи, въ цитатѣ изъ поэта, въ введеніи поэтическаго словаря въ оборотъ прозы. Это производить впечатлѣніе чего то первнаго, личнаго, сильнаго и слабаго вмѣстѣ, искусственной пынѣженности и искусственнаго бомбаста. Въ современной прозѣ, особенно французской, можно отмѣтить подобные-же признаки; переходный-ли это пунктъ передъ новымъ разграниченіемъ, или

указание на грядущий синкретизмъ и забвение унаследованныхъ формъ поэтической рѣчи?

Языкъ поэзіи инфильтруется въ языкъ прозы; наоборотъ, прозой начинаютъ писать произведенія, содержаніе которыхъ облекалось когда-то, или, казалось, естественно облеклось-бы въ поэтическую форму. Это явленіе постоянно надвигающееся и болѣе общее, чѣмъ разсмотрѣнное выше. И здѣсь приходится разобраться въ частностяхъ, не рѣшая вопроса онтому. Когда *chansons de geste*, въ прежнее время пѣвшіяся и сказывавшіяся, начинаютъ излагаться въ прозѣ, опускаясь до народной книги, мы скажемъ себѣ, что живой, эмоціональный интересъ къ нимъ исчезъ, что онѣ уже «старина», привлекающая не идеей, а сказочною схемой, очутившаяся въ средѣ, где она не была пережита и перечувствована, абстрактная сказка. Но когда въ по-александровскую эпоху ослабѣло сознаніе греческой народности, воспи- 72—209 тавшей мѣстный эпосъ и сагу, и на почвѣ всесвѣтной монархіи, въ теченіяхъ космополитизма, центрами интереса явились | не 73—209 политическая, а домашняя, личныя отношенія, схемы рассказа о себѣ, о личномъ горѣ и счасти и признаніи не укладывались въ формы,увѣковѣченныя поэтическимъ преданіемъ, и вместо эпоса явился романъ въ прозѣ. Семейная драма въ прозѣ была результатомъ такого-же перелома въ общественныхъ интересахъ, какъ въ средніе вѣка новое содержаніе мысли и чувства потребовало въ романахъ бретонскаго цикла и новыхъ сюжетовъ, и другой метрической формы.



ПРИЛОЖЕНИЯ.

A. Къ статьѣ: „Изъ исторіи эпитета“.

I. Къ стр. (182) 62. Эпитеты-метаборы, разсмотрѣнныя подъ §§ *a* и *b*, подходитъ подъ понятіе ὑπαλλαγή, сл. Gerber, I. с. ¹⁾, I, стр. 537 слѣд., сл. Schiller (Ibyk.): *der Lieder süßen Mund*; Goethe (Herm. & Doroth.): sie freute sich des *Kornes*, das mit *goldener Kraft* sich im ganzen Felde bewegte; Schiller (Kass.): *der Saiten goldnes Spiel*; Eur., Herc. fur., 398: χρυσέων πετάλων ἥπο μηλοφόρου χερὶ καρπὸν ἀμέρξων (= χρυσέον πετάλων ἥπο μηλοφόρου καρπὸν); Ovid., Met., 2, 274: in opaca viscera matris, VIII, 676: de purpureis collectae vittibus uvae; Prop., I, 16, 42: osculaque impressis nixa dedi gradibus; V, 8, 24: armillatos colla Molossa canes; Shakespeare, Ant. and Cleop., III, 6: we perceiv'd, how we in *negligent danger*; All's well, II, 3: yourself, whose *aged honour* cites a virtuous youth. Сл. ib. p. 538—9 примѣръ πρόλεψις: Schiller (Hero u. Leand.): Ihnen schloss auf ewig Hekate den *stummen Mund* (онъ онѣмѣлъ лишь отъ дѣйствія Гекаты). Слич. Gerber, II, 23, прим.: Eur. Phoen., 1351: λευκοπήχεις κτύπους χεροῖν.

II. Къ стр. (183) 63 слѣд. (Къ синкреметическимъ эпитетамъ). Сл. Gerber, Die Sprache als Kunst (2 Aufl.) I, стр. 313 слѣд.: Man nehme etwa die Wurzel φα bei Curtius (Grundz. d. griech. Etymol., I, p. 267). Von ihr stammen: φημί, φάσκω sage, φάτις, φύμη, φωνή; aber auch φαίνω — scheine, zeige, φανερός, φανή, φάσμα — Erscheinung, φάε (Hom.) erschien cet. So giebt die Sanskrit-Wurzel bhâ sowohl bhâmi splendeo, bhânus lumen, bhas splendere, wie bhâsh loqui, bhan loqui cet. Curtius bemerkt hierzu: «Was die Bedeutungen betrifft, so beweisen die sanskritischen Wörter, dass hier *leuchten* u. *sprechen* ursprünglich eins waren,

1) Die Sprache als Kunst [Berl., 1885, 2 B.].

und dass sich die Differenz zw. diesen erst allmählich und ohne an bestimmte Sekundärlaute gebunden zu sein, entwickelte. Dichter gebrauchen fortwährend φαίνειν u. ähnliche Verba von der Rede, z. B. Soph. Ant., 621. χλεινὸν ἔπος πέφανται. — Es bedeuteten jene Wörter also weder leuchten noch sprechen, sondern ungefähr ein: sichtlich werden: φάε χρυσόθρονος ἡώς Od. 14, 502 ... Diese unentschiedene Bedeutung, welche noch nicht = sprechen war, sondern auf ein geistiges Hervortreten übertragen wurde, ist z. B. Soph. Phil. 1411 (= wissen), Il. I, 287; 15, 167. ίσον ἐμοὶ φάσθαι (sich mir gleich vorzustellen) kenntlich ebenso in der bekannten Formel ἔπος τ' ἔφατ', ἐκ τ' ονόμαξεν (Od. V, 181), wo ein Unterschied von der bestimmteren Bedeutung: sprechen noch gefühlt wird, ebenso bei Herodot (3, 156, 9): ἔφη λέγων.

Объ относящихся сюда явленияхъ *синкретизма* или *смешения* сл. 1, с. стр. 155 слѣд.: II. XI, 532 heisst es: ἴψασεν καλλίτριχας ἕππους μάστιγι λιγυρῆς τοὶ δὲ πληγῆς ἀίοντες βίμφ' ἔφερον θοὸν ἄρμα. — ἀίοντες ist hier: fühlend. Aristarch (bei Ariston. A, 532) sagt: τῷ εἴδει τὸ γένος δεδήλωκε. τὸ γὰρ ἀίοντές ἔστιν ἀκούοντες, θέλει δὲ εἰπεῖν ἐπαισθόμενοι τῆς πληγῆς: ή γὰρ ἀκοὴ εἰδός ἔστι τῆς αἰσθήσεως. Man spricht von hellen und dunklen Tönen und Farben, von stechendem und brennendem Gefühl u. Geschmack, von weichem und hartem Ton, süßem Gefühl u. scharfem Geruch, schreienden Farben, u. d. m. Oedipus (Soph. Oed. Col. 137) sagt zum Chor: ὅδ' ἐκεῖνος ἐγώ· φωνῆ γὰρ ὁρῶ τὸ φατιζόμενον, so auch (Oed. Tyr. 371): τυφλὸς τὰ τ' ὕπτα τὸν τε νοῦν τὰ τ' ὅμματα. Klopstock sagt (Eislauf): «Sonst späht dein Ohr ja alles». Goethe (Röm. Eleg.): «Fühle mit sehender Hand». — Und so konnte Longin (XXVI, 2) von der Schilderung verlangen: τὴν ἀκοὴν ὅψιν ποιεῖν. Etwas viel ist es, was Leopold Schefer («Hafis in Hellas») bietet: «Ich roch der Muse Zitherklänge noch zugleich, ich sah gestaltenschön und klar ein jed' Gefühl! Ich schmeckte die schönen Göttingen zugleich auf meiner Zunge köstlich; ach, ich hörte laut das Strahlen der Gestirne hoch am Himmelssaal und ich genoss unsäglich reich die schöne Welt zugleich im fünfundzwanzigfachen Wonnestrahl. Auch meine Esskunst war vergöttlicht hier: ich ass das Sonnenlicht, das Himmelsblau, den Glanz, ich trank das mir im grossen Becher schmelzende bildschöne Mädchen voll süssen Schauern aus u. s. w. — P. 314 слѣд.: Aeschylos (Sept. 99) κτύπον δέδορκα, Quint. Sm. VII, 562. Ἀθηναῖη — ἐδέρκετ' ἀύτην ἀνδρῶν ἀγγεμάχων. Hom. Il. XVI, 127: λεύσσω περὰ νησὶ πυρὸς δηϊοιο ἰωήν. Stat. Theb. VI, 202: jam face subjecta primis in frondibus ignis exclamat; Prop. I, 17, 6: adspice, quam saevas increpat aura minas. —

Ebenso, wobei kein Anstoss empfunden wird, Soph. Aj., 785: ὅρα ὁποῖοι
ἔπη θροεῖ; Plaut. Most. II, 2, 64: ecce quae ille ait. Pind. fragm. C. L.
639: σαρκῶν τ' ἐνοπάν τὸν δέστεών στεναρμὸν βαρὺν εἶδον.— Donatus zu
Terenz Eun. III, 2, 1 sagt: omnes sensus visa dicuntur ab eo; qui est
certissimus; Thais Worte an dieser Stelle sind nämlich: «audire vocem
visa sum modo militis. Atque eccum»; wozu Donatus noch aus Virgil
(der auch murmur coeco hat) anführt: visaeque canes ululare per
umbram adventante dea.— So steht *sehen* statt fühlen bei Aristaenet.
II, Ep. XI, 150; ἐὰν προσχγάγης τῷ στέρνῳ τὴν χεῖρα, τὸ πηδημα τῆς
καρδίας ὄψει, u. bei Hippocr. de nat. mul. 534, T. II: ἦν ἄψη, ὄψει.—
Sehen und *hören* werden verwechselt: Lucret. IV, 581: loca vidi reddere voces; Virg. IV, 491. mugire videbis terram; Soph. Oed. Col. 1463:
ἰδὲ μάλα μέγας κτύπος ερείπεται; Goethe («Im Gegenwärtigen Vergan-
genes»): «Fülle runden Tons».— *Sehen* und *riechen* sind vertauscht:
Theocr. I, 149: θᾶσσαι ὡς καλὸν ὄζει. Arist. Av. 1710: ὀσμὴ δὲ ἀνωνόμα-
στος ἐς βάθος κύκλου χορεῖ καλὸν θέαμα. Aesch. Prometh. 115: ὀσμὴ
ἀφεγγής. Virg. Aen. XII, 591: odor ater. Doppelte Vertauschung in dem
Ausdruck: ein warmer od. kalter Ton in der Farbe; ags. *beám* ist ra-
dius und tuba; lat. *surdus* ist góti.: *svarts*, μέλας bedeutet auch *heiser*.—
Grimm (Deutsch. Gramm. II, 86) erwähnt einiger «Begriffsübergänge»
ähnlicher Art: «wir brauchen jetzt *erlöschen* nur vom *Licht*, früher galt
es auch vom *Ton* (Parc. 44 a: der schal lasch); aus gleichem Grunde
nr. 332 *hellen* (*sonare*), *hell* (*sonorus*), später *lucidus* u. d. m. Nahe
liegen besonders *riechen* und *schmecken*. Im Deutschen war früher
schmecken = riechen, und ein Blumenstrauß hiess «eine Schmecke».

Стр. 350—1 (обобщение и синкремизм): candidus-weiss, redlich;
illustris, clarus-hell, berühmt; Taube Nuss, taube Nissel, lebendige
Hecke, tote Kohlen; Caeci rami (ohne Augen), caecae gemmae (trübe
Edelsteine), arena bibula, viva sepes, aqua viva, vivus lapis (Feuerstein),
viva vox, mutum forum.— Im franz. ist nombre sourd eine Irrationalzahl,
auch trübe Edelsteine heissen sourd; haie vive, bois vif, mort bois, cou-
leur morte, vive; bleu-mourant; lèvres mortes; eau vive, eau morte, tête
morte, caput mortuum, argent mort, vif argent, saison morte; de vive
voix, l'imagination vive. Im Englischen z. B. a quick-set hedge, quick-
grass (Quecken), quick-match (brennende Lunte), dead drink (schales
Getränk), deadwater (stehendes Wasser), quicksand (Trieb sand).— C. J.
Pott, Metaphern, vom Leben und von körperlichen Lebensverrichtungen
hergenommen (Kuhn und Aufrecht, Zs. B. II); Hense, Poetische Perso-
nifikation in griechischen Dichtungen, T. I, Halle, 1868.

III. Къ стр. (184) 64. (*Синкретизмъ звука=сона*). С.Л. Huysmans, En Route (18 éd. Paris, Stork, 1896) p. 6: Un chant lent, désole montait, le «De Profundis». Des gerbes de voix filaient sous les voûtes, fusaient avec *les sons presque verts* des harmonicas, avec les timbres pointus des cristaux qu'on brise.— P. 7: En les écoutant (т. е. звуки органа) avec attention, en tentant de les décomposer, en fermant les yeux, Durtal les voyait d'abord presque horizontales, s'élever peu à peu, s'ériger à la fin, toutes droites, puis vaciller en pleurant et se casser du bout... les voix enfantines se déchiraient en *un cri douloureux de soie*.— P. 7—8: ces voix d'enfants tendues jusqu'à éclater, ces voix claires et acérées mettaient dans la *ténèbre du chant des blancheurs d'aube*; alliant leurs sons de pure mousseline au timbre retentissant des bronzes, forant avec le jet comme en vif argent de leurs eaux, les cataractes sombres des gros chantres.... elles évoquaient.... la compatisante image de la Vierge passant, *aux pâles lueurs de leurs sons*, dans la nuit de cette prose. P. 11 (о средневѣковыхъ изображеніяхъ Богородицы): *les braises bleues de leurs yeux*. P. 12—13: Le «De Profundis» par exemple *s'incurve* semblable à ces grands *arcs* qui forment l'ossature enfumée des voûtes и т. д. (въ plain-chant l'accord de la mélodie avec l'architecture est certain). P. 79: *odeur vocale*; 80: *couleurs musicales* de la vie; des *sons blancs* et *bruns*, des sons chastes et sombres; *fumée sourde*; 90: *sons... rances*. 141: ces voix écrues, bien qu'adoucies et *moirées* par les prières.... cette *voix*.... se dépliait en *s'embrasant*, *flambait* en des bouquets virginaux de *sons blancs*, s'eteignait, s'effeuillait en des *plaintes pâles*; 141—2: il voyait.... la *résonnance de son coloris*, *l'éclat de son métal martelé* avec l'art barbare et charmant des bijoux Goths; 185: *moelle blanche des chants*; 197: *voix fonsée*, à laquelle répondaient.... *les claires envolées* des nonnes.... la fleur de la mélodie se fanait; p. 206: *odeur fauve*; 249: *sons blancs*; 407 слѣд.: *терновый спаси Христа=спасиъ установленныхъ церковью пынспопний, назначенныхъ на кругъ года* (напр. 408: Fête des Innocents—и cette séquence rouge et sentant la rose qu'est le «*Salvete flores martyrum*»; dimanche violet; psaume couleur de cendre; 409: *l'hymne cramoisie et la prose écarlate* de la Pentecôte le «*Veni Creator*» et le «*Veni Spiritus*»; p. 411: les saphirs bleus et les spinelles roses de ses antennes, т. е. въ честь Богородицы, puis l'aigue-marine si lucide, si pure de l'*«Ave maris stella»*, и т. д.); 412: une *voix blonde* et ténue d'enfant.... dans le noir de l'église.

(Къ стр. 184) 64. Довнаръ-Запольскій, Пѣсни Пинчуковъ. Кіевъ, 1895. (Стр. 200) Тавтолоїя: барабаны бьють-выбиваютъ; бубнушки-барабаны; вѣсть-повѣваетъ; вишненъка-черешенька; велѣла-казала; гуляетъ-погуливаетъ; грѣсть-погрѣваетъ; гыдъ-брыдъ; горитъ-курится; журба-печаль; житы-быты; журлыва-сварлыва; знаеть-вѣдаетъ; крьница-водица; вода-ключица; любила-кохала; мизраўка-шлюгаўка; написано-нанотовано; нажиласа-набыласа; плачетъ-тужить; плачетъ-рыдастъ; посѣяно-посажено; пить-гулять; не пришелъ-не пріѣхалъ; родъ-роднына; ругасть-бранится; стара жонка-матка; стукнуть-брукнуть; сѣдлать коня—сь двора сѣзжать; густа трава-частые рядочки; туга-журба; тужить-рыдастъ; травушка-муравушка; узломъ-пугою; хлѣбъ-соль; хвоще-сполоще; частый-густой; цѣпы-токи; шумитъ-гудетъ; шила-вышивала; штоповане-мулёване; щука-рыба.— (Стр. 200—202). Эпитеты: Биты пляхъ. Буёнъ, буйны, буйнесенъки вѣтеръ. Быстра вода; река, реченька. Бѣлое лицо, лыченко; бѣлыя ручки, рученьки; ноженьки, ножки; плечо; боки; головынька; тѣло; бѣлоесенъки платокъ; бѣло тонко полотно; бѣлая тонкая рубашка, кощуля; бѣла кощуденька; ручничокъ; намѣточка; бѣленъкая тоненъкая шырынка; хустонъка; бѣла постель; бѣла пухова постель; бѣленъкая рыдня; бероза; бѣлява, кудрава; била, тонка, высока; лебедка, лебедь; соколь; бѣлеськи день, свитъ; бѣленъкій снѣжокъ. Видная чаша; яблочко; винное яблочко; вишневый садъ; вороны, вороненъки конь; стадо; высока гора; древо; могила; лѣсь; высока, тонка, бѣла береза; высокая, тонкая, лыстомъ шырокая рабынка; вѣрны дружокъ; товарышъ, дружына; слуги. Глубоки Дунай; дыль; колодеззи. Гнуткая лещына. Горяча кроў. Гырки слёзы. Гостра коса; шабля, сѣкирка; Густыя лызенъки; лоза; сочывыченька; чаротъ; часты гребешокъ. Дрибны слёзы, слёзки, слёzonъки; дождикъ; листы (письма); друбленькіе хванды. Диўны коровай. Жалосныя пѣсни. Жаркая крапиўка. Жоўты волоса; кудры; песочекъ; ямка; цвѣтъ. Зализный мостъ. Зеленое, зелененъкое вино; вѣночокъ; чай; зелена грушка; зеленесенъкій дубочокъ; зелена дуброва, зелененъка дубровушка; ель; жыто; зелененъка конопелька; зелены кусточекъ; зелененъки лёнъ; зелены лугъ, лужокъ; макъ; овесь; рута; садъ, хвуйнычокъ; яблонъко; яворъ. Золоты ножикъ; перстень; подкова; копытца; рамки; скрыня; сѣдла; токи; кресло. Калыновы мостъ; колюща грушка; красна дѣвонька, дѣўка; пани; сорочка. Круты берегъ, бережокъ; гора; горушка. Крыничная вода. Кудравенъки женишокъ. Кучеравая верба. Кудрава верба; бероза; кудрава, бѣлява.

Лихи ворогъ. *Молодая* дѣвонька; молода чернобрыва дѣўчина; рекрутушка; молодъ барынь; молоденъки молодецъ; козакъ; хлопецъ; женишокъ. *Морозливая* зима. *Наниваны* рукавецъ. *Новенька* шапка; нове листерко; ведерко; коровать; соха; комора; домочокъ; клѣть; стайня; ганочекъ; ворыта; двыръ; мисто; церкоўка; карабельчыкъ; вульки (улье). *Половые* волы. Пухова подушка; постель; бѣла пухова. *Раба* зеўзуля, зеўзуленька; утынька. *Роўненъкий* лёнъ. *Родная* маты; батюхна; братъ. *Роса* кеса. *Рыжъ* песокъ, песочекъ, утоўка. *Селтые* очи; *слайны* господарь; козаче; невѣста. *Солодкая* горылка; солодки, солденъки медъ, медочекъ. *Сребные* ключы; цѣпши; тарелочка. *Степовые* луги. *Сухая* лоза; чаротъ. *Сывы* волы; сивы конь, коникъ; голубъ, голубокъ; голубка; сивеньки селезень; сивы соболь; соколь; сивой крыль соловейко. *Сыне* море; озеро. *Старый* старычокъ; *сырая* земля. *Сыры* гуси. *Темна* нычъ, нычка; лугъ, лужокъ; темны темненъкій лѣсь, лѣсокъ; темна, темненъкая хмара. *Тесовая* клѣть; ворытечки; кровать; скамья. *Тыха* вода; Дунай. *Тонкая* китаечка; кужель; обрусы; бѣло тонко полотно; тонко просцирадло; рубки; рукавецъ; бѣлыя тонкія рубашки; кошуля; бѣлая тонкая шырынка; хустонька; тоненъки хвартушокъ; биленьkie икъ пациру руїненъкіе подарки; била тонка высока бероза; тонкая высока бероза; рабынка тонка, тонкая высока, лыстомъ шыроко; также — тополя; сосна. *Уродливая* дѣвонька. *Часты* густы гребешокъ. *Чирвено* сукно; нагруднычокъ; китайка; вышня; кальна; рожа; чистенька вода; чисто поле. *Чорны* бровы. Чорнобрывенька; очи, очки; чоронъ, чорнесенькій воронъ; галка, галочка; куна; соболь; макъ. *Шава* травушка. *Шары* очы; *шарка* кальна. *Широки* листъ; дубочекъ широки листочекъ; широкая улица; степъ; долына; ширина; дорога. *Шоўковы* трапкачъ; косынчикъ; радюжка; шырынка, шоўкомъ шыта свита; шоўкомъ вышивана кошуля; нашивана шоўкомъ хуста; трава, травица; сѣти. *Щыры* боръ; сребро; желѣзо; злетце серце. *Ясна* зора; мѣсяцъ; сонце; свѣча. *Ярскія* шташки. *Яры* воскъ; овесь.

Къ стр. (184) 64. Сл. Bréal, *Essai de sémantique* [Paris, Hachette, 1897], p. 139, прим. 2: *Laetus* que Cicéron considère comme une métaphore (*De Or.* III, 38: *laetas esse segetes etiam rustici dicunt*), est.... le mot propre (*de grasses moissons*); p. 138: *extinguere* avait.... pris le sens d'êteindre; cependant la flamme est comparée ici à un dard ou à une lance dont on brise la pointe.—Къ эпитетамъ, ib. 143—4 (енни)

noir, voix chaude, chant large, reproche amer; un son grave, une note aigüe; lanterne sourde, maison louche, aveugler une voie d'eau; κωρὸν βέλος = surdum jaculum; μέλαῖνα φωνὴ; Les Indous appellent *andha-kūpa*, «puits aveugle», un puits dont l'ouverture est cachée par des plantes. Quelquefois on ne sait plus au juste de quel organe ces expressions sont parties: pour l'adjectif *clarus* p. ex. on a pu longtemps se demander s'il vient de la vue ou de l'ouïe.— Стр. 181—3: *сложные эпитеты* въ греческомъ (*τερψίχορος* и т. п.) и нѣм. языкахъ (himmelblau и т. п.). Quelques-uns de ces termes de comparaison (нѣмецк.) ont passé des mots, оù ils avaient leur raison d'être en d'autres оù ils n'ont que faire.... C'est ainsi qu'à cause de *stockfest*.... on a dit *stock-taub*, ... *stock-blind*, ... *stock-finster*; по steinhart сдѣланы *stein-alt*, *stein-müd*, *stein-reich*; *himmelschreiend* вышло изъ выраженія: *Es schreit zum Himmel* по аналогии съ *himmelklar*, *himmelweit*.

Къ стр. (184) 64. (Къ синкретизму чувственныхъ впечатлений). Сл. Ф. Браунъ, Разысканія въ области гото-славянскихъ отношеній, стр. 171: финск. корень sal-hal: основныя значения «свѣтлый, ясный» и «разсѣвать». Ср. напр. суом. salava — молния, haleva, hallava — свѣтлый, halken — разсѣвать, halkio — щель, salko, halko — полѣно; вѣнс. halg — полѣно, halgnen — разсѣвать; эст. haljas — свѣтлый, sale — жидкий, тонкий (sale mets — жидкий лѣсъ) и т. д. Сл. Donner II, 10 слѣд., особ. стр. 25. Отъ финскаго суом. haleva пошло, вѣроятно, и русск. галява (галявина, прогалина, прогаль, прогаль: чистое пространство, открытое мѣсто среди чего; незамерзающее мѣсто въ рѣкѣ, поляна въ лѣсу; прогалить — открыть, дать куда проникнуть свѣту; «на небѣ прогалило»). Въ галявѣ, соединяются понятія проспка и просвѣтъ.

Къ стр. (184) 65. (γελάω) Hymn. in Apoll. Del. v. 118 и hymn. in Cerer. v. 14: γαῖα τε πᾶσ' ἐγέλασσε καὶ ἀλμυρὸν οἴδημα θαλάσσης; Theogn. v. 8: ἐγέλασσε δε γαῖα πελώρη-γήθησεν δε βαθὺς πόντος ἀλὸς πολιῆς; Aeschyl. Prom. 88: ὃ δῆος αἰδήρῳ καὶ ταχύπτεροι πνοαι, ποταμῶντε πηγαί ποντίων τε κυμάτων ἀνύριθμον γέλασμα; Eurip. fragm. in c. 146 (Dind.): ἀκύρικτος δε πορθμὸς ἐν φρίκῃ γελᾶ.

Къ стр. (185) 66. (Къ малорусскимъ тавтологіямъ и эпитетамъ). Въ думкахъ сл. Сумцовъ (по поводу книги Житецкаго, Мысли о

народн. малорусск. думахъ) въ «Этногр. Обозр.», XXIV, стр. 82: *тавтоло́гія*: грунтъ-худоба, хлібъ-спль, пыли-туманы, срибро-злато, селомъ-ульицею, звиръ-итыця, щука-рыба, степъ-долына, стежки-дорожки, долыны-яры, доломъ-долыноу, часъ-годына, свитлыця-камяныця, кайданы-зализо, пинча-пишаныця, чужа-чужанина, штыхъ-копье, живъ-здоровъ, мало-немножко, малъ-невельчикъ, батькова-матчина, спра-спрыця, сіе-посивае, стучить-грemyть, бере-хашае, стеле-покладае, квиле-проквиляе, мыто-промыто, суды-судыты, рады-радылы, обидъ-обидае, сикты-рубаты, думаты-гадаты, пыты-шиды-ваты, пыть-гулять, леньмо-поленьмо, кляла-проклинала, бижыть-шид-бигае, потурчила-побасурманила (тавтоло́гія у сербовъ: тамница тавна, болг.: темна темница, великор.: молоденьки молодушки, свѣтлая свѣтлица). Эпитеты въ думахъ: *білый* (камень, рука, нога, лицо, свѣтъ, снѣгъ, габа, скамья, челядь), *битый* (шляхъ), *близка* (сусида), *Божій* (світъ), *буііный* (витеръ), *булатна* (сабля), *быстрий* (конь, хвыля, рѣка), *велики* (дороги расхідныи, диво, грихъ), *веселій* (країй), *вирна* (жона), *вороній* (конь), *высока* (степъ), *гнѣдый* (конь), *гордый* (панъ), *горячыи* (слезы), *гострый* (мечъ), *далека* (дорога), *добрал* (рада), *дрибенъ* (дощъ; влкр.: мелкой, частой дождикъ), *дрибенъ* (листе-письмо, слеза); *жовтая* (коса, чоботы, мѣдь на воротахъ, кость), зе-леный (яворъ, дубъ, жупанъ, діброва); *злая* (хуртовына), *золотой* (волость, столъ, човенъ, весло, перстни, соха, грива, сѣдло, серпы, мечъ, златосини кіндякі), *калинова* (стрѣла), *камяна* (темница), *клевови* (уши коня), *кованый* (возъ, поясъ), *кривава* (ничъ), *кришталева* (фляшка), *кровна* (родына), *мідяны* (човна, сошникъ), *мизине* (дзецко, палецъ), *мілосердный* (Господъ), *опраны* (кульбаки), *павяный* (вінокъ), *перлова* (тканка), *піліна* (годына), *пирскій* (конь), *писаня* (скрыня), *простая* (дорога, люди), *рудая* (сукня), *руса* (коса), *святое* (море, не-дпля, небо, церква, письмо), *семильядна* (пищаль), *сердешни* (това-рищи), *сивый* (конь, волы, голубъ, зозуля), *сиза* (зозуля, орлы); *сыре* (кориння), *сироманци* (вовки), *сінссе* (море), *смертельний* (грихъ, мечъ), *срибныи* (шидковы, польщи), *старыя* (жоны, вдовы, мать), *су-протывня* (хвыля), *темній* (похоронъ,ничка, лѣса), *тисови* (синци), *тихи* (воды), *тяжка* (неволя), *хрещеній* (народъ), *чervone* (убране, капитанъ, кітайка, таволга), *чисте* (поле), *чорный* (пожаръ, кровь, мажа, китыця, аксамитъ, очи, брови, воронъ, хмара), *чудныя* (стороны), *широкій* (танецъ), *шовковый* (наметъ, хвостъ коня), *яворовы* (сходци), *ярії* (пчолы, пченица), *ясный* (соколь, огонь, зори, сонце, зброя, ми-сяць) и др.

Стр. 84—5: *бъилъ* въ сербск. пѣсняхъ и у Гомера (локоть, зубы, ячмень, городъ); у сербовъ: камена тавница, руса коса; море *синее* (у сербовъ и великоруссовъ); сербск. и болг.: *дробное* синтое письмо. Голубъ и соколь *сивые* и въ южнослав. эпосѣ; здѣсь же находимъ *вѣрную* жену, *зеленый* боръ, ель, садъ, *золотые* ключи, кольца, колыбель, чаши, вѣнки, *желтые* сапоги (раріса), *блѣющую* пшеницу, *ясное* солнце, *мѣсяцъ* и *звѣзды*, *широкія* дороги, *тихія* воды Дуная, *вороныхъ* коней; сл. влкск.: *каменая* стрѣла, *ясный* соколь, солнце, *каменные* палаты, *темные* лѣса и темницы и др.

Стр. 85—6. Эпитеты къ характеристикѣ украинской природы и быта (степь *высокая*; *жовта* коса: эпитетъ вѣроятно древній, сл. Прокопіево *ўперауэрой*, ибо рыжіе волосы теперь рѣдки у сербовъ).

IV. Къ стр. (188—9) 69—70. Сл. Rich. M. Meyer, Alte deutsche Volksliedchen, Zs. f. d. Alterth. XXIX, стр. 217: Carm. Bur. 142^a: dâ von stât *val* der *grüne* ehle, какъ у Neidhart'a 86, 36: ist diu *grüene* heide *val* (по одревесневшему эпитету); иначе Neidhart 18, 4: schôn als ein *golt gruonet* der hagen.

Къ стр. (191) 74. Vielantif (название коня: *viel + antif*) (сл. Guillelm de Berguedan: Chanson ai comensa da Que sera loing chantada En est son *veill antic*); сл. прованс.: rizen jogan, sompnhan durmen (Schultz, Unvermitteltes Zusammentreten von zwei Adjektiven od. Participien im Provenzalischen въ Zs. für romanische Philologie, XVI, 3—4).

V. Къ стр. (192) 74—75. (*Парные эпитеты*) существительныхъ, глаголовъ, Miclosich, Darstell. im Slav. Volksepos, «Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wiss. in Wien», Philos. Hist. Cl. B. 38, стр. 8: русск.: 1) *повторение слова*: Прямоъзжая дорожка прямозжая (Рыбн. I, 74); Чуднымъ чудныемъ чудно, дивныемъ дивнымъ дивно (ib. I, 74); Выѣзжаетъ тутъ старый казакъ, старъ старый казакъ Илья Муромецъ (Кир. I, 93); сл. позднимъ поздно, горе горькое; сербск.: чудно чудо; болгарск.: синтомъ синто Zborvat; sirak siromah. 2) Сл. стр. 12 слѣд. (*парность эпитета съ отрицательнымъ оборотомъ*): Сербск.-хорв.: Ona sjede brižna nevesela; сл. Mitre muči, ne besjede ništa; s malo bilo, za dugo ne bilo; русск.: Прямой дорожкой, неокольной (Рыбн. З, 13); за великую досаду не за малую (З, 75); А п холостъ я хожу, не женатъ гуляю (Кирша, 86). Малор.: мало немного, малый невеликий, смутень невеселый; 3) (р. 13 слѣд.). Парность синонимовъ: Серб.-хорв.: zazor

i sramota, obraz i poštenje, zemlje i krajine; svijet i krajina; nužda i nevolja; pleme i koljeno, tuga i žalost; *trudan i umoran*, sretno i čestito, ludo i bezumno; cvjeli, tuži; poklon i dar; slike i prilike; kad svanulo i granulo sunce; svača i svatovi. *Бол.*: Умен и разумен; Те засвирі *жално, тужно* (Вук 237). *Русск.*: Безъ боя, безъ драки, кровопролитья (Кир. 2, 26; сл. Рыбн. 2, 41; Кирша) и др. преимущественно парные существительные и глаголы; прилаг.: вы глупый да неразумный (Кир. I, 80; Кирша 327); я привезъ тебѣ вѣсточку радостную и веселую (Рыбн. 3, 88); тутъ не два орла слетаются, а два сильныхъ могучихъ богатыря (ib. 175); умный-разумный хвастаетъ старымъ батюшкомъ (ib. 2, 211); когда я весела, радостна (Рыб. 3, 323); слугамъ вѣрнымы, неизмѣннымы (Кир. 1, 69). — *Малор.*: борзо рано, пораненъку; читыши и поважатый; хвалитый сохвалитый; и др. (Сл. Рыбн. I, 186: жить да быть да вѣкъ коротать, Кир. III, 54: присянулися, присядѣлися; Рыбн. III, № 3: имѣніе и богачество).

Filipsky, Das stehende Beiwort im Volksepos (Siebzehnte Jahresschrift des K. K. Staats-Gymnasiums in Villach. Villach, 1886) p. VIII: Es ist eine bekannte Eigenthümlichkeit des epischen Stiles, dass gewisse Ausdrücke, Wendungen, Verstheile, ganze Verse, Versgruppen, ja ganze Erzählungsstücke (z. B. Botenreden) bei gleicher Gelegenheit unverändert wiederkehren (Vgl. Fr. Schnorr v. Carolsfeld, Literaturvergl. Bemerkungen zu den hom. Gedichten, im Archiv f. Literaturg., Leipzig, 1881, s. 307—318. Er wendet sich gegen W. v. Christ, Ueber die Wiederholungen gleicher und ähnlicher Verse in der Ilias, in den Sitzungsber. der Philosoph. philolog. u. hist. Classe der K. Akademie d. Wissenschaften zu München, 1880, H. III. s. 221—272). Diese Wiederholungen bilden einen wichtigen Bestandtheil des Sprachapparates der Epen; sie gehören, was die homerischen Gedichte, das Nibelungenlied und das Mahabharata betrifft, der vorliterarischen Epoche an, also einer Zeit, wo epischer Sang noch lebendig war, die culturellen Bedingungen noch im ganzen und grossen gleichartig waren. Der Vorwurf also, den man erheben könnte, dass man Ungleichartiges vergleiche, ist wenigstens mit Rücksicht auf diesen Theil epischer Darstellung nicht stichhältig. Erklären aber lassen sich diese Erscheinungen theils aus dem genetischen Entwicklungsgange solcher Dichtungen, theils psychologisch aus dem Geschmacke der Zeit und der Art des Vortrags; auch Rücksichten auf das Metrum mögen mitunter massgebend gewesen sein. Die fürs einzelne einmal glücklich gefundenen Ausdrücke und Wendungen gefallen, prägen sich deshalb dem Gedächtnisse fest

ein und erzeugen das Streben, sie bei ähnlichen Anlässen und Situationen genau wiederzugeben (Das stereotype in der Darstellung ist nicht nur der volksthümlichen erzählenden Dichtung, sondern auch der volksmässigen Erzählung in Prosa, dem Märchen, eigenthümlich. Vgl. W. Scheffler, Die französische Volksdichtung und Sage, II Bd., 1885, s. 237 ff.) wobei die Individualität des Sängers gänzlich in den Hintergrund tritt. Dadurch gewinnt die Dichtung den Charakter der Breite und Redseligkeit, welche wir nach unserm Gefühle eintönig und langweilig finden. Aber die Menschen auf jener «epischen» Culturstufe waren eben redseliger als wir; überdies muss man sich gegenwärtig halten, dass für den Vortragenden derartige Wiederholungen Ruhepausen und Stützpunkte des Gedächtnisses waren. Für den Zuhörer konnten dieselben, da sie durch die Ueberlieferung geheiligt waren, nichts Anstössiges haben, ja sie mussten ihm als Mitbesitzer dieses nationalen Gesammeigenthums willkommen sein. Ueberhaupt haftet an allen Äusserungen des Volksgeistes als charakteristisches Merkmal eine gewisse conservative Beharrlichkeit.

P. IX. Das stehende oder stabile Epitheton (*Cp. perpetuum, fixum, κύριον, ἴδιώνυμον*) erhielt bei den alten Grammatikern seinen Namen von seiner constanten Verbindung mit demselben Worte. Z. B. ποδώκης (*Ἀχιλλεύς*) 22, 2.

P. X. Unter den Begriff der stehenden Ep. fallen aber auch solche Beiwörter, die ausser mit ihrem Substantiv, mit dem sie ständig verbunden zu sein pflegen, auch andern beigelegt werden¹⁾. So ist *κόρυς θαίσιος* stehendes Ep. des Hektor (370), wenn es auch einmal dem Ares T. 38 (Vgl. La Roche z. St.) zuerkannt wird. Ebenso ist Siegfried im NL der «starke» und «küene» *κατ' ἔξοχήν*, wenn auch andere Recken dieses Epitheton führen, Fima «der stärkste der Starken» im indischen Epos, als Vertreter der gewaltigen Kraft des alten Heldenthums (vgl. μέγας, πελώριος οὖτε Αγκεῖ). Hier bleibt auch tapfer das charakteristische Beiwort des anfangs gleichwie Achill grollend vom Kampfe sich fernhaltenden Karna, trotzdem hie und da auch andere Helden mit demselben bedacht werden, am häufigsten Ardschuna; dann auch wohl einmal der «listige» Krischna (vgl. πολυμῆχανος, Ὁδυσσεύς, 7, 15), Fischma «der Heldengreis» u. a. In den epischen Liedern der

1) Die griech. Grammatiker haben dafür den Terminus ἀκυρία, ἀκυρολογία od. *κατάχρησις*, die lat. abusio, od. improprietas. Vgl. Krah, De fixis quae dicuntur deorum et heroum epithetis. Königsberg, 1852, s. 2.

Serben kommt das Beiwort «lieb» den Familienmitgliedern u. Verwandten zu (bei Homer φίλος auch Theilen des menschlichen Körpers, oft nur ein naiver Ausdruck fürs Possessivum). Aber entsprechend dem innigen Verhältniss, das bei diesem Volke, wenigstens im Volksliede, zw. Bruder u. Schwester besteht, ist es für diese in besonders bezeichnender Weise stehend geworden, während die Mutter fast durchgehends die «alte», die Gattin «die treue» heisst = vjerna ljuba.

P. X. prim. 6: In den hom. Gedichten fand Dr. A. Schuster Untersuchungen über die hom. stab. Beiw. 1 Abth. (Progr. d. Gymn. zu Stade 1865—6) unter einer Gesammtzahl von 286 stehenden Beiörter 97, die nie mit einem anderen, als mit ihrem ständigen Substantiv verbunden auftreten.

P. XI. Das wesentliche Moment, welches hier in Betracht kommt, ist vielmehr, dass die stehenden Ep. die Personen od. die Gegenstände, denen sie beigelegt werden, nicht immer mit Rücksicht auf die jedesmalige Situation od. den jeweiligen Zustand charakterisieren, sondern mit einer allgemeinen Eigenschaft versehen, selbst wenn sie in den Zusammenhang nicht passt. — Glänzend heisst die zum Waschen bestimmte schmutzige Wäsche X, 154 εἰματα, σιγαλόεντα = ζ 26 (ζ 74, ἐσθῆτα φεινήν).... Die Beiden Beiörter haben sich im griechischen Epos für Kleidungsstücke ebenso festgesetzt wie im NL. «lieht» für «kleit», in den serb. Liedern «weiss» für Linnen u. das daraus Verfertigte.... Darum heissen auch die Pferde des Antilochos ὀκύποδες (ψ 303), obschon unmittelbar darauf (310) Nestor dieselben Pferde βέρδιστοι nennt. Aus dem gleichen Grunde erkundigt sich Hektor (Z. 377) bei seinen Mägden nach der «weissarmigen» Andromache (nicht nach der Hausfrau), so seltsam das einen modern fühlenden Leser anmuthen mag. Im NL. führen Siglind, Ute und andere bereits *bejahrte* Frauen das Epitheton «schön» (Behringer, Das Beiwort in der Iliade u. im Niebelungliede. Aschaffenburg, 1873, s. 14: *общее листо*. Въ гомер. эпосѣ дѣвушка καλαι, καλιπάρη; у сербовъ дѣвушка всегда красива, въ скандинавскихъ балладахъ горда; рядомъ съ старой матерью сербск. пѣсень — у Гомера φίλη, πότνια μήτηρ.

P. XII. Эпитетъ *вѣрній* приставленъ въ серб. п. къ *женѣ* — хотя бы и невѣрной. König Wukaschin schreibt an Momtschillo Gattin Widossawa:

Du, vergifte den Wojwod Momtchillo,
Selbst vergift ihn oder mir verrath ihn.
Ich will dich zur treuen Gattin nehmen.

(V. II 25; Talvy I, 88).

In den Kuruingen bleibt Fischma «der unbesiegliche» selbst in dem Augenblick, wo er von den Pfeilen Ardschunas tödlich getroffen sterbend niedersinkt.

XII, прим. 1: у Гомера закоптѣлый котель все же зовется блестящимъ (ἐνὶ ἡνοπι χλωφ) Σ 349 = x 360.

XIII. Эпитеты въ финскомъ эпосѣ: Вейнемайнъ «alt» und «wahrhaft».

XIV—V: у Гомера Ахилль, даже когда онъ недѣятельно сидить у морского берега, всегда der schnellfüssige, der männerdurchbrechende; *χορυθαίολος* zeichnet den Hektor in der Schlacht ebenso gut wie in der Abschiedsscene. Въ Нibelungахъ: Siegfried «der starke, der kühne», vielleicht auch «der snelle degen guót»; Hagen der «grimme», Giselher «der junge», «daz kint»; Volker «der videlaere, der kühne spilman»; Rüdeger—«der guote, der vil getriwe, der milde», Hildebrant «der alte». Der gefeiertste Held der serb. Lieder heisst regelmässig «der königssohn» (Kraljević), der edle, tapfere, der Held, der Held von Prilip, der Herr Jug Bogdan «der grimme» (vgl. Hagein im NL. und Duchsasana in den Kur.), «der alte»; seine Söhne die 9 Jugowitschen, «schnell u. kühn» (vgl. snelle degen), 9 grauer Edelfalken. Im Kalew. treffen wir den Wäinömöinen alt u. wahrhaft, den jungen Joukahoinen, den muntern Lemminkäinen u. den Schmieder Ilmarinen.— Diese u. zum Theil auch die allgemeinen ehrenden Epitheta der Helden sind mit ihren Hauptwörtern so verwachsen, dass selbst persönliche Gegner u. Feinde im Felde sich dieselben nicht vorenthalten. Der ergrimmte Achill betitelt den Atriden mit *χύδιστη* u. *φιλοκτεανώτατε* zugleich (A 122), Marko redet den starken Strassenräuber Mussa mit «Held» an.

P. XV стѣд. У Гомера нѣть выражений для обозначенія опредѣленныхъ цвѣтовъ, зеленаго, голубого и т. д.; преобладаетъ nur licht u. dunkel; небо не синее, а звѣздное, поляна не зеленая, a grassreich, blumig, üppig. *Λευκός* mit seinen Synonymen und in Zusammensetzungen kann als stehend angesehen werden, etwa in Verbindung mit Linnen u. den daraus verfertigten Gegenständen (*ιστία λευκά*), mit Theilen des menschlichen Körpers: *λευκώλενος* (Here, Andromache u. a.), *ἀργυρόπεζα* (Thetis); häufiger wird die allgemeine Eigenschaft der Schönheit, des Glanzes ins Auge gefasst, so *χαλός*, *περικαλλής* bei Frauen, Gewändern u. Waffen, *φαεινός* (*σιγαλόεις*) in Verbindung mit Mond, Waffen u. Kleidern.— *Темный* — эпитетъ корабля (*μέλαινα, κυκνόπρωρος*), ночь (*μέλαινα* и др.), источникъ (*μελάνυδρος*); *σκιόεις*

при облакѣ и горахъ; вино — ἐρυθρός, волосы — ξανθός, заря — χροκόπιεπλος, ροδοδάκτυλος. — Въ сербск. эп[осы] синій, желтый и красный цвѣта рѣдки; бѣлый при вилахъ, женщинахъ, частяхъ человѣческаго тѣла; бѣлый свѣтъ, заря, день, города (сл. Гом.: das sandige Pylos, das breitstrassige Troja, die heilige Ilion; Niebel.: Wurmez diu rîche, burc vil wite, rîche; былины: славный Киевъ градъ), башня, домъ и дворъ и т. д.; серебро, хлѣбъ, пшеница, даже темница; арапинъ «više cara iz grla bijela, V. II, 70, Talvj I, 241); пшеница зовется бѣлой и на корню Talvj. II 239, 269; сл. — κρή λευκόν.—Im Niebelungenl. ist zwar stehend u. sehr hufig die Verbindung: die weisse Hand, die weissen Arme, die weisse Leinwand, aber das Beiwort, welches wie weiss im serb. den verschiedensten Gegenstnden beigelegt wird, ist das allgemeinere: «licht»; «schar» (der Degen) «mâne, morgen, tac, schilt schwert, helm, br nne; (panzer-)ringe, schildesrant; gewant, wt, kleit, porten, pouge, pfellet»; «ougen, wangen»—und die Farbe der Jugend, vor allem aber das «golt».

Сербск.: черный арапинъ, глаза, усы, воронъ, земля (русск.: мать-сыра земля), лѣсь, вино, волкъ, кровь (но *руса* глава). Die Augen sind, wie gesagt, schwarz. In den Hom. Gedichten werden sie nach ihrem Glanze u. nach ihrer Form bezeichnet. So ist die Briseis ἐλικῶπις, die Achäer ἐλίκωπες, die Athene γλαυκῶπις u. die Here βοῶπις; die Augen selbst (ὄμματα, ὄσσε) sind schön, beraus schön glnzend. Das NL. kennt «lichte augen, liebe, swinde blicke», das indische Epos flammende, funkelnnde Augen; Draupadi ist die schn- und grossaugige, Sawitri die lotusaugige.—Roth серб., der Wein (rujno, crveno, рядомъ съ чернымъ), у Гомера: μέλας, ἐρυθρός, αἴθοψ; русск.: зелено;—красный сербск.: кровь; золото сербск. чисто, сухо, въ Нибелунгахъ rt, лихт, русск. красно, у Гомера τιμορχ τιμῆεις.—Wrend in der II. u. Od. die Bezeichnung fr die grne Farbe in unserm Sinne fehlt (χλωρός oзначаетъ frisch, gelbgrn: μέλι, δέος), wird dieselbe in der serb. Epik hufig zur Charakterisierung verwendet: трава, die Wiese, die Kiefer, die Tonne (auch schlank; in der II. u. Od. beziehen sich die Epitheta der Bume auf Wuchs u. Grsse, im russ. дерево стоячее), der Wald, das Waldgebirge (планина; auch dunkel), das Feld, der Garten; Flsse wie Lim und Timok; der See; zuweilen das Zelt (sonst wei), meistens das vornehmer Turkен; aber auch das «Schwert, das Pferd».—Im NL wird «gren» sogar gesteigert bald durch Vergleiche: «seide gren als der kle»; «(edel)steine grener den daz gras», (сл. snwiz, rabenswarz, rosenrt).

Другія цвѣтовыя опредѣленія въ сербск. рѣдки: *sivi sokol* (NL: wild, stark, schön, russk.: ясень), кукушка, die Taube (Il. u. Od.: τρήψων; russk. сизый (?); *gelb* sind die Dukaten (und golden); *blau*: modar plamen, sinje more (Гом. κυάνεος); russk.: сине море (но и weite, tiefe, der Vater (?); auch im finn. Epos furchen die Schiffe «die blaue Bahn, auf des Wassers klarem Rücken»). — Златан серб.: Tisch, Becher, Schlüssel, Messer, Ring, Leuchter, Kreuz u. andere Einrichtungsst cke u. Schmuckgegenst nde, wie χρύσεος bei Homer, guldin im NL.

Сербск. кони по мастьямъ, но постоянный эпитетъ: добар; сл. еще вилен, виловит; šarac, šarin о конѣ кралевича Марка. Das Merkmal der Schnelligkeit, wofür den homerischen Sängern eine Reihe synonymer Ausdrücke zugebote steht, wird hier selten hervorgehoben. Im NL werden die Rosse nicht selten mit einer Reihe von Beiwörtern ausgezeichnet: daz zierliche marc, guot unde schoene, vil michel unde stark, von snéblanker varwe ir ros unt och ir kleit. In den skandinavischen Balladen sind die Rosse einfach grau.

Другие постоянные эпитеты сербского эпоса: солнце (jarko, žarko, ogrijano, russk.: красное), oganj živi (ἀκάματον πῦρ) ravno polje, široko Kosovo, hladna vodica; die stille Donau, Sava etc.; die kühle Raschka etc.; der feuerige (?) Herold, der treue, rüstige Diener (ὅτρηροι θερζποντες); die leichten Füsse, das lebendige Herz, das Heldenherz; die blanken, glänzend blanken Waffen, težka topuzina, buzdovan; bojno, ubojito koplje; sablia ostra, britka, okovana; knjige starostavne, sitne knjige. Die Häufung der Epitheta z. B. μέλας κορυθαίολος ("Εκτωρ"), βραβὲ μέγα στιβαρὸν (ἔγχος), welche in den hom. Ged. dem NL (z. B. 418, 425, 896) als Mittel nachdrücklicher Schilderung dient (besonders der Waffen), im ind. Epos aber oft ans Masslose grenzt, ist in den serb. Liedern eine seltene Erscheinung.

VI. Описание рукописи свадебныхъ приговоровъ дружки (Архангельской губ., Ркп. Кузнецова). — [Изд. въ Сборн. отд. р. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ т. 72, № 5].

Образцы л. 10: Въ семъ домѣ благодатномъ, у нашего князя молодого новобрачного, есть батюшка родимый, матушка родная, тысяцкій большой человѣкъ, княжна сваха, большая боярони, средній и меньшій весь княжескій молодецкій подъестъ, все гости полюбовны. Извольте вы мнѣ, предъѣжу дружкѣ, съ молодымъ подружкомъ выступить изъ высокова терема на широкую улицу, сходить во дворы, въ конюшни и посмотретьъ добрыхъ команей. — Княжна сваха, комони

постоянно встречаются во всехъ следующихъ приговорахъ, какъ и эпитеты первого.

Выборка эпитетовъ: стойла стоянья, замки висячіе, запоры булатные, ворота широкіе, узечки тасманные, бѣлыя руки, крутыя бедры, сидѣльшко черкасское, хомутикъ астраханской, плейка строченая, гужики шелковые, вожечки гарусныя; санки-скочки-пошавеночки; мосты каминовы.—Чѣмъ будуть молодого въ путь-дорогу на дѣлять: «куницами или лисицами, или черными соболями, заморскими звѣрями, златомъ-серебромъ, скатнымъ жемчугомъ, хлѣбомъ-солю или святымъ образомъ?»—Извольте благословить «чада милова, голубя сизова, лебедя бѣлова, сокола ясново, нашеово князя молодого новобрачнаго».—Обращеніе дружки къ поѣзжанамъ жениха: «извольте садитца на своихъ добрыхъ команей, всѣ по конямъ, всѣ по мѣстамъ, всѣ по чинамъ, какъ соловьи по гнѣздамъ».—Бѣлыя персты, златые персни.—л. 21: «Въ семъ домѣ благодатномъ... есть батюшка родимый, матушка родная. Если у васъ умницы пѣвицы, сизыя голубицы, красныя дѣвицы, аленъкіе платочки, сизые волосочки, кудреватые височки, брови щипаные (щеголихи изъ народа выщипываютъ слишкомъ густыя брови), рожи мазаныя (набѣленыя и подрумяненныя), носы тянуты, походочки молодецкіе, говори лебединые (въ другомъ мѣстѣ: говоря лебединая).—л. 23 «міръ народъ! Стары, малы, усаты, бородаты, холосты, не женаты, бѣлы кудреваты, молодцы вожеваты, стрѣльцы борцы, кулашные бойцы, удалые добры молодцы, кутяна, полатяна, запечана (т. е. находящіеся въ кути, въ заднемъ углу избы, на полатяхъ, за печью), умницы молодыя молодицы, сизыя голубицы, бѣлыя лебедицы и т. д. л. 27: извольте садитца на санки-скочки», чтобы не было не спору не содому, чтобы все было по глаголу. (Прѣѣздѣ къ невѣстѣ на улицу): говорить дружка: «Міръ народъ! стары, малы, усаты, бородаты и т. д., скажите, не окляните меня, дружку, не обманите; я къ вамъ прїѣхалъ не самъ собой, не насильно, не навалько, не нахвально, не самовольно; я прїѣхалъ отъ нашеово сизова голубя, отъ лебедя бѣлово, отъ ясново сокола» и т. д.—л. 31: Дружка просить пустить его на крыльце бѣлодубовое. У вашіе княгини молодой новобрачной, которые стоять у дверей притворнички, у воротъ приворотнички! Слышиали вы колокольчики пѣвкіе, а у меня голосъ приспѣтливой. Нашъ князь молодой новобрачный велѣль къ воротомъ приступать, двери отворять, или молитву сотворять. «У-воротъ молитва: «Господи, Иисусе Христе Сыне Божій нашъ, помилуй насть!»; изъ-за воротъ

отвѣчаютъ: Аминь, аминь! л. 32: Тогда дружка говоритьъ, что пріѣхалъ «не насильно, не навально» и т. д., а посланъ княземъ. «Нашъ князъ молодой новобрачной выходилъ изъ высокова терема на широкую улицу; я, предъѣзжий дружка съ молодымъ подружіемъ выходилъ изъ высокова терема на широкую улицу, я запрягалъ своего доброго команя и осѣдалъ, и овожаль, шелковой плеткой стегалъ; мой добрый конь осердился, отъ сырой земли отѣлился, скакать мой добрый команъ съ горы на горы, съ холмы на холму, горы, долы хвостомъ устипалъ, мелки рѣчки перескакивалъ; доскакиваль мой добрый команъ до синево моря; на томъ синемъ морѣ на бѣломъ озерѣ плавали гуси сѣрые, лебеди бѣлые, соколы ясные. Спрощу я гусей и лебедей: гдѣ этотъ домъ, гдѣ этотъ теремъ наше княгини молодой новобрачной? На то мнѣ гуси отвѣчали: «Поѣзжай къ синему морю въ восточную сторону, тутъ стонть дубъ о двѣнадцети корней». Я поѣхалъ восточную сторону, доѣхалъ до тово дуба; выскочила кунка, не та кунка, которая по лѣсу ходить, а та кунка, которая сидить въ высокомъ теремѣ, сидить на рѣшечатомъ стулѣ, пьеть шпринку нашему князю молодому новобрачному. Я предъѣзжий дружка съ молодымъ подружіемъ поѣхалъ по куньему слѣду, доѣхалъ до высоково терема на широкую улицу ко княгинѣ молодой новобрачной, къ высокому терему; слѣдъ куней на подворотници ушелъ, а назадъ дворомъ не вышелъ. Слѣдъ куней отведи или двери отопри!

(Загадки у воротъ): Кто тутъ, комарь или муха?

Я не комарь, не муха, тотъ-же человѣкъ отъ святаго Духа. Слѣдъ куней отведи или ворота отопри.

Слѣдуетъ преніе: изнутри дружкѣ предлагаютъ: а) «поди подъ кутное окно», б) лѣзть въ подворотню, с) ворота заперты, ключи въ море брошены; д) не по тому крыльцу зашель; е) ворота лѣсомъ и чащой заросли. Дружка на всѣ предложения отвѣчаетъ, заканчивая обычнымъ: Слѣдъ куней отведи, либо ворота отопри! — пока его пустятъ въ избу. На с) его отвѣтъ такой: «нашъ князъ молодой новобрачной Ѵздила къ синему морю, напималъ рыбачевъ удалцевъ, добрыхъ молодцевъ; они кидали шелковой неводъ, изловили бѣлую рыбицу, въ той бѣлой рыбицѣ нашли златые ключи отъ высоково терема»; на е) нашъ князъ молодой новобрачной Ѵздила къ кузнецамъ къ молодцамъ, они ковали топоры булатные, напималъ, работничковъ удалыхъ, они чащу лѣсь вырубали, ворота отворяли. — л. 39: Дружка, войдя въ избу, спрашивается: «нѣть ли у

вась на мостахъ калиновыхъ столбовъ близко, перекладовъ низко, чтобы мнѣ, дружкѣ, ступать да головы не проломать?» (сл. л. 42) золоченая скобка; отворяйте двери на пяту. — л. 43 (дружка спрашиваеть): «не имѣетца ли въ вашемъ домѣ благодатномъ, у княгини молодой новобрачной, иѣть ли подъ столами собакъ ярыхъ, въ кутѣ старухъ старыхъ, ребять ревуновъ, пѣтуховъ клевуновъ, знатковъ знатливыхъ, колдуновъ колдунивыхъ, чтобы на этомъ честномъ бракѣ ничево скверниова слова не было (сл. л. 44: извольте вы собакъ вонъ выгнать, молодыхъ людей на чесь, старухъ на печь, маленькихъ ребять въ колыбель) — столы бѣлодубовые, скатерти шелковыя, ястіи сахарные, штія медовыя, ложечки кленовыя, вилочки точеныя, ножички булатные. — л. 50: грицы — пѣвицы, молодыя молодицы — сукно спиронъмѣцкое, свѣчи воскояровы; старушка-стряпочка, сизая лапочка; надавать (конямъ) сѣна до колѣна, овса до шетки, бѣлояровой пшеницы до вгребу; сѣна зеленова, овса едренова — тысяцкій подвоскій. — л. 86: пиво варено, медомъ наживлено, солодъ вятской, хлѣбъ казанской, пивоваръ ярославской. Ахъ! пивцо, какъ суслице, изъ чашечки три бочечки въ устохъ примочки; губы слепаютьца, ноги подгибаютца, на землю кружить, очень спать велить; кто пивца изопьеть, того съ ногъ спибеть». — Дружка — спеціалистъ, знатокъ обрядности и краснобай; обыкновенно пожилой человѣкъ, ясно понимавшій свою первенствующую роль на свадьбѣ; и гости это помнили, смѣялись прабауткамъ, но не забывались, чтобы не раззадорить старика; не то и приговоры пойдутъ другіе.

Къ эпитетамъ, Alphonse Daudet, Notes sur la vie, сл. отчетъ Fa-guet, въ «Revue Bleue», 1899, 22 Juillet, p. 106: Il y a des gens qui ne rougissent pas d'écrire: *les arbres s閙culaires*, *les accents m閑dieux*. «S閙culaires» n'est pas laid; mais mettez le avec un autre substantif: *mousses s閙culaires*, *jardins s閙culaires*. Voyez: il fait bon ménage. L'épi-thète doit être la maîtresse du substantif, jamais sa femme légitime.

Къ эпитетамъ. Сл. Rigol, La poésie de l'aveugle-né, въ «Rev. Bleue», 1899, 26 Août, p. 281 (замѣна впечатлѣній зрѣнія впечатлѣніями слуха): il (Guilbeau) dit: explorer un pays par l'oreille, aspirer de l'oreille mélodie et murmure; un amas touffu de sanglots. Il applique aux choses de la vie morale des perceptions de la vie des sens...:

Tout fuit, sauf l'amitié qui des saisons fanées,
Haleine douce, rend les parfums presque entiers.

Ou dans ceux-ci, embarrassés aussi et délicats, sur le malheur et la grandeur de l'aveugle:

Soumise au mal, la créature,
Comme l'herbe près du faneur,
Jette un *parfum* sous la torture;
Le malheur produit le bonheur.

Surtout il aime à appliquer aux perceptions de l'ouïe des images empruntées à la vie des champs:

Je butine comme l'abeille:
Voix de femme et parfum de fleur;
De jolis sons étant glaneur,
Je butine comme l'abeille.
Toujours de votre accent charmeur
Je voudrais remplir mon oreille.
Je butine comme l'abeille:
Voix de femme et parfum de fleur.

Къ литературѣ: Schneider, Ueber den Ausdruck der Gefühle. Mainz, 1892 (Progr.). Сл. Покровский, Семасиологическая изслѣдований [Изъ XXIII т. Уч. Зап. Ист.-Фил. Фак. Моск. Унив., 1896], стр. 63—4.

Б. Къ статьѣ: „Эпическія повторенія, какъ хронологический моментъ“.

I. Къ стр. (278) 95. (Къ хоровыиъ пѣснямъ). Сл. Boeckel, Deutsche Volksl. aus Ober-Hessen, CLVI—VII: von dem Sachsenf\u00fchrer Herward heisst es: «mulieres et puellae de eo in choris canebant» (Michel, Chron. anglonorm. II, 8); о битвѣ шотландцевъ съ англосаксами при Eskdale пѣли женщины:

Zung women, guhen thai will play,
Syng it emang thame ilke day.

(Barbour's Bruce, ed. Skeat 399)... Als Richard I in Limozin durch einen Pfeilschuss das Leben verlieren sollte, berichten die Annales monastici II, 71: Pro miraculo habetur apud multos, quod per multum tempus ante obitum regis solebant puellae normanniae canere in choreis:

In Limozin sagitta fabricabitur
Qua tyrannus morti dabitur.

Къ повтореніямъ. Сл. Matthews, Songs of sequence of the Navajos, Journ. of American Folk-lore, № XXVI, July—Sept. 1894, p. 193: it is a common thing, in these songs of sequence, to have several songs in succession repeat the same ideas, and differ from one another only in the music, or in the refrain or the prelude.

II. Къ стр. (279) 96. Сл. Дикаревъ, О царскихъ загадкахъ, Этногр. Обозр., XXXI, 11: Малорусская свадьба является непрерывнымъ конкурсомъ, въ которомъ каждая изъ сторонъ (женихова и

невѣстина) старается показать, что она не «дурной родни», сilitся превзойти другую остроуміемъ, выражющимъ обыкновенно въ загадкахъ, шуткахъ и пѣсняхъ, имѣющихъ форму діалога. — Сл. Freymond, Beiträge zum Kenntniss d. altfranz. Artusromane in Prosa (Zs. f. franz. Sprache etc. B. XVII, Heft 1 und 3, стр. 20 прим. 1): Zimmer (Gött. gel. Anz. 1890, стр. 810, слѣд.) предполагаетъ — eine scharffe Abgrenzung zw. einem bretonischen Sängerstand u. einem bretonischen Erzählerstand; allein die von ihm dafür vorgebrachten Gründe erscheinen mir nicht einwandfrei.

Къ той же стр. (къ refrain). Сл. Zs. f. rom. Philologie XVIII (1894), p. 112, Becker, Der sechssilbige Tiradenschlussvers in altfranz. Epen (сл. Romania, № 92, стр. 611—612).

Kъ повтореніямъ во франц. эпосн. Romanische Forschungen, VII, № 4 (1893): Lindner, Die chanson de Roland u. die altenglische Epik (авторъ Chans. d. Rol. норманскій клерикъ, жившій въ Англіи; его *laisses similains* — подражаніе «параллелизму» старо-англійской эпической поэзіи?).

Какъ пылся франц. эпосъ? Сл. Suchier, Der musikalische Vortrag der Chansons de geste, Zs. f. rom. Philol., XIX, 370 слѣд., сл. Romania, 96, стр. 612: l'air comprenait deux vers pour les vers de 7 ou 8 syllabes, 2 vers ou un seul pour ceux de 10 et 12. Comment la mélodie des premiers ou seconds hémistiches masculins s'adaptait-elle à des hémistiches féminins? La dernière note à l'hémistiche se répétait simplement pour la syllabe ajoutée.

Пыль и сказывать. Сл. Rev. Celtique v. XIX, № 1 (Janv. 1898), стр. 77 (отчетъ о Whitley Stokes и Ernst Windisch, Irische Texte): въ предисловіи къ Tochmarc Ferbe (la demande en mariage de Ferb), стр. 446, выражена гипотеза, — qu'en général les premiers récits épiques ont dû être en prose mêlée de vers; or les Irlandais sont restés à cet étage primitif de l'histoire littéraire. En France Aucassin et Nicolette... semble être, au point de vue de la forme, une imitation des compositions irlandaises; elle ne l'est point quant au fond des idées: l'amour dans la littérature épique irlandaise ne prend point la forme raffinée où se complaisent les trouvères français (сл. 447—8).

Къ той же стр. (*пѣсень — и refrain хор?*). Сл. А. Васильевъ, О греч. церковныхъ пѣснопѣніяхъ, Виз. Временникъ, III, 622—3: Очень часто въ болѣе древнихъ произведеніяхъ пѣснопѣвцевъ до

появленија канона въ концѣ тропарей встрѣчаются припѣвы (ἐφύμιον, ἀκροτελεύτιον ἀκρόστιχον, ὑπακοή, у Свиды: ἀνακλώμενον). Эта часть тропаря, которую пѣлъ весь народъ, является, м. б., зерномъ, изъ котораго выросла церковная пѣсня. Очень вѣроятно, что первоначально церковныя пѣсни были не что иное, какъ распространенные народныя восклицанія. Припѣвы въ началѣ пѣлъ не одинъ человѣкъ, а весь слушавшій народъ, почему часто въ пѣснопѣніяхъ передъ припѣвомъ стоять глаголы — βοῶν, κράζειν, κραυγάζειν, φέειν и др. Въ позднѣйшихъ канонахъ припѣвы встрѣчаются уже гораздо рѣже. — См. ib. 631—2: сирійскіе мадреше-гимны пѣлись хоромъ; размѣръ часто мѣнялся: одна строфа писалась однимъ размѣромъ, другая другимъ. Припѣвъ являлся необходимою составною частью каждого сирійскаго гимна: либо повторялась послѣ каждой строфы одна и та же фраза, либо припѣвы мѣнялись.

III. Къ стр. (281—2) 98—99 пр. 2. Сл. Erk, I. c. № 162 a: Frau, du sollst nach Hause kommen,— denn dein Mann ist krank.— Ist er krank, so sei er krank,— legt ihn auf die Ofenbank,— und ich komme nicht nach Haus. — Даље ей говорятъ: dein Mann ist schlecht, todт, его выносятъ, закашываютъ, — она не хочетъ вернуться; но когда ей говорять, что пріѣхали женихи, она отвѣчаетъ:

Sind die Freier in dem Haus,
ei so lass mir keinen raus,
und ich komm gleich nach Haus.

Ib. № 162^a: женѣ говорятъ о болѣзни мужа, и она плачетъ; каждая строфа кончается ея словами:

Noch a Tänzel oder zwei,
und dann wer i gleich hamet gehn.

Только когда ей говорятъ, что «ein Andrer ist schon da», она отвѣчаетъ:

ein' Ander da?
hopsasa!
Nun kan Tänzel mehr, bedank mich schön!
Jetzt, jetzt werd i glei hamet gehn.

Сл. № 162 b, Сл. Erk-Böhme, Deutscher Liederschatz, II, № 910^a и слѣд.

IV. Къ стр. (284) 102—103. (*Загадки въ пѣсняхъ*). Сл. Великорусскія пѣсни, изд. Соболевскимъ, т. I, № 449 слѣд.

Въ № 449 запѣвъ такой:

Кровать моя, кроваточка, кровать тесовая,
Срублена кроваточка изъ безчестна дрѣва,
Поставлена тесовая на разлучномъ мѣстѣ...
Дѣвица съ молодцомъ въ компаніи сидѣла,
Красна съ удалымъ да рѣчь говорила:
«Молодецъ, молодецъ, душа, мое сердце,
Холость, не женатый, бѣлыи кудреватый!
Сошѣй мнѣ башмачки изъ бѣлой бумажки».

Молодецъ отвѣчаетъ такимъ же неисполнимымъ предложеніемъ (*Напряди мнѣ верей изъ дождевой капли*). Пѣсня развивается въ такомъ обмѣнѣ задачъ: дѣвушка, напр., просить молодца сшить ей «шлагфоръ изъ макова цвету»; молодецъ:

Напой добра коня середь синя моря;
Коня не утопиши, сама не утонешь.

Пѣсня заимствована изъ ркп. сборника XVIII в.; сходная № 450, съ тѣмъ же запѣвомъ, изъ Пѣсенника 1780 г. Въ слѣдующихъ №№ положеніе другое: дѣвушка моетъ платье на рѣкѣ, проѣзжаетъ «мѣлый», «въ нѣмецкой одежѣ»; слѣдуютъ тѣ же вопросы и отвѣты. Сл. № 451 (сшить платье изъ макова листу; «красная дѣвица, напой моего коня, Напой моего коня середь синя моря, Середь синя моря на камешкѣ стоя, Чтобы конь напился, коверъ не мочился!». Пѣсня эта — «проводочная», записанная въ Ярославской губерніи, Ростовскаго уѣзда. Сл. «Живая Старина» 1892, вып. III. То же положеніе въ № 452 (чтобы конь напился; сшить рубашку «изъ алаго цвету», котораго нѣту»). — Пѣсни самарскія у Варенцова, стр. 41, сходная изъ Тверской губ. Осташковскаго уѣзда, у Шейна, стр. 232, «плясовая». — № 453 (дѣвушка моетъ бѣлье, разговоръ съ «дѣтиной» = Шейнъ, 231: «плясовая» изъ Псковскаго уѣзда). — Въ № 454 запѣвъ виѣннімъ образомъ развитъ изъ сцены на рѣкѣ и не примыкаетъ къ слѣдующей далѣе пѣснѣ:

Посажу я калинушку на круть бережочекъ...
Ты стой, расти, калинушка, расти, не шатайся!
Живи, моя сударушка, живи, не печалься!
Прідѣть тоска-кручинушка, пойди, разгуляйся,
Еще пойди, разгуляйся, съ милымъ повидайся!

Почто рѣчка мутно бѣжитъ, иль погоду чуетъ?
Почто дѣвица плачетъ, иль маменька била?
Меня маменька не била, — сами слезы льются,
Еще сами слезы льются, никакъ не уймутся.
Отъ моего ль отъ милага долго вѣстей нѣту;
Прислалъ милый поклонъ вѣрный, коня вороного...
«Ты, дѣвица красавица, душа моя, сердце!
Загадаю я загадку, изволь отгадати:
Ты напой моего коня среди синя моря,
Среди синяго моря, на камушкѣ стоя;
Загадаю я другую, — отгадай любую:
Чтобъ коникъ мой напился, чепракъ не мочился!»

(дѣвишка просить молодца, между прочимъ, спиши ей «черевички съ кленовою листу». Зап. въ Терской области, «Сборн. материаловъ для описания Кавказа», вып. VII, стр. 93). — №№ 455—6 (изъ Курской губ., Русск. Филол. Вѣстин., 1886, № 4, стр. 227) открывается загадомъ: «Лелимъ мой, лелимъ! А летѣла утена Черезъ лѣсь, черезъ поле. Лелимъ мой, лелимъ! Завидѣла да утенушка три шатра у полѣ». Въ нихъ три дѣвишки, одна золотомъ шила, серебромъ «квѣтила», другая холсточки катала, рубашечки вышивала, третья умѣла только мыться да бѣлиться, да [съ] молодцомъ браниться; «спей менѣ шубу съ маковою листу!» — Онь отвѣчаетъ: «напряди мнѣ дратвы изъ дожедевой капли»; въ № 456 задачи иѣсколько измѣнены) — №№ 457 (изъ «Воронежскихъ губ. вѣд.», 1853, № 30) и 458 (Томской губ., Этнографич. сборн. VI, стр. 89) литературного склада и происхожденія: дѣвишка моетъ платье на морѣ-океанѣ, «звонко колотила; эхо въ морѣ раздавалось» (457; въ 458: «на моречкѣ отдается»); проѣзжаешь молодецъ, шляпу скидаешь. «Спей ты мнѣ платьице изъ розова листа» (457; 458: платье изъ лазореваго цвета); тамъ и здѣсь загадка о конѣ; обѣ пѣсни пошли изъ одного (переводнаго, сл. Uhland, Schriften III, стр. 213—4) прототипа. — Рядомъ съ пѣснями задачъ слѣдующія № 459 слѣд. съ загадками: № 459 (Вологодская: «Те Богъ на помочь, красна дѣвица, Воду черпать! Загануть ли те, красна дѣвица, Семь загадокъ?» Въ числѣ загадокъ такія: что краше свѣту? солнце; что чаще лѣсу? звѣзды; что безъ крылья? снѣгъ; что безъ горя? горючъ камень); № 460 (Ярославская: «Какъ купеческа дѣвишка платье мыла, А дворянскій сынъ колотиль». Изъ загадокъ: что выше лѣсу? свѣтить мѣсяцъ; что безъ кореня? горючъ камень; что беззапряжно? быстра рѣчка); № 461 (Курская: дѣвка семилѣтка отгадываетъ загадки боярскаго сына: «Солнце

горить безъ пожару; Мѣсяцъ свѣтитъ во всю землю; Вода бѣжитъ безъ уходу; Укропъ цвѣтетъ безъ опаду; Камень растетъ безъ кореня; Лошадь плачетъ безъ рыданья; А хмѣль вѣтается выше дубу!»); № 462 (Самарская, сходная изъ Тульской губ., «плясовая»): дѣвка семилѣтка отгадываетъ загадки купецкаго сына (сосна цвѣтеть безъ алаго цвѣта — на вопросъ, что цвѣтеть безъ цвѣта); № 463 (Московская, «плясовая»): купеческий сынъ предлагаетъ дѣвицѣ загадки; изъ отвѣтовъ: безъ кореня — крупень жемчугъ? — Безъ отвѣту — судьба Божья. — Тогда какъ въ предыдущихъ пѣсняхъ дѣйствіе кончалось разрѣшеніемъ загадокъ, здѣсь конецъ другой: «отгадала ты, дѣвица, отгадала! Ужъ и быть за мною, быть мою жену»); № 464 (казанская; сходная симбирская: семилѣтка и парень бѣль кудрявъ); 465 (изъ ркн. сборника 1795 г.: «Какъ во теремѣ дѣвица дары шила; Тутъ и шель-прошелъ сынъ дворянскій». Разгадки: безъ отвѣту — горючъ камень; безъ умолку — текутъ рѣки; Безызвѣстна — воля Божья. «Благодарю тебя, дѣвица, на отгадкахъ, На мудреныхъ! А и быть, дѣвица, за мною, Да и жить со мною); 466 (калужская, поется при прощаніи съ масляницей: дѣвушку напгоняютъ на конѣ молодецъ. Изъ отгадокъ: зимой зелено — да то ель-сосна); 467 (Архангельская, «вечериночная». Дѣвушка и ея «милый». Изъ разгадокъ: безъ кореня — сѣрий камень, безъ замочку — быстра рѣчка, безъ цвѣточку — полынь-травка, безъ любови, любезнай, — мы съ тобою! — «Научить ли тя, любезна, Какъ ко мнѣ ходити? Не дорогою ходи, ходи переулкомъ и т. д.); № 468 (изъ «Москвитянина»: загадки безъ пѣсенной рамки); № 469 (Донская область: на корабль турецкій паша даетъ невольнику, донскому казаку, загадки; коли отгадаетъ, онъ его отпустить. М. пр., что у насть на свѣтѣ безъ ногъ рѣзво бѣжитъ? Твоє судно легкое).

Сл. Дикаревъ, О царскихъ загадкахъ, Этнограф. Обозр. XXXI, 17; Чубинский IV, 249, 250, 280; Варенцовъ, 41—3; Шейнъ, Русск. нар. п., р. 231—2, №№ 85, 86. Erk, Deutscher Liederhort, № 152—153^a.

Сл. Boeckel, Deutsche Volkslieder aus Oberhessen, CXVIII: Solcher Gedichte Inhalt ist z. B. die Werbung um die Hand eines Mdchens, das, hnlich wie Turandot, nur den heirathet, der ihr drei Rthsel lst, oder umgekehrt, wie ein armes Mdchen durch geschicktes Beantworten solcher Fragen die Gattin eines Ritters wird; in anderen Volksliedern wird von der Findigkeit des Gefragten

der Gewinn von Hab und Gut oder Ehre abhängig gemacht.— Подобные пѣсни существуютъ въ Германіи (Ditfurth, fränk. vl. II, № 146; Erk, Ldh. № 153; Wolf, Zs. f. d. Myth., I, 251; Peter, I, 272; Firmenich, III, 834; Mittler, 1305—1307; Mündel, 27; Tobler, I, CXXXVIII), Даніи (Grundtvig, I, 240), Швеціи (ib. III, 786), Шотландіи и Англіи (Scott, II, 250; Buchan, I, 91; Motherwell, introd., LXXXI; Dixon, Scott. ball. № 5, Child, II, 12 ff, VIII, 83; Sheldon, minstreby, 230), Италии (Kaden, Ital. Wunderhorn, 14, Prov. Basilika), Греціи (Wagner, Abc der Liebe, 51), у Эстовъ (Neuss, 390) и Литичанъ (Haupt-Schmaler, I, № 150, II, № 74).

V. Къ стр. (285 слѣд.) 103 слѣд. Пѣсня слагается ильсколикими. Сл. Boeckel, I. c. CXX: Celakowsky wohnte selbst einer Böhmischen Bauern Gesellschaft bei, wo ein junges Mädchen einen Vers improvisirend vorbrachte, eine Andere ihn ergänzte, eine Dritte einen zweiten Vers begann, und so fort, bis ein Lied geschaffen war.

Къ той же стр. (ппнъе о вѣнкѣ). Boeckel, I. c., CXXXI: въ Германіи обычай пѣть взапуски о вѣнкѣ (сл. Erk, Liederhort, 342; Schmeller, bair. Wb. III, 375; Uhland, Volkslieder 7 ff.) былъ прежде распространенъ, въ XVI вѣкѣ явились запреты; теперь такія Kranzlieder живутъ — nur noch im Munde u. Spiele der Kinder in einigen Theilen Deutschlands (Rochholz, Kinderlied, 201).

Къ той же стр. Амебейная состязанія (*desofios*) португальскихъ пѣвцовъ, съ захватами и повтореніемъ послѣдняго стиха, слагаются въ цѣлья серіи — *despiques*, напоминающіе романсы. Сл. Groeber, Grundriss d. rom. Philologie, II Bd., 2 Abth., 2 lief., p. 147.

VI. Къ стр. (286) 105 (isterria). Сл. Enrico Carrara, Canti pop. di Ozieri (p. 62, nozze Rossi-Fornaci, Bologna, Zanichelli) касается двухъ вопросовъ: древности той части сардинскихъ пѣсенокъ, che è detta *isterria* e che n'è quasi la proposta e l'avviamento, e spesso par priva di senso in se medesima e, quasi costantemente, di connessione col resto; è della probabilità che le due parti dei *mutos* formassero in origine un tutto continuo. Chech sia di ci, certo è che spesso anche nei parti popolari italiani, e specialmente negli stornelli, si trova un primo verso che ricorda l'*isterria* e ne ricorda il carattere.

Къ battorinas сл. Vatta, Canti popolari sardi въ Arch. p. l. st. d. trad. pop. v. XV, fasc. II (1896), 235 сл.

Къ той же стр. слѣд. Сл. В. А. Сѣрошевскій, Якуты, стр. 592: якутскія былины — олонго пѣлися прежде нѣсколькими лицами, пѣвцами, одинъ бралъ на себя роль богатыря, другой противника, жены, коня и т. д.; одинъ вель разсказъ = *libretto* (описаніе мѣстности и хода дѣйствія). За недостаткомъ пѣвцовъ одинъ пѣвецъ исполняетъ нѣсколько партій: авторъ слышалъ исполненіе четырьмя пѣвцами, пѣвшими поочереди въ послѣдовательности разсказа.

VII. Къ стр. (299 слѣд.) 121. (*Пѣть и сказыватъ*). Сл. Ляцкій, Сказитель И. Т. Рябининъ и его былины (Этногр. Обозр., XXIII, 131—2): въ Москвѣ онъ обыкновенно одну половину былины пѣлъ, другую же «сказывалъ»..., но у себя на дому его пересказъ носить совершенно иной характеръ: это тихая естественно-мѣрная рѣчь, произносимая чуть-чуть приподнятымъ тономъ. Такимъ умѣніемъ сказа-пѣсни обладали и многие другие сказители. Ляцкій ставить вопросъ: не былъ ли сказъ первобытной формой эпического изложенія (*сказителея*), изложение на распѣвъ — позднѣйшей; сказъ, положенный на голосъ? Стихъ возникъ вмѣстѣ съ напѣвомъ. Но предшествующая напѣву стадія развитія устнаго пересказа, передаваемаго изъ поколѣнія въ поколѣніе въ теченіе долгаго времени, могла отиться въ форму, близкую къ стихотворной и напоминающую наши сказочные зачины.

Сл. Behrsin, Metrik. d. lettischen Volksliedes въ Magazin hrsg. v. d. Lettisch-litterarischen Gesellschaft, XIX B., 4-es Stck, стр. 304—5): а) *пѣсни поются*, б) *разказываются въ прозѣ* (nur von solchen, die die Volkspoesie aus Bchern erlernt); с) *третій способъ* исполненія, обозначенный словомъ teiktsagen, стоитъ между тѣмъ и другимъ. Das Mtterlein *erzhlt* od. *sagt* die Lieder, der Bruder od. die Schwester singt es den jngern Schwestern nicht vor, sondern sagt es od. sagt es her; Lieb-Laima, die Gottesochter, *singt aber die Lieder und sagt sie selber*. Авторъ объясняетъ это исполненіе словомъ *skandieren*.

А. Хахановъ, Грузинскій поэтъ XII в. Шота Руставели (Журн. Мин. Нар. Просв. 1895, Дек.), стр. 211—212; Пѣсни о Таріелѣ.... могли обращаться въ народѣ до литературной обработки геніемъ Руставели. Эти пѣсни, нынѣ сопровождающія и прозаическимъ пересказомъ для спѣщенія отдѣльныхъ моментовъ изъ жизни героя, взамѣнъ утраченного изъ памяти народа риомованного по-

въствованія,— могли быть устно занесены въ Грузію съ востока, подобно другимъ странствующимъ сюжетамъ.

Сл. Этнографич. Обозр. XXIX—XXX, стр. 74 (Всев. Миллеръ Новыя записи былинъ въ Якутской области): Старины въ Колымскомъ краѣ составляли общее достояніе (не было специальныхъ сказителей) и, вообще говоря, не сказывались, а распѣвались на разнообразные пѣсенные голоса, подобно обыкновеннымъ пѣснямъ.

В. Къ статьѣ: „Психологический параллелизмъ и его формы въ отраженіяхъ поэтическаго стиля“.

I. Къ стр. (2) 131. (Солнце — глазъ). У Египтянъ Ra == солнце, правый глазъ божественнаго лика.

Къ стр. (10 слѣд.) 142 слѣд. Сл. Этнограф. Обозр., XXXIII: С. Багинъ, Свадебные обряды и обычаи вотяковъ Казанскаго уѣзда. Сл. стр. 61 — 2:

Когда бываетъ красота луга?
Тогда, когда есть различные цветы;
Когда бываетъ красота девушекъ?
Тогда, когда на головѣ есть такты (= головной уборъ девушки).

Наконечникъ возжей съ золотою кистью,
Держите ихъ (возжи), помазавъ руки;
У насъ думъ другихъ нѣтъ, —
Всѣ думы наши о девушки.

У рыжей лошади долма грива,
Лѣтомъ бываетъ доломъ день;
Глаза мои на твой станъ
Насмотрѣться не могутъ и въ долий день.

Подъ окномъ одна только роза,
У розы одинъ только цветочекъ,
Въ этой деревнѣ весьма много людей,
Но милый у меня только одинъ.

Сл. Ibid. стр. 93 слѣд. А. Баловъ, Коротенькия пѣсни или «припѣвки»; стр. 95: обломки старинныхъ протяжныхъ пѣсень, или же самостоятельный продуктъ народнаго творчества, импровизация; всего чаще припѣвки риѳмованы. Примѣры параллелизма:

Подкошенная травинушка не можетъ расцвѣсти,
Обезчещенная дѣвушка не можетъ быть въ чести.

стр. 106

Подъ ребиною стояла —
Ребинушка гнѣтцы;
Раньше миленкій сміялсы,
Нынѣ не придѣтцы.

—
Въ рицкѣ тоненькой лѣдокѣ,
Водиця непротѣцнаа;
Неужели съ миленкимъ
Розлука вѣковицьная?

—
Неужели ты повянѣшь,
Траушка шолковая?
Неужели замужъ выдѣшь,
Дура безтолковая?

стр. 111

Што за рицкя за такая —
Голубокъ купаѣтцы;
Што за милой, за такой —
Съ кажинной занимаѣтцы.

стр. 112

Не отъ сонца травка вянѣть —
Отъ зелёново лужка;
Не отъ дѣла похудѣла —
Отъ любимово дружка.

стр. 114

—
Катится катается,
Гдѣ моя красавица?
Катится горошина,
Гдѣ моя хорошая?

стр. 115

—
Нѣту яблоньки пониже,
Негдѣ яблочка сорвать;
Нѣту милаго поближе,
Не съ кѣмъ горе горевать.

—
А хъ ты садъ, ты мой садъ,
Садъ зелененкій.
Ты зачѣмъ рано цвѣтешъ,
Осыпаешься?
Сколь далече, милый мой,
Собираешься?
Не во путь-ли, во походъ,
Во дороженьку? и т. д.

стр. 118

Всѣ то елочки, сосночки
Подрубленныя;
Всѣ то Костински ребята
Всѣ полюбленные.

II. Къ стр. (18—19) 150—151. Сл. А. С. Хахановъ, Очерки по ист. груз. словесности, II, стр. 204: повѣсть «Висраміані» сопровождается вставками нравоучительныхъ изречений, которыя приводятся въ рубрикахъ подъ «араки» (разсказъ) и «шегонеба» (наставление). Примѣръ араки: «когда предстоитъ засуха, то признаки ея еще зимою, замѣтны становятся»; примѣръ шегонеба: «что стрѣла не попадеть въ цѣль, можно видѣть по натянутому луку; какое дерево принесетъ мало плода, проявится еще во время весеннаго расцвѣта».

Voretsch, Der Parallelismus in deutschen Volkslieder, въ Deutsch. Dichterheim, IX, 8, 9.

Къ той же стр. Rev. d. Revue 1897, № 20, 15 oct., II sÃ©rie: Léo Claretie, La littérature au Soudan, стр. 133 (изъ сборной пѣсни, нѣчто въ родѣ соq à lâne): De tous les chevaux le cheval blanc est le plus beau; la fille de Noria Dona et de Coumba Dona est digne de l'affection de la famille.

Къ стр. (19) 152. (Къ примѣру изъ Пракрита). Сл. четверостишие Hala'ы у Weber'a, Abhandlungen z. Kunde des Morgenlandes, 1870, т. V и VIII; Zs. d. deutsch. morgenl. Gesellschaft, Bd. 26, 735 слѣд.; Bd. 28, p. 345 слѣд.; Brunnhofer, Ueb. den Geist der indischen Lyrik. Lpz., 1882, p. 24 слѣд.

III. Къ стр. (20) 152—153. (Четверостишия, параллелизмъ).

Пермскія:

Ой, вода течеть, вода течеть,
По водѣ гусь плыветь.
Думы гуся о водѣ (на водѣ)
Наши думы о дѣвушкахъ (на дѣвушкахъ).

Все окно уставлено розами,
Только на одной цвѣтокъ.
Много дѣвушекъ въ деревнѣ,
Только одну я люблю.

Черемисская: Сыра твоя березовая лучина,
Не хочеть она пылать пламенемъ.
Ты не желаешь воспылать любовью,
Хотя мое сердце сгорает отъ любви.

Латышская: Бѣлый цвѣтокъ, зеленый камышъ
Качаются на озерѣ;
Бѣлый цвѣтокъ — моя сестра,
Зеленый камышъ — моя желанная.

(Сл. Отчетъ Погодина о книгѣ Paasonnen'a [Itäsuomalaisten kansain Runoudesta. Helsingissä, 1897] въ Извѣстіяхъ Отд. русск. яз. и слов. Имп. Ак. Наукъ, т. V, 1, стр. 353—4).

Сл. В. А. Мошковъ, Гагаузы Бендерского уѣзда, Этногр. Обозрѣніе, XLIV, стр. 78 слѣд.: Гагаузы различаются: 1) короткая четверостишия: маані и 2) длинные: тюркю. Первый состоитъ обыкновенно изъ двухъ частей: въ первой (двѣ первыя строки) такъ же, какъ и у другихъ народовъ тюркской расы (см. (Мошкова), Ногайскія пѣсни въ Изв. Общ. Арх. Истор. и Этногр.), берется какое-нибудь явленіе природы въ родѣ: летящей по воздуху птицы, плывущаго лебедя и т. под., а во второй строится поэтическая параллель этому явленію изъ человѣческой жизни. Параллель рѣдко выдержана, часто обѣ половины пѣсни соединены чисто вѣшнимъ образомъ, т. е. размѣромъ и риомой (импровизируются). Что касается длинныхъ гагаузскихъ пѣсень, тюркю, то большинство изъ нихъ, повидимому, заимствовано (гагаузами) отъ нынѣшнихъ и бывшихъ ихъ сосѣдей: болгаръ, молдаванъ и турокъ-османъ.

Стр. 80: обычай воспѣвать людей, умершихъ внезапно, несчастной или насильственной смертью: приглашаютъ на похороны мѣстного пѣвца, который выслушиваетъ раз cntы о смерти, погребальная причитанія родственниковъ и изъ всего этого материала слагаетъ пѣсню. На это дается недѣли двѣ-три по окончаніи которыхъ родственники покойного собираютъ своихъ родныхъ и знакомыхъ; передъ ними пѣвецъ исполняетъ свою пѣсню, которую кладеть и на музыку. За это онъ награждается деньгами или съѣстными припасами, а пѣсня (большею частью вложенная въ уста покойного) заучивается любителями и переходитъ изъ устъ въ уста.

IV. Къ стр. (21—2) 154—5. (*Связатися — привязаться*). Сл. символизмъ болгарского повѣрья: Если ты девушка, то не входи въ

пустой (ткацкій) станокъ, а не то безъ согласія родителей отдашься молодому человѣку. Сл. «Этногр. Обозр.», XXXIX, Державинъ, Очерки быта южно-русскихъ болгаръ, стр. 122.

Къ параллелизму въ свадебныхъ пѣсняхъ, Этнограф. Обозр., XXXIX, (Малинка, [Малорусское «весилье»] продолженіе въ №№ XXXIV и XXXVII. Надо экспериментировать XXXVII) стр. 100: послѣ вѣнчанія всѣ отправляются въ домъ къ жениху; дорогой дружки поютъ: Сиченая калынонка, сиченая, Вже-жъ наша Явдошка звичаная; стр. 101: когда дружки убираютъ «гилце», поютъ: «Що то, маты, та за сонь снывся, Що батьківъ двиръ шовкомъ сповывся, Калыною та обсадывся, А горохомъ та обсыпався? То-жъ ны шоукъ — то твоя кисонька, Дрибный горохъ — то твои слизоньки, А калына — дывуваннячко, Суботнее заплитаннячко, Ныдилешне прыбыраннячко». Стр. 102: когда молодой идетъ къ молодой, по дорогѣ поютъ: «Ой по-пидъ лисомъ бытая дориженъка, Посередъ лиса рубльна крыныченъка, Тамъ староста коныка напувае, Молода сваточка водыщю пидльвае» (иначе, послѣ стиха: Насередъ лиса рубльна крыныченка — слѣдуетъ: Ой туды йихавъ Иванко зъ буярамы, Ему калына дорогу заступила; Выйнявъ шабельку, ставъ калыну рубаты. Стала калына до ёго промовляты: Не за-для тебе ця калына сажына, А за-для тебе ця Явдошка зряжена). Стр. 105—6: За столомъ въ хатѣ сидятъ молодые; свашки поютъ имъ: «Пишла Явдошка въ вышни-садъ, Та сховалася въ виноградъ. — Хто мене найде въ цимъ виногради, То съ тымъ сяду на посади» (идетъ отецъ, мать, братъ, сестра; нашелъ Иванко).

Къ стр. (22 слѣд.) 155 слѣд. (Къ символизму). Символъ яблока. Сл. Gaidoz, La requisition d'amour et le symbolisme de la pomme въ «Annuaire pratique des Hautes études» pour l'année 1902 и «Rev. celt.» v. XXIII, № 1, Janv. 1902, стр. 90 (Gaidoz établit que le jet d'une pomme à un homme par une femme est dans la littérature de l'Europe une façon d'adresser à cet homme une provocation amoureuse. Hors de l'Europe la pomme peut être remplacée par un autre fruit.... Au ch. 3, verset 6 de la Genèse... le fruit... n'est pas une pomme... C'est à la suite de ce don qu'au verset 16 Dieu annonce à la femme qu'elle aura des enfants, et ces enfants naissent au chapitre 4, versets 1 et 2.

V. Къ стр. (29) 163. (Къ ритмическому параллелизму, сл. 46). Пляска «хатарха» на бурятской свадьбѣ и сопровождающая ее пѣсни.

Сл. Этнограф. Обозр., XXXVI (Хангаловъ, Свадебные обряды, обычаи и т. д. у бурятъ Унгинскаго Инородческаго вѣдомства Балаганскаго округа) стр. 45—6:

- a Въ обхватъ черную косу
На спину побросаемте;
Какъ бѣло-ротый изюбръ,
Крича постоимте.
- b Тонко-серебряную косу
Взадъ и впередъ побросаемте;
Какъ бѣло-губый изюбръ,
Крича постоимте

(пѣсня отражаетъ старины быть бурятъ зепроловово; «внѣ облавы на звѣрей, во время стоянокъ, . . . они имѣли свои игры и забавы, во время которыхъ пѣли пѣсни. Въ этихъ пѣсняхъ отражался ихъ образъ жизни, какъ охотничьяго народа. Вообще, въ стариныхъ пѣсняхъ бурятъ часто встрѣчаются разные звѣри, образъ жизни которыхъ они сравниваютъ съ своимъ, подражаютъ ихъ крику и т. п.)

- a На сѣверной сторонѣ пасущійся
Нашъ скотъ красивъ;
Игриво говорящіе (поющіе)
Наши ровесники красивы.
- b Впереди пасущаяся
Скотина, овцы красивы;
По старинкѣ и по новому говорящіе
Наши ровесники красивы.
- c Надъ горою посмотрѣть —
Жатый хлѣбъ красивъ;
По всему народу посмотрѣть —
Наши друзья красивы.
- d Надъ бугромъ посмотрѣть —
Въ снопахъ хлѣбъ красивъ;
Въ Богдо-народъ посмотрѣть —
Ровесники и друзья красивы.

Зима зимою не стоитъ,
Въ вѣкъ молодыми не будемъ;
Лѣто лѣтомъ не стоитъ,
Въ жизни молодыми не будемъ.

Стр. 47—8: Иногда дѣвицы съ невѣстою поютъ пѣсни, укоряя своихъ родителей, что они ихъ промѣняли на колымъ и отдаются на чужбину:

- a Отецъ, я тебя уговаривала,
А ты на темный скотъ промѣнялъ,
На зло ты промѣнялъ;
До окончанія галаба буду расцвѣтать;
Всѣ у отца ходили бы мы,
На чужбину насть бросили.
- b Мать я тебя уговаривала
(тоже развитіе; но скотъ «пестрый»).
- c Братъ, я (васъ) тебя уговаривала
(тоже; скотъ «пѣгий»).

Стр. 53 (у жениха). Иногда женихъ съ нѣсколькими молодыми людьми поютъ пѣсню, если сами родители его женятъ противъ воли на дѣвицѣ, которую онъ не любить:

- a Чѣмъ отъ бряцающей вечорки (игры) отдѣлиться,
Отдѣлюсь (лишусь) отъ обузданного коня;
Чѣмъ отъ любимой отдѣлиться,
Свою суженую оставлю.
- b Чѣмъ отъ круглой вечорки (игры) отдѣлиться,
Отдѣлюсь отъ запряженного коня;
Чѣмъ отъ знакомой отдѣлиться,
Свою суженую оставлю.
- c Чѣмъ отъ гулящей вечорки отдѣлиться,
Отдѣлюсь отъ осѣданного коня;
Чѣмъ отъ любимой отдѣлиться,
Свою суженую оставлю.

VI. Къ стр. (31) 166. Paulhan, Psychologie du calembour, «Rev. d. deux Mondes», 1897, 15 Aout, стр. 867: Dans le r  ve, dans la folie, le r  le de l'assonance devient frappant. Elle impose   l'esprit des s  ries d'images, dont le lieu ne se r  vèle que par une minutieuse analyse. M. Maury fait en r  ve un p  lerinage   J  rusalem, puis il se trouve chez M. Pelletier, le chimiste, qui lui donne une pelle; cette pelle joue un r  le important dans une nouvelle aventure.... Une autre fois encore la succession des sc  nes est due   l'assonance.... Le dormeur voit en songe le Jardin des plantes o  il rencontre le voyageur Chardin qui lui donne un roman de Jules Janin. (C.I. S  glas, Les troubles du langage chez les ali  n  s, I partie, ch. IV; Regnard, Les maladies  pid  miques de l'  sprit).

VII. Къ стр. (34) 170. (*Четверостишия, антифонызмъ*). Малайскія pantoun: quatrain à rimes croisées, quelquefois il se compose d'une suite de couplets ou quatrains alternatifs, improvisés par deux interlocuteurs et soumis à cette règle que, dans chaque quatrain, doivent entrer deux vers du quatrain qui précède immédiatement. Ce genre d'amusement poétique est ordinairement accompagné de musique. Примѣры:

I A quoi bon vouloir allumer une lampe

Si elle n'a pas de mèche?

A quoi bon jouer des yeux,

Si ce n'est pas pour tout de bon?

• • • • • • • • • •

III Une jeune fille avec un seau puise de l'eau à un puits;

Le seau brisé, la corde reste.

O mon âme, laisse partir ton ami!

Ne va pas te briser le coeur!

IV Si vous partez le premier,

Cherchez moi une feuille de kembodja;

Si vous mourez le premier,

Attendez moi à la porte du ciel.

Пантунъ изъ четырехъ куплетовъ съ захватами стиховъ (см. выше) извѣстенъ въ передачѣ Victor Hugo (Orientales: Les papillons jouent à l'entour sur leurs ailes). Вотъ дословный переводъ оригинала:

1. Des papillons voltigent ça et là;
Ils voltigent à la mer, à l'extrémité du banc de corail...
Mon coeur est demeuré sans rien qui le fixât,
Depuis mes premiers jours jusqu'à ce jour.
2. Ils voltigent à la mer, à l'extrémité du banc de corail.
Le vautour vole vers Bandan.
4-ый стихъ первого куплета
J'ai vu beaucoup de jeunes gens
2-ой стихъ 2-го куплета.
3. Il laisse tomber de ses plumes à Patani,
4-ый стихъ 2-го куплета.
Nul jeune homme n'est comparable à celui qui est à moi.
2-ой стихъ 3-го куплета.
4. Voici une vingtaine de jeunes pigeons.
4-ый стихъ 3-го куплета.
Il est si habile à gagner les coeurs.

Marro, Index des mots malais francisés, въ. Mémoires de la société académique indo-chinoise de France, t. I, années 1877—1878 (Paris, 1879), стр. 133—5.

Сл. объ армянскихъ четверостишіяхъ мон Эпическія повторенія, стр. 103, объ османско-туркскихъ — Proben der Volkslitteratur der türk. Stämme, VIII Theil, ed. Kúnos, стр. XXI слѣд.: четверостишія = Mani, стихъ 8-сложный съ цезурой посреди (4+4); ausserdem aber kommen auch aus 7 Silben bestehende Zeilen vor, die entweder in 4+3 od. 3+4 rythmische Theile zerfallen. Was den Reim anbelangt, so reimen gewöhnlich die 1, 2 u. 4 Zeile. Das Wort Mani selbst bedeutet Sinn, Bedeutung u. der Ausdruck Mani atmak (=Mani werfen) ist gleichbedeutend mit dem Worte «hofieren». An besonders schönen Frühlingstagen.... wird so recht mit Mani, diesen Liebesgedichten des fröhlichen Volkes, um sich geworfen. In den unteren Volksklassen wird diesen Versen prophezeiende Kraft zugeschrieben; und eine Frauen-Unterhaltung, besonders bei Geburts- und Hochzeitsfesten lässt sich ohne Absingen von Mani- Liedern garnicht denken. Bei solchen Gelegenheiten werden die von Littré geschriebenen Mani in einen Korb (Mani торбасы) gelegt und jeder der Anwesenden zieht sich einen Zettel heraus, aus dem er dann sein Lebensschicksal herausliest. Das grösste Fest der Mani ist Hidreliz, der Festtag zu Frühlingsanfang bei den Persern Nevruz genannt. An dem dem Feste vorhergehenden Tage versammeln sich viele Frauen u. Mädchen in einem Hofe, holen einen Topf hervor, in welchen das auf seine Zukunft neugierige Weibervolk irgend einen Gegenstand, einen Ring, ein Armband u. dgl. hineinwirft. Dann wird der Topf mit Wasser gefüllt und unter einen Rosenstrauch vergraben, wo er die Nacht über bis zum nächsten Morgen verbleibt. На другое утро его выкапываютъ. Nun werden einem jungen, gewöhnlich dem jüngsten Mädchen der Gesellschaft die Augen verbunden, ein anderes Mädchen aber öffnet den Topf u. nimmt die am Vortage in denselben hineingelegten Gegenstände aus ihm heraus. Bei jedem Gegenstande sagt das Mädchen, dessen Augen verbunden sind, je ein Mani (по этому гадають). Als reine volkspoetische Schöpfung wenn noch ihr Name arabischen Ursprunges ist, sind sie die poetischsten Offenbarungen der Volkssprache, sowohl in Bezug auf die Form, als auch auf den Inhalt.... Die Mani sind zum grössten Theil kurze, von Liebe handelnde Verse, bisweilen nur Liebesneckereien, in denen bald der Jüngling das Mädchen, bald das Mädchen den Jüngling zum Besten hält. Bisweilen enthalten sie nur einen guten Einfall, einen

geistreichen Ausspruch. Obwohl jedes einzelne Mani für sich ein selbstständiges Lied ist, besteht doch meist zw. mehreren derselben ein, wenn auch lockerer Zusammenhang, der besonders dann hervortritt, wenn wir sie hintereinander lesen. Solche Versgruppen machen den Eindruck einer zusammenhängenden Romanze, die Liebe, ein Liebesvereinigung od. den Schmerz, das Leid der Trennung besingen. Bisweilen wird dieser Zusammenhang durch äussere Züge hergestellt. So können z. B. jedes von mehreren Mani eine Blume besingen, so dass der ganze Cyclus einem Blumenstrausse gleicht. Bisweilen werden verschiedene Mani durch Zahlen, bisweilen durch die in ihnen auftretenden Monats- oder Wochennamen zu einem Ganzen verbunden, endlich treten verschiedene Farben, die aber auch einen gewissen Zusammenhang mit dem poetischen Inhalte aufweisen, als das die einzelnen Mani verbindende Element auf. Ferner ist hier vor Allem einer anderen Eigenthümlichkeit der osmanischen Volkslieder zu gedenken, die übrigens nicht nur in den Mani, sondern auch in den aus mehreren Strophen bestehenden Liedern wahrgenommen werden kann. Wir meinen die Eigenthümlichkeit der osmanischen Strophen, dass die erste Zeile gewöhnlich ein der Natur entnommenes Bild enthält, das mit den darauffolgenden Zeilen scheinbar in keinem Zusammenhang steht: wenn wir aber diese Erscheinung näher untersuchen, so sehen wir, dass doch ein gewisser Zusammenhang vorhanden ist. Entweder ist das der Natur entnommene Bild ein uns in den Inhalt des Verses einführendes Stimmungsbild od. es dient als Hintergrund für die im Liede ausgedrückten Gefühle. Въ мани новѣйшаго происхожденія этой связи нѣть, она построена по аналогии съ древними Dshinashi mani = zweideutigen Mani. Den Namen haben sie daher, weil in ihnen die mehrfache Bedeutung eines Wortes als Wortspiel verwendet wird. Diese Mani-Lieder beginnen gewöhnlich mit dem betreffenden Worte und dieses Wort wird in den paarlosen Zeilen wiederholt, aber stets in einer anderen Bedeutung. Bisweilen hat das Anfangswort für sich allein stehend gar keinen Sinn und seine Bedeutung kommt nur in den folgenden Zeilen im Zusammenhang mit anderen Wörtern zum Vorschein. Diese Dshinashi Mani sind so entstanden, dass bei Gelegenheit von Gesellschaftsspielen irgend ein Wort ausgesprochen wurde und derjenige als Sieger betrachtet wurde, der an dieses Wort zwei Verszeilen anzuknüpfen verstand, deren letzte auf das aufgegebene Wort reimte. Bisweilen wird dieses Wort zweimal, ja dreimal als Reim verwendet, und desto grösseren Beifall

findet ein solches Mani, je deutlicher das daran geknüpfte Wortspiel hervortritt.

— VIII. Къ стр. (35) 171. «Зеленая рутонька» въ видѣ припѣва въ волынскѣй пѣснѣ (изъ ркн. сборн. Коробки № 2 — Рукописн. отдѣл. Библіотеки Имп. Академіи Наукъ — 33. 17. 3 (пѣсня № 183):

Ой ми поль оралі, оралі,
(припѣвъ послѣ каждого стиха)

Зеленай наша рутонька, жовтий цвіт.
Ой ми просо пололі, пололі,
Ой ми просо спасомо, спасомо,
Ой ми коні заберумо, заберумо...
А ми коні укупім, укупім.
А ми коні не ддамо, не ддамо.

Пѣсня, очевидно, хороводная; въ қонцѣ: мы дадимъ дѣвицу; онѣ отвѣчаютъ: ее мы воззмемо.

IX. Къ стр. (38) 174—5. (*Kъ ирпъ «fiori»*). Сл. Frescura, Fra i cimbri dei sette Comuni Vicentini, Arch. per lo studio d. trad. popolari, v. XVII, стр. 37: A Fora al 2 agosto calano a frotte dai monti le ragazze de' dintorni per recarsi a prender il perdon d'Assisi, e dopo la messa si recano a lunghe file al Pubel a vedere e a farsi vedere dai ragazzi montanari, e in quella *Fiera delle ragazze*, come si dice lassù, s'intrecciano non piÙ nel nordico cimbro, ma nel piÙ puro dialetto veneto *domande* e *risposte* di questo genere. Il giovane, avvicinandosi ad un gruppo di ragazze chiede cavallerescamente: È permesso staccare una rosa da questo mazzo? e dirigendo quindi la parola alla preferita, v'incomincia questo dialogo:

D. Nella mia tasca gho un bel par di scarpe — Che andaria ben al vostro bel piè; — Bella Cecchina se le volè.

R. Xe tanti anni che son pastora — Le scarpe ai piè non gho mai vu — Così per le prime, mettimele vu!...

D. Giovane da quel mazzetto — Xe la contenta de donarme un fioretto?

R. El guarda davanti lo petto mio — Se el għin n'ha messo, restarà servio.

D. Vanza e no vanza — La me dona un fioretto per creanza.

R. La me creanza xe bella e bona, — Ma questo no xe un fior per la vostra persona...

Spesso è nelle stalle che s'incominciano questi idilli rusticani: i giovani a frotte si presentano dinanzi alla porta, talvolta cantando canzoni opportune, a cui rispondono dall'interno le vegliatrici, ed entrando seggono sopra una panca all'uopo preparata di fronte a quella dove stanno le ragazze; e là cominciano i dialoghi più sopra riferiti. La sera seguente la ragazza prepara a sè vicina la sedia per il più preferito, si lascia cadere il fuso perchè lo raccolga l'amoroso e così (gli) significa ch' essa è contenta di fare all'amore con lui; è curioso però che questo amoroso dovrebbe cedere il suo posto, se dopo di lui entrasse un altro giovane.

X. Къ стр. (41 слѣд.) 178. (*Natureingänge*). Richard M. Meyer, Alte deutsche Volksliedchen, Zs. f. d. Alterth., XXIX, стр. 192 слѣд. (с.л. ib. 207: къ литературѣ: Liliencron въ Zs. VI, 78; Erich Schmidt, Reinmar u. Rugge, ann. 25, 49; Burdach, ..., 8, bes. 48 f., 134; Willmanns Leben Walthers, 208 f. ann., 365—413; Uhland, Schriften, III, 384 слѣд.; Ueber das Naturgefühl in der deutschen Dichtung überhaupt, Koberstein, Vermischte Aufsätze, 3 f.; тѣ. die prov. Natureingänge, Diez, Poesie der Troub., s. 123 f.; тѣ. die Altfranz., Wackernagel, Altfranz. Lieder u. Leiche, p. 169; Beispiele von altfranz., prov., altital. Natureingängen, Tischer, Ueb. Nithart, s. 18—19; endlich die Natureingänge in der Dichtung der verschiedenen Völker unterwirft Scherer, Anz. I, 199 f. zum ersten mal einer Vergleichung; über die Natureingänge bei Neidhart, с.л. диссертацио о нихъ Richard'a Meyer'a, p. 97, 124; über die Winterstettens Minor in seiner Ausgabe p. XII). — p. 216 слѣд.: Naturein. въ нѣмецк. эпосѣ: — С.л. Berger, Volkstümlich. Grundlagen des Minnesangs, Zs. f. d. Philologie, XIX (1887), стр. 444 слѣд., 451, 453: Verwünschungen (и пожеланія: сл. ib., прим. 1: къ пожеланію у Кюренберга: «Got sende si zesamene, die gerne geliebe wellen sîn; с.л. старо-португальскую пѣсню von Julian Zorro: «Führe Gott zusammen, die sich innig lieben». У Storck, Hundert altportug. Lieder, 1885, 37, 6).

XI. Къ стр. (43 слѣд.) 180 слѣд. § V (параллель — запев и сложеніе пѣсни). John Meier, Volkslied und Kunstlied in Deutschland, II (Beilage z. allgemein. Zeitung, 1898, № 54, с.л. Arnold v. Berger въ «Nord und Süd», 68, 76 ff., Volksdichtung und Kunstdichtung) наблюдаетъ усвоенія художественной пѣсни народомъ: Der dünne Weggenosse Heine's auf seiner Harzreise, der vermeintliche Schneidergeselle,

in Wirklichkeit aber der Handlungsreisende Karl Dörne, trillerte, wie Heine berichtet, vor sich hin: «Leidvoll und freudvoll, Gedanken sind frei», und Heine bemerkt dazu, wie tief doch Goethe's Wort ins Volk gedrungen sei, und meint solche Korruption des Textes sei beim Volk etwas gewöhnliches (Heine's Werke, ed. Elster, 3, 243 ... Noch heute wird... in Meiningen von den Soldaten gesungen: «Freudvoll und leidvoll, Gedanken sind frei» (M. Köhler, «Zs. f. den deutschen Unterricht», 5, 636). Die zweite Zeile ist nach dem Anfang eines bekannten Liedes «Die Gedanken sind frei» umgestaltet. Und diese Verderbniss bietet uns ein gutes Beispiel formaler Analogie, wie durch die Gleichheit gewisser formaler Elemente zwei ursprünglich getrennte Gruppen zu einander in Proportion treten und dann vermischt werden. Miller's Lied «Es war einmal ein Gärtner, Der sang ein traurig's Lied» ist verschiedentlich in den Volksmund übergegangen. Die 6-e Strophe lautet im Original:

Seh ich die Blumen sterben,
Wünsch ich den Tod auch mir.
Sie sterben ohne Regen,
So sterb' ich deinetwegen
Sogleich zu dieser Frist.

Im Munde des rheinländischen Volkes ist diese Strophe mit ein paar Versen der dritten verknüpft: «Hier schmacht' ich wie die Nelken, Die in der Sonne welken» und die 4-e Strophe jener Volksfassung lautet:

Die Rosen und die Nelken
Sie welken ohne Rost,
Sie welken ohne Regen,
Aber nicht meinetwegen,
Auch ich muss in das Grab.

Ein ähnlicher Wortlaut hat einer ostpreussischen fragmentarischen Version zugrunde gelegen. Die Wendung von «den Rosen und den Nelken, die ohne Rost welken», rief ein paar bekannte Lieblingsverse des Volkes ins Gedächtniss und durch die formale Beziehung tritt eine neue Strophe in das Lied ein, die mit der auf sie folgenden, uns schon bekannten, so lautet:

Die Rosen und die Nelken,
Die blühen und verwelken,
Aber unsre Liebe nicht.

Da sah er eine Blume welken,
Da wünsch't er sich den Tod,
Sie sterben ohne Regen,
Sie sterben meinetwegen,
Sie sterben nur für mich.

In gleicher Weise entstehen stoffliche Assoziationen: hieher gehört das Eintreten gewisser Lieblingsstrophen bei bestimmten Situationen. Das stoffliche Element gibt hier die Vermittlung ab. So wenn fast bei allen Abschiedsliedern Strophen sich finden, wie «Sassen einst zwei Turteltauben, Sassen auf dem grünen Ast, Wo sich zwei Verliebte scheiden, Da wächst weder Laub noch Gras. Laub und Gras, das thut verwelken, Aber unsre Liebe nicht; kommst mir zwar aus meinen Augen, Aber aus dem Herzen nicht» oder in Liedern von Treue u. Untreue Verse, wie «Lieben sind zwei schöne Sachen, Wenn man keine Falschheit spürt u. s. w., u. ähnliches mehr. Vielfach bilden sich neben rein stofflichen u. rein formalen Gruppen auch stofflich-formale Proportionsgruppen (Die Komplikation ist mitunter noch grösser: die gleiche Melodie zweier Lieder bildet oft erst das Mittelglied, um die analogische Beeinflussung auch in Texten herbeizuführen, die sich, für sich selbst betrachtet, fernstehen)...

Der Assimilationsprozess (художественной пьесы народомъ) ist im Laufe der Jahrhunderte immer weiter fortgeschritten, so dass in Liedern der früherer Säkula das Erkennen ursprünglich fremdartiger Bestandtheile erschwert, ja vielfach ganz unmöglich wird. Am längsten halten sich die Anfänge der Lieder, sie sind das widerstandsfähigste; Läufig ist ihre Erhaltung auch ein Zeichen das die gleichanfangenden Gedichte die gleichen Melodien aufweisen. So werden heute noch Volkslieder gesungen mit den Anfängen «Edle Freiheit, mein Vergnügen» und «Beste Freundin mein Vergnügen», Anfänge, die schon im vorigen Jahrhundert bei andern Liedern bekannt sind, so sind aus Maler Müllers «Heute scheid ich, heute wandr' ich», aus Weigle's «Drunten im Unterland» aus Schmidts v. Werneuchen «Ich wäre wohl fröhlich so gerne» Volkslieder entstanden, die den gleichen Anfang, aber einen andersartigen weiteren Verlauf zeigen.

Къ стр. (43) 181. (*Къ сложеню пьесы*). Сл. Literaturbl. f. germ. u. rom. Philologie, 1900, № 2, p. 68 слѣд. (отчетъ Morf'a o Gauchat, Étude sur la Ranz des vaches fribourgeoises, Zürich, 1899, 47 s.; сл. Alfred Tobler, Kühreihen, Jodel u. Jodelliad in Appenzell, Zürich,

1890), Фрибургские *rantz* развитіе типа *kühreihen*. Послѣдній состоялъ первоначально 1) въ двухъ-колѣнной мелодіи рога (*A + B*) безъ словъ; 2) къ *A* присоединяется человѣческій голосъ и восклицаніе (*Loba*), къ *B* перечень, окликъ коровъ:

- A. Wänd er yha! (bis) Loba! (bis)
B. Allsamma mit Nama,
Die Alten, die Jungen...
Die Hinket, die Stinket и т. д.

3) Позже присоединяются куплеты *Schnaderhüpfel*:

Syt dass i gwybet ha,
Ha-n-i kā Brot meh gha;
Syt dass i gwybet ha,
Ha-n-i kā Glück meh gha.
Loba! Loba!

4) Мелодіи *Schnaderhüpfel*'я подсказывается цѣльный текстъ.
5) Отсюда развитіе *rantz*: серіи двухстишій, риѳмующихъ черезъ стихъ на ту же риѳму (*aB, bB, cB* и т. д.), съ цѣльнымъ текстомъ, за каждымъ куплетомъ восклицаніе (обыкновенно *Lyauba*) и припѣвъ (обращеніе къ коровамъ) съ тѣмъ же возгласомъ: *Vinide tote, Pitite, grōše, Blyantse, neyre, Rodze, modeyle. Lyauba! Lyauba! por ariå!* (= *traire*).

Къ стр. (43 слѣд.) 182 слѣд. (*Къ развитію пѣсни изъ запьва. Повторяющіяся формулы*). Сл. Raynaud, Recueil de motets fran ais, I, p. 1: Pour li sui en grant dolour = p. 227: Pour vous sui en grant dolour; сл. 7, 20, 195 (въ первыхъ двухъ случаяхъ refrain, въ послѣднемъ начальные стихи; 10=127; 13=83, 98 и др., 17=122, 33=226, 37=266; 48=219; 85=189; p. 245: третья часть motet № CCXXXV вся состоять изъ пѣсенныхъ формулъ, слѣдующихъ другъ за другомъ безъ связи, встрѣчающихся и въ другихъ пѣсняхъ (стр. 325).

Къ той же стр. (Запьвы со различными пѣсенными развитіемъ). Сл. Passow, Pop. carmina Graeciae recentioris [Lpz., 1840]: Disticha amatoria №№ 40—41 (ἀλλοίμονο δὲν βρίσκεται); 43—44 (Ἀλύπητη λυπήσου με); 60—1 ("Αν ἀποθάνω, θάψε με"); 62—3 ("Αν ἀρκινήσω"); 66 (сл. 1026, еслибы небо было хартией); 67 (Ἀνεμοστάτης θὰ γενῶ κι' ἀνέμη νὰ γυρίζω, κι' ἀν ἀνεμοῦρ, ὅλόχρυσο γιὰ νὰ σὲ περιορίζω); 105—6

(Απόψ' εἰδεις στὸν ὅπνον μου); 117 слѣд. (Άσπρος и т. д.); 148 слѣд. (Βασιλικέ πλατύφυλλε π δαλήε съ тѣмъ-же цвѣткомъ, параллель къ fiori; сл. 163 слѣд.: Γαρουφάλιά); № 184 (сл. 776, обмѣнъ двустишиями между мужчиной и женщиной); 186 слѣд. (Δὲν εἶναι κρίμα); № 199, 200 (Δὲν ηλπίσα) и т. д.; 504 слѣд. (κυπαρισσάκι, сл. 1013 слѣд.; къ fiori). *Материалы для параллелизма.*

XII. Къ стр. (50 слѣд.) 188—9. (*Къ развитию писни изъ параллелизма*). Изъ параллели — *аполои*: сл. средн. верхненѣм. басня у Wünsche, Die Pflanzenfabel in d. mittelalterlichen deutschen Litteratur, Zs. f. vergl. Litteraturgeschichte, N. F., B. XI, Heft 5—6, стр. 376—7: Ahorn, Buchsbaum und Linde: липа наклонилась къ Ahorn, онъ покрытъ вѣтвями и листьями, но сердцевина и корни гнилы; рядомъ Buchsbaum, онъ не ширится листвой и вѣтвями, но зеленѣль и былъ крѣпокъ: sin chern was ime herte, wan er die linden nerte, daz si niht mohte gevallen, Ir stam der was gewallen (gegnâllen, geschlossen) So tiefe in sine rinde; Davon grvnt dvn linde, Daz si niht velwet, e ir zit. — Объяснение (= параллелизмъ): der Ahornbaum ist Bild eines Mannes, der zwar seinem Weibe alle äusseren Güter zu bieten vermag, da er aber innerlich hohl u. zerfressen ist, kann er ihm doch nicht völliges Genüge gewahren; es wird elend u. unglücklich bei ihm; der Buchsbaum dagegen ist Bild eines schlichten aber innerlich gesunden Mannes. Obwohl er nicht reich an äusseren Gütern ist, so ist er dafür reich an Tugenden, feinen Sitten, Weisheit u. Verstand, und dies befähigt ihn, sein Weib glücklich zu machen.

XIII. Къ стр. (51 слѣд.) 190 слѣд. Сл. Румынские заговоры: Oraji, farmece, si desfaceri adunate de S. Fl. Mariaй («Analele Academiei Române», ser. II, t. XV: Memoriile sectiunei literare, Bucurescî, 1893, p. 77—172). Сл. отчетъ въ Этнограф. Обозр., XXXII, стр. 191 слѣд. Дѣвчленный заговоръ (?) стр. 195: а) «Вечеромъ въ субботу вышла я (дѣвушка) во дворъ, посмотрѣла на гору — ничего не увидала, посмотрѣла на долину — и опять ничего не увидала, посмотрѣла на западъ — ничего не увидала, посмотрѣла къ востоку — и увидала тамъ Пажюру, въ огонь одѣтую, опоясанную, огнемъ окруженнюю». На вопросъ дѣвушки, куда идетъ Пажюра, она отвѣчаетъ, что идетъ она зажечь лѣса, поля обратить въ пустыни, высушить долины и разбить камни. Дѣвушка просить ее не дѣлать этого: «оставь, пусть лѣса покрываются листьями, поля пусть цвѣтутъ, долины пусть зеленѣютъ, камни пусть останутся болѣшими».

Дѣвушка просить Пажюру пойти къ ея суженому, помучить его и заставить притти къ ней.—Стр. 196. *Параллелизмъ заговора въ сопровождающемъ ею символическомъ дѣйствіи* (женщина хочетъ отбить мужчину отъ другой) «Кто это, кто это?—Екатерина! Что у нея на головѣ?—Шкура дьявола!—Что у ней на тѣлѣ?—Волчья шкура! Что у нея на жилахъ?—Собачья шкура!—Что у нея во рту?—Проказа и ужасъ! Если она такая (страшная), то пусть такой-то бѣжитъ отъ нея, какъ отъ черта, и пусть боится ея, какъ волка, и остерегается, какъ бѣшеной собаки». Ворожка отправляется въ лѣсъ и ищетъ дерева, два ствola котораго вышли изъ одного корня; изъ подъ корней такого дерева ворожка береть немнога земли, заворачиваетъ ее въ тряпочку и держитъ при себѣ, ожидая случая, когда эта пара будетъ вмѣстѣ. Увидя ихъ вдвоемъ, она произносить про себя этотъ заговоръ и бросаетъ землю промежъ нихъ.—Стр. 197 слѣд. (*Одночленный заговоръ, чтобы сдѣлать дѣвушку красивое, заставить полюбить себя*): Маріора отправилась по дорогѣ Траяна къ рѣкѣ Іордану, набрать изъ рѣки холодной воды и смыть съ себя тоску. «Но не могла она даже приблизиться къ рѣкѣ, такъ какъ было тинисто, грязно,— и вернулась назадъ. Никто не увидѣлъ ее, никто не услышалъ ее; одни только ненавистники и всѣ враги. Только они видѣли ее, вышли раньше ея и бросили большой чурбанъ подъ ноги Маріоры. Бросили они чурбанъ, онъ отнялъ у нея ноги, связали руки, сдѣлали ее нѣмой, глухой, слѣпой». Маріора жалуется, громко плачетъ; услышала ее вверху отъ райскихъ воротъ Матерь Божія, спрашивается, и та говорить, что съ ней сталося. «Тогда Матерь Божія вверху опустила изъ райскихъ воротъ золотую лѣстницу, вышла къ ней на встрѣчу, взяла ее за руку, повернула ее къ солнцу и оттуда отправилась, сопровождая Марію, по дорогѣ Траяна къ рѣкѣ Іордану. Затѣмъ погрузила она меня по поясъ въ воду и вымыла. Моеть меня Матерь Божія, кошаетъ серебряныя деньги и гребеть ихъ мнѣ граблями, мететь ихъ перьями, граблями изъ василька, перьями отъ павлина. Моеть она меня и гребеть мнѣ, мететь и чистить меня. И вымыла она меня хорошо, хорошо вычиستила отъ темени, отъ самого лица до самыхъ лодыжекъ и до концовъ пальцевъ. Хорошо вымыла, хорошо вычиستила отъ тоски, отъ измѣны». Снявъ съ Маріоры терновый вѣнецъ, Богородица возложила на нее золотой, одарила любовью и красотою. «Вынула она изъ черепа противные глаза и положила туда глаза сокола... Сняла Пречистая съ прекраснаго лица ея кожу коростливой лягушки, одѣ-

лила ее красотой и сдѣлала ее цвѣткомъ, который заигрываетъ съ лучемъ солнца... Вынула она изо рта костяные зубы и положила подъ языкъ медвяные соты. Сняла она съ нея змѣйиный поясъ и опоясала ее шелковымъ... Сняла съ нея плотуновые башмаки и обула ее въ высокіе желтые сапожки (чисме). — Преобразившись такимъ образомъ, Маріора начала хлопать бичемъ, трубить и призывать любовь: отъ царей съ царицами, отъ королей съ королевами, отъ поповъ съ попадьями, отъ баръ съ барынями, отъ господъ съ госпожами, отъ жениховъ съ невѣстами, отъ ворниковъ съ ихъ женами, отъ шляпъ молодцовъ, отъ кость дѣвицъ, отъ ложь съ гвоздиками, отъ полей съ цвѣтами. — Кто идетъ? царица? королева? попадья? ворничиха? невѣста? Нѣть! не царица (и т. д.), такъ какъ это красавая Маріора, лучшая изъ всѣхъ. Кто посмотритъ на нее сзади, тотъ словно видѣтъ лицо ея; кто посмотритъ съ лица, какъ будто видѣтъ и сзади. А кто не можетъ видѣть ее, тотъ протягиваетъ пальцы, нельзя ли ему поймать ее, чтобы любить ее и поцѣлововать. Съ этихъ поръ и павсегда, какъ кукушка первая птица, какъ василекъ первый цвѣтокъ, какъ серебро лучшие мѣди, — такъ и Маріора да будетъ самая лучшая и самая красавая среди всѣхъ дѣвушекъ всѣхъ сель».

Сл. стр. 200: *Горданъ* въ румынск. заговорахъ (Маріуна — Марія встала рано и пошла по тропинкѣ къ Гордану; сл. стр. 202, въ заговорѣ отъ тоски: дѣвушка смываетъ ее: «Доброе утро, ключъ прелестный и красивый! — Благодарю Васъ, госпожа *Горданка* (Гордѣнсь)! Отъ чего вы пришли съ господиномъ *Горданомъ*, такимъ прелестнымъ и красивымъ?» Дѣвушка отвѣчаетъ, что пришла окунуться въ него, чтобы онъ омыль, очистилъ ее. Сл. стр. 205 въ заговорѣ отъ порчи: «Я возьму тебя, говорить Богородица больному, за правую руку и поведу по тропинкѣ Адама къ колодцу *Гордана*» — и омою тебя). Въ заговорѣ отъ порчи, стр. 202, являются нечистыя силы: Стригои, Морои, Змѣи, Триполики со своими женами; является и *Иродіада*, заградила больному дорогу, взяла за руку, бросила въ ровъ и накрыла терновникомъ. Большой сталъ воинъ и грозить, обѣщая Иродіадѣ поймать ее сѣткой и погнать на голову тому, кто ее прислалъ. Услышала воинъ Богородица.

Къ той же стр. слѣд. Сл. Ветуховъ, Заговоры, заклинанія, обереги и другие виды народнаго врачеванія, основанные на вѣрѣ въ силу слова, Русск. Филол. Вѣстникъ, 1901, № 1—2, стр. 278 слѣд.

Н. И. Барсовъ, Къ литературѣ обѣ историческомъ значеніи русскихъ народныхъ заклинаній, Русск. Стар. 1893, Январь, стр. 209 слѣд.

Сл. Setälä und Krohn, Finnisch-Ugrische Forschungen, I, 1, 52 слѣд.: Krohn Kaarle, Wo u. wann entstanden die finnischen Zauberlieder, I—III. Сл. р. 53 (вотяцкія заклинанія): Wenn er die Sonne u. den Mond zurückwenden kann, dann möge er diesen Menschen verderben können; p. 54: Wenn aus dem Ambos ein Mensch wird, dann werde ein Mensch aus dir; p. 55 (восточно-германское заклинаніе): Das Feuer kommt wie ein trockner Baumstamm brennend herausgewälzt; wenn es jemals in den... Fluss dringen, denselben Fluss verkohlen, zu Asche verwandeln, verschlingen u. aussauen kann, dann erst im selben Augenblick möge die Brandwunde sich meiner bemächtigen.

Къ научной обработкѣ датскихъ danseverer с. Larsen, Kritiske Studier over vore folkeviser, «Dania», April—October, 1902, № 35.

Сл. Schönbach въ Sitzungsberichte d. Kaiser. Akad. d. Wiss. (Wien) 1900, CXLII, 124 (Studien z. Geschichte der deutschen Predigt и Arch. f. Religionswissenschaft, VI, 163 слѣд. (Höfler, Besegnungsformeln); Marett, From Spell to Prayer, Folk-Lore, v. XV, № 2, 24, June, 1904, стр. 132 слѣд.).

Къ параллелизму. Сл. Живая Старина, ч. VI (1896 г.), вып. III—IV, А. Калачевъ, Нѣсколько словъ о поэзіи Теленгетовъ, стр. 491: между двухъ рѣкъ есть трава, которую не пьютъ горный козелъ,— между людьми есть девушки, которую даже мать моя не знаетъ; на холмахъ есть трава, ее дикие звѣри не ёдятъ,— между людьми моя возлюбленная, ее даже отецъ мой не знаетъ.

Къ четверостишиямъ. Сл. Hessische Blätter f. Volkskunde, B. I (1902), стр. 30 слѣд.: Strack, Hessische Vierzeiler.

XIV. Къ стр. (58) 198. (*Символы*). Сл. Материалы для народного снотолкователя, Этногр. Обозр., XXXVI, стр. 133 слѣд. Стр. 134: видѣть во снѣ большую рыбу—получать серебряные деньги; корысть, прибыль; видѣть чистую, спокойную воду—радоваться по случаю удачи и т. д., благополучія, свадьбы; мутная, бурная вода обѣщаетъ печаль.— Видѣть серебро—радоваться.— Люди предвѣщаютъ слезы.— Стр. 135: изгородь, плетень, нитки, спаги, тканье—сплетни; драка—привѣздѣ въ домъ гостя (hostis?).—Стр. 136: всякий плач и горе во снѣ разрѣшаются радостью на яву (противоположеніе?).—Стр. 137: змѣя, ужъ, ящерица, лягушка—материальное благополучіе, благопріятный говоръ

(повѣрье обѣ ужахъ и т. д.?). — *Пожаръ лѣтомъ* — продолжительное вѣдро, зимой — къ морозу. — Видѣть себя въ новомъ, иногда неостроенномъ зданіи — смерть (повѣрье). Стр. 138 — Подниматься въ гору и т. д. — скоро узнать, что незамѣтными сторонними усилиями создалось благополучіе сновидца. *Пробираться сквозь лѣсную и травяную чащу*, путаться въ ней и падать — преодолѣвать многочисленныя препятствія, терпѣть неудачи. — Видѣть дрова, сѣно, солому — переживать семейныя непріятности. — Стр. 140: *гору видѣть* — заботы; *грозу, громъ, молнию* — битва, неурожай; *жернова* — саматоха, битва; *зарю, зарницу* — гроши; *колодезь полный* — богатство. — Стр. 141: *сажа* — гроши будуть, сваты; *серебро* — брань, сварка, прибыль, радость; *солнце* — мужъ будя любить, жито уродить и т. д.; *солнце* и воду видѣть — счастье: парню — невѣста, дѣвушкѣ — женихъ; *уполы пылающіе* — деньги; *бесѣду, пирутику* видѣть: осенью — къ добру, либо къ смерти; бабъ много — сплетни и слезы. — Стр. 142: *кровь видѣть* — кровнаго (родственника) встрѣтить. — Стр. 144: катать *яйца* — урожай, прыбылакъ; красить въ *блѣлый цветъ* — хвалить (одѣвать въ блѣлую одежду — тоже); *плакать во снѣ* — къ радости, *пить* (смѣяться) во снѣ — плакать придется; *прѣсть* (ткать) — сплетничать. — Стр. 146: *молоко видѣть* — тебя люди хвалять (*блѣлый цветъ* молока); *рѣдкую Ѣсть* (хрѣнь) — горе; *бисеръ, бусы, кораллы, запонки, жемчугъ* — слезы; *бурку* одѣвать — дожди пойдутъ. — Стр. 147: *нитки спутанныя видѣть* — сплетни; *полотно видѣть* — въ дорогу сбираться; *полотенце* — дорога, письмо; *баню видѣть* — сплетни: люди тебя языкомъ моютъ; *домъ* новый видѣть — домовину (гробъ) строй; *волка видѣть* — сваты прїѣдутъ; волка словить — врага словить. — Стр. 148: *лошадь* — вѣтеръ будетъ; *блѣлую* — хорошо, снѣгъ; *черную* — дождь, ложь; *сивую* — хорошо; *кукушику* видѣть — бѣда, слезы; *виши* — деньги будутъ. — Стр. 149: *горохъ, бобы, фасоль, крыжовникъ, брусника* — слезы, къ урожаю; *дерево зеленое* — влюбиться, безлистное — вдовцомъ будешь, тоска, печаль; *лукъ Ѣсть* или *рвать* — слезы; *орехъ* — тоже.

Къ параллелизму въ свадебныхъ пѣсняхъ. Сл. Этногр. Обозр., XXXVII, стр. 84 слѣд.: Малинка, Малорусское весилье; стр. 85: Ой выпиты, соколу, зѣ-подъ бору Да выпинсы калынонъку червону; Ужежъ тая калынонъка да здрила, Да Настыци на выпильце поснила. Стр. 92 (дружки невѣсты поютъ): Мы у своеи Марусечки у дружкахъ булы, Мы въ ей руту мъяту выищшалы, Хрецаты барвиночокъ вы-

ризала, Чырвону калыночку выламалы, Да два пучки хмелю нарывалы и т. д.— Стр. 93 (онъ же): Зеленая руточка, жовты цвить; Чогось мого мыленъкого довго нить; Посылала бъ послы, — не смю; Посылала бъ пысьма — не вмю, Сама бъ попла, боюся, Съ половинини дорижечки вернуся.— Стр. 94: Да ѹихавъ казаченько Черезъ дверь, Да ударьвъ шабелькою Да объ чистокиль: Да чы туть дивчынонъка, Чы немае, Чы зъ инчими козакамы гуляе?— Летивъ сокиленъко Черезъ садъ, Да ударывъ шабелькою Да объ ѿногрядъ; А чы туть моя зазуленъка, Чы немае, Чы зъ инчими соколамы летае?— Стр. 96 слѣд.: сатирические перепѣвы между дружками невѣсты («свитылки») и жениха.— Стр. 99: на другой день по совершенніи брака, молодой даетъ боярамъ бутылку красной водки, буханецъ хлѣба, перевязанный калиной, и посылаетъ ихъ къ родителямъ своей жены просить ихъ въ гости. Мать встрѣчаетъ бояръ, угощаетъ, беретъ водку и буханецъ и передаетъ отъ себя тоже водку и буханецъ. Дружко въ это время несетъ курицу, красную водку и буханецъ съ калиною къ священнику и проситъ его пожаловать въ церковь, куда свахи приводятъ молодыхъ, причемъ молодая покрыта намиткою. Дружки вѣшаются у воротъ на высокомъ шестѣ красную запаску — «корогвъ». Бабы, надѣвая на молодую намитку, поютъ: Ой пойду я у лугъ по калыну, Да ѹ вырву я калынову витку, Да ѹ застромлю за билу намитку, Шобъ мыни ягодъ не подавиты, Шобъ мыни родыночки не прогнивитеты; Шо у мене ридъ ридненьки, А у мене не ридна маты, — Шобъ не выгнали эъ хаты.

XV. Къ стр. (60 слѣд.) 201 слѣд. (*Метафора*). Сл. Stöcklein, Bedeutungswandel der Wörter. München, Lindauer, 1898, 79 р. (сл. работы Hecht'a, Hierdegen'a, Hey, и Paul: Prinzipien [zur Sprachgeschichte]); сл. Attilio Levi, L'elemento storico nel greco antico. Contributo allo studio dell' espressione metaforica (изъ Memorie della Reale Accad. d. scienze di Torino, s. II, t. 49), Torino, Clausen, 1900, p. 335—405.

XVI. Къ стр. (64) 206—8:

А не бѣлая береза къ землѣ клонится,
Клонится родной сынъ передъ матушкой.

(= Добрынѣ).— Сл. Этнографическ. Обозр., XXXII, стр. 180: Изъ пѣсень Цыганова:

Не кукушечка во сыромъ бору
Жалобнехонько
Вскуковала:
А молодушка въ свѣтломъ терему
Тяжелехонько
Простонала;
Не ясенъ соколь по поднебесью
За лебедками
Залетался и т. д. (по изданію Суворина № III).

Г. Къ статьѣ: „Три главы изъ исторической поэтики“.

I. Къ стр. (4) 230 слѣд. (*Хоровыя игры у дикихъ*). Сл. The journal of american Folk-Lore, January—March, 1901, v. XIV, № LII, стр. 12 слѣд.: Navaho Night Chant (Washington Matthews): игры, соединенные съ врачеваниемъ и въ его цѣляхъ; дѣйство двойное: врачеваніе (и соотвѣтствующія ему пляски) совершаются въ medicine-lodge, хоровая пляска съ пѣснями вѣнѣ ея; когда перестаетъ послѣдняя, начинаются пѣсни внутри помѣщенія (чредованіе). Важнѣе хоровая игра: дѣйствующія лица: Hastséyalti = the Talking God, Tónenili = the Water Sprinkler (Rain God), играющій роль шута, плясуны (обыкновенно двѣнадцать), изображающіе одни божества мужскаго пола, другіе женскаго; кроме того пѣвецъ (chanter = запѣвало?) и пациентъ. Когда танцующіе выходятъ (съ masks, wands and rattles) на мѣсто пляски, впереди идетъ the chanter, за нимъ Hastséyalti, далѣе танцующіе, въ концѣ шутъ. The dancers take their cue, partly from the acts and hoots of Hastséyalti, but mostly from the meaningless syllables of the song they are singing. At certain parts of the song, certain changes of the figure are made. Роль пѣвца: the chanter only leads, and, as a rule, only sprinkless meal on each group of dancers once, and that is when they make their first appearance.—Р. 15 слѣд.: роль шута (странный костюмъ, паясничаетъ, передразниваетъ, не связанный ритуальнымъ танцемъ, подражаетъ индійскимъ охотникамъ). Снова пѣсня, которую исполняютъ, и подъ которую пляшутъ танцовщики, состоитъ большою частью изъ ничего не значущихъ словъ, но некоторые изъ нихъ считаются очень важными, ихъ нельзя опустить или замѣнить.—Р. 18: первая пѣсня, которую поютъ въ medicine lodge, можетъ быть, самая музыкальная; вотъ 1-я строфа: «Above it thunders,—His thoughts are directed to you.—He rises toward you,—Now to your house—Approaches for you.—He arrives for you,—He comes to the door,—He enter for you.—Behind the fire-

place — He eats his special dish.— «Your body is strong,—Your body is holy now, «he says». Вторая строфа отличается оть первой лишь первымъ стихомъ: «Below it thunders».— Стр. 18—19: After the dancers have sung their last song outside, the singers inside the lodge sing the four... Finishing Hymns. Вольный переводъ послѣдняго: I—From the pond in the white valley — (The young man doubts it) — He takes up his sacrifice.—With that he now heals.—With that your kindred thank you now. II — From the pools in the green meadow — (The young woman doubts it) — He takes up his sacrifice (далѣе то-же). — С.л. Folk-Lore, v. XII, № 2, June, 1901: Everard F. im Thurn, Games of the Red-men in Guiana, p. 132 слѣд. — The journal of american Folk-Lore v. XIV, April — June, 1901, № LIII: Walter Fewkes, An interpretation of Katcina Worship, 81 слѣд.: Katcina — название *хоровыихъ и игръ ряженыхъ* у Pueblo-Indians; по мнѣнию автора маскированные represent the dead or the totemic ancients of clans, они и являются съ тотемистическими символами (82); они являются at certain times in the pueblo, dancing before spectators, receiving prayers for needed blessings, as rain and good crops. These dances thus celebrate clan festivals or clan reunions in which the dead and the living participate. Большинство ряженыхъ представляютъ мужчины, ихъ зовутъ братьями, женскія маски сестрами; отличаются мать, бабку, дядю; несть отца: признакъ материнского рода (84); in most of these personations, only two groups, brothers and sisters, are represented, the former more numerous dancing in line, singing traditional songs; the latter kneeling before them either grinding corn on a metate or scraping a sheep scapula on a notched stick in rhythm with the song (84—5); 85: in the festival of the clan they (the spirits) or their personators are prayed to by the living chief of the clan to exert their powers and bring rain and good crops. 86: весеннія (въ февралѣ) и осенния (въ июнѣ) Katcina'ы; первыя зовутся Powamû, вторыя Niman (прощанье). Весной духи предковъ являются, осенью уходятъ; оба раза въ числѣ играющихъ фигурируетъ солнце: оно пребываетъ подъ землей вмѣстѣ съ усошими, оттуда восходить и туда же заходить съ ними; въ пору Powamû онъ обходитъ всѣ дома, marking with sacred meal the doorposts, and presenting the occupants with bean sprouts which have been germinated in the heated rooms during the fortnight before. He receives in return small feather prayer offerings and handfuls of meal, prayers of the household. He turns to the rising sun at each house and makes six obeisances, uttering pecu-

liar hoots as he does so.... This personator of the returning sun, as his name Ahüla indicates, is supposed to be the leader of the ancients of clans, the personators of which follow a few hours after, and for several days dance at intervals in the plazas in view of all the people.

(Американский народный танец). С. I. Walter Fewkes, Hopi Basket Dance, въ The journal of American Folklore, v. XII, April—June, 1899, № XLV, стр. 81 слѣд. Сл. въ томъ же № журнала p. 137—8 (прокезская пляски etc. у Boyle, Archaeological Report, 1898, Toronto. 1898) 139 (у Moki, съ ссылкой на American Anthropologist, v. XI, p. 313—318).

(Пѣсни некультурныхъ народовъ). Сл. Alice C. Fletcher, Indian Songs and music (Journ. of American Folk-Lore, ч. XI, № XLI, April—June, 1898). Сл. 87—8: мелодія, поддержанная эмоціональными звуками, напр. въ пѣсняхъ любовныхъ:

Hi-dha ho ha hi-a he-ha he!
 Hi-a ho!

ВЪ ПОХОРОННЫХЪ:

J-ah dha-ha ah-i dha-he ah-ha ha-ah!

[стр.] 88: тамъ, гдѣ есть текстъ, онъ подвергается сокращеніямъ, или удлиненіямъ слова въ угоду ритма. — 90: пѣсни передаются по традиції; 100—2 (пѣсни по личному поводу): съ одной женщины бесѣдоваль въ сновидѣніи богъ Грома, и она обѣщала посвятить ему своего первороднаго сына. Мальчикъ родился, но она забыла объ обѣтѣ, пока раскаты весеннаго грома не заставили ее вспомнить о немъ. На слѣдующую весну она не рѣшается исполнить его, хотя и слышала громъ; въ третій разъ она собралась съ духомъ, оставила мальчика на вершинѣ холма и пустилась бѣжать отъ него; мальчикъ за ней; схвативъ его на руки, она удалилась; а громъ продолжалъ раздаваться. Спустя нѣкоторое время молнія убила игравшаго мальчика, мать нашла его бездыханнымъ. Съ тѣхъ поръ каждую весну, когда раздаются первые удары грома, и играеть буря, мать поетъ на холмѣ пѣсню:

Flying, flying, sweeping, swirling,
They return, the Thunder gods.
To me they come, to me their own.
Me they behold, who am their own!
On wings they come,—
Flying, flying, sweeping, swirling,
They return, the Thunder gods!

II. Къ стр. (6) 233. (*Лопарскія пѣсни*). Сл. Харузинъ, Русскіе Лопари [М., 1890], стр. 376 слѣд.; 378 слѣд.: лирическая пѣсня, вызванная извѣстнымъ фактомъ, переходить въ другихъ рукахъ въ эпическую: ее поютъ отъ третьаго лица, прибавляютъ къ ней начало; въ этомъ видѣ пѣсня распространяется, варьируясь общими (сказочными, 389) мѣстами; пѣсни, складывающіяся о какомъ-нибудь выдающемся лицѣ, становятся популярнѣе другихъ, на такія лица переносятся и пѣсни о событияхъ, въ которыхъ оно не играло никакой роли (обобщеніе героического типа, 387). Сл. еще 390 слѣд.: развитіе пѣсни личной и фактической въ сторону сказочнаго эпоса.— Стр. 393: пѣсни безъ смысла (отвѣчающія нашимъ частушкамъ), ихъ поютъ на пути, во время рыбной ловли и другой работы, и сами лопари надъ ними часто сердечно смѣются:

Я Катерина Васильевна, ты Катерина Семеновна,
У меня кошелекъ съ деньгами, у тебя кошелекъ съ деньгами,
У меня сорока узорчатая, у тебя и т. д.
У меня сарафанъ съ казаками, у тебя сарафанъ и т. д.

Пѣсня кончается первой строчкой: Я Катерина Васильевна, и т. д.

III. Къ стр. (9) 237. (*Два хора*). Сл. Zs. d. Vereins f. Volkskunde, X, стр. 243—4 (изъ отчета Huth'a о народной поэзіи Тунгусовъ) 1) пѣсня о дѣвушкѣ, отдавшійся парню и имъ покинутой: четырехстишія съ аллитераціей и parallelismus membrorum; 2) пѣсня дѣвушки сироты съ аллитераціей; въ началѣ говорить хоръ der wohl zweigethheit ist, dann eine einzelne Stimme. То же распределеніе предполагаетъ авторъ и для № 1.

IV. Къ стр. (10) 238 слѣд. (*Къ народнымъ играмъ и дѣйствіямъ*). Сл. Walter Skeat, Malay Spiritualism, Folk-Lore, 24 June 1902, стр. 134 слѣд. Сл. 159 слѣд.: авторъ присутствовалъ на народныхъ (tribal) празднествахъ у Bësisi, which took place at the sowing of their rice-crops, as well as when the padi began to bloom, and again at the beginning, middle, and end of the rice-harvest. On occasions of this sort a simple kind of fermented liquor was brewed from various wild jungle fruits.... and a banquet follows, after which both sexes, crowning themselves with sweet-smelling wreaths of fragrant leaves and flowers, and covering their persons with cunningly plaited leaf-festoons and tassels, indulge in singing and dancing to a late hour, the proceedings terminating in a sexual orgy. До начала пира а пор-

tion of cooked rice deposited on the top of a tree-stump in the neighbouring jungle, and the spirits of the animals and insects which are designated as the «enemies of the rice» are at the same time invited to a solemn truce by the following charm which the chief himself pronounces: «Partake, O Round-foot (a taboo-name for the elephant). — Partake, O Rats,—Partake, o Blight и т. д.— Partake, o Wild Pig —I have not eaten yet, But am just about to do so.—Пѣсни поются и дѣются. Most of them commence with an enumeration of the most striking characteristics of some particular wild animal, bird, or reptile. The singer then proceeds to describe the incidents of its pursuit by men from his own encampment, the eventual slaying of the quarry.... and the cooking and apportioning of the meat thus obtained among all the members of the tribe. Всѣ эти дѣйства назначены умножать пищу, пѣсни кончаются возгласомъ: fruit! fruit! fruit! — просьбой, чтобы всего было вдоволь, либо обращаются къ Fish-trap: «Fing, ting hât is the small-waisted Fish-trap,—The trap that was made by Mamat Alang.—The trap is set in the river yonder,—Enter it, o fish, that with scales are covered; — слѣдуетъ перечисленіе рыбъ, описание, какъ ихъ несутъ домой, варятъ, ъѣдятъ и, наѣвшиесь, пляшутъ: «Big sisters and little will watch you gladly. Such is the rite of the small-waisted Fish-trap». Обрядъ, какъ и кончающая его половая оргія, указываютъ на его характеръ: probably a «productive» rite.

V. Къ стр. (11) 239. Сл. Jevons, An introduction to the history of religion, p. 104 (принятие въ родь у Австралийцевъ мальчика, юноши): его привязываютъ рукой къ рукѣ, поочередно, старшихъ изъ рода, которымъ открываютъ кровь повыше локтя; посвящаемый, такимъ образомъ, покрывается кровью, соединяется съ родомъ. The blood is the life, and that the ceremony is intended to give a new life to the youth, and to be a new birth for him, is proved by the fact that in some tribes the youth is supposed first to be killed and then after initiation has to pretend to forget all that ever he did or was before the ceremony; whilst in others a mimetic representation of the resurrection of a clansman accompanies the ceremony.

VI. Къ стр. (13) 242. (*Пляска — миѳъ*). Сл. Lang, Myth, ritual and religion, v. I, p. 70—1 (Ливингстонъ о Батау, изъ племени Ашантиевъ): They use the word *bina*, «to dance», in reference to the costum

of thus naming themselves (Batau: тотемистический кланъ «лова»), so that when you wish to ascertain what tribe they belong to, you say: «What do you dance?» It would seem as if this had been part of the worship of old». Миѳологическая и религіозная преданія Бушменовъ передавались въ плясахъ, and when a man is ignorant of some myth he will say, «I do not dance that dance», meaning that he does not belong to the guild which preserves that particular «sacred chapter».

(*Календарныя пѣсни и танцы у дикихъ народовъ*). Сл. Fewkes, Provisional list of annual ceremonies at Walpi въ Intern. Archiv f. Ethnographie, VIII, (1895) p. 219 и American Folk-Lore 1893, Oct.—Dec. (жертвооприношение въ день весеннаго равноденствія у сѣверо-американскихъ дикарей, живущихъ около Оризона, соединенное съ игрой въ солнце-землю). Сл. ново-гвинейскую мимическую пляску у Haddon, The secular and ceremonial dances of Torres Straits въ Intern. Arch. f. Ethnogr., VI (1893), p. 146 слѣд.: въ ноябрѣ мѣсяцѣ, когда подходитъ періодъ дождей, и растительность оживаетъ, дикарь надѣваетъ юбку изъ листьевъ, огромную шапку, изображающую рыбью голову, придвигаетъ себѣ рыбий хвостъ и пляской изображаетъ рыбную ловлю; при этомъ поетъ: я вижу свое изображеніе въ прозрачномъ горномъ ручье! — Нарѣжьте мнѣ листья для моей плясовой юбки. — Прощай, мертвая листва кокосовой пальмы! Да вотъ и молни. — Рыба приближается, пора намъ бросить на встрѣчу ей запруды.

VII. Къ стр. (13, 28) 242, 260. (Половое общеніе весною). Сл. D'Arbois de Jubinville, Cours de littérature celtique, VII (= Collinet, Etudes sur le droit celtique, I, стр. 304): въ Uisnech, 1-го мая, въ праздникъ Belténé, устраивались народныя ирландскія собранія, творился судъ; les femmes, mariées pour un an à la même fête de l'année précédente, profitaiient de la nombreuse affluence pour se choisir de nouveaux maris, auxquels elles se faisaient vendre par leurs pères. Послѣднее совершалось и 1-го Августа въ Tailtiu (O' Donovan a recueilli une tradition encore vivante en notre siècle et suivant laquelle à l'époque païenne on célébrait à Tailtiu des mariages qui duraient 12 mois. Стр. 312); стр. 310: là était le tombeau des premiers rois d'Ulster, prédécesseurs de Conchobar... Là aussi une victoire mythique, remportée par les fils de Milé sur les Tûatha dî Danann, avait enlevé à ces derniers toute puissance visible sur l'Irlande, en les forçant à se

réfugier dans l'asile mysterieux d'une invisibilité magique et au fond des cavernes que les collines recelaient dans leurs flancs. Ainsi le poétique récit de l'établissement des fils de Milé, c. à d. de la race irlandaise dans l'île...., entourait le nom de Taitliu de traditions glorieuses auxquelles se joignaient des *souvenirs funèbres*. На собраниі 1-го Августа (начало осени по ирландскому календарю, какъ май былъ началомъ весны) въ Taitliu совершались конские бѣга и продажа женъ (о чемъ выше). Въ Carman'ѣ, въ Лейнстерѣ, подобное празднество, foire locale, отбывалось 1-го Августа черезъ каждые три года (р. 313 слѣд.). Что тамъ дѣжалось, о томъ разсказываетъ поэма, сохранившаяся въ рукописи XII вѣка: ce poème, écrit par une plume chrétienne, insiste à plusieurs reprises sur le caractère religieux que St. Patrice et ses successeurs cherchèrent à imprimer à une institution originairement païenne. Mais le christianisme ne parvint pas à effacer le souvenir de l'idée première des fondateurs. Cette idée était que Carman était un cimetière, que là des rois et des reines avaient été enterrés et que les jeux, les courses de chevaux.... avaient été institués en l'honneur des morts.... On trouve la même doctrine aux foires de Taitliu et de Cruachan: Taitliu et Cruachan ont été dès cimetières avant de servir périodiquement à des réunions d'affaires et de plaisirs. Р. 314: Конские бѣга устраивались, очевидно, въ честь мертвыхъ, какъ и въ Греції (Ib. XXXIII, v. 262—649); но ими не ограничивался репертуаръ Карманской ярмарки: ici on s'occupait du jugement des procès.... là des musiciens jouaient de la harpe et des instruments à vent; plus loin des *files* ou poètes ou savants débitaient les histoires qu'ils savaient par coeur; d'autres qui avaient moins de mémoire, mais qui avaient appris à lire, lisraient des récits de guerre, de pillages, de meurtres et d'amour.... L'auteur chrétien qui nous donne ces détails, montre aussi sur le penchant d'une colline les femmes réunies: elles travaillent à l'aiguille. Il est défendu aux hommes de pénétrer dans l'assemblée féminine; il est défendu aux femmes d'aller dans l'assemblée des hommes: qu'on n'entende point parler d'enlèvements, ajoute le poète, qu'aucune femme ne change de mari, qu'aucun homme ne change de femme (указание на древній обычай). Le 2 jour de la foire devait, suivant le programme nouveau, être consacré aux saints d'Irlande, à la prière, au jeûne. Cette fête chrétienne succédait à une fête païenne en l'honneur de Lug et des morts; de même à Taitliu et à Cruchan qui étaient comme Carman, des cimetières païens.

Брачными сезонами у некультурных народовъ были главнымъ образомъ весна и осень. Сл. Werstermarck, *The history of human Marriage*, стр. 37. Сл. 38—39: Speaking of the Watch-an-dies in the western part of that continent, Mr. Oldsfield remarks: «Like the beasts of the field, the savage has but one time for copulation in the year.... «About the middle of spring, when the yames are in perfection, when the young of all animals are abundant, and when eggs and other nutritious food are to be had, the Watch-an-dies begin to think of holding their grand semi-religious festival of Caa-ro, preparatory to the performance of the important duty of procreation». A similar feast was, according to Mr. Bonwick, also celebrated by the Tasmanians at the same time of the year. The Hos, an Indian Hill tribe, have... every year a great feast in January, «when the granaries are full of grain, and the people—to use their own expression — full of devilry. They have a strange notion that at this period, men and women are so over-charged with vicious propensities, that it is absolutely necessary for the safety of the person to let off steam by allowing for a time full vent to the passions. The festival, therefore becomes a Saturnalia, during which servants forget their duty to their masters, children their reverence for parents, men their respect for women, and women all notions of modesty, delicacy, and gentleness». Men and women become almost like animals in the indulgence of theis amorous propensities, and the utmost liberty is given to the girls.... Among the Sonthals «the marriages (mostly) take place once a year, in January: for six days all the candidates for matrimony live in promiscuous concubinage, after which the whole party are supposed to have paired off as man and wife. The Punjas in Jeypore... have a festival in the 1st month of the new year, where men and women assemble. The lower orders or castes observe this festival which is kept up for a month, by both sexes mixing promiscuously and taking partners as their choice directs. A similar feast, comprising a continuous course of debauchery and licentiousness, is held, once a year, by the Kotaris, a tribe inhabiting the Neilgherries; ...by the Keres in New Mexico; ...by the Hottentots,by some tribes near Nyassa... At Rome a festival in honour of Venus took place in the month of April, and Mannhardt mentions some curious popular customs in Germany, England, Estonia and other European countries, which seem to indicate an increase of the sexual instinct in spring or at the beginning of summer (Mannhardt, *Wald- und Feld-kulte*, I, ch. V, §§ 8—11, p. 449, 450, 469, 480 слѣд.; Kulischer, *Der*

geschlechtliche Zuchtwahl bei den Menschen in der Urzeit, in Zs. f. Ethnologie, 1876, v. VIII, p. 152—6).—Сл. Frescura, Fra i Cimbri dei sette comuni vicentini, Arch. per lo studio d. trad. pop, v. XVII, стр. 38 (*Fiera delle ragazze*, 2-го августа), стр. 39—40: anche durante le Rogazionhi, lunghe processioni fatte in maggio per invocare la protezione divina sulle messi nascenti, costumano i nostri giovani di fidanzarsi... È la 3^a rogazione, alla vigilia dell' Ascensione, la più caratteristica di tutte; una lunga schiera di alpigiani al suone delle campane si parte dalla chiesa di S. Mamerto al mattino—и обходить, со священными пѣснями, все общинное поле, останавливаясь у часовень и на могилахъ, при чемъ священникъ читаетъ обычныя молитвы, segna i quattro venti e prega Dio di preservare i campi dalle tempeste.

Особая остановка — alla chiesetta di S. Sisto eretta nel 1665 alla località detta il Lazzaretto, въ память чумы 1631 г. Здѣсь, говорить, въ былое время, примирялись, во время остановки, самые заклятые враги; дѣвушки дарятъ парнямъ крашанки, l'uovo adorno di fregi, di emblemi, di nomi, che si conserva poi nelle stanze sopra gli armadi. — При остановкѣ у часовни св. Иоанна Крестителя парни отдавали дѣвушекъ — con ciambelle e frutta e questo ricambio è talvolta promessa di matrimonio da celebrarsi in quell'anno (въ Asiago яйца подаютъ въ Маѣ, въ Foza — о Пасхѣ).

VIII. Къ стр. (16—18, 85) 245—7, 329—30: остатки народной пѣсни въ древней Греции, сл. Bergk-Hiller, Anth. lir.: Carmina popularia); подъ № 44 приведена пѣсня о ласточкѣ (сл. современная новогреческая отраженія см. у Rod'a, The costums and lore of modern Greece, p. 136, 271; Passow, Carmina pop., p. 225—9; сл. G. Meyer, Essays und Studien, I, 30 и Martinengo-Cesaresco, Essays in Folk-Lore, 250—2). Къ нар. древне-греч. пѣснѣ см. еще Herondae mimambi, ed. Crusius, Lpz., 1894, p. 70; Homeri hymni rec. Baumeister, Lpz., 1874, p. 89, 90; Bergk-Hiller, l. c. 319: эта послѣдняя пьеса, сохранившаяся въ статьѣ «Περὶ τῆς εὐρέσεως τῶν βουκολικῶν изъ схолій къ идиллиямъ Теокрита (ed. Ahrens, II, p. 4 и Fritzsche, ed. major, I, p. 4), напоминаетъ весеннее славленіе: Δέζαι, τὰν ἀγαθὰν τύχαν, — Δέζαι τὰν ύγείαν "Αν φέρομεν παρὰ τᾶς θεοῦ, "Αν ἐκαλέσσατο τήνα. Подъ богиней разумѣется сициліанская Артемида, которой праздновали весной (Preller, Griech. Myth., index); подъ ύγεία Crusius (Her. Mimambi, Lpz., 1894, p. 37, въ пьесѣ IV, прим. 94) разумѣеться cibus

sacratus, который приносили богине βούχολοι. Reitzenstein, Epigramm u. Skolian, понимает артемидиныхъ βούχολοι въ смыслѣ сакральныхъ скомороховъ (противъ этого Crusius въ Lit. Centralbl. 1894, p. 727); но это не измѣняетъ дѣла: по словамъ статьи περὶ εὐρέσεως βούχολος шелъ въ сосѣднія деревни искать пропитаніе, онъ пѣлъ веселыя и щутливыя пѣсни, которыя заканчивалъ приведенной. Это въ стилѣ побирающихъ скомороховъ, носителей и шутки—и обряда.

IX. Къ стр. (19) 248 слѣд. (*Къ игровымъ пѣснямъ*). Сл. Сумцовъ, Культурные переживания, стр. 148; (игра въ короля) стр. 150—1 (игра въ Воротаря); стр. 151—2 (Костробонько).

Къ литературѣ спора Лѣта и Зимы. Сл. Erk-Böhme, DLh., III, p. 130—1, № 1219—23; сл. 1218, 1226—7. Witzschell — Schmidt, Kl. Beitr. 2 Th. p. 300 и passim.

X. Къ стр. (24) 255. Сл. R. Wünsch, Das Frühlingsfest der Insel Malta, Lpz., Teubner, 1902, p. 70. Отч. въ Byz. Zs. XI B. 244. Стр. 590 слѣд. Рассказъ о весеннемъ празднике, при которомъ присутствовалъ въ 1591 г. разсказчикъ, тогда пѣнникъ. Das Wesentliche an der Feier war die Entrückung des Kultbildes das von einen Priester in einen Garten unter Bohnenblüten geworfen wird; dann dreitägige Trauer in schlechter Kleidung, eine allgemeine Wallfahrt dem Heiligen entgegen, die Auffindung des Bildes und zuletzt die feierliche Rückkehr mit demselben (христіанізованій адонисовскій обрядъ).

XI. Къ стр. (24—5) 255—6. Сл. Этнограф. Обозр. XXXIX: Герасимовъ, Изъ преданий и повѣрій Череповецкаго уѣзда, стр. 132: въ день св. Космы и Даміана (1-го Ноября) дѣвушки закупаютъ въ складчину крупы и масла для каши; сваривши кашу, продаютъ ее парнямъ, кто на сколько пожелаетъ. Парни берутъ на расхватъ.

XII. Къ стр. (25) 256. (*Майскій именъ*). Сл. Zs. d. Vereins f. Volkskunde, 13 Jahrg. H. 3, 1903, стр. 329: сообщеніе о Pfingstgebräuche u. Kirmesfest, wo in der Wahl der «Pfingstkönige», «Schaffners» usw. sich noch deutlich Nachklänge des alten Mailehens darstellen (Pfingstgebräuche: E. Jacobs, Zs. des Harzvereins, 35, 253—259, aus 1586; O. Scholz, Mitteil. des schles. Ges. f. Volksk., 9, 13 слѣд.; F. Hornsinger, Hess. Bl. f. Volksk. I, 137—43; G. Zeller, Z. d. Vereins f. Volkskunde XII, 109 p.—Kirchweih: O. Schulte, Hess. Bl. f. Vk. I, 65—86; Deutsche Volkskunde aus dem östl. Böhmen, 2, 275—99.

XIII. Къ стр. (26) 257. (*Майскія пары, шри и т. д.*). Въ Испаніи водятъ мальчика, спрятанного въ передвижной будкѣ; въ Германіи убираютъ зеленою молодого человѣка, который ходить съ хоромъ славящихъ по домамъ: это der grüne Mann, Grasskönig, Laubmännchen въ Тюрингіи (с. Witzschell, S., S. und G. aus Thüringen, II, 202 слѣд.), der fastige Mai въ Альтмаркѣ (Kuhn, Märk. S., 321; Mannhardt Wald- u. Feldk., I, 324), Pfingstmännchen въ Гессенѣ (Kolbe, H. Vs., 2 Aufl., p. 60), Pfingstl въ нижней Баваріи и Саксоніи (Panzer, Beitr., I, p. 235; Sommer, S., M. u. G. aus Sachsen, p. 155), Lotzmann въ Швабіи (Birlinger, Vth. aus Schwaben. I, 120 слѣд.), Pfingstkäs въ Бреслау (Zs. des Ver. f. Volksk., VII, 328—9), Maienrösslein и Pfingstklötzel въ Эльзасѣ (Stöber, Els. Vb., 56; Mannhardt, I. c. I, 312).— Въ Саксоніи передъ обходомъ Pfingstl'я совершается такой обрядъ («den wilden Mann aus dem Busche jagen»): одинъ изъ парней заранѣе убѣгаетъ въ лѣсъ и прячется въ кустахъ, его ищутъ, находятъ, но онъ снова убѣгаетъ; въ него стрѣляютъ холостыми зарядами, онъ падаетъ, точно убитый; тогда къ нему отряжаются кого-нибудь, играющаго роль доктора, который оживляетъ его, послѣ чего его торжественно ведутъ въ деревню (Mannhardt, I. c. I, 333).— Въ швейцарскихъ и сѣверно-нѣм. пѣсенкахъ о Maienrösslein, Pfingstblume, отразилось нѣчто вродѣ танца, исполняемаго фигурой, схожей съ Pfingstl'емъ (Sammlung von schweizer - Kühreihen u. Volksliedern, 3 Aufl. Bern, 1818, p. 56—7, прив. у Tobler'a; Erk-Böhme № 1239, III, p. 143).— Въ нижней Баваріи молодые парни на Духовъ день разѣзжаютъ по селу верхомъ, взявъ съ собой Pfingstl'я, покрытаго съ ногъ до головы соломой; эту соломенную куклу бросаютъ по окончаніи обѣзда въ колодецъ. Такъ дѣлаютъ и въ Мейнингенѣ (Zs. d. Ver. f. Volksk., III, 89; Panzer, Beitr., I, 235—6; Mannhardt, I. c., I, 320; Witzschell, I. c., 13). На нижнемъ Рейнѣ обливаютъ дѣтей, ходящихъ съ наступлениемъ весны по домамъ съ зелеными вѣтками и поздравленіями (Montanus, D. V., p. 29); то же въ Баваріи сл. Erk-Böhme, III, № 1245, p. 146; та же пѣсня у Panzer'a, Beitr., I, 235); около Эйзенаха и въ Нассау, дѣти, ходящія съ Pfingstl'емъ или Laubmännchen, сами обливаютъ эти куклы водою (Mannhardt, I. c., I, 320—1). Въ верхней Баваріи, въ понедѣльникъ послѣ Духова дня, водятъ по селу всадника, на котораго надѣта огромная шея лебедя; туловище лебедя дѣлается изъ зелени и болотныхъ цветовъ. Эта фигура называется Wasservogel; ее старательно обливаютъ водою (Panzer, I. c., I, 234; ib. II, 84: то же Баденѣ).— Лазарицы (въ Лазарицы)

зареву субботу) у турецкихъ сербовъ: одна изъ дѣвушекъ одѣвается въ мужской костюмъ, обвязываетъ около фески на головѣ платокъ или шаль, убираетъ себя цветами, а въ руки беретъ булаву, которую держитъ на правомъ плечѣ. Другая одѣвается въ праздничное платье, на голову набрасываетъ дувакъ (платокъ изъ прозрачной красной кисеи, надѣваемый на невѣсту), который спускается до пояса: это лазарица; она также въ цветахъ. При посѣщеніи домовъ лазарь и лазарица танцуютъ подъ звуки пѣсень; они напоминаютъ Mairöslein (и Pfingstl'я), исп. mayo и maya, англ. lord and lady of may; сл. ит. sposa, франц. mariée, нѣм. Maibraut, Pfingstbrûd; кралицу и краля славянскихъ обходовъ на Троицу (сл. Ястrebовъ, Об. и п., стр. 94—7; Карапић, Жив. и об., стр. 35—7; Милићевић, Ж. срб. селв., 126; Милојевић, П. и об. 173—183; Березинъ, Хорв., Слав., Далм. и т. д., II, стр. 551—2). Обходы съ кралемъ и кралицей сохранились въ Сербіи и Болгаріи, въ менѣе ясныхъ чертахъ у словенцевъ, чеховъ, моравовъ и поляковъ (сл. Stojanović, Slike iz dom. života slovansk. nar. стр. 54—9; Bartoš, Lid a nár(od) II, стр. 34—5; Hanuš, Bajeslov. Kalendář, 152—7; Sobotka, Roslinstwo, 54, Český Lid., IV, 32—33 и 2; VII, 229—30, VIII, 291; Gloger, Piésni ludu, 15; Erben, Prostonár. p. a ř. 74—5; Zíbrt, Jízda «kralů» въ Čes. Lid, II, 1892 г., стр. 105 слѣд.). — Въ Кroatіи и у словенцевъ на Юрьевъ день водятъ парня, съ ногъ до головы покрытаго зелеными вѣтками; эту фигуру зовутъ Зеленымъ Юриемъ (Pajek, Črtice iz duš. žitka St. Slovencev, 64; Mannhardt, I. c. I, 314; Аоан. Поэт. возр., I, 706; Mâchal, Nákres Slov. bajeslovi 195; Arch. f. slav. Phil. XII, 306—7). — Обрядъ Тополи (въ Харьковской и Полт. губ.): ее изображаетъ дѣвушка; поднявъ руки вверхъ, она соединяетъ ихъ надъ головою, на руки навѣшиваютъ монисты, ленты, платки, такъ что головы не видно; грудь и станъ также за вѣшиваютъ плахтами; иногда, чтобы избавить дѣвушку отъ необходимости постоянно держать руки поднятymi, прикрепляютъ у плечъ двѣ палочки, а подъ головою связываютъ ихъ подъ острымъ угломъ (сл. Сумцовъ, Культурныя переживанія, 146; сл. Чубинскій, Труды этн. эксп., III, 210, № 26; Снегиревъ, Простонар. русск. пр., IV, 47; Владимировъ, Введ., стр. 104 и 103). Какъ Тополю, водятъ въ Панскомъ уѣздѣ на Троицу дѣвушку, окутанную зеленою, подъ названиемъ «кустъ»; въ «кустовыхъ» пѣсняхъ, которые поются при обходахъ, намекается на предстоящую свадьбу парня или дѣвушки (Безсоновъ, Бѣл. пѣсни, 25—27; Булгаковскій, Пинчуки, въ Зап. Имп.

Р. Г. О., т. XIII, вып. 3, стр. 55, № 5; Lud, стр. 140, § 2). Въ Минусинскомъ округѣ Енисейской губерніи на семикѣ одѣваютъ березку въ женское платье и приносятъ ее въ клѣть, гдѣ она находится до Троицы. Дѣвушки приходятъ въ это время провѣдать «гостейку» и поютъ передъ нею пѣсни (Сахаровъ, Сказ. II, 203—4. Снегиревъ, ib., III, 134; Mannhardt, I. c., I, 158).—Какъ Pfingstl'я, Wasservogel'я, такъ и Лазарицу (Ястребовъ, I. с., 97, прим. 2) обливаютъ водою; Зеленаго Юрья (Mannhardt, I, 314) и минусинскую гостейку (Сахаровъ, Сказ., II, стр. 203—4) бросали въ воду.

Сл. Smith въ Romania, II, р. 62 (весенняя пѣсня изъ окрестностей Лиона: sieurs et darmes, la Reine vous prie); въ Портugalіи и Провансѣ водятъ дѣвушку и парня: maio и maia (Braga, O Povo portuguez, II, р. 281, 282. Riv. d. trad. pop. III, 250—1); сл. Romania VI, 52, 67 и Ballesteros, cancionero gallego II, 194—8; то же въ Италии (сл. Rezasco, Maggio, р. 66: Vivo viva il nuovo sposo e la sua sposa pulita); въ Англии lord и lady of May (Bread, Pop. Ant. I, 233—4; сл. Folk-Lore, 1894, р. 442—3; ib. VIII, 1897, р. 608); въ Германіи (Maibraut, Pfingstbrûd, сл. Manndhardt, Wald u. Feldk., I, р. 438; Erk-Böhme III, р. 145 и № 1243. Panzer, Beitr. II, р. 81, № 124; Sommer, S. M. u. G. aus Sachsen u. Thüringen, р. 151; Zs. d. ver. f. Volkskunde, II, р. 82).

XIV. Къ стр. (27) 258 слѣд. (*Майскія шрьы*). Сл. Usages et chansons de Mai въ Rev. d. trad. pop. t. XIII, 203 слѣд., t. XV, р. 264 слѣд.

XV. Къ стр. (37) 270 слѣд. На бурятской свадѣбѣ невѣста, передъ отѣзdomъ къ жениху, прячется, ее разыскиваютъ; это зовется «басагахородулха» = прятать дѣвицу (сл. Хангаловъ въ Этногр. Обозр. XXXVI, стр. 51).—Когда невѣсту ведутъ къ жениху, наперѣдъ посылаютъ верхового, обыкновенно пожилого человѣка, знающаго обычай и хорошо поющаго. Этотъ посланный называется «туруше» (передовой). У него за поясомъ заткнута стрѣла съ желѣзнымъ наконечникомъ, и на выемкѣ стрѣлы привязана бѣлая миткалевая лента. Когда туруше подѣдетъ къ дому родителей жениха, онъ соскакиваетъ съ коня, бросивъ поводья на сѣдло, не привязывая коня, и входить въ юрту, держа въ рукѣ стрѣлу, которую, входя въ юрту, втыкаетъ покрѣпче въ столбы юрты... гдѣ она остается до окончанія свадѣбы... Стрѣла означаетъ душу человѣка: какъ

отъ привезеной стрѣлы въ колчанѣ прибавляется въ юртѣ стрѣла, такъ и невѣста должна умножить потомство мужа (иногда вмѣсто стрѣлы втыкаютъ ножикъ; то и другое символизируетъ, несомнѣнно, фаллусъ; сл. 66: если жениха на свадьбѣ нѣть, что случается у бурятъ, то невѣста несетъ въ правой руцѣ стрѣлу. Что до миткальской ленты, то во время церемоніи благословенія, она привязана къ безыменному пальцу правой руки невѣсты, за нее держится женихъ; это зовется орѣдѣніемъ=кольцомъ). Туруше сажаютъ на почетное мѣсто, и онъ поетъ:

Стрѣлу изъ перьевъ орла
За поясъ заткнувъ, Ѣхали рысью;
Къ вашему Богдо — Заяну,
Молясь, въ покровительство прїѣхали.
Стрѣлу изъ перьевъ тарбажи
На ведро заткнувъ, Ѣхали;
Къ вашему отцовскому Заяну,
Молясь, въ покровительство прїѣхали.
Стрѣлу изъ перьевъ харабеаръ
На боку заткнувъ, Ѣхали;
Къ Вашему царю-отцовскому заяну,
Молясь, въ покровительство прїѣхали.

(другой варьантъ ib. 54—5). Когда туруше кончитъ пѣть, тогда со стороны жениха въ отвѣтъ поютъ:

Стрѣлу изъ перьевъ орла,
Вы прїѣхали, за поясомъ заткнувъ;
Толстый тэнги (столбъ) встрѣтилъ.
Стрѣлу изъ перьевъ тарбажи,
Вы прїѣхали, на ведро заткнувъ.
Съ полками столбъ встрѣтилъ.
Стрѣлу изъ перьевъ харабасаръ,
Вы прїѣхали, на боку заткнувъ.
Съ поперечниками столбъ встрѣтилъ.

(варіанты ib. 55). — 57 слѣд.: Отцы жениха и невѣсты садятся рядомъ у очага, впереди каждого изъ нихъ стоитъ въ посудинахъ вино; два шамана, одинъ со стороны жениха на правой руцѣ, а другой съ невѣстиной на лѣвой брызгаютъ виномъ, держа при этомъ другъ друга за руки; . . . каждый изъ нихъ по своему старается произнести покраснорѣчию молитву; 59: ихъ совмѣстное обращеніе къ заянамъ во время брызганья означаетъ, что они соединяютъ представителей двухъ родовъ... Послѣ этого начинается попойка до утра.

Старшіе уходять спать, молодежь остается у молодыхъ и веселится; каждая сторона старается другъ другу спѣть пѣсню и пляшутъ национальную пляску, пьютъ вино и тарасунъ. Пріѣхавши гости со стороны невѣсты поютъ, м. пр., слѣдующія пѣсни, р. 60:

Краснаго огня начало
Отъ двоихъ — трюта и кремня,
Старшай свадьбы начало
Отъ двоихъ — Заяна и бурхана.
Горящаго огня начало
Отъ двоихъ — веточки и огнива,
Начало всего народа
Отъ двоихъ — Заяна и бурхана.
Въ очагѣ огня начало
Отъ огня мѣднаго огнива,
Нарядной свадьбы начало
Отъ Заяна и бурхана.

Краснаго огня начало
Отъ труда и огнива,
Старшай свадьбы начало
Отъ свата и сваты;
Синяго огня начало
Отъ огнива и кремня,
Начало многолюдной свадьбы
Отъ свата со сватьей.

Со стороны жениха на каждую пѣсню тоже поютъ отвѣтъ; м. пр. 61:

На возвышенности Алтая
Золотисто-соловой привязанъ,
Въ ожиданіи изъ чужбины сватовъ,
Въ кувшинѣ вино готово.
На возвышенности Хохоя
Сивый изъ сивыхъ привязанъ,
Въ ожиданіи множества сватовъ,
Въ кувшинѣ вино готово.

Сквозь облако свѣтить вышедшее
Сѣро-желтое солнце,
Передъ стариками поеть
Изъ чужбины пріѣхавшій сватъ.
Съ юга свѣтить вышедшее
Красно желтое солнце,
Прежнее (по старинному) поеть
Нашъ ровесникъ сватъ.

Черное море, названное нами,
Имѣть дно изъ чериаго камня;
Весь народъ, названный нами,
Имѣть рожденіе изъ утробы матери.
Водяное море, названное нами,
Имѣть дно изъ краснаго камня;
Люди и народы, названные нами,
Имѣютъ рожденіе изъ утробы матери;
Синее море, названное нами,
Имѣть дно изъ синяго камня,
Множество народа, названное нами,
Имѣть рожденіе изъ утробы матери.

Вообще молодежь обоего пола поетъ разныя пѣсни; не ограничиваясь только свадебными, которыхъ у бурятъ много, но также пѣсни другого содержанія.

XVI. Къ стр. (39) 273. (*Сказители на свадьбѣ*). Сл. Haas, Rügensche Skizzen (Greifswald. 1898) и Folk-Lore v. XI, № 2, June 1900, p. 202—203: пять bridermaids (изъ нихъ одна старшая prepared a bride-vat. This was an all high, in forme of a crown or a house, of twisted box-or fir-twigs, decked with gilded apples and tinsel, yellow, red, and golden streamers, and bunches of gilded nuts. In was furnished with arms, on which an egg, a cock, and a little bridal bed were placed. At the top was a cradle. Inside, it was filled with rolls of bread, with fruit and nuts, occasionally pewter plates. Fifty candles completed its splendour. Sometimes it took the shape of a ship with sails, which was represented as coming from Mount Lebanon and desirous of finding a haven in the house where the wedding was celebrated. The presentation of this bride-wat was part of the ceremonies; and the Brautführer made at the presentation a long speach in verse, accompanied in a low voice by the whole party. It was very unlucky for him to stumble or forget the words. After the feast there was of course the dance. When midnight was past, the bride's crown was sometimes danced off, and there ensued a wild struggle betwenn married and unmarried for the possession of the bride. The married party being successful, the crown was replaced by a hood worn by young married women, and the dance continued until morning.

XVII. Къ стр. (41) 275. (*Погребальные маски*). Abercromby, Funeral masks in Europe (Folk-Lore, VII. (1896) p. 351—66.

Къ той же стр. слѣд. (*Похоронныя пляски и причитанія у Альгонкинцевъ*). Сл. Letitia Moon-Conard, *Les idées des Indiens Algonquins relatives à la vie d'outre-tombe* въ Rev. d. l'hist. des religions, t. XLII, № 1, Juillet — Août, p. 22—3.

Сл. Этнограф. Обозрѣніе, XXXIX, стр. 151 (Малорускія за-плашки).

XVIII. Къ стр. (64) 302 слѣд. (*Народные пѣсни въ Абиссинии*). Сл. Булатовичъ, Отъ Энтото до рѣки Баро. Спб. 1897, стр. 90—1 (азмари и лалибала). Сл. Долгановъ, Страна Эвіоповъ, Спб. 1896, стр. 174 слѣд.: *азмари*, стр. 114—6; стр. 177—8: плакальщики и плакальщицы; профессиональные «алкачъ»; сл. 151—3: брачныя пляски и игры.

XIX. Къ стр. (66—7) 306—7. (Единоличный драматический сказъ). По мнѣнію Hertling'a (*Questiones mimicae. Strassb. Diss. 1899, 41 р.*) миміамбы Геронда сказывалъ рецитаторъ, сопровождая ихъ дѣйствіемъ; Reitzenstein предполагаетъ, что совершалось это на пирахъ, Hertling представляетъ себѣ — einen thymelischen Agon im Theatre, in dessen orchestra wie Herolde, Rhetoren, Rhapsoden u. aller Arten Virtuosen, so auch der Rezitator dieser Mimiamben aufgetreten sei.... Aus der sehr verbreiteten drolligen Nachahmung aller möglichen Wesen, Dinge, Personen auf den Mäerkten u. bei Symposien gewerbsmässig geübt, habe sich der Mimos des Sophron entwickelt der nur zufällig, vielleicht in Folge von Platons Interesse, aufgezeichnet u. so litterarisch erhalten sei.

XX. Къ стр. (67 и 120—1) 307 и 371—2. (Амебейная complainte къ плясовой драмѣ въ Корѣї). Сл. Journ. Asiat. IX sér., t. 10, 1897. *Courant, La complainte mimée et le ballet en Corée*, p. 74—6: Les complaintes ont habituellement pour sujet une action légendaire ou anecdotique; elles sont accompagnées par le tambour et la flûte, récitées sur un ton de psalmodie et mimées par un ou deux acteurs, baladins qui mènent une existence nomade et appartiennent aux derniers rangs de la population, à tel point que l'entrée de Seoul leur est interdite.—Балеты sont dansés par des femmes qui forment une corporation spéciale presque héréditaire; ils rappellent des légendes nationales ou chinoises; некоторые sont accompagnés de chants en langue indigène, mais, pour la plupart, l'accompagnement est une poésie en langue chinoise. Авторъ видѣлъ народныя представлени¤ такого рода: l'orchestre, placé en

avant de la scène, se composait d'un instrument à cordes, d'une flûte et d'un tambourin: ce dernier marquait une mesure à quatre temps, deux coups sonores, suivis d'un coup sec, puis d'un silence. L'un des acteurs, avec un manteau bleu clair, un capuchon gris, un masque de nègre, représentait un bonze; deux autres, avec le costume ordinaire, avaient des masques grotesques de vieillards; deux femmes portaient les vêtements coréens, deux autres étaient habillées à la chinoise. L'action, de texture très lâche, était celle d'une farce grossière: un vieillard a une jeune femme; il veut la défendre contre les entreprises d'un jeune homme; il est souffleté par sa femme et cherche à tuer l'amant qui s'empare du poignard. Pas un mot n'était prononcé, tout était exprimé par la pantomime; celle-ci même était très brève et coupée de danses de différents rythmes ayant un léger rapport avec la situation des personnages.

XXI. Къ стр. (69) 310. (Чередованіе прозы и стиховъ). Сл. Сборникъ для опис. мѣстн. и племенъ Кавказа, т. XIX, стр. XIX: сказка Молла Касумъ, закавказскихъ татаръ, записанная отъ профессіональныхъ пѣвцовъ и сказочниковъ ашиковъ.

XXII. Къ стр. (70) 311. (Къ концу гл. V). Mündlicher Vortrag von Schriftwerke. (Сл. Rohde, Der griech. Roman u. seine Vorläufer, 2 Aufl., p. 327).

XXIII. Къ стр. (79) 323. (Какъ забываются, замѣщенные дру-
гими, пѣсни объ историческихъ лицахъ). Сл. Menendez y Pelayo, Indagaciones y conjeturas sobre algunos temas poéticos perdidos, I. Alvar. Fañez (La España Moderna, 1 Dic. 1903, p. 109 слѣд.), II. Munio Alfonso. El conde Rodrigo González (ib. 1 Enero 1904), p. 94 слѣд.).

XXIV. Къ стр. (92) 337. (Къ свадебн. п. Сапфо: «Дѣвичья
доля!»). Сл. въ малорусской свадьбѣ (Этногр. Обозр. XXXVII,
стр. 99): дружки невѣсты поютъ: Прощай, прощай, Марусячко,
сестрица наша, уже жъ мы не твои, ты не наша.

XXV. Къ стр. (93) 338. (Къ формѣ старо-франц. лирики). Сл.
Stengel, Ableitung d. prov. franz. Dansa u. des franz. virelai-formen, въ
Zs. f. franz. Sprache u. Litteratur, t. XVI, 94—101 (сл. Romania № 111,

стр. 466: de la ballada provençale primitive, à 3 strophes, sort d'une part la ballada prov. ordinaire, identique à la ballette française, de l'autre la dansa primitive, qui existe aussi en français, où elle est dénommée également ballette; cette dansa primitive donne naissance, d'une part, à la dansa provençale ordinaire, et de l'autre, sous l'influence du rondeau, au virelai français et à la bergerette, plus voisine encore du rondeau que du virelai. Такимъ образомъ Stengel несогласенъ съ P. Meyer'омъ, qui identifie la dansa française au virelai. Il donne un utile tableau du schéma des dansas provençales).— Онъ же, ib. t. XVIII, стр. 85—114: Der Strophenausgang in den ältesten franz. Balladen und sein Verhältniss z. Refrain und Strophengrundstock (сл. отчетъ Jeanroy въ Romania l. c. стр. 468—9: Après avoir révoqué en doute l'existence en anc. fr. du mot ballette, qui serait une fausse graphie de balaide=balade, M. S. essaye de démontrer que primitivement le refrain de la ballette était identique dans sa structure aux derniers vers de la strophe. Cette théorie peut être juste, et j'avais été tenté moi même de la soutenir (origines, 402), но теории противятся тексты, которые St. пытался исправить согласно съ ней; не всѣ поддаются этимъ исправлениямъ, и авторъ принужденъ, р. 113, сознаться, qu'on perdit assez vite le sentiment de ce rapport et que sous l'influence de la strophe de chansons... il finit par s'obscurcir tout à fait. C'est à peu près en somme ce que j'entendais en disant ibid. que la ballette composée primitivement de strophes monorimes... avait emprunté aux chansons leurs formes savantes et que la liaison de la strophe et du refrain s'était faite, sous cette influence, d'une manière très libre.— Къ refrain сл. Schultz-Gorn, Zwei altfranz. Dichtungen. La châtelaine de St. Gille. Du chevalier au Bardsel (Niemeyer, 1899).

XXVI. Къ стр. (93) 338 слѣд. (Рыцарская любовь и вассальность). Сл. Wechssler, Frauendienst und Vassallität, Zs. f. franz. Sprache u. Litteratur. Band XXIV, Heft 1—3 (1902), стр. 159 слѣд.

XXVII. Къ стр. (94) 340 слѣд. (Къ древнимъ сюжетамъ народной итальянской лирики). Сл. Cesareo, Le origini di poesia lirica in Italia (Catania, Giannotta, 1899): contrasto amoroso fra uomo e donna (p. 38 слѣд.); sfogo di donna innamorata (p. 44 слѣд.); dialogo colla madre della fanciulla che va al marito (p. 51 слѣд.), lamento della mal maritata (63 слѣд.), alba (p. 70 слѣд.).

XXVIII. Къ стр. (97) 344 слѣд. (Къ рыцарской любви). Сл. Gorra, La teorica dell' amore e un antico poema francese inedito въ Gorra, Fra drammi e poemi (Milano, Hoepli, 1890); Gherardini, L'amore e la donna nei poeti del dolce stil nuovo, въ Atti dell' Accad. olimpica di Vicenza an. 1898, publ. nel 1899.

XXIX. Къ стр. (98) 345. (Troutlied). E. Martin не согласень, что troutlied ходили среди рыцарей: Heinrich v. Melk говоритъ о «leichtfertigen Minnedichtung der Pfaffen und von den trütspel, die sie ihren Weibern bringen....; die Laien werden ausdrücklich ausgeschlossen. Für den Ref. sind diese Stellen ein Hauptzeugniss dafür, dass es eine deutsche Minnedichtung der Geistlichen vor der ritterlichen gab».

XXX. Къ стр. (101) 349. (Къ Нейдгарту). Сл. Gusinde, Neidhart mit dem Veilchen (Breslau, 1899) р. 10—11; авторъ полагаетъ, что подмѣна фіалки испражненiemъ¹⁾—грубое искаженіе древней замѣны: сухимъ листомъ, что, въ противоположность съ фіалкой, могло обозначать отказъ (юноши) отъ любви къ женщинѣ.—Р. 12: въ разсказѣ о Нейдгартѣ и фіалкѣ ist der Tanz von grosser Bedeutung. Wenn in den epischen Bearbeitungen die dem Tanze vorangehenden Ereignisse mehr in den Vordergrund treten, der Reien dagegen ziemlich kurz erwähnt wird, so liegt das in ihrer Eigenart, der das Pantomimisch-dramatische des Tanzes weniger gelegen war; иначе въ драматическихъ обработкахъ того же сюжета. Его источники: Am wiener Hofe war es zur Zeit Leopold VI, des Glorreichen Sitte, im März in den Donauauen das erste Veilchen aufzusuchen. Der Finder benachrichtigte sogleich den Herzog, der mit seinem gesamten Hofstaate auf den Anger zog, um das Zeichen des nahenden Frühlings zu begrüssen. Das sittsamste Mädchen durfte die Blume abpflücken und an den Busen stecken. Придворный обычай, приладившій къ своему этикету народный обрядъ; но въ разсказѣ о Veilchen черты послѣдняго преобладаютъ; р. 13—14. Neidhart soll nämlich nicht bloss das Veilchen suchen, damit es die Herzogin pflücken kann, sondern es liegt ein tieferer Sinn dahinter, der im St. Pauler und im grossen Neidhartspiel deutlicher hervortritt. Der Finder der Blume soll zugleich der Maibuhle der Herzogin sein. So erklärt sich erst die grosse Freude Neidharts über seinen Fund... und ...die grosse Entrüstung der Herzogin und

1) Сл. однако подобную подробность въ Contes d'Eutrapel (l. c., 10, прим. 1).

die bittre Klage des Ritters. Авторъ—14—напоминаетъ майское дерево и пляски вокругъ него: Maichen; der Bursche erhielt ein Mädchen im feierlichen Maigericht zugesprochen; она оставалась въ теченіи года его Maienbuhle, онъ могъ съ ней танцовать; отношенія складывались и другія: MSH III 217^a 3: «des wil ich disen sumer lank sin slafgeselle sin», Neidh. XVI 22: «Vrouwen vil wellent daz si jârlanc Trûtwin triute». Keller, Erz. a. altd. Hdschr. 195,^{sc}; «Und In dem Iar ain magdadein Das sol dein holder pül sein». Ebenso MSH II 84^a 4. (15: Авторъ напоминаетъ обходы Nerthus у Тацита Germ. 40, сл. Mannhardt, Wald- u. Feldkulte I, 184—и дѣтскую плясовую пѣсенку изъ Спилзіи: «Um die Linde gehts geschwinde, bis er seine Liebste fand»).—P. 15: Der fahrende Spielmann, welcher das Veilchenfest für sein Gedicht verwandte, hat sicherlich ebenso spöttisch und verächtlich wie seine Zuhörerschaft auf der Burg auf die Bauern herabgesehn, ...aber der poetische Reiz der symbolischen Feier blieb ihm nicht verborgen. Mit lebendigen Farben hat er nach ihrem Muster die flache Hofzeremonie für sein Publikum in seinem Gedichte wieder aufgefrischt. Den Maientanz und die Maibühlenschaft (Die ritterlichen Kreise haben sich übrigens der Maibuhlenpoesie nicht verschlossen, sondern sie vielmehr nach ihrem Geschmacke ausgebildet. Die Maichen bestanden immer nur zw. Unverheirateten, die Maigrafen übten mitunter sogar eine gewisse Zuchtpolizei aus. Auch für unsre Erzählung gilt die Herzogin als ledig. Dass dagegen die Ritter die Maibühlenchaft nicht nur pflegten, sondern auch auf verheiratete Frauen übertrugen, lehrt das Beispiel des Hans von Ems, der 1474 im Bade Ober-Baden im Aargau seinem Freunde Hans von Waldheim seine Frau für die Dauer der «Saison» zum Maibuhlen gab.... Mag hier auch französischer Einfluss eine grosse Rolle spielen, der Ausdruck «Maienbuhle» beweist doch den Einfluss der deutschen Sitte) hat er aus jenen Vorbildern übernommen, und der Tanz ums Veilchen entspricht dem Umtanzen des Maibaumes. Herzogin und Ritter traten an Stelle von Bauer und Bauernmädchen; die ganze Schilderung bewegte sich in der Sprache höfischer Spielmannspoesie.... Aber erst nach Neidharts Beispiel konnte es der Dichter wagen, volkstümliche Motive in eine höfische Dichtung einzuführen, wenn auch in stark überarbeiteter Gestalt. Hatte man vorher verachtend auf das Volk und seine Poesie herabgesehen, so hatte Neidhart erst seinen Standesgenossen gezeigt, wieviel Schönes dort verborgen lag.... Was lag nun aber näher, als Neidhart, dessen Beispiel diesen Umschwung herbeigeführt hatte, selbst einzutreten?

führen, gewissermassen als Rechtfertigung? — P. 16 слѣд.: фіалка == Unterpfand der eingegangenen Maienbuhlschaft, какъ кольцо или вѣнокъ (р. 17, либо дѣвушка даетъ парню вѣнокъ als Zeichen besondrer Zuneigung.... Diesen Sinn hat der Kranz z. B. bei Neidhart, 21,¹⁴, wo das Mädchen die Übersendung des Kranzes geradezu als Grund seiner Treue anfrt. Neidharts Verhtniss zu den Dorfschnen ist berhaupt sicherlich als Maibuhlschaft aufzufassen. — (Ib.: Kranz als Preis im Wettgesange, сл. Uhland III 205 слѣд.: vgl. ein Kranzwerben aus d. 17. Ihd. als Gesellschaftsspiel, Zs. d. Ver. f. Volkskunde VII, 1897, 382 слѣд.; Schultz, Deutsches Leben 421; Weinhold, Weihnachtsspiele u. Lieder 182 ist ein Kranz von Rosmarin, mit Mnzen behngt, von der Hirtenfrau als Preis frs Rselraten ausgesetzt). — P. 19 слѣд.: *Das St. Pauler Spiel*: Zwiegesprch, эпической части нѣть; darauf ist der Verfasser nicht gekommen, durch Selbstgesprche die epischen Teile wiederzugeben, wie es die sptern Spiele thun. Wir haben hier ein sehr lehrreiches Beispiel recht urwuchsiger Dramatisierung. Авторъ помогъ дѣлу такимъ образомъ: aus den Reden der beiden Personen stellte er sich eine Vorrede zusammen, kunstlos und einfach wiederholend, was in spteren Versen gesagt war, wobei seine Einleitung stark von der lebendigen Sprache des eigentlichen Spiels absticht (единоличный сказъ, сопровождаемый мимикой действующихъ лицъ, могъ лежать въ основе); р. 22: языкъ — die Sprache der hfischen Spielmannsdichtung; р. 24: XIV вѣка; р. 25: das lteste berhaupt erhaltenne weltliche Drama, виѣ вліянія духовнаго, безъ связи съ Fastnachtsspielen; р. 26: обработана Herzogin; остальные подразумѣваются. — P. 26 слѣд.: Dass lange vor den Fastnachtspielen Spielmannsauffrungen im Schwange waren, ist zweifellos. Man muss zunchst erwgen, dass die Volkspoesie an sich einen stark dramatischen Charakter hatte, besonders die altheimische Rsel- und Streitdichtung, die man sich zum weitaus grsten Teile von 2 Personen seit jeher vorgetragen denken muss. So hat auch die Spielmannsdichtung, die zwar nicht in den Stoffen, aber doch in der Behandlungsweise ganz u. gar in den Bahnen der volkstmlichen Poesie wandelt, ein stark dramatisches Geprge. Es wechselt darin oft durch ganze Versreihen die sprechenden Personen, ohne dass sie besonders eingefrt wrden. (Uhland III, 181 слѣд., 17 слѣд.; Jantzen, Gesch. d. deutsch. Streitgedichtes im M. A. Germ. Abhandl. XIII, p. 95 ff. и Ztschr. f. vgl. LG. N. F. 11, 287 слѣд.; Michels Anz. f. d. Alterth., 25, p. 159). Сказитель одинъ (маски и игра физіономіи и жестовъ при изображеніи разныхъ лицъ)

или двое; въ послѣднемъ случаѣ не опускались и эпическая Verbindungsformeln, die meist nur wenig Worte, hochstens einen Vers oder ein Reimpaar ausmachten. Es wurde nicht storend empfunden, wenn sie auch blieben u. vom Sprecher selbst mitgesprochen wurden. So sprechen im Fsp. 128 (Nchl. 225,5. 18) die Spieler noch die Einleitung mit (Die Selbsteinfhrung, die nach dem Muster der Aufzge sich auch in andern Spielen findet, kann man als einen Versuch ansehn, die epischen Verbindungen mit der Rolle selbst zu verschmelzen. Vgl. Mone, Schauspiele des Mittelalters II 30).

Dieselbe Entwicklung hatte Jahrhunderte fruer das geistliche Drama durchgemacht, als man den epischen Verbindungstext ebenfalls von den Trgern der dramatischen Rollen mitsingen liess (Michels, Anz. f. deutsch. Alterth. 21, p. 95 слѣд.). Auf diese Weise war es mglich, dasselbe Stck je nach Bedrfniss als Einzelspruch oder als Drama vorzutragen (p. 28: примѣры; тогда драма могла быть сценической обработкой Spruch'a, уже исполнявшагося драматически: Traugemuntlied несомнѣнно пѣлась двумя пѣвцами. Hans Folz обработалъ ее въ Spiel; нѣсколькими пѣвцами исполнялось и Wartburgkrieg); p. 29: и въ лирикѣ часто сказывается діалогический характеръ: такъ Liebeslied, Tagelied (Wackernagel, Kleine Schriften, II, 72, Schrder in Gosches Jahrb. f. Lit.-Gesch. I, 47); und wenn in den Handschriften ein dialogisch gehaltner Lied oft als «ein Wechsel» bezeichnet wird (Burdach, Reinmar u. Walther, p. 79 слѣд.), so kann sich das auch auf den Vortrag beziehn.... Розвитку діалогизму способствовали і. марионетки.— Отъ шильмановскихъ пьесъ ничего не сохранилось. — P. 30: къ нимъ принадлежитъ St. Pauler Spiel; 31: текстъ — только аккомпанементъ пляски. — 32: das St. Pauler Spiel ist das einzige Zeugniss fr die spielmannsmssige Behandlung eines derartigen Tanzstoffes in Dramenform aus der Zeit vor dem Fastnachtspiel. Dass solche Stcke aber mehr im Schwange gewesen sind, lsst sich aus ihrem Fortleben im Fastnachtspiel schliessen. Dieses hat bekanntlich von verschiedenen Seiten her Zuflusse erhalten, die ihre Selbstndigkeit z. T. verloren hatten und sich nun im Fastnachtspiel, wie in einem grossen Sammelbecken vereinigten. — P. 33: весення плясовыя пѣсни перешли въ Fastnachtspiele; нѣкоторыя Fastnachtspiele и обозначаются, какъ Tanz. (Къ мимикѣ и драматическому элементу въ народн. пляскахъ сл. хронику Peter von Hagenbach, [Mone, Quellsammlung der badischen Landesgeschichte, III], cap. 76 слѣд., p. 324 слѣд.; с.л. Ruodlieb ed. Seiler, IX, 50 слѣд. и стр. 193). Весення пля-

совыя игры: Maibuhlen, p. 34: Schwerttanz, Schempartlauf (перешли къ Fastnacht) и др.— 33: роды танцевъ: Aufzug, Reienrundtanz, ихъ соединение Figurentanz; 38 слѣд.: Aufzug въ Fastnachtspielъ: Was.... auf dem Marktplatzе geschah, das versuchten.... die herumziehenden Spielbanden im Fastnachtspiel.... Die meist humoristische Erklarung, warum die einzelne Person od. die Gesellschaft so oder so erscheint, was sie vorstellen soll u. s. w., und das Voruberziehn der einzelnen Spieler den Hauptreiz. Diese alte, dramatisch hochst unvollkommene Form (NB: авторъ считаетъ ее принадлежностью народной игры, что невѣроятно; она предполагаетъ труппы, зазываніе игречовъ; нѣтъ-ли вліянія церковныхъ представлений?) ist unter dem Zwange jener Vorbilder (т. е. народныхъ) lange beibehalten worden. Die spruchartigen Reden sind dabei sehr regelmassig.... die Reden ein starrer Begleittext, kein Ausdruck wirklicher Handlung.... Die Spieler sprechen einer nach dem andern, in das engere Gesichtsfeld des Zuschauers trat, um bald fur immer zu verschwinden und dem nachsten Platz zu machen; 39: большинство верхненѣм. Fastnachtspiele написано in Aufzugsform. Wenn dabei mehrere Personen um eine Frau werben od. sonst vor einer andern in Wettbewerb treten, od. aber jemandem auf eine Frage der Reihe nach antworten, so erinnert das an das Verhaltniss eines Anführers des Aufzuges zu den ubrigen Mitwirkenden, in dem schliesslich auch der Einschreier zu ihnen stehn kann. — 40: черты весенняго обряда въ Fastnachtspielъ (Kampf zw. Sommer u. Winter и др.).—P. 41: Reien- od. Rundtanz (Tanz im Vordergrunde nicht der Text), 42: весеннія пляски um einen Preis (Maibuhlschaft, Kranz, Hahn и др). Neidhartspiele первоначально весеннія, лишь впослѣдствіи перенесенныя на Fastnacht; 43: связь Fastnachtspielъ съ Rundtanz доказывается тѣмъ, dass in vielen Spielen am Schluss ein Spieler od. der Herold einen Tanz heischt.— 44: перенесеніе des älteren Tanzdramas на Fastnachtspiel принадлежитъ шильманамъ; 44—5: sie pflegten gewiss auch Spiele die nach dem Muster der volkstumlichen Jahreszeitentanze gearbeitet waren. Diese Tanzspiele brauchten naturlich nicht immer so durchgreifende Bearbeitungen der volkstumlichen Motive zu sein wie das St. Paulerspiel, das zwei gans verschieden geartete Stoffe, den Maientanz des Volkes u. das hofische Veilchenfest zusammenschweisste. Ein kleiner aber bedeutungsvoller Schritt genigte hierzu. Der von Natur aus dramatische Tanz wurde zum Drama mit Tanz, in dem Text u. Handlung sich mehr Selbststandigkeit neben dem vorher die Hauptsache ausmachenden Tanze ver-

schafften. Handlung und Tanz stehen jetzt etwa gleichberechtigt nebeneinander od. die Handlung wird gar zur Hauptsache.— 45: Spiele also, die... auf der volkstümlichen Frühlingsfeier beruhten, sind sicher die Vorgänger der Fastnachtsspiele gewesen. Ihrer Einwirkung konnten sich aber auch die geistlichen Spiele nicht entziehen, denn die Magdalentänze gehn auch auf solche Tanzspiele zurück. Ihre Ähnlichkeit mit den Fastnachtspielen, auf die Wirth (Oster- und Passionspiele bis zum 16 Iht. Halle, 1889, p. 225) hinweist, erklärt sich aus dem gemeinsamen Ursprunge. Die Dichter solcher Jahreszeitentänze, die Spielleute, werden sie selbst ins geistliche Drama gebracht haben.— P. 47: параллель къ развитию Fastnachspiel'я изъ Jahrestanz: Die englischen Spiele von Robin Hood erinnern deutlich an die Schwerttänze, während andre wie Lord and Lady of the May unmittelbar aus der Frühlingsfeier erwachsen sind. Jeu de la feuillée Adam de la Halle verwendet nicht bloss volkstümliche Motive, sondern schildert auch ein Frühlingsfest, вѣроятно оно представлялось весной. Robin et Marion въ связи съ пастурелями, auch die Aufführung an einem Frühlingsfeiertage, zu Pfingsten, ist sicher, wenn nicht für Adams Stück, so doch jedenfalls für andre Behandlungen desselben Stoffes. Вездѣ тотъ же переходитъ von der Lenzfeier zum dramatischen Spiel u. schliesslich zum komischen Drama. Сл. Creizenach 413; для Италии Dieterich Pulcinella, cap. X; сл. у автора 33: Creizenach warnt zwar p. 390 Anm. 2 vor zu starker Heranziehung der Volksgebräuche für die Erklärung der Entwicklung des Dramas. Das stimmt gewiss für die geistlichen, nicht aber für die weltlichen Spiele— и р. 44: не согласенъ съ мнѣniемъ Michels'a, dass die älteren komischen Dramen als blosse Fortsetzung der von den Oster- u. Passionsspielen zu den Legendenspielen führenden Linie. Зам. для Fastnachtsspiele: а) материалъ народной щутки вторгается въ мистерии; б) онъ же и обрядовая игра въ Fastnachtsspiele; с) вездѣ организация принадлежитъ Spielmann'y; Aufzüge указываютъ на группу актеровъ; обрядъ данъ для дѣйства съ Vorsinger): Vom griech. Drama ist bekannt, das die Hauptaufführungszeit, die im Monat Ἐλαφηβολίων— März— April— gefeierten grossen Dionysien mit dem Beginne des Frühlings zusammenfielen. Das indische Drama war gleichfalls mit den Jahreszeitenfesten verbunden. Ausführliche Vorschriften sind darüber vorhanden, wie der Schauspieler den Charakter der betreffenden Jahreszeit durch Mimik auszudrücken habe. Hauptsächlich war aber auch hier die Frühlingsfeier die Zeit der Aufführung (Windisch, Der griechische Einfluss im indischen Drama,

i. d. Verhdlgn. d. 5. internat. Orientalistenkongresses 1881, II, 1, Berlin 1882, p. 86, 89 слѣд.) — р. 49 слѣд.: *Das grosse Neidhartspiel* нач. 15 в. (р. 87 Einschreier сообщаетъ въ началѣ отъ себя содержаніе главной части пьесы, составленной изъ разныхъ эпизодовъ: die Veilchengeschichte; 143: вліяніе стиля der geistlichen Spiele на das grosse Neidhartspiel; 147 слѣд.: вліяніе шпильманскаго стиля; 164: авторъ шпильманъ; Spielleute od. die mit ihnen nahe verwandten Fahrenden wirkten bei den Aufführungen geistlicher Spiele in grösseren Rollen mit; (с. Froning, Das Drama des Mittelalters, Kürschner Nat. Lit. 14, 5. 26 слѣд.), — gerade sie haben die komischen Szenen in sie eingeschmuggelt, ja, als dem Klerus der Spass in den ernsten Spielen zu arg wurde, dichteten sie selbst höchstwahrscheinlich auf eigne Faust Spiele nach ihrem Geschmack, с. Wirth, I. c., 231 и Bechstein, Germ. 36, 98.—Р. 169: не Fastnachtspiel, а мірская драма). — Р. 170 слѣд.: Das Sterzinger Szenar (р. 175: два praecursor'a, второй сообщаетъ содержаніе пьесы.—202: Fastnachtspiel).—202: Maispiel).—201: какъ *Das kleine Neidhartspiel* (212: Fastnachtspiel; 213 слѣд.: сходство стилемъ духовной драмы и шпильманскимъ; отношенія къ предыдущимъ драмамъ 220 слѣд.:



Сл. р. 222: однимъ изъ источниковъ 1-й былъ St. Pauler Spiel). — Р. 223 слѣд.: *Hans Sachsen's Neidhartspiel*. — 231 слѣд.: *Das Vorkommen des Motivs vom Neidhartveilchen. Zeugnisse bis zu Hans Sachs* (до St. Pauler Spiel — изображеніе 13—14 вѣка).

XXXI. Къ стр. (103) 351 слѣд. (Къ женской долѣ). Сл. Этногр. Обозр. XXXVII, Никифоровскаго, Очерки Витебской Бѣлоруссии, VII, стр. 1 слѣд.: Бабы, або жёнки; сл. 27 слѣд., 31 слѣд.

XXXII. Къ стр. (106) 355 слѣд. Сл. Харузинъ Н., «Медвѣжья присяга и тотемическая основы культа медвѣдя» у остяковъ и ногуловъ, Этногр. Обозр. XXXVIII (сл.), XXXIX (сл. ib. литературу: Гондатти, Культъ медвѣдя; Patkanow, Die Yrtysch-Ostjaken, р. 125—6, 131;

Ядринцевъ, О культе медвѣдя; Потанинъ, Оч. сѣв.-зап. Монголіи, IV, 750, 754—5; Палласъ, Путешествіе, III, пол. 1-ая, стр. 67; Харузинъ, Русскіе лопари, стр. 199, 203; сл. Калевала, пер. Бѣльского, руны 32 и 46, стр. 414 и 545—8: повѣствованіе Вейшемейнена о сверхъестественномъ рожденіи медвѣдя на небѣ, его отпускѣ на землю и данномъ ему завѣтѣ.—Erman, Reise um die Erde, I, стр. 681; Хангаловъ, Духи-медвѣди у Бурятъ, Этногр. Обозр. 1896 г., № 1, стр. 137; сл. бурятскія сказки въ Зап. Восточно-Сиб. Отд. И. Р. Г. О. по Этн. I, 1, стр. 119; Вербицкій, Алтайскіе инородцы, стр. 137; Сѣрошевскій, Якуты, I, стр. 626, 638, 658—660. Гондатти, Слѣды языческихъ вѣрованій Маньзовъ, стр. 64.—Сл. Ermann, Reise um die Erde, I, 670 и Бѣлявскій, Поѣздка къ Ледовитому морю, стр. 99—100, примѣчан. (Эрманъ отмѣчаетъ, что мѣстами остатки послѣ убийства медвѣдя относятся на смѣшило къ убитому звѣрю. Празднеству въ честь медвѣдя предшествуютъ дѣйствія, имѣющія цѣлью унизить и осмѣять медвѣдя. Снятую шкуру набиваютъ сѣномъ, топчутъ ногами, плюютъ на нее, поютъ на смѣшилья пѣсни, на смѣхаясь надъ тѣмъ, что такой сильный звѣрь не могъ устоять противъ человека, и т. д., послѣ этого ставятъ шкуру въ юрту и приступаютъ къ чествованію его, какъ своего бога-покровителя¹⁾), Харузинъ I. с., 27—28, также говорить о такомъ упадкѣ культа у остатковъ, но считаетъ самый культъ древнимъ тотемистическимъ и родовымъ потому, 1) что дѣти исключаются изъ празднованія, какъ не посвященные въ родовой — тотемистический союзъ (28), а 2) женщины принимаютъ въ празднествѣ лишь косвенное участіе, ибо они пришли въ родѣ (29). Сл. 30: Родовыя пиршества, во время которыхъ убивается и употребляется въ пищу тотемистическое животное, распространены у некультурныхъ народовъ. Въ основѣ этихъ пиршествъ, какъ и другихъ, имѣ аналогичныхъ, лежитъ... убѣжденіе, что употребленіе въ пищу извѣстнаго животнаго (въ данномъ случаѣ тотема) передаетъ участникамъ трапезы его качества, позволяетъ вступить въ общеніе съ нимъ. Но убийство тотема требуетъ очистительныхъ обрядовъ, извиненій передъ убитой особью священнаго класса животныхъ. Отсюда стремленіе у остатковъ и вогуловъ умилостивить духа убитаго, чествованіе его.

1) Къ библиографіи: Frazer, The Golden Bough, II, 132; Schrenk, Reisen u. Forschungen im Amurlande, III, Lief. 3, стр. 626—737.

XXXIII. Къ стр. (106) 355 слѣд. (*Медведь и тотемизмъ*). Сл. Marillier, La place du totémisme dans l'évolution religieuse, по поводу Jevons, An introduction to the History of religion (London, Methuen and C°, 1896, 443 p.) въ Rev. de l'hist. d. religions, t. XXXVI, № 2, стр. 208 слѣд.; p. 217—18: lorsque les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord, les Ostiaks ou les Koriaks de la Sibérie se voient contraints de tuer un ours, ils essayent par des cérémonies propitiattoires d'apaiser ses mânes et s'efforcent de rejeter par d'ingénieux artifices sur d'autres coupables la responsabilité du meurtre; p. 218—19: les animaux qui fournissent aux peuples chasseurs leur nourriture et leur vêtement sont, eux aussi, l'objet d'une vénération, qui confine parfois à l'adoration, de la part de ceux qui mangent leur chair et se couvrent de leur fourrure. Or on sait que les sauvages ne consentent, que contraints par la faim, à toucher à la chair de leurs totems, et que certains d'entre eux aimeraient mieux se laisser mourir que d'y goûter; les exceptions apparentes à cette règle la confirment: c'est en des occasions solennelles que dans quelques tribus l'animal totem est cérémoniellement mis à mort en un sacrifice mystique et la consommation collective de sa chair et de son sang constitue un sacrement véritable. Nous sommes donc en présence d'une forme du culte des animaux (et ce que nous disons des animaux, on pourrait le dire des plantes), qui ne saurait être d'origine totémique, puisqu'elle est étroitement liée à des habitudes alimentaires, qui, à des populations totémistes, apparaîtraient comme sacrilèges, si l'animal ou la plante que l'on mange était un totem.

C'est donc par une double voie que le sauvage peut être conduit à rattacher ses origines à des ancêtres animaux: d'une part, il peut être amené à penser que l'âme qui est incarnée dans l'animal ou la plante qu'il révère est celle d'un de ses parents mort depuis longtemps; d'autre part, si l'alliance conclue entre son tamanin ou son manitou et lui prend un caractère héréditaire, je veux dire si, à son imitation, ses enfants nouent avec des animaux de même espèce de pareilles relations d'amitié, l'idée se répandra peu à peu parmi les membres du clan qu'il existe des liens qui les unissent à ces animaux assez étroitement pour qu'ils ne forment avec eux qu'un seul groupe et comme les rapports sociaux sont tous, aux premières phases de l'évolution sociale que nous puissions atteindre, conçus sur le type des rapports de parenté, ils en arriveront à les regarder comme leurs parents et à s'expliquer cette parenté avec des êtres, dont la nature, après tout, n'est pas dissem-

blable de la leur, par leur descendance d'une souche commune par leur rattachement à un même ancêtre.

Ctp. 225—227. Les rites totémiques ne se présentent point toujours avec le caractère officiel et public, qui est, d'après M. M. Robertson Smith et Jevons, leur marque distinctive, qu'ils n'ont pas pour rôle dans tous les cas de créer entre un dieu collectif et une famille humaine une parenté qui impose vis-à-vis les uns des autres à tous les membres du groupe nouveau les obligations familiales traditionnelles, qu'ils ont eu eux mêmes et par eux-mêmes une valeur indépendante et que, par conséquent, il faut leur attribuer une signification différente de celle qu'a cru pouvoir leur assigner Robertson Smith: ils créent une fraternité véritable entre tous les membres humains et non humains, d'un même groupe; ils ne sont pas destinés, ou tout du moins ils ne sont pas uniquement destinés à la créer.

A quelle fin tendent-ils en réalité? c'est, tout d'abord, d'après M. Frazer, à l'étude des cérémonies d'initiation en usage au moment de la puberté qu'il faut s'adresser pour l'apprendre. Chez la plupart des tribes sauvages et en particulier chez celles où se retrouve l'organisation totémique, des rites en apparence très obscurs marquent le moment où le jeune homme et la jeune fille cessent d'être des enfants pour compter au nombre des femmes ou des guerriers de la tribu. L'un de ces rites, c'est une danse sacrée où l'on figure la mort et la résurrection simulées du jeune homme que les redoutables cérémonies de l'initiation doivent rendre capables de braver les multiples et surnaturels périls dont il est, à ce moment de son existence, entouré. Le sens de cette pratique rituelle s'éclairera, si l'on suppose qu'elle consiste essentiellement à extraire du corps de l'adolescent son âme ou sa vie pour les transférer à son totem. L'extraction de son âme ou de l'une de ses âmes ou d'une partie de sa vie tue le jeune initié ou le plonge du moins dans une syncope qui a toutes les apparences de la mort, mais un échange d'âmes ou de vies s'est effectué entre son totem et lui: lorsqu'il ressuscite, il est devenu un animal, l'âme de l'animal est en lui, la sienne a trouvé une demeure au corps de l'animal; c'est donc à bon droit, que suivant son totem, on peut l'appeler ours ou loup, c'est à bon droit qu'il traite en frères les animaux dont il porte le nom, puisqu'en leurs corps habitent son âme et celles des siens.

La raison qui porterait un individu ou un clan à respecter et à protéger les animaux ou les plantes de telle ou telle espèce, ce serait donc qu'un ou plusieurs de ces animaux ou de ces plantes seraient dé-

positaires de la vie de cet individu ou des membres de ce clan; cette protection s'étend sur tous les animaux ou les plantes qui appartiennent à la même espèce, parce que la vie de chacun d'entre eux peut être liée à celle d'un des membres du clan, et qu'à tuer ou à laisser tuer l'un quelconque des animaux ou des plantes dont on porte le nom, on court le risque de faire mourir l'un de ses parents ou même de se rendre directement coupable du seul genre de meurtre, le meurtre familial, qui soit considéré par les non-civilisés comme un véritable crime.

Le mobile qui conduit le sauvage à changer ainsi d'âme avec son totem est double: d'une part, il se met à l'abri des multiples dangers naturels et surnaturels qui l'environnent, on ne peut plus le tuer, puisque sa vie qui continue cependant à animer son corps, n'est plus en lui, mais déposée en un animal ou plutôt dispersée entre tous les individus qui composent l'espèce qui a conclu alliance avec sa tribu; d'autre part, il puise dans son étroite union avec l'animal divin ou la plante sacrée dont l'esprit a passé en lui une force et une vigueur plus grandes qui le mettent en état de lutter avec les meilleures chances de succès contre les guerriers des tribus rivales et les artifices puissants des sorciers.

Ctp. 231. Qu'il s'attache au totem d'un clan, puissant et fort, d'un clan qui s'est plus tard fractionné en un certain nombre de clans secondaires, une sorte de prestige divin, qui lui attire, et à mesure précisément que s'efface et s'obscurcit son caractère totémique, les hommages respectueux et les offrandes empressées de ceux même qui, dans la tribu, ne lui sont point apparentés, je n'y contredirai point, mais en ce cas les rites par lesquels il est adoré ne sont pas des rites totémiques et c'est précisément parce que son culte a perdu le caractère familial qu'il a pu devenir le culte de la tribu entière: l'animal divin est vénéré, non pas parce qu'il est un totem, mais parce qu'il l'a été et qu'il ne l'est plus.

Ctp. 232. Si l'interprétation de Frazer doit être acceptée, si le *clan-totem* peut être valablement rapproché des totems individuels, le mécanisme de ces associations devient aisément à comprendre et l'on voit comment se peuvent superposer les unes aux autres des sociétés religieuses de diverse nature, mais composées des mêmes membres et reposant sur le même désir dont tous sont animés d'échanger partiellement leurs âmes contre celles d'êtres plus puissants qu'ils ne sont eux-mêmes, de telle sorte qu'une même vie, plus robuste et plus divine,

circule dans le groupe tout entier et que leurs esprits déposés aux corps de leurs alliés surnaturels aient plus de chances d'échapper aux multiples périls qui les menacent.

Cir. 234. Le désir du jeune homme de mettre son âme à l'abri des dangers qui la menacent lorsqu'elle est unie exclusivement à son corps, et surtout à ce moment redoutable de la puberté, n'est pas, sans doute, l'unique mobile qui lui ait fait rechercher l'étroite union avec son totem, mais un rôle important doit être assigné aussi à son besoin de faire des alliés traditionnels de son clan ses alliés personnels.

Сл. того же журнала т. XXXVI, № 3, т. XXXVII, №№ 2, 3. Сл. рецензію Tylor'a въ Journ. of the antropological Institut, v. I, New series, p. 138—48 и отчетъ Jevons'a въ Folk-Lore v. X, № 4, Dec. 1899, стр. 369 слѣд.

XXXIV. Къ стр. (125) 378 слѣд. (Къ Элевзинскимъ таинствамъ и развитію ихъ изъ аграрнаго культа). Сл. Goblet d'Alviella, De quelques problèmes relatifs aux Mystères d'Eleusis, Rev. de l'hist. des religions, t. XLVI, стр. 173 слѣд., 339 слѣд. [къ стр. 23 слѣд. моей книги, къ похоронамъ и оживанію Адониса, Костробоньки и др. сл. стр. 340 слѣд.]. Сл. Rev. de l'hist. des religions ib. стр. 243 въ отчетѣ о Wünsch, Das Frühlingsfest der Insel Malta: мартовскій праздникъ св. Иоанна, описанный арабскимъ пѣснникомъ XVI в.: Les moines cachent la statue du saint sous des fèves en fleurs; on le pleure, on porte le deuil, trois jours après on fête le retour du saint et on le ramène processionnellement à la chapelle; томъ XLVII, стр. 1 слѣд., 141 слѣд.

XXXV. Къ стр. (126) 379. (Къ идеямъ драмы: орфизмъ). Сл. Salomon Reinach, L'orphisme dans la IV-e élogue de Virgile, Rev. de l'hist. des religions, t. XLIII, стр. 365 слѣд., стр. 382: два главныхъ источника: l'apocalypse judéo-alexandrine et l'orphisme hellénique. Всякое историческое толкование исключается: ожидается рождение божественного ребенка (Ille deum vitam occipiet), онъ сынъ Юпитера (magnum Jovis incrementum); p. 373 слѣд.: c'est Jupiter qui a pacifié le monde. On sait quand et comment. C'était à l'origine même de l'histoire fabuleuse, quand il a vaincu les Titans. L'idée dominante de la IV-e élogue c'est que le cours des siècles est achevé et qu'une nouvelle série de siècles commence. De même que le début de l'humanité a connu l'âge d'or, c'est par un âge d'or que s'ouvrira le nouveau

cycle; de même que la royauté des dieux de l'Olympe ne s'est établie que par la défaite des Titans, qui a eu pour effet la pacification. P. 374: Nigidius Figulus, *De diis*, rapporte une opinion des Orphiques d'après laquelle les dieux auraient présidé aux destinées du monde dans l'ordre suivant: Saturne, Jupiter, Neptune, Pluton, Apollon; если Виргилий стъдовалъ этому мнѣнїю орфиковъ, il fallait qu'il plaçat la naissance du monde nouveau sous le règne d'Apollon et qu'il considérât comme prochain l'avénement de Saturne. Or, c'est précisément ce qu'il a fait: *tuus jam regna Apollo,— redeunt Saturnia regna....* Une des idées essentielles de l'orphisme était celle du péché originel. Les hommes descendaient des Titans, qui avaient tué et dépecé le jeune Dionysos-Zagreus; ils portaient le poid de ce crime et ne pouvaient s'en affranchir que par l'initiation aux mystères. Ce mythe, écrivait récemment M. Tannery, est certainement très ancien. C'est la clé du mot de passe que l'initié des tablettes de Pétérie doit répéter dans les enfers: «Je suis le fils de la Terre et du Ciel étoilé», c. à d.: «Je suis un Titan». C'est la clef du fragment 4 des Thrènes de Pindare: «Ceux pour lesquels Perséphone (la mère de Zagreus) agrée la satisfaction de son deuil passé» (*παλαιοῦ πένθεος*). C'est encore dans le même sens que Jamblique (éd. Parthey, p. 121, 11) parle du rôle de Sabazios, le nouveau Zagreus, pour les purifications des âmes et pour les *λύσεις παλαιῶν μηνυμάτων*, le pardon des anciennes rancoeurs des dieux (Tannery, Rev. d. philol. t. XXIII, p. 129). — De l'orphisme la doctrine du péché originel se répandit dans les écoles philosophiques de l'antiquité. P. è. serait-il plus juste de dire que cette conception d'une faute primitive, réponse naïve au problème du mal et de la souffrance, flottait depuis longtemps dans l'imagination populaire avant d'être reçueillie par les philosophes et les mystagogues. C'est au pythagorisme que Platon a emprunté l'idée de l'âme enfermée dans la prison du corps (*ἐνφρουρᾷ*) en punition de fautes commises, et Philolaos allègue, à cet effet, l'opinion des anciens théologiens et devins, *παλαιοὶ θεολόγοι τε καὶ μάντεις*. Dans un des rares fragments d'Anaximandre, conservé par Simplicius, il est dit que l'unité primitive du monde a été rompue par une sorte de péché proethnique dont les choses, issues de ce déchirement, doivent porter la peine, *διδόναι αὐτὰ τίσιν καὶ δίκην τῆς ἀδικίας*. Quand on rencontre une pareille conception chez un théologien grec du VI s. et qu'on la rapproche de la légende orphique de Zagreus, déchiré par les Titans, tache originelle que l'humanité expie par ses misères, il semble évident que le roman métaphysique est

calqué sur la tradition religieuse et non inversement. Cette tradition accuse un état de civilisation très archaïque (toute la légende de Zagreus offre un caractère sauvage) et l'on se persuade à la réflexion, malgré la discréption p. é. voulue des textes littéraires, qu'elle fait partie du fonds le plus ancien de la pensée grecque.— 376: scelus у Виргилия (sceleris vestigia nostri) = ἀδίκια des théologiens grecs, le péché originel de l'humanité issue des Titans, meurtriers de Zagreus.— 377: въ стихахъ Виргилия: Ille Deum vitam accipiet Divisque videbit — Permixtos heroas и т. д. отразилось орфическое учение о бéатitude qui attend l'initié après sa mort, lorsqu'il aura heureusement surmonté les périls de son voyage infernal et bu de l'eau du lac de Mnemosyne; онъ сдѣлается новымъ Діонисомъ, νεὸς Διόνυσος.— Въ древнемъ преданіи Діонисъ Загрей сынъ Зевса и его дочери Персефоны; Zeus lui témoigne une faveur extraordinaire, il le déstine à l'empire du monde et l'associe à son trône, ce qui excite la jalouse meurtrière des Titans. Эти первичные легенды варьировались. Pour Virgile, l'enfant divin, que nous identifions à Dionysos, est bien fils de Jupiter, Jovis incrementum, mais la mère doit être une mortelle puisqu'il «recevra» la vie divine, Deum vitam accipiet; разумеется, очевидно, не Семела, qui périit foudroyée ayant la naissance du second Dionysos.... Le mieux est d'admettre que Virgile, écartant de son esprit l'horrible histoire de l'inceste de Zeus avec Perséphone, a adopté une tradition p. é. d'origine néo-orphique, qui faisait de la mère de Dionysos Zagreus une nymphe quelconque ou l'une des nombreuses mortelles aimées du maître des dieux. Тогда все объясняется: les choses vont se passer dans le nouvel âge d'or, comme elles se seraient passées dans le précédent, si Dionysos enfant n'avait succombé aux embûches des Titans. Il est vraiment l'héritier présomptif du trône cosmique (v. 48), il s'instruit en prenant connaissance des exploits de son père et des héros (v. 25, 27), il est destiné à régner sur le monde comme sur les autres dieux.... Cette idée de la monarchie universelle, attribuée à un enfant ne se trouve dans toute l'antiquité que deux fois: въ IV-ii эклогѣ и у орфиковъ, что указывается на источники Виргилия. Proclus, dans son commentaire du *Cratyle*, dit que Zeus fit monter le jeune Dionysos sur le trône royal, lui confia son sceptre et fit de lui le roi des Olympiens.... p. 381: La naissance de Dionysos marque le début d'un âge nouveau, mais la félicité universelle qui doit en être le caractère ne peut commencer que lorsque le jeune dieu aura pris le pouvoir (aggredere a magnos.... honores, v. 48). Jusque là et dans

l'intervalle on verra se répéter quelques grands événements de l'histoire primitive: il y aura des expéditions maritimes et des guerres, auxquelles l'avènement du «prince de la Paix» mettra un terme: *Hinc ubi jam firmata virum te fecerit aetas Cedet et ipse mari vector....* Alors plus de navigation, plus de guerres; celles de l'ancien temps n'auront recommencé que pour cesser à jamais.— 382: какъ Лину приписывались въ александрийскую эпоху поэмы о Діонисѣ, такъ, быть можетъ, и Орфею: Діонисъ бытъ главнымъ богомъ орфиковъ; и вотъ въ IV-й эклогѣ, 53 — Virgile s'interrompt pour souhaiter qu'il lui reste assez de vie et de souffle pour raconter les exploits de l'enfant divin: non me carminibus vincet nec Thracius Orpheus, Nec Linus.— Р. 383: орфическая вліянія на древнее христіанство.

XXXVI. Къ стр. (133) 388. Сл. Croiset, *La légende de l'Orestie* avant Eschyle, Rev. d. cours et confér., VII ann., 1 série № 12, 2 Fevr. 1899, p. 538: Od. III, 262 слѣд. (Телемахія): Эгистъ соблазняетъ Клитемнестру, разсказываетъ Несторъ; она долго отнѣкивалась, ибо была добродѣтельна, «mais lorsque la destinée des dieux eût arrêté qu'Egisthe soumettrait cette femme.... au gré de leurs désirs mutuels il emmena Clytemnestre dans sa maison.... — Egisthe nous est représenté par Nestor comme un personnage méprisable, un lâche, un timide. Иначе въ Od. I, 32 слѣд.: люди обвиняютъ боговъ въ бѣдахъ, причиной которыхъ они сами, говорить Зевсъ: Эгистъ убилъ Агамемнона и соединился съ его супругой malgré le destin, хотя мы сами посыпали Гермеса предупредить его — не дѣлать этого. Ces paroles de Zeus prêtent au caractère d'Egisthe une sorte de grandeur tragique, un relief dramatique saisissant; мы невольно думаемъ à cette fatalité de la passion qui, malgré les avertissements de la divinité, le précipite, oublieux des dangers, vers le crime et la mort. Клитемнестра, въ разсказѣ Нестора, честная, но слабая женщина; нѣть ей и поводовъ гнѣваться на мужа, нѣть еще мотивовъ Ифигении и Кассандры. Въ IV п. Одиссеи, 520 слѣд., Менелай разсказываетъ, что Агамемнонъ былъ убитъ въ домѣ Эгиста, обѣ участіи Клитемнестры нѣть помину; Od. III, 305: Несторъ разсказываетъ, что Орестъ убилъ Эгиста, а затѣмъ prépara pour les Argiens le repas funèbre d'une odieuse mère et de l'infâme Egisthe: очевидно, Орестъ еще не убийца матери (Od. I, 299 слѣд.; III, 1951 слѣд.); какъ она погибла — мы не знаемъ.— Но въ Некуїх Клитемнестра уже помощница Эгиста (Od. XI, 409 слѣд.); она убиваетъ Кассандру (Od. XI, 421 слѣд.) изъ

ревности, ненавидитъ Агамемнона, не закрываетъ ему глазъ; у нея личный мотивъ мести.— Сл. I. с. IV, 22 (13 Avr. 1899): «*L'Orestie*» d'Eschyle p. 203 слѣд.: развитіе легенды въ лирикѣ. Clytemnestre, que l'epopée rejettait à l'arrière-plan, apparait maintenant en plein relief. Complice d'Egisthe, elle prend au drame une part active et frappe Agamemnon de sa propre main.... Les éléments successifs que des narrations plus r  centes surajoutent à ceux des l  gendes primitives, le sacrifice d'Iphig  nie, le r  le des dieux, l'histoire d'Atr  e et de Thyeste, nous aident à comprendre la gen  se de la trilogie eschyl  enne.... La survivance d'Oreste est n  cessaire au drame, puisqu'il est le pivot autour duquel se constitue la 2-e partie: la vengeance. De la sorte on aperçoit plus nettement, par del   les faits éclaircis, quels probl  mes moraux vont surgir. Comment Clytemnestre, d'abord attach  e à son mari, se convertit-elle à la haine? que se passe-t-il dans le coeur de cette femme? Pourquoi Oreste se r  sout-il à accomplir la loi de vengeance vis-  -vis de sa propre m  re? Форма трилогии, избранная Эсхиломъ. Построение греческой драмы у Lewis Campbell (Le point culminant dans la trag  die grecque въ M  langes Henri Weil p. 20): 1) *l'expos  *, 2) *l'ascension*, 3) *l'apog  e ou sommet*, 4) *la descente*, 5) *la fin ou catastrophe*. «Pour Eschyle la question se complique par l'usage qu'il fait de la trilogie li  e. Dans *l'Orestie*, par ex., les trois pi  ces doivent   tre trait  es comme un grand drame, dont *l'apog  e*, ou point culminant, se place    peu pr  s au v. 890 des *Cho  phores*, dans la tragique rencontre de Clytemnestre avec son fils. *L'ascension* principale apparaît dans la derni  re moiti   de l'*Agamemnon*, qui, à ce point de vue, peut   tre compar   au 2^d acte de *Macbeth* ou du *Roi Lear*. Pourtant, dans chacune des trois pi  ces prises s  par  ement, il y a une gradation analogue; depuis la situation qui l'ouvre,    travers des complications troublantes, jusqu'à un paroxysme de tension, qui culmine avant la fin de la pi  ce: dans *l'Agamemnon* avec le cri de mort du roi et l'aveu de Clytemnestre (*Agamemnon* v. 1343—1398), dans les *Eum  nides* avec l'accusation d'Oreste (v. 752)».

Рядомъ съ драматическимъ ростомъ—ростъ нравственного интепека. Dans l'*Agamemnon* la complexit     trange des sentiments n'empêche pas le drame d'aboutir à une impression morale très nette. Le poète, afin de faire rejaillir toute notre haine sur les coupables, les évoque, Egisthe sous les traits d'un lâche et vil seducteur, Clytemnestre sous l'odieux jour d'une femme adultère et complice d'un meurtre.

Ce n'est pas que la conduite de l'un et de l'autre n'admette des excuses. Egisthe se souvient de Thyeste, et le poète n'a pas craint de lui laisser exprimer cette haine..... Quant à Clytemnestre, son amour maternel pour Iphigénie accroît sa haine contre un époux qui n'a hésité à sacrifier sa fille. Mais, à cela près, le poète nous a rendu Clytemnestre sous l'aspect d'une femme franchement odieuse et surtout méprisable par le mensonge de joie et la comédie de sentiments dissimulés qu'elle joue avec cynisme, au retour d'Agamemnon. Но и Агамемнонъ представленъ не исключительно жертвой, онъ не симпатиченъ; поэтъ не только напоминаетъ преступленіе Атрея, но и династические интересы, руководствовавшіе Агамемнономъ въ походѣ на Трою. Окружая его помпой, поэтъ даетъ понять, какова его гордыня, и, вмѣстѣ, намекаетъ, que le meurtre est voulu par les dieux. Il est évident pourtant que le poète repousse le meurtre: какъ ни несимпатична жертва, преступленіе внушаетъ ужасъ. — Oreste nous est sympathique; il n'y a chez lui aucun sentiment bas. Il est persuadé qu'il accomplit son devoir et qu'il obéit à des motifs généreux — и повелѣнію боговъ. Serait-ce que le poète ait voulu justifier complètement Oreste? Non pas, car nous avons déjà assisté au trouble du fils au momènt où il allait frapper sa mère. Les Erinnies, après le meurtre, ont fait entendre les protestations de la nature, qui ne peut ni ne doit accepter qu'on verse le sang. Мы сами колеблемся въ рѣшеніи; кто же правъ? вопросъ этотъ ставится въ концѣ Хоэфоръ, разрѣшается въ Эвменидахъ: Аполлонъ стоитъ за Ореста, Эринніи за свои права; si les Erinnies réclament l'application de la loi du talion n'y a-t-il pas, au dessus de cette solution brutale, une vue plus humaine, plus large, qui essaierait d'analyser les motifs et pourrait excuser l'acte en faveur des mobiles qui l'auraient inspiré? Le poète nous tient en suspens par la considération de ces idées nouvelles.... Le rезультата du débat solennel, c'est le renvoi d'Oreste. Сл. его же: Les Choéphores, ib. 8 Juin 1899, № 30, 7-e année, 2-e série.

XXXVII. Къ стр. (138) 394. Сл. Kauffmann, Das Hildebrandslied въ Philologische Studien, Festgabe f. Ed. Sievers (Halle, 1896): *þule* (прагерм. *þuliz* = Sprecher): Hofmeister, майордомъ, его рудитарии, княжеская дружина, его типъ аристократический; авторъ не согласенъ съ мнѣniемъ Мюлленгофа, dass der þulr zu den besitzlosen fahrenden gehörten haben könne.

XXXVIII. Къ стр. (142) 399. (Барды). О бардахъ сл. Zimmer, Gött. Gel.-Anz. 1890, № 20, стр. 810 слѣд. (латинские пѣвцы): Preislieder, Spottlieder — не эпическая пѣсни; сл. 812: Klagelieder; 814: въ Vocabularium cornicum XII в.: tubicen — *barth hirgorn*, tuba *hirgorn*, mimus, scurra — *barth*; въ бретонскомъ словарѣ Lagadeuc † 1464: barz = menestrier, mimus, jangler, mimologus; mimus — jangler, menestrier, barz.

XXXIX. Къ стр. (150) 408. (Пѣсня — пляска — обрядъ). Сл. ркп. Поэтику, III; къ л. 74 в. [печатается во второмъ томѣ наст. изданія. Прим. Ред.].

XL. Къ стр. (153) 412. Сл. W. Buckland, Message-sticks and Prayer sticks въ Antiquary, XXXIII, 10.

XLI. Къ стр. (155) 415. (Вліяніе музыки). Alan O. Anderson Táin bó Fráich, Rev. Celt. v. XXIV, № 2, avril 1903, p. 131—3: The harps of gold and silver and white bronze, with figures of serpents and birds and dogs in gold and silver. Whenever those strings were touched, these figures thereupon ran about the men all round. Then they played to them; so that twelve men of their household died of weeping and sadness. Sweet and tuneful were these *three* (наигрыши); and they were mellower even than Uaithne (вар.: and they were the Chants of Uaithne) the famous Three were three full brothers, *Tear-bringer*, *Smile-bringer* and *Sleep-bringer* by name. Boinn of the Side was the mother of the Three. It is from the music which Uaithne, harp of the Dagda, played, that the Three are named. When the woman was in childbirth, it wept for sorrow over the sharpness of the pangs at first. It was a smile and a laugh it played in the middle, for joy of the two sons. A sweet sleep it plays — the last son — for the heaviness of the birth. Whence was named the third part of music.—Men shall die, who have an ear for harmonies.

XLII. Къ стр. (159) 420. Сл. Этногр. Обозр. кн. XVII: Потанинь, Повѣсть о Басаргѣ, стр. 173—4. Въ легендѣ у Шашкова (Зап. И. Р. Геогр. Общ. 1864 г., кн. 2, стр. 32) творецъ міра и его помощникъ состязаются въ выращиваніи дерева: у творца сразу выросло дерево прямое, у его завистливаго помощника кривое; передъ этимъ помощникъ творца портитъ у послѣдняго его *девнадцатиструнныя гусли* (вѣроятно, это конецъ состязанія въ изобрѣтеніи музыкального инструмента). Въ алтайской легендѣ о сотвореніи

міра такоже упоминається музикальний інструментъ (О. Ландышевъ, Космогонія и Феогонія алтайскихъ язычниковъ, въ Православномъ Собесѣдникѣ, 1886 г. Мартъ); Ерликъ, помощникъ Ульгена въ твореніи міра, вдуваєтъ въ человѣка душу посредствомъ дудки, играя на желязномъ інструментѣ «комусѣ» о десяти языкахъ. У бурятъ, кажется, тоже есть разсказъ объ изобрѣтеніи музикального інструмента діаволомъ.— Сл. миѳ о Марсії, силенѣ фригійской миѳології; играєтъ на флейтѣ (служеніе Кибелѣ); состязаніе съ Аполлономъ.

XLIII. Къ стр. (160) 421. Австралійскому пѣвцу Bunjil (богъ) внушаєтъ пѣсню: We go all! — The bones of all — Are shining white. — In this Dulurland! — The rushing noise — of Bunjil, Our Father — Sings in my breast, This breast of mine! Сл. Folk-Lore X, № 1, стр. 35.

Сл. Chamberlain, The mythology and Folk-Lore of Invention (The journal of American Folk-Lore v. X, № XXXVII, 1897, April — June) стр. 96: the Australian *Birraarks* learn their songs and dances of the *Mrarts*, or ghosts; the magic verses of the Zulu diviner come from the spirits; the Wakanda of the Dakotas dictates songs and chants to the «medicine-men», and these latter, with certain Brazilian tribes, are said to have invented most of the arts of man.

XLIV. Къ стр. (162—3) 424—5. Сл. Bugge, Sagnet om hvorledes Sigvat Tordss n blev skald въ Ark. f r nord. filologi, XIII P. стр. 209 слѣд.: Sigvat воспитывался мальчикомъ у крестьянина Торкелл'я въ южной Исландіи у Арапаватн; къ Torkell'ю пришелъ на зиму и норвежецъ (austma r), человѣкъ умный, знавшій много «сторонъ» (d emafr d r). Однажды народъ расположился на льду и ловилъ рыбу; въ числѣ многихъ была одна, большая, которую всемъ хотѣлось поймать, да не удавалось. Норвежецъ научаетъ мальчика, какъ ее словить; сварилъ ее, велитъ съѣсть голову, ok kva t par vit hvers kvikendis i f l g t.— Мальчикъ съѣдаетъ всю [голову? проп.] рыбы и слагаетъ стихотвореніе въ dr ttkoett, гдѣ въ концѣ говоритъ: мнѣ удалось словить крюкомъ лосося. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ умнымъ человѣкомъ и хорошимъ поэтомъ.— Древніе ирландскіе поэты вѣрили, что у истоковъ большихъ ирландскихъ рѣкъ есть источники, у каждого изъ нихъ девять орѣшинъ, которыя въ известную пору приносили хорошие румяные орѣхи, падавшіе въ воду; тогда изъ рѣки являлся лосось и съѣдалъ ихъ; оттого у него на брюхѣ крас-

ныя пятна. Говорили, что кому удастся поймать и съесть лосося, тотъ станетъ великимъ поэтомъ; оттуда у ирландскихъ поэтовъ выраженія: я отвѣдалъ отъ лосося искусства, или: орѣхъ знанія.—Въ ирландской ркп. XIV—XV в. есть разсказъ, восходящій къ XI в., о томъ, какъ Финнъ сталъ поэтомъ: молодой Demne пошелъ въ науку къ поэту Финну, семь лѣтъ жившему у рѣки Воупе и поджидавшему лосося изъ Linn-Feic, ибо ему было напророчено, что онъ его съѣсть и будетъ обладать знаніемъ всѣхъ вещей. Рыбу поймали. Финнъ велѣлъ мальчику сварить ее, но не Ѣсть. Когда мальчикъ явился съ рыбой, Финнъ спросилъ его: отвѣдалъ ли онъ рыбы; тотъ отвѣчалъ, что нѣтъ, только обжегъ большой палецъ (о горячую рыбу?) и сунулъ его въ ротъ. Какъ тебя звать?—Demne.—Такъ пусть твое имя будетъ Финнъ, ибо тебѣ было положено съѣсть лосося, ты настоящій Финнъ.—Мальчикъ съѣлъ рыбу, получилъ знаніе о всемъ, что дотолѣ было ему неизвѣстно, и написалъ стихотвореніе (которое и сообщается), чтобы доказать свое поэтическое искусство.—Бугге напоминаетъ извѣстный эпизодъ о Сигурдѣ и сердцѣ Фафнира.

(Наука — снѣдь). См. Гаринъ, Корейскія сказки № 35: Кимъ-Хакки грамота не дается; бѣльй стариикъ явился къ нему во снѣ, бросилъ въ ротъ три скарабея; когда онъ ихъ проглотилъ, сталъ ученымъ.

(Чудесное дарование свыше знанія, языка и т. п.). Сл. Toldo, Leben u. Wunder d. Heiligen im Mittelalter, Stud. z. Vergl. Litteraturgeschichte I, стр. 349 слѣд..

XLV. Къ стр. (180 слѣд., 203 слѣд.) 446 сл., 474 сл. Сл. Ricarda Huch, Die Blüthezeit der Romantik (Lpz., 1899), стр. 319 слѣд.: wie der Roman die moderne Form der Dichtung κατ' ἔξοχην ist, so die Prosa die Sprache der modernen Dichtung. Sie ist der natürliche Ausdruck des Bewusstseins, die Poesie der des Unbewussten. Wenn nun das Ideal der Zukunft Einswerden von Instinkt u. Geist, Trieb u. Absicht ist, so muss die Sprache der Zukunft Prosa-Poesie, das heisst eine poetische Prosa od. prosaische Poesie sein. Und wie könnte man sich verhehlen dass die Poesie mehr und mehr von der Prosa verdrängt, dass aber diese dafür immer poetischer wird! Wie viel Melodie u. Rhythmus ist in der Prosa Goethe's, Tieck's, Hardenberg's! Wie unendlich viel poetischer ist sie als zum Beispiel die gebundene Rede Schiller's od. gar Lessing's (образцомъ современной прозы былъ для Фр. Шлегеля

Сервантеſъ).... Auch die Sprache also soll in das Innere dringen—romantisiert werden; denn nun soll sie nicht mehr, wie die Geschichte thut, Ereignisse schildern, od. wie Rhetorik durch starke allgemeine Schlagwörter den sinnlich beschränkten Menschen treffen, sondern den langsam aus dem Dunkel des Unbewussten an's Licht schwelenden Gefühlsmassen soll sie zur Geburt helfen. Darum nennen ja die Romantiker die Sprache Poesie, Allegorie, das erste unmittelbare Werkzeug der Magie, weil wir ein Ding gleichsam dadurch schaffen, dass wir es benennen. Es ist in dem Augenblick, wo wir ihm einen Namen geben. In Zeiten, wo grosse Massen von Unbewussten sich ablösen u. das Bewusstsein zu erfüllen beginnen, muss die Sprache mitwachsen. Unaufhörlich ertönt in den Schriften der Romantiker die Klage über die Unzulänglichkeit der Sprache: «O ihr Liebenden», ruft Tieck aus, «vergesst doch niemals, wenn ihr ein Gefühl den Worten anvertrauen wollt, was lässt sich denn überhaupt in Worten sagen? Ist doch so vieles schon dem Blick zu ungeistig u. körperlich!» Und ein andres Mal sagt er, dass die Menschen sich nicht verstehen können, weil sie etwas Andres aussprechen als sie meinen: «In jedem Körper liegt die Seele wie ein armer Gequälter in dem Stiere des Phalaris, sie will ihren Jammer u. ihre Schmerzen ausdrücken u. die Töne verwandeln sich und dienen zur Belustigung der umgebenden Menge». Oder an anderer Stelle: «Unsre Sprache besteht darin, dass wir ganze Massen vom Gedanken u. Bildern als einen Begriff hinstellen, wir nehmen die Phantasie zu Hülfe, um der fremden Seele zu erläutern, was uns selbst nur halb deutlich ist. Und auf diese Art entstehen Gemälde, die dem kälteren Geiste, der nicht gespannt ist, Missgeburten scheinen. Es ist ein Fluch, der auf der Sprache des Menschen liegt, dass keiner den Andern verstehen kann....» So spricht die Bitterkeit einer Seele, die sich wund gerungen hat, um Unsägliches zu sagen.— Am ergreifendsten und am lehrreichsten ist es, den Kampf der Sprachentfaltung mit seinen Schmerzen u. Wonnen in Wackenroder's Büchlein zu verfolgen. Zahllose Empfindungen u. werdende Begriffe bestürmen ihn und flehen um Erlösung durch ein Zauberwort: das ist ja die Aufgabe des Dichters, die schwankende Welt des Unbewussten und Halbbewussten zu verewigen, dadurch dass er ihr Ausdruck giebt, sie benennt, sie verdichtet. Und nun sucht er und sucht, immer leidenschaftlicher wird sein Stammeln, immer wunderbarer und feiner werden die Klänge, mit denen er das verzauberte Heer beschwört, aber es weicht nicht von seiner Brust, wo es sich drückend wie ein Alp gelagert hat. Er ver-

zweifelt an seiner Macht.— nur die Musik könnte ihn befreien; wollen denn seine Worte nicht Musik werden? — Wie sich Prosa und Poesie gegenüberstehen, so in einem weiteren Kreise Poesie und Musik, wo nunmehr die Poesie das Bewusste, Musik das Unbewusste vertritt. Und auch hier kann man beobachten, dass die Poesie Musik werden will und die Musik Poesie: die Poesie bemächtigt sich der dunklen Stimmungen, die allgemein wie Ton, Farbe u. Geruch auf unsren tiefsten Wesengrund einwirken, die Musik dagegen möchte wie das Wort unserm bewussten Geiste bestimmte Vorstellungen erregen. (С. Горнфельдъ, Муки слова, въ Сборн. Русскаго Богатства 1899; замѣтку ѡ. Батюшкова въ Критич. Очерки и замѣтки, II, 1902 г.).

XLVI. Къ стр. (188) 456. Популяризација науки во Францији XVIII в. (Fontenelle) и отраженія этого факта въ языке. Сл. Rev. des cours et conférences, 1 сér., 24 Déc. 1896, p. 301 (Thamin, La philosophie morale en France à la fin du XVII s.): La langue littéraire, fidèle gardienne des modes fugitives de la pensée, se peuple alors de comparaisons scientifiques. M-me de Staal Delaunay parle ainsi d'un galant que deux desoeuvrées (elle est l'une des deux) se disputent: «La conquête était des plus minces, mais, dans la solitude, les objets se bousouflent, comme ce que l'on met dans la machine du vide». Elle mesure de cette façon mathématique la diminution du sentiment d'un autre galant: «Il me donnait la main pour me conduire jusque chez moi; il y avait une grande place à passer, et, dans les commencements de notre connaissance, il prenait son chemin par les côtés de cette place; je vis alors qu'il la traversait par le milieu, d'où je jugeai que son amour était au moins diminué de la différence de la diagonale aux deux côtés du carré».

XLVII. Къ стр. (193—4) 461—2. (Реальный субстратъ формулы желаній + превращеній въ древнемъ синтетическомъ представлениї). Сл. Marillon въ Rev. d. l'hist. des religions, t. XL, № 1, стр. 85: Taliessin (въ поэмѣ intitulé Kat Godeu = la bataille de Godeu: il a été tour à tour épée, larme, étoile, lion, aigle, oracle, goutte d'eau, harpe, serpent tacheté, lance etc. Сл. стихи attribués au poète Amairgen, fils de Mil (VIII в. н. вѣроятно, ранѣе): «Je suis le vent qui souffle sur la mer; je suis la vague de l'abîme, je suis le taureau des sept batailles, je suis l'aigle sur le roi, je suis une larme du soleil, je suis la plus belle des plantes, je suis un sanglier pour le courage, je suis un

saumon dans l'eau, je suis un lac dans la plaine, je suis le mot du savoir, je suis la pointe de la lance du combat etc. Сл. 94 (мильт о Загреѣ — и превращеніяхъ его и Зевса: Загреѣ — сынъ Персефоны отъ Зевса; растерзанъ; его сердце Зевсъ проглотилъ, по другой версіи отдалъ его Семелѣ въ напиткѣ; она родить Диониса). Сл. мой Параллелизмъ, стр. 76—7 слѣд. [стр. 220—1 слѣд. наст. изд. *Прим. ред.*].

XLVIII. Къ стр. (197) 466. Hauffen, Das Bild vom Herzensschlüssel въ Arch. f. d. Stud. d. neueren Sprachen u. Literatur. 105, 1—2.

XLIX. Къ стр. (202) 472—3. (Горлица). Сл. Hertz, Parzival, 2 Aufl. (1898), стр. 475, прим. 22: von der chelichen Treue der Turteltaube spricht schon Aristoteles (Hist. animal. IX, 7, 3). Die Wittwentrauer bis zum Tod wurde zuerst der Krähe nachgesagt (Aelian, De natura animalium, III, 9; im griech. Physiologus c. 27, сл. Lauchert, Gesch. d. Physiologus, Strassb. 1889, 257, vergl. 26). Doch schon die Wildtauben von Dodona galten als Sinnbild gottgeweihter Wittwen (Brüder Grimm, Altd. Wälder, Frankf. 1816, III, 36). Aehnliches berichten von den Wildtauben im allgemeinen Horapollo (Hieroglyphicon, I. II, c. 32) u. Isidor (Origines XII, 7). Schon frühe ging diese Sage auch auf die Turteltauben über, welche noch Aelian (III, 44) gleich den Waldtauben eheliche Untreue mit dem Tode bestrafen sollen, wie die alten Bearbeitungen d. Physiologus (c. 28, II. Lauchert 259) u. der hlg. Basilius der Grosse um die Mitte des 4 Jhts beweisen (Homilia in Hexaemeron VIII, 6, bei Migne, Patres Graeci, XXIX, 177). Der spätere mittelalterliche Volksglaube machte die Turteltaube z. alleinigen Trägerin der Sage und fügte hinzu, dass sie nach dem Tode ihres Gatten sich nur noch auf dürre Zweige setze u. von trübem Wasser trinke. Dieses rührende Bild trauernder Liebe kehrt seit dem XII Jht. im Volkslied u. in der Kunstdichtung unzähligemal wieder (такъ и въ Parzival Вольфрама).

L. Къ стр. (203—5) 474—6. (Формулы поэтическаго языка и стиля). Filippini, Come finiscono le nostre fiabe, Arch. per lo studio d. trad. popolari, XX, 4; Fehr, Die formelhaften Elemente in den alten englischen Balladen, I Theil: Wortformeln: (Baseler Dissert. 1900). Сл. отчетъ въ Englische Studien, 32 B., 1 Heft (1903) стр. 95 слѣд. (Glöde, зам.: Paarung sinnverwandten Worte, напр. при Knight: bold and brave, bold and good, brave and good, brave and hardy, bold and

hardy и т. д.—Die formelhaftigkeit beschränkt sich aber nicht auf blosse worte u. wortverbindungen, ganze sätze, ganze verse und ganze strophen sind zu formeln erstarrt. Сюда относятся die regelmässig wiederkehrenden gefühle des wohlwollens im *segen* und *gruss*, des hasses im *fluch*, ferner der eid und die *versicherung*.

Формулы въ сказкахъ. Сл. René Basset, *Les formules dans les contes* (съ указаниемъ литературы) въ Rev. d. trad. pop. t. XVII, 1902, стр. 234 слѣд., 347 слѣд., 462 слѣд., 536 слѣд.; XVIII, 22 слѣд., 202 слѣд. Ibid. Taineau, *Le langage métaphorique des contes roumaines*, p. 259 слѣд.

Сл. Этнограф. Обозр. кн. LXI (1904), стр. 3: 125 сказокъ въ сборн. Аѳанасьева начинаются: «жили-были»: 70—формулой «въ нѣкоторомъ царствѣ, въ нѣкоторомъ государствѣ».

Petsch, R., *Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen*. B. Weidmann, 1900.

Къ рабочимъ артелинымъ пѣснямъ. Karl Bücher привлекъ къ объясненію Genossenschaftslieder рабочія отношенія народовъ, живущихъ въ природномъ быту; его теорія нашла признаніе, но и противорѣчие (Alfred Vierkandt); въ послѣднее время ищутъ объясненіе въ фонетической психологіи (Karl Bruchmann, Otto Schrader).

Къ амебейному пѣнію. Сл. Живая Страна, г. VI, вып. III—IV (1896 г.); А. Калачевъ, Нѣсколько словъ о поэзіи Теленгетовъ, стр. 490—1: пѣвцы—кожонче, ихъ состязаніе въ искусствѣ складывать пѣсни экспромтомъ. Лѣтомъ богатые устраиваютъ угощенія, на которыхъ зовутъ кожонче. Гости сидятъ на полу, по срединѣ, на почетномъ мѣстѣ, справа отъ входа, другъ противъ друга, сидѣть два пѣвца, дѣляя видъ, что относятся равнодушно другъ къ другу, пока еще небрежно перебирая двѣ струны своей деревянной балалайки (кайчачею кобусъ). Одинъ изъ нихъ началъ; онъ поетъ низкой октавой, звуки какъ бы выходятъ изъ самой глубины горла; нѣсколько тактовъ онъ гудитъ только гласными у, о, ы, потомъ быстрыми, мѣрными тактами, протягивая послѣдніе звуки, онъ поетъ нѣсколько строфъ и замолкаетъ. Тотчасъ же ему въ отвѣтъ поеть другой пѣвецъ, тѣмъ же размѣромъ, той же октавой. Поютъ по очереди, горячась все болѣе и болѣе, каждый рассказывая эпически про подвиги членовъ его рода, выставляя ихъ достоинство, смѣлость

и т. д., и высмеиваетъ остроумно своего противника и его родъ. Остроты и насмѣшки становятся все мѣтче и злѣе. Пѣвцы стараются, ибо пораженіе навлечетъ позоръ на весь родъ; слушатели раздѣлились на партіи, сочувствуя тому или другому пѣвшцу; страсти напрягаются, и напряженіе разрѣшается потасовкой между гостями. Слава побѣдителя разнеслась по Алтаю, особенно мѣткіе обороты и выраженія разнесутся слушателями. «Кожонче» въ большомъ почетѣ, ихъ приглашаютъ защитниками на судъ, гдѣ они защищаютъ своего клиента, говоря всегда въ риому, они присутствуютъ при сходкахъ и собраніяхъ, гдѣ они, опять же въ риому, говорятъ, защищая то или другое предложеніе.

(Къ амебейности). Сл. Hense, Die Synkrisis in der antiken Literatur. 1893.

Къ лирико-эпическимъ пѣснямъ. Сл. Сборн. мат. для опис. мѣстн. и племенъ Кавказа № XIX: картвельская лирико-эпическая, большою частью краткая историческая пѣсни, слагавшіяся по слѣдамъ событий: описываются стычки рачинцевъ съ осетинами, подвиги мѣстныхъ героевъ, называются имена, мѣстности, время происшествія, съ выходками мѣстного патріотизма и насмѣшками надъ врагами. Нерѣдко разскѣзъ идетъ отъ первого лица, какъ участника битвы, описание прерывается лирическими возгласами и переходитъ въ діалогъ.

(Отъ драматического діалогизма гимна Ригведы къ развитію драмы и эпоса). Сл. Haertel, Der Ursprung d. indischen Dramas u. Epos, Wiener Zs. f. d. Kunde des Morgenlandes, B. XVIII, стр. 59 слѣд., 139 слѣд.

Къ началамъ театра. Сл. Bénazet, Le thatre au Japon. Paris, Leroux, 1901.— О японской драмѣ сл. A. de Bauzemont, Le thatre sacr au Japon, Rev. des Rev. 1898, 15 Août, p. 474 слѣд. (религіозная, храмовая драма въ рукахъ нѣсколькоихъ семействъ, образующихъ нѣчто вродѣ касты исполнителей, служащихъ при храмахъ).

Къ первобытной драмѣ: Preuss. Phallische Fruchtbarkeitsdämonen als Träger des altmexikanischen Dramas, оттискъ изъ Arch. f. Anthropologie N. F. I, 1903, 60 p.; *Romagnoli:* Origine ed elementi della commedia d'Aristofane (изъ Studi ital. di filologia classica, v. XIII, Firenze, 1905, 188 p.); *то же:* Una farsa ellenistica (изъ Rivista d'Italia, Settembre, 1904, p. 496 слѣд.).

Preuss, Der Ursprung der Religion und Kunst, Globus, 86 B., p. 321, 355, 375, 388; 87 B. (1905 г.) стр. 333 слѣд., 347 слѣд., 380 слѣд., 394 слѣд., 413 слѣд.

(*Къ началамъ драмы*). Сл. Reich, Der Mimus, и его отчетъ въ Deutsche Litteraturzeitung, 1903, № 44 обзъ The Oxyrhynchus Papyri, Part III, ed. by Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt. [Отрывки греч. Фарса и мима. Aus den mimischen Tänzen uralter, phallischer dickbäuchiger Fruchtbarkeitsdämonen entwickelte sich in Hellas während des VIII., XI. und noch früherer Jahrhunderte ein kleines, burleskes Drama in Prosa, das in der Darstellung von allerhand lustigen Typen des realen Lebens exzellirte. Von dort aus wanderte es auch nach den griechischen Kolonien, insbesondere denen des Westens; въ Спартѣ ее звали δικηλού, въ Италии Phlyax, въ Сицилии Mimus (послѣднее упомянутое со времени Аристотеля и перипатетиковъ). Neben den nur in Prosa verfassten Mimen, den Mimologien, gab es noch Mimodien, gesungene Mimen. Seit Alexander dem Grossen entstand dann in den grossen hellenistischen Städten des Orients.... das grosse mimische Drama, die sog. mimische Hypothese, in der sich Prosa u. lyrische Partien (Arien, Cantica) mischen. Она проникла и въ Римъ. Philistion ist der Klassiker der griechischen, Publilius Syrus u. Decimus Laberius sind die der lateinischen Hypothese. Ея популярность во всей греко-римской империи. Seit den letzten vorchristlichen Jahrhunderten machte das mimische Schauspiel dem klassischen Drama, der Komödie wie der Tragödie, scharfe Konkurrenz um es in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten schliesslich von allen Bühnen des Occidentes wie des Orientes zu verdrängen, auf denen es dann fernerhin unbeschränkt neben dem Pantomimus herrschte. Der Grund dafür war: der Mimus wurde mit seiner «Ethologie» und «Biologie», d. h. mit seiner Charakterdarstellung u. seiner Lebensschilderung, der

neuen Ära, dem damaligen modernen Leben in der grossen griechisch-römischen Kulturwelt gerecht; das antike klassische Drama vermochte das nicht mehr, es war eben nicht mehr lebendig; Эсхилъ, Софокль, Эврипидъ, Менандръ забыты, такъ было и въ средніе вѣка, комедію и трагедію знаютъ лишь по имени, новое развитіе, насколько оно привязываетъ къ антику, привязано лишь къ миму. Но на латинскомъ Западѣ мимическая гипотеза оставила въ средніе вѣка лишь жалкіе слѣды, на греч. Востокѣ она процвѣтала; авторъ видѣть его наслѣдие въ тур. кукольномъ театрѣ Karagöz; въ Индіи: König Çûdrakas Mîcchakatikâ, Das ThonwÃgelchen (Vasantasena), ist eine echte mimische «Hypothese». Nach der Zerstörung Konstantinopels waren aber byzantinische Mimen auch nach Venedig gezogen, und infolge ihrer Anregung entwickelte sich der alte lateinische nur noch kümmerlich in den Tiefen des Volkslebens weiter vegetierende römische Mimus zur ital. Commedia dell' Arte....— Neben dem grossen mimischen Drama läuft der kleine «rezitative Mimus» her, den nur ein einziger Darsteller mit wechselnder Stimme u. Imitation zum besten gab. Als Beispiele besitzen wir hier Theokrits u. des Herondas Mimen u. nicht ganz unbeträchtliche Fragmente Sophrons. Къ этимъ *речитативнымъ* мимамъ относится и сохранившійся отрывокъ въ папирусѣ. Die Hauptperson ist eine verheiratete junge Dame. Sie liebt einen ihrer Sklaven Äsopus, der eine andere, die Sklavin Appollonia, erwählt hat u. deshalb die äusserst schamlosen Anträge der Herrin zurückweist. Da schnaubt die Eifersüchtige Rache; Spinther u. Malakus, ihre vertrauten Sklaven, sollen Äsopus u. Appollonia zu Tode führen, aber nicht einmal im Tode sollen die Liebenden aus ihrem gegenseitigen Anblick Trost schöpfen. Но Эзопу удается бѣжать, когда его вели на казнь, Аполлонія въ цѣпяхъ; боясь, какъ бы не прозналъ о томъ ея старый мужъ, дама готовится отравить соперницу — на этомъ обрывается папирусъ; первая часть мима напоминаетъ 5-й міамбъ Геронда Ζηλότυπος, вторая — den Giftmischermimus, den wir als eine grosse mimische Hypothese.... aus Andeutungen bei Plutarch u. Apuleius kennen. — По теоріи v. Wilamowitz'a такой мимъ сказывался однимъ лицомъ, что подтверждается нашимъ папирусомъ: не рабы докладываютъ госпожѣ о бѣгствѣ Эзопа, а она говоритъ: Что вы говорите? Эзопъ уѣжалъ? — Такой единоличный мимъ оплачивался дороже гомериста (*бүлгістән*), музыканта и *օρχнотән* (= пантомима). — Тотъ же папирусъ принесъ въ отрывкахъ единственный пока известный экземпляръ *мимической гипотезы*, которую Рейхъ

въ своей книгѣ конструировалъ теоретически (масса дѣйствующихъ лицъ, танцы, музыка, проза въ перемежку съ лирическими партіями; какъ въ романтической индійской драмѣ). Текстъ папируса въ прозѣ, но есть eine lyrische completartige Stelle darin; und den Schluss bilden Sprechverse. Auch zeigt es wirklich romantischen Charakter; die Handlung spielt an einer fernen Kѣste, die von den Wellen des indischen Ozeans bespült wird. Dort befindet sich mit einer Schar Getreuer eine junge, sch枚ne Griechin, die bezeichnenderweise Charition heisst. Wie sie dorthin gekommen ist, erfahrt man aus dem Fragmente nicht. Vielleicht war in frheren Szenen geschildert, wie Seeruber sie dorthin entfhrten, vielleicht hat sie Schiffbruch erlitten, was im Mimus sehr beliebt war; ich erinnere an Seneca's mimicum naufragium. Jedenfalls befindet sich Charition in der Gewalt eines indischen Kngs, der sie nicht von sich lassen will. Da erscheint ihr Bruder zu Schiff und weiss sie zu befreien. Man sieht, zweifellos ein hochst romantischer Stoff (авторъ выражаетъ предположеніе, что греческие мимы занесли романтическую драму въ Индию). Natrlich wird auch von den Indern in dieser Farce indisch gesprochen. Dieses Indisch ist freilich eine Phantasiesprache, die dem Zuhrer bloss vertndlich wurde durch das lebhafte Geberdenspiel der Mimen, der «gesticularii». (Какой-то английскій санскритологъ открылъ въ немъ слды пали. Въ турецкомъ Karagöz, наслѣдникъ, по мнѣнію автора, византійскаго мима, говорять на всевозможныхъ языкахъ; въ индійскомъ мимѣ — на разныхъ индійскихъ дialectахъ. Если у Плавта и Аристофана говорять на пунійскомъ и скиоскомъ языкахъ, то это вліяніе мима; сюда относится и der «soloekisierende Odysseus» der alten italischen Mimodie vorchristlicher Jahrhunderte). — Признакъ мима (гипотезы): множество дѣйствующихъ лицъ; въ ихъ числѣ клоунъ, μμος γελοίων, γελωτόποιός. Er ist, wie besonders der indische Vidusaka, hochst materiell gerichtet: онъ совѣтуется Харитонѣ захватить съ собою въ бѣгствѣ einige von den Weihgeschenken aus dem indischen Tempel, in dem sie wohnt; она боится гнѣва боговъ; онъ готовъ самъ это сдѣлать, оба не вѣрятъ богамъ, а святої Порѣ, которая и помогаетъ ему mit der Kraft seiner vapeurs eine ganze Schar von Feindinnen zu verjagen.... Im allgemeinen geht es ihm aber immer schlecht, wie er selber klagt; berall wird er gefoppt und maltrtiert, so von den indischen mit Bogen u. Pfeil bewaffneten Damen (такъ и Vidusaka). Dabei ist der «buffoon» seiner Herrin Charition genau so anhanglich wie der indische Narr dem Helden des Dramas. — Музы-

кальный аккомпаниментъ (*τύμπανισμός*), schliesslich tanzt der betrunkene indische König unter seinen Grossen zum Klange des *τύμπανον* einen seltsamen mimischen Tanz, den er mit sotadeischen Rhythmen begleitet, wie es die mimischen Cinaedologen u. Ionicologen taten, und der Cinaede bei Petron (Kap. 23, Buecheler) tut. Es ist der König im Mimus, den wir kennen. Gegenüber der Verwünschungen der Kirchenväter, die den Mimus als einen Pfuhl der Sünde u. der Schande in den Abgrund der Hölle verfluchten, следуетъ обратить вниманіе на Хориція, der von der ernsthaften und würdigen Haltung in vielen Mimen spricht. И въ нашемъ мимѣ за исключеніемъ Порѣдѣ клоуна, нѣть обсценности. — Наша мимическая гипотеза провинциальная, зачаточная, не гипотеза Филистіона и Лаберія, въ которой mit Annäherung an das klassische Versdrama die Sprechverse zahlreich vertreten (sind). Здѣсь преобладаетъ экстемпоральная проза. — Wir können jetzt.... besser verstehen, wie Philistion, der Klassiker der mimischen Hypothese, dem das spätere Griechentum den Rang neben Menander anwies und den es als Schilderer und philosophischen Be trachter des Lebens mit Denkern wie Plato auf gleiche Stufe stellte, und die verschollenen griechischen Mimographen vor ihm aus diesen höchst entwickelungsfähigen primitiven, prosaischen Anfängen das grosse romantische Drama der Antike schufen.... Die mimische Hypothese später nachchristlicher, ja byzantinischer u. mittelalterlicher Jahrhunderte wie die Hypothese Philistions aus dem Anfang des 1. Jahrh. v. Chr. wird durch diese neugefundene Farce u. die Hypothesis «Hecyra», welche die drei Mimologen auf der Basis einer Lampe aus dem 3. Jahrh. v. Chr., die Watzinger veröffentlichte, spielen, aufs innigste verknüpft mit den alten mimischen Burlesken des 4. u. 5. Jahrh., wie mit dem italischen Phlyax u. dem lakonischen Dikelon und dann weiter mit dem dramatischen Mimus der hellenischen Urzeit. — Мимъ въ развитіи древней реалистической поэзіи: Epi gramm und Epistolographie, Fabel, Satire u. Roman sind ja in vieler Hinsicht vom Mimus abhängig — какъ характеры Теофраста и сократической діалогъ. Socrates der Ethologe, d. h. der Mime — denn ἡθολόγος ist des Mimen Ehrentitel — hat seiner Schüler u. Nachfolger Interesse auf den Mimus gelenkt. Merkwürdig stimmen nun die Sujets der mimischen Schriftstellerei mit denen der kynischen überein, которая въ свою очередь породила сатиру, deren Anfang die Satire Menipps bedeutet. Die menippische Satire aber zeigt durchaus die Figuren u. Sujets wie die Form der mimischen Hypothese: Prosa gemischt mit

Sprechversen u. lyrischen Partien (менипповы сатиры ЛукIANA). — Alle Typen u. Themen, Szenen u. Situationen des realistischen Romans des Petronius wie des goldenen Esels des Apuleius u. Lukians, gehen auf die grosse mimische Hypothese zurück (не на рецитативный мимъ); der realistische Roman Petrons hat die Form der Menippischen Satire, d. h. Prosa gemischt mit lyrischen u. Sprech-Versen. Романъ и мимическую гипотезу создала александрийская эпоха (тема приведенного выше фарса напоминает романъ Ксенофона Эфесского, Habrokomas und Antheia, гдѣ Антейя во власти индійского царя Psammis).

(Къ плану драмы). Сл. въ I т. Разысканий выписки изъ Rev. Crit. 1903. № 43 и Anz. f. d. Alterth. u. d. Litter., XXVIII, 4 — и отчетъ Reich'a (о Jacob, Karagözkomödien, 3 Hefte, türkischer Text mit Anmerkungen etc., Berlin, Mayer und Müller, 1899; его же: Türkische Litteraturgeschichte in Einzeldarstellungen, H. 1: Das türkische Schattentheater, ib. 1900; его же: Das Schattentheater in seiner Wanderung vom Morgenland zum Abendland, ib. 1901; Littmann, Arabische Schattenspiele, ib. 1901; Pischel, Die Heimat der Puppenspiele. Halle, Niemeyer, 1900); въ Deutsche Litteraturzt., 1904, № 10, 595 слѣд.: повторяется взглядъ, что Karagöz — наследникъ мима; настоящая родина Karagöz'a Египетъ. Dort am Hofe von Alexandrien war schon im Beginne des 3 Jhts der rezitative Mimus eines Herondas u. Theokrit sehr beliebt. Auf ägyptischem Boden fand man die Mi-Miamben des Herondas, fand man Grenfells Alexandrian Erotic fragment, die berühmte alexandrinische Mimodie «Des Mädchens Klage». In Alexandrien hat sich der Mimus zu einem grossen, eigenthümlich modernen Schauspiel entwickelt. — Кроме Puppenmimus, въ Турціи и въ Аравії встречается и настоящий Volksschauspiel, Theatermimus, разыгрываемый актерами, und in Ägypten springt nun immer auf Jahrmarkten ein seltsamer Kloon, der noch den Phallus, das αἰδοῖον μυρολόγων, das Wahrzeichen der Mimen trägt und macht die alten unanständigen Zoten d. mimischen Stupidus. — Турки получили свои Karagöz отъ Арабовъ, но было и влияние византійского мима, наследника греческаго. Pischel указываетъ на сходство инд. Vidûsaka съ Harlekin, Pulcinella, Hans Wurst и т. д., не решая вопроса, какими путями Vidûsaka проникъ въ Европу. У Рейха-вопросъ предрѣщенъ: какъ Vidûsaka, Karagöz, такъ и Harlekin и Pulcinella вышли изъ

греч. мима. Рейхъ соглашается съ Пишелемъ, что выходить изъ затрудненія, возбужденного сходствомъ извѣстныхъ литературныхъ и культурныхъ типовъ, ссылаясь на общія условія психического развитія, значитъ избѣгать решенія вопроса; но заимствованіе предполагаетъ существованіе въ воспринимающей средѣ встрѣчныхъ условій и формъ выраженія; ихъ слѣдуетъ изучать, чтобы понять причины усвоенія. Побѣждаетъ болѣе интенсивная, яркая форма.

УКАЗАТЕЛЬ.

1) Какъ въ личномъ, такъ и въ предметномъ указателяхъ иностранныя слова введены въ алфавитъ не по начальнымъ буквамъ, а согласно произношению. 2) Цифры, набранныя жирнымъ шрифтомъ, означаютъ страницы добавленій.

A.

- Abercromby, I. Библіогр. указ. 550.
Августинъ, блаж. Упомин. 258, 376.
Adam de la Hale. О его эпитетахъ 75.
Адонисъ. Къ миеу о немъ 254—258.—
О культѣ его 254, 257—258.
Александрія, повѣсть. Популярность ея
въ средніе вѣка 20.
Алкей. О его произведеніяхъ 331—333,
336—338.
Ἀλφάβητος τῆς ἀγάπης. Упомин. 181, 464,
468, 473.
Альбоинъ, лонгобардскій король. Пѣсни
о немъ 397.
Amairgen fils de Mil. О немъ 575—576.
Амміанъ Марцеллинъ. Упомин. 405.
Амуръ и Психея. Къ повѣсти о нихъ
53—54.
Амфіонъ. Къ сказанию о немъ 414—415.
Анакреонъ. О его произведеніяхъ 331,
461.
Anderson Alan, O. Библіогр. указ. и вы-
писка 571.
д'Анкона. Библіогр. указ. 119.— О его
объясненії stornelli 106.
д'Аннуцио. О повтореніяхъ въ его
произведеніяхъ 117.— О поэтическихъ
образахъ въ его произведеніяхъ 223.
Antoninus Liberalis. Упомин. 415.

Аполлодоръ. Упомин. 257.

Аполлонъ. Къ миеу о немъ 423.

Апулей. О немъ 53—54.— Упомин. 269.
d'Arbois de Jubinville. Библіогр. указ. и
выписка 540—541.

Аристотель. О немъ 223, 331, 332.—
О его поэтикѣ 391.— О его различеніи
языка прозы и поэзіи 437—439.—
О его теоріи происхожденія и развитія:
комедіи 389; — трагедіи 386—389.—
Определенія его: загадки 205; — мета-
форы 203—204; — сущности сравненія
211.— Упомин. 62, 228, 247, 440,
480.

Аристофанъ. О его комедіяхъ 389—390.

Аріонъ. Приписываемая ему реформа
диенірамба 331.

Arreat. Упомин. 81.

Архилохъ. О его произведеніяхъ 333—
337.— Упомин. 304.

Атеней. Упомин. 246, 307, 384, 398, 469.
Асанасьевъ, А. Н. Библіогр. указ. 577.

B. В.

- Багинъ, С. Библіогр. указ. и выписка
513.
Байронъ. Упомин. 303.
Баловъ, А. Библіогр. указ. и выписка
513—515.

- Бальмонтъ, К. Д. О его эпитетахъ 63,
80.—Упомин. 219.
- Bagnolet. Упомин. 306.
- Barella, Domenico. Библіогр. указ. 107.
- Barrois, Библіогр. указ. 128.
- Барсовъ, Е. В. Библіогр. указ. 60.
- Барсовъ, Н. И. Библіогр. указ. 531.
- Barth. Библіогр. указ. 124.—Упомин.
291.
- Basset, René. Библіогр. указ. 577.
- Bastian, A. Упомин. 140.
- Батюшковъ, Ф. Дм. Библіогр. указ. 575.
- Безсоновъ, П. А. Библіогр. указ. 433.
- Boeckel. Библіогр. указ. и выписки 504,
509—510.—Взглядъ его на литератури-
тельный языкъ народной пѣсни 451.—
Упомин. 18—19, 281, 412.
- Becker. Библіогр. указ. 199, 505.
- Bénazet. Библіогр. указ. 578.
- Бенаръ. Взглядъ его на послѣдователь-
ность развитія эпоса, лирики и драмы
288—289.
- Бенедиктовъ, Вл. Г. Упомин. 461.
- Benezé. Библіогр. указ. 157.
- Benloew. Библіогр. указ. 288, 289.—
Упомин. 290.
- Bennott de Saint-More. Упомин. 106.
- Benfey, Th. О его журналѣ 18.
- Beovulf, поэма. Упомин. 2, 276, 397.
- Бергеръ. О его изслѣдованіи рыцарской
лирики 344.
- Berguedan de Guillem. Упомин. 493.
- de-Bergerac, Cyrano. О немъ 52.
- Berger. Библіогр. указ. и выписка 524.
- Berqu. Библіогр. указ. 199.
- Bergk-Hiller. Библіогр. указ. 543.
- Behrsin. Библіогр. указ. 511.
- Bernart de Ventadorn. О его стихотвореніи 458.
- Бески Веніаминъ, іезуитъ. Упомин. 18.
- Betz. Библіогр. указ. 30.
- Biese. Библіогр. указ. 65, 83.
- Біонъ. О его пѣсняхъ 257—258.
- Biré. Библіогр. указ. 30.
- Блудный сынъ. Къ легендѣ о немъ 28.—
Оживленіе легенды о немъ 51—52.
- Боголюбовъ, полк. Упомин. 120—121.
- Bode. Библіогр. указ. 78.
- Бодлеръ. О его эпитетахъ 80.
- de-Bauzemont, A. Библіогр. указ. и вы-
писка 578.
- Бокаччо. О его «Декамеронѣ» 20.—
Упомин. 264.
- Бокль. Обобщенія его 7.
- Bolte. Библіогр. указ. 101.
- Боринскій. Взглядъ его на послѣдователь-
ность развитія эпоса, лирики и
драмы 302.
- Боянъ. Упомин. 398.
- Браунъ, О. А. Библіогр. указ. и вы-
писка 491.
- Bréal, M. Библіогр. указ. 70.—Выписка
490—491.
- Brehm. Упомин. 26.
- Brugmann, K. Замѣчанія его о языкахъ ли-
товскихъ сказокъ 451.
- Brunnhofer, H. Библіогр. указ. 167, 212,
515.
- Bruchmann, C. Взглядъ его на послѣдователь-
ность развитія эпоса, лирики и
драмы 302—303.—Упоми. 577.
- Brunetièr. Библіогр. указ. 30.—О его
определѣніи романтизма 34.—О его
определѣніи поэзіи 31—32.
- Bugge, S. Библіогр. указ. и выписка
572—573.—Упомин. 407.
- Buckland, W. Библіогр. указ. 571.
- Булатовичъ, А. К. Библіогр. указ. 551.
- Burdach. Библіогр. указ. 199.
- Bourget, P. О его опредѣлениі красоты
поэтическ. языка 436—437, 446.—
О его эпитетахъ 79.
- de-Bourmont. Упомин. 305.
- Bücher, K. Взглядъ его на развитіе ра-
бочей пѣсни 577.

B. V. W.

- Wackernagel, W. Упомин. 288, 290, 291,
391.
- Вакхилидъ. О его диенірамбахъ 246, 304.
- Valentin. Взглядъ его на послѣдователь-
ность развитія эпоса, лирики и драмы
295—297.

- Валерій Флаккъ. О его эпитетахъ 73.
Valla. Библіогр. указ. 105.
- Вальтеръ фонъ-деръ-Фогельвейде. О его поэзії 344—345, 347—349.—О его эпитетахъ 65.—О мотивахъ его поэзії 457—458.—Упомин. 155.
- Варенцовъ, В. Г. Библіогр. указ. 509.
- Василій Великий. Упомин. 473.
- Васильевъ, А. Библіогр. указ. и выписка 505.
- Weber, A. Библіогр. указ. 515.—Взглядъ его на развитие санскритской прозы 479.
- Ведійські гимни. Лирический характеръ ихъ 12.
- Веды. Формы драмы въ нихъ 12.—Упомин. 33, 206, 408.—См. еще *Rigveda*.
- Wechssler. Библіогр. указ. 553.
- Верленъ. Его поэтические образы 223—224.
- Werner. Взглядъ его на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 294—295, 299, 303.
- Werner von Tegernsee. О его стихотвореніяхъ 467.
- Westermarck, E. Библіогр. указ. и выписка 542—543.
- Westphall. Упомин. 289.
- Ветуховъ, А. В. Библіогр. указ. 530.
- Wetz. Библіогр. указ. 30.
- Vigfusson. Библіогр. указ. 100, 104, 109.
- Vidsid, поэма. Упомин. 397.
- Vikarsbalkr, поэма. Діалогизмъ ея 394—395.
- Виллонъ. О его поэзії 353.
- Вильгельмъ Мальмсберійский. О его легендахъ 41.
- Вильмансь. Упомин. 291, 340.
- Windisch, E. Библіогр. указ. и о немъ 123, 505.
- Виргiliй. О вліянії его на средневѣковыхъ латинскихъ поэтовъ 101.—О его аллегоризації 44—45.—О его эпитетахъ 82.—О подражаніяхъ его эклогъ 251.—О произведеніяхъ его 465.—О христіанізированіе его 19—20.—Упомин. 43, 74, 128, 138, 244, 391, 463.
- Висраміани, поэма. Упомин. 464.
- Witzschel-Schmidt. Библіогр. указ. 544.
- Вольтеръ. О его «*Zadig'ї» 27.*
- Вольтеръ, Э. А. Упомин. 60.
- Вольфрамъ фонъ-Эшенбахъ. Упомин. 13, 179, 220.
- Wolf, Eugen. Библіогр. указ. 303.
- Wolf, Julius. Образныя выраженія въ его поэзії 221.
- Wolf-Lachman. О ихъ теорії 11, 91—92.
- Voluspá, поэма. Діалогизмъ ея 394—395.
- Вордсвортъ. Новое освѣщеніе въ его произведенияхъ древнихъ представлений 220.
- Wünsch, R. Библіогр. указ. и выписка 544, 565.
- Wünsche, A. Библіогр. указ. и выписка 137, 528.

Г. Г. Н.

- Haas, A. Библіогр. указ. и выписка 550.
- Hávamál, поэма. Діалогизмъ ея 394—395.
- Haddon, A. C. Библіогр. указ. и выписка 539.
- Гадлаубъ, Іоганнъ. Мотивъ «служенія дам'ї» въ его поэзії 353.
- Гадрій. О его сколіяхъ 108.
- Hallbjörn, скальдъ. Упомин. 424.
- Hallfredr, скальдъ. Упомин. 132.
- Halm, поэтъ. Упомин. 253.
- Galfredus de Vino Salvo (Гальфридъ Ф.-Винезальфъ), поэтъ. Упомин. 306.
- Гансъ Саксъ. О сюжетахъ его произведений 20.—Упомин. 250.
- Harbardsliod, поэма. Діалогизмъ ея 394—395.
- Hariciamça, поэма. Упомин. 371.
- Гаринъ (Михайловский), Н. Г. Библіогр. указ. и выписка 573.
- Hartland, E. S. Библіогр. указ. 137, 138.
- Hartmann, A. Библіогр. указ. 101.
- Гартманъ фонъ-деръ-Ауэ. Упомин. 13.

- Гартъ, Юліусъ. Образныя выражения въ его поэзии 221—222.
- Гаршинъ, Вс. М. Обновленіе у него старыхъ сюжетовъ 52. — Упомин. 135.
- Gastin. Библіогр. указ. 137.
- Hauffen, A. Библіогр. указ. 104, 576.— Взглядъ его на литерат. языкъ народной пѣсни 451.
- Гебель. Его объясненіе литерат. языка народной пѣсни 451.
- Гегель. Взглядъ его на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 286—288.
- Гёдеке, изсл. Упомин. 21.
- Gaidoz, H. Библіогр. указ. и выписка 517.
- Гезихій. О его эпитетахъ 61.
- Гезіодъ. Легенда о состязаніи Гомера и Гезіода 309—310.— О его эпитетахъ 77, 78.— Упомин. 137, 247, 335, 336, 407, 412, 423, 424.
- Гейеръ, изсл. Упомин. 290.
- Гейне. О его воспріятіи музыкальныхъ впечатлѣній 80—81.— О его повтореніяхъ 117.— О его поэтическихъ формулахъ 464—465.— О его эпитетахъ 63, 75, 81—82, 84.— Образныя выраженія въ его поэзии 219, 221.— Упомин. 41, 461.
- Heinzl. Библіогр. указ. 86.
- Генрихъ von Melk. Упомин. 345.
- Hense. Библіогр. указ. 487, 537, 578.
- Heorrenda, ст.-герм. пѣвецъ. Упомин. 397.
- Gherardini. Библіогр. указ. 554.
- Герасимовъ, этнogr. Библіогр. указ. и выписка 544.
- Gerber. Библіогр. указ. и выписки 75, 485.— О его взглядѣ на отличіе прозы и поэзии 489.
- Гердеръ. Упомин. 11, 55.
- Herondae mimambi. Упомин. 543.
- Haertel. Библіогр. указ. 578.
- Hertling. Библіогр. указ. и выписка 551.
- Hertz, W. Библіогр. указ. 576.
- Гёте. О его взглядѣ на поэзію 435—436.— О его опредѣленіи романтизма 34.— О его эпитетахъ 73.— О немъ 15, 22, 29, 81, 218, 221.— Упомин. 28, 295, 428.
- Гиббонъ. Обобщенія его 7.
- Гильфердингъ, А. Ф. Библіогр. указ. 400, 429—432.
- Guillaume de Machault. Упомин. 106.
- Гиппархъ. Упомин. 309.
- Hölderlin. Упомин. 133.
- Goblet d'Alviella, E. Библіогр. указ. 565.
- Головацкій, Я. Ф. Библіогр. указ. 103.
- Golther, W. Библіогр. указ. 137.
- Голубина книга. Упомин. 219—220, 222.
- Гомеръ. Легенда о состязаніи Гомера и Гезіода 309—310.— О накопленіи эпитетовъ и сравненій въ гомеровскихъ поэмахъ 195.— О немъ 11, 20, 335, 336.— О поэмахъ гомеровскихъ 34, 35, 274—275, 311, 332, 397, 478.— О гомеровскихъ пѣвцахъ 395—396.— О сравненіяхъ въ его поэмахъ 212—217.— О хоровыхъ пѣсняхъ и обрядахъ въ Иліадѣ 245—246.— О эпитетахъ въ его поэмахъ 59—61, 63, 65, 68, 70, 75, 77.— Упомин. 131, 133, 134, 209, 391, 396, 412, 423, 425, 428, 433—434, 543.
- Goncourt. О его эпитетахъ 64, 83.
- Горацій. О его эпитетахъ 63.— О поэтикѣ его 387, 391.— Упомин. 101, 177, 307, 374.
- Горгій. Упомин. 438, 480.
- Горнфельдъ, А. Г. Библіогр. указ. 575.
- Gotta. Библіогр. указ. 554.
- Gautier, L. Библіогр. указ. 86.— Взглядъ его на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 289—290.
- Готтфридъ Страсбургскій. Упомин. 13.
- Гофманъ, изсл. Его объясненіе литературного языка народной пѣсни 451.
- Gauchat. Библіогр. указ. 526.
- Гоше. О журнальѣ его 18.
- Грааль. Къ легендѣ о св. Граалѣ 13, 14.
- Groeber. Библіогр. указ. 86, 510.— Его объясненіе диттологіи 93.

Григорій Назіанзинъ. Упомин. 473.
Гриммъ, Як. Его объясненіе литературнаго языка народной пѣсни 451.—
Упомин. 291.
Гrimm, Як. и В. Упомин. 391.
Grimismál, поэма. Діалогизмъ ея 394—395.
Грузинскій, А. Е. Библіогр. указ. 98.
Grundtvig. Библіогр. указ. 100.
Hugo von Trimberg, поэтъ. Упомин. 412.
Гудруна, поэма. О пѣсняхъ Горанта 415—416.
Gusinde. Библіогр. указ. и выписка 554—560.
Huth, G. Библіогр. указ. и выписка 538.
Huch, Ricarda. Библіогр. указ. и выписка 573—575.
Гюго, В. О его эпитетахъ 64, 80, 83.—
Переводъ его малайскаго пантуна 520.—Упомин. 167.
Huysmans. Библіогр. указ. и выписка 488.—Упомин. 141.

Д. Д.

Данте. О его поэмѣ 119, 353—354.—
О его эпитетахъ 64, 65, 456.—Упомин. 4, 49, 201, 467.
Дарвинъ. Упомин. 27, 233.
Delio, изслѣд. Упомин. 22.
Deóг, ст.-герм. пѣвецъ. Упомин. 397.
Державинъ, Н. С. Библіогр. указ. и выписка 516—517.
Дикаревъ, М. А. Библіогр. указ. и выписка 504—505, 509.
Дитмаръ фонъ Эйтъ. О его альбѣ 470.—
О его пѣсняхъ 343—344.—Упомин. 179.
Dietrich. Библіогр. указ. 86, 112.
Дицъ. О его объясненіи сицилійскихъ strambotto 106.
Diogenes Laertius. Упомин. 309.
Діодоръ Сицилійскій. Упомин. 405.
Діонисъ. Культь его и развитіе греческой драмы 44.—Къ миѳу о немъ

254—258.—Миѳы о немъ и праздники въ честь его въ связи съ развитіемъ художественной драмы 378—386, 388.—См. еще *Dionisii*.

Діонъ Христостомъ. Его сказка о небывалой странѣ 52.
Добровольскій, В. Н. Библіогр. указ. 92.
Добрыня Никитичъ. Къ былинѣ о немъ 272, 416—417.—Наигрыши Добрыни 429—434.

Довнаръ-Запольскій, М. В. Библіогр. указ. и выписка 489—490.
Daudet Alph. Библ. указ. 502.—О его повтореніяхъ 117.—О его эпитетахъ 79.—Упом. 132, 279—280.

Долганевъ, Е. Е. Библіогр. указ. и выписка 551.

Дональ. Упомин. 43.

Донъ-Жуанъ. Къ легендѣ о немъ 52, 476.

Е.

Евріпидъ. О его поэтическихъ формулахъ 459.—О его трагедіяхъ 380—387, 390.—О его эпитетахъ 63, 70.—Упомин. 131, 380, 382.

Евеймій Ибертъ. Упомин. 424—425.

Eilhard von Oberg. Упомин. 139.

Elster. Библіогр. указ. 30.

Erk-Böhme. Библіогр. указ. и выписка 506, 509, 544.

Ерштедтъ, В. К. Упомин. 60.

Ершъ Ершовичъ. Сказка о немъ 39.

Ж. J. G.

Jeanpoу. Библіогр. указ. 75, 96, 98, 117, 155.—Упомин. 339.

Gérard de Roussillon, поэтъ. Упомин. 352—353.

Jevons, F. В. Библіогр. указ. и выписка 137, 539, 565.

Gil Vicente. Упомин. 251.

Житецкій, И. А. Библіогр. указ. 491—492.

Jodelle. О его реформѣ французской драмы 20.
Joseph. Библіогр. указ. 199.
Joret. Библіогр. указ. 73.—Упомин. 171.
Georgeakis, G. et Pineau, L. Библіогр. указ. 99.
Жорж-Сандъ. Упомин. 23.
Жуковский, В. А. Упомин. 477.

З. З. С.

Sichs, изслѣд. Библіогр. указ. 222.
Zola, E. О его эпитетахъ 79, 83.—Упомин. 135.
Зѣлинский, Ф. Фр. Библіогр. указ. 384.

И. И.

Іеронимъ, блажен. Упомин. 473.
Ілларіонъ, митр. О эпитетахъ въ его «Словѣ о ветхомъ и новомъ завѣтѣ» 79.
Ілья Муромецъ. О крестьянствѣ его 36.
Ion Ögmundarson, еп. Упомин. 104.
Іорданъ, историкъ. Упомин. 276.
Іоскитовъ, этнogr. Библіогр. указ. 132.
Ірасекъ. Библіогр. указ. 105.

К. С.

Калачевъ, А. Библіогр. указ. и выписка 531, 577—578.
Калашевъ, этнogr. Библіогр. указ. 104.
Калевала. О ея runахъ 317—320.—Лиро-эпический характеръ ея 312.—Мотивъ «вѣщей пѣсни» въ ней 417—420, 571—572.—Упомин. 120, 142.
Калидаса, драм. Упомин. 371.
Кальдеронъ. Легенда о познаніи добра и зла въ его трагедіи 51.
Карациї. Библіогр. указ. 155.
Кардуччи. О его различеніи прозы и поэзіи 445—446.—О его эпитетахъ 63.
Карлейль. Его теорія героевъ 5.
Карль Орлеанскій. О его пѣсняхъ 349.

Карль Великій. Былевыя пѣсни о немъ 36.
Carrara, Enr. Библіогр. указ. и выписка 510.
CarriÈre. Его взглядъ на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 287—288.—Упомин. 21, 391.
Катулль. О его гименѣ 96.—О его поэтическихъ формулахъ 460.—Формула «пожеланія» въ его поэзіи 463.—Упомин. 337, 350.
Kauffmann. Библіогр. указ. и выписка 570.
Квинтиліанъ. Упомин. 141, 376.
Квінтъ Курцій Руфъ. Упомин. 20.
Koegel. Библіогр. указ. и его объясненіе формулы «singен und sagen» 122.—Упомин. 339.
Келлеръ, Готфрідъ, поэтъ. О его эпитетахъ 81.
Köhler, R. Библіогр. указ. 137.—Упомин. 464.
Koerting. Библіогр. указ. 95.
Кирбевский, П. В. Библіогр. указ. 416, 431.
Claretie, Léo. Библіогр. указ. и выписка 515.
Коберштейнъ, изслѣд. Упомин. 291.
Козьма Пражскій. Упомин. 276.
Козьма и Даміанъ, свв. О ихъ кульѣ 256, 544.
Collinet. Библіогр. указ. и выписка 540—541.
Comparetti, D. Библіогр. указ. 120.
Конрадъ, бродячій пѣвецъ. Упомин. 38.
Коранъ. О его прозѣ 478.
Корнелій Непотъ. Упомин. 376.
Корнель. Упомин. 392.
Коробка, Н. И. Выписка изъ его записи народной пѣсни 523.
Короленко, Вл. Г. Переживаніе старыхъ образовъ въ его произведеніяхъ 220.
Коршъ, Ф. Е. Библіогр. указ. 339.
Косская школа, греч. Упомин. 396.
Коссовскій цикль. О немъ 323.

Koch, Max. Замѣтка о его журнアルъ «Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte» (1886) 18—29. — О его статьѣ «Zur Einführung» («Zeitschr. f. vergleichende Litteraturgeschichte») 19—22.

Crane, Th. F. Упомин. 21.

Krauss, F. Библіогр. указ. 170, 269.

Crescini, Vincenzo. О его предисловіи къ перев. «Chanson de Roland» 86.

Croiset. Библіогр. указ. и выписка 568—570.—Упомин. 289.

Crusius. Библіогр. указ. и выписка 543—544.

Ксеноократъ. О его реформѣ хорического пэана 330.

Ксенофонты. Упомин. 240, 241, 247.

Крукъ. Упомин. 433—434.

Кувера, поэма. Упомин. 372.

Кузнецова, В. К. Библіогр. указ. и выписка 499—502.

Kúnos. Библіогр. указ. и выписка 521—523.

Courant, M. Библіогр. указ. и выписка 551—552.

von-Kürenberg. О его пѣсняхъ 342—343, 345.

Кадмонъ, св. Къ легендѣ о немъ 424.

П. Л.

де-Ла-Бартъ, гр. Ф. Г. Библіогр. указ. 86—87.—Упомин. 60.

Лазарь, четверодневн. О его культѣ 255—256, 545—546.

Лазосъ, драматургъ. Упомин. 383.

Лакомбъ. Его взглядъ на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 296—297.—Упомин. 288.

Лампрехтъ, бродячій пѣвецъ. Упомин. 38.

Lang. Библіогр. указ. и выписка 539—540.

Langsdorff, S. H. Упомин. 233.

Landau, M. О его статьѣ «Das Heiratsversprechen» 18—19, 27—28.

Ландышевъ, О. Библіогр. указ. и выписка 572.

Larsen. Библіогр. указ. 531.

Латышевъ, В. Библіогр. указ. 257.

Лахманъ. Упомин. 291.

Lahor, Jean. Упомин. 56.

Levi, Att. Библіогр. указ. 201, 533.

Ленау, поэтъ. О его эпитетахъ 63.—Образы въ его произведеніяхъ 219.—Упомин. 133.

Lönnrot. Упомин. 419.

Лермонтовъ, М. Ю. Параллелизмъ въ его произведеніяхъ 219.

Лесбонакъ изъ Митилены. Упомин. 247.

Letourneau, Ch. Его взглядъ на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 297, 299, 301.

Ливій Андроникъ, драмат. Роль его въ развитіи римской драмы 307, 375—376, 386.

Ливій, Титъ. Разсказъ его о началахъ римской драмы 374—376.

Фонтъ-Лілленкронъ, R. Упомин. 290, 291.

Lindner. Библіогр. указ. 505.

Линь. Пѣсня о немъ 245—246, 330.

Логографы, греч. О ихъ прозѣ 478—479.

Лонгъ, поэтъ. Упомин. 268, 463.

Лопе-де-Вега. О его драмахъ 20.

Lotze. Взглядъ его на переработку старыхъ сюжетовъ 15.

Лохвицкая, М. А. О ея поэтическихъ формулахъ 460.

Лукіантъ. Упомин. 247, 257, 269, 378.

Лукрецій. О его эпитетахъ 77.

Ляцкій, Е. А. Библіогр. указ. и выписка 511.

М.

Магабхарата, поэма. Слѣды амебейности въ ней 308—309.

Магометъ. Упомин. 424.

Майковъ, Л. Н. Упомин. 60.

Maynard, поэтъ. О его эпитетахъ 79.

Максимовъ, С. В. Упомин. 233—234.

- Макферсонъ. Упомин. 213.
Mâlavikâgnimitra, драма. Упомин. 369.
Малинка, А. Н. Библіогр. указ. и выписка 517, 532—533.
Mannhardt, W. Упомин. 22.
Маргарита Наваррская. Упомин. 7.
Margett. Библіогр. указ. 531.
Mariañ, S. Fl. Библіогр. указ. и выписка 528—530.
Mariller. Библіогр. указ. и выписка 137, 562—565.
Marillon. Библіогр. указ. 575—576.
Марло. Идеализація типа Faуста въ его трагедії 28, 51.
Марло. Роль его въ исторії франц. мысли XVI в. 7.
Marro. Библіогр. указ. 521.
Марръ, Н. Я. Упомин. 65.
Марсій. Къ миу о немъ 572.
Марсь. Къ миу о немъ 414—415.
Martinengo-Cesaresco, E. Библіогр. указ. 543.
Мартинъ. Библіогр. указ. и выписка 554.—Упомин. 291.
Маршалъ. Формула «пожеланія» въ его произведеніяхъ 463.
Maspero, G. Библіогр. указ. 171.
Матовъ, Дм. Ап. Взглядъ его на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 299—302.
Matthews, W. Библіогр. указ. и выписка 504.
Machdoun Kouli, туркоманск. поэтъ. О немъ 425.
Möbius. Библіогр. указ. 109.
Мезерь. Упомин. 4.
Meier, John. Библіогр. указ. и выписка 524—526, 543.
Meyer, R. M. Библіогр. указ. и выписки 185, 493, 524.—О его статьѣ «Ueber den Refrain» 22—27.
Meinloh von Sevelingen. О его п'есняхъ 343—344.
Meli, Giovanni. О переводѣ его п'есентъ 29.
Menendez y Pelayo. Библіогр. указ. 552.
Möricke, поэтъ. Упомин. 133.
- Мерлинъ. Упомин. 13.
Maeterlink. О его эпитетахъ 83.
Mätzner. Библіогр. указ. 75.
Миклошичъ. Упомин. 235, 300.
Милићевић. Упомин. 155.
Миллеръ, Вс. О. Библіогр. указ. и выписка 512.
Милојевић. Библіогр. указ. 155.
Мимерингъ. О построеніи баллады о Мимерингѣ 99—100.
Мицкевичъ, А. О его поэтическихъ формахъ 461.
Мое, J. изсл. Упомин. 451.
Монтень. Роль его въ развитіи французской мысли XVI в. 7.
Morf, H. Библіогр. указ. и выписка 526—527.
Мортъ, Томасъ. О его утопії 52.
Moschetti, Andrea. Библіогр. указ. 86.
Мошковъ, В. А. Библіогр. указ. и выписка 516.
Мунго-Паркъ. Упомин. 233, 237.
Moop - Conard, E. L. Библіогр. указ. 551.
Мюлленгофъ, К. Библіогр. указ. и о немъ 122, 124.—Упомин. 290, 291.
Müller, H. C. Библіогр. указ. 30.
Müller, Theodor. Библіогр. указ. 88.
Мюссе, Alfr. О его стихотвореніи 167.
- H. N.**
- Nash Thomas, поэтъ. Упомин. 251.
Нейдгарть, поэтъ. О его п'есняхъ 340, 342, 349, 461, 524, 554—560.
Нейфенъ, средневѣк. поэтъ. Упомин. 344.
Некрасовъ, Н. А. О его эпитетахъ 63.
Neocorus (Johann Adolph). Упомин. 283.
Нибелунги, поэма. О эпитетахъ въ поэмѣ 78.—Составъ ея 38.—Упомин. 2, 3, 212.—См. еще *Нибелуки*.
Nigra, C. О его объясненіи сицилійскихъ strambotto 106—107.
Никандръ, поэтъ. Упомин. 415.
Никифоровскій, Н. Я. Библіогр. указ. и выписка 560.

Нитцше, Фр. Упомин. 379—380, 388.
Нифлунги. Сказанія о нихъ въ Эдѣ
320.
Nordfeld. Библіогр. указ. 86.
Nourrit. Упомин. 81.
Nutt, A. Библіогр. указ. 15.

O. Au.

Овидій Назонъ. О его эпитетахъ 63,
64.—Упомин. 138, 346, 461, 472.—
Формула «пожеланія» въ его поэзіи
463.
Одинъ-Вуотанъ. Къ миеву о немъ 412—
413, 422—423.
Aucassin et Nicolette, сказка. О чередо-
ваніи въ ней стиховъ и прозаиче-
скихъ отдыловъ (singen und sagen)
124—128, 310, 477.
Oldenberg, H. Библіогр. указ. 122.—
О его объясненіи гимновъ Ригведы
122, 370.
Орфей. Къ сказанію о немъ 414—415.
Освальдъ фонъ Волькенштайнъ. О его
пѣсняхъ 349.
Oesterley, H. Упомин. 18, 21.
Отто Людвигъ. Упомин. 81.

P. R.

Paasonnen, H. Библіогр. указ. 516.
Павель Діаконъ. Упомин. 397.
Павлинъ, св., еп. Нолы. Хоровая пѣсня—
игра въ честь его 283—284.
Павловъ, А. Библіогр. указ. 200.
Pakscher. Библіогр. указ. 86.—Его
объясненіе диттологіи 93, 113.
Панфиль, игум. Упомин. 258.
Paris, G. Библіогр. указ. 27, 86 сл., 123,
125.—Взглядъ его на постѣдователь-
ность развитія эпоса, лирики и драмы
290—291.—Его объясненіе старо-
французскихъ estribot 106—107.
Parnassiens (парнасцы). О ихъ опредѣ-
леніи языка поэзіи 436—437, 446,
447.

Парсиваль, романъ. Упомин. 180.
Пасквалино. О его объясненіи сицилій-
скихъ strambotto 106.
Passow. Библіогр. указ. и выписки 527—
528, 543.
Пасхазій Радберть. Упомин. 278.
Pedo Albinovanus. О его эпитетахъ 71.
Petit de Julleville. Библіогр. указ. 86.
Петрарка. Исканіе имъ новыхъ путей
224—225.—О стилѣ его. 354.—
Упомин. 4, 209, 329, 468.
Петраркизмъ. О его переживаніи 20,
52, 329.
Petsch, R. Библіогр. указ. 577.
de-Pisan, Christine. Ея литературная
обработка народныхъ мотивовъ 176.
Пиндарь. О его эпитетахъ 72, 77.—
Упомин. 391, 407, 412, 428.
Плавтъ. О его комедіяхъ 307.—О его
эпитетахъ 79.
Платонъ. Его ученіе о вдохновеніи
425—427.—О его эпитетахъ 61.—
Упомин. 247, 309, 331, 378.
Пліній. Упомин. 472.
Плутархъ. Упомин. 246, 247.
Погодинъ, А. Л. Библіогр. указ. и вы-
писка 515—516.
Покровскій. Библіогр. указ. 503.
Paulhan. Библіогр. указ. и выписка
519.
Понтанъ, поэтъ. Упомин. 307.
Потанинъ, Г. Н. Библіогр. указ. 571.
Потебня, А. А. Библіогр. указ. 92, 103,
155, 156.
Pott, A. F. Библіогр. указ. 487.
Pramathas. Обработка сказанія о немъ
въ «Прометеѣ» Эсхила 15.
Preller, L. Библіогр. указ. 543.
Preuss, K. Th. Библіогр. указ. 579.
Прискъ. Упомин. 276.
Проперцій. О его произведеніяхъ 465.
Пушкинъ, А. С. Взглядъ его на подра-
жаніе 476—477.—О его взглядѣ на
поэзію 428—429.—О его эпитетахъ
63, 64, 73.—Упомин. 206, 339.
Пѣснь о Роландѣ—см. *Chanson de Ro-
land*.

P. R.

Рабле. Значеніе его въ исторіи французской мысли 7.— Его соціальная утопія 52.
Radloff, W. Библіогр. указ. 123, **521—523**.
Raynaud. Библіогр. указ. и выписка 98, 101, **527**.
Рамаяна, поэма. Упомин. 372.
Регенбогенъ, ср.-вѣк. поэтъ. Упомин. 353.
Reinach, S. Библіогр. указ. и выписка **565—568**.
Reitzenstein. Библіогр. указ. **107, 544**.— Упомин. 229.
Reich. Библіогр. указ. и выписка **579—584**.
Renner, H. Упомин. 412.
Renier, R. Библіогр. указ. 261.
Regnard, I. F. Библіогр. указ. **205, 519**.
Regnaud, P. Упомин. 289.
Rémi. Упомин. 222.
Renouvier. Библіогр. указ. **217**.
Ригведа. Амебейность ея гимновъ 370.— Діалогические гимны ея и явленія драмы 371, **578**.— О ея эпитетахъ 65, 72, 75.— «Нѣть и сказывать» (singen u. sagen) въ ней 122.— Упомин. 204—205, 212, 217.— См. еще *Веды*.
Rigol. Библіогр. указ. и выписка **502—503**.
Rillson. Библіогр. указ. 120.
Рихтеръ, Жанъ-Поль. Взглядъ его на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 287.— Упомин. 288, 295, 300.
Ришэ. Замѣчаніе его о риѳмѣ 166—167.
Ріантъ. О его поэтическихъ формулахъ 460.
Робинзонады. Условія, вызвавшія ихъ появление 52.
Rod. Библіогр. указ. **30**.
Rod, Renuel. Библіогр. указ. **543**.
Rohde, E. Библіогр. указ. **552**.
Roman du Renart. Характеристика его 39.
Романъ Пѣснопѣвецъ. Упомин. 424.
Romagnoli. Библіогр. указ. **579**.

Romer. Библіогр. указ. 98.
Ронсартъ. Значеніе его въ исторіи французской мысли 7.
da-Rosciate, Alberico. О его комментаріяхъ къ «Божеств. Комедіи» 119.
Руодлібъ, поэма. Формула «пожеланія» въ поэмѣ 463.— Упомин. 341.
Руссо. Naturgefühl въ его произведеніяхъ 224.
Руставели, Шота. Упомин. 202.
Рыбниковъ, П. Н. Библіогр. указ. 400, 416, 430, 431, 472.
Rückert. Оживленіе въ его поэзіи древнихъ представлений 221.
Rustebuef, поэтъ. Упомин. 278, 306.

C. S.

Садко. Къ былинѣ о немъ 416, 432.
Salman und Morolf, ром. Упомин. 400.
Сапфо. О исполненіи двумя хорами ея свадебныхъ пѣсень 96.— О ея пѣсняхъ 334—339, **552**.— Упом. 247.
Свида. Упомин. 381.
Séglas. Библіогр. указ. **519**.
Семость Делосскій. Упомин. 384.
Сенека. О его трагедіяхъ 20.— Упомин. 45, 391.
Сервантесь. Упомин. 4.
Setälä u. Krohn, K. Библіогр. указ. и выписка **531**.
Симонидъ. О его произведеніяхъ 334.
Skeat, W. Библіогр. указ. и выписка **538—539**.
Слово о полку Игоревѣ. Авторъ его 398.— О эпитетахъ въ немъ 60.— Упомин. **200, 209, 472**.— Характеристика его 38.
Соболевскій, А. И. Библіогр. указ. **92, 99, 466, 468, 469, 507**.
Сократъ. Упомин. 338.
Соловей Будимировичъ. Къ былинѣ о немъ 432.— О запѣвахъ въ былинѣ о немъ 116—117.
Солонь. Упомин. 309, 478.
Сорокъ каликъ со каликою. Къ былинѣ о нихъ 432—433.

Софокль. О его трагедияхъ 387.—
Упомин. 131.

Spenser, Н. О его работѣ по «философіи»
стиля 441—446, 448.—Упомин. 67.

Срезневскій, Иzm. Ив. Библіогр. указ.
43.

Ставръ Годиновичъ. Къ былинѣ о немъ
432.

de-Stael. Упомин. 34.

Стезихоръ. О его гимнахъ 331, 335.

Steenstrup, I. Библіогр. указ. 96, 100,
120.

Стоглавъ. Упомин. 275—276.

Stokes Whitley. Упомин. 124, 505.

Страбонъ. Упомин. 275, 405.

Stubbs, изсл. Упомин. 259.

Стэнли, путеш. Упомин. 244.

Сумцовъ, Н. Ф. Библіогр. указ. и вы-
писка 491—493, 544.

Susil. Библіогр. указ. 430, 463.

Suchier. Библіогр. указ. и выписка 125,
505.

Сѣрошевскій, В. Л. Библіогр. указ. и
выписка 510.

Т.

Taylor, E. B. Библіогр. указ. 565.

Talvy, изсл. Упомин. 289.

Thamin. Библіогр. указ. и выписка 575.

Тангейзеръ. Къ легендѣ о немъ 466.

Taцитъ. О его эпитетахъ 82.—Упомин.
410.

Taціанъ. Упомин. 412.

Texte. Библіогр. указ. 30.

Temple, R. C. Библіогр. указ. 124.

Ten Brink. Библіогр. указ. 30, 86.

Теннисонъ. Переживаніе въ его произ-
веденіяхъ старыхъ образовъ 13—14.

Teognisъ. О его произведеніяхъ 333—
334, 336.

Terentij. О его комедіяхъ 45.—Упомин.
304.

Timogenъ. Упомин. 405.

Tiersot. Библіогр. указ. 96, 99.

Tиртей. Упомин. 312.

Tиандеръ, К. Ф. Библіогр. указ. 86—87.

Tobler, Alfr. Библіогр. указ. 526.

Tолстой, гр. А. К. О его эпитетахъ 81.—
Обновленіе старого сюжета въ его
поэмѣ «Донъ Йуанъ» 52.—Теорія
вдохновенія въ его поэзіи 427.

Tолстой, гр. Л. Н. Взглядъ его на
искусство 476.—О его опредѣлениі
свойства искусства 446.—О эпите-
тахъ въ его произведеніяхъ 83.—
Упомин. 480.

Toldo. Библіогр. указ. 573.

Tomsonъ, изсл. Упомин. 236—237.

Tорквемада. Упомин. 232.

Троянскія Дѣянія. Популярность ихъ
въ средніе вѣка 20.

Tургеневъ, И. С. Обновленіе старого сю-
жета въ его романѣ «Отцы и дѣти»
52.—Упомин. 436.

Tэнъ, Ип. Упомин. 4.

У.

Уитманъ (Walt Whitman). Упомин. 436.

Уландъ. Взглядъ его на суггестивность
формулъ 474—475.—Упомин. 290, 295.

Ульрихъ фонъ-Лихтенштейнъ. О немъ
349.

Ulrich von-Turheim, поэтъ. Упомин. 220.

Урусбіевъ, этнogr. Библіогр. указ. 118.

Ф. F. Ph. V.

Фавстъ Византійскій. Упомин. 275.

Faguet. Библіогр. указ. и выписка 502.

Фаронъ, св. Къ кантиленѣ о немъ 95,
282.

Фаустъ. Къ легендѣ о немъ 15, 28, 51,
476—477.

Fewkes, I. Walter. Библіогр. указ. и вы-
писки 536—537, 537, 540.

Fehr. Библіогр. указ. и выписка 576—
577.

Фетъ, А. А. О повтореніяхъ у него
117.

Фехнеръ. Упомин. 447.

Fiammazzo, изслѣд. Библіогр. указ. 119.

Физіологъ. Вліяніе его: на измѣненіе символовъ 456; — на развитіе животной эпопеи 39. — Упомин. 346.

Filippini. Библіогр. указ. 576.

Filipsky. Библіогр. указ. и выписка 494—499.

Фирдуси. Упомин. 309.

Vierkandt, Alfr., изсл. Упомин. 577.

Voretsch. Библіогр. указ. 515. — Его мнѣніе объ источникахъ эпоса 325—326.

Fortiguerrri. Упомин. 175.

Фортунатъ, поэтъ. Упомин. 177.

Фофановъ, К. М. О его эпитетахъ 82.—

Образы въ его произведеніяхъ 219.

Frazer, I. G. Библіогр. указ. 137, 561.

Францискъ I, король французскій. Упомин. 7.

Францискъ Ассизскій. Его пониманіе природы 224.

Фрауенлобъ, ср.-вѣк. поэтъ. Упомин. 353.

Freymond. Библіогр. указ. 505.

Frescura. Библіогр. указ. и выписка 523—524, 543.

Фруассаръ. Упомин. 349.

X.

Халанскій, М. Г. Библіогр. указ. 70, 74.

Ханголовъ, М. Н. Библіогр. указ. и выписка 517—519, 547—550.

Харузинъ, Н. Н. Библіогр. указ. и выписка 137, 538, 560—561.

Хахановъ, А. С. Библіогр. указ. и выписка 511, 515.

Ц. Z. C.

Zimmer. Библіогр. указ. и выписка 505, 571.

Цыгановъ, Н. Гр. Библіогр. указ. и выписка 533—534.

Ч. Ch.

Chamberlain. Библіогр. указ. и выписка 541, 572.

Cesareo. Библіогр. указ. и выписка 553.

Чимабуэ. Упомин. 49.

Чосеръ. Мотивы альбы въ его произведеніяхъ 470.

Чубинскій, П. П. Библіогр. указ. 99, 103, 260, 261, 509.

Ш. Ch. Sch. S.

Шаль, Филаретъ. Упомин. 4.

Шаль, Эмиль. Упомин. 4.

Chanson de Roland. Амебейное исполненіе ея 109—117, 311. — Лиризмъ ея 129. — Повторенія въ ней 23—24, 86—94, 109—117. — Спѣквы пѣсенъ и Chanson de Roland 322—325. — Эпитеты въ ней 59—61, 78. — Упомин. 2, 35, 215, 279, 311, 314.

Шанфлори. Его объясненіе хоуї народныхъ пѣсень 451.

Шатобріанъ. Упомин. 213.

Шашковъ, С. С. Библіогр. указ. и выписка 571—572.

Шейнтъ, П. В. Библіогр. указ. 99, 472, 509.

Шекспиръ. Мотивъ альбы въ его драмѣ 470—471. — О его драмахъ 45, 472. — О его образахъ 73. — О его эпитетахъ 63, 79—80. — О сюжетахъ его произведеній 20. — Образы въ его произведеніяхъ 220, 223. — Переработка имъ старыхъ сюжетовъ 15, 28. — Упомин. 4, 251, 295, 391—392, 411.

Шелли. Упомин. 303.

Schönbach. Библіогр. указ. 345, 531.

Cherbuliez. Библіогр. указ. 41.

Шереръ. Взглядъ его на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 291—294, 298, 299. — О его поэтиkf 31. — Упомин. 22, 436.

Шиллеръ. Упомин. 287.

Schipper. Упомин. 289.

- Шлегель, А. В. Упомин. 22, 388.
Schneider. Библіогр. указ. 503.
Шпильгагенъ. Переработка имъ старыхъ сюжетовъ 15.
Schröder, O. Библіогр. указ. 122.—Его объясненіе формулы «*singen und sagen*» 122.—Упомин. 340, 411, 577.
Schröer. Библіогр. указ. 101.
Schrenk, L. Библіогр. указ. 561.
Штейнталъ. Взглядъ его на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 290.—О его взглядѣ на отличие прозы и поэзіи 439—441.
Stengel. Библіогр. указ. и выписка 552—553.
Stöcklein. Библіогр. указ. 201, 533.
Störk. Библіогр. указ. 524.
Strack, H. Библіогр. указ. 531.
Schubart, поэтъ. Упомин. 132.
Schultz. Библіогр. указ. 137, 493.
Schultz-Gorn. Библіогр. указ. 553.
- 12.—Чередование въ ея пѣсняхъ «пѣть и сказывать» 121—124.—Упомин. 2, 137, 215.
Эйхендорфъ. О его эпитетахъ 80.
Элантъ. Упомин. 472.
Эмерсонъ. О его теоріи героевъ 5.
Эсхилъ. О его трагедіяхъ 386—388.—О его эпитетахъ 63, 77.—Переработка имъ старыхъ сюжетовъ 15.—Упомин. 118, 379, 424.
- Я.**
- Якубовскій. Взглядъ его на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 297—299.
Янчукъ, Н. А. Библіогр. указ. 92.
Ямиды, греч. родъ Упомин. 396.
Яредъ, св. Упомин. 425.
- Ө.**
- Өедосова, сказительница. Упомин. 235.
Өеокритъ. О его идилляхъ 257—258, 543—544.—О его поэтическихъ формулахъ 460.—Упомин. 337.
Өеспись. О его реформѣ греческой драмы 386.—Упомин. 245.

A.

Агоны гимнические. Амебейность ихъ 307.

Адоній. Празднованіе ихъ 257—258. — См. еще *Адонисъ*.

Азіанізмъ греко-римскій. Синкетизмъ въ немъ 480.

Актёр. Общественное положеніе его въ Греціи и Индіи 372—373, 376—377. — Роль актера - дирижера въ индійской художественной драмѣ 372.— Свобода слова, предоставленная ему въ драмѣ 368—369.

Акунъ (каракиргизск. пѣвецъ). «Пѣть и сказывать» въ его репертуарѣ 123.

Аллегорія. Отличіе ея отъ символа 198. — Средневѣковая драма и аллегорія 44—45. — Средневѣковый аллегоризмъ 224—225.— Эпитеты и аллегоризмъ 79.

Альба. Народная и рыцарская альба 468—471. — Нѣмецкая альба 344.— Рыцарская альба 346.

Ambarvailia (римск.). Свѣдѣнія о нихъ 373.

Амебейное исполненіе: пѣсенъ 142, 174—176, 185;—лирическихъ пѣсенъ 100—109; — лирико - эпическихъ пѣсенъ 109—117;—эпическихъ пѣсентъ 109—128.

Амебейное пѣніе. Появлениe его 100—109.—Развитіе амебейного пѣнія пѣвцовъ изъ хорового чередованія 237.— Состязанія пѣвцовъ и амебейное пѣніе 577—578.

Амебейное повтореніе 110—116.

Амебейное сложеніе эпическихъ пѣсенъ 120—121.

Амебейное чередованіе: дву- и четверостишіями 327—328;— пѣвцовъ и дихорія 248.

Амебейность: въ греческой комедіи 389—390;— въ народной лирической пѣснѣ 307—311, 551—552; — въ народной поэзіи 229;— въ началахъ римской драмы 374; — въ хоровомъ началѣ народной свадьбы 270; — старосѣверныхъ поэмъ 394—395; — переходъ ея въ loci communes 129; — хора и драматическое дѣйство 285.— См. еще *Антифонизмъ*.

Аналогія между объектомъ и субъектомъ 136.

Анафора. Объясненіе ея хоризмомъ и амебейностью 116.

Анимистическое міросозерцаніе. Отношеніе его къ параллелизму 130—131, 513.

Антистрофа и строфа греческой трагедіи. О ихъ параллелизмѣ 387.

Антифонизмъ. Къ бібліографії о немъ 101.— Четверостишія и антифонизмъ 170, 520—523.

Антифоническое пѣніе— см. *Амебейное пѣніе*.

Аноестеріи аттическія. О ихъ празднованіи 384—386.

Ἀσιδές и πονητής. Различіе ихъ 407—408.

Апологъ. Основы его 131. — Параллель и апологъ 528.— Сказки о животныхъ и латинскіе апологи 39.

Араки (груз. «разсказъ»). Характеристика ихъ 515.

Ателланы (римск.). Выдѣленіе ихъ изъ хоровой игры 374.—Зарожденіе ихъ въ діонисовскаго обихода 389.—Импровизаціи и ателланы 376—Связь сатуры съ ателланами 375.—Типъ ихъ 355.

Аффектъ. Дѣйствіе и аффектъ въ народной поэзіи 457.—Идеализація аффекта въ поэзіи 445—446.

Ашуги (кавказск. пѣвцы). Репертуаръ ихъ 393—394.

Аэды (греч. пѣвцы). Аэды — носители эпики 322—325.—Отношеніе къ нимъ и ихъ репертуаръ 396—397.

Б. В.

Bacchuber (пляска въ Бріансонѣ). Обрядовое происхожденіе ея 269.

Balada (prov.). Выдѣленіе ея 340.

Balette (франц.). Выдѣленіе ихъ 340.

Баллада сѣверная. Лирико-эпический характеръ ея 312, 319, 320.

Балладная пѣсня. Заплачка и балладная пѣсня 281.—Обособленіе ея 284.—Образованіе балладного стиля 316.—Рабочія пѣсни и баллада 244.—Связь ея съ хоромъ 340.—Языкъ балладной литературной пѣсни 453—454.

Барды (кельтск. пѣвцы). Значеніе ихъ 406—407.—Къ библіографіи о нихъ 571.—Появленіе ихъ 399.—Репертуаръ ихъ 406—407.

Басня. Связь ея съ метафорой и параллелизмомъ 203.—Сказки о животныхъ и латинскія басни 39—40.

Battorinas (сардинск.). Амебейность ихъ 104—105.

«Бояринъ» (святочн. игра). Драматизмъ ея 285.

Бродячіе пѣвцы — см. *Vaienti*.

Буколика сицилійская. О ея происхожденіи 229.

Bhâna (инд. монологъ). Развитіе его 306.

Bharata (индійск. пѣвцы). Амебейное исполненіе ими пѣсень 308.—Отношеніе къ вимъ и ихъ репертуаръ 396—397, 404.

Былины. Диттологія въ нихъ 93—94.—Запѣвы въ нихъ 169—170.—Параллелизмъ въ нихъ 212.—Повторенія въ нихъ 87, 93—94.—Сложеніе ихъ 398.—Сопоставленіе ихъ съ *chansons de geste* 36.—См. еще подъ отдельными именами.

B. V. W.

Vagанты (Vagi). О ихъ поэзіи и творчествѣ 38, 177—178.—Упомин. 251.

Вардаваръ (армянск. праздникъ). О пѣсняхъ, сопровождающихъ его 103—104.

Вдохновеніе. Къ учению о вдохновеніи 421—429.

Ventes d'amour (игра). Параллелизмъ въ ней 175—176.

Versus intercalares (запѣвы). Происхожденіе ихъ 185.

Веснянки (малорусск.). Исполненіе ихъ двумя хорами 96.

Vyâgoga (инд. драма). Сущность ея 370.

Winiliod (любовная пѣсни). Пѣніе ихъ 41—42.

Viser (датск.). О хорическомъ исполненіи ихъ 96, 100, 109.

Возрожденіе классическое (гуманизмъ).

Значеніе его 20.—Вліяніе его: на итальянскую жизнь 47; — на развитіе литературныхъ жанровъ 28.—Определение его 32.—Романтизмъ и возрожденіе 34—35.—Языкъ писателей классического возрожденія 480.

Возрожденіе «латинское», оттоновское. Вліяніе его на развитіе нѣмецкой литературы 37.

Вопросо-ответы. Амебейность ихъ 101.—Образованіе пѣсенъ изъ нихъ 104,

510.—Развитіе ихъ изъ хорового чредованія 237.—Хоровое начало народной свадьбы и вопросы-ответы 270.

Вѣнокъ. Пѣніе о вѣнкѣ 101—104, 510.

Г. Г. Н.

Навермächen (нѣмецк. плясовыя пѣсни). Символизмъ ихъ 167—168.
Гегуако (кабардинск. пѣвцы). Репертуаръ ихъ и исполненіе ими пѣсень 118.
Genossenschaftslieder. О ихъ объясненіи 577.
Гéραχος (греческ. игра). Соответствіе ея съ играми сѣв.-американскихъ индѣйцевъ 229.
Gesellschaftslieder. Сложеніе ихъ 350.
Гетеризмъ. О его переживаніяхъ 270.
Гилароды (= симоды) (греч.). Распределеніе между ними и магодами сказа и аккомпанимента 307. — Репертуаръ ихъ 374.
Гимень майскій. Къ библіографіи о немъ 544.
"Уμνοι ἐπηλήνοι. Мимическій характеръ ихъ 268.
Гимны хорическія (др.-греч.). Лирико-эпической характеръ ихъ 312.—Обрядовая основа ихъ 248. — Орхестическое исполненіе ихъ 246. — Развитіе ихъ 330.
Гиперболы. Умирание ихъ 84.
Гипорхемы (греч.). Орхестическое исполненіе ихъ 246.
Гистріоны (Histrio) (пѣвцы). Свѣдѣнія о нихъ 109. — Роль ихъ въ развитіи римской комедіи 375—376. — Упомин. 398, 399.
Hleodarsezzeo (ст.-верхне-нѣм. название пѣвца). Значеніе слова 408.
Гномика. Гномический элементъ въ греческой лирикѣ 334. — Появленіе особыхъ блестителей гномики 393.
Гомериды, пѣвцы. Репертуаръ ихъ 396.
Hofslieder. Сложеніе ихъ 350.
Гроты и гротки (суданск. пѣвцы). О нихъ и о ихъ репертуарѣ 401—404, 406.
Гуманизмъ — см. *Возрожденіе*.
Гусляры. Амебейное сложеніе ими пѣсень 120—121.

Д. Д.

Dayemens (лорренск.). Параллелизмъ въ нихъ 175—177.
Dansa (пров.). Выдѣленіе ея 340.
Danseverer (датск.). Къ библіографіи о нихъ 531.
«Danser, dire et chanter» (формула). Замѣна ея формулой «dire et chanter» 305.
Двоевѣріе народно-славянской и западно-европейской поэзіи 43.
Двустишия и четверостишия, какъ зачаточные мотивы лирики 327—328.
Débats (франц.). Амебейность ихъ 101.—Отношеніе ихъ къ народной-обрядовой поэзіи 252.
Декадентство. Упомин. 168.
Desofios (португ. пренія). Амебейность ихъ 510.—Развитіе изъ нихъ роман-совъ 328.
Despiques (португ. романсы). Амебейность ихъ 510.—Развитіе ихъ изъ desofios 328.
Dire et chanter — см. *Пѣть и сказывать*.
Диспуты школьные. Отношеніе ихъ къ народно-обрядовой поэзіи 252.
Die Tänzer von Köbigk. Упомин. 340.
Диттологія народно-поэтическаго стиля 93—94.
Дифференціація поэтическихъ родовъ. Синкремизмъ древнейшей поэзіи и начала дифференціаціи поэтическихъ родовъ 227—392, 535—570, 577—584.
Дифференціація словъ 140.
Дихорія и амебейное чередование пѣвцовъ 247—248, 538.
Диенірамбъ. Къ его исторіи 272.—Орхестическое исполненіе его 246.—Развитіе его 331.—Развитіе изъ него трагедіи 386—389. — Хорическое исполненіе его 95.—Чередование въ немъ экзарха и хора 122.—Участіе въ немъ корифея 304.
Діалекты. Отношеніе ихъ къ литературному языку 450—454.
Діалогизмъ старосѣверныхъ поэмъ 394—395.

Діалогъ. Амебейность діалогіческихъ сценъ 367.—Выдѣленіе принципа діалога 245, **578**.—Хоровое начало народной свадьбы и діалогъ 270.

Діонисії. Празднованіе ихъ 383—386, 388, 389.—См. еще *Діонисъ*.

Драма. Драматическая форма и драматическое міросозерцаніе 11—13.—Драматической единоличный сказъ **551**.—Исполненіе классической драмы въ средніе вѣка 304.—Исторія развитія драмы 354—390.—Начала драмы и хоръ 304, **578**.—Необходимость психо-физического катарзиса въ драмѣ 228.—Отношеніе ея къ синкетической хоровой поэзіи и вопросъ о послѣдовательности развитія эпоса, лирики и драмы 286—303.—Послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 286—303.—Преобладаніе драматической формы въ XVI—XVII вв. 48.—Причины популярности драмы 45.—Развитіе драмы въ связи съ культомъ 245.—Развитіе драматического монолога 306, **551**.—Различие драмы, какъ сценическаго дѣйствія отъ драматического міросозерцанія 47.—Судьбы европейской драмы 45—49.—Условія развитія драмы 45—47.—Эволюція обрядового хора и драмы 285.—См. еще *Дѣйство, Комедія, Мистерія, Трагедія*.

— Англійская. Условія ея развитія 45—47.

— Греческая. Къ ея развитію 12, 49.—Начало и развитіе ея 377—390, **565—570**.—Основа ея 44.—Сущность греч. драмы отъ Эсхила до Евріпіда 45.—Условія ея развитія 46—47.—Хоровая партія ея 450.

— Діонисовская. Развитіе ея въ связи съ Діонисіями 380—386.—Связь ея съ «преніями» народныхъ обрядовъ 253.

— Индійская. Къ ея развитію **578**.—Начала ея и отношенія къ культу 369—373, **551—552**.

— Испанская. Условія ея развитія 46—47.

— Итальянская. Причина отсутствія ея самостоятельности 46—47.

— Культовая. Зарожденіе ея и развитіе 367—389, 391.—Выдѣленіе изъ ея содержанія драмы художественной 377, 379—380, 386—389, 391.—См. еще *Мистерія*.

— «Медвѣжья» (сибирская). Исполненіе ея 355—368, 377, **560—565**.

— Народная. Черты ея въ народной свадьбѣ 270.

— Первобытныхъ народовъ. Драма—заговоръ въ лицахъ 242, 368.—Къ ея началамъ **578—583**.

— Римская. Развитіе ея 373—377.

— «Сатировская». Трагедія и сатировская драма 386.

— Семейная. Появленіе ея 481.

— Средневѣковая літургическая. Народная обрядность и церковная драма 285.—Религіозная легенда и літургическая драма 389.—Роль площадной сцены въ развитіи религіозной драмы 44.

— Турецкая (*Karagözkömdien*). Происхожденіе ея **583—584**.

— Художественная. Аграрная игрища и художественная драма 44.—Выдѣленіе ея изъ культовой драмы 377, 379—380, 386—389, 391.

— Японская. Къ ея исторіи **578**.

Драматизмъ погребальныхъ обрядовъ 276—278.

Драпы (ст.-сѣверн.). Припѣвъ въ нихъ 108—109.

Друиды. Отношеніе къ нимъ и ихъ репертуаръ 405.—Преданія ихъ 399.

Думы малороссійскія. Лирический колоритъ ихъ 319—320.

Дѣйства аграрные, религіозныя (римскія). Свѣдѣнія о нихъ 373—374.

Дѣйство драматическое и амебейность хора 285.

Дѣйство хоровое. Анализъ календарныхъ обрядовъ и сопровождающаго ихъ хорового дѣйствія 249—270.— Виды ихъ 249—285.— «Дѣйство», вторящее содержанію хоровой игры 237—242, 538—539.— Подражательный элементъ его 238.— Развитіе обряда и хоровое дѣйство 242, 390—391.— Элементъ дѣйства въ народной свадьбѣ 270—271.— См. еще *Ира*.

E.

Евангелистая пѣсня. Амебейность ея 101.

Ex tempore. Пѣсня ex tempore 233—234, 277, 320.

Estra(i)bot (старо-франц.). Объясненіе ихъ 106—107.

Ж. J. G.

Jeu parti. Развитіе ея 340.

Житія. Сложеніе ихъ 321.

Giuoco del fiore (итальянск. игр. пѣсни). Образованіе ея 177.

Жонглѣры. Амебейное исполненіе ими эпическихъ пѣсень 119.— Исполненіе ими пѣсень 91, 305—306.— Отношеніе къ нимъ церкви и общества 398—400.— Раздѣленіе сказа и аккомпанимента 306—307.— Репертуаръ ихъ въ феодальную эпоху 398.— Роль ихъ въ развитіи поэзіи 322—325, 406—407.— Упомин. 322, 393, 398.

З.

Загадки. Амебейность въ обмѣнѣ ими 307.— Вопросо-ответы и загадки 101.— Преніе загадками въ пѣсняхъ 101—103, 507—510.— Связь ихъ съ параллелизмомъ 205—206.— Типы загадокъ 205—206.— Свадебный обиходъ и загадки 271.

Заговоръ. Драма — заговоръ въ лицахъ 368.— Къ литературѣ о заговорахъ 528—531.— Обособленіе заговорныхъ пѣсенъ 284.— Объясненіе его изъ двучленного параллелизма 190—193, 528—530.— Построеніе заговоровъ 238, 317—319.— Формулы заговорныхъ 269.

Заплачки. Вольныя и профессіональныя заплачки 280—281.— Исполнители ея 393.— Отношеніе ихъ къ многочленному параллелизму 195—196.— Переходъ ихъ въ историческую балладную пѣсню 281.— Причитанія и заплачки 276—278.— Рабочая пѣсня и заплашка 244.— Развитіе заплаочекъ 279—281.— Содержаніе ихъ и исполненіе 97.— Характеристика лиро-эпического стиля по заплачкамъ 312.— См. еще *Лиро-эпическая писня, Причитанія*.

Запѣвало — см. *Корифей*.

Запѣвъ. Бродячія формулы — запѣвы 186.— Вторженіе его въ составъ пѣсни 182—183.— «Запѣвы» сравненій 214.— Запѣвы съ различнымъ пѣсеннымъ развитіемъ 527—528.— Измененіе его 183—184.— Обращеніе цвѣточного запѣва въ припѣвъ (refrain) 173.— Отношеніе пѣсенного запѣва къ параллелизму 169—170.— Параллелизмъ былинныхъ запѣвовъ 116—117.— Переходъ запѣва въ refrain 185.— Происхожденіе цвѣточныхъ запѣвовъ въ итальянскихъ stornelli 171—173.— Развитіе пѣсни изъ параллели запѣва 180—184, 524—526, 527.— Развитіе цвѣточныхъ запѣвовъ stornelli, frundi, dayements и игры въ fiore 176—177.— См. еще *Versus intercalares, Isterria, Natureingang*.

Зафира ($\gamma \chi \acute{\alpha} \zeta \sigma \nu \tau \circ Z \alpha \varphi \epsilon \rho \eta$) (греч. игра) 255.

Захваты изъ строфы въ строфи. Объясненіе ихъ хоризмомъ и амебейностью 116.

«Singen und sagen» — см. *Пѣть и скаживать*.

И. I.

Ивановъ день. Ивановскіе хороводы съ пѣснями въ Германіи 101—102.

Игра. Дѣйство и хоровая игра 237—242; 538—539.—Игра — миѳ 539—540.—Майскія игры 253, 258—259, 544—547.—Обрядъ и гимнастическая игры 243.—Появленіе религіозныхъ игръ 242.—Пристроеніе игры къ реальному требованію жизни 238.—Пѣсня и хоровая игра обрядового характера 244.—Текстъ, сопровождающій синкретическія игры 232—237.—Хороводныя игры 260—267.—Хоровые игры у дикихъ 230—245, 535—539.—Эротическая игры-пляски 241—242, 540—543.—См. еще *Дѣйство, Пѣсни игровыя*.

Идиллія. Амебейность въ ней 307.

Импровизація и традиція 284.

Импровизація текста въ поэзіи первобытныхъ народовъ 232—237.—О переходѣ импровизированного текста въ художественное преданіе 236.

Индивидуализмъ народныхъ пѣвцовъ 324.

Иніціація (принятіе въ родъ). О обрядахъ, сопровождающихъ её 270.

Интермедія (римск.). Развитіе ихъ изъ хоровой игры 374.

Инфильтрація языка поэзіи и прозы 480—481.

Iocularis (пѣвецъ). Упомин. 398.

Ioculator (пѣвецъ). Упомин. 322, 398.

Isterria — запѣвъ въ сардинскихъ muttos 105, 510.

Исторія литературы. Задачи сравнительной исторіи литературы 21—23, 28.—

Les pourquoi въ ней 32.—Новый журналъ сравнительной исторіи литературы: *Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte*, Макса Коха. Замѣтка о первомъ томѣ 18—29.—Методика ея 31.—*О методѣ и задачахъ исторіи литературы, какъ науки* 1—17.—Область сравнительной исторіи

литературы 19—21.—Определеніе понятія 17, 30—31.—Эволюція ея 33—34.

Историко-этнографическая школа. Ея взглядъ на послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 290—303.

К. С.

Календарь. Анализъ нѣкоторыхъ календарныхъ обрядовъ и сопровождающаго ихъ хорового дѣйства 249—270.—Календарный земледѣльческій миѳ и греческая драма 377—379, 382—386.—Передвиженіе границъ календарного обряда 284.—Переходъ календарного миѳа въ эсхатологіческий 253—254.—Переходъ отъ календарныхъ обрядовъ къ обрядамъ, свободнымъ отъ пріуроченія 270.—Пѣсни-игры, связанныя съ календарнымъ обрядомъ и оставшіяся въ календаря 242—243, 540.—Съженіе границъ календарно-бытовой и календарно-обрядовой поэзіи 248.

Kalandas mayas. Празднованіе ихъ 98, 506.

Cantatores (франко-итальянск.). О нихъ содержаніи 119.

Cantefable. Происхожденіе этого названія 125.

Кантлены — см. *Пѣсни лиро-этическія*. Canthone (канцона — сардинск.). Сложеніе ея изъ четверостишій 105.

Cantor (пѣвецъ). Появленіе пѣвцовъ въ связи съ феодальнымъ движеніемъ 399.

Karagözkomödien (турецк.). Происхожденіе ихъ 583—584.

Carmina Burana. Отраженіе въ нихъ эротизма 342.—«Служеніе дамъ» въ нихъ 345.—Упомин. 259, 337.

Carmina diabolica. Запрещеніе ихъ западною церковью 275—276.

Carmina purtialia. Ихъ хоризмъ 270.

Caroles (франц.). Выдѣленіе ихъ 340.

Kathakas (пѣвцы). Изображеніе ихъ 309.

- Катарзисъ психо-физический. Переходъ психо-физического катарзиса въ эстетический 247. — Потребность его для драмы 228.
- Катарзисъ религиозный. Соответствие его требований первобытной поэзии 228.
- Катарзисъ ритмический. Соответствие игры его требований 282.
- Quatrains (латышская). Развитие ихъ изъ параллельныхъ формулъ 171.
- Келевсмы (греч. и римск. моряковъ). Составленіе ихъ съ рабочими пѣснями 243.
- Kenningar (англо-сакс.). Образы выражения въ нихъ 77—78. — Развитие ихъ изъ метафоры 204—205.
- Kirchweih. Къ библиографіи о нихъ 544.
- Классицизмъ. Вліяніе классиковъ на средневѣковую лирику 177—178. — Вліяніе классической литературы на выдѣление художественной лирики 407. — Къ определению классицизма 32. — Союзъ классической поэзии и западной церкви 41—42. — Условность классическихъ жанровъ 455.
- Клерики бродячіе. О нихъ творчествѣ 38.
- Климатъ. Объясненіе его хоризомъ и амебейностью 116.
- Ksiuṇ (поэтич. стиль). Діалекты и хорионъ 450—454. — Образование его 452—454. — Обобщеніе его 454—458. — Развитіе его 450—458.
- «Колосокъ» (водить колосокъ — игра) 264.
- Комедія греческая. Агоны греческихъ комедій 307. — Развитіе ея 389—390. — Состязающіеся въ ней хоры 247—248. — Хоровое начало древне-аттической комедіи 96.
- Комедія «новая». Развитіе ея и вліяніе на нее древне-греческой трагедіи 390.
- Комедія римская. Къ ея исторіи 376.
- Комеды (пѣвцы). О нихъ амебейномъ исполненіи пѣсенъ 119.
- Commedia dell' arte. Пріемы ея 322.
- Комость (обрядъ). Празднованіе его 384. — Развитіе изъ него комедіи 389.
- Complaintes (франц.). Выдѣленіе ихъ изъ хорового исполненія 97, 276. — Развитіе ихъ изъ погребального обряда 278—279, 551—552.
- Contrasti (итальянск.). Амебейность ихъ 101. — Пренія въ нихъ 251.
- Контрастъ. Параллель по контрасту 179—180.
- Координація народно - поэтическаго стиля 93—94.
- Корифей. Взаимоотношенія: запѣвали и пѣвца 236—237; запѣвали и хора 231—232. — Выдѣленіе пѣсни корифея изъ рамокъ хора 245, 305—307. — Роль корифея: въ рабочихъ пѣсняхъ 243; — въ хорѣ и въ начаткахъ драмы 304—305; — при исполненіи трагедіи и комедіи 386—388, 390. — Усиленіе роли корифея при появленіи связного текста 236.
- Кострубонька, игра. Эротизмъ въ празднованіи ея 255, 260—261, 544.
- Kranzlieder (нѣм. пренія о вѣнцѣ). Амебейность ихъ 101—102, 308, 510.
- Культурные племена. Хоровые пѣсни въ нихъ народной поэзии 228—230, 245—270.
- Культъ. Культовой и обрядовой хоризмъ 391. — Обрядъ и культь 248, 393. — Первобытная поэзія и формы культа и обряда 228. — Связь его съ драмою 245, 285, 354—355. — Формы культа и поэзія хорового обряда 391.
- Купальские обряды. Эротизмъ ихъ 258—259.
- Couplets similaires. Пріемы ихъ въ сказкѣ «Aucassin et Nicolette» 128. — Упомин. 387. — Чередованіе въ нихъ пѣвцовъ 119. — Chansons de geste и couplets similaires 310.
- Kuçilava (професс. индійск. пѣвецъ). Ихъ репертуаръ 308.

Л. Л.

Лазарицы (сербск. обрядъ) 545—546.

Лазарэ (кахет. игра). Церковный и народный элементы въ ней 255. — Упомин. 269.

Lange Dantz (дитмаршск. танецъ). Исполнение его 283.

Laulaja (финск. пѣвецъ). Значеніе слова 408. — Широта его репертуара и близость къ хоровой поэзіи 394.

Lai de la Dame de Fayel. Мотивъ «птица-вѣстникъ» въ ней 458.

Lais (уэльск.). О чередованиі въ нихъ «пѣть и сказывать» 123, 306.

Легенда о гордомъ царѣ. О ея передѣлкахъ 52.

Легенда о познаніи добра и зла. Ея отраженія 51—52.

Légendes des origines. Мотивы ихъ 317—319, 466.

Легенды. Обновленіе ихъ 135. — Повторяемость ихъ 50—53. — Упомин. 399.

Ленеи. О ихъ празднованіи 383—386.

Les Pourquois? (Почему?) (рубрика во франц. фольклор. журналахъ). Ея значеніе 32. — Les pourquois въ исторіи литературы 32.

Лингвистика сравнительная. Построеніе ея на основаніи санскрита 33.

Линтурали (сванетск. обрядъ). Рыцарское служеніе дамъ и линтурали 351—353.

Лирика. Амебейное исполненіе лирическихъ пѣсенъ 100—109. — Выдѣленіе художественной лирики изъ средневѣковой народной и профессіональной пѣсни 407. — Зарожденіе и развитіе лирики 327—354, 552—560. — Зачаточные мотивы ея 327—328. — Лирика — слѣдствіе разложенія древняго обрядового хора 354. — Лирическое міросозерцаніе и лирическая форма 12—13. — Лирические элементы хоровой и лирико-эпической пѣсни 391. — Начало лирической пѣсни 341. — Обособленіе художественной лирики

391. — Отношенія ея къ синкретической хоровой поэзіи и вопросъ о послѣдовательности развитія эпоса, лирики и драмы 286—303. — Послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 286—303.

— Буржуазная. О ея мотивахъ и развитіи 353—354.

— Греческая. Остатки народной пѣсни въ древней Греціи 543—544. — Развитіе ея 329—339.

— Дельфійская. Развитіе ея въ связи съ жертвоприношеніемъ 12.

— Дорійская хоровая. О ея стилѣ 450.

— Итальянская народная. Къ ея сюжетамъ 553.

— Ново-европейская. Развитіе ея 339—354.

— Нѣмецкая. Развитіе ея 342—354.

— Провансальская. Развитіе ея 345—350.

— Рыцарская. Измѣненіе альбы въ связи съ рыцарской лирикой 471. — Мотивы ея и развитіе 342—353. — Развитіе ея въ связи съ развитіемъ личнаго сознанія 42.

— Средневѣковая. Народно-пѣсенныи параллелизмъ въ ней 177. — Словность ея 329.

— Французская. Развитіе ея 345—350. — Форма старо-французской лирики 338, 552—553.

Литература. Литература, какъ отраженіе жизни 45. — Преподаваніе всеобщей литературы въ университетахъ Германіи, Италии и Франціи 2—4. — Причины отсутствія въ средніе вѣка изящной славянской литературы 43—44. — Развитіе западно-европейской литературы изъ сочетанія западной церкви и классической поэзіи 41—43. — См. еще *Исторія литературы*.

Личность (герой, великий человѣкъ). Теорія великихъ личностей 4—6.

Личность. Обособленіе личности въ развитіи образовъ 140—141. — Появленіе рыцарской лирики въ связи съ развити-

тіємъ личности 42.—Развитіе драмы въ связи съ развитіемъ личности 45—47.

Loci communes. Источникъ ихъ 195.—Переходъ ихъ изъ амебейности 129.—См. *Общія мысль*.

Лубочная народная книга и преданіе 325.

Луперкалії. Свѣдѣнія о нихъ 373.

Лѣтописи. Преданія въ нихъ 325—326.

Любовь. Формулы любви въ народной поэтике 458—474.

Ludi scenici (римск.). О началахъ ихъ 374—375.

M.

Маани (гагаузск. четверостишія). Параллелизмъ въ нихъ **516**.

Mâgadhas (пѣвецъ). Упомин. 370.

Магоды (= лизіоды) — греч. пѣвцы. Распределеніе ролей между ними и гилародами 307.—Репертуаръ ихъ 398.

Maggio (итальянск. обрядъ). Развитіе его 285—286.—Упомин. 253.

Майскіе обряды. Празднованія ихъ 253, 258—259, **544—547**.

Мані (османо-туркскія четверостишія). О нихъ **521—523**.

Медвѣжья драма — см. *Драма*.

Meistersgesang нѣмецкій. Характеристика его 353—354.

Мелодія. Отношеніе мелодіи къ тексту въ поэзіи первобытныхъ народовъ 227, 235—236.—Хронологическое отношеніе текста и размѣра стиха къ напѣву 235—237.

Мествыре (груз. пѣвцы). Распределеніе ролей между ними 307.—Упомин. 398.

Метафора. Метафорический параллелизмъ у новѣйшихъ поэтовъ 223—224.—Метафоризмъ эпитетовъ въ новѣйшей поэзіи 80.—Накопленіе метафоръ 134.—Новообразованія и обновленіе метафоръ 222—223.—Одночленная метафорическая параллель у новѣйшихъ поэтовъ 219.—Оживленіе метафоры 133.—Постоянство нѣкото-

рыхъ метафоръ 454—455.—Потускинѣе ихъ 132—133.—Поэтическія новообразованія на почвѣ простѣйшей метафоры 223.—Представленія природы въ метафорахъ языка 131—132.—Развитіе метафоръ изъ психологического параллелизма 446—447, 449.—Развитіе эпитетовъ изъ метафоръ 218.—Самостоятельное зарожденіе метафоръ 449—450.—Связь метафоры: съ загадкой 205; — съ одночленнымъ параллелизмомъ 201—205, 446—447, **533**; — съ символомъ 201—205; — съ сравненіемъ 211.—Синкретизмъ метафоры 202.—Эпитеты-метафоры 62—63, **485**.

Методы исторіи литературы. Замѣна исторического, философского и эстетического методовъ сравнительно-историческимъ 9.—Методологія замѣчанія о матеріалахъ для характеристики синкретической поэзіи 228—230.—*О методѣ и задачахъ исторіи литературы, какъ науки* 1—17.—Расширеніе сравнительного метода 19.—Характеристика и приложеніе сравнительного(сравнительно-исторического) метода 9—17.

Мечь-самосѣкъ. Къ разсказамъ о немъ 134—135.

Мимоды. Репертуаръ ихъ 374.

Mimus (пѣвецъ). Репертуаръ мимовъ и отношеніе къ нимъ 398, 399, 407.—Свѣдѣнія о нихъ 109.

Мимы (сцены). Амебейность ихъ 308.—Выдѣленіе ихъ изъ хоровой игры 374.—Зарожденіе ихъ 389.—Къ библіографіи о нихъ **579—583**.—Типъ южно-итальянского мима 355.

Minnesang. Параллелизмъ въ отрывкахъ его 178.—Развитіе его 344—345.—Трехчленное строеніе строфы въ немъ 340—341.—Упомин. 246.

Миннезингеры. Мотивы ихъ лирики 38, 177—178.

Mirâsâ (пендж. балладн. пѣвецъ). Репертуаръ его 404—405, 406.

Мирология (греч.). Превращение ихъ въ застольную игру 279.

Мистерія рождественская. Амебейность ея 101, 308.—Слѣды народно-хорошего дѣйства въ ней 285.

Мистерія свободная и народная свадьба 270.

Мистерія средневѣковая. Появление ея и развитіе 44—45, 285.—Упомин. 389.

Мистерія элевзинская. Объясненіе ихъ 378—379, 382, 385, 565.

Мистики средневѣковые. Чувство природы (Naturgefühl) у нихъ 224.

Миѳология сравнительная. Построеніе ея на основаніи Ведъ 33.

Миѳъ. Драма и миѳъ 354, 377—380, 388—391.—Миѳъ-игра 539—540.

Миѳъ — формула поэтическаго творчества 335.—Образованіе миѳа 135.—Обрядъ и миѳъ 242, 268—269.—Основа ихъ 32.—Поэтический текстъ и миѳъ 242.—Связь миѳа, языка и поэзіи 141.—Связь эсхатологического миѳа съ календарными 253—254.

Миѳы: о превращеніи 136—141; — о происхожденіи меда и пѣсни 412—413; — о происхожденіи человѣка 136—137; — о умирающемъ и ожившающемся божествѣ (о Дионисѣ и Адонисѣ) 253—258.—См. еще Имена.

Міросозерцаніе драматическое, лирическое и эпическое 12, 47, 67.

Монологъ. О развитіи драматического монолога 306, 551.

Motets (франц.). Накопленіе простѣйшихъ мотивовъ въ нихъ 328.

Мотивы: О увозѣ жены, о похищении невѣсты, о спознаніи или встрѣчѣ родственниковъ—отраженіе въ нихъ реальныхъ фактовъ 53; — Объ оплодотворяющей силѣ растенія 137.—См. еще Сюжеты, Формулы.

Мотивы поэтические. Усвоеніе ихъ и суггестивность 474.

Muttos (сардинск.). О ихъ амебейности 105.

Н. Н.

Напѣвъ — см. Мелодія.

Народъ — поэтъ. Неправильность этой теоріи 34.

Натака (инд. драма). Ея начало и характеръ 371—372.

Натурализмъ. Къ его опредѣленію 32.

Naturgefühl. Исканіе его поэтами 222—225.

Natureingang (запѣвъ). Къ библіографіи о немъ 524.—Обращеніе параллелизма народныхъ запѣвовъ въ формулу Natureingang'a 346.—Сопоставленіе Natureingang'a съ заплачкой 195—196.—Сопоставленіе его съ народной пѣснью 455.—Сплетеніе классическихъ традицій съ народно-пѣсennыми пріемами и образованіе Natureingang'a 178—180.

Neidhartspiel. О нихъ 554—560.

Нескультурные народы. Проявленіе ихъ въ поэзіи 228—245, 535—539.

Nenia (римск.). Выдѣленіе ихъ изъ хоровой и обрядовой связи 276.

Новелла. Отношеніе ея къ роману 48.

Новизна (новое). Отношеніе ея къ старинѣ 32—33.

Новообразованія: въ поэзіи 135; — поэтическаго стиля 203.

Номы (др.-греч.). Лирико-эпический характеръ ихъ 312.

О.

Обобщеніе. Понятіе о научномъ и не научномъ (не полномъ) обобщеніи 6—8.

Обобщеніе: запѣвовъ 170; — поэтическаго хору 454—458; — словъ 140; — содержанія пѣсень 320—321.—Синкретизмъ и обобщеніе 487.

Образность поэтическаго языка. Источникъ ея 449.—Развитіе ея 136—141.—Утрата и обновленіе ея 218.

Образы поэтические. Объясненіе ихъ 135—136. — Оживаніе ихъ 475.—Усвоеніе ихъ и суггестивность 474.

Обрядъ. Выдѣленіе лирико-эпическихъ пѣсень изъ связи хора и обряда 390.— Выдѣленіе миѳологическихъ пѣсень изъ обряда 317.— Выдѣленіе обрядовой поэзіи изъ хорового исполненія 97—98.— Выдѣленіе пѣсни изъ обрядовой связи 249—270.— Записываніе въ области обряда и обрядовой поэзіи 230.— Культь и обрядъ 248, 393.— Мимическая игра и обрядъ 269.— Миѳъ и обрядъ 242, 268—269.— Народная обрядность и церковная драма 285.— Обрядовый актъ (заговора, заклинанія, гаданія) и пѣсня-сказъ 409—414.— Обрядовый и культовой хоризмъ 391.— Обрядовая пѣсня—знаніе и сплата 414—421, 571.— Обрядовая пѣсни и западная церковь 41—42.— Обрядовая хоровая пѣсни, какъ основа греческой драмы 44.— Обрядовая пѣсни-игры, пристроившіяся къ культу божества 246.— Основа народнаго обряда 268.— Первобытная поэзія и формы обряда и культа 228.— Переходъ обряда въ форму культа 242.— Проявленіе въ обрядовомъ актѣ хорической поэзіи 238.— Пѣсни и игры, оставшіяся въ обряда 243—244.— Синкретизмъ обрядовой поэзіи 48.— Хорическая пѣсня-игра и календарный обрядъ 242, 540.— Хорическое дѣйство и обрядъ 390—391.

Общія мѣста: въ области стиля 321—323;—народной поэтики 455;—содержанія пѣсень 321.— Важность статистики общихъ мѣстъ 457.— Источники ихъ 195.— Переходъ ихъ изъ амбейности 129.

О'рнѣ (былевой циклъ) — см. Циклъ.

Ollam (королевск. фильтъ). Роль его при дворѣ въ христіанское время 406.

Олонго (якутск. былины). Амбейное исполненіе ихъ 308, 510—511.— Циклизациія ихъ 323.

Ономатопея. Понятіе о ней и ся значеніе 442.

Орфизмъ. Къ библіографіи о немъ 565—568.

Отцы и дѣти. Къ темѣ обѣ «отцахъ» и «дѣтяхъ» 52.

П. Р.

Палиология. Объясненіе ея хоризмомъ и амбейностью 116.

Пантомима. Пантомимы: у некультурныхъ народовъ 238—242, 539;— у грековъ 246—247.— Развитіе пантомимы изъ первобытной пляски 237.

Pantoun (малайск. четверостишія). Амбейность ихъ 105, 520—521.

Парабаза въ греческой комедіи. Зародыши ея 389—390.

Параллелизмъ. Виды его: двучленный 141—161, 218—219 (у новѣйшихъ поэтовъ), 513—517;— многочленный 194—196;— одночленный 193, 196—206, 219 (у новѣйшихъ поэтовъ);— отрицательный 206—211;— ритмический 142, 163—168, 449, 517—523;— формальный 161—194, 517—531.— Взаимодѣйствіе ритмического и психологического параллелизма 449.— Материалы для параллелизма 527—528.— Основы психологического параллелизма 446—448.— Параллелизмъ: въ запѣвѣ 116—117, 524—526;— въ основѣ народно-пѣсенной психологіи 323;— въ парности эпитетовъ 75;— въ refrain'ахъ-зачаточныхъ мотивахъ лирики 327;— въ сравненіяхъ 140—141;— въ строфѣ и антистрофѣ греческой трагедіи 387;— въ эпитетахъ 62.— Параллель и апологъ 528.

Психологический параллелизмъ и его формы въ отраженіяхъ поэтическаго стиля 130—225, 513—534.— Психологический параллелизмъ, какъ основа обряда 268.— Развитіе изъ психологического параллелизма символовъ и метафоръ 449.— Развитіе параллелизма по идеѣ противорѣчія 179—180.— Созвучіе словъ въ параллели 163—164.

Парность: представленій въ двучленномъ параллелизмѣ 154; — эпитетовъ 74—75; — эпитетовъ и синонимовъ 493—494.

Pars pro toto. Одностороннее опредѣление эпитета и pars pro toto 78—79.— Одночленный параллелизмъ и pars pro toto 196.

Пастурель. Діалогіческий принципъ ся 101, 340.— Обновленіе сюжетовъ пасторали 52.— Созданіе искусственнаго рода пастурели 349.

Переживаніе (survivals). Понятіе о немъ 84—85.— Переживаніе старыхъ народныхъ формъ у новыхъ поэтовъ 218—224.— Переживаніе старыхъ сюжетовъ 13—17, 28, 51—57, 475—477.

Перепѣвы. О развитіи ихъ изъ хорового чередованія 237.

Піофітія (первый день Аноестерій). Празднованіе ихъ 384—385.

Пиррихій (военный танець). Происхожденіе его изъ погребального обряда 275.

Planctus (средневѣк.). Выдѣленіе ихъ изъ обрядовой связи 276, 278—279.

Planh (пров.). Обособленіе ихъ изъ обрядовой основы 279.

Пляска. Балладная—историческая пѣснь и пляска 281.— Крестьянская пляска (*χορεία*) у грековъ 246.— Мимический характеръ хоровыхъ плясокъ 237—242.— Пляска — миѳъ 539—540.— Плясовая драма въ Кореѣ 551—552.— См. еще *Ира*, *Пантомима*.

Побывальщины. Чередованіе въ нихъ стихотворныхъ частей и пересказа въ прозѣ (*singen und sagen*) 123, 124.

Повторенія. Къ хронологіи эпическихъ повтореній 128—129.— Отличія ихъ отъ психологической параллели 142.— Повторенія, какъ источникъ общихъ мѣстъ 455.— Повторенія специально французского типа и ихъ объясненіе 87—94, 109—117, 505.— Повторенія стиховъ, какъ признакъ нетворящейся эпики 68.— Повторенія — формула 87,

311, 493, 527.— Сопоставленіе повтореній съ прігѣвомъ 23—24.— Эпическая повторенія, какъ хронологический моментъ 86—129, 504—512.

Повѣсти средневѣковья. Сравнительное изученіе ихъ 20—21.

Podskočnice (хорватскія четверостишия). Упомин. 170.

Подхватываніе стиха, какъ признакъ хорического исполненія пѣсни 96, 505—506.

Полѣтъ и *άειδες*. Значеніе этихъ словъ 407—408.

Пословицы. Удержаніе нѣкоторыхъ схемъ-пословицъ 450.

Постоянство. Объясненіе постоянства эпитетовъ 66—69.

Почему? — см. *Les pourquoi?*

Поззія. Аристократизація ея 479.— Видѣленіе понятія поэзіи. Вторая глава исторической поэтики 409—429, 571—573.— Къ характеристикѣ поэзіи культурныхъ народовъ 229—230, 245—270, 543—547.— Материалы для характеристики синкретической поэзіи и методологическая замѣчанія о нихъ 228—230.— Объ опредѣленіи поэзіи 31—32, 227.— Популярность въ славянской поэзіи отрицательного параллелизма 210—211.— Признаки синкретической поэзіи 228.— Причины отсутствія личной славянской поэзіи въ средніе вѣка 43—44.— Проявленіе поэзіи у некультурныхъ народовъ 228—245, 535—539.— Проявленіе хорической поэзіи, связанный съ дѣйствиемъ благодаря условіямъ быта 238.— Развитіе языка поэзіи 141.— Развитіе западно-европейской поэзіи 40.— Разложеніе поэтическаго языка 168.— Связь поэзіи, миѳа и языка 141.— *Синкретизмъ древнійшой поэзіи и начало дифференціаціи поэтическихъ родовъ* 227—392, 535—570, 577—584.— Содержаніе поэзіи 445—446.— Чувство природы (*Naturgefühl*) и поэзія 224—225.— Языкъ поэзіи

и языке прозы. Третья глава исторической поэтики 435—481, 573—577.

Поэтика будущего. Задачи ея 391—392. Поэтика историческая. Изъ введенія въ историческую поэтику. (Вопросы и ответы) 30—57.—Три главы изъ исторической поэтики 226—481, 535—584.

Поэтика народная. Сложеніе ея 321—322.—Условности ея 455.

Поэтика профессиональныхъ пѣвцовъ. Появленіе ея 399, 406.

Поэтика сравнительная. Работа по ней 22—28.

Поэтъ. Определение поэта 392.—Отличие личного поэта отъ полуличного пѣвца старой поэзии 36.—Отъ пѣвца къ поэту. Выдѣление понятия поэзии. Вторая глава исторической поэтики 393—429, 570—573.—Развитие личного поэта 407—408.

Преданіе. Вліяніе школьнаго пѣвческаго преданія на пѣсни 322.—Роль механической работы народнаго преданія 321.—Созданіе пѣсеннаго преданія 236.

Преніе. Амебейность шуточныхъ преній 307.—Преніе вопросо-ответами въ старосѣверныхъ поэмахъ 395.—Преніе въ армянск. пѣсняхъ наканунѣ праздника Вардаваръ 103—104.—Основа литературныхъ преній 252—253.—Пѣсенныя пренія (франц.) 175—176.—Связь преній бродячихъ потѣшниковъ съ народно-обрядовой поэзіей 251.

Преніе лѣта и зимы. Исполненіе его двумя хорами 96.—Миось о умирающемъ и оживающемъ божествѣ и преніе 253—254.—Празднованіе его у разныхъ народовъ 249—252, 544.

Пренія о мудрости въ Эддѣ. Амебейность ихъ 101.

Приговоры свадебные. Древность ихъ и характеристика 273—274.—Образцы приговоровъ дружки 499—502.

Припѣвки (короткія пѣсни). Примѣры параллелизма въ нихъ 513—515.

Припѣвъ — см. *Respos, Refrain, Stef.*

Приращенія въ народной пѣснѣ 188.

Причитанія. Заплачки и причитанія 276—278.—Судьба ихъ 280—281.—См. еще Заплачки и Пѣсни похоронные.

Проза. Языкъ поэзии и языкъ прозы. Третья глава исторической поэтики 435—481, 573—577.

Противорѣчіе. Развитіе параллелизма по идеѣ противорѣчія 179—180.

Псевдо-классицизмъ. Определеніе его 41.—Условности псевдо-классическихъ жанровъ 455.

Психологический параллелизмъ и его формы въ отраженіяхъ поэтическаго стиля 130—225, 513—534.

Puellarum cantica (женскія пѣсни). Отношеніе къ нимъ народа въ средніе вѣка 41—42.

Pula (старо-сѣв. стихотворенія). Определеніе ихъ 311, 394, 570.

Pulir (старо-сѣв. пѣвцы). Значеніе слова 311, 552, 570.—Репертуаръ ихъ 394—395, 398.—Связь ихъ со скальдами 399, 407.

Pfingstgebräuche. Къ библіографіи о нихъ 544.

Pfingstl. Участіе его въ майскихъ играхъ 545.

Пѣвцы. Амебейное исполненіе ими пѣсень 118—121.—Анонимность ихъ 326.—Взаимоотношеніе пѣвца и запѣвалы 236—237.—Выдѣление изъ хора двухъ пѣвцовъ 307—311.—Зарожденіе самосознанія въ пѣвца 336—337.—Исполненіе пѣсень пѣвцами 109.—Необходимость запѣвовъ для пѣвцовъ 169.—Откуда берется пѣсня у пѣвца? (Къ вопросу о вдохновеніи) 421—429, 572, 572—573.—Отъ пѣвца къ поэту. Выдѣление понятия поэзии. Вторая глава исторической поэтики 393—429.—Пѣвецъ и refrain хора 505—

506.—Пѣвцы-сказители на свадьбѣ 271, 550.—Роль пѣвцовъ въ спѣвѣ пѣсень 321—322.—Хоръ и пѣвецъ 393—395.

Пѣвцы. Дружинные. Міросозерцаніе ихъ и настроенія ихъ репертуара 326—327.—Положеніе ихъ въ современномъ имъ обществѣ 395—398, 400, 404, 406.—Развитіе пѣсни въ ихъ рукахъ 322—325.

— Культовые. О панджабскихъ и ирландскихъ культовыхъ пѣвцахъ 404—407.

— Профессиональные. Отношеніе къ нимъ общества и властей 394, 399—400.—Репертуаръ ихъ 394, 398—407.

— Скоморохи. Амебейность въ ихъ состязаніяхъ 117—128, 307.—Распределеніе между ними сказа и аккомпанимента 306—307.—Творчество ихъ 68.—Участіе ихъ въ народныхъ обрядахъ 271.—Участіе египетскихъ скомороховъ (*douatîou*) въ похоронахъ 275.

Пѣсни: о «превращеніяхъ» — амебейность ихъ 101; — о связи брата съ сестрой — происхожденіе ихъ 259—260; — типа «мужъ на свадьбѣ жены» 429—434.

Пѣсни аграрные. Обрядовой подражательный характеръ ихъ 264—268.—Хорическое исполненіе 95.

— Бытовые. Хорическое исполненіе ихъ 95.

— Весеннія. Отзвуки эротизма въ нихъ 259—265.

— Героическая. Хорическое исполненіе ихъ 95.

— Ex tempore. Образчикъ ея 233—234.—Чередование ея съ отдѣланными речитативами 236.

— Заговорные. Обособленіе ихъ 284.

— Игровые. Къ библиографіи о нихъ 537, 544.—Переходъ психофизического катарзиса ея въ катарзисъ эстетической 247.—Характеръ пѣсни-игры 227—228.—Хорическая пѣсня-

игра и календарный обрядъ 242,

540.—Хоровые игровые пѣсни у дикихъ народовъ 230—245, 535—537.

Пѣвцы. Историческая. Забываніе пѣсень объ историческихъ лицахъ 552.—Заплачка и историческая пѣсня 281.

— Календарные. Календарные пѣсни и игры у дикихъ 540.

— Лирическая. Лирическая пѣсня, какъ основа народно-пѣсенной морфологии 184—185..

— Лиро-эпическая. Амебейное ихъ исполненіе 109—117.—Выдѣленіе ихъ изъ связи хора и обряда 390.—Выдѣленіе лирико-эпическихъ причитаний изъ похоронной связи 279.—Выдѣленіе лирико-эпической схемы пѣсни изъ хорового исполненія 96—100.—Лирические элементы хоровой и лирико-эпической пѣсень 391.—Образцы лиро-эпическихъ кантиленъ 35, 578.—Объясненіе повтореній въ кантиленахъ - былинахъ антифоническимъ исполненіемъ 109—110.—Переходъ лиро-эпическихъ пѣсень въ эпическую 390—391.—Появленіе ихъ на почвѣ дружинно-родового быта 396.—Созданіе пѣсень - кантиленъ 320.—Стиль ихъ 311—326.—Сюжеты ихъ 396.—Упомин. 399.—Форма ихъ и стиль 311—326, 552.

— Маршевые. Оставленіе ихъ внѣ обряда 243.

— Мифологическая. Выдѣленіе ихъ изъ обряда 317.

— Обрядовые. Выдѣленіе ихъ изъ обрядовой связи 249—270.—Крѣость обрядовой пѣсни къ содержанию хоровой игры 244.—Отношеніе къ нимъ народа въ средніе вѣка 41—42.—Обрядовая хоровая пѣсни, какъ основа греческой драмы 44.—Пѣсня обрядовая — знаніе и сила ея 414—421, 571.—Хорическое исполненіе ихъ 95.—Языкъ ихъ 453—454.

— Плуговые (румынск.). Исполненіе ихъ и связь съ дѣйствиемъ 268.

Пѣвцы. Похоронные и поминальные. Исполненіе ихъ и развитіе 274—281, **550, 551**.—Обособленіе ихъ 284.—Оставленіе ихъ въ календаря 242—243.—Хорическое исполненіе ихъ у разныхъ народовъ 95, 242—243, 274—281.

— Рабочія. Балладная и рабочая пѣсни 244.—Заплачка и рабочая пѣсня 244.—Къ объясненію рабочихъ, артельныхъ пѣсень **577**.—Оставленіе ихъ въ обряда 243—244.—Ритмъ въ нихъ 448.

— Свадебныя. Обособленіе свадебныхъ пѣсень 284.—Параллелизмъ въ нихъ 157—161, **517, 532—533**.

— Хороводныя. Эротизмъ ихъ и связь съ дѣйствиемъ 260—267.

— Эпическая. Амбейное исполненіе ихъ 109—128.—Мотивы эпическихъ пѣсень въ стѣахъ 121.—Переходъ лирико-эпическихъ пѣсень въ эпическую 390—391.—Сложеніе и пѣніе эпическихъ пѣсень нѣсколькими пѣвцами 118.—Сохраненіе ихъ на почвѣ дружинно-родового быта 396.—Сравненіе русскихъ и сербскихъ былевыхъ пѣсень съ Пѣснью о Роландѣ 311.—Сюжеты ихъ 396.—Хорическое исполненіе эпическихъ пѣсень 95—96.—Циклы и спѣвы ихъ 322—323, **525**.—Эпическая пѣсня, какъ основа народно-пѣсенной морфологіи 185—186.

Пѣсни-плачі — см. Заплачки, Причи-тания.

Пѣсня. Отличіе народной пѣсни отъ «поэзіи писанной» 187—188.—Остатки народныхъ пѣсень въ древней Греціи **543—544**.—Откуда берется пѣсня у пѣвца? (Къ вопросу о вдохновеніи) 421—429, **572, 572—573**.—Отношеніе пѣсенныхъ запѣвовъ къ параллелизму 169—170.—Параллелизмъ народной пѣсни 157.—Пѣсня, сказъ, дѣйство, пляска 409, **571**.—Пѣсня-сказъ и обрядовый актъ (гаданія, заговора, заклинанія) 409—414.—Развитіе ея

изъ мотива основной параллели 185—190, **528**.—Развитіе пѣсни изъ параллели запѣва 180—184, **524—526, 527**.—Развитіе ея на почвѣ хорового начала 236—237.—Сложеніе пѣсни нѣсколькими пѣвцами **510**.—Сопоставленіе народной пѣсни съ нѣмецкими Natureingang 455.—Спѣвы пѣсень 322—323, **552**.—Условія ихъ живучести въ народѣ 323—324.—Языкъ народной пѣсни 451—454.

Пѣти и сказывать (dire et chanter, singen und sagen). Замѣна формулы «danser, dire et chanter» формулой «пѣти и сказывать» 305.—Значеніе этой формулы 121—128, 292—293, 309—310, 397, 477—478, **505, 511—512, 552**.—Чередованіе въ сказкѣ «Aucassin et Nicolette» стиховъ и прозаическихъ отрывковъ («singend und sagen») 124—128, 310, 477.

Пѣаны. Оркестрическое ихъ исполненіе 246.—Переходъ пѣана въ эпико-лирическую форму 330.—Refrain хорового пѣана 312.—Участіе въ пѣанѣ корифея 304.

P. R.

Разложеніе поэтическаго языка 168.

Ranz (Фрибургск.). Характеристика ихъ **526—527**.

Рансодъ. Значеніе слова 408.

Реализмъ. Къ его опредѣленію 32.

Reverdies (ст.-франц.). Слѣды эротизма въ нихъ 259.

Reige (нѣм.). Выдѣленіе ихъ 340.

Религія. Образованіе ея 140—141.

Respos (припѣть въ прованс. пѣсняхъ). Объясненіе его хоризомъ и амбейностью 116.

Retardatio. Развитіе ея 213.—См. еще Повторенія.

Refran (испанск.). Refran — поговорка 342.

Refrain (припѣвъ). Безсмысленность его 25—27, 169.—Къ библіографіи о немъ

553.—Образцы его 523.—Определение его 23.—Отличие внутреннего refrain'a от повторений специального французского типа 87.—Отсутствие связи между refrain'омъ и пѣснью 116.—Перенесение хорового refrain'a въ лиро-эпическую пѣсню 312.—Переходъ запѣва въ refrain 185.—Подхватываніе хора, какъ refrain 231.—Происхожденіе refrain'a изъ запѣва 173.—Разборъ статьи о немъ Мейера 22—27.—Refrain, какъ зачаточный мотивъ лирики 327—328.—Refrain, какъ мотивъ пѣсни 342.—Refrain, какъ остатокъ хорического исполненія пѣсень 96, 505—506.—Refrain хора и пѣвецъ 505—506.—Сопоставленіе его съ повтореніемъ 23—24.—Сопоставленіе припѣва, не стоящаго въ связи съ содержаніемъ пѣсни, съ итальянскими stornelli 24—25.—Упомин. 185, 387.—Хоръ и refrain 236.

Ритмъ. Значеніе ритма при построеніи генетического определенія поэзіи 227.—Нормировка имъ мелодіи и поэтического текста 227.—Объясненіе ритма 445, 448.—Развитіе ритмико-музыкального синкретизма 390.—Ритмический параллелизмъ 142, 163—168, 449, 517—523.—Ритмический строй поэзіи 435—436.—Ритмико-мелодическое начало въ составѣ древняго синкретизма 235—236.—Ритмъ въ поэзіи первобытныхъ народовъ 231—233.—Текстъ и ритмъ 282.

Ритуалъ. Появленіе особыхъ блестителей ритуала 399.

Rispetto (тосканск.). Обращеніе цвѣточного запѣва во внутренний refrain въ rispetto 173.

Rifacimento (итальянск.). Упомин. 188.

Риома. Значеніе ея для поэта 166—167.—Появленіе ея 448.—Риома въ параллеляхъ 164—166.—Роль риомы или созвучія въ народно-пѣсенной символикѣ 165—167.

Роды поэтическіе. Синкретизмъ древнейшей поэзіи и начала дифференціаціи поэтическихъ родовъ 227—392, 535—570, 577—584.

Романсъ. Упомин. 340.

Романтизмъ. Определенія его 32, 34—35.—Поэтическія подновленія въ немъ 222—223.—Романтизмъ и гуманизмъ 35.

Романтики. Значеніе ихъ въ изученіи народной пѣсни 391.—Naturgefühl у романтиковъ 224.—Определеніе романтизма самими романтиками 34.—Протестъ ихъ противъ условностей 455.—Упомин. 52.

Романъ. Причины его господства въ литературѣ 48—49.—Развитіе его 49.

Романъ греческий. Появленіе его 481.—Темы его и развитіе 49.

Ronde mimique (норм.). Связь ихъ съ хоровымъ дѣйствиемъ 266—267.

Rondes (франц.). Формула «danser et dire» въ нихъ 283.—Припѣвы ихъ 173—174.

Rondels (старо-франц.). Хорическое исполненіе ихъ 96.

Rondets (франц.). Выдѣленіе ихъ 340.—Объясненіе ихъ хорическимъ исполненіемъ 109.

Руны (финск.). Амебейное исполненіе ихъ 119—120.—Развитіе въ нихъ схематизма 317—320.—Синкретизмъ ихъ 394.

C. S.

Sagen (сага). Преданія (sagen) безъ пѣсенной формы 325—326.—Освѣщеніе нѣмецкими сагами особенностей русской пѣсенной творчества 3.—Прозаический складъ сѣверныхъ сагъ 477.

Säistäja (финск. пѣвецъ). Объясненіе слова 408.

Saltaiones. Отношеніе къ нимъ западной церкви 275—276.

Salut d'amour. Развитіе этого мотива въ провансальской и французской лирикѣ 341—342.

Санскрить. Увлеченіе санскритомъ и сравнительная лингвистика 33.

Сатира. Вліяніе греко-итальянскихъ *сатири* на сатиру 373—374.— Древняя синкретическая сатура и сатира 284—285.— Появление сатирическихъ сказокъ 39.— Элементъ сатиры въ греческой лирикѣ 334.

Сатура (римск.). Къ ея исторіи 373—376.— Связь греко-итальянскихъ *сатири* съ сатурой 373—374.— Синкретическая сатура и сатира 284—285.— Чередованіе въ ней «пѣть и сказывать» 122—123.

Свадьба. Игровой и мимический характеръ брачнаго обихода 270—274, 547—550.— Народная свадьба — свободная мистерія 270—274, 547—550.— Обослѣдование свадебныхъ пѣсень 284.— Параллелизмъ свадебныхъ пѣсень 157—161, 517, 532—533.— Пѣвицы и сказители на свадьбѣ 271, 550.— Русский свадебный обиход 271—274.— Свадебные приговоры дружки 499—502.— Свадьба и эротизмъ весеннихъ праздниковъ 540—543.— См. еще *Пѣсни свадебныя*.

Swâng'п (индійск. писсы). Содержаніе ихъ 404—405.

Символика. Значеніе въ народно-пѣсенной символикѣ риѳмы или созвучия 165—167.— Объясненіе символовъ: горлицы 576;—розы 200—201;—рутъ 24—25, 523;—сокола 198—201;—яблока 517.— Основаніе символики цѣлтовъ 72.— Примѣры изъ области христіанской символики 168, 455—456, 473—474.

Символъ. Важность статистики символическихъ мотивовъ 457.— Измѣненіе народныхъ символовъ подъ вліяніемъ христіанства 455—456, 473—474.— Обновленіе символовъ 135.— Образованіе символа изъ параллели 155—161, 516—517.— Отличіе его отъ аллегоріи 198.— Отношеніе его къ параллелизму 198—201, 531—532.— Переходъ его

въ метафору 201—202.— Постоянство иѣкоторыхъ символовъ 454.— Развитіе символа изъ психологического параллелизма 449.— Растижимость его 198—201.— Самостоятельное зарожденіе символовъ 449—450.— Символы—созвучные параллели 167—168.— Усвоеніе ихъ и суггестивность 474.

Синкретизмъ. Выдѣленіе изъ хорового синкретизма формъ: эпики, лирики и драмы 393.— Обобщеніе и синкретизмъ 487.— Обозрѣніе явлений поэтическаго синкретизма среди некультурныхъ народностей 230—245, 535—539.— Отношенія синкретической хоровой поэзіи къ эпосу, лирикѣ и драмѣ 286—303.— Отраженіе синкретическихъ представлений природы въ метафорахъ языка 131—132.— Развитіе ритмически - музыкального синкретизма 390.— Синкретизмъ древней драмы 354.— Синкретизмъ древнейшей поэзіи и начала дифференціаціи поэтическихъ родовъ 227—392, 535—570, 577—584.— Синкретизмъ звука — свѣта 488.— Синкретизмъ и обобщеніе 487.— Синкретизмъ метафоры 202.— Синкретизмъ — смѣщеніе 486—487.— Синкретизмъ чувственныхъ впечатлѣній 491.— Синкретические эпитеты 485—486.

Синонимы. Парность ихъ 493—494.

Сказка. Животная эпопея и сказки о животныхъ 39.— Идея тождества параллелизма въ генеалогическихъ сказкахъ 187.— Основа сказочной морфологии 185—186.— Основы экзогамической сказки 53.— Появление сатирическихъ сказокъ въ полосы развитія эпоса 39.— Стиль сказки 451—454.— Упомин. 18—19.— Формулы въ сказкахъ 577.

Сказки: О небывалой странѣ — ея отраженія въ позднѣйшихъ «утопіяхъ» 52;—типа «мужъ на свадьбѣ жены»—сопоставленіе ихъ и ихъ бытовая основа 429—434.— См. еще подъ

отдельными названиями сказочных героеев.

Скальды. О поэзии ихъ 142, 407.—Отношение къ нимъ и ихъ репертуаръ 406—407.—Появление ихъ 399.

Скиники. Отношение къ нимъ властей 399.

Скомик (σκολια) аттическая застольная. Амебейность ихъ 101, 107—108.

Скоморохи — см. Певцы-скоморохи.

Scopas (англосакс. и францк. пѣвцы). Scopas — носители эпики 322—325.

Scôr (старо-герм. пѣвецъ). Значение слова 408.—Отношение къ нимъ и ихъ репертуаръ 397.

Scurrâ (пѣвецъ). Упомин. 398, 399.

Слезливость XVIII в. Психофизический катарзис въ ней 228.

Слово. Музыкальный элементъ его 447—448.—Слово, какъ носитель понятія 447.

Служеніе дамъ. Средневѣковая лирика и служеніе дамъ 345—349, 351—354, 554.

Слѣпцы-поэты. Репертуаръ ихъ 393—394.

Созвучіе словъ въ параллели 163—164.

Соподчиненіе впечатлѣній въ народномъ эпосѣ 93—94.

Сопоставленіе различныхъ пересказовъ одной темы 27—28.

Сопоставленія (формула). Самостоятельное зарожденіе ихъ 449—450.

Spel (ст.-германск. заклинательн. формула). Обослѣдованіе ея 319.

Спѣвы пѣсень. Появление народныхъ эпопей и спѣвы пѣсень 324—325.—

Роль дружинныхъ пѣвцовъ въ спѣвахъ пѣсень 322—323, 552.—Чередование пѣвцовъ и спѣвы пѣсень 309—311.—См. еще Циклъ.

Сравненіе. Накопленіе сравненій въ германскихъ поэмахъ 195.—Отличие сравненія отъ отрицательного параллелизма 209.—Параллелизмъ въ сравненіяхъ 140—141.—Развитіе сравненія 211—218.

Сравнительное изученіе поэзіи. Примѣръ его 13—15.

Старина. Отношенія къ старинѣ и къ новому 32—33.

Stef (припѣть въ ст.-герм. пѣсняхъ).

Мотивы эпическихъ пѣсень въ нихъ 121.—Объясненіе его 108—109.

Стилистика. Діалогизмъ и эпическая стилистика 310—311.—Къ источникамъ народно-пѣсенной стилистики 274.—О развитіи основъ стилистики 390.—О сложеніи ея 321—322.

Стиль. Исторія стиля и хронологія поэтическаго творчества 129.—Общія мѣста въ области стиля и его типичность 321—323.—Психологический параллелизмъ и его формы въ отраженіяхъ поэтическаго стиля 130—225, 513—534.—Стиль: лирико-эпическихъ пѣсень 311—326; — сказокъ 451—454.—Формулы поэтическаго языка и стиля 576—577.—См. еще Языкъ.

Style pr  cieux. Синкретизмъ въ немъ 480.

Stornelli (сициліанск.). Амебейность ихъ 105—106.—Параллелизмъ и stornelli 171—173, 176—177.—Сопоставленіе ихъ съ греческой лирикой 337.—Сопоставленіе ихъ съ припѣвомъ 24—25.—Сопоставленіе ихъ съ малорусскими пѣснями 25.

Strambotto (strammotto) (сициліанск.). Объясненіе ихъ 106—107.

Строфа и антистрофа греческой трагедіи. О ихъ параллелизмѣ 387.

Субъективизмъ колективный въ эпосѣ 326—327.

Суггестивность: мотивовъ 56—57, 141, 455, 474—475; — образовъ 56—57, 141, 455, 474—475; — параллелей 153; — свадебной обрядности 274; — символовъ 474—475; — сравненій 215—217; — сюжетовъ 56—57; — формулъ 56—57, 449, 474—475; — эпитетовъ 73, 82.

Схематизмъ эпической. О его развитіи 312, 316—324.

Scél (ирландск. рассказъ). Упомин. 405—406.

Сцена площадная. Роль ея въ развитіи религіозной драмы 44.

Сюжеты: «люди — деревья — растенія» 137—140; — «растенія, сплетающіяся на могилахъ» 138—140; — «сватовства» въ хороводныхъ пѣсняхъ 262—264. — См. еще *Мотивы, Формулы*.

Сюжеты. Внѣшнее и внутреннее развитіе сюжета, выясняемое изъ сопоставленія его пересказовъ 27—28. — Изслѣдованіе причинъ популярности нѣкоторыхъ сюжетовъ въ извѣстную эпоху 28—29. — Обновленіе ихъ 50—56. — Паденіе и возникновеніе ихъ 50—57. — Переживаніе старыхъ сюжетовъ 13—17, 28, 51—57, 475—477. — Пляска и сюжетъ 237. — Суггестивность сюжетовъ 56—57. — Сюжеты эпико-лирическихъ и эпическихъ профессиональныхъ пѣсенъ 396.

T.

Тавтологія. Музыкальность ея 142. — Примѣры ея 489, 491—493. — Упомин. 318. — См. еще *Параллелизмъ ритмический, Эпитеты тавтологические*.

Tagelied. Старый идеалъ любви въ ней 344.

Творчество безличное. Переходъ отъ безличного къ личному творчеству въ западно-европейской поэзіи 42. — Процессъ массового безличного творчества 34.

Творчество личное. Переходъ отъ безличного творчества къ личному въ западно-европейской поэзіи 42. — Проявленіе его 40. — Развитіе эпитета и личное творчество 76—78. — Упомин. 33—34. — Эпическая поэма и личное творчество 35—36.

Текстъ въ поэзіи первобытныхъ народовъ. Безсмыленность его 234—235. — Вліяніе ритма и мелодіи на текстъ 227. — Выдѣленіе его 284. —

Импровизація его 230—237. — Неприѣмленность словъ къ тексту 235. — Отношеніе текста къ мелодіи 235—236. — Отношеніе его къ ритму 282. — Отраженіе развитія миѳа на характеръ текста 242. — Хронологическое соотношеніе текста и размѣра стиха къ напѣву 235—237. — Эволюція его на почвѣ хорового начала 232—237, 284, 390.

Tänzer (die) von Käbigk (нем.), какъ образчикъ игровой лиро-эпической пѣсни 340.

Тенционы. Амебейность ихъ 101, 119. — Отношеніе ихъ къ народно-обрядовой поэзіи 252. — Развитіе ихъ въ связи съ хоромъ 340.

Типичность стиля. Образованіе и развитие его 321—323.

Типы. Паденіе и оживленіе поэтическихъ типовъ 50—57. — Реальные типы греческихъ комедій 389—390.

Thymelicus (пѣвецъ). Упомин. 398.

«Тополя» (обрядъ). Празднованіе его 546—547.

Тотемизмъ. Къ литературѣ о немъ 137, 560—565. — Религіозная пляски и тотемизмъ 242. — Тотемизмъ въ повѣсти обѣ Амурѣ и Психеѣ 53—54.

Трагедія греческая. Дихорія ея 247—248. — Зарожденіе ея 355. — Культъ и греческая трагедія 285. — Отношенія ея къ греческой комедіи 390. — Развитіе ея 386—389.

Традиція и импровизація 284.

Өρүнөс (греч.). Выдѣленіе ихъ изъ хорового начала и обряда 97, 276.

Трихотомія (троичность). Распространенность ея въ поэтическомъ художествѣ 454. — Троичность и эпической схематизмы 316, 318, 323.

Тріэтеріи діонисовские. Ихъ связь съ «преніями» народныхъ обрядовъ 253.

Трубадуры. Зарожденіе самосознанія личности и трубадуры 337, 339. — Значеніе слова 408. — Распределеніе между ними и жонглѣрами сказа и

аккомпаниента 306—307. — Соединение въ ихъ лирикѣ народныхъ началъ и классической поэзіи 177—178.

Труверы. Значеніе слова 408. — Соединение въ ихъ лирикѣ народныхъ началъ и классической поэзіи 177—178. — Связь ихъ съ жонглерами 407. Troutlied. Вліяніе на нихъ романскихъ образцовъ 345. — Къ литературѣ о нихъ 554.

Tzoutz (армянск. пѣвцы). Репертуаръ ихъ 398.

Тюркю (гагаузск. четверостишія). Къ ихъ характеристикѣ 516.

У.

Умолчаніе, какъ основа формального параллелизма 161—162.

Уравненіе—тождество въ параллелизмѣ 136—140.

«Усиленіе» въ сербскихъ пѣсняхъ 235.

Условность народной поэтики 455.

Устойчивость параллели 157.

Утопіи соціальныя. О ихъ возникновеніи и связи со сказками 52.

Ф. F.

Фабліо. Упомин. 344.

Fastnachtsspiele. Примыканіе ихъ къ обряду 285. — См. еще Neidhartspiele.

Феценнины (римск.). Амебейность ихъ 100—101. — Роль ихъ въ развитіи римской комедіи 374—375.

Фили (ирландск. пѣвцы). Значеніе ихъ въ обществѣ 396—397. — Отношеніе къ нимъ и ихъ репертуаръ 405—407, 427.

Fiori (итальянск.). Къ литературѣ о нихъ 523—524, 528. — Параллелизмъ и fiori 176—177. — Происхожденіе ихъ 174—175.

Flouretas (южно-франц. серенада). Параллелизмъ и flouretas 174.

Folklore (сравнит. изученіе народной поэзіи). Задачи ея 22.

Форма. Лирическія, драматическія и эпическая формы и міросозерцаніе 11—13, 47, 67.

Формы литературныя. Ихъ паденіе и возобновленіе 49—50.

Формулы поэтическія. Бродячія формулы, какъ основа народно-пѣсенной и сказочной морфологіи 185—186. — Выдѣленіе ихъ 448—449. — Значеніе ихъ 475, 576—577. — Неизмѣнность ихъ 16—17. — Ограниченность ихъ 15—16. — Оживаніе формулъ—сюжетовъ 476—477. — Отличіе тавтологическихъ формулъ отъ психологической параллели 142. — Параллельно-построенные формулы 448. — Повторяющіяся формулы 527. — Самостоятельное зарожденіе формулъ 449—450. — Самостоятельное существованіе параллельныхъ формулъ въ четверостишіяхъ 170. — Суггестивность нѣкоторыхъ формулъ 55—56, 449. — Формулы въ сказкахъ 577. — Формулы—общія мѣста 455. — Формулы поэтическаго языка и стиля 576—577.

Формулы поэтическія отдѣльныя. Различные выраженія формулъ: «альбы» 468—471; — «если бъ небо было хартіей» 464—465, 527; — «желанія» 458—463, 575—576; — «ключъ къ сердцу» 467—468, 576; — «лебедь-горлица» 471—473, 576; — «невозможности» 465—466; — различныхъ видовъ параллелизма 141—218; — «ожеланія» 463—465, 524; — «птичка въ клѣткѣ» 468; — «Salut d'amour» 141—342. — См. еще Motivъ, сложетъ.

Frundf (румынск.). Развитіе цвѣточныхъ зачаль ихъ изъ формулы параллелизма 174, 176.

X. Ch.

Хатарха (бурятск. пляска). Ритмический параллелизмъ и пляска 517—519.

Хбес (второй день Анестерій). Празднованіе его 385—388, 568—570.

Choreas *venereas*. Упомин. 259.

Хороводъ. Весенние хороводы и обрядовые греческія хоровые пѣсни 44.— Слѣды эротизма въ весеннихъ хороводахъ 248, 259.

Хоръ. Взаимоотношенія хора и запѣвалы 231—232.— Виды хоровыхъ дѣйствій 257—285.— Выдѣленіе пѣсень изъ связи хора 284.— Выдѣленіе изъ хора корифея и двухъ пѣвцовъ 305—311, 551—552.— Выдѣленіе изъ хорического исполненія пѣсни лиро-эпической схемы 96—100, 390.— Древность хорового начала 228.— Значеніе хоровой пѣсни при работѣ 228.— Игры хорическая съ характеромъ мѣстныхъ церковно-легендарныхъ воспоминаній 283—284.— Измѣненія художественные хорового состава въ трагедіи 386—388.— Исполненіе пѣсень двумя или нѣсколькими хорами у культурныхъ народовъ 247—248.— Комедія греческая и обрядовой хоръ 389—390.— Лирические элементы хоровой пѣсни 391.— Обособленіе отдельныхъ пѣсень изъ хоровой зависимости 311.— Обрядъ и хорическое дѣйство 390—391.— Объясненіе изъ древняго хоризма и амебейности повторений и другихъ стилистическихъ явленій 116.— Организація хора 304.— Пляски-игры хоровая у дикихъ народовъ 238—242, 535—543.— Подхватываніе стиха и хорическое исполненіе пѣсень 95—96, 504.— Появление въ хорическомъ исполненіи пѣсни амебейнаго, антифонического пѣнія 100.— Поэзія хоровая синкретическая и ея отношенія къ эпосу, лирикѣ и драмѣ 286—303.— Поэзія хорового обряда и формы культа 391.— Процессъ дезинтеграціи на почвѣ хорического дѣйства 286.— Проявленіе хорической поэзіи благодаря условіямъ быта 238.— Пѣвецъ и хоръ 393—395, 505—506.— Пѣсни хоровая

безъ пріуроченія къ обрядовому акту или къ мимической игрѣ 282—283.— Пѣсни хоровая въ народной поэзіи культурныхъ племенъ 245—270.— Развитіе драмы, вышедшій изъ обрядового хора 355—370.— Развитіе на почвѣ хорового начала текста пѣсни 236—237.— Развитіе обряда и хоровое дѣйство 242.— Разложеніе обрядового хора 244.— Refrain хора 312.— Сокращеніе участія хора при появленіи связного текста 236.— Съуженіе на почвѣ хорической поэзіи культурныхъ народностей календарно-обрядовой и календарно-бытовой поэзіи 248.— Характеристика хорического синкретизма 230—245.— Хоризъмъ въ народной свадьбѣ 270, 547—559.— Хоризъмъ, какъ признакъ синкретической поэзіи 228.— Хоризъмъ обрядовой и культовой 391.— Хорическое начало въ похоронной обрядности 242—243, 274—276, 550—551.— Чедевданіе хоровое 237—238, 538.— Эволюція обрядового хора и драма 285.— Эпосъ и лирика, какъ слѣдствіе разложенія древняго обрядового хора 354.

Христіанство. Символика христіанства 168, 455—456, 473—474.

Хутроі (третій день Аноестерій). Празднованіе его 385—386.

Ц. С. З.

«Zeitschrift für vergleichende Litteraturgeschichte», herausgegeben von Max Koch (1886). Замѣтка о первомъ томѣ журнала 18—29.

Церковь восточная. О ея вліяніи на славянскія народности 43—44.

Церковь западная. Отношеніе ея къ любовнымъ пѣснямъ 342.— Роль ея въ развитіи драмы 44.— Союзъ ея съ классической поэзіей 41—42.

Cetatim. Амебейность ихъ 101.

Циклизация. Генеалогическая циклизация п'есень 321.—Естественная циклизация п'есень 320—321.— Циклизация эпики 397.

Циклы. Профессиональные эпические п'евцы и циклъ 309, 396.— Циклы п'есень, объединенныхъ именемъ или событиемъ 323—324.— Циклы и сп'евы эпическихъ п'есень 322—323, 552.

Ч.

Четверостишия. Антифонизмъ и четверостишія 520—523.— Къ библиографіи о нихъ 521—523, 531.— Отношение ихъ къ параллелизму 170—171.— Параллелизмъ ихъ 515—516.

Ш. Sch. Ch.

Chansons à danses. Обособленіе ихъ изъ хорового речитатива 340.

Chansons à personnages. Обособленіе ихъ изъ хорового речитатива 340.

Chansons de geste. Амебейное исполненіе ихъ 109—110.— Обновленіе ихъ сюжетовъ 36.— Освѣщеніе ими особенностей русского п'есенного творчества 3.— Основа ихъ 36.— Переживаніе въ нихъ старыхъ идеаловъ 321.— Повторенія въ нихъ 128—129.— Прочитанія въ нихъ 278—279.— Противорѣчія въ нихъ 110.— Распределеніе въ нихъ сказа и аккомпанимента между двумя лицами 306.— Сложеніе ихъ по слѣдамъ событий 478, 481.— Сочиненные chansons de geste и процессъ циклизации 324—325.— Строфичность ихъ 292—293.— Упомин. 3, 214, 399.— Условія ихъ появленія 35.— Чередованіе въ нихъ прозаического сказа и стиха 310.— Эпитеты въ нихъ 68.

Chansons de toile. Лирико-эпический характеръ ихъ 312, 319.— Обособленіе ихъ изъ хорового речитатива 340.— Происхожденіе ихъ 244.

Chansons d'histoire. Лирико-эпический характеръ 312.— Обособленіе ихъ изъ хорового речитатива 340.— Сюжеты ихъ 342.

Шванки. Значеніе сравнительного изученія ихъ 20—21.

Schwerttänze (нѣм.). Обрядовое начало въ нихъ 269, 283.

Шегонеба (груз. наставленія). Характеристика ихъ 515.

Schnaderhüpfe (терм.). Амебейное исполненіе ихъ 104.— Зап'евы ихъ 181, 526—527.— Сліяніе ихъ въ одну п'есню 184.— Упомин. 185, 456, 461.— Формула «ключъ къ сердцу» въ нихъ 467.

Шильманы. Генеалогія ихъ и развитіе 398—400.— Діалогизмъ въ ихъ эпическихъ произведеніяхъ 308.— Объясненіе слова spilman 409.— Репертуаръ ихъ и отношеніе къ немъ 406—407.— Роль ихъ въ сп'евахъ п'есень 322—325.— Творчество ихъ 38, 68.— Участіе ихъ въ народныхъ обрядахъ 271.

Ständchen (нѣм.). Ихъ начало 331.

Шума (хоров. игра Минской губ.). Слѣды эротизма въ ней и аграрный характеръ ея 264.

Э.

Эвфуизмъ Елизаветинской эпохи. Синкретизмъ въ немъ 480.

Экодін (римск. комич. сцены?). Связь ихъ съ серьеznой драмой 376.

Эклога. Амебейность въ ней 307.— Причина усвоенія ея діалогического момента 252.

Элегія (греч.). Выдѣленіе ея изъ обрядового прочитанія 284, 374.— Развитіе ея 330—331, 334.

Эпитеты. Виды ихъ: парные 493—494;— пояснительные 59—65;— синкретические 62, 64—65, 485—488;— синкретические эпитеты нов'йшей поэзіи 80—85;— сложные 491;— тавтологические

- 59;—эпитеты-метафоры 62—63, 485.—Выдѣленіе одного эпитета 454.—*Изъ истории эпитета* 58—85, 485—503.—Метафоры, сравненія и эпитеты 218.—Накопленіе эпитетовъ 73—74, 195.—Парность эпитетовъ 493—494.—Сложность эпитетовъ 75, 491.
- Эпическая повторенія, какъ хронологический моментъ* 86—129, 504—512.
- Эпопея. Анонимность народной эпопеи 36.—Гимны и эпопея 330, 578.—Гипотеза личного творчества и эпопея 11.—Образованіе эпопеи 391.—Условія появленія народныхъ эпопеи 35—37, 324—325.—Причины развитія эпопеи изъ бытевыхъ пѣсень 35—36.—Теорія безличныхъ эпопеи 11.
- Эпосъ. Коллективный субъективизмъ его 326—327.—Къ его исторіи 324—325, 578.—Носители его и его претвореніе 322—326.—Обособленіе эпики 391.—Отношеніе эпоса къ синкретической хоровой поэзіи и послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 286—303.—Послѣдовательность развитія эпоса, лирики и драмы 286—303.—Развитіе эпического схематизма 312, 316—324.—Циклизація эпики 397.—Эпическая форма и міросозерцаніе 11—13, 47, 67.—Эпосъ, какъ слѣдствіе разложенія древняго обрядового хора 354.
- Эпосъ. Германскій. *Natureingang* въ нѣмецкомъ эпосѣ 524.—Определеніе его 38.—Отличія его и источники 37—38.—Сравненіе его съ французскимъ эпосомъ 37—38.—Условія появленія эпическихъ поэмъ во Франціи и Германии 37—38.
- Греческій. Повторенія въ немъ 87, 129.
- Дружинно-боевой. Специализація въ немъ и пѣвцы 395—398.

- Эпость. Животный. Причины отсутствія животной эпопеи въ Россіи 39.—Причина появленія животной эпопеи въ феодальной Франціи 39.
- Ирландскій. Условія созданія эпопеи въ Ирландіи 406.—Чередованіе въ немъ разсказовъ въ прозѣ и эпизодовъ въ стихахъ (*singen u. sagen*) 123.
- Іонійскій. Стиль его 450.
- Русскій. Повтореніе—формула въ немъ 87, 129.—Причины отсутствія въ Россіи эпопеи 38.
- Славянскій. Повтореніе—формула въ немъ 87, 129.
- Финскій. Синкретизмъ финской эпики 394.
- Французскій. Какъ пѣлся французскій эпосъ 505.—Повторенія специально - французского типа 87—94, 505.—Повтореніе—формула въ немъ 87.—Появленіе исторического французского эпоса 36—37.—Сравненіе его съ нѣмецкимъ эпосомъ 37—38.—Условія появленія эпическихъ поэмъ во Франціи и Германии 37—38.
- Эротизмъ весеннихъ праздниковъ. Слѣды его 258—259, 540—543.
- Я.**
- Языкъ. Преобладаніе въ языке эмоционального элемента 235—236.—Развитіе языка поэзіи 141.—Разложеніе поэтического языка 168.—Связь языка, миѳа и поэзіи 141.—Сложеніе языка 228.—Формулы поэтического языка и стиля 576—577.—*Языкъ поэзіи и языкъ прозы*. Третья глава исторической поэтики 435—481, 573—577.—См. еще *Стиль*.
- Ямбъ (греч.). Культовые начала его 334.

104045



PN Veselovskii, Aleksandr
517 Nikolaevich
V44 Sobranie sochinenii
t.1

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
